

Д Ж Е К
ЛОНДОН

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

ДЖЕК ЛОНДОН

СОЧИНЕНИЯ

В СЕМИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1955

ДЖЕК ЛОНДОН

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ ПЯТЫЙ

ЖЕЛЕЗНАЯ ПЯТА

МАРТИН ИДЕН

СТАТЬИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1955

**Издание выходит под наблюдением
проф. Р. М. САМАРИНА**

*Переводы с английского
под редакцией*
Н. В. БАННИКОВА

ЖЕЛЕЗНАЯ ПЯТА

(Роман)

*Земной Театр! Нам стыд и горе —
Картин знакомых карусель...
Но потерпи, узнаешь вскоре
Безумной Драмы смысл и цель!*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Записки Эвис Эвергард нельзя считать надежным историческим документом. Историк обнаружит в них много ошибок, если не в передаче фактов, то в их истолковании. Прошло семьсот лет, и события того времени и их взаимосвязь — все то, в чем автору этих мемуаров было еще трудно разобраться, — для нас уже не представляет никакой загадки. У Эвис Эвергард не было необходимой исторической перспективы. То, о чем она писала, слишком близко ее касалось. Мало того, она находилась в самой гуще описываемых событий.

И все же, как человеческий документ, «Эвергардовский манускрипт» исполнен для нас огромного интереса, хотя и здесь дело не обходится без односторонних суждений и оценок, рожденных пристрастием любви. Мы с улыбкой проходим мимо этих заблуждений и прощаем Эвис Эвергард ту восторженность, с которой она говорит о своем муже. Теперь мы знаем, что он не был такой исполинской фигурой и не играл в событиях того времени столь исключительной роли, как утверждает автор мемуаров.

Эрнест Эвергард был человек выдающийся, но все же не в той мере, как считала его жена. Он принадлежал к многочисленной армии героев, самоотверженно служивших делу революции во всем мире. Но у Эвергарда были и свои особые заслуги в области разработки философии рабочего класса и ее пропаганды. Он называл ее — «пролетарская наука», «пролетарская философия», проявляя

таким образом известную узость взглядов, которой в то время невозможно было избежать.

Но вернемся к мемуарам. Величайшее их достоинство в том, что они воскрешают для нас атмосферу той страшной эпохи. Нигде мы не найдем такого яркого изображения психологии людей, живших в бурный период между 1912 и 1932 годами, их ограниченности и слепоты, их страхов и сомнений, их моральных заблуждений, их неистовых страстей и нечистых помыслов, их чудовищного эгоизма. Нам, в наш разумный век, трудно это понять. История утверждает, что так было, а биология и психология объясняют нам — почему. Но ни история, ни биология, ни психология не могут воскресить перед нами этот мир. Мы допускаем его существование в прошлом, но он остается нам чужд, мы не понимаем его.

Понимание это возникает у нас при чтении Эвергардовского манускрипта. Мы как бы сливаемся с действующими лицами этой отзвучавшей мировой драмы и начинаем жить их мыслями и чувствами. И нам не только понятна любовь Эвис Эвергард к ее героическому спутнику, — мы ощущаем вместе с самим Эвергардом угрозу олигархии, страшной тенью нависшей над миром. Мы видим, как власть Железной пяты (не правда ли, удачное название!) надвигается на человечество, грозя раздавить его.

Кстати, из манускрипта мы узнаем, что автором утвердившегося термина «Железная пята» явился в свое время Эрнест Эвергард — небезынтересное открытие, проливающее свет на вопрос, недостаточно еще освещенный историей. Считалось, что термин «Железная пята» впервые встречается у малоизвестного журналиста Джорджа Милфорда в памфлете «Вы — рабы!», опубликованном в декабре 1912 года. Никаких других сведений о Джордже Милфорде до нас не дошло, и только в Эвергардовском манускрипте бегло упоминается, что он погиб во время чикагской резни. По всей вероятности, Милфорд слышал это выражение из уст Эрнеста Эвергарда — скорее всего во время одного из выступлений последнего в предвыборную кампанию осенью 1912 года. Сам же Эвергард, как сообщает нам манускрипт, впервые употребил его на обеде у одного частного лица еще весной 1912 года. Эта дата и должна быть признана достоверной.

Для историка и философа победа олигархии навсегда останется неразрешимой загадкой. Чередование исторических эпох обусловлено законами социальной эволюции. Эти эпохи были исторически неизбежны. Их приход мог быть предсказан с такой же уверенностью, с какой астроном вычисляет движение звезд. Это неизбежные этапы в системе эволюции. Первобытный коммунизм, рабовладельческое общество, крепостное право и наемный труд были необходимыми ступенями общественного развития. Но смешно было бы утверждать, что таким же необходимым этапом явилось господство Железной пяты. Мы, в настоящее время, склонны считать этот период каким-то случайным отклонением или отступлением к жестоким временам тиранического самовластия, которое на заре истории было так же закономерно, как случайно было впоследствии торжество Железной пяты.

Недобрую память оставил по себе феодализм, но и эта система была исторически оправдана. После крушения такого мощного централизованного государства, как Римская империя, наступление эпохи феодализма было неизбежно. Но этого нельзя сказать о Железной пяте. В закономерном течении социальной эволюции ей нет места. Ее приход к власти не был исторически оправдан и необходим. Мы видим в нем скорее какую-то чудовищную аномалию, исторический курьез, случайность, наваждение, нечто неожиданное и немыслимое. Пусть же это послужит предостережением для тех опрометчивых политиков, которые так уверенно рассуждают об общественных процессах.

Капитализм почитался социологами тех времен кульминационной точкой буржуазного государства, созревшим плодом буржуазной революции, и мы, в наше время, можем только присоединиться к этому определению. Следом за капитализмом должен был прийти социализм — это утверждали даже такие выдающиеся представители враждебного лагеря, как Герберт Спенсер. Ожидали, что на развалинах своекорыстного капитализма вырастет цветок, взлелеянный столетиями, — братство людей. А вместо этого, к нашему удивлению и ужасу, — а тем более к удивлению и ужасу современников этих событий, — капитализм, созревший для распада, дал еще один чудовищный побег — олигархию.

Социалисты начала двадцатого века слишком поздно обнаружили приход олигархии. Когда же они спохватились, олигархия была уже налицо — как факт, запечатленный кровью, как жестокая, кошмарная действительность. Но в то время, по свидетельству Эвергардовского манускрипта, никто не верил в долговечность Железной пяты. Революционеры считали, что низвергнуть ее — дело нескольких лет. Они понимали, что Крестьянское восстание возникло стихийно, а Первое восстание вспыхнуло слишком рано. Но никто из них не понимал того, что и Второе восстание, хорошо подготовленное и вполне созревшее, было обречено на такую же неудачу и еще более жестокий разгром.

Очевидно, Эвис Эвергард писала свои записки в дни, предшествовавшие Второму восстанию, поэтому в них ни слова нет о его злополучном исходе. Несомненно также, что она писала в надежде сразу же после свержения Железной пяты выпустить их в свет и таким образом воздать должное памяти погибшего мужа. Но тут наступила катастрофа, и, готовясь бежать или же в предвидении ареста, она спрятала записки в дупле старого дуба в Уэйк-Робинлодж.

Дальнейшая судьба Эвис Эвергард неизвестна. По всей вероятности, ее казнили наемники, а во времена Железной пяты никто не вел учета жертвам многочисленных казней. Одно можно сказать с уверенностью: пряча рукопись в тайник и готовясь к бегству, Эвис Эвергард не подозревала, какой страшный разгром потерпело Второе восстание. Она не предвидела, что извилистый и трудный путь общественного развития потребует в течение ближайших трехсот лет еще и Третьего и Четвертого восстаний и много других революций, потопленных в море крови, — пока рабочее движение не одержит, наконец, победы во всем мире. Ей и в голову не приходило, что ее записки, дань любви к Эрнесту Эвергарду, семь долгих столетий пролежат в дупле векового дуба в Уэйк-Робинлодже, не потревоженные ничьей рукой.

Ардис.

Энтони Мередит¹

27 ноября 419 г. эры Братства людей.

¹ Энтони Мередит — по мысли Лондона — человек 27-го века, первый издатель и комментатор записок Эвис Эвергард. Примечания к тексту романа идут от его имени. (Прим. ред.)

Глава первая

МОЙ ОРЕЛ

Легкий летний ветерок шелестит в могучих секвойях, шаловливая Дикарка неумолчно журчит между мшистых камней. В ярких лучах солнца мелькают бабочки; воздух напоен дремотным гудением пчел. Тишина и спокойствие вокруг, и только меня гнетут думы, гложет тревога. Безмятежная тишина надрывает мне душу. Как она обманчива! Все притаилось и молчит, но это — затишье перед грозой. Я напрягаю слух и всем существом ловлю ее приближение. Только б она не разразилась слишком рано. Горе, горе, если она разразится слишком рано!¹

У меня немало причин для тревоги. Мысли, неотвязные мысли не покидают меня. Я так долго жила кипучей, деятельной жизнью, что тишина и покой кажутся мне

¹ Второе восстание было в значительной степени делом рук Эрнеста Эвергарда, хотя он, конечно, готовил его в тесном контакте с европейскими социалистическими лидерами. Сам Эвергард не дождался восстания: он был схвачен и тайно казнен весной 1932 года. Однако восстание было так тщательно подготовлено, что преемникам Эвергарда удалось полностью осуществить его планы, избежав потерянности и промедления. Эвис Эвергард после казни мужа уединилась в Уэйк-Робин-лодже, небольшой усадьбе в Калифорнии, в Сономских горах.

тяжким сном, и я не могу забыть о том яростном шквале смерти и разрушения, который вот-вот пролетит над миром. В моих ушах звенят вопли поверженных, перед глазами все те же призраки прошлого¹. Я вижу поруганную, истерзанную человеческую плоть, вижу, как насилие исторгает душу из прекрасного, гордого тела, чтобы в злобном неистовстве швырнуть ее к престолу творца. Так мы, люди, через кровь и разрушение идем к своей цели, стремясь навсегда установить мир и радость на земле.

И одиночество... Когда я не думаю о том, что будет, мысли мои обращаются к тому, что было и не возвратится вновь,— к тебе, мой орел, парящий на мощных крыльях, устремленный ввысь, к солнцу, ибо солнцем был для тебя светлый идеал свободы. Я не в силах сидеть и ждать сложа руки прихода великих событий, которые вызваны к жизни моим мужем, хотя ему и не суждено было увидеть их рождение. Он отдал нашему делу свои лучшие годы и умер за него. Это плоды его трудов, его создание².

Итак, эти томительные дни я хочу посвятить воспоминаниям о моем муже. Есть многое, о чем из всех живущих могу рассказать лишь я одна, а ведь о таком человеке, как Эрнест, сколько ни рассказывай, все мало. В Эрнесте жила великая душа, и когда в моей любви умолкает все личное, я больше всего скорблю при мысли, что его не будет здесь завтра, чтобы встретить зарю нового дня. В том, что мы победим, не может быть сомнений. Он строил так прочно, так надежно, что здание устоит. Смерть Железной пяте! Близок день, когда поверженный человек поднимет голову. Как только эта весть разнесется по всему миру, восстанут армии труда. Совершится то, чего еще не знала история. Солидарность рабочих обеспечена, а это зна-

¹ Здесь, очевидно, имеется в виду усмирение Чикагского восстания.

² При всем уважении к Эвис Эвергард, мы должны отметить, что муж ее был только одним из многих талантливых руководителей, подготовивших Второе восстание. Теперь, спустя много столетий, можно сказать с уверенностью, что если бы Эвергард остался жив, это несколько бы не изменило трагической развязки.

чит, что международная революция впервые развернется во всю свою необъятную ширь¹.

Как видите, я вся во власти надвигающихся событий. Я жила этим день и ночь — так долго, что ни о чем другом не в силах думать. А тем более, говоря о моем муже, могу ли я не говорить о его деле! Он был душой этого великого начинания, и для меня они нераздельны.

Как я уже сказала, есть многое, что только я одна могу рассказать об Эрнесте. Все знают, что он, не щадя себя, работал для революции и немало перенес. Но как он работал и сколько перенес, знаю я одна. Двадцать грозных лет мы были с ним неразлучны, и мне больше чем кому-либо известно его терпение, его неистощимая энергия и безграничная преданность делу революции, за которое он два месяца назад сложил голову.

Постараюсь просто и по порядку рассказать, как Эрнест вошел в мою жизнь, — о нашей первой встрече, о том, как он постепенно овладел моей душой и перевернул весь мой мир. И тогда вы увидите его моими глазами, узнаете таким, каким знала я, — кроме самого заветного и дорогого, что слова бессильны передать.

Мы познакомились в феврале 1912 года, когда Эвергард, по приглашению моего отца², явился к нам, в наш особняк в городе Беркли, на званый обед. Не могу сказать,

¹ Второе восстание действительно приобрело международный характер. Это был поистине грандиозный замысел, и уже поэтому трудно считать его созданием одного человека. Организованные рабочие всех олигархий готовы были подняться по первому сигналу. Германия, Италия, Франция и вся Австралия — в то время государства рабочих с социалистическими правительствами — обещали революции свою помощь, и они действительно оказали ее, поэтому разгром Второго восстания стал также и их разгромом. Их правительства были низложены, и объединившиеся олигархии навязали им олигархический строй.

² Джон Каннингхем, отец Эвис Эвергард, был профессором Калифорнийского университета в городе Беркли. С преподаванием физики он совмещал исследовательскую работу, которая принесла ему широкую известность. Выдающимся вкладом в науку явились его изыскания в области природы электрона, а также капитальный труд «Тождество материи и энергии», где было незыблемо и на все времена установлено, что основная единица материи и основная единица энергии тождественны. Положение это до профессора Каннингхема выдвигалось сэром Оливером Лоджем и другими исследователями радиоактивности, но лишь на правах гипотезы.

чтоб он понравился мне с первого взгляда,— скорее наоборот. В гостиной, где собралось все общество, Эрнест производил странное, чтобы не сказать — дикое впечатление. Среди почтенных служителей церкви на этом обеде, который отец шутя называл «синедрионом», Эвергард казался человеком с другой планеты.

Прежде всего одет он был ужасно. Костюм из дешевого темного сукна, купленный в магазине готового платья, сидел на нем убийственно. Да Эрнесту, при его сложении, и нельзя было покупать ничего готового. Его богатырские мускулы выпирали из-под жиденького сукна, на атлетических плечах набегали складки. Глядя на его шею, массивную и мускулистую, как у профессионального боксера¹, я невольно подумала: так вот оно, последнее увлечение папы — философ-социолог, в недавнем прошлом подмастерье кузнеца. Он и сейчас напоминает кузнеца — достаточно взглянуть на эти мускулы и бычачий загибок. Очевидно, он из этих самородков. «Слепой Том»² рабочего класса.

А его рукопожатие! Оно было крепким и властным, и взгляд его черных глаз слишком пытливо, как мне показалось, задержался на моем лице. Так рассуждала я, дитя своей среды, девушка с классовыми предрассудками. Человеку моего круга я никогда бы не простила такой смелости. Помню, я невольно опустила глаза и с чувством облегчения поспешила навстречу епископу Морхаузу, нашему старому другу,— это был обаятельный человек средних лет, лицом и кротким нравом напоминавший Христа, к тому же очень серьезный и на редкость образованный.

Между тем смелость, показавшаяся мне чуть ли не оскорбительной, составляла, пожалуй, основную черту Эрнеста Эвергарда. Человек прямой и открытой души, он ничего не боялся и презирал всякие условности. «Ты мне понравилась,— объяснял он мне впоследствии.— Разве не естественно смотреть на то, что нравится?»

¹ В те времена на спорт смотрели как на средство наживы. Противники избивали друг друга кулаками, и боксер, убивший своего товарища или исколотивший его до полусмерти, получал за это кучу денег.

² Намек не ясен. Возможно, имеется в виду слепой от рождения негр музыкант, концерты которого во второй половине XIX века пользовались огромным успехом.

Как я уже говорила, Эрнест ничего не боялся. Это был аристократ по натуре, несмотря на свою принадлежность к совершенно противоположному общественному лагерю. Ницше¹ узнал бы в нем своего сверхчеловека, или, как он выражался, «белокурую бестию», — с той существенной разницей, что Эрнест отдал свое сердце демократии.

Занятая приемом гостей, я и думать забыла о неприятном философе из рабочих, но, когда мы сели за стол, мое внимание раз-другой привлекли искорки смеха в его глазах, очевидно вызванные беседой их преподобий. «Он не лишен юмора», — подумала я и почти простила гостю его нескладный костюм. Но время шло, обед близился к концу, а Эвергард так и не сказал ничего в ответ на бесконечные речи священников о церкви и рабочем классе, о том, что церковь сделала и что она собирается сделать для блага рабочих. Я заметила, что папа огорчен упорным молчанием своего протеже. Воспользовавшись небольшой заминкой в разговоре, он прямо обратился к Эрнесту и предложил ему высказать свои соображения. Тот только пожал плечами и равнодушно бросил: «У меня нет никаких соображений», — после чего с удвоенным усердием занялся соленым миндалем.

Но от папы не так-то легко было отделаться. Немного погодя он заявил:

— Сегодня среди нас присутствует представитель рабочего класса. Не сомневаюсь, что мы можем услышать от него много нового и поучительного для всех нас. Попросим же мистера Эвергарда высказаться.

Все любезно поддержали это предложение. Их преподобия с таким снисходительным видом приготовились слушать молодого оратора, что только-только не хлопали его по плечу. Я заметила, что Эрнест это чувствует и потешается в душе. Он медленно обвел глазами весь стол, и опять я уловила в них искорки смеха.

— Я не искушен в учтивостях церковных словопрений, — начал он и замялся, повидимому борясь с робостью и смущением.

¹ Фридрих Ницше жил в XIX веке христианской эры. Бесноватый философ, который в минуты прозрения видел причудливые отблески истины, но, обойдя весь положенный круг человеческой мысли, дофилософствовался до полного безумия.

— Просим, просим! — раздалось со всех сторон, а доктор Гаммерфилд сказал:

— Мы приветствуем слово истины, от кого бы оно ни исходило. — И прибавил: — Если оно сказано от чистого сердца.

— Так, по-вашему, истина может исходить и не от чистого сердца? — усмехнулся Эрнест.

Доктор Гаммерфилд оторопел, однако вышел из положения:

— Даже лучшие из нас ошибаются, молодой человек, даже лучшие...

Тон Эрнеста мгновенно изменился. Сейчас это был совсем другой человек.

— Отлично, — сказал он резко. — Тогда начну с того, что все вы жестоко ошибаетесь. Никто из вас понятия не имеет о рабочем классе. Хуже того, вы на него клевете. Ваша социология так же порочна и бесплодна, как и весь ваш метод мышления.

Поражали не столько слова, сколько тон, каким они были сказаны. При звуках этого голоса я встрепенулась. В нем было столько же смелости, сколько и во взгляде Эрнеста. Он звучал как призывный горн и отзывался во мне глубоким волнением. Да и все за столом оживились. Безразличие и сонливость как рукой сняло.

— В чем же выражается бесплодность и вопиющая порочность нашего метода мышления? — вскинулся доктор Гаммерфилд; ни в его голосе, ни в тоне не осталось и следа прежнего добродушия.

— Вы, господа, — метафизики! С помощью метафизики каждый из вас может доказать все, что душе угодно. А доказав, может вывести черным по белому, что все остальные метафизики ошибаются, после чего ему остается только почить на лаврах. В сфере мысли вы совершеннейшие анархисты. Мало того — вы рехнувшиеся изобретатели космогонических систем. Каждый из вас обитает в собственной вселенной, оборудованной по его собственному вкусу и разумению. Вы плохо представляете себе окружающий мир, а между тем вашим мышлением нет места в реальном мире, разве что в качестве примера умственной аберрации.

Знаете ли вы, о чем я думал, сидя за этим столом и слушая ваши излияния? Вы мне напомнили средневековых схоластов, которые самым серьезным образом исследовали и обсуждали животрепещущий вопрос о том, сколько ангелов может уместиться на острие иглы. Вы, дражайшие мои сэр, не меньше отстали от интеллектуальной жизни двадцатого столетия, чем какой-нибудь индеец-шаман, десять тысяч лет назад творивший заклинания в неизведанной глуши девственного леса.

Казалось, Эрнест охвачен негодованием. Лицо его пылало, глаза метали молнии, в губах и подбородке чувствовалась сосредоточенная ярость. Но такова была его манера спорить — он старался разжечь противника, вывести его из себя. Его размашистые, разящие удары, сокрушительные, как удары кузнечного молота, лишали собеседника самообладания. То же самое случилось и с нашими гостями. Епископ Морхауз наклонился вперед и ловил каждое слово Эрнеста. Лицо доктора Гаммерфилда побагровело от возмущения и гнева. Возмущение овладело всеми, хотя кое-кто улыбался иронически, с видом насмешливого превосходства. Что касается меня, то я наслаждалась общим смятением. Искоса поглядывая на отца, я видела, что он от души радуется действию бомбы, которая его стараниями попала в нашу столовую.

— Вы выражаетесь крайне туманно,— прервал оратора доктор Гаммерфилд.— Что собственно вы хотите сказать, называя нас метафизиками?

— Я называю вас метафизиками потому, что вы рассуждаете, как метафизики,— отвечал Эрнест.— Весь ход ваших рассуждений противоречит научному мышлению. Ваши выводы взяты с потолка. Вы можете доказывать все что угодно, и все это совершенно впустую, так как каждый из вас всегда остается при особом мнении. Вы ищете объяснения вселенной и самих себя в своем сознании. Но скорей вы оторветесь от земли, ухватив себя за уши, чем объясните сознание сознанием.

— Я не совсем понимаю,— отозвался епископ Морхауз.— Ведь если говорить о явлениях духовного мира, то все они относятся к области метафизики. Самая точная и убедительная из наук — математика — тоже чистейшая

метафизика. Мысль ученого всегда воспаряет в метафизику. С этим-то вы согласны?

— Я согласен, что вы не понимаете, как вы сами сказали,— возразил Эрнест.— Метафизик в своих рассуждениях пользуется дедуктивным методом, он субъективен в своих выводах и оценках. Ученый же пользуется индуктивным методом, он исходит из данных опыта. Метафизик от теории идет к фактам, ученый от фактов — к теории. Метафизик хочет собою объяснить мир. Ученый, познав мир, познает самого себя.

— Хвала создателю, мы не ученые,— самодовольно осклабился доктор Гаммерфилд.

— Кто же вы? — обратился к нему Эрнест.

— Философы.

— Вот именно,— рассмеялся Эрнест.— Вы оторвались от твердой, устойчивой земли и витаете в облаках, а между тем ваш летательный аппарат — это одна словесность. Но, может быть, вы спуститесь на землю и скажете мне, только поточнее, что вы называете философией?

— Философия — это... — доктор Гаммерфилд откашлялся, — это нечто, что не поддается объяснению и доступно только людям того склада ума, который можно назвать философским. Ограниченный ученый, уткнувшийся в свою пробирку, никогда не поймет, что такое философия.

Но Эрнест презрел этот выпад. Его обычным приемом было — бить противника его же оружием, что он теперь и сделал с видом самого братского расположения.

— В таком случае, надеюсь, вы поймете то определение философии, которое я намерен вам предложить. Но только предупреждаю, вам придется либо опровергнуть его, либо сложить оружие и отныне оставаться метафизиком втихомолку. Философия — это всего лишь наиболее объемлющая из наук. По своему методу она несколько не отличается от любой точной науки, равно как и от всех наук, вместе взятых. Пользуясь этим методом, а именно методом индуктивным, философия объединяет все точные знания в одну великую науку. По словам Спенсера, данные каждой отдельной науки представляют собой частицу единого знания. Философия же объединяет те знания, которые составляют вклад отдельных наук. Философия есть, таким образом, наука наук, наука

в высшем смысле этого слова, если хотите. Ну, что вы скажете о моем определении?

— Похвально, весьма похвально, — промямлил доктор Гаммерфилд.

Но Эрнест был неумолим.

— Не забывайте, — предостерег он, — что от этого определения непоздоровится вашей метафизике; раз вы его не опровергаете, значит вы — побитый метафизик, и вам уже не подобает больше выступать в этом качестве. Придется вам теперь перейти на положение метафизика в отставке или искать изъясна в моих рассуждениях, до тех пор пока вас не осенит счастливая догадка.

Эрнест ждал ответа. Наступило тягостное молчание, особенно томительное для доктора Гаммерфилда. Он, видимо, был даже не столько задет, сколько озадачен. Аргументы Эрнеста, увесистые, как удары кузнечного молота, совсем оглушили его. Прямые и открытые методы спора были ему, очевидно, в новинку. Почтенный доктор жалобно оглядел своих сотрапезников, но ни один не пришел ему на помощь. Я заметила, что папа смеется, закрывшись салфеткой.

— Существует и другой метод дискредитации метафизиков, — продолжал Эрнест, когда поражение доктора Гаммерфилда стало для всех очевидным. — Это — судить о них по их делам. Что сделали для человечества метафизики, кроме того, что пичкали его всякими бреднями и выдавали ему свои собственные тени за богов? Развлекали его на все лады? Согласен. Но какую они принесли сущитимую пользу? Они разводили философию — да простится мне неправильное употребление этого слова — по поводу того, что сердце есть седалище страстей, в то время как ученые исследовали законы кровообращения. Они провозглашали, что голод и чума — это кары небесные, между тем как ученые строили элеваторы и проводили в городах канализацию. Они создавали богов по своему образу и подобию, в то время как ученые строили мосты и прокладывали дороги. Они заявляли, что земля — это пуп вселенной, а в это время ученые открывали Америку и исследовали небесную твердь в поисках новых звезд — и законов, управляющих движением звезд. Словом, метафизики ничего — ровным счетом ничего — не

сделали для человечества. По мере того как наука двигалась вперед, метафизики шаг за шагом сдавали свои позиции. Но как только новые научные данные опрокидывали их субъективные теории, они выдумывали новые субъективные теории, предусмотрительно расчистив в них местечко и для новооткрытых данных. Этим они и будут пробавляться до скончания века. Метафизики, господа, это шаманы. Разница между вами и эскимосами, чей бог носит оленью шкуру и питается ворванью,— это тысячами накопленный опыт, и только.

— Мысль Аристотеля властвовала в Европе двенадцать столетий,— напыщенно провозгласил доктор Боллингфорд.— Хотя Аристотель был метафизиком.

Сказав это, он обвел глазами присутствующих, с удовлетворением отмечая сочувственные улыбки и одобрительные кивки.

— Ваш пример неудачен,— возразил Эрнест.— Вы ссылаетесь на самый темный период истории. Он так и называется: «темное средневековье». Это был период, когда метафизика подавила науку. Физику она свела к поискам философского камня, химию — к алхимии, астрономию — к астрологии. Ваше «владычество аристотелевой мысли» — битая карта!

Доктор Боллингфорд явно приуныл. Затем лицо его прояснилось.

— Да, все ужасы, которые вы нам изобразили, бесспорно имели место. Но согласитесь, что та же метафизика заключала в себе и силы, которые вывели человечество из мрака средневековья к свету последующих столетий.

— Метафизика тут ни при чем,— отрезал Эрнест.

— Как? — вскричал доктор Гаммерфилд.— Разве умозрительная философия и спекулятивное мышление не породили эру кругосветных путешествий и великих открытий?

Эрнест с улыбкой повернулся к нему.

— Дражайший сэр, вас, помнится, лишили права публичных выступлений. Ведь вы так и не опровергли мое определение философии. Вы теперь у нас на птичьих правах, но так как это участь всех метафизиков, я, так и быть, прощаю вас. Повторяю: не метафизика породила эру великих открытий. Хлеб насущный, шелка, драгоцен-

ности, золото, наконец, закрытие сухопутных путей в Индию — вот то, что заставило человека пуститься в плавание к далеким берегам. После падения Константинополя в 1453 году турки закрыли караванные пути, по которым европейские купцы ездили в Индию. Пришлось искать новых путей. Вот что вызвало развитие мореплавания. Вот что вызвало и путешествие Колумба. Вы найдете это в каждом учебнике истории. А заодно были добыты новые данные о размерах, форме и строении Земли, в результате чего система Птолемея полетела вверх тормашками.

Доктор Гаммерфилд фыркнул.

— Вы не согласны? — обратился к нему Эрнест. — В чем же, скажите, я не прав?

— Я не согласен, вот и все, — огрызнулся доктор Гаммерфилд. — Эта тема завела бы нас слишком далеко в дебри философии.

— Науке не страшны никакие дебри и никакие дали, — кротко отвечал Эрнест. — Потому-то она и добилась кой-чего. Потому-то она и открыла Америку.

Я не стану описывать всего вечера, хотя для меня нет большей радости, чем воспоминание о каждой подробности моего первого знакомства с Эрнестом Эвергардом.

Битва продолжалась все с тем же ожесточением, и наши гости все больше багровели и кипятились, особенно когда Эрнест стал честить их такими словами, как «горе-философы», «очковтиратели» и т. п. И все время он отсылал их к фактам. «Факт, сударь, неопровержимый факт!» — восклицал он торжествующе, уложив противника на обе лопатки. Факты были его оружием. И он засыпал ими противника, загонял в ловушки и ямы, обрушивал на него смертоносный огонь фактов.

— Вы, очевидно, молитесь фактам, — язвил доктор Гаммерфилд.

— Нет бога, кроме факта, и мистер Эвергард пророк сего, — вторил ему доктор Боллингфорд.

Эрнест весело кивнул в знак согласия.

— Я как тот техасец, — сказал он и, заметив, что от него ждут разъяснений, продолжал: — Уроженец штата Миссури всегда скажет вам: «Не поверю, пока сам не увижу»; техасец же скажет: «Не поверю, пока не подержу в руках». Из чего следует, что он отнюдь не метафизик.

Другой раз, когда Эрнест сказал, что у метафизиков утрачен критерий истины, на него надел доктор Гаммерфилд.

— Так что же является критерием истины, молодой человек? Может быть, вы нам скажете? Кстати, на этот вопрос не могли ответить и люди поумнее вашего.

— Вот то-то и есть, что не могли! — подхватил Эрнест. Его несокрушимая самоуверенность бесила их больше всего. — Эти мудрецы потому не нашли критерия истины, что искали его где-то в эмпириях. Если бы они держались твердой земли, они не только нашли бы его без труда, но и увидели бы, что каждое их действие, каждая мысль является проверкой истины.

— К делу, к делу! — кипятился доктор Гаммерфилд. — Мы обойдемся и без предисловий. Вы обещали возвестить нам критерий истины, который мы так долго искали. Просветите же нас, дабы мы уподобились богам.

Открытый вызов и глумление в его словах и тоне, по видимому, находили отклик в сердцах слушателей, и только епископу Морхаузу было явно не по себе.

— Доктор Джордан¹ определил критерий истины очень точно, — сказал Эрнест. — Он говорил: «Проверяйте его в действии. Годится только то, чему вы без страха доверили бы свою жизнь!»

— Пффа! — Доктор Гаммерфилд насмешливо улыбался. — А епископ Беркли?² Его еще никто не опровергнул!

— Король метафизиков! — рассмеялся Эрнест. — Ваш пример неудачен. Беркли и сам не доверял своей метафизике.

Доктор Гаммерфилд пришел в негодование, в священное негодование. Можно было подумать, что он изобличил Эрнеста в воровстве или во лжи.

¹ Видный научный деятель конца XIX и начала XX века. Был ректором Стенфордского университета, основанного на частные средства.

² Родоначальник идеалистического монизма; его учение, полностью отрицающее материю, ставило в тупик философов того времени. Окончательно отвергнуто философией с тех пор, как в ней восторжествовал метод обобщения данных научного опыта.

— Молодой человек! — загремел он. — Ваше утверждение так же возмутительно, как и все, что нам пришлось здесь выслушать. Это низкое и необоснованное утверждение.

— Я уничтожен, убит! — покорно отозвался Эрнест. — Но я хотел бы знать, какой кирпич свалился мне на голову. Нельзя ли поддержать его в руках, доктор Гаммерфилд?

— Извольте, извольте! — Доктор Гаммерфилд отчаянно брызгал слюной. — Откуда вы это взяли? Где это сказано, будто бы епископ Беркли сам признавал, что его метафизика порочна. Какие у вас доказательства? Молодой человек, метафизика епископа Беркли живет в веках!

— Доказательство того, что Беркли не доверял своей метафизике, я усматриваю в следующем: Беркли, входя в комнату, всегда и неизменно пользовался дверью, а не лез напролом через стену. Беркли, дорожа своей жизнью и предпочитая действовать наверняка, налегал на хлеб и на масло, не говоря уже о ростбифе. Когда Беркли брился, он обращался к помощи бритвы, ибо на опыте убедился, что она начисто снимает щетину с его лица.

— Но это дела житейские! — воскликнул доктор Гаммерфилд. — Метафизика же ведает сверхчувственным миром.

— Так, значит, метафизика надежный кормчий в сверхчувственном мире? — вкрадчиво спросил Эрнест.

Доктор Гаммерфилд усиленно закивал головой.

— Что ж, и сонмы ангелов могут отплясывать на острие иголки — в сверхчувственном мире, — вслух размышлял Эрнест. — И питающийся ворванью, одетый в моржовую шкуру эскимосский божок имеет все права на существование — в сверхчувственном мире. Там это, пожалуй, не встретит никаких возражений. А сами вы, доктор, тоже живете в сверхчувственном мире?

— «Мой разум — мир, где я живу», — отвечивал доктор.

— Вы хотите сказать, что вы чужды всему земному. Но к обеду вы, разумеется, не забываете спуститься на землю. И от землетрясения тоже не ищете укрытия в облаках. Кстати, вы не боитесь, доктор, что, случись у нас землетрясение, вас может основательно хватить по вашей

нематериальной макушке этаким увесистым нематериальным кирпичом?

Доктор Гаммерфилд невольно поднес руку к затылку, где еще можно было разглядеть заросший волосами шрам. Эрнест неожиданно попал в точку. Во время Великого землетрясения¹ доктора Гаммерфилда чуть не убило тяжелым каминным карнизом. За столом поднялся дружный хохот.

— Так как же? — продолжал Эрнест, когда оживление улеглось. — Я жду ваших возражений.

Все молчали, и он снова сказал:

— Я жду. — А затем добавил: — Что ж, и это аргумент, но только не в вашу пользу.

Но доктор Гаммерфилд временно выбыл из строя, и вскоре спор перекинулся в другую область. Пункт за пунктом Эрнест разбивал доводы церковников. Когда они заявляли, что знают рабочих, Эрнест доказывал, что им не знакомы простейшие, азбучные истины о положении рабочего класса, и требовал, чтобы они его опровергли. И все время он забрасывал их фактами, напоминал о фактах, возвращал к фактам и реальной действительности.

Эта сцена неизгладимо живет в моей памяти. Голос Эрнеста с его столь знакомыми мне металлическими нотками и сейчас еще звучит в моих ушах, и каждый факт, которым он разит своих противников, кажется мне метким ударом гибкого, жалящего бича. Эрнест был безжалостен. Он не просил пощады² и не давал ее никому. Особенно памятна мне взбучка, которую он задал нашим гостям под самый конец.

— Сегодня вы не раз доказали, что не знаете рабочих: некоторые из вас заявляли это прямо, за других говорило невежество их ответов. Впрочем, вас трудно и винить, — где уж вам знать рабочих! Вы не живете с ними, вы предпочитаете селиться в кварталах богачей. Да почему бы и нет? Ведь богачи и содержат, и кормят вас,

¹ Так называли землетрясение, разрушившее город Сан-Франциско в 1906 году хр. эры.

² В этом выражении отразился обычай тех времен. Когда один из противников, сцепившихся, подобно диким зверям, в смертельной схватке, складывал оружие, от победителя зависело — умертвить его или оставить ему жизнь.

и обряжают вот в эту самую добротную одежду, в которой вы сегодня пожаловали сюда. Ну и вы, чтобы не остаться в долгу, расхваливаете ту марку метафизики, которая им всего более по душе. А известно, какая марка философии и религии по душе капиталистам: та, которая не угрожает существующему строю.

Ответом на эти слова был ропот возмущения.

— Я не обвиняю вас в двоедушии,— продолжал Эрнест.— Вы и в самом деле так чувствуете. Вы проповедуете то, во что верите. Этим-то вы и дороги капиталистам, в этом ваша сила. Но стоит вам изменить свой образ мыслей и выступить против существующих порядков, как вам немедленно укажут на дверь: такие проповеди не приемлемы для ваших хозяев. Признайтесь, ведь подобные случаи бывали¹. Не правда ли?

На этот раз никто не спорил. Все молчаливо согласилось с оратором, и только доктор Гаммерфилд сказал:

— Указывают на дверь тем, кто сбился с пути истинного.

— Называйте, как хотите. Сбиться с пути истинного — это и значит проповедовать то, что не показано,— возразил Эрнест и продолжал: — Так вот что я вам скажу. Проповедуйте, что вам положено, и получайте, что вам причитается. Но только, бога ради, оставьте в покое рабочих. Ваше место — в стане их врагов. У вас с рабочими не может быть ничего общего. Ваши руки изнежены оттого, что за вас работают другие. Вон вы какие тела нагуляли, это от сытой, привольной жизни. (Доктор Боллингфорд невольно поежился, чувствуя, что все взгляды устремлены на его солидное брюшко, которое, как говорили злые языки, давно уже мешало ему видеть собственные ноги.) Ваши головы набиты доктринами, полезными для поддержания существующего строя. Вы такие же наемники (преданные наемники, допустим), какими была в свое время швейцарская гвардия². Служите же своим хозяевам верой и правдой, стойте на страже их интересов;

¹ В те годы немало священников было отлучено от церкви за то, что они проповедовали взгляды, неугодные правящим классам, а особенно такие, которые отражали влияние социалистических идей.

² Наемная дворцовая стража Людовика XVI, французского короля, казненного народом.

но только не сбивайте с толку рабочих, не обманывайте их своими лжеучениями. Нельзя быть воином двух станов: это прежде всего нечестно. До сих пор рабочий класс обходился без ваших услуг. Поверьте, они ему не понадобятся и в дальнейшем. Напротив, вы не можете ему принести ничего, кроме вреда.

Глава вторая

МНЕ И ЕПИСКОПУ МОРХАУЗУ БРОШЕН ВЫЗОВ

Когда гости разошлись, отец упал в кресло и от души расхохотался. С тех пор как мы схоронили матушку, я не видела его таким веселым.

— Ручаюсь, что доктору Гаммерфилду не приходилось еще бывать в такой переделке,— потешался он.— Вот тебе и «учтивости церковных словопрений»! Ты заметила, как этот Эвергард сначала прикинулся овечкой и вдруг обернулся львом рыкающим. А какой дисциплинированный ум! Он мог бы стать прекрасным ученым, но только интересы у него направлены не в ту сторону.

Нечего и говорить, что и меня взволновала встреча с Эрнестом Эвергардом. И не только смысл и своеобразная форма его речей,— меня заинтересовал сам человек. В нашем кругу не встречались такие люди. Может быть, поэтому я все еще не помышляла серьезно о замужестве, несмотря на свои двадцать четыре года. Эрнест мне нравился, я должна была себе в этом сознаться. И это говорил мне не ум, не рассудок. Невзирая на его атлетическое сложение и шею боксера, я угадывала в нем детски-наивную душу. Под обликом неукротимого бунтаря скрывалась нежная, чувствительная натура. Трудно сказать, что внушило мне эти мысли,— вернее всего, их подсказало сердце.

Голос Эрнеста, в котором слышался чистый звон металла, проникал мне в душу. Интонации этого голоса все еще звучали в моих ушах, и мне хотелось снова слышать его, ловить искорки смеха в глазах этого человека, лицо которого, казалось, выражало одну лишь решительность и суровость. Встреча эта пробудила во мне и другие, еще смутные и неопределенные, желания и ощущения. Я, может быть, уже тогда полюбила Эрнеста, хотя эти неясные

чувства, вероятно, угасли бы без следа, если бы нам не довелось больше встретиться.

Судьба не допустила этого. Этого не допустило новое увлечение моего отца социологией и задуманная им серия обедов. Отец не был социологом по образованию. Его брак с моей матерью был счастливым союзом, а работа в любимой области — физике — давала ему огромное удовлетворение. Но со смертью матушки в жизни его образовалась пустота, которую старые, привычные занятия не могли заполнить. Отец заинтересовался философией — скорее как любитель, а потом серьезно увлекся социологией и политической экономией. В нем всегда было сильно чувство справедливости, а теперь оно сделалось его главной страстью: он мечтал об уничтожении несправедливости на земле. Я радовалась его возвращению к деятельной жизни, не подозревая, чем это может кончиться для него. С энтузиазмом юноши окунулся он в новую для него сферу, нимало не задумываясь над тем, куда это может его привести.

Лабораторные занятия были для отца привычной стихией, и теперь он превратил нашу столовую в своего рода социологическую лабораторию. На его обедах бывали люди всех рангов и сословий — ученые, политики, банкиры, коммерсанты, профессора, профсоюзные деятели, социалисты и анархисты. Отец вызывал своих гостей на беседы и споры, а потом анализировал их взгляды на жизнь и общество.

С Эрнестом он познакомился незадолго до нашего «синедриона». В тот вечер, после ухода гостей, отец рассказал мне, как недавно, проходя по улице, он остановился послушать агитатора, обращавшегося к толпе рабочих. Это и был Эрнест. Впрочем, такие уличные выступления не входили в его обязанность. Эрнест занимал видное положение в социалистической партии, его считали авторитетом в вопросах социалистической философии. Он умел ясно излагать самые сложные вещи и, будучи прирожденным учителем и пропагандистом, не пренебрегал и уличной трибуной, стремясь к распространению среди рабочих экономических знаний.

Заинтересовавшись молодым агитатором, отец тут же условился с ним о новой встрече, а затем, как знакомого, пригласил на обед с представителями церкви. И только

после обеда он рассказал мне то небольшое, что успел узнать о своем новом приятеле.

Эрнест родился в рабочей среде, несмотря на то, что род его, принадлежавший к старинным американским пионерам, уже двести с лишним лет как поселился в Америке¹. Десятилетним мальчуганом Эрнест поступил на фабрику, выучился кузнечному делу и работал кузнецом. Он не получил систематического образования, но, занимаясь самостоятельно, изучил даже французский и немецкий язык и теперь перебивался переводами научных и философских книг для небольшого чикагского социалистического издательства. Кое-какие крохи приносили ему его собственные брошюры по вопросам философии и экономики, весьма туго распродававшиеся.

Все это я узнала в тот самый вечер и потом долго не могла уснуть, взволнованная новыми впечатлениями, прислушиваясь к мощному голосу, который не переставал звучать в моей памяти. Я непрестанно думала об Эрнесте и сама пугалась своих мыслей. Этот человек был так непохож на тех, кого я знала, от него веяло незнакомой, суровой силой. Его властность и привлекала и страшила меня, так как, отдавшись вольной игре воображения, я уже рисовала его себе своим возлюбленным, своим мужем. Я часто слышала, что сила в мужчине неотразимо привлекает женщин. Но этот человек был слишком силен. «Нет, нет,— восклицала я,— немыслимо, невозможно!» Но утром я уже опять мечтала о новой встрече с Эрнестом. Я жаждала вновь увидеть его в горячей схватке с противниками, услышать звон металла в его голосе, наблюдать, с какой уверенностью и силой он расправляется со своими оппонентами, выколачивая из них спесь и самодовольство, как расшатывает их привычные верования и убеждения. Пусть он не знает удержу. Говоря его собственными словами, это «помогало», давало результаты. Его стремительность увлекала за собой, она волновала, словно звуки трубы перед атакой.

Прошло несколько дней. За это время я познакомилась с теми книжками Эрнеста, которые нашлись у папы.

¹ В то время между коренным населением США и пришлым элементом проводилось резкое и оскорбительное различие.

Писал он так же, как говорил, — ясно и убедительно. Вы могли не соглашаться с ним, но вас невольно восхищала простота и прозрачность его слога. Мысль его работала необыкновенно четко. Это был популяризатор по призванию. Но, несмотря на все достоинства изложения, со многим в его писаниях я не могла согласиться. Он слишком подчеркивал то, что называл классовой борьбой, антагонизмом между трудом и капиталом, столкновением интересов.

Папа сообщил мне, посмеиваясь, что доктор Гаммерфилд отзывался об Эрнесте как о «дерзком щенке, который возомнил о себе, начитавшись плохих книжек». Почтенный пастырь наотрез отказался от дальнейших встреч с Эрнестом.

Зато епископ Морхауз проявлял интерес к молодому агитатору и очень хотел еще раз встретиться с ним. «Энергичный юноша, — сказал он отцу, — в нем много жизни, много сил. Но только очень уж он себе верит».

Как-то вечером отец опять привел к нам Эрнеста. Пришел и епископ, и нам подали чай на веранде. Здесь уместно пояснить, что затянувшееся пребывание Эрнеста в нашем городе было вызвано тем, что он слушал в университете специальный курс по биологии, а кроме того, прилежно работал над своей книгой «Философия и революция»¹.

До чего же тесной показалась мне наша веранда с появлением на ней Эрнеста! Собственно он был не такой уж высокий — пять футов девять дюймов, — но все как-то тускло и терялось рядом с ним. Здороваясь со мной, он заметно смутился, и меня удивила застенчивая неуклюжесть его поклона, не вязавшаяся ни с его решительным взглядом, ни с крепким рукопожатием. И опять его глаза смело и уверенно заглянули в мои. На этот раз я прочла в них вопрос, и снова он слишком пристально смотрел на меня.

— Я прочитала вашу «Философию рабочего класса», — сказала я.

Глаза Эрнеста потеплели.

— Надеюсь, вы приняли во внимание, что эта книжка рассчитана на определенную аудиторию? — сказал он.

¹ В течение трехсотлетнего владычества Железной пяты эта книга неоднократно выходила в подпольных изданиях. Несколько экземпляров ее хранятся в Ардисе, в Национальной библиотеке.

— Да, и как раз поэтому я хочу с вами поспорить,— продолжала я отважно.

— Я тоже хочу с вами поспорить, мистер Эвергард,— вставил епископ Морхауз.

Эрнест слегка пожал плечами и принял из моих рук чашку чаю.

Епископ легким поклоном в мою сторону дал понять, что просит меня говорить первой.

— Вы разжигаете классовую ненависть,— начала я.— Я считаю недостойным и даже преступным такое обращение к самым темным инстинктам рабочего класса, к его ограниченности и жестокости. Классовая ненависть — это чувство антисоциальное, что общего может быть между ней и социализмом?

— Не виновен ни словом, ни помышлением,— возразил Эрнест.— Ни в одной из моих книг нет ни строчки о классовой ненависти.

— Полноте! — воскликнула я с упреком и, достав брошюру, принялась перелистывать ее.

Он спокойно пил чай, с улыбкой поглядывая на меня.

— Вот, страница сто тридцать вторая,— продолжала я.— «На современном этапе развития отношения между классом, покупающим рабочую силу, и классом, продающим ее, принимают характер классовой борьбы».

Я посмотрела на Эрнеста с торжеством.

— Тут ни слова нет о классовой ненависти,— сказал он улыбаясь.

— Но разве здесь не сказано: классовая борьба?

— Так это же разные вещи,— возразил Эрнест.— Поверьте, мы не разжигаем ненависти. Мы говорим, что классовая борьба — это закон общественного развития. Не мы несем за нее ответственность, не мы ее породили. Мы только исследуем ее законы, как Ньютон исследовал законы земного притяжения. Мы объясняем, в чем существо противоречивых интересов, столкновение которых приводит к классовой борьбе.

— Но никаких противоречий быть не должно! — воскликнула я.

— Согласен,— ответил Эрнест.— Мы, социалисты, и добиваемся устранения этих противоречий. Разрешите мне прочесть вам небольшой отрывок.— Он взял книжку

и полистал ее.— Страница сто двадцать шестая: «Период классовой борьбы, возникающий с распадом первобытного коммунизма и переходом к периоду накопления частной собственности, должен завершиться обобществлением частной собственности...»

— Позвольте мне все же не согласиться с вами,— вмешался епископ. Легкий румянец на его бледном аскетическом лице казался отблеском внутреннего огня.— Я отвергаю ваше исходное положение. Между интересами капитала и труда нет противоречий,— во всяком случае их не должно быть.

— Покорнейше благодарю,— отвечал Эрнест, на этот раз с величайшей серьезностью.— Ваши последние слова возвращают мне мое исходное положение.

— Но почему вы считаете это неизбежным? — допытывался епископ.

Эрнест развел руками:

— Вероятно, люди так устроены.

— Нет, люди не так устроены! — горячился епископ.

— Кого же вы имеете в виду? — спросил Эрнест.— Быть может, вам мерещатся какие-то идеальные натуры, чуждые корысти и мирских интересов? Но ведь это столь редкостные явления, что о них и говорить не стоит. Или же вы имеете в виду обыкновенного, рядового человека?

— Я имею в виду обыкновенного, рядового человека,— последовал ответ.

— Наделенного слабостями, склонного к ошибкам и заблуждениям?

Епископ кивнул.

— Мелочного, эгоистичного?

Епископ снова кивнул.

— Берегитесь! — воскликнул Эрнест.— Я сказал «эгоистичного».

— Средний человек эгоистичен,— храбро подтвердил епископ.

— Ему сколько ни дай, все мало!..

— Да, ему сколько ни дай, все мало... Как это ни прискорбно, я согласен с вами.

— Ну, тогда вы попались! — Челюсти Эрнеста грозно сомкнулись, точно захлопнулась ловушка.— Позвольте

мне объяснить вам. Возьмем человека, работающего, скажем, в трамвайной компании.

— Эту работу предоставил ему капитал,— ввернул епископ.

— Правильно, но капитал не мог бы существовать без рабочих, обеспечивающих ему дивиденды.

Епископ промолчал.

— Согласны?

Епископ кивнул.

— В таком случае мы квиты и можем начать сначала.— Тон у Эрнеста был самый деловой.— Итак, трамвайные рабочие дают свой труд. Акционеры дают капитал¹. Совместными усилиями труда и капитала создается новая стоимость. Она делится между рабочими и предпринимателями. Доля капитала называется «дивидендами», доля труда — «заработной платой».

— Совершенно верно,— сказал епископ.— Но почему же этот дележ не может быть полюбовным?

— Вы забыли, с чего мы начали,— возразил Эрнест.— Мы установили, что средний человек — эгоист. Нас ведь интересуют настоящие, живые люди. Вы же опять вознеслись в эмпирию и говорите о бескорыстных существах, достойных всякой похвалы, но не существующих в природе. Спустившись на землю, мы должны сказать, что рабочий, будучи обыкновенным смертным, хочет получить при дележе возможно большую долю. Капиталист тоже норовит получить возможно больше. Но там, где разделу подлежат точно определенные, реальные ценности и где та и другая сторона хочет получить бóльшую долю, неминуемо возникает столкновение интересов. Вот вам и конфликт между трудом и капиталом. И, надо сказать, конфликт неразрешимый. До тех пор, пока существуют труд и капитал, будут существовать разногласия между ними в вопросе о разделе материальных благ. Если бы вы сегодня оказались в Сан-Франциско, вам пришлось бы передвигаться пешком. Сегодня на линию не вышел ни один вагон.

¹ В те времена объединения частных собственников грабительски присваивали себе все средства передвижения и за пользование ими взымали с населения плату.

— Опять забастовка? ¹ — горестно воскликнул епископ.

— Да. Очередные разногласия у рабочих и трамвайной компании по вопросу о заработной плате.

Епископ Морхауз был вне себя от огорчения.

— Какая пагубная ошибка!.. — воскликнул он. — Как это недалеко видно со стороны рабочих. Разве могут они надеяться на сочувствие, если...

— Если заставляют нас ходить пешком, — лукаво подсказал ему Эрнест.

Но епископ пропустил мимо ушей его замечание.

— Это непростительная ограниченность и узость. Человек не должен становиться диким зверем. Опять начнется насилие, убийство! Сколько безутешных вдов, бесприютных сирот! Рабочим и предпринимателям следовало бы быть верными союзниками. Они должны работать дружно, это выгодней и для тех и для других.

— Опять вы парите в небесах, — холодно остановил его Эрнест. — Вернитесь на землю. Вспомните: человек эгоистичен.

— Но этого не должно быть! — воскликнул епископ.

— Согласен, — последовал ответ. — Человек не должен быть эгоистом, но он останется им при социальной системе, которая основана на неприкрытом свинстве.

У епископа перехватило дыхание. Папа втихомолку смеялся.

— Да, неприкрытое свинство, — продолжал неумолимо Эрнест, — вот истинная сущность капиталистической системы. И вот за что ратует ваша церковь, вот что и сами вы проповедуете, всходя на кафедру. Свинство! Другого названия этому не подобрать.

Епископ жалобно посмотрел на отца, но тот, все так же смеясь, энергично закивал головой.

¹ Такие неурядицы были частым явлением в те времена неразумной, анархической системы. То рабочие отказывались выходить на работу, то капиталисты отказывались допускать их к работе. Возникали беспорядки и акты насилия, отчего гибло много ценного имущества и человеческих жизней. Все это в такой же мере непонятно нам, как и распространенное в ту пору среди низших классов явление, когда муж, обозлившись на жену, бил посуду и ломал мебель.

— Боюсь, что мистер Эвергард прав,— сказал он — У нас господствует принцип «laissez faire», иначе говоря — «каждый за себя, а черт за всех». Как мистер Эвергард говорил в прошлый раз, церковь стоит на страже существующего порядка, а основа этого порядка именно такова.

— Христос не этому учил нас! — воскликнул епископ.

— Нынешней церкви нет дела до учения Христа,— вмешался Эрнест.— Потому-то она и растеряла своих приверженцев среди рабочих. В наши дни церковь поддерживает ту чудовищную, зверскую систему эксплуатации, которую установил класс капиталистов.

— Нет, церковь ее не поддерживает,— настаивал епископ.

— Но она и не восстает против нее. А раз так, значит она эту систему поддерживает. Да это и естественно, ведь церковь существует на средства капиталистов.

— Мне это никогда не приходило в голову,— просто-душно возразил епископ.— Думаю, что вы не правы. Я знаю — в этом мире немало тяжелого и несправедливого. Знаю, что церковь утратила часть своих сынов — так называемый пролетариат...¹

— Пролетариат никогда не был вашим,— загремел Эрнест.— Он рос вне церкви, церковь меньше всего им занималась.

— Я вас не понимаю,— пролепетал епископ.

— А не понимаете, так я объясню вам. Вам, конечно, известно, что с появлением машин и возникновением фабрик во второй половине восемнадцатого века огромное большинство трудящегося населения было оторвано от земли. Условия труда в корне изменились. Бросив родные деревни, рабочий люд вынужден был селиться в тесных, скученных кварталах больших городов. Не только мужчины, но и матери семейств и дети были приставлены к машинам. Рабочий не имел семьи. Его жизнь была ужасна. Эти страницы истории залиты кровью.

¹ Пролетариат — от латинского *proletarii*. Под этим названием в цензовом кодексе Сервия Туллия значились те римские жители, которые ничего не могли дать государству, кроме своего потомства (*proles*). Это были люди, не имевшие ни состояния, ни общественного положения, а также не выделявшиеся из общего числа своими способностями.

— Знаю, знаю,— перебил его епископ, страдальчески морщась.— Все это ужасно. Но это было полтора века тому назад.

— Полтора века тому назад и возник современный пролетариат,— подхватил Эрнест.— А где была тогда церковь? Капитал погнал на бойню чуть ли не целый народ, а как отнеслась к этому церковь? Церковь молчала. Она не протестовала, как и сейчас не протестует. Вспомните, что говорит по этому поводу Остин Льюис¹: «Те, кому было заповедано: «Пасите овец моих», спокойно смотрели, как их овец продавали в рабство и замучивали до смерти на тяжелой работе»². В эти страшные годы церковь безмолвствовала... Но прежде чем продолжать, я хочу, чтобы вы мне ответили: согласны вы со мной или не согласны? Так это или не так?

Епископ колебался: он не привык к этой тактике «лововой атаки», как называл ее Эрнест.

— История восемнадцатого века уже написана,— настаивал Эрнест.— Если бы церковь что-нибудь сделала в те времена, мы могли бы прочесть об этом в книгах.

— Боюсь, что церковь действительно молчала,— вынужден был признать епископ.

— Сегодня она так же молчит.

— Нет, с этим я не могу согласиться,— возразил епископ.

Эрнест не сразу ответил. Он испытующе посмотрел на своего собеседника, потом, видно, принял решение.

— Ладно,— сказал он,— посмотрим. В чикагских швейных мастерских женщины за целую неделю работы получают девяносто центов. Протестовала против этого церковь?

— Для меня это новость. Девяносто центов! Неслышанно, ужасно!

¹ Кандидат социалистов на пост калифорнийского губернатора во время выборов 1906 года. Англичанин по рождению, автор многих книг по философии и политической экономии, Льюис был одним из руководящих социалистических деятелей своего времени.

² Чудовищная эксплуатация женщин и детей на английских фабриках во второй половине XVIII века представляет собой один из самых страшных и позорных эпизодов человеческой истории. Крупнейшие состояния того времени возникли в этой преисподней английской промышленности.

— Протестовала церковь? — повторил Эрнест.

— Церкви это неизвестно, — отчаянно защищался епископ.

— А разве не церкви было заповедано: «Пасите овец моих»? — издевался Эрнест. И тут же спохватился: — Простите, епископ, но с вами всякое терпение теряешь. А протестовали вы, обращаясь к своим богатым прихожанам, против применения детского труда на текстильных фабриках Юга? ¹ Знаете ли вы, что шести-семилетние дети работают там в ночной смене, и это сплошь и рядом — при двенадцатичасовом рабочем дне? Они никогда

¹ Эвергард мог бы привести и более яркие примеры, вспомнив, как церковь на Юге открыто ратовала за рабовладение в годы, предшествовавшие так называемой Гражданской войне. Приведем здесь несколько примеров из документов того времени. В 1835 году Всеамериканский собор пресвитерианской церкви постановил: «Рабство признано как Ветхим, так и Новым заветом и, следовательно, не противоречит воле всевышнего». В том же 1835 году Чарлстонское общество баптистов в своем обращении к верующим провозгласило: «Право господина располагать временем своих рабов освящено творцом всего сущего, ибо он волен любое из своих творений передать в собственность кому пожелает». Преподобный И. Д. Саймон, доктор богословия и профессор Рендолф-Мэконского методистского колледжа в Виргинии, писал: «Текстами священного писания совершенно недвусмысленно утверждается право рабовладения со всеми вытекающими отсюда последствиями. Право купли и продажи рабов установлено со всей ясностью. Обратимся ли мы к еврейскому закону, дарованному самим господом богом, или же к общепринятым воззрениям и обычаям всех времен и народов, или же к предписаниям Нового завета и его нравственному учению, — повсюду находим мы доказательства того, что в рабовладении нет ничего безнравственного. Поскольку первые рабы, привезенные в Америку из Африки, были законно проданы в рабство, в рабстве должны оставаться и их потомки. Все это убеждает нас в том, что рабовладение в Америке основано на праве».

Естественно, что, выступая несколько десятилетий спустя в защиту капиталистической собственности, церковь прибегала к таким же доводам. В богатейшем Эсгардском книгохранилище имеется труд некоего Генри Ван-Дейка, изданный в 1905 году хр. эры под заглавием «Опыты толкования». Очевидно, Ван-Дейк был деятелем церкви. Книга его — яркий образчик того, что Эвергард назвал бы «буржуазным мышлением». Сравните заявление Чарлстонского общества баптистов со следующим заявлением Ван-Дейка, сделанным семнадцать лет спустя: «Библия учит нас, что господь — владыка мира, а следовательно, он волен одарить каждого из живущих по своему соизволению, в согласии с существующими законами».

не видят солнца. Они мрут, как мухи. Дивиденды выплачиваются их кровью. Зато потом где-нибудь в Новой Англии на эти самые дивиденды вам выстроят роскошные церкви, для того чтобы ваш брат-священник лепетал этим держателям дивидендов, гладким и толстопузым, всякие умильные пошлости!

— Я ничего этого не знал,— чуть слышно прошептал епископ. Он побледнел и, казалось, боролся с тошнотой.

— Стало быть, вы не протестовали?

Епископ отрицательно покачал головой.

— Стало быть, церковь и сегодня безмолвствует, так же как в восемнадцатом веке?

Епископ опять промолчал, но Эрнест и не настаивал на ответе.

— Кстати, не забудьте, что если бы священник и осмелился протестовать, ему пришлось бы немедленно распрощаться со своей кафедрой и приходом.

— Боюсь, что вы не справедливы,— кротко заметил епископ.

— И вы решились бы протестовать? — спросил Эрнест.

— Укажите мне подобные факты в нашей общине, и я буду протестовать.

— Я покажу их вам,— спокойно сказал Эрнест.— Вы можете располагать мной. Я проведу вас через ад.

— Хорошо. И тогда я буду протестовать.— Епископ выпрямился, его кроткое лицо озарилось решимостью воина.— Церковь больше не будет безмолвствовать!

— Вас лишат сана,— предостерег Эрнест.

— Я докажу вам обратное,— ответил епископ.— Если все, что вы говорите,— правда, я докажу вам, что церковь согрешила по неведению. Мало того, я уверен, что все ужасы нашего промышленного века объясняются полным неведением, в котором пребывает и класс капиталистов. Увидите, как все изменится, едва лишь до него дойдет эта весть. А долг принести ему эту весть лежит на церкви.

Эрнест рассмеялся. Грубая беспощадность этого смеха заставила меня вступить за епископа.

— Не забывайте,— сказала я,— что вам знакома только одна сторона медали. В нас тоже много хорошего, хоть мы и кажемся вам законченными злодеями. Епископ

прав. Те ужасы, которые вы здесь рисовали, мало кому известны. Вся беда в том, что пропасть, разделяющая общественных классы, слишком уж велика.

— Дикари индейцы не так жестоки и кровожадны, как ваши капиталисты,— отвечал Эрнест.

В эту минуту я ненавидела его.

— Вы нас не знаете. Совсем мы не жестоки и не кровожадны!

— Докажите! — В голосе его звучал вызов.

— Как могу я доказать что-либо... вам? — Я не шутя сердилась.

Эрнест покачал головой.

— Мне вы можете не доказывать; докажите себе.

— Я и без того знаю.

— Ничего вы не знаете,— отрезал он грубо.

— Дети, дети, не ссорьтесь,— попробовал успокоить нас папа.

— Мне дела нет...— начала я возмущенно, но Эрнест прервал меня:

— Насколько мне известно, вы или ваш отец, что одно и то же, состоите акционерами Сьеррской компании.

— Какое это имеет отношение к нашему спору? — негодовала я.

— Ровно никакого, если не считать того, что платье, которое вы носите, залито кровью рабочих. Пища, которую вы едите, приправлена их кровью. Кровь малых детей и сильных мужчин стекает вот с этой крыши. Стоит мне закрыть глаза, и я явственно слышу, как она капля за каплей заливают все вокруг.

Он и в самом деле закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Слезы обиды и оскорбленного тщеславия брызнули из моих глаз. Никто еще не обращался со мной так грубо. Поведение Эрнеста смутило даже папу, не говоря уж о добряке епископе. Они тактично старались перевести разговор в другое русло,— но не тут-то было. Эрнест открыл глаза, посмотрел на меня в упор и жестом попросил их замолчать. В углах его рта залегла суровая складка, в глазах — ни искорки смеха. Что он хотел сказать, какую готовил мне казнь, я так и не узнала, ибо в эту самую минуту кто-то внизу, на тротуаре, остановился у нашего дома и посмотрел на нас. Это был рослый мужчина, бедно

одетый, тащивший на спине целую гору плетеной мебели — стульев, этажерок, ширм. Он оглядывал наш дом, видимо раздумывая, стоит или не стоит предлагать здесь свой товар.

— Этого человека зовут Джексон, — сказал Эрнест.

— Такому здоровяку следовало бы работать, а не торговать в разнос¹, — раздраженно отозвалась я.

— Взгляните на его левый рукав, — мягко сказал Эрнест.

Я взглянула — рукав был пустой.

— За кровь этого человека вы тоже в ответе, — все так же миролюбиво продолжал Эрнест. — Джексон потерял руку на работе, он старый рабочий Сьеррской компании, однако вы не задумываясь выбросили его на улицу, как гонят со двора издыхающую клячу. Когда я говорю «вы», я имею в виду вашу администрацию, всех тех, кому акционеры Сьеррской компании поручили управлять своим предприятием, кому они платят жалованье. Джексон — жертва несчастного случая. Его погубило желание сберечь Компании несколько долларов. Ему бы надо было оставить без внимания кусочек кремня, попавший в зубья барабана, — поломались бы два ряда спиц, зато рука была бы цела. А Джексон потянулся за кремнем; вот ему и разmozжило руку по самое плечо. Дело было ночью. Работали сверхурочно. Те месяцы принесли акционерам особенно жирные прибыли. Джексон простоял у машины много часов, и мускулы его потеряли свою упругость и гибкость, движения замедлились. Тут-то его и зацапала машина. А ведь у него жена и трое детей.

— Что же сделала для него Компания? — спросила я.

— Ничего. Виноват! Кое-что сделала: она опротестовала иск Джексона о возмещении за увечье, предъявленный им после выхода из больницы. К услугам Компании, как вам известно, опытные юристы.

— Вы освещаете дело односторонне, — уверенно ска-

¹ В те времена тысячи полунищих торговцев ходили из дома в дом, предлагая свой товар. Это было, разумеется, нецелесообразным расходом человеческих сил. В сфере распределения наблюдалась та же бессистемность и хаотичность, которая характеризовала весь общественный уклад в целом.

зала я.— Может быть, вам и не все известно. Человек этот, должно быть, дерзко вел себя.

— Дерзко вел себя? Ха-ха-ха! — саркастически рассмеялся Эрнест.— Человек с начисто отхваченной рукой осмелился дерзить кому-то! Нет, Джексон смирный, безответный малый. Таких художеств за ним никогда не водилось.

— А суд? — не сдавалась я.— Если бы все было так, как вы говорите, дело не решилось бы против Джексона.

— Главный юрисконсульт Компании, полковник Ингрэм, весьма искушенный юрист.— С минуту Эрнест пристально смотрел на меня, потом сказал: — Вот, мисс Каннингхем, вам бы заняться делом Джексона. Расследуйте этот судебный казус.

— Я и без вашего совета собиралась это сделать,— холодно ответила я.

— Прекрасно.— Он смотрел на меня с подкупающим добродушием.— Я расскажу вам, где его найти. Но только мне страшно подумать о том, что раскроет пред вами рука Джексона.

Так мы с епископом Морхаузом оба приняли вызов Эрнеста. Вскоре гости ушли, оставив меня с щемящим чувством обиды: мне и моему классу было нанесено незаслуженное оскорбление. Я решила, что человек этот просто чудовище. Я ненавидела его всей душой, но утешала себя тем, что такое поведение вполне естественно для бывшего рабочего.

Глава третья **РУКА ДЖЕКСОНА**

Могла ли я думать, отправляясь на поиски Джексона, что рука его сыграет в моей жизни такую огромную роль?

Сам Джексон не произвел на меня большого впечатления. Он ютился с семьей в покосившейся хибарке¹, на

¹ Ветхий, облезлый домишко — обычное жилье рабочего в те далекие времена. Рабочий вносил домохозяйину непомерно высокую плату, нисколько не соответствовавшую стоимости такого помещения.

окраине города, у самого залива, в тесном соседстве с болотом. Вокруг домика, в огромных лужах, зятанутых густой зеленоватой пеной, гнила стоячая вода, распространяющая невыносимую вонь.

Джексон оказался именно тем тихим, безответным малым, каким описал его Эрнест. Он что-то мастерил во время нашего разговора и ни на минуту не отрывался от своей работы. Но как он ни был кроток и забит, мне все же почудились нотки озлобления в его голосе, когда он сказал:

— Уж местечко сторожа ¹ они могли бы мне дать.

Он разговаривал неохотно и показался бы мне тупицей, если бы не та ловкость, с какой он работал, управляясь одной рукой. Наблюдая за его проворными движениями, я с удивлением спросила:

— Как же это вы так оплошали, Джексон, что ухитрились потерять руку?

Он задумчиво посмотрел на меня и покачал головой.

— Сам не знаю. Так уж получилось.

— Неосторожность? — не отставала я.

— Нет, — отвечал он. — Я бы не сказал. Нас тогда замучили сверхурочной работой, и я, видно, устал. Я ведь семнадцать лет оттрубил на этой фабрике и скажу вам, что большинство несчастных случаев бывает как раз перед гудком ². За весь рабочий день их не наберется столько. Когда много часов прстоишь у машины, всякое соображение теряешь. На моей памяти сколько народу перекалечило! Иной раз так изувечит человека, что родная мать не узнает.

¹ Воровство было в те времена повальным явлением. Каждый старался украсть у другого. Богатые и сильные воровали на законном основании или так или иначе узаконивали свое воровство; бедняки воровали, невзирая на закон. Для того чтобы сохранить что-либо в целости, приходилось нанимать сторожей, и много людей было занято тем, что стерегли чужое добро. Дом каждого болсе или менее зажиточного человека представлял своеобразное сочетание банковского сейфа, кладовой и крепости. В тех случаях, когда у наших детей проявляется желание завладеть чужой вещью, мы, очевидно, имеем дело с пережитком этой столь распространенной когда-то страсти к хищениям.

² Рабочих сзывал на работу и провожал с работы пронзительный, режущий слух свист паровой машины.

— И много вы знаете таких случаев?

— Сотни. С ребятишками тоже бывает.

За исключением этих страшных подробностей, рассказ Джексона не дал мне ничего нового. На мой вопрос, не погрешил ли он против правил обращения с машиной, — Джексон отрицательно покачал головой.

— Я правой рукой сбросил привод, а левой думал выхватить кремень. Мне бы, конечно, надо проверить, точно ли я освободил колесо. А я понадеялся на себя, вот в чем моя ошибка. Ремень соскочил только на половину, и мне сразу втянуло левую руку по самое плечо.

— Больно было? — посочувствовала я.

— Да уж что хорошего, когда машина дробит тебе кости.

Джексон плохо представлял себе, что происходило на суде, и все только повторял, что суд «не присудил ему ничего». Он считал, что ему повредили показания мастеров и главного управляющего. «Не по совести они показывали», — повторял он. Я решила опросить этих свидетелей.

Одно не подлежало сомнению: положение Джексона самое бедственное. Жена у него постоянно хворает, а сам он своей торговлей не может прокормить семью. Они много задолжали за квартиру, и старший мальчуган, лет одиннадцати, недавно поступил на фабрику.

— Уж местечко сторожа они могли бы для меня найти, — сказал мне Джексон, прощаясь.

Последующее свидание с адвокатом Джексона, который так неудачно защищал его интересы, а также с мастерами и управляющим, выступавшими свидетелями в суде, не замедлили убедить меня, что Эрнест не так далек от истины в своих предположениях.

Адвокат, щуплое, загнанное существо, производил впечатление законченного неудачника. Глядя на него, я не удивилась, что он проиграл дело Джексона, и подумала: ведь надо же было выбрать себе такого адвоката. Но мне вспомнились два замечания Эрнеста: «К услугам Компании, как вам известно, опытейшие юристы» и — «Полковник Ингрэм весьма искушенный юрист». Я только

сейчас поняла, что Компании легче заручиться содействием юридических светил, чем бедняку рабочему. Но все это, как я догадывалась теперь, играло второстепенную роль. Существовали гораздо более серьезные причины для того, чтобы Джексону было отказано в иске.

— Почему вы проиграли дело? — спросила я адвоката.

В первое мгновение он как-то съежился и растерялся, — во мне пробудилось даже что-то вроде жалости к этому тщедушному созданию. Потом начал ныть. Нытье, вероятно, было его естественным состоянием. Казалось, невезенье преследовало этого человека с колыбели. Он жаловался на свидетелей. Они давали только такие показания, какие были на руку ответчику. Он не мог вытянуть из них ни одного слова в пользу своего клиента. Это народ ученый, они знают, что к чему. Джексон — болван. Полковнику Ингрэму ничего не стоило запугать его и сбить с толку. С полковником Ингрэмом не потягаешься, он — король перекрестного допроса. Ему удалось добиться от Джексона убийственных для дела показаний.

— Как мог Джексон давать убийственные для себя показания? Ведь прав-то был он?

— Что значит прав? — ответил он вопросом на вопрос. — Видите эти книги? — И он показал на ряды полок, тянувшиеся вдоль стен его крошечной конторы. — Все это мной изучено от корки до корки. Зато я теперь знаю, что правда это правда, а закон это закон. Спросите любого юриста. Что такое правда — вам расскажут в воскресной школе; а закон — он здесь, в этих книгах...

— Вы хотите сказать, что Джексон был прав, но что это не мешало ему проиграть дело? Вы хотите сказать, что в суде судьи Колдуэлла нет места справедливости?

Адвокат вызывающе уставился на меня, но постепенно воинственный заор потух в его глазах.

— Поймите и меня тоже, — опять захныкал он. — Ведь они разыграли не только Джексона, они и меня оставили в дураках. Поймите, в каком я оказался поло-

жении. Полковник Ингрэм — светило юридического мира. Если бы он не был светилом, думаете, Сьеррская компания поручила бы ему свои дела? И не одна только Сьеррская, а и Эрстоновский земельный синдикат, Берклийское акционерное общество и три электрокомпании — Окленд, Сан-Леандро и Плезантонская... Он — поверенный корпораций, а поверенные корпораций получают большие оклады не для того, чтобы проваливать дела в суде¹. Как вы думаете, почему одна только Сьеррская компания платит полковнику Ингрэму двадцать тысяч долларов в год? Потому что он стоит этих денег! Я не стою таких денег. Если бы я стоил хотя бы половину, я не промышлял бы чем бог пошлет и не брался бы за такие дела, как иск Джексона. Как вы думаете, много бы я заработал, выиграв это дело?

— Очевидно, вы обобрали бы Джексона, — ответил я.

— Можете не сомневаться, — рассердился адвокат. — Жить-то мне надо, — как вы полагаете?²

— Но у него жена и дети, — пожурела я его.

— А у меня, думаете, нет жены и детей? И ни одна душа, кроме меня, не заботится о том, есть ли у них кусок хлеба.

Лицо его внезапно посветлело, он достал часы и показал мне на внутренней стороне крышки карточку женщины с двумя девочками.

— Вот они. Взгляните. Нелегко им живется, бедняжкам. Я мечтал отправить их на дачу, если бы удалось

¹ Обязанности поверенных корпораций заключались в том, чтобы при помощи жульнических махинаций служить грабительским замыслам и планам своих хозяев. Сохранилось интересное свидетельство Теодора Рузвельта, в то время президента Соединенных Штатов. В 1905 году, на выпускных торжествах в Гарвардском университете, он сказал: «Ни для кого не секрет, что у большинства наших крупных предприятий имеются высокооплачиваемые юристы, чьи остроумные и смелые советы позволяют их богатым клиентам, будь то отдельные лица или корпорации, успешно обходить законы, принятые в интересах общества для упорядочения деятельности крупного капитала».

² Яркий пример той борьбы за существование, которая составляла основной закон тогдашнего общества. Люди пожирали друг друга, как звери, при этом мелкие хищники становились добычей крупных. В этой волчьей стае Джексон принадлежал, очевидно, к самым смиренным и беззащитным.

выиграть дело Джексона. Они у нас все хворают. Но какая там дача! На это нужны средства.

Когда я собралась уходить, он опять занял:

— Ничего бы у меня не вышло, так или иначе. Полковник Ингрэм и судья Колдуэлл хорошие друзья. Конечно, этим еще не все сказано: если бы мне удалось на перекрестном допросе вытянуть из свидетелей благоприятные показания — не эта дружба решила бы дело. Но судья Колдуэлл не пожалел сил, чтобы не допустить таких показаний. Да и не удивительно. Судья Колдуэлл и полковник Ингрэм — члены одной ложи и одного клуба; да и живут они рядом. Мне было бы не по карману поселиться с ними по соседству. И жены их бывают друг у друга. Постоянно званые вечера, вист и все такое — то у одной, то у другой.

— Так Джексон все-таки был прав? — спросила я уже с порога.

— Еще бы! Сначала я даже верил, что можно выиграть это дело. Но жене не говорил, — из осторожности, знаете, чтобы зря не волновать ее. Очень уж ей, бедняжке, хотелось на дачу.

— Почему вы не сказали суду, что Джексон старался спасти машину? — спросила я Питера Донелли, одного из мастеров, дававших показания на суде.

Он долго думал, прежде чем ответить. Потом боязливо огляделся и сказал:

— Потому что у меня славная жена и трое ребятшек — таких ребят поискать надо, — вот почему!

— Я вас не понимаю, — сказала я.

— Проще говоря, мне бы непоздоровилось...

— Вы хотите сказать...

Но он прервал меня с ожесточением:

— Я хочу сказать то, что сказал. Я не первый год работаю на фабрике. Вот таким мальчишкой стал за машину и достиг кое-чего. Нелегко мне это далось. Сейчас я мастер, заметьте; и случись мне тонуть, ни одна душа на фабрике не окажет мне помощи. Когда-то и я был членом союза, но во время последних двух забастовок соблюдал интересы Компании. Меня и ославили штрейкбрехером.

Ни один рабочий не взял бы у меня кружку пива, если бы я предложил ему. Видите, как меня разукрасили? Это неведомо откуда на голову мне сыпятся кирпичи. Нет мальчишки у прядильной машины, который не бранил бы меня последними словами, стоит мне отвернуться. Один друг у меня на свете — Компания. Тут не то что мой долг, тут и хлеб мой, и жизнь моих детей... Вот почему я и шагу не сделаю против Компании.

— Ну, а Джексон? Правильно, что его лишили компенсации?

— Нет, неправильно. Он работал добросовестно. И человек он смирный, мы за ним ничего плохого не знаем.

— Значит, вы не сказали на суде правду, как присягали?

Он покачал головой.

— Правду, всю правду и одну только правду? — торжественно произнесла я.

Что-то иступленное мелькнуло в его взгляде. Он поднял глаза — не на меня, на небо.

— Пусть мою душу и тело терзает вечный огонь — я все вытерплю ради моих детей! — сказал он.

Управляющий Генри Даллес, господинчик с лисьей физиономией, смерил меня наглым взглядом и наотрез отказался отвечать. Я так и не добилась от него ни одного слова в объяснение его поведения на суде. Больше посчастливилось мне с другим мастером, Джемсом Смитом. На первый взгляд его угрюмое лицо не сулило ничего хорошего. Вскоре выяснилось, что и он не волен в своих словах и поступках, но по развитию этот человек показался мне выше простого рабочего. Так же как и Питер Донелли, он подтвердил, что Джексону полагалась компенсация. Он даже сказал, что недобросовестно и жестоко было выбросить на улицу беспомощного калеку, пострадавшего на производстве, и добавил, что случай с Джексоном не единственный: Компания на всё пойдет, чтобы не дать рабочему компенсации за увечье.

— Это стоило бы акционерам не одну сотню тысяч в год, — сказал он.

Я вспомнила дивиденды, выплаченные нам последний раз, — мое нарядное платье, книги, купленные для отца;

вспомнила слова Эрнеста о том, что платье у меня залито кровью рабочих,— и внутренние поехала.

— В своих показаниях вы умолчали о том, что Джексон пострадал, желая спасти машину от поломки,— сказала я.

— Да, умолчал.— Смит сурово стиснул губы.— Я сказал, что Джексон поплатился за собственную небрежность и что Компания тут ни при чем.

— Он действительно проявил небрежность?

— Называйте, как хотите. Человек не в силах выдерживать такую работу. У него сдают нервы.

Я невольно заинтересовалась Смитом. Он и в самом деле не был похож на простого рабочего.

— Вы, повидимому, образованнее многих рабочих,— сказала я.

— Я получил среднее образование,— ответил Смит.— Пока учился, работал дворником. Собирался и в университет. Но после смерти отца пришлось все бросить и пойти работать. Моей мечтой было стать натуралистом,— смущенно прибавил он, словно признаваясь в непозволительной слабости.— Я очень люблю животных. А вот пришлось поступить на фабрику. Потом стал мастером, женился, пошли дети, то да се — словом, я уже себе не хозяин.

— Что вы хотите этим сказать? — спросила я.

— Я объясняю, чем вызвано мое поведение на суде, почему я согласился дать требуемые показания.

— Кто их от вас потребовал?

— Полковник Ингрэм. Он научил меня, как отвечать на суде.

— И это погубило Джексона?

Смит кивнул. По лицу его расплзался темный румянец.

— У Джексона жена и двое детей, он их единственный кормилец.

— Знаю,— спокойно подтвердил Смит, хотя лицо его все больше багровело.

— Скажите,— продолжала я.— Трудно вам было из человека, каким вы были, скажем, в старших классах, превратиться в такого, который мог позволить себе так держаться на суде?

Внезапность последовавшего взрыва ошеломила меня и испугала. Смит, выйдя из себя, чертыхнулся¹ и стиснул кулаки, словно готовясь на меня броситься.

— Простите,— сказал он, опомнившись.— Да, это было трудновато. А теперь пора вам, пожалуй, уходить. Вы из меня вытянули все, что хотели, но предупреждаю — вы просчитаетесь, если вздумаете где-нибудь ссылаться на меня. Я вам ничего не сказал, так и знайте; тем более что свидетелей у вас нет. Я буду отрицать каждое ваше слово,— если понадобится, под присягой.

После разговора со Смитом я зашла к отцу на химический факультет и неожиданно застала в его кабинете Эрнеста. Он поздоровался со мной как ни в чем не бывало, и меня опять поразила его непринужденная и вместе с тем застенчивая манера. Казалось, он не помнит нашего недавнего бурного спора, но я отнюдь не собиралась предавать его забвению.

— Я тут занялась делом Джексона,— сразу начала я.

Эрнест насторожился и, повидимому, с интересом ждал рассказа. В глазах его я читала уверенность в том, что мои прежние взгляды уже поколеблены.

— С ним, и вправду, обошлись бесчеловечно,— призналась я.— Я... я даже думаю, что кровь его в самом деле стекает с нашей крыши.

— Разумеется,— сказал Эрнест.— Если бы с Джексонем и его товарищами по несчастью поступали как должно, не видать бы вам таких больших дивидендов.

— Боюсь, что у меня навсегда пропал вкус к красивым платьям,— сказала я.

Было отрадно каяться перед Эрнестом, довериться ему, как своему исповеднику. Его сильная натура и впоследствии была мне опорой, его присутствие успокаивало меня и согревало ощущением безопасности.

— В мешковине вы будете чувствовать себя не лучше,— совершенно серьезно заметил Эрнест.— На джутовых фабриках такие же порядки. Да и везде то же самое.

¹ Здесь стоит отметить энергичную грубоватость лексики, характерную для того времени волчьих нравов и псвадок. Мы разумеем, конечно, не брань Смита, а слово «чертыхнулся» в устах Эвис Эвергард.

Вся наша хваленая цивилизация воздвигнута на крови и полита кровью, и ни мне, ни вам и никому другому не стереть со лба кровавого клейма. С кем же вам удалось поговорить?

Я рассказала ему все.

— Да, никто из этих людей не хозяин своим мыслям и поступкам,— заметил Эрнест.— Все они пленники промышленной машины. И самое страшное то, что путы, которые привязывают их к этой машине, впадают им в сердце. Дети, хрупкая, юная жизнь, взывают к их нежности,— и этот инстинкт в них повелительнее любых догматов морали. Мой отец был не лучше. Он обманывал, воровал, готов был совершить любой бесчестный поступок, только бы накормить меня и моих братьев и сестер. Он тоже был невольником промышленной машины,— она искалечила его жизнь, а самого его преждевременно состарила и, наконец, убила.

— Ну, а вы? — прервала я его.— Ведь вы же сами себе хозяин?

— Не совсем,— возразил он.— Но по крайней мере сердце у меня не на привязи. Я часто благословляю судьбу за то, что нет у меня семьи, хотя я нежно люблю детей. Если бы я женился, я не позволил бы себе иметь детей.

— Ну, это никуда не годная точка зрения! — воскликнула я.

— Знаю,— сказал он печально,— но она не лишена смысла. Я — революционер, а это опасная профессия.

Я недоверчиво рассмеялась.

— Если бы я ночью забрался к вам в дом, чтоб украсть у вашего отца его дивиденды, что бы он сделал? Как вы думаете?

— У папы на ночном столике всегда лежит револьвер. Вероятно, он застрелил бы вас.

— А если бы я и другие вместе со мной ввели в жилища богачей полуторамиллионную армию¹, — представляете, какая началась бы пальба?

¹ Намек на число голосов, поданных в США за социалистов на выборах 1910 года. Их неуклонный рост свидетельствовал о быстром укреплении революционных сил в Америке. В 1888 году за социалистов в США было подано 2068 голосов; в 1902 — 127 713, в 1904 — 435 040; в 1908 — 1 108 427 и, наконец, в 1910 — 1 688 211.

— Но вы этого не делаете,— возразила я.

— Ошибаетесь, я именно это и делаю. И мы намерены забрать у богачей не только сокровища, припрятанные у них в домах, но также и источники этих богатств—рудники, железные дороги, заводы, банки, магазины. Вот что такое революция. Это действительно опасное занятие. Боюсь, пальба начнется такая, что она превзойдет даже и мои ожидания. Но, как я уже говорил, все мы в той или иной степени рабы промышленной машины. Каждый из нас так или иначе захвачен ее колесами. Вы убедились в этом относительно себя и тех людей, с которыми вам пришлось беседовать. Поговорите с другими, с тем же полковником Ингрэмом. Поговорите с репортерами, которые предпочли умолчать о деле Джексона, поговорите с редакторами газет. Вы убедитесь, что все они — рабы промышленной машины.

В течение дальнейшей беседы я спросила Эрнестā, чем объясняется огромное число несчастных случаев на производстве. В ответ на этот простой вопрос я услышала целую лекцию с массой статистических данных.

— На эту тему написано немало исследований,— говорил Эрнест.— Установлено, что в первые часы рабочего дня несчастных случаев почти не бывает, зато по мере истощения у рабочего мускульной и нервной энергии число их быстро растет.

Знаете ли вы, что у вашего отца в три раза больше шансов сохранить здоровье и жизнь, чем у простого рабочего? Это как нельзя лучше известно страховым обществам¹. За тысячедолларовый полис, страхующий от несчастного случая, ваш отец должен платить в год четыре доллара двадцать центов, а рабочему за такой же полис приходится платитъ пятнадцать долларов в год.

¹ В условиях волчьей борьбы за существование человек не был уверен в завтрашнем дне, как бы он ни был богат сегодня. Опасение за участь семьи заставляло его прибегать к различным видам страхования. В наш разумный век подобные мероприятия кажутся до смешного примитивными, но в те времена страхованию придавали большое значение. Характерно, что фонды страховых обществ часто расхищались и растрчивались теми самыми лицами, которые были уполномочены ими ведать.

— А каковы ваши шансы? — спросила я и тут же почувствовала, что мой вопрос выдает слишком большое участие.

— У революционера по сравнению с рабочим в восемь раз больше шансов быть убитым или искалеченным, — ответил он беспечно. — Страховые общества берут с химиков, работающих со взрывчатыми веществами, в восемь раз больше, чем с рабочих. А я для них, пожалуй, и вовсе нежелательный клиент. Но почему вы спрашиваете?

Я не знала, куда смотреть, чувствуя, как горячий румянец заливает мне щеки. И не потому, что сердце мое открылось Эрнесту, а потому что оно открылось мне самой — в его присутствии.

Вошел папа и начал собираться домой. Эрнест вернул ему взятые у него книжки и попрощался. На пороге он обернулся и сказал:

— Кстати, раз вы уж заняты тем, что губите свое душевное спокойствие, как я занят тем, что гублю душевное спокойствие епископа, хорошо бы вам навестить миссис Уиксон и миссис Пертонуэйт. Мужья их, как вы знаете, главные акционеры Сьеррской компании. Как и все мы грешные, обе эти дамы тоже привязаны к промышленной машине, с той только разницей, что они забрались на самую вышку.

Глава четвертая

РАБЫ МАШИНЫ

Рука Джексона не давала мне покоя. Впервые я столкнулась с действительностью, впервые увидела жизнь. Мои университетские занятия, наука, цивилизация — все это оказалось миражем. До сих пор жизнь и общество были известны мне лишь по книгам, но то, что казалось убедительным и разумным на бумаге, рухнуло при первом же знакомстве с действительностью. Рука Джексона была фактом живой действительности. «Факт, сударь, неопровержимый факт!» — эти слова Эрнеста не переставали звучать в моих ушах.

Чудовищным, невыносимым казалось мне утверждение, будто все наше общество воздвигнуто на крови. Но как же Джексон? Я не могла от него отмахнуться. Мысль моя возвращалась к нему, подобно магнитной стрелке, всегда указывающей на север. С Джексоном поступили ужасно. Ему отказались заплатить за кровь, для того чтобы отсчитать акционерам большие дивиденды. Я знала множество бесечно благодушных семейств, которые получали эти дивиденды, а с ними и малую толику крови Джексона. Но если так могли поступить с одним человеком, а общество равнодушно проходит мимо, та же участь, возможно, постигает многих. Я вспомнила рассказы Эрнеста о женщинах Чикаго, гнувших спину за девяносто центов в неделю, и о малолетних тружениках на текстильных фабриках Юга. Это их худенькие, восковые ручки сработали ткань, из которой сшито мое платье. А наше участие в прибылях Сьеррской компании разве не говорит о том, что кровь Джексона попала и на мое платье. Джексон неотступно преследовал меня. Каждая моя мысль приводила к Джексону.

Какой-то внутренний голос говорил мне, что я стою на краю пропасти. Вот-вот упадет завеса, и моим глазам откроется страшная неведомая действительность. И не только моим глазам. Весь наш маленький мирок был в смятении. Прежде всего мой отец, — я не могла не видеть, какое влияние оказывает на него Эрнест. А епископ? Последний раз он произвел на меня впечатление больного. Весь он как натянутая струна, в глазах застыл невыразимый ужас. По некоторым намекам я догадывалась, что Эрнест сдержал свое обещание провести его через преисподнюю. Но какие картины ада открылись глазам епископа, оставалось для меня тайной, — бедняга был так ошеломлен, что предпочитал молчать об этом.

Однажды, когда ощущение, что все рушится, охватило меня с особенной силой, я стала мысленно обвинять Эрнеста. «Если бы не он, мы жили бы так счастливо и спокойно...» И тут же испугалась этой мысли, как отступничества, и Эрнест предстал предо мной преображенным. С светлым, сияющим челом, не ведающий страха, словно ангел господень, он явился мне глашатаем правды, борющимся с ложью и несправедливостью, за лучшую жизнь

для бедных, сырых и угнетенных. Я подумала о Христе. Ведь и он был заступником смиренных и обездоленных—против установленной власти священников и фарисеев. И, вспомнив кончину распятого Христа, я испугалась за судьбу Эрнеста. Неужели и он обречен гибели, этот юноша с прекрасным, сильным телом, юноша, чей голос звучит как призыв горна и звон оружия!

В эту минуту я поняла, что люблю Эрнеста, что горю желанием внести в его жизнь тепло и ласку. Какая это угрюмая, суровая, бесприютная жизнь! Отец его, чтобы прокормить семью, вынужден был изворачиваться и воровать, пока непосильная борьба не свела его в могилу. Сам Эрнест десятилетним мальчиком пошел работать на фабрику. Я жаждала обнять его, прижать к груди эту голову, отягченную суровыми думами, дать ему, хотя бы на короткий миг, покой,—только покой и светлое забвение.

С полковником Ингрэмом мне довелось встретиться на церковном собрании. На правах давнишней знакомой я увлекла его в укромный уголок, весь заставленный фигурами и пальмами. Полковник, не подозревая, что попал в западню, приветствовал меня с обычной своей галантностью и непринужденностью. Это был приятный, обходительный человек, тактичный и любезный собеседник. Среди наших мужчин он выделялся своей аристократической внешностью. Рядом с ним даже почтенный ректор университета выглядел незначительным и простоватым.

Как выяснилось, полковник Ингрэм был не в лучшем положении, чем малограмотный рабочий. Он тоже не был свободен в своих мыслях и поступках. Он тоже был невольником промышленной машины. Никогда не забуду, какую перемену в нем вызвал первый же мой вопрос о Джексоне. Куда девалось его ласковое добродушие! Ни следа благовоспитанности на холеном лице, искаженном гримасой злобы. Я испугалась, вспомнив ярость, овладевшую мистером Смитом. Правда, полковник Ингрэм не стал браниться—единственное, что отличало его от фабричного рабочего,—но даже обычная находчивость—полковник слыл остряком—на этот раз изменила ему. Озираясь по сторонам, он, казалось, искал лазейку, куда

бы улизнуть. Но пальмы и фикусы держали его в западне.

Господи, опять этот Джексон! Что за фантазия докучать ему этим человеком? Подобные шутки не делают чести ни моему уму, ни такту. Разве я не понимаю, что человеку его профессии приходится забывать о личных чувствах? Отправляясь в суд, он оставляет их дома. В суде он чувствует и действует только как профессионал.

Я спросила, полагалась ли Джексону компенсация.

— Разумеется, — сказал он. — Вернее, таково мое личное мнение. Но формально он был неправ.

Очевидно, полковник вновь обретал свою обычную находчивость.

— Разве сила закона не в том, что он служит справедливости? — спросила я.

— Сила закона в том, что он служит силе, — улыбаясь, отпарировал полковник.

— А где же наше хваленое правосудие?

— Что ж, сильный всегда и прав, — тут нет никакого противоречия.

— И это тоже — суждение профессионала?

Как ни странно, на лице у полковника Ингрэма проступила краска стыда. Глаза его снова забегали по сторонам, но я решительно загораживала ему единственный выход.

— Скажите, а разве подчинение своих личных взглядов профессиональным не является нравственным самокалечением, своего рода умышленным членовредительством?

Ответа не последовало. Полковник пустился наутек, повалив в своем бесславном бегстве кадку с пальмой.

Я решила обратиться в газеты и написала спокойную, сдержанную, вполне объективную заметку о случае с Джексоном. Никого не обвиняя, ни словом не касаясь тех, с кем мне пришлось беседовать, я ограничилась одними лишь фактами; рассказала, сколько лет Джексон проработал на фабрике, как, желая спасти машину от поломки, он пострадал сам и в каком отчаянном положении оказались и он и его семья. Моей заметки не напечатала ни одна из трех местных газет и ни один из журналов.

Тогда я разыскала Перси Лейтона. Он только недавно окончил университет и сейчас стажировал в каче-

стве репортера в самой влиятельной нашей газете. Когда я спросила его, почему вся наша пресса так боится дела Джексона, он рассмеялся.

— Такова наша издательская политика. Мы, мелкая сошка, тут ни при чем. Это дело редакций.

— Какая политика? — спросила я.

— А такая, что мы всегда заодно с корпорациями. Никто не поместит такой заметки, хоть бы вы заплатили за это, как за объявление. Всякий, кто помог бы вам протащить ее в печать, слетел бы в два счета. Заплатите, как за десять объявлений, все равно никто ее у вас не возьмет.

— Какова же ваша роль в этой политике? — спросила я. — Вы, верно, часто поступаете правдой — в угоду начальству, как начальство жертвует ею в угоду корпорациям?

— Меня это не касается. — Лейтон смутился, но ненадолго. — Мне не приходится писать неправду, и совесть у меня чиста. Но, конечно, в нашем деле иначе нельзя. Такая уж это работа, — закончил он с мальчишеской лихостью.

— Но когда-нибудь ведь и вы станете редактором и будете проводить эту политику?

— К тому времени я уже стану прожженным журналистом, — усмехнулся он.

— Но пока вы не прожженный журналист, скажите, что вы лично думаете о газетной политике?

— Ничего не думаю, — отвечал он без запинки. — Выше лба уши не растут — вот золотое правило для всякого журналиста, если он хочет преуспеть в жизни.

И Лейтон преважно тряхнул головой.

— А хорошо это? — настаивала я.

— Хорошо все, что хорошо кончается, не правда ли? Не мы установили правила этой игры, и нам остается только подчиняться им. По-моему, это ясно.

— Да уж чего ясней, — пробормотала я. Но мне больно было за его молодость, и я не знала — возмущаться или плакать.

Я начинала понимать, что скрывает в себе общество, в котором я жила, и за внешним благообразием угадывала ужасную действительность. Казалось, против Джексона

существовал молчаливый заговор, и я уже с симпатией думала о плаксивом адвокатишке, который так неудачно вел его дело. Но молчаливый заговор был много шире и касался не только Джексона. Участь Джексона разделяли и другие рабочие, искалеченные машиной, и не только на фабриках Сьеррской компании, но и на других заводах и фабриках, да и во всей промышленности.

А если так, значит все наше общество зиждется на лжи! В ужасе останавливалась я перед этим заключением. Но передо мной живым укором стоял Джексон, рука Джексона, кровь, обогрившая мое платье и каплями стекающая с нашей крыши. Передо мной было много Джеконов,— разве Джексон не рассказывал, что видел их сотни? Никуда не денешься от Джексона!

Я побывала также у мистера Уиксона и мистера Пертонуэита, крупнейших акционеров Сьеррской компании. На них мои рассказы о Джеконе не произвели никакого впечатления; их служащие оказались куда отзывчивее. С удивлением увидела я, что эти джентльмены не считают с обычными правилами морали, что у них в обиходе своя, аристократическая мораль, мораль господ¹. Они напыщенно рассуждали о политике, утверждая, что то, что для них полезно, то и справедливо. Со мной они говорили по-отечески наставительно, снисходя к моей молодости и неопытности. Среди тех, с кем столкнули меня мои исследования,— эти оказались самыми бесчувственными, самыми зачерствелыми. Оба были абсолютно уверены в своей правоте. Оба смотрели на себя, как на спасителей человечества, считая, что только от них и зависит благополучие масс. И они самыми мрачными красками рисовали страдания, на которые были бы обречены рабочие, если бы не мудрость богачей, обеспечивающих им работу.

При первой же встрече с Эрнестом я изложила ему все.

Он просиял от удовольствия и сказал:

— Да вы, оказывается, молодчина. Решили самостоя-

¹ Задолго до рождения Эвис Эвергард Джон Стюарт Милль в своем очерке «О свободе» писал: «Повсюду, где налицо правящий класс, господствующая мораль в значительной мере определяется его классовыми интересами и чувством классового превосходства».

тельно доискиваться правды! Поздравляю, ваши обобщения основаны на опыте, и они верны. Ни один человек, прикованный к промышленной машине, не волен в своих мыслях и поступках, кроме крупных капиталистов, а те и подавно не вольны,—простите мне этот ирландизм¹. Как видите, наши властелины настаивают на своей правоте. Ну, разве это не верх комизма? В них так еще сильна человеческая природа, что они и шагу не ступят, не спросясь собственной совести. Им, видите ли, нужна моральная санкция для их многообразных дел.

Всякий раз, как они затевают что-нибудь новенькое, в области бизнеса, конечно, они норовят опереться на соответствующую доктрину — религиозную, нравственную, научную или философскую,—подтверждающую их правоту. А там за дело; неважно, что ум человеческий слаб и свое желание нередко принимает за истину. Что бы они ни задумали, за санкцией дело не станет. Это — беспардонные казуисты. К тому же они и иезуиты, так как пускаются на любые злодеяния, уверяя, что из этого впоследствии добро. Одна из их любимейших аксиом — это что они цвет нации, квинтэссенция ее мудрости и энергии. Это дает им право держать на пайке все остальное человечество и каждому устанавливать его рацион. Они даже возродили учение о божественном происхождении королевской власти — разумея в данном случае королей финансовых и промышленных².

Слабость их в том, что они дельцы и только, и никакие не философы, биологи или социологи. Если бы они были тем, или другим, или третьим, это бы еще куда ни шло. Делец, который был бы в то же время биологом и социологом, представлял бы себе в какой-то мере нужды человечества. Но нет, вне своей области они круглые невежды. Они знают только свой бизнес. Ничего другого у них нет за душой. Интересы общества, человечества —

¹ Подобные каламбуры считались особенностью ирландского остроумия.

² В прессе 1902 года часто цитировалось изречение, автором которого считался председатель каменноугольного треста Джордж Ф. Бэр: «Права и нужды трудового народа находятся под защитой добрых христиан, которым господь бог, в своей неизреченной мудрости, доверил материальные интересы страны».

для них книга за семью печатями. И эти-то самозванцы берутся вершить судьбами миллионов голодных людей, да и всего остального человечества впридачу! Когда-нибудь история зло посмеется над ними!

Разговор с миссис Уиксон и миссис Пертонуэйт уже не мог принести мне ничего неожиданного. Ибо они были дамы из общества¹. У каждой был пышный дворец в нашем городе и множество других пышных дворцов — в горах, на взморье, на берегах живописных озер. В их распоряжении были целые полчища слуг. Обе дамы были видные патронессы, оказывавшие покровительство университету и нескольким храмам в городе, — священники особенно ценили их благодеяния и пресмыкались перед ними². Словом, это были влиятельные дамы, дамы с весом, причем вес им давали деньги, а влияние заключалось в том, что они успешно пускали эти деньги в оборот, для идейного подкупа своих сограждан. Все это я вскоре узнала от Эрнеста.

Подобно своим мужьям, они напыщенно рассуждали о политике, об ответственности и обязанностях богачей. Подобно им, верили в свое право руководствоваться особой моралью, составляющей прерогативу их класса; обе много и пространно рассуждали, причем смысл их громких фраз был темен даже для них самих.

Обе дамы разгневались, когда я рассказала им о тяжелом положении семьи Джексона, а особенно, когда выразила удивление, как это они сами, по собственному почину, ничего не сделали для бедного калеки. Мне было заявлено, что они не нуждаются в непрошенных советах и указаниях. Когда же я прямо попросила их помочь Джексону, обе дамы категорически отказались. Меня особенно удивило, что отказ их прозвучал одинаково, хотя я говорила с каждой в отдельности и ни та, ни другая не

¹ Слово «общество» употреблено здесь в ограничительном смысле, как обычное для тогдашних времен обозначение развешенных трутней, которые сами не трудились, а лишь пожирали мед, собранный другими. Ни дельцы, ни рабочие не входили в «общество», не располагая для этого ни временем, ни соответствующими возможностями. Игра в «общество» была забавой праздных богачей.

² «Несите нам свои грязные деньги» — было лозунгом церкви того времени.

знали, что я навестила или собираюсь навестить ее подругу. Суть их общего ответа сводилась к следующему: каждая из них рада случаю подчеркнуть, что не в ее правилах награждать рабочих за небрежность; кроме того, это значило бы вводить в соблазн бедняков, все они, пожалуй, так и начнут себя калечить¹.

Обе дамы и в самом деле так думали. Они упивались сознанием своего классового и личного превосходства. Каждый их поступок был освящен классовой моралью. Покидая пышный дворец Пертонуэйтов, я невольно оглянулась назад, вспоминая слова Эрнеста, что эти богачки тоже рабыни промышленной машины, но они забрались на самую ее вышку.

Глава пятая **КЛУБ ФИЛОМАТОВ**

Эрнест часто бывал у нас, и не только общество отца и наши обеды с традиционными дискуссиями привлекали его к нам. Я втайне лелеяла надежду, что без меня наш дом не обладал бы для него такой притягательной силой, и вскоре это подтвердилось. Эрнест несколько не походил на обычного вздыхателя. Его рукопожатие становилось все крепче, все настойчивее, а глаза, в которых я с первых же дней улавливала какой-то вопрос, вопрошали все повелительнее.

Я уже говорила, что сначала Эрнест не понравился мне. Потом меня повлекло к нему, но вскоре оттолкнули его яростные нападки на меня и на мой класс. Затем, убедившись, что он не злопыхательствует и даже не сгущает краски, я стала искать его дружбы. Он сделался моим учителем. Он обнажил передо мной подлинное лицо окружающего общества и научил под масками и личинами распознавать жестокую, нелицеприятную правду.

¹ В еженедельнике «Аутлук», популярном органе разоблачительного направления, в номере от 18 августа 1906 года приведен случай с калекой-рабочим, во всех деталях совпадающий с историей Джексона, как она рассказана Эвис Эвергард.

Как я уже сказала, Эрнест не был похож на обычного вздыхателя. Нет девушки в университетском городе, которая в двадцать чегыре года не имела бы кое-какого опыта в сердечных делах. Наряду с атлетами из спортклуба и коренастыми футболистами мне объяснялись в любви и безусые первокурсники и почтенные профессора. Но ни один из них не выражал своих чувств так, как Эрнест. Сама не знаю, как я впервые очутилась в его объятиях. Не успела я опомниться, как губы его завладели моими. Перед его простотой и искренностью казалась бы смешной чопорность оскорбленной девы. Он вихрем ворвался в мою жизнь и увлек за собой со всей порывистостью своей натуры. Он не делал мне предложения. Его поцелуи и объятия сказали мне яснее всяких слов, что мы поженимся. И никаких разговоров, объяснений. Если и были разговоры, то значительно позднее, и только о том, когда мы поженимся.

Все это было так изумительно, что казалось каким-то сном. Но, подобно тому, что Эрнест говорил об истине, это выдержало испытание, и я доверила этому свою жизнь. Благословенна будь моя вера! И все же в первые дни нашей любви я не раз с тревогой думала о горячности Эрнеста. Напрасные опасения! Ни одной женщине не был дарован такой нежный, преданный супруг. Нежность и неудержимая порывистость так же чудесно сочетались в его натуре, как в его внешнем облике угловатость и непринужденность движений. Милая мальчишеская угловатость! Эрнест так и не преодолел ее, меня же она всегда умиляла. В нашей гостиной он казался вежливым слонком, попавшим в посудную лавку¹.

Если у меня еще оставались какие-то неясные мне самой сомнения относительно моих чувств, то вскоре и они рассеялись. Это произошло на вечере в клубе

¹ В те годы еще не вывелся обычай наполнять комнаты всякими безделушками и украшениями. Преимущество простора не было еще открыто. Комнаты напоминали музей, и стоило огромных трудов содержать их в чистоте. В каждом доме властвовал демон пыли и ему приносились многочисленные жертвы. Существовали тысячи приспособлений для борьбы с пылью, но мало кто думал о том, чтобы вовсе не заводить ее.

филоматов, на котором Эрнест дал нашим городским тузам форменный бой, напав на них в их собственном логове. Клуб филوماتов считался самым изысканным на всем Тихоокеанском побережье, и в него допускали только избранных. Он был созданием мисс Брентвуд, богатейшей старой девы, которая только им и дышала и которой он заменял и мужа, и детей, и комнатную собачку. Членами клуба были первейшие богачи города, причем главным образом те из них, которых причисляли к самым оголтелым реакционерам; для придания клубным сборищам некоторой видимости духовных интересов на них приглашали и кое-кого из наших ученых.

У филوماتов не было постоянного помещения. Это был клуб особого рода. Раз в месяц собирались у кого-нибудь из постоянных членов послушать доклад или лекцию. Лекторы обычно бывали платные. Если в Нью-Йорке какому-нибудь химику удавалось открыть что-нибудь новое, скажем — в области радия, клуб не только оплачивал ему дорожные расходы в оба конца, но и щедро вознаграждал за потраченное время. Точно так же приглашался и знаменитый путешественник, вернувшийся из полярной экспедиции, писатель или художник, стяжавший шумную славу. Посторонние на эти вечера не допускались, и дискуссии филوماتов не подлежали оглашению в прессе. Благодаря этому видные государственные деятели имели возможность — и это не раз бывало — высказываться здесь без стеснения.

Я достаю пожелтевшее от времени смятое письмо Эрнеста, написанное двадцать лет назад, бережно расправляю его и выписываю следующие строки:

«Твой отец — член клуба филوماتов, воспользуйся этим и приходи на их очередное собрание в будущий вторник. Ручаюсь, что не пожалеешь. Во время твоих недавних встреч с нашими властителями тебе не удалось задать им встряску. Приходи, и я сделаю это за тебя. Увидишь, какой они поднимут вой. Ты взывала к их совести, но на это они отвечают лишь надменным презрением. Я же буду угрожать их карману. Тут-то они и покажут свое звериное естество. Приходи, и ты увидишь, как пещерный человек во фраке, ляская зубами и огрызаясь, рычит над костью. Обещаю тебе грандиозный кошачий

концерт и поучительную демонстрацию нравов и повадок хищных зверей.

Меня зовут, чтобы растерзать на части. Эта счастливая мысль принадлежит мисс Брентвуд. Она сама проговорила мне, приглашая на вечер. Оказывается, ей не впервой угощать своих клубменов таким пикантным блюдом. Им, видишь ли, нравится, когда ручные радикалы преданно смотрят им в глаза. Мисс Брентвуд полагает, что я ласков, как теленок, и туп и флегматичен, как вол. Не скрою, я помог ей утвердиться в этом мнении. Она долго пыталась меня на все лады, пока не убедилась в полной моей безобидности. Мне обещан завидный гонорар — двести пятьдесят долларов, какой и подобает человеку, который, будучи радикалом, баллотировался однажды в губернаторы. Приказано явиться во фраке. Это обязательно! Я в жизни не облачался во фрак. Придется, видно, взять напрокат. Но я пошел бы и на большее, чтобы добраться до филوماتов».

Случайно собрание происходило во дворце Пертонуэитов. Огромная гостиная была заставлена стульями: послушать Эрнеста собралось человек двести. Все это были наши столпы. Я развлекалась тем, что мысленно подсчитывала общую сумму представленных здесь состояний, и скоро насчитала несколько сот миллионов. Владельцы всех этих миллионов не были праздными богачами, из тех, что стригут купоны. Это были дельцы, игравшие видную роль в промышленности и политике.

Слушатели уже заняли свои места, когда мисс Брентвуд ввела Эрнеста. Войдя, они сразу же прошли туда, где было приготовлено место для оратора. Эрнест был великолепен в черном фраке, хорошо оттенявшем его мужественную фигуру и благородную посадку головы. Чуть заметная неловкость движений нисколько не портила его. А я, кажется, за одну эту мальчишескую косолапость влюбилась бы в Эрнеста. При взгляде на него здесь, в этом зале, меня охватило чувство огромной радости. Я снова держала его руку в своей, снова ощущала его поцелуи и готова была с гордостью встать и прокричать на весь зал: «Он мой! Меня он сжимал в своих объятиях и ради меня забывал о тех высоких мыслях, которые владеют его душой».

Мисс Брентвуд представила Эрнеста полковнику Ван-Гилберту, и я поняла, что это он будет председательствовать. Среди юристов корпораций Ван-Гилберт считался знаменитостью. Помимо всего прочего, он был невероятно богат. Говорили, что он не берется за дело, если оно не сулит ему по меньшей мере стотысячного гонорара. В своей области это был виртуоз. Закон становился в его руках игрушкой, с которой он делал, что вздумается. Он мял его, как глину, ломал, корежил, кроил, выворачивал наизнанку. В своей одежде и приемах красноречия полковник старался следовать старой моде, зато догадкой, изворотливостью и находчивостью был молод, как новоиспеченный закон. Известность пришла к нему после того, как он добился пересмотра шардуэлловского завещания¹.

Этот процесс принес ему полумиллионный гонорар, и с тех пор полковник Ван-Гилберт сделал головокружительную карьеру. Его часто называли первым адвокатом страны, имея в виду, разумеется, адвокатов корпораций. А уж к тройке лучших адвокатов Америки его причисляли все.

Полковник поднялся с места и произнес несколько затейливых вступительных фраз, не без скрытой иронии представляя оратора собравшимся. Его заявление, что они видят перед собой борца за рабочее дело, к тому же рабочего по происхождению, прозвучало даже игриво и вызвало веселые улыбки. Возмущенная, я взглянула на Эрнеста и тут окончательно рассердилась. Он, казалось, не придавал значения этим намекам, хуже того — видимо, не понимал их. Он сидел полусонный и вялый, с видом благодущного увальня и совершенного простака. Я подумала:

¹ В то время были очень распространены тяжбы между наследниками. Обладателей больших состояний немало беспокоило посмертное устройство их капиталов. За утверждением последней воли завещателя так же неизбежно следовало его нарушение, как за совершенствованием огнестрельного оружия — совершенствование защитной брони. Для составления нерушимых завещаний призывались хитроумнейшие юристы. И все же завещания потом пересматривались, зачастую с помощью тех же самых юристов. Несмотря на это, богачи продолжали тешить себя надеждой, что можно оставить предсмертное распоряжение, нерушимое вовеки. Так завещатели и юристы из поколения в поколение гнались за призраком. Это была такая же несбыточная мечта, как поиски средневековыми учеными философского камня.

«А что, если Эрнест и вправду ошеломлен этой выставкой учености и власти?» И тут же рассмеялась. Нет, Эрнесту не удастся провести меня. Зато других он действительно обманул, как раньше обманул мисс Брентвуд. Почтенная дева сидела в первом ряду и, сияя улыбкой, переговаривалась с соседями.

Когда полковник Ван-Гилберт кончил, слово было предоставлено Эрнесту. Он заговорил тихо и скромно, слегка запинаясь от видимого смущения. Начал с того, что сам он вышел из рабочей среды и провел свое детство в нищете, среди грязи и невежества, которые равно калечат душу и тело рабочего человека. Он описал честолюбивые стремления своей юности, которые влекли его в тот рай, каким, по его представлению, была жизнь привилегированных классов. Он говорил:

— Я верил, что там, наверху, можно встретить подлинное бескорыстие, мысль ясную и благородную, ум бесстрашный и пытливый. Я почерпнул эти сведения из многочисленных романов серии «Сисайд»¹, где все герои, исключая злодеев и интриганок, красиво мыслят и чувствуют, возвышенно декламируют и состязаются друг с другом в благородстве и доблести. Короче говоря, я скорее усомнился бы в том, что солнце завтра снова взойдет на небе, чем в том, что в светлом мире надо мной сосредоточено все чистое, прекрасное, благородное, все то, что оправдывает и украшает жизнь и вознаграждает человека за труд и лишения.

Затем Эрнест описал свою жизнь на заводе, годы ученичества в кузнечном цеху и встречи с социалистами. Среди них, рассказывал он, было немало талантливых, выдающихся людей: священники, чье понимание христианства оказалось слишком широким для почитателей маммоны, и бывшие профессора, не сумевшие ужиться в университете, где насаждается угодничество и раболепие перед правящими классами. Социалисты, говорил Эрнест, это революционеры, стремящиеся разрушить современное, неразумное общество, чтобы на его развалинах построить

¹ Ни с чем не сообразные фантастические писания, рассчитанные на то, чтобы внушить рабочим ложные в корне понятия о паразитирующих классах.

новое, разумное. Он рассказывал еще многое, всего не перечесть, но особенно памятно мне, как он описывал жизнь революционеров. В голосе его зазвучала уверенность и сила, и слова жгли, как огонь его души, как сверкающая лава его мыслей. Он говорил:

— У революционеров я встретил возвышенную веру в человека, беззаветную преданность идеалам, радость бескорыстия, самоотречения и мученичества — все то, что окрыляет душу и устремляет ее к новым подвигам. Жизнь здесь была чистой, благородной, живой. Я общался с людьми горячего сердца, для которых человек, его душа и тело, дороже долларов и центов и которых плач голодного ребенка волнует больше, чем трескотня и шумиха по поводу торговой экспансии и мирового владычества. Я видел вокруг себя благородные порывы и героические устремления, и мои дни были солнечным сиянием, а ночи — сиянием звезд. В их чистом пламени сверкал передо мной священный Грааль — символ страждущего угнетенного человечества, обретающего спасение и избавление от мук.

Если раньше я в мечтах видела Эрнеста преображенным, то теперь мечты стали явью. Лицо его горело вдохновением, глаза сверкали, радужное сияние окутывало его словно плащом. Но так как никто, кроме меня, не видел этого сияния, я вынуждена была сказать себе, что это слезы любви и радости застилают мне глаза. Во всяком случае мистер Уиксон, сидевший позади, не проявлял никаких признаков волнения, и я слышала, как он насмешливо процедил сквозь зубы: «Утопия!»¹

¹ Люди того времени были рабами слов. Нам сегодня трудно представить себе всю степень их умственного рабства. Слова оказывали на них магическое действие, с которым не сравнится никакое искусство заклинателя. Мозг этих людей был так затуманен, в мыслях царил такой хаос, что достаточно было одного брошенного слова, чтобы опорочить в их глазах самые здравые выводы и обобщения, плоды трудов и поисков целой жизни. Таковую магическую силу имело тогда слово «утопия». Произнести его — значило перечеркнуть любое экономическое учение, любую теорию преобразования общества, как бы она ни была разумна. Целые поколения носились с такими фразами, как: «Беден, но честен» или: «Умывальники и чистые полотенца для рабочих». В изобретении подобных фраз и словечек видели чуть ли не проявление гениальности.

Эрнест рассказывал, как, получив доступ в привилегированные круги, он впервые столкнулся с представителями господствующего класса, с людьми, занимающими видное общественное положение. Но тут для него началась пора разочарований,— и об этой поре он говорил в выражениях, весьма не лестных для аудитории. Он возмущался ничтожеством человека, жизнью, лишенной красоты и смысла. Его ужасал эгоизм этих людей, удивляло полное отсутствие у них духовных интересов. После встреч с революционерами он не мог надивиться тупости и ограниченности представителей правящих классов. Сколько бы они ни возводили пышных церквей и какие бы высокие оклады ни платили своим проповедникам — все они, как мужчины, так и женщины, были грубыми материалистами. Хотя у них и имелись в запасе кое-какие грошовые идеалы и ханжеские сентенции, главным стимулом их поведения был грубый расчет. Заветы любви были им чужды — в том числе и те, которые проповедовал Христос и которые теперь были окончательно забыты.

— Я знал людей,— рассказывал Эрнест,— которые на словах ратовали за мир, а на деле раздавали оружие пинкертонам¹, чтобы те убивали бастующих рабочих; людей, которые с пеной у рта кричали о варварстве бокса, а сами были повинны в фальсификации продуктов, от чего ежегодно умирает младенцев больше, чем их было на совести кровавого Ирода.

Вот утонченный джентльмен с аристократической внешностью, он называется директором фирмы, на деле же он кукла, послушное орудие фирмы в ограблении вдов и сирот. А этот видный покровитель искусств, коллекционер редкостных изданий, радеющий о литературе,— им, как хочет, вертит скуластый звероподобный шантажист, босс муниципальной машины. Вот издатель, рекламирующий в своей газете патентованные средства²,— когда я

¹ Первоначально — частные сыщики, вскоре превратившиеся в наемных охранников капитала; впоследствии они составили наемную армию олигархии.

² Патентованные средства были патентованным шарлатанством. Это был такой же грубый обман доверчивого потребителя, как и амулеты или индульгенции средних веков, с той лишь разницей, что патентованные средства стоили дороже и приносили больше вреда.

предложил ему статью, разоблачающую эти знахарские снадобья, он назвал меня подлым демагогом. Этот коммерсант, благочестиво рассуждающий о бескорыстии и все-благом провидении, только что бессовестно обманул своих компаньонов. Вот видный благотворитель, щедрой рукой поддерживающий миссионеров,— он принуждает своих работниц трудиться по десяти часов в день, платя им гроши, и таким образом толкает их на проституцию. Вот филантроп, на чьи пожертвования основаны новые кафедры в университете и воздвигнуты пышные храмы,— он лжесвидетельствует на суде, чтобы выгадать побольше долларов и центов. Вот железнодорожный магнат, нарушавший слово джентльмена, гражданина и христианина тем, что он тайно входил со своими клиентами в соглашения о льготных тарифах и делал это часто. Вот почтенный сенатор, являющийся послушным орудием, рабом, безответной марионеткой грубого, невежественного босса и его политической машины¹, равно как и присутствующий здесь губернатор и член верховного суда,— всем троим открыт бесплатный проезд по железной дороге. А вон тому холемому господину принадлежат и босс, и его политическая машина, и железные дороги, отпускающие бесплатные проездные билеты.

Так случилось, что вместо рая я попал в бесплодную пустыню, где процветала только купля и продажа. Во всем, что не касалось торгашеских сделок, здесь проявлялось невежество и бездарность. Ничего чистого, благородного, живого,— зато какое приволье для всякой гнили и разложения! Повсюду я наталкивался на чудовищное бессердечие и эгоизм да на грубый, плотоядный, черствый и очерствляющий практицизм.

Эрнест еще многое говорил своим слушателям о них самих и о постигшем его разочаровании. Интеллектуально

¹ Сейчас трудно себе и представить, что в 1912 году большинство населения все еще упорно верило, будто, опуская в урны избирательные бюллетени, оно управляет страной. В действительности страной управляли боссы при помощи своих политических машин. Получая от капиталистов огромные взятки, боссы добивались для них угодных им законов; однако вскоре капиталисты сочли более выгодным взять политические машины в свои руки и выплачивать боссам жалованье.

они жалки, морально и духовно — отвратительны, поэтому он с радостью возвратился в стан революционеров, где люди боролись за чистое, благородное и живое дело, где можно было найти все то, чего не знали капиталисты.

— А теперь,— продолжал Эрнест,— я хочу рассказать вам, что такое революция.

Но прежде чем перейти к дальнейшему, я должна заметить, что яростные нападки Эрнеста нисколько не затронули его слушателей. Оглянувшись вокруг, я увидела на всех лицах выражение каменного равнодушия и самодовольства. Я вспомнила слова Эрнеста о том, что доводы морального порядка не оказывают на капиталистов никакого действия. Одна только мисс Брентвуд была встревожена несдержанностью и резкостью своего протеже и поглядывала на него растеряннo, с опаской.

Эрнест начал с описания того, что представляет собой армия революции, и когда он стал называть цифры, характеризующие ее боевую мощь в каждой стране (количество голосов, поданных на выборах), собрание начало проявлять признаки беспокойства. Лица слушателей теперь выражали тревогу, губы были плотно сжаты. Но вот Эрнест бросил им вызов. Он заговорил об интернациональной организации социалистов и о том, что полтора миллиона американских рабочих она объединяет с двадцатью тремя с половиной миллионами рабочих всего мира.

— Двадцатипятимиллионная армия революционеров,— говорил Эрнест,— это такая грозная сила, что правителям и правящим классам есть над чем призадуматься. Клич этой армии: «Пощады не будет! Мы требуем всего, чем вы владеете. Меньшим вы не отделаетесь. В наши руки всю власть и попечение о судьбах человечества! Вот наши руки! Это сильные руки! Настанет день, и мы отнимем у вас вашу власть, ваши хоромы и раззолоченную роскошь, и вам придется так же гнуть спину, чтобы заработать кусок хлеба, как гнет ее крестьянин в поле или щуплый, голодный клерк в ваших городах. Вот наши руки! Это сильные руки!»

Говоря это, Эрнест простер вперед свои могучие руки, и его кулаки кузнеца яростно сжимались, хватая воздух,

словно когти орла. В этой позе, сильный, плечистый, с грозно поднятыми руками, он казался символом победившего пролетариата, готового разить и крушить своих врагов. Еле заметное движение пробежало по залу, словно слушатели содрогнулись перед этим мощным, грозным и таким осязаемым видением революции. Вернее, содрогнулись женщины, на их лицах был написан страх. Мужчины не испугались: здесь собрались не беспечные лежебоки, а энергичные, деятельные люди, бойцы по натуре. Глухой гортанный ропот пронесся по рядам и тут же затих. Это был предвестник озлобленного ворчания, которое в тот вечер не раз поднималось в зале, указывая на пробуждение в человеке зверя, изобличая первобытную силу его страстей. Они и сами не знали, что рычат. Это бесновалась вся свора,— вся свора глухо ворчала, сама того не замечая. Наблюдая растущее ожесточение на их лицах и воинственный блеск в глазах, я поняла, что нелегко будет вырвать из их лап господство над миром.

Атака продолжалась. В Соединенных Штатах потому полтора миллиона революционеров, заявил Эрнест, что капитализм обанкротился, власть его оказалась пагубной для общества. Эрнест обрисовал те условия, в которых когда-то жил пещерный человек, а ныне живут дикари. Они не знали употребления орудий и машин и в борьбе за существование опирались только на свои природные способности и силу — с коэффициентом производительности, который он условно приравнял к единице. Проследив постепенное развитие техники и общественных отношений, Эрнест указал, что производительность труда современного человека, по сравнению с производительностью дикаря, стала в тысячу раз больше.

— Пятеро рабочих,— говорил он,— выпекают хлеб для тысячи человек. Один рабочий изготавливает хлопчатобумажной ткани на двести пятьдесят, шерстяной ткани на триста, обуви на тысячу человек. Естественно было бы думать, что в правильно организованном обществе современному цивилизованному человеку живется в тысячу раз лучше, нежели его пращуру, пещерному человеку. Но так ли это? Давайте посмотрим! Сегодня пятнадцать миллио-

нов¹ граждан Соединенных Штатов живет в нищете, то есть в таких условиях, когда вследствие недостатка пищи и отсутствия нормального жилья силы человека не восстанавливаются и работоспособность снижается. Сегодня в Соединенных Штатах, несмотря на пресловутое рабочее законодательство, насчитывается три миллиона малолетних рабочих². За двенадцать лет число их возросло вдвое. Кстати, разрешите спросить вас, хозяева страны, почему не опубликованы данные переписи тысяча девятьсот десятого года? Впрочем, можете не беспокоиться, я отвечу за вас: вы боитесь, как бы эти цифры, показатели человеческого злополучия, не ускорили революцию, которая собирается над вашей головой.

Но возвратимся к моему обвинению. Если производительность труда человека наших дней по сравнению с временами пещерного человека возросла тысячекратно, почему же сегодня в Соединенных Штатах пятнадцать миллионов американцев голодны и не имеют жилья? Почему в Соединенных Штатах три миллиона детей работают на фабрике? Капиталисты оказались плохими хозяевами, этого обвинения нельзя опровергнуть. Убедившись, что современный человек живет хуже своего пещерного предка, хотя его производительность труда возросла тысячекратно, мы с неизбежностью приходим к выводу, что капитализм обанкротился, что вы, господа, ваши преступные, хищнические методы хозяйничанья ввергли человечество в нищету. И здесь, на этой очной ставке, вы так же не в состоянии ответить мне на мой вопрос, как весь класс капиталистов не в состоянии на него ответить полтора миллионам американских революционеров. Вы не ответите на этот вопрос, хоть я и призываю вас к ответу. Больше того, я утверждаю, что вы постараетесь не заметить обращенного к вам вопроса. Об этом вы предпочтете молчать, хотя каждый из вас будет бесконечно распространяться на всякие другие темы.

¹ По данным Роберта Хантера, опубликованным в его книге «Нищета» (1906), в Соединенных Штатах того времени десять миллионов человек влечило нищенское существование.

² Переписью 1900 года (последней, результаты которой были преданы гласности) установлено, что в Соединенных Штатах занято на фабрично-заводской работе 1752 187 детей.

Вы обанкротились. Цивилизацию вы превратили в бойню. Вот что сделала ваша слепота и жадность. Потеряв всякий стыд, всходите вы на трибуну в ваших законодательных собраниях, заявляя, что только труд младенцев и детей может спасти ваши прибыли. Это не голословное обвинение, против вас говорят ваши же официальные отчеты. Вы убаюкиваете свою совесть, болтая о каких-то грошовых идеалах и ханжеской морали. Распираемые властью и богатством, опьяненные могуществом, вы напоминаете праздных трутней, которые роями выются над медовыми сотами; но настанет день, и работницы-пчелы налетят со всех сторон, чтобы избавить мир от разъевшихся лодырей. Ваша власть оказалась пагубной для человеческого общества, значит нужно отнять у вас власть! Полтора миллиона американских рабочих заявляют, что они объединят вокруг себя весь рабочий люд и отнимут у вас власть... Это, господа, и есть революция! Попробуйте остановить ее!

Когда Эрнест умолк, раскаты его голоса еще долго отдавались в притихшей гостиной. Но вот в рядах поднялось то характерное гортанное ворчанье, которое я уже слышала раньше, и полтора десятка человек вскочило с места, требуя внимания председателя. Заметив, что у мисс Брентвуд, сидевшей впереди, судорожно прыгают плечи, я вообразила, что она смеется над Эрнестом. Но оказалось, что это истерика. Бедняжка считала себя в ответе за бомбу, взорвавшуюся среди ее возлюбленных филоматов.

Полковник Ван-Гилберт, видимо, не замечал, что полтора десятка человек с искаженными злобой лицами требуют у него слова. Его лицо тоже было перекошено от злобы. Вскочив с места и отчаянно размахивая руками, он и сам силился что-то сказать, но из горла его вырывалось только мычание. Наконец, он заговорил. Однако на этот раз речь полковника не была блестящим образчиком его стотысячедолларового искусства, не блистала она и старосветской риторикой.

— Вздор и софистика! — заорал он во все горло. — Слыханное ли дело! Битый час вы заставили нас сидеть здесь и выслушивать вздор и софистику. Молодой человек, знайте, что за весь вечер вы не сказали ни одного

нового слова. Меня пичкали всем этим еще в колледже, когда вас и на свете не было. Жан Жак Руссо опередил всю вашу братию ни много ни мало на двести лет,— это ему принадлежит честь открытия ваших социалистических теорий! Клич «Назад к земле!» — нашли чем удивить! Возвращение к первобытному состоянию! Биология учит нас, что даже природа не знает движения вспять. Вот уж действительно, ничего нет страшнее недоучки, в этом вы сегодня лишний раз убедили нас своими сумасшедшими теориями. Вздор и софистика! Сыт по горло! Вот и все, что я имею сказать в ответ на ваши скороспелые обобщения и ребяческие доказательства.

Полковник презрительно щелкнул пальцами и уселся на свое председательское место. Послышались восторженные возгласы женщин и одобрителное мычание мужчин. Половина ораторов, давно уже требовавших слова, заговорила разом. Началось невообразимое смятение и шум. Никогда еще просторная гостиная миссис Пертонуэйт не видела в своих стенах ничего подобного. С удивлением узнавала я наших надменных королей промышленности, наших столпов общества в этих хрипящих, ревуших дикарях, облаченных во фраки. Эрнесту удалось-таки расшевелить их тем, что он потянулся к их бумажнику руками, за которыми им виделись руки полутора миллионов революционных американских рабочих.

Но Эрнест никогда не терял присутствия духа. Едва полковник Ван-Гилберт опустил на свое место, как Эрнест вскочил и рванулся вперед.

— Не все сразу! — загремел он во всю силу своих легких.

Раскаты этого зычного голоса покрыли шум в зале. Одним лишь властным воздействием своей личности Эрнест добился тишины.

— Поодиночке. Не все сразу,—повторил он уже обычным голосом.— Дайте мне ответить полковнику Ван-Гилберту, а потом выходите, кто хочет. Но только по одному, помните! Это вам не массовые игры. Мы с вами не на футбольной площадке.

— Что касается вас,— обратился он к полковнику,— должен заметить, что вы не ответили ни на один мой вопрос. Вы отпустили по моему адресу несколько пристра-

стных и раздраженных замечаний и этим ограничились. Может, на суде такие вещи и помогают, но со мной это у вас не выйдет. Я не рабочий, с непокрытой головой пришедший просить у вас прибавки или защиты от машины, которая убивает его. Разговаривая со мной, будьте добры придерживаться истины. А эти повадки приберегите для своих наемных рабов. Они не посмеют вам возражать — ведь их хлеб, вся их жизнь в ваших руках.

Что касается возвращения к природе, о котором, по вашим словам, вы слышали в колледже, когда меня еще и на свете не было, могу вам сказать одно: с тех пор вы больше ничему и не научились. Между социализмом и возвращением в естественное состояние столько же общего, сколько между дифференциальным исчислением и библией. Я уже говорил вам, что вне деловых отношений ваш класс отличается феноменальной глупостью. Вы, сэр, блестяще подтвердили мою мысль!

Слабые нервы мисс Брентвуд не выдержали зрелища публичного посрамления, которому подвергся ее сотысячедолларовый юрист. То плача, то смеясь, она билась в истерику, пока соседи, подхватив ее с двух сторон, не вывели из зала. И, надо сказать, во-время, потому что дальше пошло еще хуже.

— И это не голословное обвинение,— продолжал Эрнест, как только мисс Брентвуд благополучно скрылась за дверью.— Ваши же собственные авторитеты не замедлят упрекнуть вас в глупости. Ваши высокооплачиваемые поставщики науки скажут вам, что вы не правы. Обратитесь к самому смирному и забитому доценту при кафедре социологии и спросите его, какая разница между учением Руссо о возврате к природе и учением социализма; обратитесь к своим знаменитейшим ортодоксально-буржуазным политико-экономам и социологам; перелистайте любую книжку на эту тему в субсидируемой вами библиотеке — и всюду вы получите один ответ: учение о возврате к природе не имеет ничего общего с социализмом. Наоборот, все ваши источники единодушно скажут вам, что учения эти исключают друг друга. Повторяю, я не хочу быть голословным. Но любая книжка из тех, что вы покупаете, чтобы поставить на полку не читая, скажет

вам, что вы невежественны и глупы. И в этом вы достойный сын своего класса.

Вы сведущий законник и бизнесмен, полковник Ван-Гилберт. Ваше дело — угождать корпорациям и подгонять закон к интересам и требованиям ваших работодателей. Это занятие вам как раз по плечу. Держитесь же за него. Ведь вы, можно сказать, фигура! Но, будучи хорошим юристом, вы тем не менее никуда не годный историк и такой же социолог, а ваша биология — ровесница Плинию.

Полковник Ван-Гилберт беспокойно ерзал на стуле. В зале царила полная тишина. Каждый сидел затаив дыхание, каждый слушал, как завороженный. Казалось странным, немыслимым, диким, чтобы кто-нибудь обошелся так с полковником Ван-Гилбертом, чье появление в зале суда ввергало судей в трепет. Но Эрнест не щадил врагов.

— Все это, конечно, не порочит вас, полковник, — продолжал он. — У каждого свое ремесло, — у вас свое, у меня свое. Вы мастер своего дела. Когда вопрос коснется того, чтобы обойти старый закон или придумать новый в угоду нашим вороватым корпорациям, тут я мизинца вашего не стою. Но если речь идет о социологии, то уж это по моей части, полковник, и тут вам приличествует скромность. Запомните же это. И не забывайте, что ваши познания ненадежны, ибо законы живут недолго. То, что не укладывается в сегодняшний день, не входит в вашу компетенцию. А потому все ваши решительные утверждения и скороспелые выводы — пустая трата времени и слов.

Остановившись на минуту, чтобы перевести дыхание, Эрнест задержался взглядом на своем противнике. Шея у полковника налилась кровью, лицо злобно подергивалось, белые тонкие пальцы сжимались и разжимались; он нетерпеливо вертелся на стуле, словно готовый вот-вот вскочить.

— Но вы, очевидно, еще не истратили весь свой порок. Что ж, милости просим, для него найдется применение. Я предъявил вашему классу обвинение и жду, что вы его опровергнете. Я указал вам на те тяготы, от которых страдает современный человек, я упомянул о трех миллионах детей-рабов, которые гарантируют американским капиталистам их высокие прибыли, и о пятнадцати

миллионах голодных, раздетых и по существу бесприютных бедняков. И поскольку производительность труда современного человека при новых производственных отношениях и новой технике в тысячу раз выше, чем производительность пещерного человека, я сделал вывод, что капитализм обанкротился. В этом и заключается мое обвинение, и я обратился к вам с убедительнейшей просьбой опровергнуть его. Больше того. Я позволил себе предсказать, что вы оставите мой вопрос без ответа. Вот вам прекрасный случай дать выход вашей избыточной энергии! Вы называли мое выступление софистикой. Докажите это, полковник Ван-Гилберт! Дайте ответ на обвинение, которое я и полтора миллиона моих товарищей сегодня бросаем вам и вашему классу.

Полковник Ван-Гилберт, очевидно, забыл о своих председательских функциях, которые давно обязывали его дать слово другим желающим. Он вскочил и, яростно жестикулируя (куда делось его самообладание, его прекраснородушная риторика!), стал изливать свой гнев на Эрнеста и на рабочий класс, то называя первого молокососом и демагогом, то утверждая, что второй сам ни на что не способен и что от него нечего ждать.

— Для юриста вы, право же, недостаточно сильны в логике,— отвечал Эрнест на эту тираду.— Ведь речь у нас шла не о моей молодости и не о способностях рабочего класса. Я обвинил капитализм в том, что он обанкротился. Вы не ответили мне. Вы даже не пытались ответить. Почему же? Потому, что у вас нет ответа? Здесь, на этом собрании, вы, можно сказать, первое лицо. Все присутствующие, кроме меня, конечно, с нетерпением ждут, что вы ответите за них, поскольку сами они не в силах ничего ответить. Я-то знаю, что вы не только не ответите мне, но и не сделаете ни малейшей попытки в этом направлении...

— Довольно! — воскликнул полковник Ван-Гилберт.— Кто дал вам право оскорблять меня? Это возмутительно!

— Возмутительно то, что вы уклоняетесь от ответа,— серьезно возразил Эрнест.— Я ничем не оскорбил вас. Если люди расходятся во мнениях — это вовсе не основание, чтобы кричать о своих оскорбленных чувствах.

Призовите же себя к порядку и дайте разумный ответ на мое разумное обвинение в том, что капитализм обанкротился.

Полковник Ван-Гилберт молчал с видом уничтожающего презрения, ясно говорившим, что он намерен впредь игнорировать выпады этого грубияна.

— Ничего, не огорчайтесь, — сказал ему Эрнест. — Черпайте утешение в том, что ни один представитель вашего класса еще не дал ответа на этот вопрос. А теперь ваша очередь, — обратился он к ораторам, давно уже рвавшимся в бой. — Валяйте! Но прежде всего я прошу вас ответить на вопрос, перед которым спасовал полковник Ван-Гилберт.

Немыслимо хотя бы вкратце пересказать здесь все, что говорилось на дискуссии. Трудно себе представить, чего только не могут нагородить разгоряченные спорщики за какие-нибудь три часа. Я веселилась от души. Чем больше входили в азарт оппоненты, тем спокойнее и увереннее разжигал их Эрнест. Пользуясь своими обширными познаниями, он — где смелым словом, где удачно ввернутой фразой — расправлялся со своими противниками, поражая их легчайшими, но убийственными уколами, словно прокалывая резиновую шину. Он ловил их на логических ошибках: то это было порочное умозаключение, то вывод, не вытекающий из предпосылки, то ложная предпосылка, скрывающая в себе искомый вывод. Здесь он находил ошибку, там — произвольное допущение или же безграмотное утверждение, противоречащее всякой очевидности.

Бой не утихал ни на миг. Иногда Эрнест заменял рапиру дубинкой и бил ею наотмашь, разя врагов направо и налево. И от каждого он требовал фактов, отказываясь входить в обсуждение всяких домыслов и теорий. Факты были для них новым Ватерлоо. Когда они нападали на рабочий класс, он говорил: «Зачем кивать на других? От этого ваши руки не станут чище». И каждому задавал вопрос: «А как же обвинение в том, что капитализм обанкротился. Вы не ответили на него. Или у вас нет ответа?»

Только к концу дискуссии слово взял мистер Уиксон. Он единственный из собравшихся сохранял хладнокровие и единственный заслужил уважение Эрнеста.

— Никакого ответа и не нужно,— медленно и веско произнес мистер Уиксон.— Я следил за всей этой перепалкой и не знаю, удивляться или негодовать. Я отказываюсь понять вас, джентльмены, мои коллеги и соратники. Вы ведете себя как глупые школьники. Вы унизились до таких доводов, как соображения морали, и до такой ажитации, какая свойственна только вульгарным политикам. Вы позволили противнику обойти вас и одержать верх. Вы говорили много, но не сказали ничего. Вы, словно комары, жужжали вокруг медведя. Джентльмены, вот он перед вами, ваш медведь (он указал на Эрнеста), он цел и невредим, вы только позабавили его своим комариным писком.

А между тем, поверьте, положение самое серьезное. Медведь сегодня занес лапу, угрожая нам. Он говорил, что в Соединенных Штатах насчитывается полтора миллиона революционеров. И это правда. Он говорил, что они намерены отнять у нас нашу власть, наши дворцы и раззолоченную роскошь. И это тоже правда. Перемена, великая перемена назревает в обществе. Но, по счастью, не та перемена, которой ждет медведь. Медведь грозит, что раздавит нас. На самом деле — как бы мы его не раздавили!

Опять по залу пронеслось глухое рычание, люди переглядывались и кивали друг другу со спокойной уверенностью. Лица их выражали энергию и решимость. Чувствовалось, что это враг, твердый, непоколебимый.

— Медведя не испугаешь комариным писком,— холодно и бесстрастно продолжал мистер Уиксон.— Мы его затравим. И отвечать медведю будем не словами, а так, как победитель отвечает побежденному. Власть принадлежит нам, этого никто не отрицает. Силою этой власти мы и удержим власть.

Он внезапно повернулся к Эрнесту. Весь зал затаил дыхание.

— Итак, вот наш ответ. Нам не о чем с вами разговаривать. Но как только вы протянете руки, ваши хвальные руки силачей, к нашим дворцам и нашей роскоши — мы вам покажем, где сила. В грохоте снарядов, в визге картечи и щелкании пулеметов вы услышите наш

ответ¹. Вас же, революционеров, мы раздавим своею пятой, мы втопчем вас в землю.

Мир принадлежит нам, мы его хозяева, и никому другому им не владеть! С тех пор как существует история, ваше рабочее воинство всегда копошилось в грязи (как видите, мы тоже кое-что смыслим в истории) и будет и дальше копошиться в грязи, пока мне и тем, кто со мной, и тем, кто придет после нас, будет принадлежать вся полнота власти. Власть! — вот слово, равного которому нет в мире. Не бог, не богатство — власть! Вдумайтесь в это слово, проникнитесь им, чтобы оно дрожью отдалось во всем вашем существе. Власть!

— Что ж, я удовлетворен, — спокойно ответил Эрнест. — Это и есть тот единственный ответ, какой вы могли нам дать. Власть — как раз то, чего добивается рабочий класс. Наученные горьким опытом, мы знаем, что никакие призывы к справедливости, человечности, законности на вас не действуют. Сердца ваши равнодушны, как пята, которой вы топчете бедняков. Поэтому мы и добиваемся захвата власти. И мы завоюем ее на выборах, мы заставим вас отдать нам власть...

— А если бы вам и удалось одержать победу, и даже решающую победу, — прервал его Уиксон, — уж не думаете ли вы, что мы добровольно откажемся от власти, после того как она достанется вам на выборах?

— И к этому мы готовы, — возразил Эрнест. — И мы ответим вам, как победитель отвечает побежденному. Власть — идол, которому вы поклоняетесь! Пусть будет так. Если в день, когда мы добьемся победы на выборах, вы откажетесь передать нам власть, завоеванную мирным конституционным путем, мы, повторяю, сумеем вам ответить. В грохоте снарядов, в визге картечи, в щелкании пулеметов вы услышите наш ответ.

Вам не уйти от нашего суда! Это верно, что вы кое-что смыслите в истории. Это верно, что рабочий люд с незапамятных времен копошится в грязи, — как верно, что он

¹ Сравните с этим заявлением следующее место из «Словаря цинника» (1906 г. хр. эры) некоего Амброза Бирса, известного мизантропа той эпохи: «Картечь (существительное ед. числа, ж. рода) — ответ, который готовит будущее на требования американских социалистов».

так и будет копошиться в грязи, пока вы и те, кто с вами, и те, кто будет после вас, стоите у власти. Тут я с вами согласен, как согласен и в другом: решать между нами будет сила, как и всегда она решала. Это — война классов. Но как ваш класс низверг старую феодальную знать, так и мы, рабочий класс, низвергнем ваше господство. Если бы наряду с уроками истории вы не гнушались и уроками биологии и социологии, для вас была бы очевидна неизбежность предстоящей вам гибели. Через год, через десять лет, в крайнем случае через тысячелетие, ваш класс будет низвергнут. Мы добьемся этого силой, силой проложим себе дорогу к власти. Мы, рабочее войнство, хорошо затвердили это слово, и оно звенит во всем нашем существе. Власть! Этому слову нет равного в мире. Так кончился вечер у филоматов.

Глава шестая **ТЕНИ БУДУЩЕГО**

Тем временем над головой у нас сгушались грозовые тучи. Эрнест не раз выражал опасение, как бы моему отцу не пришлось пострадать из-за того, что он принимает у себя рабочих лидеров и социалистов и сам бывает на их собраниях. Но отец только смеялся над его тревогами. Я же, как губка, впитывала то, что давали мне встречи с руководителями рабочего класса и его теоретиками. Впервые видела я перед собой людей другого общественного лагеря. И меня увлекало их бескорыстие, их пламенная вера, хотя, признаться, немало страшила обширная философская и научная литература, которая теперь открылась передо мной. В общем я делала быстрые успехи, — хотя и недостаточно быстрые для того, чтобы оценить всю опасность нашего положения.

А между тем тревожных признаков было много, только я не обращала на них внимания. Мисс Уиксон и миссис Пертонуэйт — мнение этих дам было законом в наших университетских кругах — отзывались обо мне, как о развязной и самоуверенной молодой особе с вредным направлением ума: я будто бы вечно что-то из себя корчу и вмешиваюсь

в то, что меня не касается. Памятуя о своем расследовании дела Джексона, я нисколько не удивлялась этому и не задумывалась над тем, какое впечатление произведет на наше общество приговор столь высоких судей.

Правда, от меня не скрылось, что старые друзья стали ко мне заметно холоднее, но я приписывала эту перемену недовольству, с которым было встречено известие о моей помолвке с Эрнестом. Впоследствии он объяснил мне, что за этой видимостью словно бы естественного классового недовольства скрывалось нечто более серьезное. «Ты осмелилась приютить своего классового врага,— говорил он.— Мало того, ты отдала ему свою любовь. Это будет сочтено предательством, изменой. Берегись, тебе не избежать кары».

Но еще до этого разговора отец как-то вечером вернулся домой, охваченный возмущением — философическим возмущением! Папа редко сердился, но некоторую долю возмущения разрешал себе, считая его прекрасным тоническим средством. И вот, как только он появился перед нами в тот вечер, мы с Эрнестом почувствовали, что он возмущен, приятно возмущен.

— Ну, что вы скажете,— обратился он к нам.— Я нынче завтракал с самим Уилкоксом.

Престарелый ректор университета Уилкоккс считался у нас музейной древностью, так как сохранил в полной неприкосновенности идеи и взгляды семидесятых годов.

— Я получил приглашение. За мной было послано! — продолжал папа.

Он выдержал паузу, мы с интересом ждали дальнейшего.

— Все было мило, чинно — не придерешься. Но меня отчитали, как мальчишку. Меня! И кто же? Это ископаемое!

— Нетрудно догадаться, за что,— сказал Эрнест.

— Ручаюсь, что и с трех раз не угадаете,— смеялся папа.

— Угадаю с первого же. Тут и смекалки особой не требуется, а только самое обыкновенное умозаключение. Вам поставили на вид вашу частную жизнь.

— Верно! — воскликнул отец.— Как вы догадались?

— Этого надо было ожидать. Я не раз говорил вам.

— Говорили, правда,—подтвердил папа.—Но мне что-то не верилось. Зато какой материал для моей книги!

— Погодите, то ли еще будет,—продолжал Эрнест,—если вы не раззнакомитесь со всякими радикалами и социалистами, включая и меня...

— То же самое говорил мне и старикашка Уилкокс. Нес бог знает что! Эти-де знакомства обличают дурной вкус, они ничего не дают ни уму, ни сердцу, а главное, никак не вяжутся с нашими университетскими традициями и правилами, и все в таком же туманном роде,—мне так и не удалось вытянуть из него, что за этим кроется. Я, признаться, не пожалел старика,—бедняга уж и так и этак вилял, расписывал, как и он и весь мир чтут мои научные заслуги. Он, видимо, был и сам не рад, что впутался в это дело, и сидел как на углях.

— Уилкокс действовал не по своей воле,—сказал Эрнест.—Не всякому дано носить кандалы с грацией¹.

— В этом-то он и сам сознался. В университете предвидятся расходы, значительно превышающие сумму, отпущенную правительством штата. Придется обратиться за помощью к городским тузам, и, значит, нельзя раздражать их: университет должен оставаться верен высоким идеалам аполитичного преподавания аполитичной науки. Когда же я прямо спросил, какое отношение ко всему этому имеет моя частная жизнь, Уилкокс предложил мне двухгодичную командировку в Европу—для отдыха и научных изысканий!—с полным сохранением оклада. Разумеется, я не принял ее.

— А не мешало бы,—серьезно заметил Эрнест.

— Так ведь это же взятка!—запротестовал отец. Эрнест только молча кивнул в ответ.—Негодяй плел что-то насчет всяких пересудов, предметом которых служит моя дочь—ее повсюду видят с вами, а ведь известно, что вы за человек; и будто это несовместимо с университетскими представлениями о достоинстве и приличии. Он клялся, что это не его личное мнение—боже упаси! Но идут всякие разговоры,—сами, мол, понимаете...

¹ В кандалы заковывали африканских рабов и преступников; полностью вышли из употребления только в эру Братства людей.

Эрнест с минуту размышлял, а потом ответил с мрачным спокойствием, за которым таился сдержанный гнев: — Здесь что-нибудь посерьезнее университетских идеалов. Кто-то, видно, нажал на Уилкокса.

— Вы думаете? — спросил отец, по его лицу было видно, что он скорее заинтригован, чем испуган.

— К сожалению, мне трудно с достаточной ясностью рассказать вам об одной догадке, которая с недавних пор беспокоит меня, — сказал Эрнест. — Никогда в истории человеческого общество не находилось в таком неустойчивом состоянии, как сейчас. Бурные перемены в экономике вызывают такие же бурные перемены в религиозной и политической жизни и в структуре общества. Где-то в недрах общества происходит невидимый глазу, но грандиозный переворот. Эти процессы скорее угадываешь, воспринимаешь каким-то шестым чувством. Но это носится в воздухе — здесь, сегодня, у нас. Что-то надвигается — огромное, неясное, грозное. Ум мой в страхе отступает перед предположениями, во что это может вылиться. Вы слышали, что тогда говорил Уиксон? За его словами стояла та же безыменная, смутная угроза. Он тоже скорее догадывается, чем знает что-либо определенное.

— Вы ждете?.. — спросил отец и остановился.

— Я жду прихода каких-то гигантских и грозных событий, тени которых уже сегодня омрачают горизонт. Назовем это угрозой олигархии — дальше я не смею идти в своих предположениях. Трудно даже представить себе ее характер и природу¹. Мне хотелось сказать только сле-

¹ Немало людей, подобно Эвергарду и задолго до него, улавливали эти тени будущего, хотя и представить себе не могли, что оно несет с собой. Так Джон Кэлхун говорил: «В наше время у власти силы, с которыми народу трудно тягаться, ибо они представляют собой множество разнообразных могущественных интересов, спаянных воедино огромными банковскими прибылями». Напомним также известные слова великого человеколюбца Авраама Линкольна, сказанные им незадолго до своей гибели: «В недалеком будущем наступит перелом, который крайне беспокоит меня и заставляет трепетать за судьбу моей страны... Приход к власти корпораций неизбежно повлечет за собой эру продажности и разложения в высших органах страны, и капитал будет стремиться утвердить свое владычество, играя на самых темных инстинктах масс, пока все национальные богатства не сосредоточатся в руках немногих избранных, — а тогда конец республике».

дующее: вам угрожает опасность, которой я тем больше страшусь, что у меня нет возможности судить о ее размерах. Послушайтесь моего совета и поезжайте в отпуск.

— Но это значило бы струсить!

— Никоим образом. Вы человек уже немолодой. Вы сделали свое дело, и это немало. Предоставьте же теперь борьбу тем, кто молод и силен. Это наша жизненная задача. Эвис будет со мной. Смотрите на нее, как на своего представителя в наших рядах.

— Ничего они мне не сделают,— возразил отец.— Я, слава создателю, от них не завишу. Мне хорошо известно, какие гонения они могут обрушить на профессора, всецело зависящего от университетской службы. Но мне это не страшно. Я преподаю не ради жалованья. С меня достаточно моих доходов,— пусть лишают меня профессорского оклада.

— Вы меня не понимаете,— возразил Эрнест.— Если свершится то, чего я страшусь, вас лишат не только профессорского места. С такой же легкостью у вас могут отнять все ваши доходы, да и все, чем вы владеете.

Некоторое время прошло в молчании. Отец напряженно думал; наконец, его глаза загорелись решимостью, он сказал:

— Никуда я не поеду.— И после небольшой паузы:— Я предпочитаю писать мою книгу¹. Вы, возможно, еще ошибаетесь, но, если даже вы и правы, у меня есть свои принципы. И я от них не отступаю.

— Как хотите,— сказал Эрнест.— Боюсь, вы идете по той же дорожке, что епископ Морхауз, и так же, как он,

¹ Книга эта, под заглавием «Экономика и образование», вышла в том же году. Сохранилось всего лишь три ее экземпляра, два в Ардисе и один в Эсгарде. В ней, на основе многочисленных фактов, была подвергнута детальному анализу одна из сторон практики воинствующего капитализма, а именно классовый характер университетского и школьного образования в США. В целом книга представляет собой уничтожающий обвинительный акт, направленный против всей системы американского образования, которое внедряло в умы учащихся только идеи, не опасные для капиталистического строя, и изгоняло все ведущее к его критике и ниспровержению. Появление книги вызвало сенсацию, и власти немедленно конфисковали ее.

плохо кончите. Первым делом у вас отнимут все до нитки, будете оба тогда пролетариями.

Разговор перешел на епископа, мы попросили Эрнеста рассказать нам, что претерпел наш друг по его милости.

— Епископ совсем потерял душевный покой после путешествия по аду, которое он совершил под моим руководством. Я повел его к нескольким рабочим, познакомил с калеками, выброшенными на улицу промышленностью, — он потолковал с ними, послушал их рассказы. Я показал ему трущобы Сан-Франциско, и он понял, что пьянство, проституция и преступления — это следствия куда более страшного зла, чем прирожденная греховность человека. Он болен, но что хуже всего — совершенно выбит из колеи. У него гипертрофия совести, он жестоко потрясен, к тому же, как всегда, далек от жизни. Сейчас он носится со всякими моральными иллюзиями и рвется к миссионерской деятельности среди культурных слоев общества. Он считает себя призванным воскресить первоначальный дух христианской церкви и думает обратиться с проповедью к правящим классам. Бедняга взвинчен до крайности. Не сегодня-завтра наступит кризис, — и тогда жди беды! Трудно сказать, что он может выкинуть. Это чистая, восторженная душа, но он совершенно не знает жизни! Я ничего не могу с ним поделать. Мне не удастся удержать его на земле, и он все рвется к своему Гефсиманскому саду. Как бы это не кончилось распятием — ведь таков удел возвышенных душ.

— И твой удел? — спросила я.

Я улыбалась, но в моем вопросе таилась вся глубина, вся жгучая тревога любви.

— Ну нет, — рассмеялся Эрнест. — Меня могут казнить или убить из-за угла, но только не распять. Я слишком крепко стою на земле.

— Зачем же было доводить до этого? Ведь ты не станешь отрицать, что сам втянул епископа в беду.

— А зачем оставлять счастливого в его блаженном неведении, когда миллионы обречены на труд и горе?

— Но папе ты советуешь уйти в отпуск?

— Так я ведь не чистая, восторженная душа, как твой епископ. Я практик и расчетливый эгоист. А кроме того, я люблю тебя и, подобно библейской Руфи, считаю твоих

родных моими. У епископа же, как известно, нет дочки. Кроме того, сколь ни бессильны его вопли, свое маленькое дело они сделают, а революция не отказывается ни от какой помощи, даже самой незначительной.

Я не могла согласиться с Эрнестом. Я слишком хорошо знала благородную душу епископа Морхауза и не хотела верить, что его голос, поднятый за правду, окажется лишь бессильным воплем. Изнанка жизни не была мне так знакома, как Эрнесту. Он ясно видел обреченность этого прекраснодушного мечтателя, и дальнейшие события убедили и меня в том же.

Вскоре Эрнест рассказал мне то, что он назвал забавным анекдотом: ему была предложена правительственная должность уполномоченного Штатов по вопросам труда. Я обрадовалась. Это место сулило моему будущему мужу хороший оклад и обещало нам обеспеченное существование. Кроме того, я считала, что такая работа будет Эрнесту по душе, не говоря уже о том, что моя ревнивая гордость видела в этом лестном предложении признание его блестящих способностей.

Но тут я заметила ироническую искорку в его глазах. Эрнест явно надо мной смеялся.

— Уж не думаешь ли ты отказаться? — спросила я дрогнувшим голосом.

— А разве ты не понимаешь, что это взятка? Я вижу за этим руку Уиксона, а за Уиксоном стоит кто-то и поважнее. Это старый прием! Старый, как классовая борьба: у пролетариата стараются похитить его руководителей. Бедный рабочий класс! Если б ты знала, скольких вождей он лишился таким образом. Ведь гораздо дешевле купить генерала, чем сражаться с ним и с его армией. Вот, например... нет, не буду называть имена. Зачем беречь старые раны! Дорогая, я один из полководцев армии пролетариата. Я не могу продать его врагам. Но если бы даже ничто другое не удерживало меня, я не сделал бы этого уже ради памяти отца, ради его тяжелой, загубленной жизни.

В глазах моего сильного, мужественного героя блистали слезы. Он всегда с горечью вспоминал, как надругалась жизнь над его отцом: необходимость прокормить

много голодных ртов заставляла его изворачиваться, лгать, пускаться на мелкое воровство.

— Отец у меня был хороший человек, — рассказывал мне Эрнест, — но страшная, уродливая жизнь исковеркала его и пришибла. Хозяева, эти архискоты, заездили его, как рабочую клячу. Он и сейчас мог бы жить, ведь он ровесник моему отцу. Он был богатырского сложения, но и его сгубила фабрика, и он погиб ради хозяйских барышей. Подумай только! Это значит, что кровь его понадобилась кому-то на веселый ужин с вином, или на побрякушку, или на какую-нибудь другую пошлую забаву этих гнусных паразитов, этих архискотов.

Глава седьмая

ВИДЕНИЕ ЕПИСКОПА

«С нашим епископом просто сладу не стало, — писал мне Эрнест. — Он совсем унесся за облака. Нынче вечером он начинает свой поход за восстановление справедливости в нашем злополучном мире. Он принесет людям благую весть. Все это епископ доложил мне сам, но я не в силах его удержать. Он председательствует на съезде ИПГ¹ и собирается воспользоваться для своего воззвания вступительным словом.

Не хочешь ли послушать его вместе со мной? Беднягу ожидает жестокий провал. Представляю, каким это будет ударом для тебя и для него. Но тебе это послужит превосходным уроком. Ты ведь знаешь, голубка, как я горжусь твоей любовью. Я хочу, чтобы ты ценила все, что есть во мне хорошего, а потому не удивляйся моему желанию рассеять у тебя малейшее облачко сомнения. Гордость моя требует, чтобы ты поняла, как правильны и разумны мои взгляды. Тебе известна их суровость. Но бессилие прекрасногодушного епископа, быть может, покажет тебе всю неизбежность такой суровости. А потому едем со мной сегодня вечером. Мы переживем горькие минуты, но я чувствую, что они нас еще больше сблизят».

¹ Полное название организации установить не удалось.

Съезд ИПГ происходил на сей раз в Сан-Франциско¹. На повестке дня стоял вопрос об упадке морали в современном обществе и мерах борьбы с этим злом. Председательствовал епископ Морхауз. Видно было, что он волнуется, — я на расстоянии чувствовала, как напряжены у него нервы. Рядом с ним в президиуме сидели: епископ Диккинсон; профессор Г. Г. Джонс, возглавлявший кафедру этических учений на философском факультете Калифорнийского университета; миссис У. У. Херд, видная деятельница в сфере общественного призрения; Филипп Уорд — известный филантроп и еще несколько менее видных деятелей из той же области морального воспитания и благотворительности. Епископ Морхауз встал и начал без предисловий:

— Как-то я проезжал по городу в своей карете. Дело было вечером, я рассеянно наблюдал привычные картины городской жизни, как вдруг глаза мои открылись — и действительность предстала предо мной во всей своей наготе. Сначала я закрыл лицо руками, чтобы не видеть всех этих ужасов, и тогда во тьме предо мной встал вопрос: что же делать? что делать? Потом возник другой вопрос: что сделал бы на моем месте Учитель? И тогда великий свет пролился на все вокруг, и долг мой открылся мне словно в ярком сиянии солнца, как открылся он Савлу на пути его в Дамаск.

Я приказал остановить лошадей, вышел на тротуар и, обратившись к двум уличным женщинам, убедил их занять место в карете рядом со мной. Если то, чему учил нас Иисус, истина — эти несчастные были мне сестрами, и только моя преданная любовь могла очистить их.

Я живу в одном из лучших кварталов Сан-Франциско. Мой дом оценен в сто тысяч долларов, а обстановка, книги и картины стоят и того больше. Это огромный особняк, вернее — дворец; целый штат слуг заботится о нем. До сих пор я не знал, в чем истинное назначение такого дворца, и думал, что мне и подобает жить в нем. Теперь я знаю. Я взял к себе этих женщин и приютил их.

¹ От Беркли до Сан-Франциско было несколько минут езды паромом. Все города, расположенные у бухты Сан-Франциско, представляли собой одну общину.

Я намерен все комнаты в своем дворце заселить такими же женщинами, как они, моими сестрами.

Весь зал насторожился, у сидевших в президиуме лица выражали ужас и смутнение. Епископ Диккинсон встал и демонстративно покинул собрание. Но епископ Морхауз, поглощенный своим видением, продолжал словно в каком-то забытии:

— О сестры и братья, в этом я вижу единственный выход. Я не знал, зачем нужны кареты, а теперь знаю: для того, чтобы перевозить больных, немощных и престарелых; для того, чтобы оказывать почет тем, в ком угасло даже естественное чувство стыда.

Я не знал, зачем нужны дворцы, а теперь нашел, что с ними делать. Дворцы, принадлежащие духовенству, должны быть превращены в больницы и убежища для тех, кто без сил свалился на краю дороги и погибает.

Епископ умолк, повидимому не справляясь со своими мыслями и сиюсь подыскать для них простые, выразительные слова.

— Не мне, дорогие братья, учить вас праведной жизни,— снова начал он.— Я слишком долго коснел во лжи и лицемерии, чтобы советовать другим. Но принятое мною решение касательно тех женщин, сестер моих, показывает, что всякий из нас может вступить на праведный путь. Для тех, кто верит в Иисуса и его святое евангелие, не может быть иного чувства к ближнему, кроме чувства любви. Только любовь сильнее греха, сильнее смерти. А потому я взываю к тем из вас, кто богат: делайте то же, что делаю я. Возьмите к себе в дом вора и обращайтесь с ним, как с братом; приютите у себя блудницу и назовите ее сестрой,— и тогда в Сан-Франциско минует надобность в суде и полиции. Тюрьмы будут обращены в больницы, и вместе с преступлением исчезнет и преступник.

Но не только деньги — надо отдать ближним и самих себя. Будем же во всем следовать примеру Христа, вот в чем заключается ныне послание церкви. Мы отступились от заветов Учителя. Мы убиваем душу, потворствуя плоти. На место Христа мы поставили маммону. Я захватил с собой стихотворение, где все это прекрасно сказано. Разрешите прочитать его. Оно написано великим греш-

ником, который, однако, много видел и понимал¹. И не думайте, что он упрекает здесь только католическую церковь. Нет, он бичует все церкви, клеймит роскошь и хвастливое великолепие всех церквей, что сбились с истинного пути, указанного нам Учителем, и отгородились от его овец. Слушайте же:

Орган гремел. Все пали ниц, и жег
Сердца людей благоговейный страх,—
То плыл по храму на людских плечах
Первосвященник Рима, словно бог.

Как жрец — в одеждах пены волн белей,
Как властелин — в сиянье трех корон
И в пурпуре,— свой путь направил он
К святилищу — надменный царь царей.

И вихрь сквозь тьму веков меня унес
К тому, кто у пустынных вод бродил,
Не находя пристанища для сна...

«Птенцу — гнездо, нора лисе дана,—
Лишь я, лишь я один бреду без сил
И пью вино, соленое от слез» *.

Слушатели волновались, но не потому, что речь епископа встретила в них сочувственный отклик. Однако епископ не замечал этого. Он продолжал:

— И я говорю тем из вас, кто богат, а также и всем прочим богатым людям в мире: тяжело притесняете вы тех, кого Учитель назвал своими овцами. Вы ожесточили сердца свои. Вы зажали уши, дабы не слышать, как вопиет и стонет вся страна. То вопли горя, то стоны страдания. И если вы не захотите их услышать — придет день, и они будут услышаны. И еще говорю вам...

Но тут Г. Г. Джонс и Филипп Уорд, давно уже стоявшие наготове, подхватили епископа под руки и свели его с помоста, провожаемые потрясенным молчанием зала.

Выйдя вместе со мной на улицу, Эрнест злобно захотал. Смех этот резнул меня по сердцу. Я с трудом сдерживала слезы.

— Вот он и принес людям благую весть! — воскликнул Эрнест. — Он открыл им свое мужественное и нежное

¹ Оскар Уайльд, один из корифеев поэзии XIX столетия хр. эры.

* Перевод Б. Лейтина.

сердце, а его верные почитатели-христиане решили, что он сошел с ума. Ты заметила, как заботливо они свели его с помоста? Воображаю, как веселился при этом зрелище весь ад!

— И все же слова епископа и его поступки оставят свой след в сознании людей,— сказала я.

— Ты думаешь? — иронически отозвался Эрнест.

— Увидишь, какую это произведет сенсацию. Ты заметил? Пока он говорил, репортеры строчили направо и налево.

— А завтра ни слова об этом не появится ни в одной газете.

— Не может быть! — горячо воскликнула я.

— Вот увидишь! Ни строчки, ни единого намека на то, что он говорил. Разве ты не знаешь нашу печать? Ее дело — изымать и запрещать.

— А репортеры? Ведь я сама их видала.

— Ни одно слово епископа не появится в газетах. Ты забыла о редакторах. Они знают, за что им платят деньги. Их задача в том и состоит, чтобы не пропустить в печать ни одной строчки, представляющей угрозу существующему порядку. Сегодняшнее выступление епископа было лобовым ударом по установленной морали, призывом еретика. Поэтому его и увели с трибуны, чтобы прекратить соблазн. Но газеты уничтожат эту скверну, они вытравят ее молчанием. Разве ты не знаешь, что такое пресса в Соединенных Штатах? Это паразитический нарост на теле капитализма. Ее дело — обработка общественного мнения для поддержания существующего порядка, чем она и занимается с похвальным усердием.

Хочешь, я предскажу тебе дальнейший ход событий. Завтра в газетах будет сказано вскользь, что вследствие переутомления здоровье епископа пошатнулось и на вчерашнем собрании ему стало дурно. Пройдет несколько дней, и будет объявлено, что нервное истощение заставило епископа временно покинуть свою паству и уйти в длительный отпуск. А затем возможны два варианта: либо епископ поймет свою ошибку и вернется из отпуска здоровым человеком, не знающим, что такое видения среди бела дня; либо он утвердится в своем безумии, — и тогда в газетах промелькнет участливое сообщение о его помешательстве, после чего ему останется только лепетать о

своих видениях обитым войлоком стенам сумасшедшего дома.

— Ну, ты уж слишком,— запротестовала я.

— Но ведь в глазах общества он и будет сумасшедшим. Какой порядочный и нормальный человек возьмет к себе в дом воров и падших женщин и будет обращаться с ними, как со своими близкими? Правда, Христос был распят между двумя разбойниками, но ведь это же совсем из другой оперы. Да и что такое безумие? Мысли, с которыми мы не можем согласиться, всегда кажутся нам неверными,— и мы говорим, что у человека ум за разум зашел. А тут недолго и сказать, что он просто сошел с ума! Ведь все мы склонны считать сумасшедшим того, кто не согласен с самыми здоровыми нашими рассуждениями и понятиями.

Вот тебе прекрасный пример в этой вечерней газете. Мери Мак-Кенна проживает южнее Маркет-стрит. Это бедная, но честная женщина, к тому же патриотка. По своей наивности она поверила, что американский флаг — это символ защиты американских граждан. И вот что с ней случилось. Муж ее пострадал от несчастного случая и три месяца пролежал в больнице. Мери стала брать на дом стирку, что, однако, не помешало ей задолжать хозяину за квартиру. Вчера ее пришли выселять. Тогда она выставила у порога американский флаг, завернулась в его полотнище и заявила, что пусть ее посмеют выбросить на улицу: она под защитой американского флага! Ну, и знаешь, что с ней сделали? Арестовали и отправили на медицинское обследование. Сегодня ее подвергли экспертизе, признали душевнобольной и засадили в сумасшедший дом.

— Ну, уж это извини,— заспорила я.—Предположим, у меня свое мнение о том, как написана такая-то книга, и это мнение не совпадает с общепринятым. Не посадят же меня в сумасшедший дом?

— Нет, не посадят,— согласился Эрнест.— Но такое расхождение с общепринятым мнением не угрожает общественному порядку. В этом вся разница. Еретические же заявления Мери Мак-Кенна и епископа угрожают. А что, если все бедняки станут под защиту американского флага и откажутся платить за квартиру? Ведь это покушение на

права домовладельцев. Взгляды епископа тоже опасны для общества. А потому — пусть его посидит в сумасшедшем доме.

Я все еще не верила.

— Ладно, увидишь, — сказал Эрнест. Тем наш спор и кончился.

На другое утро я послала купить все выходящие в городе газеты. Эрнест оказался прав. Нигде ни одной строчки по существу речи епископа. Две-три газеты глухо упоминали, что епископ Морхауз произнес взволнованную речь, а между тем плоские разглагольствования последующих ораторов комментировались весьма пространно.

Несколько дней спустя появилась краткая заметка о том, что в связи с сильным переутомлением епископ уходит в отпуск. Однако ни слова о нервном расстройстве, не говоря уже о душевном заболевании. Мне тогда и в голову не приходило, как близок наш друг к своему Гефсиманскому саду и Голгофе, о которых говорил Эрнест.

Глава восьмая

РАЗРУШИТЕЛИ МАШИН

Незадолго до выборов в конгресс, на которых Эрнест выступал кандидатом по социалистическому списку, отец устроил обед, который у нас в домашнем кругу именовался «обедом лабазников». Эрнест называл его обедом «разрушителей машин». На этот раз были приглашены бизнесмены — не из самых преуспевающих, конечно. Думается, среди наших гостей не нашлось бы ни одного владельца или совладельца предприятия стоимостью свыше двухсот тысяч долларов. Это были подлинные представители средних классов — разумеется, их деловой части.

Среди гостей присутствовал Оуэн, представитель фирмы «Силверберг, Оуэн и К°», большой бакалейной торговли с несколькими филиалами. Мы были их постоянными покупателями. Присутствовали оба компаньона фирмы «Коуолт и Уошборн» и мистер Асмунсен, владелец каменоломни в округе Контра-Коста, а также много других владельцев и совладельцев небольших фабрик и

предприятий. Словом, собрались капиталисты средней руки.

Это были занятные люди с неглупыми, характерными физиономиями, с ясной и простой речью. Все они в один голос жаловались на корпорации и тресты. Их общим девизом было: «Долой тресты!» Все они вопили, что им житья нет от трестов и что в их бедах виноваты тресты. Наши гости были сторонниками передачи государству таких предприятий, как телеграф и железные дороги, и стояли за самое беспощадное прогрессивное обложение доходов, направленное против крупного капитала. Спасение от местных трудностей и неурядиц они видели в передаче городу коммунальных предприятий — таких, как вода, газ, телефон и трамвай.

Особенно заинтересовала нас иеремиада мистера Асмунсена, поведавшего о своих мытарствах в качестве владельца каменоломни. Он уверял, что каменоломня не дает ему никакой прибыли, несмотря на благоприятные условия, созданные недавним землетрясением. За те шесть лет, что Сан-Франциско отстраивается, предприятие его расширилось в восемь раз, — а между тем он сейчас не богаче прежнего.

— Железнодорожная компания знает мои дела лучше, чем я сам, — жаловался он. — От нее ничего не укроется: ни мои эксплуатационные расходы, ни условия контрактов. Кто им обо всем докладывает — ума не приложу. Не иначе как кто-то из моих же служащих для них шпионит; а кроме того, у них теснейшая связь с моими контрагентами. Посудите сами: едва только мне удастся получить большой заказ на выгодных условиях, как Железнодорожная компания непременно повышает тарифы на мой груз; они не входят ни в какие объяснения, а просто слизывают у меня всю прибыль. Характерно, что мне не удастся добиться от них ни малейшей скидки. А ведь бывает, что в случае какой-либо неудачи — или больших расходов, или если контракт невыгодный — они идут мне навстречу. Но, так или иначе, всю мою прибыль, какова бы она ни была, кладет себе в карман Железнодорожная компания.

— То, что вам остается, — прервал его Эрнест, — это примерно жалованье, которое Компания платила бы, если

бы каменоломня принадлежала ей, а вы были бы ее управляющим. Не правда ли?

— Вот именно. Недавно мы просмотрели все книги за последние десять лет. И представляете? Я убедился, что вся моя прибыль за это время равна примерно жалованью управляющего. Компания могла бы с таким же успехом владеть моей каменоломней и платить мне за труды.

— С той лишь разницей,— подхватил Эрнест смеясь,— что в этом случае весь риск несла бы Компания, тогда как сейчас вы любезно берете его на себя.

— Совершенно верно,— сокрушенно вздохнул мистер Асмунсен.

После того как гости высказались, Эрнест начал задавать им вопросы. Он обратился к мистеру Оуэну:

— Вы, кажется, с полгода назад открыли новый филиал в Беркли?

— Как же, как же,— ответил мистер Оуэн.

— И с тех пор, как я заметил, три маленьких лавочки здесь по соседству вынуждены были закрыться одна за другой.

Мистер Оуэн самодовольно улыбнулся.

— Им трудно тягаться с нами.

— Почему же?

— Мы располагаем большим капиталом и, значит, работаем гораздо производительнее при меньших издержках.

— Стало быть, ваш филиал поглотил прибыли, которые раньше принадлежали трем коммерсантам? Понятно... А куда девались эти люди?

— Один из них служит у нас возчиком. Что случилось с другим — не знаю.

Эрнест повернулся к мистеру Коуолту.

— Вы часто устраиваете у себя в аптеке дешевые распродажи¹. Скажите, не знаете ли вы что-либо об участии мелких аптекарей, которым оказалось не под силу конкурировать с вами?

¹ Обычный прием конкуренции — продажа товара по себестоимости или даже в убыток. Крупные предприятия шли на это с большей легкостью, чем мелкие, которым поневоле приходилось закрываться.

— Один из них, мистер Хазфуртер, заведует у нас рецептурным отделом.

— Стало быть, все их прибыли отошли к вам?

— А как же! Для того и стараемся.

— Ну вот вы,— неожиданно повернулся Эрнест к мистеру Асмунсену,— вы возмущены тем, что все ваши прибыли поглощает железная дорога...

Асмунсен кивнул.

— В то время как вы предпочитали бы наживаться сами?..

Асмунсен снова кивнул.

— За счет других?..

Асмунсен промолчал.

— Я говорю: за счет других? — настаивал Эрнест.

— Иначе и не бывает,— сухо ответил мистер Асмунсен.

— Стало быть, правила игры в том, чтобы наживаться за счет других и не давать другим наживаться за ваш счет? Ведь так?

Эрнесту пришлось повторить свой вопрос, прежде чем мистер Асмунсен на него ответил.

— Так-то оно так,— сказал он,— но мы не мешаем и другим наживаться, мы только против грабительских прибылей.

— Грабительские прибыли — это большие прибыли. Но ведь вы, наверно, и сами не отказались бы от больших прибылей?

Мистер Асмунсен добродушно подтвердил, что не отказался бы. Тут Эрнест обратился к мистеру Кэлвину, в прошлом владельцу большой молочной фермы.

— Вы, как я слышал, не так давно воевали с молочным трестом, а теперь ударились в политику и вошли в фермерскую партию¹. Как это понять?

— Не думайте, что я сложил оружие,— воинственно воскликнул мистер Кэлвин.— Напротив, я борюсь с трестом в той единственной области, которая еще остается,—

¹ В то время немало было потрачено усилий на организацию разоряющегося фермерства в политическую партию, ставившую себе целью решительную борьбу с трестами при помощи законодательных мероприятий. Все эти попытки ни к чему не привели.

политической. Разрешите, я поясню свою мысль. Еще недавно у нас, в молочном деле, не было засилья трестов.

— А конкуренция была? — прервал его Эрнест.

— Да, и конкуренция снижала прибыли. Пробовали мы сорганизоваться, но неорганизованные фермеры срывали все попытки. А потом на сцену явился молочный трест.

— Финансируемый свободными капиталами «Стандарт Ойл»? ¹

— Да, но мы еще не знали этого. Агенты треста прямо-таки хватали нас за горло: «Идите к нам, с нами не пропадете,— говорили они,— а не то наплачетесь». Ну, большинство и пошло; а кто не пошел, тому и в самом деле худо пришлось. Поначалу нам даже выгодно показалось... Трест поднял цену на цент за кварту: четверть цента получали мы, три четверти — трест. Потом, смотрим, молоко поднялось еще на цент, но нам на этот раз ничего не уделили. Мы, конечно, стали требовать свою долю, да никто и ухом не повел. Ведь хозяин-то — трест! Тут только мы хватились, что влипли, что трест может из нас веревки вить. Скоро перестали нам давать и эту четверть цента. Дальше — больше! А что мы могли сделать? В конце концов выжали нас досуха, и теперь самостоятельных молочных совсем не стало, есть только молочный трест.

— Но когда молоко подорожало на два цента, почему вы не вступили в борьбу с трестом? — коварно спросил Эрнест.

— Пробовали.— Мистер Кэлвин выдержал паузу.— Это-то нас и прикончило. Трест мог продавать молоко дешевле, чем мы. Когда мы торговали в убыток, он все еще получал небольшую прибыль. Я на этом потерял пятьдесят тысяч. Многие обанкротились ². В общем от само-

¹ Первое огромное объединение трестов, чуть ли не на полвека опередившее другие.

² Банкротство — своеобразный юридический институт, который позволял должнику, потерпевшему крах в условиях промышленной конкуренции, уклониться от уплаты долгов. В обществе, где борьба шла не на жизнь, а на смерть, банкротство зачастую играло роль спасительной лазейки.

стоятельных молочных предприятий осталось одно воспоминание.

— Значит, трест отнял у вас ваши прибыли, и вы обратились к политике, надеясь покончить с ним в законодательном порядке и вернуть свои доходы?

Мистер Кэлвин просиял:

— Вот это самое я и объясняю нашим фермерам. Вся наша программа тут как в капле воды.

— Но тресту молоко обходится дешевле, чем организованному фермеру? — продолжал допрашивать Эрнест.

— Еще бы! При таком-то капитале да при новейшем оборудовании нетрудно поставить дело как следует.

— Бесспорно. Я и говорю, что оно поставлено как следует.

Тут мистер Кэлвин разразился пространной речью в защиту своей программы. Все горячо его поддержали, все единодушно требовали уничтожения трестов.

Эрнест сказал мне вполголоса:

— Вот простаки! Кажется, и неглупые люди, а ни один дальше своего носа не видит.

Потом Эрнест опять овладел разговором и, как всегда, руководил им до самого конца вечера.

— Я внимательно слушал вас, — сказал он, — и убедился, что вы желаете играть в игру, именуемую бизнесом, по старинке. Смысл жизни вы видите только в наживе. Каждый из вас уверен, что родился на свет с единственной целью — наживаться. И вдруг — заминка! В самом разгаре погони за наживой появляется трест и похищает у вас ваши прибыли. Для вас это катастрофа, нарушающая гармонию мироздания, и, по-вашему, существует один только выход — уничтожить то, что мешает вам наживаться.

Повторяю, я внимательно вас слушал и нахожу, что есть название, которое очень вам подходит. Вы — разрушители машин. Знаете, что это такое?

Позвольте, я расскажу вам. В восемнадцатом веке, в Англии, когда не были еще изобретены машины, рабочие и работницы ткали сукно у себя дома, на ручных станках. Это был кропотливый и трудоемкий способ производства, к тому же дорогостоящий. Но вот появилась паровая машина, а с ней и механические станки. Сотни таких стан-

ков, собранные в одном месте, при одной машине, производят сукно и быстрее и дешевле, чем это могли делать вольные ткачи на своих ручных станках. Концентрация производства убивала всякую конкуренцию. Мужчины и женщины, раньше работавшие на дому, каждый для себя, теперь стали работать на фабрике, на хозяина-капиталиста. В дальнейшем к ткацким станкам были приставлены дети — им можно было платить дешевле, чем взрослым, и постепенно детский труд начал вытеснять труд взрослых ткачей. Для рабочих настали тяжелые времена. Им жилось все хуже и хуже, они голодали. А так как причину зла они видели в машинах, то и начали уничтожать машины. Это ни к чему не привело, да и вообще было неразумно.

Этот урок истории не принес вам пользы. Через сто пятьдесят лет после английских разрушителей машин появляетесь вы и тоже хотите ломать машины. Сами же вы признаете, что трестовская машина работает и дешевле и производительнее вашего; конкурировать с ней вам не под силу, — вот вы и жаждете ее уничтожить. Вы ничуть не умнее отсталых английских рабочих. А пока вы тщитесь вернуть век конкуренции, тресты преспокойно расправляются с вами.

Все вы говорили здесь в сущности одно и то же: уходит век конкуренции, и на смену ему идет век концентрации производства. Вы, мистер Оуэн, убили конкуренцию в Беркли, открыв у нас один из своих филиалов, — ваша фирма оказалась сильнее торговавших здесь мелких лавочников. Но есть объединения и посильнее вашего — это тресты. Стоит вам почувствовать их давление, как вы кричите: «Караул, грабят!» Но это только потому, что сами вы не трест. Будь вы единственным бакалейщиком-монопольником на все Соединенные Штаты, вы бы не так рассуждали, вы кричали бы: «Да здравствуют тресты!» Но ваше маленькое объединение не только не может сравниться с трестом, оно и само-то по себе еле дышит. Вы чувствуете, что долго не протянете. Вы понимаете, что вы и ваши филиалы только пешки в большой игре. Вы видите, как вырастают вокруг могущественные силы, как они крепнут день ото дня — и неуязвимые, закованные в броню руки тянутся к вашим прибылям, вырывая клоч

то тут, то там. Железнодорожный трест, угольный, нефтяной, стальной... Вы знаете, что вам несдобровать, что они отнимут у вас ваши прибыли — все, до последнего цента.

Как видите, сэр, вы незадачливый игрок. Когда вам удалось раздавить своих маленьких конкурентов здесь, в Беркли, в силу преимуществ вашего объединения, — успех вскружил вам голову. Вы только и говорили тогда, что о предприимчивости и деловитости и, поживившись за счет своих конкурентов, отправили жену прокатиться в Европу. Так уж водится, что хищник пожирает хищника, — вот и вы слопали своих предшественников. Но, на вашу беду, есть хищники и покрупнее, — и вам предстоит попасть им на завтрак. Потому-то вы и вопите. А с вами вопят все сидящие за этим столом. Ведь они в таком же положении. У всех у вас на руках плохие карты, вот вы и жалуетесь.

Но, жалуясь, вы отказываетесь смотреть правде в глаза и называть вещи своими именами. Вы не говорите, что сами заритесь на чужие прибыли, и только не хотите, чтобы кто-то зарился на ваши. Нет, для этого вы слишком хитры. Вы говорите совсем другое. Вы произносите политические речи в защиту мелких капиталистов, вроде той, какую мы сегодня выслушали от мистера Кэлвина. Но что он здесь говорил? Кое-что я могу повторить по памяти: «Наши исконные принципы были правильны», «Единственное, что Америке нужно, — это возвращение к ее основному принципу: равные возможности для всех», «У колыбели этой нации стоял дух свободы», «Вернемся к заветам наших предков...»

Под равными возможностями для всех мистер Кэлвин подразумевает возможность загребать побольше прибылей, в чем он сейчас встречает помеху со стороны трестов. Но вы столько раз повторяли эти громкие слова, что, как ни странно, сами уверовали в них. Все, что вам нужно, это грабить ближнего в меру своих сил — полегоньку да потихоньку, и вы на этом основании воображали себя борцами за свободу. Вы самые обыкновенные плуты и стяжатели, но под магическим действием красивых фраз вы готовы возомнить себя патриотами. Свою жажду прибылей, проистекающую из чистейшего эгоизма, вы выдаете за бескорыстную заботу о страдающем человечестве. Так давайте же хоть здесь, среди своих, —

дерзните быть самим собой. Не бойтесь смотреть правде в лицо и называйте вещи своими именами.

Я видела кругом неприязненные, побагровевшие лица и затаенный страх. Казалось, наши гости трепетали перед этим юнцом, перед спокойствием и силой его речей и его ужасающей, непозволительной манерой называть черное черным. Мистер Кэлвин, однако, не растерялся.

— А почему бы и нет? — спросил он. — Почему бы нам не вернуться к обычаям и нравам наших предков, основателей нашей республики? Вы сказали нам немало правды, мистер Эвергард, — пусть жестокой и горькой правды. Но, поскольку мы здесь и в самом деле в своей среде, не будем этим смущаться. Давайте сбросим маски и примем те обвинения, которые мистер Эвергард так прямолинейно предъявил нам. Верно, что мы, мелкие капиталисты, гонимся за прибылями и что тресты отнимают их у нас. Верно, что мы хотим избавиться от трестов для того, чтобы сохранить наши прибыли. Но почему бы нам и не добиваться этого? Почему? Я вас спрашиваю.

— Вот тут-то мы и дошли до главного, — сказал Эрнест с довольной улыбкой. — Я объясню вам почему, хоть это и не так-то легко. Все вы в какой-то мере учились коммерции, но никому из вас не приходилось изучать законы социального развития. А между тем вы находитесь сейчас в переходной стадии экономического развития; сами вы этого не видите и не понимаете, — отсюда и все недоразумения. Почему вам нельзя возвратиться назад? Да потому, что это невозможно. Вы так же бессильны повернуть вспять поток экономического развития, как заставить ручей течь в гору. Иисус Навин приказал солнцу остановиться над Гаваоном, а вы намерены перещеголять Иисуса Навина! Вы хотите заставить солнце катиться по небу вспять. Вы хотите вернуть время от полудня к утру.

Презрев усовершенствованные машины, презрев возросшую производительность труда и все преимущества концентрации, вы хотите вернуть экономику назад на целое поколение — к тому времени, когда не было еще крупного капитала и развитой техники, не было железных дорог, когда мелкие капиталисты пожирали друг

друга в обстановке экономической анархии, когда производство было примитивным, расточительным, неорганизованным, непомерно дорогим. Поверьте, Иисусу Навину было легче остановить солнце, не говоря уж о том, что ему помогал сам бог Саваоф. Но бог отвернулся от вас, мелких капиталистов. Ваше солнце клонится к закату. Больше ему не взойти в небе. И вам не изменить предначертанного ему пути. Вы уходите с исторической арены, и вскоре в истории затеряется и след ваш.

Таков закон эволюции. Так повелел господь бог. Концентрация сильнее, чем конкуренция. Первобытный человек был жалким существом, прятавшимся в расщелинах скал. Но он объединился с себе подобными и пошел войной на своих плотоядных врагов. Эти хищники охотились в одиночку, так сказать, на началах конкуренции. Первобытный же человек был хищником, тяготевшим к объединению, потому-то он и поднялся над всеми прочими тварями. С тех пор люди вступали во все более обширные объединения. Концентрация против конкуренции — таков смысл общественной борьбы, которая заполняет многие тысячелетия. И всегда конкуренция терпит поражение. Тот, кто становится под знамя конкуренции, должен погибнуть.

— Но ведь и тресты — порождение конкуренции, — прервал Эрнест мистер Кэлвин.

— Совершенно верно, — отвечал Эрнест. — Но тресты и уничтожают конкуренцию. Вы, например, сами рассказывали нам о том, как вам пришлось распротиться с вашим молочным хозяйством.

Впервые за столом раздался смех, и мистер Кэлвин невольно к нему присоединился.

— Но раз мы снова заговорили о трестах, давайте условимся кое о чем, — продолжал Эрнест. — Я выскажу здесь несколько положений, и всех, кто с ними не согласен, прошу мне возражать. Ваше молчание будет для меня знаком согласия. Разве механический станок не дает больше сукна и по более дешевой цене, нежели ручной? — Эрнест дождался ответа и, не дождавшись, продолжал: — Разве, следовательно, не безумие ломать машины и вернуться к более трудоемким и дорогим методам кустарной работы? — Несколько человек кивнуло в знак согласия.

Разве не верно, что объединение, именуемое трестом, может производить товары и лучше и дешевле, чем тысячи маленьких, конкурирующих между собой предприятий? — Возражений снова не было. — Разве, следовательно, не безумие отказываться от этой более дешевой и рациональной формы производственной организации?

Все долго молчали. Наконец, заговорил мистер Коуолт.

— Так что же вы нам-то прикажете делать? — спросил он. — В уничтожении трестов мы видим единственный способ избавиться от их владычества.

Эрнест так и загорелся.

— Я покажу вам другой способ! — воскликнул он. — Предлагаю не разрушать эти великолепные машины, работающие и хорошо и дешево. Давайте возьмем их себе. Пусть они радуют нас своей производительностью и дешевизной. Будем сами управлять ими. Спустим с лестницы хозяев этих чудесных машин и сами станем их хозяевами. Это, господа, и есть социализм, еще более обширное объединение, чем тресты, — самое обширное экономическое и социальное объединение из всех, какие знает наша планета. Социализм — в ладу с законами экономического развития. Мы противопоставим трестовским объединениям более мощную организацию. А это значит, что будущее за нами. Переходите к нам, социалистам, ставьте на верную карту!

Этот призыв не встретил поддержки. Послышался недовольный ропот, многие покачивали головой.

— Ладно! — засмеялся Эрнест. — Вам, видно, нравится быть ходячим анахронизмом. Вы предпочитаете играть в обществе роль атавистического придатка. Что ж, с богом, но только помните, что, как и всякий атавизм, вы обречены на гибель. Спрашивали вы себя, что будет с вами, когда появятся объединения покрупнее нынешних трестов? Где вы окажетесь, когда наши огромные тресты начнут сливаться в такие организации, какие нынешним и не снились, — пока над вами не воздвигнется единый социальный, экономический и политический трест?

Эрнест неожиданно повернулся к мистеру Кэлвину.

— Скажите, прав я или нет? Разве вам и вашим единомышленникам не приходится сколачивать новую поли-

тическую партию, потому что старые в руках у трестов? И разве ваша пропаганда не встречает с их стороны упорного сопротивления? За каждым провалом, за каждым препятствием на вашем пути, за каждым ударом, нанесенным вам из-за угла, разве не чувствуете вы руку трестов? Скажите, верно это или нет?

Мистер Кэлвин сидел понутив голову.

— Говорите, не стесняйтесь, — не отставал Эрнест.

— Что верно то верно, — согласился мистер Кэлвин. — Нам удалось добиться большинства в законодательном собрании штата Орегон; но когда мы провели ряд прекрасных законопроектов, охраняющих права мелких промышленников, губернатор, ставленник трестов, наложил на них вето. Когда же мы в Колорадо избрали своего губернатора, палата не утвердила его. Дважды нам удавалось провести подоходный налог в федеральном масштабе, и всякий раз верховный суд отвергал его как не соответствующий конституции. Все суды в руках у трестов. Мы, народ, не можем платить судьям высокие оклады. Но придет время, когда...

— ...когда объединение трестов будет контролировать все наше законодательство. Когда оно, это объединение, и будет нашим правительством, — прервал его Эрнест.

— Никогда этого не будет! — слышались со всех сторон воинственные крики. Всеми овладело возмущение.

— Скажите, — настаивал Эрнест. — Что вы предпримете, когда такие времена наступят?

— Мы встанем все, как один! Мы двинем в бой все свои силы! — воскликнул мистер Асмунсен, и множество голосов поддержало его.

— Но это означает гражданскую войну, — предостерег Эрнест.

— Мы не остановимся и перед гражданской войной! — провозгласил мистер Асмунсен под дружное одобрение всех присутствующих. — Мы не забыли славных дел наших предков. Если нужно будет, мы стоим и умрем за наши свободы.

Эрнест усмехнулся.

— Не забудьте, господа, мы согласились на то, что свобода в вашем понимании, — это свобода беспрепятственно грабить конкурента.

Атмосфера за обеденным столом накалилась. Всеми овладел воинственный пыл. Но голос Эрнеста перекрыл поднимающийся шум.

— Еще один вопрос. Не забывайте, что когда вы двинете в бой все свои силы,— вы двинете их против трестов, захвативших в свои руки правительство Соединенных Штатов. А это означает, что тресты двинут против вас регулярную армию, флот, национальную гвардию, полицию — словом, всю военную машину США. Какое значение будут тогда иметь ваши силы?

Слушатели растерялись. Не давая им опомниться, Эрнест нанес им следующий удар:

— Как вам известно, еще недавно наша армия исчислялась в пятьдесят тысяч человек. Год за годом ее увеличивали, и в настоящее время она насчитывает триста тысяч.

И дальше — следующий удар:

— Но это еще не все. В то время как вы очертя голову гнались за призраком наживы и сокрушались о своем излюбленном детище — конкуренции, произошли события еще более знаменательные. Национальная гвардия...

— Национальная гвардия и есть наша сила! — воскликнул мистер Коуолт. — С ней мы отразим натиск регулярных войск.

— Вы сами будете призваны в национальную гвардию,— возразил ему Эрнест,— и вас пошлют в штат Мэн, во Флориду или на Филиппины, а то и еще бог весть куда, чтобы потопить в крови восстание, которое подняли ваши же товарищи, борющиеся за свои гражданские права. А ваши товарищи из Канзаса, Висконсина или любого другого штата, вступив в национальную гвардию, будут посланы сюда, в Калифорнию, чтобы потопить в крови ваше восстание здесь.

На сей раз слушатели Эрнеста были действительно подавлены. Все молчали. Наконец, мистер Оуэн пробормотал:

— Так мы не вступим в национальную гвардию — только и всего. Ищите дураков в другом месте!

Эрнест расхохотался.

— Вы не в курсе произошедших перемен. Вас не спросят. Вы пойдете служить в принудительном порядке.

— Существуют гражданские права,— не унимался мистер Оуэн.

— Они существуют до тех пор, пока правительство не сочтет нужным их отменить. В тот день, когда вы вознамеритесь обрушить на правительство свои силы, эти силы обратятся против вас. В национальную гвардию вам придется вступить — хотите вы того или не хотите. Кто-то из вас сослался сейчас на «хабеас корпус»¹. Берегитесь, как бы вам вместо этого не прописали «со святыми упокой». Если вы откажетесь вступить в войска национальной гвардии или, по зачислении туда, вздумаете бунтовать, вас предадут военнополовому суду и пристрелят, как собак. Таков закон.

— Такого закона нет! — решительно заявил мистер Кэлвин. — Такого закона нет и в помине. Все это одно ваше воображение, молодой человек. Вы здесь говорили, что войска национальной гвардии можно угнать чуть ли не на Филиппины. А это противоречит конституции. Особый пункт конституции говорит о том, что территориальные войска не могут быть посланы за пределы страны.

— Бросьте вы ссылаться на конституцию, — возразил Эрнест. — Толкованием конституции, как известно, занимаются суды, а наши судьи, по справедливому замечанию мистера Асмунсена, холопы трестов. К тому же, как я сказал, такой закон существует. К вашему сведению, господа, он существует уже девять лет.

— О том, что нас могут призвать в национальную гвардию, — недоверчиво спросил мистер Кэлвин, — и что, в случае отказа, будут судить военнополовым судом?..

— Да, именно об этом.

— Как же это мы ничего не слышали? — удивился и мой отец. Он тоже с недоумением глядел на Эрнеста.

— Вы не слыхали о нем по двум причинам, — отвечал Эрнест. — Во-первых, до сих пор еще ни разу не представилась необходимость применить его на деле. Если бы такая необходимость явилась, вы не замедлили бы о нем

¹ Habeas corpus act (лат.) — закон о неприкосновенности личности. (Прим. ред.)

услышать. Во-вторых, закон этот был проведен через конгресс и сенат втихомолку, почти без обсуждения. Газеты, разумеется, не обмолвились о нем ни словом. Мы, социалисты, знали об этом и писали, но вы не читаете наших газет.

— А я все-таки полагаю, что это одно только ваше воображение,— упрямо настаивал мистер Кэлвин.— Страна никогда не позволила бы...

— Представьте, позволила,— возразил Эрнест.— А что касается моего воображения,— и он достал из кармана какую-то брошюру,— вот, судите сами, похоже ли это на игру воображения.

Он нашел нужное место и начал читать вслух:

— «Статья первая. Во всех штатах, территориях, а также в округе Колумбия вменяется в обязанность лицам мужского пола от восемнадцати до сорока пяти лет, признанным годными по состоянию здоровья, вступать в войска национальной гвардии.

Статья седьмая. Всякий военнообязанный...» — напоминаю вам, господа, по статье первой все вы военнообязанные,— «...не явившийся без уважительных причин к своему воинскому начальнику, предается военнополевому суду и несет должное наказание.

Статья восьмая. Военнополевые суды, коим подсудны и офицеры и нижние чины, комплектуются только из офицеров национальной гвардии.

Статья девятая. Солдаты и офицеры национальной гвардии, будучи призваны на действительную службу, подчиняются тому же воинскому уставу, а также законам и постановлениям, что и регулярные войска Соединенных Штатов».

С чем и поздравляю вас, господа американские граждане и дражайшие сослуживцы по национальной гвардии! Девять лет тому назад мы, социалисты, полагали, что этот закон направлен против рабочих. Оказывается, он имел в виду также и вас. Во время дозволенного свыше краткого обсуждения в конгрессе депутат Уайли сказал, что «новый закон создает необходимые резервы для расправы с чернью (под «чернью» разумеетесь вы, господа) и в защиту от ее покушений на жизнь, свободу и собственность...» А потому, когда вы вознамеритесь вос-

стать против трестов, помните, что это будет равносильно покушению на собственность трестов и на охраняемую законом свободу трестов присваивать себе ваши прибыли. Так-то, господа! Вам выбили зубы, вам сломали хребет,— а следовательно, в день, когда вы вознамеритесь двинуть в бой свои силы, вы, армия беззубых, бесхребетных воинов, будете представлять не бóльшую опасность, чем армия моллюсков.

— Не может быть! —повторял свое мистер Коуолт.— Нет такого закона! Это утка, пущенная вами, социалистами!

— Законопроект был внесен в палату тридцатого июля тысяча девятьсот второго года депутатом Диком из штата Огайо,— продолжал Эрнест.— Был принят палатой почти без обсуждения, в обстановке крайней спешки. Четырнадцатого января тысяча девятьсот третьего года он получил единодушную поддержку сената, а ровно неделю спустя его утвердил президент Соединенных Штатов¹.

Глава девятая

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕПРЕЛОЖНОСТЬ МЕЧТЫ

Пользуясь растерянностью, воцарившейся за столом после этого неожиданного сообщения, Эрнест продолжал:

— Многие из вас говорили, что социализм — несбыточная мечта. Вы кричите о невозможности, так позвольте

¹ Характеризуя закон 1903 года о национальной гвардии, Эвергард допустил только одну неточность: законопроект был внесен в конгресс не 30 июля, а 30 июня. В «Протоколах конгресса» приведены следующие даты официального прохождения билля: 30 июня, 9, 15, 16, 17 декабря 1902 и 7, 14 января 1903 года. Не удивительно, что дельцы, собравшиеся у профессора Каннингхема, ничего не знали о законе,— он был мало кому известен в стране. Книжка Э. Винтермана 1903 года «Билль о национальной гвардии» (вышла в г. Джирарде, штат Канзас) получила некоторое распространение среди рабочих. Однако пропасть между различными классами была в то время так велика, что читателю средних классов брошюра осталась неизвестной.

мне показать вам неизбежное. Неизбежное же не только в том, что все ваше племя мелких капиталистов обречено на вымирание,— к такой же вымирающей породе относятся и крупные капиталисты вместе с трестами. Помните: поток развития нельзя повернуть вспять. Он течет все дальше и дальше — от конкуренции к концентрации, от малых объединений к большим, а от больших к еще большему и большему, устремляясь к социализму, объединению всемирного масштаба.

Вы говорите, что это мечта. Не спору. Но я берусь доказать вам математическую непреложность этой мечты. Вас же я попрошу, чтобы вы, следя за ходом моих рассуждений, сразу же указывали мне, где я допустил ошибку. Сперва я докажу вам, что капиталистическая система обречена на гибель, докажу с математической непреложностью. И прошу вас не сердиться, если вам покажется, что я начал несколько издалека.

Прежде всего разберемте с вами конкретный пример из области промышленности, и как только вам что-нибудь покажется спорным, прошу меня остановить. Возьмем обувную фабрику. Кожа здесь перерабатывается в обувь. Предположим, фабрика закупила кожи на сто долларов. Пройдя через фабричный процесс, кожа эта превращается в обувь стоимостью, скажем, в двести долларов. Что же случилось? К стоимости кожи прибавилось сто долларов. Как это произошло? Давайте рассудим.

Вновь произведенную стоимость создали капитал и труд. Капитал предоставил для промышленного процесса фабрику и машины и оплатил все расходы. Труд дал труд. Совместными усилиями капитала и труда была создана новая стоимость в размере ста долларов. Пока нет возражений?

Все отрицательно покачали головой.

— Создав эту новую стоимость, капитал и труд делят ее между собой. Отвлечемся от сложных соотношений, какие дает статистика, и возьмем для удобства круглые цифры. Положим, капитал берет себе пятьдесят долларов и столько же отдает рабочим в виде заработной платы. Мы не станем вникать в те конфликты, которые при

этом возникают¹. Каковы бы они ни были и к чему бы ни приводили, дележ — так или иначе, в том или другом процентном соотношении — производится. Но то же самое верно и для других отраслей промышленности. Согласны?

И снова все согласились с Эрнестом.

— Допустим теперь, что рабочие, получив свои пятьдесят долларов, захотели бы купить на них обувь. Им удалось бы купить только часть всей изготовленной обуви, не правда ли?

Разобрав этот конкретный случай, обратимся ко всей американской промышленности, которая занята переработкой не только кожи, но и всякого другого сырья, а также включает в себя транспорт, торговлю и прочее. Опять-таки для круглого счета скажем, что Соединенные Штаты в общей сложности производят в год товаров на четыре миллиарда долларов. За этот период рабочие получают два миллиарда долларов заработной платы. Всего же произведено промышленных товаров на четыре миллиарда долларов. Какую же часть этих товаров могут купить рабочие? Ясно, что не больше половины. Об этом спорить не приходится. И я беру, конечно, наиболее благоприятный случай. Капитал всеми правдами и неправдами старается урезать долю рабочих, в действительности же им не выкупить и половины товарной продукции в стране.

Итак, повторяю. Рабочие могут приобрести и потребить товаров на два миллиарда. А это значит, что останется еще излишек товаров стоимостью в два миллиарда, которых рабочие не в состоянии купить и употребить.

— Рабочие не проживают даже и своих двух миллиардов, — отозвался мистер Коуолт. — Иначе у них не было бы вкладов в сберегательные кассы.

— Вклады рабочих в сберегательные кассы — это не более как подвижной резервный фонд, который тут же и

¹ Здесь правильно указана главная причина рабочих беспорядков того времени. При разделе новой стоимости между трудом и капиталом каждая из сторон стремилась получить возможно больше. Это было непримиримое противоречие. Пока существовала капиталистическая система производства, конфликты между обеими заинтересованными сторонами по вопросу о разделе новой стоимости не прекращались. Нам это сейчас кажется смешным, но нельзя забывать, что речь идет о событиях и нравах семивековой давности.

расходуется по мере накопления. Это деньги про черный день, на случай болезни или инвалидности, это сбережения на старость и похороны. Вклады в сберегательную кассу — все равно что краюха хлеба, отложенная на полку, чтоб было чем встретить завтрашний день. Нет, рабочие потребляют весь товар, какой они в состоянии купить на свои заработки.

На долю капитала тоже приходится два миллиарда долларов. Он оплатит из них все свои издержки, ну, а там — израсходует ли он остальную сумму на приобретение товаров? Иначе говоря, проживет ли он целиком свои два миллиарда?

Вопрос был поставлен в упор группе гостей, сидевших против Эрнеста. Все они отрицательно покачали головой. И только один откровенно признался:

— Не знаю.

— Ну как не знаете? — возразил Эрнест. — Рассудите сами. Если бы предприниматели проживали свою долю прибылей, не было бы никакого накопления капитала. Он так и оставался бы на точке замерзания. А между тем история американской экономики показывает, что общая сумма капитала в стране неуклонно растет. Стало быть, капиталисты не проживают своей доли. Вы помните время, когда Англия владела львиной долей наших железнодорожных облигаций? Постепенно Америка выкупила эти облигации. Что это означает? Да то, что часть свободных капиталов пошла на выкуп облигаций. А как объяснить, что капиталисты США приобрели на сотни миллиардов мексиканских, русских, итальянских и греческих облигаций? Ясно, что на эту покупку капитал выделил часть свободных средств. С тех пор как существует капиталистическая система, капиталисты никогда не проживали своей доли прибылей.

Но тут-то мы и подходим вплотную к интересующему нас вопросу. Ежегодно в Соединенных Штатах производится товаров на четыре миллиарда. Рабочие потребляют товаров на два миллиарда. Капитал не покупает товаров на всю причитающуюся ему долю прибыли. Остается свободный резерв товаров. Что делать с этим резервом? Куда его девать? Рабочие не могут его раскупить. Они уже истратили свою зарплату. Капитал купил все, что

способен потребить. И все же остается излишек. Куда его девать? Что с ним обычно делают?

— Вывозят за границу,— догадался мистер Коуолт.

— Вот именно,— подтвердил Эрнест.— Наличие товарных излишков приводит к поискам иностранных рынков. Их вывозят за границу, другого применения им нет. И эти-то товарные излишки, вывезенные за границу, и составляют то, что называется активным торговым балансом. Пока нет возражений?

— Не стоило тратить время на преподание нам этих азов коммерции,— съязвил мистер Коуолт.— Они каждому из нас известны.

— А между тем этими азами я и собираюсь вас докопать,— отпарировал Эрнест.— Чем проще доказательства, тем они убедительнее. И докопать я вас собираюсь нисколько не медля. Итак, внимание!

Соединенные Штаты — капиталистическая страна с высокоразвитой промышленностью. При ее капиталистическом методе производства у нее постоянно остается избыток промышленных товаров, от которого ей необходимо избавиться путем вывоза их за границу¹. Но то, что верно относительно Соединенных Штатов, применимо и ко всякой другой стране с высокоразвитой промышленностью. Каждая такая страна имеет свой излишек товаров. Я говорю о том положении, когда обычный обмен уже состоялся и налицо товарные излишки в чистом виде. Рабочие во всех странах израсходовали свою зарплату и не в состоянии ничего купить; капитал полностью удовлетворил свои нужды и не намерен покупать ничего больше. А между тем у этих стран имеются товарные излишки.

¹ За несколько лет до описываемых событий тогдашний президент Соединенных Штатов Теодор Рузвельт заявил: «Необходима более либеральная и гибкая политика в вопросах купли и продажи, для того чтобы наши излишки производства могли с успехом экспортироваться за границу». Под «излишками производства» здесь, конечно, разумеются товары, которые остаются в распоряжении капитала, после того как все его нужды и потребности удовлетворены. По словам сенатора Марка Хенна, относящимся к тому же времени, «ежегодное производство товаров в США на одну треть превышает ежегодное их потребление». Его коллега, сенатор Чонси Делбю, заявил: «Американцы ежегодно производят ценностей на два миллиарда долларов больше, чем они в состоянии потратить».

Передать их одна другой они не могут. Что же им делать? Как избавиться от свободных товаров?

— Продать их странам с менее развитой промышленностью,— подсказал мистер Коуолт.

— Правильно! Видите, мои рассуждения так ясны и элементарны, что каждый из вас может продолжить их сам. А теперь дальше. Предположим, Соединенные Штаты избавятся от своих излишков, вывезя их в страну с неразвитой промышленностью, например в Бразилию. Заметим, что это происходит, когда внутренний рынок насыщен до отказа и не может поглотить излишков производства. Итак, что же получают Соединенные Штаты от Бразилии за эти товарные излишки?

— Золото,— ответил мистер Коуолт.

— Ну, на золото не шибко расторгнешься, не так уж его много,— возразил Эрнест.

— Золото в виде облигаций и всяких других ценных бумаг,— поправился мистер Коуолт.

— Совершенно верно,— сказал Эрнест.— Соединенные Штаты получают от Бразилии облигации и другие ценные бумаги. А что это означает? Это означает, что железные дороги Бразилии, а также фабрики, рудники и земельные владения перейдут в собственность Соединенных Штатов. А что это означает в свою очередь?

Мистер Коуолт подумал и покачал головой.

— Я скажу вам,— продолжал Эрнест.— Это означает, что и Бразилия начнет разрабатывать свои ресурсы, а стало быть и у нее появится свободный излишек товаров. Может ли Бразилия сбыть его Соединенным Штатам? Нет, Соединенные Штаты сами заинтересованы в вывозе товаров. А могут ли Соединенные Штаты, как раньше, сбывать свои товары в Бразилию? Нет, потому что и у Бразилии теперь такое же положение.

Что же тогда произойдет? И Соединенные Штаты и Бразилия вынуждены будут заняться поисками стран с неразвитой промышленностью, куда они могли бы сплавлять свои товарные излишки. Но так как законы сбыта остаются все теми же, то вскоре и эти страны начнут развивать свои ресурсы. И у них также появится избыточный продукт, и они также начнут искать рынков, чтобы его реализовать. А теперь, господа, прошу вашего внима-

ния. Наша планета не безгранична. Существует лишь определенное число стран. Что же будет, когда и последняя, самая отсталая страна станет на ноги и включится в число стран, не знающих, куда девать свой избыточный продукт?

Эрнест остановился и обвел взглядом слушателей. Лица их выражали забавное недоумение. За недоумением, однако, сквозил страх. Эрнесту удалось, несмотря на сухость его выкладок, вызвать перед ними яркое видение кризиса, и все они сидели как замороженные, со страхом заглядывая в будущее.

— Я начал с азов, мистер Кэлвин,— лукаво продолжал Эрнест,— но только для того, чтобы познакомить вас со всеми буквами алфавита, до самой последней. Как видите — все это очень просто. Но чем проще, тем убедительней, не так ли? Я уверен, что каждый из вас додумался до ответа. Так как же? Если каждая страна в мире будет иметь свой избыточный продукт, что будет со всей капиталистической системой?

Но мистер Кэлвин только озабоченно покачал головой. Он, видимо, мысленно проверял аргументы Эрнеста, ища в них скрытую ошибку.

— Давайте посмотрим еще раз ход моих мыслей,— сказал Эрнест.— Мы начали с конкретного, частного случая, с обувной фабрики. Мы установили, что дележ вновь произведенной стоимости между рабочими и предпринимателем обувной фабрики не отличается принципиально от дележа ее во всей промышленности в целом. Мы также установили, что рабочие могут выкупить лишь часть полученного продукта и что капитал не может потребить всей причитающейся ему доли. Мы обнаружили к тому же, что когда рабочие накупят товаров на все заработанные деньги, а капиталисты возьмут столько, сколько им требуется, останутся свободные товарные излишки. Мы пришли к заключению, что единственный способ сбыть с рук эти излишки, это вывезти их за границу. Мы увидели, что страны, куда вывозятся товарные излишки, также приступают к развитию своих естественных ресурсов и что в скором времени и у них оказывается свой избыточный продукт. Распространив этот процесс на все страны мира, мы пришли к выводу, что настанет день, когда

все страны будут ежегодно, ежечасно производить излишки товаров, которые им некуда будет девать. Спрашивается, что нам делать с этими излишками?

Снова никакого ответа.

— Мистер Кэлвин!

Мистер Кэлвин развел руками.

— Признаюсь, я смущен.

— Вот уж не думал, — сказал мистер Асмунсен. — И ведь все как будто верно, ничего не скажешь.

Мне никогда не приходилось слышать о Марксовой¹ теории прибавочной стоимости, но Эрнест изложил ее так просто, что я была поражена не менее других.

— Я скажу вам, как можно избавиться от этих излишков, — заявил, наконец, Эрнест. — Выбросьте их в море! Выбрасывайте ежегодно на сотни миллионов долларов обуви, платья, пшеницы и всяких других товаров. Разве это не выход?

— Выход, конечно, — отвечал мистер Кэлвин. — Но только нелепый выход. Странные вы даете советы.

Эрнест вихрем налетел на него.

— Поверьте, не более странные, чем даете вы, разрушители машин, зовущие человечество ко временам наших предков. А вы что предлагаете, чтоб избавиться от товарных излишков? Вы предпочли бы вовсе не производить их. Но как же вы надеетесь этого добиться? Не возвратом ли к примитивной системе производства, столь несовершенной, хаотичной, расточительной и дорогой, что ни о каких излишках уже не пришлось бы и мечтать?

Мистер Кэлвин пожевал губами. Удар Эрнеста попал в цель. Он снова пожевал губами, потом откашлялся.

— Ваша правда, — сказал он. — Вы убедили меня. Конечно, это в высшей степени нелепо. Но ведь что-то нам нужно делать. Для нас, представителей средних классов, это вопрос жизни и смерти. Мы не хотим своей гибели.

¹ Карл Маркс — великий теоретик социализма. Жил в XIX веке, по происхождению немецкий еврей. Современник Джона Стюарта Милля. Нам теперь кажется невероятным, что его открытия в области политической экономии долгое время не были признаны и что целые поколения видных ученых и мыслителей подвергали их осмеянию. За свое учение был изгнан из Германии. Остаток жизни провел в Англии на положении эмигранта.

Нет, уж чем погибнуть, лучше возвратиться к кустарным и расточительным методам наших предков. Мы вернем промышленность к дотрестовским временам! Мы ломаем машины! Кто может запретить нам?

— Нет, вы не ломаете машины,— возразил Эрнест.— Вы не повернете жизнь вспять. Вам противостоят две великие силы, и каждая из них превосходит мощью вас, средние классы. Крупный капитал — иначе говоря, тресты — не позволит вам повернуть историю назад. Уничтожение машин не в его интересах. Но еще более великой, могучей силой является рабочий класс. Он не допустит уничтожения машин. Между трестами и рабочим классом идет борьба за овладение миром, а следовательно, и машинами. Такова военная диспозиция. И ни одна из сторон не заинтересована в уничтожении машин, но каждая стремится владеть ими. В этой борьбе нет места среднему классу. Средний класс — это пигмей между двумя великанами. Разве не видите вы, злополучный, обреченный средний класс, что вы зажаты между двумя жерновами и рано или поздно вас раздавят.

Я доказал вам, как дважды два — четыре, что гибель капиталистической системы неизбежна. Настанет время, когда у каждой страны в мире окажется избыток товаров, который нельзя будет ни употребить, ни продать, и капиталистический строй рухнет, раздавленный системой головокружительных прибылей, которую он сам же и породил. Но и тогда никто не станет уничтожать машины. Борьба будет вестись за то, кому ими владеть. Если победит рабочий класс, вам нечего бояться. Соединенные Штаты, да и весь остальной мир, вступят в новую великую эру. Машины, вместо того чтобы истреблять жизнь, сделают ее прекраснее, счастливее, благороднее. И вы, обломки уничтоженного среднего класса, вместе с трудящимися, — так как в мире не останется никого, кроме трудящихся, — будете участвовать в справедливом распределении благ, созданных чудесными машинами. Потому что мы будем изобретать все новые и новые машины, одна удивительней другой. С уничтожением системы прибылей сам собой отпадет вопрос о товарных излишках.

— А если битву за овладение машинами и всем миром выиграете не вы, а тресты? — спросил мистер Коуолт.

— Тогда,— отвечал Эрнест,— и вы, и мы, и весь рабочий класс будем раздавлены железной пятой деспотизма, не ведающего удержу и жалости,— деспотизма, какого не знала доселе ни одна, даже самая темная эпоха в жизни человечества. Вот имя для него — Железная пята!¹

Наступило долгое молчание. Каждый погрузился в глубокие, непривычные думы.

— И все же ваш социализм — мечта, несбыточная мечта! — сказал мистер Коуолт.

— В таком случае я покажу вам то, что отнюдь не мечта,— отвечал Эрнест,— олигархию, или, употребляя более привычное вам слово,— плутократию. В обоих случаях имеется в виду владычество крупного капитала или трестов. Разберемся, кому в наши дни принадлежит власть. А для этого рассмотрим, на какие классы делится наше общество.

Общество состоит из трех крупных классов. Это плутократия — богатейшие банкиры, железнодорожные магнаты, заправилы корпораций и трестов; далее идете вы, господа, средние классы — фермеры, коммерсанты, мелкие промышленники, люди свободных профессий; и наконец, мой класс — пролетариат, представители наемного труда².

Вы не станете отрицать, что в наши дни в Соединенных Штатах власть является прерогативой богатства. Но как же распределяются национальные богатства между этими тремя классами? Вот цифры. Имущественные владения плутократии оцениваются в шестьдесят семь миллиардов. Плутokratия составляет всего лишь девять десятых процента взрослого населения США, а между тем семьдесят процентов национального достояния принадлежит ей. Средний класс владеет имуществом стоимостью в двадцать четыре миллиарда. Средний класс представляет двадцать девять процентов взрослого населения США, при этом он владеет двадцатью пятью про-

¹ Первый известный нам случай, когда это название стали применять к олигархии.

² В своем подразделении общества на классы Эвергард следует одному из самых видных статистиков своего времени Люсьену Сэниелу. Последний, на основании переписи Соединенных Штатов 1900 года, так определял численность населения по занятиям: плутократия — 250 251, средний класс — 8 429 845, пролетариат — 20 393 137 человек.

центами национального достояния. Остается пролетариат. Пролетариату принадлежит имущество стоимостью в четыре миллиарда. По численности он составляет семьдесят процентов взрослого населения США, а между тем на его долю падает только четыре процента общенационального достояния. Какому же классу принадлежит власть, господа?

— Уже ваши цифры говорят о том, что мы, средний класс, сильнее пролетариата,— сказал мистер Асмунсен.

— То, что вы называете нашей слабостью, не прибавит вам силы— по сравнению с той силой, какую представляет плутократия,— сказал Эрнест.— А кроме того, я не кончил: существует еще и другая сила, превышающая силу богатства, потому что ее нельзя отнять. Наша мощь, мощь пролетариата,— это его мускулы, это руки, опускающие в урну избирательный бюллетень, это пальцы, спускающие курок. Нашу мощь никто у нас не отнимет. Это первозданная сила, присущая всему живому. Она могущественнее богатства — потому что богатству не отнять ее у нас.

Ваша же сила мнимая. Вы можете в любую минуту ее лишиться. Уже сейчас плутократы понемногу теснят вас. Пройдет время — и ее как не бывало. И тогда вы перестанете быть средним классом. Вы опуститесь до нас, сделаетесь пролетариями. И — что самое забавное — умножите наше число, укрепите наши ряды. Мы будем с вами плечо к плечу бороться за светлое будущее.

С рабочих, как видите, ничего не возьмешь. Их доля в общенациональном достоянии состоит из кое-какой одежды и мебелишки, да, в отдельных редких случаях, из очищенного от долга домика. Вы же самые настоящие, заправские богачи, у вас двадцать четыре миллиарда, — есть чем пожить! Плутokratия и экспроприирует их, если только — что вполне возможно — ее не опередит пролетариат! Итак, господа, уразумели вы свое положение? Средний класс — это тигедушный ягненок между львом и тигром. Ушел от одного — как раз попадешь в зубы другому. И если с вами расправится плутократия, то рано или поздно с плутократией расправится пролетариат.

Даже сегодняшние ваши богатства уже не свидетельствуют о вашей власти. То могущество, на которое вы претендуете, — пустой мираж. Вот почему вы и провозгласили

свой смехотворный клич: «Назад к предкам!» Вы страдаете бессилием и сами это знаете. Сейчас я покажу вам, что ваша пресловутая сила — мыльный пузырь.

Возьмите фермеров. Какая же это сила? Большая их часть рабы, рабы аренды или закладной. И все они вместе — рабы трестов, которым принадлежат или под чьим контролем находятся (что почти равнозначно) средства вывоза и сбыта урожая — холодильники, железные дороги, элеваторы, пароходы. Мало того, тресты контролируют и рынки сбыта. Во всем этом фермеры — пешки. Что же касается их политического или государственного веса, то этим вопросом мы займемся, говоря о среднем классе в целом.

Тресты систематически разоряют фермеров, так же как они разорили мистера Кэлвина и многих других. Они разоряют и торговцев. Помните, как табачный трест в течение полугода в одном только Нью-Йорке заставил закрыться четыреста табачных лавок? Где прежние владельцы угольных копей? Вы знаете не хуже моего, что железнодорожный трест захватил в свои руки всю добычу антрацита и битуминозного угля. А разве «Стандарт Ойл»¹ не владеет десятками пароходных компаний? И разве он не контролирует всю медную промышленность, не говоря уже о такой мелочишке, как литейный трест, его побочное детище? Осветительная сеть десятков тысяч наших городов также принадлежит «Стандарт Ойл» или контролируемым им компаниям, равно как и электротранспорт — городской, пригородный и междугородный. Бесчисленных предпринимателей и дельцов, когда-то владевших этими предприятиями, нет уже и в помине. Вы это знаете. И вам выходит та же дорога.

Мелкие предприниматели недалеко ушли от фермеров. И те и другие сейчас сведены на положение феодальных держателей. Да и так называемые представители свободных профессий свободны только по названию, — это холопы. А политики — разве это не послушные клеветы? Почему вы, мистер Кэлвин, столь ревностно стараетесь организовать фермеров и других представителей средних

¹ О тресте «Стандарт Ойл» и его владельце Рокфеллере см. примечание к 122-й странице.

классов в новую партию? Да потому, что деятели старых партий и слышать не хотят о ваших допотопных идеях,— ведь это лакеи, прислужники плутократии.

Я назвал представителей свободных профессий и искусства холопами. А как же еще их назвать? Все, все они — профессора, проповедники, журналисты — на службе у плутократии; служба же их в том, чтобы проповедовать идеи либо вовсе безвредные, либо угодные правящему классу. Стоит им выступить в защиту идей, неугодных властителям, как их лишают работы. Если они ничего не припасли себе про черный день, им одна дорога — вниз, к пролетариату; а там они либо погибают, либо становятся рабочими агитаторами. Не забудьте, что печать, церковь и университет определяют общественное мнение страны, задают тон ее умственной жизни. Что же до людей искусства, то они приноравливаются к вульгарным вкусам плутократии.

Однако само по себе богатство еще не власть, это лишь средство к власти,— власть принадлежит правительству. Но кто же в наше время контролирует правительство? Двадцать миллионов американских рабочих? Видите, вам смешно при одной этой мысли. Или восемь миллионов представителей среднего класса? Нет, они так же не повинны в этом, как пролетариат. Так кто же контролирует правительство? Плутократия численностью в каких-то жалких четверть миллиона? Нет, и эта четверть миллиона не контролирует правительство, она только служит ему не за страх, а за совесть. Контролирует правительство мозг плутократии— семь небольших, но чрезвычайно влиятельных групп¹. И не забудьте, что эти группы фактически действуют сейчас заодно.

¹ Еще в 1907 году принято было считать, что Соединенными Штатами управляют одиннадцать могущественных групп, но, после того как пять железнодорожных трестов слились в единую железнодорожную корпорацию, число их снизилось до семи. Вот перечень пяти объединившихся компаний с указанием их политических и финансовых руководителей: 1) Джемс Хилл, захвативший всю железнодорожную сеть Северо-Запада; 2) Пенсильванская железнодорожная группа, поддерживаемая крупнейшими банками Филадельфии и Нью-Йорка с Джейкобом Шиффом в качестве финансового директора; 3) Гарриман, объединивший под своим контролем

Разрешите охарактеризовать вам аппарат власти хотя бы одной из этих групп, а именно железнодорожных магнатов. Сорок тысяч юристов защищают ее интересы в суде против интересов трудового народа. Она выпускает тысячи бесплатных проездных билетов для подкупа судей, банкиров, журналистов, министров, профессоров, членов конгресса и законодательных собраний. Она держит на хлебах — и чрезвычайно роскошных хлебах — лоббистские шайки¹ в столице каждого штата, не говоря уже о Вашингтоне. И во всех городах и поселках страны она содержит целую армию мелких агентов и политиков, на обязанности которых лежит организовать клаку для съездов и предвыборных собраний, подбирать присяжных, подкупать судей и всеми возможными средствами отстаивать интересы компании².

Господа, я только бегло охарактеризовал здесь аппарат власти одной из семи правящих групп, представляющих мозг плутократии³. Ваши двадцать четыре миллиарда не дают вам и на двадцать пять центов политической власти. Ваша власть — пустая видимость, детская погре-

центральные и юго-западные железные дороги, а также дороги Южного Тихоокеанского побережья — юрисконсульт Фрик, политический руководитель Оделл; 4) Группа железных дорог, принадлежащих семейству Гулд, и 5) Мур, Рейд и Лидс — так называемая Рок-Айлендская группа. Все эти могущественные олигархии оказались победителями в условиях конкуренции, и все они следовали по неизбежному пути объединения.

¹ Организации, цель которых — подкуп, растление и запугивание депутатов, законодателей и других так называемых «народных представителей».

² Небезынтересно отметить, что за десять лет до Эвергарда то же самое утверждала нью-йоркская торговая палата, из отчета которой мы заимствуем следующее: «Железнодорожные компании контролируют законодательство большинства наших штатов. Они назначают и смещают сенаторов, депутатов и губернаторов и, как диктаторы, определяют всю правительственную политику».

³ Рокфеллер вышел из рабочей среды. Удачливый и ловкий делец, он стал основателем первого настоящего треста, пресловутого «Стандарт Ойл». Мы не можем отказать себе в удовольствии привести здесь любопытную страничку из журнальной хроники тех времен, чтобы показать, как свободные капиталы «Стандарт Ойл», искавшие применения, отовсюду вытесняли мелких капиталистов, таким образом способствуя краху капиталистической системы в целом. Автор этого отрывка — радикальный журналист Дэвид Грейм

мушка, которую у вас скоро отнимут. Вся политическая власть в наши дни в руках у плутократии. Это она издает законы: сенат, конгресс, суды и законодательные палаты штатов отданы ей на откуп. Но этим дело не ограничивается. Закон должен опираться на силу. И плутократия не только издает законы, она и обеспечивает их выполнение — к ее услугам полиция, армия, флот и, наконец, национальная гвардия; иначе говоря, и вы, и я, и все мы вместе взятые.

После этого спор уже не возобновлялся, обед приходил к концу. Все присмирели и приуныли; прощались тихо, приглушенным голосом. Казалось, гости напуганы видениями грядущих лет.

— Положение действительно серьезное, — сказал Эрнесту мистер Кэлвин. — И вы в общем правильно его изобразили. Я расхожусь с вами в одном. Очень уж вы мрачно смотрите на судьбы среднего класса. Увидите, мы еще себя покажем, мы еще свалим тресты!

— И вернетесь к временам предков, — досказал за него Эрнест.

Филиппс; статья была напечатана в «Сатэрдэй ивнинг пост» от 4 октября 1902 года. Это единственный дошедший до нас номер журнала, который, судя по внешнему виду и содержанию, пользовался широкой популярностью и выпускался большим тиражом. Вот этот отрывок:

«Лет десять назад доходы Рокфеллера, по сообщению авторитетных лиц, составляли тридцать миллионов в год. Нефтяная промышленность была насыщена капиталовложениями до отказа, а между тем на имя одного лишь Джона Дэвисона Рокфеллера поступало ежемесячно два миллиона чистоганом. Вопрос о дальнейшем помещении прибылей становился все более серьезным, можно сказать угрожающим. Доходы нефтяной промышленности росли и росли, а возможности для новых надежных вложений становились все ограниченнее, — их было даже меньше, чем сейчас. Проникновение Рокфеллеров во все новые отрасли промышленности диктовалось не столько их ненасытной жадностью, сколько стремлением дать выход неуклонно нарастающему прибою миллионов, которые нефтяная монополия притягивала, как магнит. Решением этой задачи был занят целый штат изыскателей и разведчиков. Как говорят, начальник этого штата получал сто двадцать пять тысяч в год.

В первую очередь новые флибустьеры заявили о себе в железнодорожном деле. В 1895 году Рокфеллеры контролировали уже одну пятую всей железнодорожной сети США. А что можно ска-

— А хотя бы и так,— серьезно возразил ему мистер Коуолт.— Я понимаю, вам это кажется чем-то вроде разрушения машин — словом, совершеннейшим абсурдом. Что поделаешь, такова сейчас жизнь; вспомните хотя бы все эти махинации плутократии, о которых вы здесь рассказывали. Во всяком случае наша политика разрушения ставит себе трезвые, практические цели, чего нельзя сказать о вас, мечтателях. Ваши мечты о социализме не более как мечты. Нет, нам не по пути с вами!

— Если бы вы, господа, хоть мало-мальски разбирались в законах эволюции и социологии,— говорил Эрнест, пожимая ему руку на прощание,— от скольких бед это избавило бы всех нас!

зать о их нынешних владениях? Рокфеллерам подвластны почти все железнодорожные линии, веером расходящиеся от Нью-Йорка на север, восток и запад, за исключением одной, в которой им принадлежит пай всего в несколько миллионов. Они контролируют большую часть разветвленных железных дорог, скрещивающихся в Чикаго, а также тех, что тянутся на запад, к Тихоокеанскому побережью. Это их поддержке обязан своим могуществом мистер Морган, хотя они, пожалуй, больше нуждаются в его советах, чем он в их поддержке. Вот уж поистине где чувствуется «общность интересов»!

Но одно только железнодорожное дело не могло поглотить эти каскады золота. Доходы Джона Д. Рокфеллера продолжали расти с двух с половиной миллионов до четырех, пяти и шести миллионов в месяц — до семидесяти пяти миллионов в год. Керосин приносил сказочные доходы. Новое инвестирование барышей добавляло к этой прорве денег свою ежегодную многомиллионную лепту.

Как только газ и электричество стали доходным делом, Рокфеллеры бросили сюда свои капиталы, и с той поры каждый американец, чуть стемнеет, становится данником Рокфеллеров, каким бы он ни пользовался освещением — керосиновым, электрическим или газовым.

Рокфеллеры занялись кредитованием фермеров, предоставляя им ссуды под залог земли. И когда фермерам во времена недавнего процветания удалось расплатиться по закладным, Джон Д., говорят, с досады чуть не плакал. Восемь миллионов, которые он так удачно пристроил, казалось бы, на долгие годы и за большой процент, вдруг снова повисли у него на шее и теперь хныкали, прося найти им пристанище. Какая обуза для человека с безнадёжно испорченным пищеварением, человека, который и так сбился с ног, пристраивая на хорошие местечки потомство своих нефтяных дивидендов, и потомков их потомков, и потомков этих новых потомков!

ВОДОВОРОТ

Вскоре после «обеда лабазников» ударами грома разразились события одно другого ужаснее. И я, скромная профессорская дочка, все свои годы прожившая в тиши университетского мирка, оказалась ввергнутой в мировую катастрофу. Трудно сказать, любовь ли к Эрнесту, или же ясное понимание законов общественного развития, — понимание, которым я была обязана тому же Эрнесту, — сделали меня революционеркой, но, став ею, я была подхвачена вихрем событий, которые еще три месяца назад казались бы невозможными.

С грандиозными переменами в жизни общества совпал и перелом в моей личной жизни. Началось с того, что отца уволили из университета. Разумеется, не буквально уволили — ему было предложено уйти в отставку, только и всего. Само по себе это не имело для нас большого значения. Напротив, папа был в восторге. Его забавляло, что терпение университетских властей окончательно исто-

Рокфеллеры занялись горно-рудным делом — железо, уголь, медь, свинец, не пренебрегая и другими видами промышленности. Трамвай, займы — государственные, городские и по отдельным штатам, грузовое и пассажирское пароходство, телеграф, спекуляции земельными участками и застройка целых городских кварталов — небоскребы, доходные дома, здания под конторы и банки, наконец страховое и банковское дело. Вскоре в Америке не осталось ни единого уголка, куда бы ни проникли миллионы Рокфеллеров.

Их «Нэйшэнэл сити банк» принадлежит к крупнейшим в Соединенных Штатах, с ним могут поспорить разве только Английский и Французский государственные банки. Вклады в этот банк составляют в среднем свыше ста миллионов долларов в день. Он контролирует биржу на Уолл-стрите и весь денежный и фондовый рынок. Но это не единственный банк Рокфеллеров, он возглавляет целую сеть богатых и влиятельных отделений во всех деловых центрах страны — четырнадцать в одном Нью-Йорке!

У Джона Д. Рокфеллера одних только акций «Стандарт Ойл» по биржевому курсу — на сумму от четырехсот до пятисот миллионов долларов, сто миллионов в Стальном тресте, почти столько же в одной из Тихоокеанских железных дорог, да половина этой суммы в другой — и так далее, и так далее, всего не перечесть. Его доходы за прошлый год достигли сотен миллионов долларов — а это, пожалуй, больше, чем доходы всех Ротшильдов вместе взятых. И они растут не по дням, а по часам».

щилось после выхода его книги «Экономика и образование». «Еще один аргумент в мою пользу»,— говорил он, торжествуя. Да и трудно было найти более убедительное доказательство того, что класс капиталистов наложил лапу на всю нашу образовательную систему.

Но «доказательство» повисло в воздухе. Никто так и не узнал, что отец ушел из университета не по своей воле. Если бы это событие вместе с привходящими обстоятельствами получило огласку, это могло бы стать своего рода сенсацией, принимая во внимание известность, которую папа снискал себе как ученый. Но нет, газеты расшаркивались перед ним, поздравляя с тем, что он решил отказаться от черной лекторской работы и целиком посвятить себя научным изысканиям.

Вначале папа смеялся. Потом им овладел гнев — «живительный» гнев. А вскоре был наложен запрет на его книгу. Это было сделано потихоньку, мы ни о чем и не догадывались. Появление книги не прошло в стране незамеченным. В капиталистической прессе она была вежливо обругана; критики с убийственной учтивостью заявляли, что такому большому ученому не следовало бы жертвовать своей работой и забираться в дебри социологии, где он сразу же и заблудился. Так продолжалось с неделю; отец посмеивался и говорил, что книга, повидимому, задела господ капиталистов за живое. И вдруг как отрезало — газеты и журналы перестали о ней писать. Из продажи она исчезла. В книжных лавках нельзя было найти ни одного экземпляра. Отец запросил издателей, и ему сообщили, что матрицы случайно повреждены. Наконец, после длительной и бесплодной переписки отцу было сообщено, что книга вторично набираться не будет и что издательство отказывается от всяких прав на нее.

— Ни один издатель в Америке не захочет взять ее теперь,— предупредил папу Эрнест.— И вот что я скажу вам: на вашем месте я бы уже сейчас подыскал себе какое-нибудь укромное местечко и укрылся в нем до лучших времен. Хватит с вас этого первого знакомства с Железной пятой, не советую вам идти дальше.

Как истинный ученый, отец никогда ничего не принимал на веру; каждое лабораторное исследование он доводил до конца, добиваясь исчерпывающей полноты и ясности. Так и сейчас, запасшись терпением, он стал обращаться во все издательства подряд. Но всюду находились какие-то отговорки, и ни один издатель так и не взял книги.

Когда отец убедился, что книга его под запретом, он попробовал обратиться в прессу, но его жалобы нигде не встретили отклика. И вот однажды, на социалистическом митинге, где присутствовало много репортеров, он решил выступить с открытым заявлением. Взяв слово, он рассказал всю историю своих мытарств и на следующий день с интересом схватился за газеты, заранее радуясь тому, что там прочтет. Но постепенно лицо его принимало все более возмущенное выражение,— по правде сказать, гнев его на этот раз перешел уже в ту стадию, когда это чувство теряет свое тонирующее действие. Ни одна газета ни словом не упомянула о его книге; зато сам он был повсюду изображен каким-то извергом; слова его безбожно перевирались или же произвольно выхватывались из контекста; умеренные и сдержанные выражения были представлены анархистскими выкриками. Это было сделано не без искусства. Мне запомнился следующий пример: отец употребил термин «социальная революция», репортер же просто-напросто выкинул слово «социальная». Не удивительно, что когда стараниями Ассошиэтед Пресс сообщение о митинге пошло гулять по всей Америке, отовсюду посыпались ожесточенные протесты. Отца ославили нигилистом и анархистом, а в одной популярной карикатуре он был изображен с красным флагом, во главе целой орды косматых людей с дикими глазами, потрясающих ножами, бомбами и зажженными факелами.

Пространные и злобные газетные статьи изобличали отца в анархизме, попутно намекая, что он выжил из ума. По словам Эрнеста, капиталистическая печать так всегда и поступала. Газеты нарочно засылали репортеров на социалистические митинги, чтобы потом изобразить все в искаженном, карикатурном виде. Это делалось с целью внушить среднему классу ужас перед пролетариатом и помешать им сговориться между собой.

И Эрнест снова и снова убеждал отца отказаться от борьбы и заблаговременно скрыться от своих преследователей.

Социалистическая пресса, разумеется, не стала молчать, и ее подписчикам, рабочим, вскоре стало известно, что такая-то книга запрещена. Но широкая публика этого не знала. Вскоре большое социалистическое издательство «Знамя разума» предложило отцу выпустить его труд. Папа торжествовал, а Эрнест еще больше встретился.

— Говорю вам, мы на пороге неведомых событий,— настаивал он.— Что-то готовится вокруг нас в глубочайшей тайне. Мы не знаем, какие нас ждут перемены, и только предчувствуем их приход. Все общество потрясено до основания. Не спрашивайте меня ни о чем, я и сам ничего не знаю. Но наше общество представляет собой насыщенный раствор, из которого что-то должно выкристаллизоваться. Процесс уже начался. Конфискация вашей книги—это знамение времени. Сколько еще таких книг запрещено, мы понятия не имеем. Мы бродим в потемках. Никто ничего нам не расскажет. На очереди запрещение социалистических газет и издательств. Боюсь, что это уже не за горами. Нас хотят задушить.

Эрнест необычайно чутко улавливал биение пульса своего времени и в этом отношении выделялся даже среди социалистических лидеров. Не прошло и двух дней после его разговора с папой, как грянул первый гром. Издательство «Знамя разума» выпускало еженедельник того же названия тиражом в семьдесят пять тысяч экземпляров, который полностью расходился среди рабочих. Отдельные, специальные, номера журнала выходили массовым тиражом от двух до пяти миллионов. Это издание субсидировалось и распространялось среди читателей друзьями журнала, которых он группировал вокруг себя. Первый сокрушительный удар был нанесен массовой серией. Почтовое ведомство запретило принимать ее к пересылке под тем предлогом, что оно не соответствует установленному типу журнала. Неделью спустя запрещен был и еженедельник—на основании закона о «призыве к мятежу». Делу социалистической пропаганды был нанесен

большой урон. Издательство оказалось в отчаянном положении. Попытка организовать доставку журнала подписчикам через посредство железнодорожных или транспортных контор ни к чему не привела, все они наотрез отказались. Дни издательства были сочтены, однако оно не сдавалось и решило продолжать издание книг. Двадцать тысяч экземпляров «Экономики и образования» находились в переплетном цеху, а остальные печатались, когда однажды ночью к типографии подошла толпа громил с американским флагом. Толпа ворвалась в здание с пением патриотических песен и сожгла его дотла.

А между тем Джирард в штате Канзас, где это происходило, был тихим, мирным городком, в нем за всю его историю никогда не бывало рабочих беспорядков. «Знамя разума» платило положенные ставки. Типография была главным промышленным предприятием во всей округе, кормившим сотни семейств. Толпу громил составляли, повидимому, не жители Джирарда. Казалось, они вышли из-под земли и, сделав свое гнусное дело, опять как сквозь землю провалились. Эрнест считал это событие зловещим симптомом.

— В Соединенных Штатах, очевидно, организованы «черные сотни»¹, — говорил он. — Но это только начало. Самое худшее еще впереди. Железная пята наглет с каждым днем.

Так книга отца и погибла в огне. В дальнейшем нам все чаще приходилось слышать о выступлениях черных сотен. Список запрещенных социалистических изданий все увеличивался, немало было случаев, когда банды громил добирались и до типографских станков и предавали их уничтожению. Капиталистическая печать, разумеется, преданно служила реакции. Послушная своим хозяевам, она чернила и поносила удушенную социалистическую прессу, а черносотенцев выставляла патриотами и спасителями общества. Кампания велась так успешно, что много честных священников, поддавшись пропаганде, благословляли

¹ «Черными сотнями» назывались шайки громил, которые обреченное на гибель самодержавие организовало для борьбы с русской революцией. Эти шайки нападали на революционеров, а также бесчинствовали и грабили, для того чтобы дать властям повод пустить в дело казачков.

с кафедры зверства черносотенцев, не переставая при этом сокрушаться о прискорбной необходимости насилия.

События назревали. Приближались осенние выборы в конгресс, на которых Эрнест должен был баллотироваться от социалистической партии. Его шансы были очень высоки. После срыва стачки трамвайных служащих в Сан-Франциско такая же неудача постигла стачку возчиков. Оба эти провала нанесли рабочему движению чувствительный удар. Забастовку возчиков поддержала федерация портовых рабочих, а также союзы строителей,— и вот все эти организации потерпели тяжелое поражение. Немало тут пролилось рабочей крови. Увесистые полицейские дубинки работали без отказа, но особенно жестоко косил забастовщиков пулемет, установленный на крыше складов Марсденовской компании срочных доставок.

Среди рабочих царило угрюмое, озлобленное настроение. Они жаждали мести, кровавой расплаты. Потерпев неудачу в экономических боях, они стремились свести счеты со своими противниками на политической арене. У них все еще были их профсоюзы, и это составляло их силу в приближающейся политической борьбе. Шансы Эрнеста на избрание подымались. С каждым днем все больше профсоюзов заявляло о поддержке социалистического кандидата, и Эрнест немало смеялся, когда в ряды его избирателей влились факельщики и массажисты. Рабочие упорствовали. Восторженными толпами валяли они на социалистические митинги, не обращая внимания на заигрывания и посулы других партий. Ораторы последних выступали перед пустыми скамьями или же встречали такой прием, что приходилось вызывать полицию.

События стремительно развивались, они надвигались грозой. Страна была на грани кризиса¹. После ряда лет усиленного промышленного развития наступил период перепроизводства. Заводы работали неполный день, многие гигантские предприятия закрылись на то время, пока

¹ Капиталистическая система производства неизбежно приводила к кризисам, которые ввергали народ в бедствия столь же ужасные, как и бессмысленные. За периоды процветания он расплачивался периодами экономического застоя и безработицы, вызванной перепроизводством.

страна не разгрузится от избытка товаров. Рабочим то и дело урезывали заработную плату.

Следующей была сломлена забастовка механиков. Двести тысяч механиков вместе с полумиллионной армией рабочих-металлистов — своей союзницей — потерпели поражение в тяжелых классовых боях, быть может самых кровопролитных в истории Соединенных Штатов. Рабочие вступали в форменные сражения с отрядами вооруженных штрейкбрехеров¹, которых выставила против них ассоциация нанимателей. Черные сотни, появляясь то тут, то там, разрушали заводское имущество. Для расправы с рабочими вызваны были регулярные войска. Часть руководителей забастовки была приговорена к смертной казни, остальных засадили в тюрьму; рядовых рабочих толпами загоняли в скотобойни² и беспощадно избивали.

Народу приходилось расплачиваться за годы процветания. Все рынки были забиты товарами, на бирже царила паника, на фоне общего катастрофического падения цен самым катастрофическим было падение цен на труд. В стране не утихала классовая борьба. Повсюду вспыхивали забастовки, а там, где рабочие не бастовали, их пачками увольняли с заводов. Газеты были испещрены сообщениями о погромах и беспорядках, и ко всем этим зло-

¹ Штрейкбрехеры во всем, кроме названия, были частной армией капиталистов. Их хорошо вымуштрованные, вооруженные до зубов отряды по первому требованию перебрасывались в любой конец страны, где рабочие объявляли предпринимателю стачку или же где предприниматель объявлял рабочим локаут. В те удивительные времена не раз случалось, что какой-нибудь предводитель штрейкбрехеров, вроде пресловутого Фарли, вместе со своей армией из двух с половиной тысяч хорошо снаряженных и вооруженных молодых людей, садился в специальный поезд и мчался через весь континент — из Нью-Йорка в противоположный конец страны, — чтобы сломить забастовку, как это было, например, во время стачки вагоновожатых Сан-Франциско. Все это находилось в вопиющем противоречии с существующими законами, но капиталистам и не такие беззакония сходили с рук, так как американский суд был в полном подчинении у плутократии.

² «Загнать в скотобойню» — ходячее выражение того времени, обозначавшее насильственный разгон рабочей демонстрации. Вошло в обиход с тех пор, как во время одной из горняцких забастовок в Айдахо в конце XIX века рабочие были загнаны войсками в скотобойню и там избиты. Как выражение, так и самое мероприятие перекочевало и в XX век.

деяниям приложили руку черные сотни¹. Разбой, произвол и бесцельное уничтожение имущества были делом их рук. Все силы регулярной армии были двинуты против забастовщиков, и каждый раз появление военных отрядов провоцировалось черными сотнями. Города и поселки были превращены в вооруженные лагеря, на рабочих охотились, как на зверей. Ряды штрейкбрехеров пополнялись за счет армии безработных, а когда профсоюзы пытались бороться с штрейкбрехерами, на выручку спешили регулярные войска и расправлялись с профсоюзами. В подавлении беспорядков принимала участие и национальная гвардия. Тот закон, о котором говорил Эрнест, не был еще приведен в действие, и власти обходились регулярными войсками, но на этот период террора число их было увеличено на сто тысяч человек.

Никогда еще пролетариат не терпел такого поражения. Короли промышленности, олигархи, впервые боролись плечо к плечу с ассоциациями нанимателей — организациями среднего класса. Напуганные кризисом и катастрофическим падением цен, поддерживаемые промышленными королями, предприниматели нанесли организованному пролетариату жестокое поражение. Это был могущественный союз, но по существу — союз льва с ягненком; и средний класс не замедлил это обнаружить.

Рабочие затаили жажду мести, но пока они были раздавлены. Однако разгромить рабочих еще не означало покончить с кризисом. Банки, представлявшие одну из

¹ Чисто американские организации, — только название их было перенесено в Америку из России; черные сотни вербовались из многочисленных провокаторов, которых капитализм уже в XIX веке широко использовал в борьбе с рабочим движением. Это подтверждается свидетельством хотя бы такого высокоавторитетного современника, как Кэррол Д. Райт, государственный уполномоченный по вопросам труда. В своей книге «Рабочее движение» он отмечает, что «во время особенно памятных нам грандиозных забастовок предприниматели умышленно вызывали рабочих на акты насилия»; компании часто сами провоцировали забастовки, чтобы избавиться от товарных излишков; во время железнодорожных забастовок агенты компаний поджигали товарные вагоны, стремясь создать впечатление беспорядков. Из этих тайных агентов и возникли черные сотни. Впоследствии олигархия использовала их как провокаторов — одно из самых страшных своих орудий.

важнейших сил олигархии, повсеместно требовали возвращения взятых ссуд. Биржа превратилась в чудовищный водоворот; здесь финансовые магнаты Уолл-стрита¹ ежечасно пускали ко дну национальные богатства Америки. И над этими развалинами и обломками вставало грозное видение нарождающейся олигархии, безучастной, невозмутимой, уверенной в себе. Ее равнодушие и цинизм среди всеобщего крушения и хаоса были поистине ужасны. К услугам олигархии, для выполнения ее планов, были не только ее огромные средства, но также и средства государственной казны.

Нанеся поражение пролетариату, промышленные короли взялись за средний класс. Ассоциации предпринимателей, которые еще недавно помогли олигархии расправиться с рабочими организациями, теперь сами оказались ее жертвой. Среди крушения и гибели, постигшей мелких дельцов и промышленников, уцелели только тресты,— и не только уцелели, но и развили кипучую деятельность. Они сеяли ветер, чтобы пожать бурю,— ведь буря сулила им неисчислимые богатства. И какие богатства! Чудовищные! Чувствуя себя достаточно крепкими и устойчивыми, чтобы выдержать натиск стихий, которые сами же они спустили с цепи, они шныряли среди обломков кораблекрушения, вылавливая из пучины все, что могло им пригодиться, беззастенчиво грабя свои жертвы. Акции американских предприятий продавались за бесценок, и тресты скупали все, что ни попадется, прибирая к рукам все новые и новые отрасли промышленности, наживаясь на разорении средних классов.

И вот летом 1912 года среднему классу был нанесен решающий удар. Даже Эрнест был поражен тем, как быстро это совершилось. С опасением смотрел он в будущее, не ожидая от осенних выборов ничего хорошего.

— Ничего не выйдет,— говорил он.— Мы разбиты. Железная пята у власти. Еще недавно я возлагал надежды на выборы, на то, что нам удастся завоевать власть

¹ Одна из старейших улиц Нью-Йорка, где помещалась фондовая биржа. Здесь под прикрытием господствовавшего в то время экономического хаоса совершались незаконные сделки, предметом которых служила промышленность всей страны.

мирным путем,— и оказался неправ. Прав был Уиксон. Скоро мы лишимся и своих последних жалких свобод. Железная пята втопчет нас в землю. Остается одно: решительное, кровопролитное восстание рабочего класса. Конечно, мы победим, но я содрогаюсь при мысли о том, во что обойдется нам победа.

С тех пор Эрнест все надежды стал возлагать на революцию. В этом отношении он намного опередил своих единомышленников. Его товарищи-социалисты не соглашались с ним. Они все еще верили, что победы можно добиться на выборах. Они не то чтобы растерялись — это были люди большой выдержки и мужества,— но все еще не понимали того, что происходило на их глазах. Опасность, о которой твердил Эрнест, предвидевший приход к власти олигархии, не казалась им серьезной. Он разбудил их бдительность, но они слишком верили в свои силы. В их теории социальной эволюции не было места для олигархии, и они отказывались ее видеть.

— Вот пошлем тебя в конгресс, и все устроится,— говорили они Эрнесту на одном из наших конспиративных собраний.

— А если меня выкинут из конгресса,— холодно спрашивал Эрнест,— а потом поставят к стенке и разнесут мне череп? Как это вам понравится?

— Тогда мы встанем все как один! — сразу откликнулось несколько голосов.— Мы двинем против них все свои силы!

— И захлебнетесь в собственной крови,— ответил Эрнест.— То же самое утверждал и средний класс. А где сейчас его хваленые силы?

Глава одиннадцатая **НА ПЕРЕЛОМЕ**

Мистер Уиксон не посылал за папой, они встретились неожиданно — на пароме, шедшем в Сан-Франциско, и, следовательно, предостережение, с которым он обратился к папе, было делом случая. Если бы не эта встреча, никакого предостережения не было бы. Правда, это ничего не

изменило. Отец вел свой род от пассажиров «Мей-флауера»¹, и его не так-то легко было сломить.

— Эрнест был совершенно прав! — сообщил он мне уже с порога. — Твой Эрнест — умница! Я бы такого зятя не променял ни на Рокфеллера, ни на короля английского.

— Что случилось? — испуганно спросила я.

— Олигархия и в самом деле точит на нас зубы — на нас с тобой во всяком случае. Мне сообщил об этом Уиксон чуть ли не этими самыми словами. Собственно для олигарха он проявил величайшую любезность — предложил мне вернуться в университет. Как это тебе нравится? Грязный обирала Уиксон решает вопрос, быть или не быть мне профессором Калифорнийского университета! Впрочем, он осчастливил меня и еще более лестным предложением: возглавить грандиозный институт физических наук — это новый проект наших олигархов: ведь им нужно куда-то девать свои прибыли.

«Помните, что я сказал этому социалисту, приятелю вашей дочери? — спросил он меня. — Я заявил ему, что мы раздавим рабочий класс. И так оно и будет. Перед вами я преклоняюсь, как перед ученым. Но если вы свяжете свою судьбу с судьбой рабочего класса, вам тоже солоно придется. Вот и все, что я вам хотел сказать». И он повернулся и пошел прочь.

— Значит, нам нужно поторапливаться со свадьбой, — сказал Эрнест, узнав об этом.

Тогда я не поняла, что он имеет в виду, но вскоре мне это стало ясно. Мы как раз ждали квартальной выплаты сьеррских дивидендов, однако все сроки прошли, а отец не получил обычного извещения. Повременив несколько дней, он написал в контору. Оттуда немедленно ответили, что имя отца не значится в книгах Компании, — более того, у него вежливо просили объяснений.

¹ Один из первых кораблей, на которых вскоре после открытия Нового Света прибыли в Америку колонисты. Потомки этих ранних поселенцев чрезвычайно гордились своей родословной. Однако с течением времени семья их рассеялась по всей стране, так что в сущности каждый американец мог считать, что в его жилах течет кровь первых колонистов.

— За объяснениями дело не станет, черт бы их побрал совсем! — сказал папа и отправился в банк взять из сейфа свои акции.

— Твой Эрнест просто гений, — заявил он мне возвращаясь, когда я помогала ему снять пальто в прихожей. — Слышишь, дочка, твой будущий муж — гений!

Такие преувеличенные похвалы, я знала по опыту, не предвещали ничего хорошего.

— Со мной эта публика уже расправилась, — продолжал папа. — Представь себе, акций как не бывало! В сейфе одни только голые стенки. Видно, вам с Эрнестом действительно придется поторапливаться со свадьбой.

Отец и на этот раз остался верен своим лабораторным методам. Он предъявил Сьеррской компании иск, но, к сожалению, не мог представить суду ее конторских книг. К тому же с Компанией в суде считались, а с папой нет. Словом, все вышло как по-писаному. Отец потерпел полнейшее поражение, и открытый грабеж восторжествовал.

Сейчас мне и грустно и смешно вспомнить, что после этого свалилось на голову бедного папы. Повстречав мистера Уиксона на улице в Сан-Франциско, он позволил себе назвать этого джентльмена отъявленным негодяем. Папу тут же арестовали, предъявили обвинение в оскорблении действием, приговорили к штрафу и обязали впредь не нарушать общественной тишины. Это было так нелепо, что он сам хохотал, вернувшись домой после всей этой эпопеи. Но какой шум подняли местные газеты! Они самым серьезным образом кричали о «микробе насилия», который поражает всякого, кто соприкасается с социалистами. Тихое, мирное житие моего отца выставлялось примером тлетворного действия этого ужасного микроба. Другие газеты утверждали, что престарелый профессор не выдержал умственного напряжения и сошел с ума и что самое целесообразное — отвести ему палату в соответствующем казенном заведении. И это было не пустой угрозой. Такая опасность действительно существовала, папа убедился в этом на примере епископа Морхауза, — и он так хорошо усвоил этот урок, что никакие преследования не могли уже вывести его из равновесия; мне кажется, даже его враги становились в тупик перед такой сверхъестественной кротостью.

Следующим на очереди оказался наш дом, где прошло мое детство. Папе была предъявлена неведомо откуда взявшаяся просроченная закладная и предложено немедленно выехать. На самом деле ни о какой закладной не могло быть и речи: за участок было полностью заплачено при покупке, а дом строился на наличные деньги; и участок и дом были свободны от долгов. Но это не помешало нашим гонителям составить закладную по всей форме, со всеми полагающимися подписями и даже с отметками об уплате процентов за много лет. На сей раз папа и не пикнул: раз у него забрали все деньги — значит, могли забрать и дом. Искать защиты было негде. У власти были те, кто решил его уничтожить. Папа был истинным философом — он даже не сердился больше.

— Меня решено раздавить, — говорил он, — но отсюда еще не следует, что я должен сам рыть себе могилу. Нет, уж пощажу свои старые кости. Достаточно меня били. Не хватает мне еще на старости лет угодить в сумасшедший дом!

Кстати, это возвращает меня к нашему епископу Морхаузу, о котором я давно не упоминала. Но сначала расскажу о нашей с Эрнестом свадьбе. Я понимаю, что по сравнению с описываемыми здесь событиями все личное должно отступить на второй план, и потому расскажу об этом коротко.

— Вот мы и настоящие пролетарии, — сказал мне отец, когда мы покидали свой дом. — Я часто завидовал твоему жениху: очень уж хорошо он знает пролетариат. Ну, а теперь и мне представляется возможность узнать и изучить его.

Очевидно, в папе заговорила поздно пробудившаяся романтическая жилка. Он и наши бедствия склонен был рассматривать как своего рода приключение. В душе его не было места ни злобе, ни обиде. Простодушный мудрец, он неспособен был к мстительным чувствам, а широкие духовные интересы позволяли ему легко мириться с утратой привычных житейских удобств. Когда мы переехали в плохонькую четырехкомнатную квартирку в пролетарском районе Сан-Франциско, южнее Маркет-стрит, папа радовался этой перемене, как ребенок. С этой свежестью восприятия он соединял зрелость и безошибочную ясность

суждений, свойственную выдающемуся мыслителю. Ум его и в преклонном возрасте не утратил своей гибкости. Он не был рабом предубеждений, условное, привычное не имело над ним власти. Только научные и математические истины были для него обязательны, только с ними он считался. Мой отец был великий ученый. У него была душа и ум выдающегося человека. В некоторых отношениях он превосходил даже Эрнеста, а выше Эрнеста для меня не было никого.

Меня тоже отчасти радовала перемена в нашей жизни. Она спасала нас от организованного остракизма, которому мы подвергались в своем родном городе, с тех пор как навлекли на себя немилость нарождающейся олигархии. К тому же «приключение» это и для меня было исполнено романтики, тем более волнующей, что то была романтика любви. Изменение наших жизненных обстоятельств ускорило мой брак, и в четырехкомнатную квартиру на Пелл-стрит, в одной из трущоб Сан-Франциско, я въехала уже как жена Эрнеста.

А самое главное — я дала Эрнесту счастье! Я вошла в его бурную жизнь не как новая, беспокойная сила, но как сила, проливающая мир и радость. Со мной Эрнест отдыхал. Это было для меня лучшей наградой, а также свидетельством того, что я выполняю свой долг. Зажечь улыбку светлой радости и забвения в этих милых усталых глазах — разве не было для меня величайшим счастьем?!

Милые, усталые глаза! Эрнест работал так, как редко кто работает, и всю жизнь он трудился для других, — это лучшее мерило его мужества, его высокого сознания. А сколько было в нем человечности и нежности! Бесстрашный борец, с телом гладиатора и душою орла, он был чуток и ласков со мной, как поэт. Да он и был поэтом. Дело его было для него песней. Всю жизнь пел он песнь о человеке. Душу Эрнеста переполняла любовь к человеку, и этой любви он отдал жизнь, ради нее принял мученический венец.

И все это — без всякой надежды на воздаяние. В мировоззрении Эрнеста не было места вере в загробную жизнь. Весь устремленный в бессмертное, — он отрицал бессмертие. Не правда ли, какой парадокс! Пламенный

дух, он обрек себя холодной и суровой философии — материалистическому монизму. Я спорила с ним, говоря, что залогом бессмертия служит мне его крылатая душа и что мне, видно, придется прожить не одну вечность, чтобы измерить величие ее полета. И Эрнест обнимал меня и шутя называл своим маленьким метафизиком; усталости в глазах как не бывало, из них струился свет любви, который уже сам по себе был вернейшим доказательством его бессмертия.

И еще он называл меня своей милой дуалисткой и объяснял, что Кант, создавший учение о чистом разуме, предал разум во имя служения богу. Он приводил мне этот пример, уверяя, что я способна сделать то же самое! И когда я, приняв это обвинение, храбро заявляла, что никакой вины тут не вижу, он еще крепче прижимал меня к себе и смеялся, как может смеяться только душа, возлюбившая бога. Я утверждала, что наследственность и среда так же бессильны объяснить своеобразие и одаренность его натуры, как неуклюжие холодные пальцы науки не способны нащупать, отделить и препарировать то неуловимое, что является основой всякой жизни.

Я считала пространство атрибутом божества и видела в человеческой душе отражение божественной сущности. И когда Эрнест называл меня своим неисправимым метафизиком, я называла его своим бессмертным материалистом. Так мы любили друг друга и были счастливы. Я прощала ему материализм за его прекрасную, высокую деятельность, к которой не примешивалось и тени личного интереса, за его безграничную скромность, исключавшую всякое самодовольство и самолюбование.

Но гордость была ему присуща. Какой же орел не знает гордости! Эрнест говорил: больше величия в том, чтобы слабый огонек жизни почитал себя божественным, чем чтобы божество сознавало себя божеством. И он прославлял в человеке все то, что мнил земным и смертным. Он любил читать мне вслух один поэтический отрывок. Всего стихотворения он не знал и не мог доискаться, кто его автор¹. Я привожу здесь эти строки не только

¹ Имя автора стихотворения, известного нам только по этому отрывку, навсегда утеряно.

потому, что Эрнест любил их, но и потому, что вижу в них отражение той же противоречивости, что жила в моем муже, узнаю ту же силу духа и то же отрицание его. Ибо как может человек, с восторгом, страстью и пламенным вдохновением повторяющий эти строки, быть только прахом земным, мимолетной тенью, зыбким, ускользающим облачком!

Мой по праву рожденья удел — торжество
И удача в суровой борьбе.
Жизнь я славлю свою, всей земле я пою
О моей высокой судьбе.

Узнай не одну я — миллионы смертей,
Что нас ждут до конца времен,—
Все ж, как чашу вина, пью я счастье до дна
Всех стран, веков и племен.

О пенная Гордость, о терпкая Власть,
О сладкая Женственность! — я
На коленях пью, славя чашу мою,
Золотой нектар бытия.

Я пью за Жизнь, я пью за Смерть,
Воспевая и эту и ту.
Пусть умру я — другой бокал круговой
Подхватит, как я, на лету.

Я тот, кого ты в мир труда и мечты
Из рая изгнал, мой творец.
Здесь я прожил века, здесь пребуду, пока
Не придет вселенной конец.

Ведь это — мой мир, мой прекрасный мир,
Мир страданий, душе дорогих:
Здесь я сердцем постиг и младенческий крик
И пытку мук родовых.

Пульс грядущих веков в юной алой крови!
Страсти целого мира вместиw,
Этот дикий поток все сметает с дорог,
Самый ад на пути загасив.

От плоти до праха — я человек,
От трепетной плоти земной,
От сладостной тьмы нашей первой тюрьмы
До сиянья души нагой.

Кость от кости моей и от плоти плоть,
Мир покорен веленьям моим,
И к Эдему пути он стремится найти,
И порыв его непобедим.

Дай мне выпить, господь, кубок жизни до дна,
Весь в радуге красок живых,
И вечную ночь я смогу превозмочь
Виденьями снов золотых.

Я тот, кого ты в мир труда и мечты
Из рая изгнал, мой творец.
Здесь я прожил века, здесь пребуду, пока
Не придет вселенной конец.

Ведь это — мой мир, мой прекрасный мир,
Царство радости светлой моей —
От сверкающих льдов заполярных краев
До тьмы любовных ночей *.

Эрнест работал, выбиваясь из сил. Выносливый организм многое позволял ему, но глаза его говорили об утомлении. Милые, усталые глаза! Эрнест спал всего каких-нибудь четыре-пять часов в сутки и все же не успевал переделать всю свою ежедневную работу. Он продолжал пропагандистскую работу, и его лекции в рабочих аудиториях были расписаны на недели вперед. Много времени отнимала избирательная кампания: возни было столько, что другому хватило бы на целый рабочий день. С разгромом социалистических издательств его скудные авторские доходы прекратились, и надо было думать о новом заработке; не только революционная работа, но и жизнь предъявляла свои требования. Эрнест переводил для журналов научные и философские статьи и, придя домой поздно вечером, утомленный сутолокой избирательной кампанией, садился за стол и работал далеко за полночь. Ко всему прочему он еще и учился, учился до самой смерти, и умудрялся делать огромные успехи.

И он еще находил время для того, чтобы дарить мне любовь и счастье. Разумеется, это было возможно только потому, что я всецело жила его жизнью. Я научилась стенографировать и писать на машинке и стала его секретарем. Эрнест уверял, что этим я наполовину его разгружаю. Во всяком случае это позволяло мне целиком войти в его работу. Мы жили одними интересами, вместе трудились и вместе отдыхали.

* Перевод Б. Лейтина.

А сколько драгоценных минут мы при этом урывали для себя, похищая их у работы, пусть это было только слово, короткий поцелуй, мгновенная вспышка любви... Взятые у жизни украдкой, эти минуты были тем сладостней. Ибо мы жили на сверкающих высотах, где воздух был прозрачен и чист, где труд был обращен на пользу человечества и куда низменным, эгоистическим побуждениям не было доступа. Мы любили нашу любовь и никогда ничем ее не осквернили. И самое главное: я выполняла свой долг. Я давала отдых и покой тому, кто самоотверженно работал для других,— моему милому материалисту с усталыми глазами.

Глава двенадцатая

ЕПИСКОП

Когда мы поженились, случай опять свел меня с епископом Морхаузом. Но расскажу по порядку. После своего ошеломляющего выступления на съезде ИПГ епископ, добрая душа, не устоял перед уговорами заботливых друзей и взял отпуск. Однако вернулся он, еще более утвердившись в своем решении проповедовать истинную веру. Первая же его проповедь повергла в ужас всех прихожан, так как она была почти дословным повторением того, что епископ говорил съезду. Снова и снова твердил он, что церковь отринула учение Христа и на место спасителя поставила маммону.

В результате беднягу отправили, уже не спросясь, в частную психиатрическую лечебницу, меж тем как газеты скорбели о его душевном заболевании и умилялись его кротости и голубиной чистоте. В лечебнице епископа держали на положении узника. Я несколько раз пыталась навестить его, но не была допущена. Меня глубоко волновала трагедия разумного, нормального, чистого душой человека, раздавленного жестоким насилием общества, так как мне был хорошо знаком и здравый ум и благородные побуждения епископа. Эрнест говорил, что его погубило незнание законов биологии и социологии, оно-то и мешало ему стать на правильный путь в борьбе с торжествующим злом.

Меня страшила беспомощность нашего друга. Если он не отступится от своих убеждений, его ждет смиренная рубашка. И ничто не спасет его, ни деньги, ни высокое положение, ни образование. Его взгляды казались обществу опасными, и общество не допускало, что их может исповедовать нормальный человек. Так по крайней мере дело рисовалось мне.

Но голубиная кротость не помешала епископу проявить на этот раз мудрость змия. Он понял грозящую ему опасность и, увидев себя в сетях, сделал попытку освободиться. Он вынужден был один бороться за свое спасение, не рассчитывая на помощь таких друзей, как папа, Эрнест или я. Принудительное затворничество его отрезвило. Вскоре душевное здоровье вернулось к епископу Морхаузу: видения не посещали его больше, он окончательно излечился от мании, будто долг общества — пасти Христову паству.

Короче говоря, он выздоровел, совсем выздоровел, и газеты, а также церковники радостно приветствовали его возвращение. Я однажды зашла в храм, где он служил. Его проповедь ничем не отличалась от тех, какие он произносил, когда ему еще не являлись видения. Разочарование, возмущение овладели мной. Неужели нашего епископа все-таки удалось сломить? Так, значит, он трус? Или же отречение вырвали у него угрозами? А может быть, этот подвиг оказался ему не под силу, и он вынужден был сдаться перед тиранией установленного?

Я побывала у епископа в его роскошном особняке. Как ужасно он изменился! Исхудал, лицо избородили морщины, которых я раньше не замечала. Чувствовалось, что он смущен и не рад моему приходу. Во время нашего разговора он все теребил рукав, глаза его бегали по сторонам, не решаясь встретиться с моими. Видно было, что мысли его где-то блуждают, он то умолкал, то говорил бессвязно, перескакивая с одного на другое. Ничто не напоминало в нем знакомого мне спокойного человека с благодатным лицом Христа, с ясными, прозрачными глазами, со взором светлым и безбоязненным, как его душа. Беднягу, конечно, истязали, решила я, побоями привели к смирению. Он не устоял перед этой волчьей стаей.

Мне было грустно, бесконечно грустно. Речи епископа звучали уклончиво, и он так настораживался при каждом моем слове, что я не решалась ни о чем расспрашивать. Туманно упомянул он о своей болезни, а потом мы толковали о вопросах, касающихся его храма, о недавно отремонтированном органе и всяких благотворительных делах. Когда я собралась уходить, епископ так откровенно обрадовался, что я, наверно, не сдержала бы смеха, если бы сердце мне не жгли слезы.

Бедный подвижник! Если бы только я знала! Он сражался, как титан, а я и не подозревала этого. Один, совсем один среди миллионов своих ближних, он продолжал борьбу. Колеблясь между страхом и верностью долгу и правде, он не предал долга и правды. И так глубоко было его одиночество, что даже мне он не доверился. Горе научило его осторожности.

Вскоре все это открылось мне. Однажды епископ исчез. Он никого не предупредил о своем уходе. Так как дни проходили за днями, а он все не появлялся, в городе возникли слухи, что в припадке внезапного помешательства он наложил на себя руки. Но эти предположения рассеялись, когда стало известно, что епископ распродал все свое имущество: городской дом и загородную виллу в Менло-парке, все картины, коллекции и даже заветное свое сокровище — библиотеку. Словом, готовясь к решительному шагу, епископ втихомолку разделался со всем своим земным достоянием.

Все это произошло в то время, когда мы были заняты собственными горестями. И только после переезда на новую квартиру, когда для нас началась новая жизнь, мы стали думать и гадать о том, что случилось с епископом.

Разгадка не заставила себя долго ждать. Однажды, в сумерки, я спустилась вниз, в мясную, чтобы купить к ужину отбивные котлеты. (Теперь, в нашем новом положении, мы последнюю дневную трапезу называли не обедом, а ужином.)

Когда я выходила из мясной, кто-то вынырнул из дверей зеленой лавки, тут же рядом. Что-то знакомое в этой нахожденной фигуре заставило меня обернуться. Но заинтересовавший меня человек свернул за угол и быстро удалился. Я вгляделась. Сутулые плечи незна-

комца и седая бахромка волос между воротником и полями шляпы безусловно кого-то напоминали мне. Вместо того чтобы вернуться домой, я бросилась за ним следом, стараясь отогнать мысли, невольно приходившие мне в голову. Не может быть, говорила я себе. В этом выцветшем комбинезоне, обтрепаншемся и не по росту длинном — нет, ни за что не поверю!

Я остановилась, смеясь над собой, готовая прекратить нелепую погоню. Но эти плечи и седые кудри... И я снова побежала следом. Обгоняя незнакомца, я бросила на него испытующий взгляд, потом круто повернулась. Да, никаких сомнений, это и в самом деле был епископ Морхауз.

Епископ остановился. От неожиданности у него пресеклось дыхание, большой бумажный пакет выскользнул из рук и упал на тротуар. Из разорванной бумаги прямо нам под ноги покатились картошка. Епископ смотрел на меня с удивлением и испугом. Он весь как-то поник, плечи еще больше ссутулились.

Я протянула ему руку. Он пожал ее — его рука была холодная и влажная, — смущенно откашлялся, и я заметила у него на лбу капли пота. Видно было, что он не может прийти в себя от испуга.

— Картошка, — чуть слышно пробормотал он. — Какая жалость!

Мы оба нагнулись и начали подбирать картошку и укладывать в рваный пакет. Епископ бережно, локтем прижал его к себе. Между тем я выразила радость по поводу нашей нечаянной встречи и начала упрашивать его сейчас же идти к нам.

— Папа как обрадуется, — уговаривала я. — И живем мы совсем рядом.

— Нет, нет, — отвечал он. — Мне нельзя. Прощайте.

Он боязливо огляделся, словно опасаясь, что за ним следят, и вдруг пошел прочь.

— Дайте мне ваш адрес, я как-нибудь найду, — предложил он, видя, что я упорно слеую за ним с явным намерением не упускать из виду, после того как я так счастливо на него набрела.

— Нет, — твердо сказала я. — Я не отпущу вас.

Он посмотрел на картошку, вываливавшуюся из пакета, и на сверток в другой руке.

— Поверьте, это невозможно. Простите меня. Если бы вы только знали...

Казалось, он готов был разрыдаться, но уже в следующую минуту овладел собой, и голос его зазвучал уверенно.

— Видите, у меня провизия,— продолжал он.— Это очень печальная история. Ужасная история, я бы сказал. Есть тут одна старушка. Она голодает. Надо ей сейчас же это отнести. Позвольте же мне. Вы сами понимаете... А потом я вернусь. Обещаю вам.

— Ну, что ж, тогда пойдемте вместе,— предложила я.— Это далеко?

Он снова вздохнул, но подчинился.

— Один квартал отсюда... Но только, пожалуйста, скорее.

В этот вечер благодаря епископу я кое-что узнала о том, что непосредственно меня окружало. До сих пор я и не догадывалась, какая ужасная, беспросветная нужда ютится со мною рядом. Я не занималась благотворительностью. Эрнест не раз говорил мне, что облегчать нужду делами милосердия — это все равно, что лечить язву примочками. Ее надо удалить, говорил он. Дайте рабочему его полный заработок. Назначьте пенсию тому, кто честно потрудился в жизни,— и вам не придется заниматься благотворительностью. Убежденная его доводами, я все силы отдавала нашему делу и не растрачивала их на облегчение тех страданий, которые на каждом шагу порождает несправедливый общественный строй.

Я последовала за моим спутником, который вскоре привел меня в тесную каморку во дворе флигеле. Здесь жила старушка — немка лет шестидесяти, как сообщил мне епископ. Она удивленно вскинула на меня глаза, но, приветливо поздоровавшись, опять устала на свою работу. На коленях у нее лежали мужские брюки. Рядом на полу высилась кipa таких же брюк. Увидев, что в комнате нет ни угля, ни растопки, епископ снова куда-то ушел.

Заинтересованная ее работой, я подняла с полу пару брюк.

— Шесть центов,— сказала старушка, ласково кивая головою, но не поднимая на меня глаз.

Она не слишком проворно управлялась с работой, но зато ни на минуту не отрывалась от нее. Видно было, что все ее существо подчинено одному только импульсу — шить и шить, класть стежок за стежком.

— Только и всего? — удивилась я. — За такую работу? Сколько же времени берет одна пара?

— Да, да, — сказала она. — Так они платят. Шесть центов за отделку брюк. На каждую пару уходит два часа.

— Хозяин мой этого не знает, — добавила она, видимо боясь, как бы не повредить своему работодателю. — Он не виноват, что я так долго копаюсь. Ревматизм совсем замучил. Молодые, пожалуй, вдвое быстрее справляются. На хозяина грех жаловаться. Видите, он позволяет мне брать работу на дом — знает, как на меня действует шум машины. Кабы не его доброе сердце, пришлось бы с голоду помирать.

Да, швеям в мастерской он платит восемь центов с пары. Но что поделаешь!.. Теперь и молодым не хватает работы. А уж старуха пропадай совсем. Бывает, что домой принесешь одну только пару. Ну, а сегодня до вечера с восемью нужно справиться.

Я спросила, сколько часов она проводит за работой. Она сказала, что это зависит от сезона.

— Летом, когда большие заказы, работаю с пяти утра до девяти вечера. А зимой холод не позволяет. Бывает, руки так сведет, что пальцы не гнутся. Пока их еще разогреешь... Зато уж потом засиживаюсь за полночь.

Да, последнее лето было трудное. Кризис, сами знаете. Прогневили мы, видно, бога. На этой неделе у меня первый раз работа. А известно, когда работы нет, туговато приходится. Я всю жизнь с иглой. И дома, в Германии, и здесь, в Сан-Франциско, вот уже тридцать три года. Главное, было бы чем уплатить за квартиру. Домохозяин у нас добрый, но насчет квартирной платы строг. Что ж, это его право. Хорошо хоть за квартиру недорого берет. Три доллара за эту вот комнату. Разве это много? Но только попробуй наскреби каждый месяц эти три доллара!

Она умолкла и, все так же покачивая головой, склонилась над шитьем.

— У вас, должно быть, каждый цент на счету? — снова вызвала я ее на разговор.

Она закивала головой.

— Только бы за квартиру отдать, а там уж как-нибудь. Конечно, мяса не купишь. И кофе пустой попьешь, забелить-то его нечем. Но уж раз-то в день обязательно покушаешь, а когда и два.

Старушка сказала это не без гордости, с тем оттенком удовлетворения, какое дает жизненный успех. Она продолжала шить молча, и я заметила, как внезапно набравшая грусть затуманила ее добрые глаза и залегла у рта горькими складками. Взгляд ее устремился куда-то далеко. Старушка быстро отерла непрошенную слезу, она мешала ей шить.

— Нет, это не от голода сердце ноет,— пояснила она.— К голоду нам не привыкать стать. Дочку мне схронить пришлось — машина ее сгубила. Нелегко ей жилось, конечно,— всегда в работе да в заботе. А все-таки никак я не пойму — уж такая была крепкая, все ей, бывало, нипочем. И совсем молодая: сорок лет — небольшие года. Работала всего лишь тридцать лет. Правда, с малолетства ей начать пришлось. Муж у меня рано помер; котел у них разорвался на заводе. Что было делать? Ей как раз одиннадцатый годок пошел, но большая была девочка, крепкая. Это ее машина извела. Нет, нет, не говорите, я знаю, что машина. Проворнее моей дочки не было работницы на фабрике. Уж я сколько передумала — а теперь знаю... Потому-то и не могу работать в мастерской: машина на меня действует. Все мне чудится, будто она говорит мне: «Да-да, я-я». И так весь день-деньской. По неволе вспомнишь о дочке и уж тогда с работой никак не сообразишь.

На старые ее глаза опять навернулись слезы. Старушка утерла их ладонью и низко склонилась над шитьем.

Я услышала, как епископ, спотыкаясь, подымается вверх по лестнице, и поспешила открыть ему. Боже, какое это было зрелище! Он тащил на спине полмешка угля, сверху лежала растопка. Все лицо у него было черное, пот струйками сбегал по щекам. Он сбросил свою ношу у печки и, достав из кармана пестрый платок, принялся вытирать им лицо. Я не верила своим глазам. Трудно было узнать нашего епископа в этом чумазом, как угольщик, рабочем, одетом в расстегнутую у ворота

дешевую блузу (пуговицу он где-то потерял), а главное — в комбинезоне. Особенно неприглядным казался мне его комбинезон: сильно потертые брюки спускались на самые пятки, а в поясе стянуты были ремешком, как у поденщика.

Епископу было жарко от натуги, но у бедной старушки коченели пальцы, и, прежде чем уйти, он растопил печку. Я начистила картошки и поставила ее на огонь. Впоследствии мне не раз пришлось слышать о еще более тяжких горестях, погребенных в мрачных колодцах окрестных домов.

Наконец, мы явились домой, где Эрнест уже ждал меня с беспокойством. Когда первая радость и волнение, вызванные нашим приходом, улеглись, епископ с наслаждением откинулся на спинку кресла, вытянул ноги в обвисающих штанах и облегченно вздохнул. Он сказал, что впервые со дня своего исчезновения встречается с друзьями. Очевидно, он сильно истосковался за эти недели одиночества. Он многое порассказал нам, но больше всего говорил о том, какое для него счастье выполнять заветы Учителя.

— Теперь я поистине пасу его овец. Мне преподан великий урок. Нельзя насыщать душу, пока голодно тело. Накормите их сперва хлебом, маслом и картофелем — только тогда они возжаждут пищи духовной.

Он с удовольствием ел мои котлеты. Никогда в прежнее время я не замечала у него такого аппетита. Когда мы заговорили об этом, епископ сказал, что чувствует себя превосходно, как никогда в жизни.

— Я теперь все пешком хожу, — сказал он и залился краской при мысли о том времени, когда разъезжал в карете, как будто это было бог весть какое прегрешение.

— Вот и здоровье мое поправилось, — прибавил он поспешно, — а главное, я счастлив; трудно сказать, как счастлив. Наконец-то я в самом деле принял посвящение.

И все же на лице его была печать скорби, — то была вся скорбь мира, которую он взвалил на свои плечи. Теперь он видел жизнь во всей ее неприглядности, и это была не та жизнь, о которой говорили ему драгоценные томы его библиотеки.

— И всем этим я обязан вам, молодой человек,— обратился он к Эрнесту.

Тот смутился.

— Я предупреждал вас,— сказал он неловко.

— Вы не поняли меня,— возразил епископ.— Я говорю не в упрек вам, а в благодарность. Вам я обязан тем, что вышел на верный путь. От теорий вы привели меня к подлинной жизни. Вы раскрыли мне глаза на обман, который царит в нашем обществе. Вы были светом, светившим во тьме, а ныне и я узрел свет. И я был бы счастлив, если бы не...— голос его болезненно дрогнул, глаза расширились от страха,— если бы не мои гонители. Я никому не причиняю зла. Почему они не оставят меня в покое? Хотя дело не в этом. Такова природа всякого гонения. Но пусть бы они лучше исполосовали меня бичами или сожгли на костре, пусть распяли бы голову вниз. Самое страшное для меня — смиренный дом. Каково это — быть брошену в узилище бесноватых! Все во мне содрогается при этой мысли. В лечебнице я насмотрелся на них. Они неистовствуют. Кровь леденеет в жилах при одном воспоминании. И провести остаток дней среди воплей мятущегося безумия! О, только бы не это! Только не это!

Больно было смотреть на бедного епископа. Руки у него тряслись, тело дрожало, как в ознобе,— казалось, всем существом он стремился отогнать от себя страшные видения, встающие в памяти... Но он так же внезапно успокоился.

— Простите,— сказал он кротко.— Это все нервы. Если путь мой и приведет меня в бездну ужаса, то да свершится воля его. Мне ли роптать на пославшего меня в мир.

Рыдания подступили мне к горлу. Великий епископ! Воин! Воин во имя божие!

За этот вечер он многое рассказал нам.

— Я продал свой дом, вернее — дома, и все мое достояние, и сделал это тайно, иначе мне ничего не оставили бы. Это было бы ужасно. Я просто надивиться не могу, сколько картофеля, хлеба, мяса и топлива можно купить на двести — триста тысяч долларов.— Епископ повернулся к Эрнесту.— Вы были правы, молодой человек. Труд оплачивается ужасающе низко. Я никогда не трудился и только велеречиво взывал к фарисеям, думая,

что проповедую слово божие, а между тем у меня было полумиллионное состояние. Я представления не имел, что значат полмиллиона, пока не научился исчислять деньги стоимостью картофеля, хлеба, масла, мяса. А тогда я понял и другое. Я понял, что мне принадлежат горы картофеля, хлеба и мяса и что я и пальцем не пошевелил, чтобы добыть их. И мне стало ясно, что кто-то другой трудился, добывал — и был потом ограблен. А столкнувшись с бедняками, я воочию увидел тех, кто ограблен, кто голодает и нуждается, потому что их лишили всего.

По нашей просьбе он опять вернулся к рассказу о себе.

— Деньги? Я открыл счета на несколько вымышленных имен в различных банках. Никогда их не отнимут у меня — хотя бы потому, что не найдут. И я так рад этим деньгам! Сколько на них можно купить всякой провизии! Никогда я не знал, на что нужны деньги.

— Деньги нужны, между прочим, и нам — на пропагандистскую работу, — сокрушенно вздохнул Эрнест. — Большая была бы польза.

— Вы думаете? Не знаю... Я не поклонник политики. Боюсь, что тут я совершеннейший профан...

Эрнест, со свойственной ему в этих вопросах деликатностью, промолчал, хотя ему лучше чем кому-либо было известно, как нуждается в средствах социалистическая партия.

— Живу я в меблированных комнатах, — продолжал епископ, — и нигде не засиживаюсь подолгу — боюсь. Снимаю еще две каморки в рабочих семьях, в разных концах города. Это непростительное мотовство с моей стороны, но оно вызвано необходимостью. Экономлю деньги тем, что сам стряпаю, хотя время от времени позволяю себе роскошь зайти в дешевую кофейню. Кстати, я сделал открытие. Раньше я только слышал о тамала¹, — представьте, это превосходное блюдо, особенно вечером, когда вас до костей пробирает ветер и сырость. Дорогое оно, конечно, но я знаю один ресторанчик, где вам за десять центов отпустят тройную порцию; качеством оно несколько хуже, но согревает замечательно.

¹ Мексиканское блюдо, часто упоминаемое в книгах того времени. Очевидно, сдабривалось острыми пряностями. Рецепт его приготовления до нас не дошел.

Итак, молодой человек, с вашей помощью я обрел свое призвание. Тружусь на ниве господней,— он посмотрел на меня с улыбкой.— Вы застигли меня на работе. Но никто из вас, разумеется, меня не выдаст.

Епископ сказал это с видимой беспечностью, но чувствовалось, что на душе у него беспокойно. Он обещал вскоре зайти опять, но неделю спустя мы прочитали о трагической судьбе епископа Морхауза, которого пришлось свезти в городскую больницу для умалишенных. Как говорили газеты, он был в тяжелом, но не безнадежном положении. Тщетно добивались мы свидания с узником, а также врачебной экспертизы. На все наши вопросы мы не получали никакого ответа, за исключением все той же стереотипной фразы: состояние тяжелое, но не безнадежное...

— Христос велел богатому юноше продать свое имущество и деньги раздать нищим,— говорил Эрнест с горечью.— Епископ последовал его завету — и угодил в сумасшедший дом. Сейчас другое время, другие порядки: богача, раздающего свое имущество беднякам, объявляют сумасшедшим. Вопрос не подлежит обсуждению! Общество высказалось — и баста!

Глава тринадцатая

ВСЕОБЩАЯ СТАЧКА

Эрнест был избран в конгресс осенью 1912 года, когда политическая обстановка в стране сложилась для социалистов благоприятно. Этому немало способствовало падение Херста¹. Плутократия справилась с ним шутя. Из-

¹ Вильям Рандолф Херст, молодой калифорнийский миллионер, ставший одним из ведущих издателей в стране. Его газеты, выходявшие во всех больших городах США, были рассчитаны на массового читателя — рабочих и средний класс. Популярность Херста выдвинула его в первые ряды демократической партии, которая давно уже была демократической только по названию. Политическая программа Херста, демагогически сочетавшая проповедь некоего выхолощенного социализма с мелкобуржуазной апологетикой капитала, представляла собой нечто ни с чем не сообразное. Несмотря на явную нелепость этой программы, пытавшейся соединить несоединимое, плутократы одно время серьезно побаивались Херста.

дание многочисленных газет обходилось Херсту в восемнадцать миллионов долларов ежегодно, причем издержки эти с лихвой покрывала плата за печатаемые им объявления. Таким образом, источником финансового могущества Херста был средний класс. Тресты не нуждались в рекламе¹. Для того чтобы свалить Херста, достаточно было лишить его объявлений.

Уничтожен был пока не весь средний класс — наиболее стойкая его часть все еще цеплялась за жизнь. Но те мелкие фабриканты и дельцы, которые еще кое-как тянули, были всецело отданы на милость плутократии. Их лишили всякой самостоятельности как экономической, так и политической. А потому достаточно было первого хозяйского окрика, чтобы они отняли у Херста свои объявления.

Херст отчаянно сопротивлялся. Он продолжал выпускать свои газеты, терпя ежемесячный убыток в полтора миллиона долларов; мало того, продолжал печатать объявления, за которые ему никто не платил. Новый хозяйский окрик — и мелкие дельцы и фабриканты забросали его письмами, требуя, чтобы он прекратил печатание их старых объявлений. Но Херст гнул свою линию. Со всех сторон на него сыпались судебные предостережения. Херст пропускал эти угрозы мимо ушей. В конце концов его засадили на полгода в тюрьму за ослушание и неуважение к суду и вдобавок разорили многочисленными исками. Это решило его судьбу. Плутократия вынесла Херсту приговор, подвластный ей суд привел его в исполнение. Вместе с Херстом рухнула демократическая партия, которую он только недавно возглавил.

С разгромом демократической партии и падением ее лидера у последователей Херста оставалось только два пути: либо к социалистам, либо к республиканцам. Большинство повернуло к социалистам. Неожиданно нам, социалистам, пришлось воспользоваться плодами демагогической пропаганды Херста.

¹ В те времена экономической анархии объявления стоили очень дорого. Конкурировали друг с другом только небольшие фирмы — они-то и нуждались в объявлениях. Тресты были вне конкуренции.

Усилившееся в это время разорение фермеров тоже заставило бы их отдать свои голоса социалистам, если бы не кратковременный дутый успех фермерской партии. Эрнест и другие социалистические лидеры настойчиво боролись за голоса фермеров, но разгром социалистической прессы и издательств нанес нашей партии слишком большой урон, который не могла возместить молодая и еще неоперившаяся изустная пропаганда. Поэтому политики вроде мистера Кэлвина, сами в прошлом разоренные фермеры, смогли вовлечь фермерские массы в бесплодную и безнадежную кампанию.

— Вот уж горе-политики,— говорил о них Эрнест,— тресты и вознесут и разжалуют их в один миг.

Так оно и случилось. Семь хорошо спевшихся между собой крупнейших трестов страны организовали «пул»: сложив свои огромные прибыли, они создали единый сельскохозяйственный трест. Железнодорожные компании, контролировавшие тарифы, и контролировавшие цены биржевые спекулянты давно уже обрекли фермерское население на кабальную задолженность. К тому же оно задолжало колоссальные суммы банкам и трестам. Фермерство билось в захлестнувшей его петле. Оставалось только затянуть ее,— что и сделал новый трест.

Кризис 1912 года и без того вызвал ужасающее падение цен на сельскохозяйственном рынке. Но новый трест продолжал умышленно снижать цены, доводя фермеров до полного разорения, а железнодорожные компании все повышали тарифы, чтобы совсем его доконать. Фермеры входили в новые долги, не успев раздаться со старыми. Наконец, грянул гром. Было объявлено о полном прекращении выдачи ссуд под земельную собственность и об административно-судебном взыскании по старым закладным. Что оставалось делать фермерам, как не отдать тресту свою землю, а отдав, наняться на службу в тот же самый трест — управляющими, инспекторами, десятниками и простыми рабочими. Теперь они работали на жалованье. Из мелких собственников они превратились в крепостных, в рабов, вынужденных довольствоваться жалкими крохами. Им нельзя было переменить хозяина, потому что хозяин всюду был один —

плутократия; нельзя было уйти в город — и там хозяйничала плутократия. Оставался еще один выход — махнуть на все рукой и превратиться в бродяг, обреченных на бездомное, голодное существование. Но новые, более суровые законы против бродяжничества закрыли для них и эту возможность.

На первых порах отдельным фермерам, а местами и целым общинам, находившимся в особенно благоприятных условиях, удавалось избежать этой судьбы. Но то были лишь отдельные исключения, которые не могли идти в счет: не прошло и года, как и их смело начисто¹.

Все это и заставило социалистических лидеров — всех, за исключением Эрнеста, — уже осенью 1912 года заговорить о близком крушении капитализма. Такие симптомы, как нарастающий кризис и увеличение армии безработных, уничтожение фермерского сословия и среднего класса, разгром рабочих организаций по всей линии, оправдывали, казалось, самые смелые чаяния и побуждали социалистов перейти в наступление на плутократию.

Увы, мы недооценивали сил противника! Социалисты уже трубили о своей близкой победе на выборах, подкрепляя эти заявления неопровержимыми фактами. Плутократия приняла вызов. Трезво взвесив и подсчитав все шансы, она нанесла нам поражение, расколов наши

¹ Исчезновение свободного римского крестьянства не было таким стремительным процессом, как гибель американского фермерства и мелких капиталистов. Да и не удивительно: древний Рим не знал тех движущих сил, какие действовали в экономике XX века. Многие фермеры, охваченные безрассудной привязанностью к своему клочку земли, готовы были вернуться к первобытным формам жизни. Для того чтобы избежать экспроприации, они ничего не продавали и не покупали, довольствуясь примитивным товарообменом, и на этой почве возникло даже целое движение. Никакие трудности и лишения не могли поколебать их упорства. Но все эти героические усилия не помешали плутократии разделаться с фермерами самым элементарным и нехитрым способом. Пользуясь своим влиянием на правительство, она повысила налоги и этим ударила фермеров по их наиболее уязвимому месту. Отказавшись от всякой торговли, они не располагали деньгами, и в конце концов их земля и имущество были проданы за долги.

ряды. Это агенты плутократии, действуя исподтишка, вопили о том, что социалисты безбожники, для них нет ничего святого. Это плутократия натравила на социалистов церковь, в первую очередь католическую, похитив у нас значительную часть рабочих голосов. Это плутократия, действуя через подставных лиц, возродила фермерскую партию, распространив ее влияние на город, где к ней примкнули остатки среднего класса.

Тем не менее социалисты добились больших успехов. Однако это не было решающей победой, которая закрепила бы за нами руководящие посты и подавляющее большинство в законодательных собраниях. Повсюду мы оставались в меньшинстве. Правда, мы послали в конгресс пятьдесят наших товарищей, но, когда весной 1913 года они заняли свои места в Капитолии, им пришлось вскоре убедиться в полном своем бессилии. И мы еще оказались в лучшем положении, чем фермерская партия, которая добилась в ряде штатов руководящих административных постов; когда весной 1913 года ее представители явились, чтобы занять эти посты, их и на порог не пустили; отставленные сановники продолжали править как ни в чем не бывало, в судах распоряжались прислужники олигархов. Но не буду забегать вперед. Мне еще предстоит рассказать о знаменательных событиях зимы 1912 года.

Экономический кризис привел к резкому сокращению потребления товаров в стране. Рабочие не имели заработка и не могли ничего покупать. У плутократов оставалось на руках огромное количество товарных излишков, которые необходимо было вывезти за границу, тем более что они нуждались в средствах для своих обширных планов. В своей борьбе за внешние рынки американская плутократия столкнулась с Германией. Экономические конфликты, как правило, приводят к войне, и данный случай не явился исключением. Усиленно готовился кайзер — готовились и Соединенные Штаты.

Черные, зловещие тучи сгустились над миром. Все предвещало катастрофу. Повсюду свирепствовал кризис и восставали рабочие, повсюду исчезал средний класс и множились армии безработных, во всем мире шла борьба

ли пышные рынки и слышалось подземное клокотание и гул приближающейся социальной революции¹.

Олигархия стремилась к войне с Германией. У нее были для этого десятки причин. В калейдоскопической смене событий, вызванных войной, в перетасовке международных связей, в заключении новых договоров и союзов она видела возможность богатой поживы. Кроме того, война должна была поглотить все излишки во многих странах, сократить армии безработных, наконец дать олигархии передышку для подготовки и выполнения ее планов. Война позволила бы ей завладеть мировым рынком. Она позволила бы создать в Соединенных Штатах большую постоянную армию, а популярный в народе лозунг «Социализм против олигархии» можно было бы подменить лозунгом «Америка против Германии».

Олигархи и не просчитались бы в своих надеждах, если бы не социалисты. В наших четырех комнатухах на Пелл-стрит состоялось тайное совещание социалистических лидеров Западных штатов. Здесь было выработано

¹ Это подземное клокотание и гул были явственно слышны уже в течение многих лет. В 1906 году хр. эры англичанин лорд Эвербери выступил в палате лордов со следующим заявлением: «Неутихающие беспорядки в Европе, распространение социалистических идей и знаменательный рост приверженцев анархизма являются грозным предостережением правительствам и правящим классам о том, что условия существования трудящихся стали невыносимыми, а потому, во избежание революции, необходимо принять меры для увеличения заработной платы, сокращения рабочего дня и снижения цен на предметы первой необходимости». Орган американских биржевиков «Уолл-стрит джорнэл», цитируя речь лорда Эвербери, сопроводил ее следующим комментарием: «Эти слова принадлежат английскому аристократу, члену самого консервативного законодательного учреждения в Европе. Тем более следует к ним прислушаться. В них гораздо больше политической и экономической мудрости, чем в любом ученом трактате, написанном на эту тему. В словах лорда Эвербери слышится предостережение. Нашим работникам военного и морского министерства есть о чем подумать!»

Американец Сидней Брукс одновременно писал в журнале «Харперс уикли»: «В Вашингтоне никто не думает о социалистах. Да оно и понятно. Ведь наши политики всегда последними узнают о том, что делается у них под носом. Они смеются надо мной, когда я предрекаю и предрекаю с полной уверенностью, что на следующих президентских выборах у социалистов окажется не меньше миллиона голосов».

и определено наше отношение к войне. Не первый раз социалистам приходилось выступать против военной угрозы¹, но впервые в истории это было сделано в Соединенных Штатах. После совещания мы обратились в наш национальный комитет, и вскоре в Европу, в Бюро Интернационала, и оттуда к нам, в Америку, полетели шифрованные телеграммы.

Немецкие социал-демократы выразили готовность поддержать нас. Эта партия, насчитывавшая в своих рядах свыше пяти миллионов членов, среди которых многие служили в регулярных войсках, пользовалась большим влиянием на профсоюзы. Американские и немецкие социалисты выступили с резкими антивоенными декларациями, угрожая всеобщей забастовкой. Приготовления к ней были начаты немедленно. Кроме того, революционные партии всех стран открыто заявили о своей готовности поддержать социалистический лозунг мира всеми средствами — вплоть до восстания и революции в своей собственной стране. Мы, американские социалисты, смотрим на последовавшую за этим всеобщую забастовку как на величайшую нашу победу.

4 декабря правительство Соединенных Штатов отозвало из Берлина своего посла. В ту же ночь немецкая эскадра, подойдя к Гонолулу, потопила три американских крейсера и таможенный катер и обстреляла город. На следующий день Германия и США объявили друг другу войну. Социалисты обеих стран ответили на это призывом к всеобщей забастовке.

Это было первое столкновение кайзера с теми людьми, на которых держалась вся его страна. Он мог править только с их согласия. Новизна положения заключалась в

¹ В самом начале XX века хр. эры интернациональная организация социалистов сформулировала, наконец, свое отношение к войне. Вкратце ее антивоенная резолюция сводилась к тому, что «рабочим различных стран нет смысла воевать друг с другом в угоду их хозяевам, капиталистам».

21 мая 1905 года, когда между Австрией и Италией назревал военный конфликт, социалисты Италии и Австро-Венгрии, собравшись на конференцию в Триесте, угрожали, что в случае войны будет объявлена всеобщая забастовка в обеих странах. То же самое повторилось и в следующем году, когда так называемый Марокканский инцидент грозил вовлечь в войну Францию, Германию и Англию.

полнейшей пассивности восстания. Ни волнений, ни беспорядков, рабочие просто бездействовали. Но своим бездействием они сковывали правительству руки. Кайзер только и ждал случая, чтобы спустить на восставших рабочих свою свору кровавых псов,— но не тут-то было. Он не мог мобилизовать армию и начать войну, ни даже покарать непокорных подданных. Во всей его империи не двигалось ни одно колесо. Поезда стояли, телеграф безмолвствовал,— телеграфисты и железнодорожники бросили работу вместе со всем прочим населением.

То же самое происходило в Соединенных Штатах. Наконец-то организованный американский пролетариат сделал правильный вывод из полученных им суровых уроков. Потерпев поражение в экономической борьбе, он примкнул к политической борьбе и пошел за социалистами,— ибо всеобщая забастовка носила политический характер. Пролетариат был так основательно побит, что ему нечего было терять: им владела решимость отчаяния. Рабочие, побросав инструменты, миллионами покидали фабрики и расходились по домам. Повсюду на первом месте были механики. Их раны еще кровоточили, их организации были разгромлены, но они без колебаний присоединялись к забастовке, увлекая за собой своих верных союзников, металлистов.

Чернорабочие и неорганизованные массы трудящихся тоже присоединились к забастовщикам. Забастовка сковала все в стране. Особенно непримиримо были настроены женщины. Они грудью стали за мир, они не желали отпускать своих мужчин на бессмысленную гибель. Идея всеобщей забастовки была популярна, она всем пришлась по вкусу, она восхищала народ, удовлетворяя присущее ему чувство юмора. Она пленяла воображение. Даже школьники бастовали, не желали отставать от взрослых, и учителя, наведывавшиеся в школу, бежали из гулких, пустынных классов. Всеобщая забастовка приобрела характер всенародного гулянья. Столь очевидное торжество рабочей солидарности возбуждало в народе ликование. К тому же этот взрыв могучего веселья, казалось, не таил в себе никакой опасности. Попробуй, накажи кого-нибудь, когда все одинаково виноваты!

Жизнь в Соединенных Штатах остановилась. Никто не знал, что творится в мире. Не было ни газет, ни писем,

ни официальных телеграмм. Каждая община, каждая населенная местность была так изолирована, словно непроходимые дебри, простираясь на тысячи миль, отделяли их от внешнего мира. Все кругом, казалось, перестало существовать. И такое состояние страна переживала целую неделю.

В Сан-Франциско не знали, что творится в Окленде или Беркли, по ту сторону залива. Это рождало странное, гнетущее чувство, словно вы присутствовали при издыхании какого-то исполинского космического существа. Пульс страны перестал биться. Нация, в полном смысле слова, умерла. На улице — ни гроыхания подвод, ни фабричных гудков, ни жужжания проводов, ни трамвайного дребезжания, ни крика газетчиков... Лишь изредка боязливой тенью мелькнет случайный прохожий, подавленный своей нереальностью на фоне мертвой тишины.

Эта неделя тишины многому научила олигархию, и она хорошо усвоила преподанный ей урок. Всеобщая стачка была для нее предостережением. Больше это не должно было повториться. Олигархия намерена была в будущем позаботиться об этом.

По истечении недели, как и было решено заранее, немецкие и американские телеграфисты вернулись к своим аппаратам, и социалистические лидеры обеих стран предъявили своим правительствам ультиматум: конец войне или продолжение всеобщей забастовки. Переговоры тянулись недолго. Обе стороны заявили о ликвидации военного конфликта, и население вернулось к обычным занятиям.

Возобновление мирных отношений положило начало союзу между Германией и США. В сущности это был союз между кайзером и олигархией против их общего врага — революционного пролетариата обеих стран. Но когда впоследствии немецкие рабочие восстали и сбросили кайзера, олигархия вероломно отказалась от своих обязательств союзной державы. Американским олигархам был на руку уход с мирового рынка их ненавистного конкурента, они только этого и добивались. С падением империи Германия не была больше заинтересована в вывозе своих товаров. Создав у себя социалистическое государство, германский народ отныне мог сам потреблять все, что он производил. Разумеется, это не мешало ему обменивать некоторые свои товары на такое заграничное сырье или

изделия, в которых он нуждался. Но между подобным обменом и вывозом товарных излишков нет ничего общего.

— Держу пари, что олигархия опять окажется права,— сказал Эрнест, когда об этом ее вероломстве стало известно.— Она уж найдет себе оправдание.

И действительно, олигархия не замедлила разблагоевствовать, что в своем решении она руководилась кровными интересами американского народа. Разве Америка не избавилась от ненавистного конкурента на мировом рынке? Теперь никто не помешает ей сбывать свои излишки за границу.

— Самое страшное — это наше бессилие,— говорил Эрнест.— Мы фактически передоверили этим кретинам интересы нации. Мы, видите ли, будем теперь больше вывозить за границу, а следовательно — меньше оставлять себе для собственного потребления!

Глава четырнадцатая

НАЧАЛО КОНЦА

Уже в январе 1913 года Эрнест видел, куда ведет ход истории, но он был не в силах открыть глаза своим соратникам на ту опасность, которая рисовалась ему грозным призраком Железной пяты. Ничто не могло поколебать их благодушного спокойствия. События развивались слишком стремительно,—они не поспевали за ними.

Все в мире перевернулось. Американские олигархи почти единовластно хозяйничали на мировом рынке, вытеснив оттуда десятки стран, которые теперь не знали, как распорядиться со своими товарными излишками. Этим странам оставалось одно — в корне перестроить свое хозяйство. Система прибылей завела их в тупик. Капиталистический способ производства, по крайней мере на их опыте, обнаружил свою полную несостоятельность.

Перестройка в этих странах вылилась в революцию. Повсюду царили хаос и насилие. Рушились правительства, низвергались вековые устои. Капиталисты за исключением двух-трех стран оказывали повсюду отчаянное сопротивление, но воинствующий пролетариат отнял у них власть. Наконец-то сбылось гениальное предсказание

Карла Маркса: «Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют». А по мере низвержения капиталистических правительств на их месте возникали правительства народного сотрудничества.

«Почему отстают Соединенные Штаты?» — «Пошевеливайтесь, американские революционеры!» — «Что такое с Америкой?» — спрашивали наши товарищи в тех странах, где революция победила. Но мы безнадежно плелись в хвосте. Олигархия давила на нас. Она, подобно гигантскому чудовищу, всей своей тяжестью преграждала нам путь.

— Погодите, вот весной займем свои места в правительстве, — отвечали мы. — Тогда увидите.

Дело в том, что у нас был свой секрет: нам удалось договориться с фермерской партией. В результате прошедших выборов фермерам предстояло этой весной получить руководящие посты в двенадцати штатах, а это значило, что в двенадцати штатах придут к власти правительства народного сотрудничества. Остальное нам представлялось уже сравнительно легким.

— А что если ваших фермеров спустят с лестницы? — спрашивал Эрнест, но товарищи называли его маловером и нытиком.

Эрнеста беспокоили не только возможные неудачи фермеров. Он боялся измены со стороны ведущих профсоюзов и возникновения замкнутых каст среди рабочих.

— Гент научил олигархов, как это делается, — говорил Эрнест. — Не сомневаюсь, что они составили себе памятку по его книге «Благодетельный феодализм»¹.

Никогда не забуду я вечер, когда Эрнест, в пылу спора с несколькими профсоюзными вожаками, повернулся ко мне и сказал вполголоса:

— Ну, значит, пиши пропало! Железная пята победила. Дело идет к развязке.

¹ Книга У. Дж. Гента «Наш благодетельный феодализм» вышла в 1902 году хр. эры. В литературе надолго установилось мнение, будто крупные капиталисты почерпнули из этой книги идею олигархии. Взгляд этот упорно держался в течение всех трех веков существования Железной пяты и даже в течение первого века эры Братства людей. В настоящее время, когда нелепость этого утверждения очевидна, нам остается только посочувствовать Генту, на которого история возвела такой поклеп.

Это небольшое собрание у нас дома не носило официального характера. Эрнесту и его товарищам важно было удостовериться, призовут ли рабочие лидеры своих людей к всеобщей забастовке, если в этом снова появится необходимость. О'Коннор, председатель союза механиков, первым забил отбой.

— Мало, что ли, вас колотили? — спрашивал Эрнест. — Или вам еще не надоела ваша тактика экономических стачек и бойкотов?

Его собеседники молчаливо кивнули головой в знак согласия.

— Ведь вы видели, чего можно добиться всеобщей стачкой, — продолжал Эрнест. — Разве мы не сорвали им войну с Германией? Никогда еще не видал мир такой демонстрации солидарности и могущества рабочих. Пролетариат может править миром — и он будет им править! Вместе с вами мы положим конец царству капитализма. Это ваша единственная надежда, и вы сами это знаете. У рабочих нет и не может быть другого пути. Как вы там ни вертитесь, а ваша старая тактика обрекает вас на поражение, хотя бы уже потому, что суд в руках у капиталистов¹.

¹ Вот несколько характерных судебных постановлений того времени. В каменноугольных районах широко применялся детский труд. В 1905 году хр. эры рабочим организациям штата Пенсильвания удалось добиться закона, требующего от детей при поступлении на работу, помимо клятвенного заверения родителей, также и официальной справки о возрасте и образовании. Закон этот был объявлен судом города Люцерна неконституционным: он якобы нарушает 14-ю поправку к конституции, ибо проводит дискриминацию между лицами одной категории, — в данном случае между детьми, которым исполнилось четырнадцать лет, и детьми, не достигшими этого возраста. Суд штата подтвердил это решение.

Специальная сессия нью-йоркского суда в 1905 году хр. эры объявила неконституционным закон, воспрещающий детям и женщинам работу на фабрике после десяти часов вечера — на том основании, что закон этот носит «классовый характер».

В крайне неблагоприятных условиях работали пекари. Наконец, нью-йоркским законодательным собранием был издан закон, ограничивающий работу в пекарнях десятью часами. Верховный суд Соединенных Штатов в 1905 году признал этот закон не соответствующим конституции. В решении суда, между прочим, говорилось: «Сокращение рабочего дня пекарей является недопустимым вмешательством в право каждого лица на свободное заключение договоров, тем более что никакого основания для такого вмешательства нет».

— Не горячись,— отвечал ему О'Коннор.— Свет не клином сошелся. Есть и другие пути. Мы знаем, что делаем. Забастовками мы и сами сыты по горло. Нас так исколошматили, что живого места не осталось. Но я думаю, что нам уже больше не придется призывать своих людей к забастовке.

— Какой же это у вас новый путь? — спросил его Эрнест в упор.

О'Коннор рассмеялся и покачал головой.

— Что ж, если хочешь знать, мы это время не дремали. И сейчас не во сне разговариваем.

— Вы что же, боитесь сказать? Или вам стыдно стало? — спросил Эрнест с вызовом.

— А ты нас не учи. В своих делах мы сами как-нибудь разберемся,— последовал ответ.

— Дела-то у вас, видно, темные. Что-то вы все прячетесь, как я посмотрю,— сказал Эрнест с нарастающим гневом.

— Кто-кто, а уж мы не жалели ни пота своего, ни крови,— последовал ответ.— Пора нам и вздохнуть. Пора и о себе подумать.

— Если ты боишься сказать, какой у вас выискался новый путь, так я сам скажу тебе,— ответил Эрнест. Он уже не скрывал своего гнева.— Вы занялись шкурничеством. С капиталистами договариваетесь, вот вы что делаете. Вы продали интересы рабочего класса, всего рабочего класса в целом. Трусые и дезертиры, вот вы кто!

— Я тебе не обязан докладывать,— хмуро отвечал О'Коннор.— А только, думается, нам видней, что для нас хорошо, а что плохо.

— А что хорошо и что плохо для рабочего класса, на это вы плюете? Вам все равно, что вы ему яму роете?

— Я тебе не обязан докладывать,— повторил О'Коннор.— А только ты учти, что я председатель союза механиков и что моя обязанность в первую голову заботиться об интересах тех, кто оказал мне доверие. Вот и все.

Когда наши гости ушли, Эрнест со спокойствием отчаяния нарисовал мне, как, по его мнению, развернутся дальше события.

— Наши учителя, воодушевленные горячей надеждой, предсказывали, что настанет время, когда организован-

ный пролетариат, изверившись в экономической борьбе, перенесет всю свою инициативу в область борьбы политической. Так оно и случилось. После того как Железная пята нанесла профсоюзам ряд тяжелых поражений, они переменили род оружия и вышли на арену политической борьбы. Но вместо того, чтобы окрылить нас надеждой, это грозит нам новыми разочарованиями. Всеобщая забастовка показала нашу силу. Для Железной пяты этот урок не прошел даром. Вот она и приняла меры к тому, чтобы это никогда больше не повторилось.

— Но какие меры? — спросила я.

— Очень простые. Она подкупила влиятельные профсоюзы. В следующий раз они откажутся бастовать. А это значит, что у нас больше не будет всеобщей стачки.

— Но ведь для Железной пяты это окажется слишком дорогим удовольствием. Надолго ли ее хватит.

— Им не придется подкупать все профсоюзы. Они ограничатся немногими. Вот, примерно, что произойдет. Сокращение рабочего дня и увеличение заработной платы будет проведено у железнодорожников, механиков, токарей, литейщиков и других квалифицированных рабочих металлургической промышленности. Эти союзы будут поставлены в привилегированные условия. Стать членом такого союза будет все равно, что получить пропуск в рай.

— Как же так? — недоумевала я. — А другие профсоюзы? Ведь огромное большинство не входит в эту группу.

— Другие союзы все до одного будут стерты с лица земли. Разве ты не понимаешь? Железнодорожники, механики, токари, рабочие стальной и чугунолитейной промышленности — это те, кто в наш век машин выполняют работу первейшей важности. Заручившись их преданностью, Железная пята может не церемониться с остальными. Железо, сталь, уголь, машины и транспорт — основа промышленности.

— А горняки? — спросила я. — У нас около миллиона углекопов.

— Это неквалифицированные рабочие. С ними не считаются. Их так взнуздают, что они света божьего

не взвидят. Они будут такими же рабами, как и все мы, но только их окончательно втопчут в грязь. Они обречены на такой же подневольный труд, как и ограбленные капиталистами фермеры. От всех союзов, не принадлежащих к избранной группе, не останется и следа, и рабочие поневоле полезут в петлю, когда их доймают нужда и голод.

А знаешь, чем займется Фарли¹ и его штрейкбрехеры? Сейчас скажу тебе. Штрейкбрехерство как профессия отомрет. Никаких стачек больше не будет, их заменят бунты рабов. Фарли со своей бандой получит повышение. Их произведут в надсмотрщики над рабами. Конечно, так именовать их никто не станет. Они будут считаться блюстителями закона — закона о подневольном труде. Предательство влиятельных союзов далеко отбросит нас назад. Одному богу известно, когда и где теперь можно рассчитывать на победу революции.

— А разве при таком мощном блоке, как олигархия и привилегированные союзы, можно еще рассчитывать на победу революции? — спросила я. — Что если этот блок окажется непобедимым?

Эрнест покачал головой.

— Одно из наших основных положений состоит в том, что всякое общество, разделяющееся на классы, несет в себе зачатки собственного разложения. Там, где существуют классы, неизбежно возникают привилегированные касты. Это-то и приведет Железную пята к гибели. Сами олигархии уже представляют собой такую замкнутую касту. Но в касты превратятся в конце концов и привилегированные профсоюзы. Железная пята попытается с этим бороться, но ничего у нее не выйдет.

В избранных союзах сейчас цвет американского рабочего класса. Это энергичные, одаренные люди. Они про-

¹ Джемс Фарли заслужил в свое время печальную известность как вожак штрейкбрехеров. Беспринципный авантюрист, не лишенный мужества и кое-каких способностей, он во времена Железной пяты был удостоен почестей и наград, а со временем даже сопричислен к лику олигархов. В 1932 году его настигла месть Сарры Дженкинс, муж которой за тридцать лет до этого был убит штрейкбрехерами из организации Фарли.

ники в эти союзы в результате известного отбора. Но теперь всякий честолюбивый американский рабочий захочет попасть в один из привилегированных союзов. Олигархия будет поощрять это стремление и поддерживать конкуренцию. Ведь таким образом сильные люди, которые могли бы стать революционерами, будут переходить на сторону олигархии, содействуя ее укреплению.

С другой стороны, члены избранных профсоюзов постараются превратить свои организации в замкнутые касты. И они преуспеют в этом. Право стать членом союза превратится в узко семейную прерогативу. Сыновья будут наследовать отцам, прекратится приток живых сил из того неисчерпаемого резервуара, каким является простой народ. Это поведет к вырождению рабочих каст и постепенному их ослаблению. Вместе с тем как корпорация они некоторое время будут всеильны. Они станут чем-то вроде преторианцев, когда-то охранявших дворец римского императора. Затем наступит период дворцовых переворотов, когда рабочие касты будут временно приходить к власти. Олигархии ответят на это контрпереворотами, и некоторое время власть будет переходить из рук в руки. Между тем будет продолжаться вырождение каст, и в конце концов народ восторжествует.

Эту схему постепенного социального развития Эрнест набросал, находясь в крайне подавленном душевном состоянии, под впечатлением измены профсоюзов. Я никогда не была с ней согласна и в особенности не согласна теперь, когда пишу эти строки. Ведь именно сейчас, хотя Эрнеста уже нет с нами, мы стоим на пороге революции, которая покончит со всеми олигархиями в мире. Теорию Эрнеста я привожу здесь только потому, что это его теория. Не надо, однако, забывать, что сам создатель этой теории боролся против нее, как титан. Больше чем кто-либо он содействовал подготовке той революции, которая только ждет сигнала, чтобы разразиться¹.

¹ Нельзя не удивляться необыкновенной прозорливости Эвергарда. Так же ясно, как будто глядя в прошлое, предвидел он отпадение ведущих профсоюзов, усиление и постепенное разложение рабочих каст и борьбу за государственную власть между ними и разлагающейся олигархией.

— Но если олигархия еще долго просуществует,— спросила я Эрнеста в тот вечер,— что станет она делать с огромными прибылями, которые будут плыть в ее карманы?

— Они не залежатся,— отвечал Эрнест.— Не беспокойся, олигархи найдут им применение. Будут сооружены великолепные дороги. Начнется небывалый расцвет наук и искусств. Когда олигархи приведут народ к полному послушанию, у них появятся и другие цели и интересы. Они станут покровителями искусств, поклонниками красоты. Деньги потекут рекой, и художники будут трудиться, поощряемые столь щедрым вниманием. Возникнут великие творения, так как искусство не будет больше стеснено мещанскими вкусами буржуа. Повторяю, родится монументальное искусство. Будут построены чудогорода, по сравнению с которыми наше современное градостроительство покажется жалким и безвкусным. И в этих городах будут жить олигархи и поклоняться красоте¹.

Таким образом, прибылям олигархов будет найдено применение, в то время как вся черная работа падет на плечи рабочих. Строительство грандиозных городов и сооружений даст нищенское пропитание миллионам черно-рабочих и строителей. Чудовищные прибыли потребуют чудовищных вкладов и затрат, и сооружения олигархов будут рассчитаны на тысячелетия, а может быть, и на десятки тысяч лет. Их будут строить так, как древнему Вавилону и Египту и не снилось, а когда олигархи падут, их великолепные сооружения достанутся Братству труда, и народ будет пользоваться их дорогами и селиться в их городах².

¹ Еще одно поразительное свидетельство прозорливости Эвергарда. Он предвидел создание таких городов, как Ардис и Эсгард, задолго до того, как подобные планы возникли у олигархии.

² Со времени этого предсказания прошло три века владычества Железной пяты и четыре века эры Братства людей, а мы все еще пользуемся дорогами и живем в городах, воздвигнутых при олигархии. Правда, мы теперь строим еще более прекрасные города, но города олигархов стоят и поныне, и я пишу эти строки в Ардисе, самом великолепном из них.

Все это олигархи будут вынуждены делать. Грандиозное строительство станет для них неизбежной формой помещения их прибылей; точно так же правящие классы Египта вкладывали богатства, награбленные у трудового народа, в строительство храмов и пирамид. Но благоденствовать при олигархах будут не жрецы, а художники. Место привилегированного торгового сословия займут рабочие касты. А под их ногами, в черной ямине, будет копошиться, голодать и гнить заживо, неизменно возрождаясь к новой жизни, трудовой народ, огромное большинство населения. Но настанет некий еще неведомый нам день, и народ выйдет из черной ямины. Рабочие касты и олигархия падут. И тогда, наконец, после многовековой борьбы настанет день простого человека. Я мечтал увидеть этот день, но теперь знаю, что не увижу.

Эрнест остановился, посмотрел на меня и прибавил:

— Социальное развитие — это убийственно затяжная штука. Не правда ли, дружок?

Я обняла его, прижала его голову к груди.

— Спой мне песню, родная, — попросил он по-детски жалобно. — Мне приснился дурной сон, и я хочу забыть его.

Глава пятнадцатая

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

К концу января 1913 года сведения о новом положении ведущих профсоюзов, созданном для них олигархией, просочились в печать. Газеты сообщали о неслыханном повышении заработной платы и сокращении рабочего дня для определенной категории рабочих стальной и чугунолитейной промышленности, для железнодорожников, механиков, токарей и так далее. Однако всей правды олигархи не решались открыть. На самом деле заработная плата поднялась еще больше, а соответственно возросли и другие привилегии. Но шила в мешке не утаишь. Счастливики рассказали о своей удаче женам, те разнесли эту весть по знакомым, и вскоре о совершившемся предательстве узнал весь рабочий мир.

Новый маневр олигархов логически вытекал из той практики, которая в XIX веке получила название «участия в грабеже». В нескончаемых промышленных войнах того времени капиталисты пытались умиротворить рабочих, заинтересовав их в своих прибылях. Но превращать это в систему было бы чистейшим абсурдом и не достигало бы цели. В условиях ожесточенной экономической борьбы участие рабочих в прибылях оправдывало себя лишь применительно к отдельным случаям. Распространение этой льготы на всех не давало бы капиталистам никаких преимуществ.

Впоследствии из неоправдавшей себя системы участия в прибылях возникла система «участия в грабеже». Привилегированные союзы выдвинули лозунг: «Платите нам больше и берите лишнее с потребителя». Кое-где эта шкурническая система получила применение и привилась. Но брать лишнее с потребителя — значило брать лишнее в первую очередь с огромной массы неорганизованных рабочих и членов рядовых союзов, они-то и вынуждены были выплачивать прибавку своим более счастливым собратьям, членам союзов-монополистов. Эта система, повторяю, доведенная до своего логического завершения, и была применена в широком масштабе при создании блока между олигархами и привилегированными союзами¹.

Как только предательство было обнаружено, среди рабочих поднялся ропот. Вскоре отпавшие союзы заявили о своем выходе из интернациональных рабочих организаций. Тогда начались расправы и беспорядки. Месть

¹ В блок с олигархией вступили все союзы железнодорожников. Небезинтересно отметить, что одной из первых рабочих организаций, практиковавших в XIX веке такое «участие в грабеже», было «Братство паровозных машинистов». «Великим вождем» этого братства в течение двадцати лет был П. М. Артур. После стачки на Пенсильванской железной дороге в 1877 году он предложил компании такие условия, которые ставили данный союз в исключительно благоприятное положение по сравнению с другими рабочими организациями. В ознаменование этой неблагоприятной, хотя и чрезвычайно выгодной сделки и для обозначения шкурнической политики профсоюзов возник новый термин — «артуризация». Происхождение этого слова, долго остававшегося загадкой для наших языковедов, впервые получает, таким образом, удовлетворительное объяснение.

рабочих, возмущенных подлой изменой своих бывших товарищей, настигала их в кабаках и публичных домах, на работе и дома.

Было много жертв, среди них немало и убитых. Ни один из членов союза, предавшегося олигархии, не мог чувствовать себя в безопасности. Направляясь на работу и расходясь по домам, они предпочитали собираться толпами и идти посередине мостовой. Смелчаку, отважившемуся пойти по тротуару, мог свалиться на голову кирпич или булыжник, брошенный из окна или с крыши. Фаворитам было разрешено носить оружие; власти всегда и во всем оказывали им содействие. Их преследователей бросали в тюрьмы, где с ними обращались, как со скотом. Никому, кроме членов привилегированных союзов, не разрешалось иметь при себе оружие и за нарушение этого правила налагались жестокие кары.

Но гнев рабочих не утихал, расправы с предателями не прекращались. Соответственно с этим все резче обозначалось кастовое размежевание. Рабочая детвора преследовала детей из лагеря фаворитов, и тем уже нельзя было показываться на улице и посещать школу. Такому же остракизму подвергались жены и семьи предателей, и даже лавочникам, отпускавшим им провизию, объявлялся бойкот.

Преследуемые общей ненавистью, изменники и их близкие все больше замыкались в своей среде. Из рабочих кварталов, где жизнь становилась для них невыносимой, они переселялись в новые отведенные им районы. Олигархи всячески шли навстречу своим фаворитам. Для них были выстроены новые дома со светлыми и удобными квартирами и просторными дворами, для них разбивались парки и скверы, устраивались спортивные площадки. Дети их посещали особые школы, где большое внимание уделялось технике и ручному труду. Так, на основе внутреннего расслоения пролетариата, вырастала кастовая обособленность. Члены привилегированных союзов становились рабочей аристократией. Теперь они решительно во всем отличались от пролетарских масс. Они жили в благоустроенных домах, хорошо одевались и питались, с ними и разговаривали по-иному. Словом, предательство их было вознаграждено с лихвой.

Зато остальным рабочим жилось все хуже. Их заработок падал, жизненный уровень снижался: постепенно, одну за другой теряли они свои исконные мелкие права. Их школы пустели. Обязательное обучение было постепенно отменено, и число неграмотных увеличивалось с ужасающей быстротой.

Захват американцами внешних рынков привел в смятение весь остальной мир. Повсюду низвергались правительства, рушились старые устои и общество перестраивалось. В Германии, Италии и Франции, в Австралии и Новой Зеландии были созданы правительства народного сотрудничества. Британская империя распадалась; у английского правительства было хлопот по горло — поднялись народы Индии. В Азии раздавался клич: «Азия для азиатов!» Этот лозунг был выкинут Японией, натравливавшей желтокожие и темнокожие народы против белой расы. Стремясь к владычеству на континенте, Япония подавила у себя пролетарскую революцию. В стране шла открытая война классов — кули против самураев, и социалистов-кули казнили десятками тысяч. В одном только Токио было сорок тысяч убитых; люди гибли в уличных боях. Особенно больших жертв стоил неудавшийся штурм дворца микадо. В Кобе была организована бойня: восставших ткачей косили пулеметами; эта расправа получила печальную известность как классический пример массового истребления мирных жителей силой оружия. В результате гражданской войны в Японии утвердилась олигархия, правившая с неслыханной жестокостью. Японцы подчинили себе Восток и завладели всеми восточными рынками, за исключением одной только Индии.

Англии удалось подавить у себя пролетарскую революцию и удержать под своим скипетром народы Индии. Но это потребовало от нее всех ее сил, и ей пришлось распрощаться с остальными заморскими владениями. В Австралии и Новой Зеландии социалистами были созданы правительства народного сотрудничества. Отделилась и Канада, но здесь социалистическая революция была раздавлена при содействии Железной пяты. Точно так же и в Мексике и на Кубе Железная пята помогла раздавить восстание. Таким образом, Железная пята

утвердилась в Америке, спаяв в единое целое всю северную ее половину, от Панамского канала до Ледовитого океана.

Как уже сказано, Англии — ценой потери всех колоний — удалось удержать Индию. Но это было лишь временной отсрочкой. Борьба Японии и всей Азии за Индию только откладывалась на неопределенный срок. Англии предстояло вскоре потерять Индию, а в перспективе вставала война между объединившейся Азией и остальным миром.

В то время как весь земной шар сотрясали войны и революции, мы в Соединенных Штатах тоже не знали спокойствия и мира. Измена ведущих профсоюзов парализовала нашу, пролетарскую, революцию, но повсюду происходили мятежи и беспорядки. К рабочим волнениям, к ропоту фермеров и доживавших свой век остатков среднего класса присоединилось вспыхнувшее с необычайной силой религиозное движение, причем на первый план выдвинулась одна из сект «адвентистов седьмого дня», предсказывавшая близкий конец мира.

— Черт бы побрал всю эту кутерьму! — негодовал Эрнест. — Какая может быть солидарность при всем этом разладе и разброде!

И действительно, религиозный фанатизм получил небывалое распространение. Измученные, затравленные люди, изверившиеся в целях земного существования, мечтали о небесах, куда капиталистическим тиранам было бы так же трудно попасть, как верблюду пролезть в игольное ушко. Бродячие проповедники с глубоко запавшими горящими глазами наводнили всю страну. Их проповеди под открытым небом, привлекавшие толпы слушателей, раздували религиозное безумие, и никакие запрещения и кары не в силах были потушить этот пожар.

Наступают последние дни мира, утверждали они, начало конца. Четыре апокалиптических ветра ниспосланы на землю. Господь посеял вражду между народами. Это была пора видений и чудес, повсюду появлялись провидцы и прорицательницы. Сотни тысяч людей бросали работу и бежали в горы, чтобы там дожидаться второго пришествия, когда сто сорок четыре тысячи праведников будут восхищены на небеса. Но господь все мешкал,

а между тем тысячи людей умирали с голоду. С отчаяния многие принялись шарить по окрестным фермам; анархия и беспорядок, охватившие всю страну, еще усиливали бедствия обездоленных фермеров.

Однако фермы и житницы принадлежали Железной пяте. Целые армии были двинуты против фанатиков, и солдаты штыками загоняли беглецов обратно в город, возвращая их к обычным занятиям. Но там они присоединялись к то и дело вспыхивавшим бунтам и восстаниям. Вожаков казнили и сажали в сумасшедший дом, но на казнь они шли, как на праздник. Это была пора всеобщего безумия. Эпидемия распространялась с быстротой пожара. На болотах, в пустынях, на затерянных пустошах от Флориды до Аляски уцелевшие еще кое-где племена индейцев предавались ночным бдениям и магическим пляскам в ожидании пришествия своего собственного мессии.

И над всем этим смятением с ужасающей уверенностью и спокойствием царил олигархия, это чудище веков. Железною пятою она растоптала бунтарей, железною рукою взнуздавала восставшие многомиллионные массы, из хаоса сотворила порядок и воздвигла свою собственную твердыню, в самом хаосе почерпнув ее основу и строй.

— Погодите, вот мы придем к власти,— говорили наши фермеры; Кэлвин говорил это у нас на Пелл-стрит.— Посмотрите, в скольких штатах мы получили большинство! Если вы, социалисты, поддержите нас, мы призовем эту публику к порядку.

— Миллионы недовольных, обездоленных людей идут к нам,— говорили социалисты.— С нами теперь и фермеры, и средний класс, и сельскохозяйственные рабочие. Час капитализма пробил. Еще месяц, и пятьдесят наших представителей войдут в конгресс, а через два года в наших руках будут все административные посты, от президента до городского собачника.

Эрнест слушал все это и качал головой.

— Скажите лучше,— говорил он,— много ли у вас винтовок? А как вы обеспечите себя патронами? Когда в воздухе запахнет порохом, помните, что химические соединения лучше механических. Они надежнее.

Когда нам с Эрнестом пришла пора отправляться в Вашингтон, папа отказался ехать, так увлекло его изучение жизни пролетариата. Наши трудобы представлялись ему огромной лабораторией, и он с головой ушел в исследование, которому, казалось, не предвиделось конца. Найдя себе друзей среди простых рабочих, он сделался у них в доме своим человеком. Он и сам охотно брался за случайную работу, поскольку она служила ему забавой и расширяла круг его наблюдений, и в эти дни возвращался домой особенно оживленный, с целым ворохом записей и смешных рассказов. Это был ученый в подлинном смысле слова.

Папины трудовые подвиги были чистейшим любительством, так как заработка Эрнеста хватало на всю нашу небольшую семью. Но невозможно было отговорить его от этой увлекательной игры, которая, кстати сказать, была игрой со многими переодеваниями, смотря по тому, за какие работы он брался. Никогда не забуду, как он явился домой, нагруженный лотком с богатейшим ассортиментом помочей, шнурков для ботинок, или же, как в бакалейной лавке, куда я зашла за покупками, он предстал передо мной в роли приказчика, отпускавшего товар. После этого я уже не удивлялась, когда он целую неделю заменял буфетчика в соседней пивной. Он работал ночным сторожем, продавал с лотка картошку, наклеивал ярлыки на консервном складе, был на посылаках в консервной фабрике, носил воду рабочим, прокладывавшим трамвайную линию, и даже записался в союз судомоек незадолго до его роспуска.

Очевидно, костюм епископа произвел на папу неотразимое впечатление, потому что он приобрел себе точно такую же рубашку поденщика и комбинезон, перехваченный у пояса ремешком. Но одному обычаю папа все же остался верен: он всегда переодевался к обеду, или, как это у нас теперь называлось, к ужину.

С Эрнестом я нашла бы счастье повсюду; и то, что папа радовался изменению наших жизненных обстоятельств, довершало мое счастье.

— Я еще мальчишкой был ужасно любопытен,— говорил он.— Все мне хотелось знать, отчего да почему. Недаром я стал физиком. И до сих пор во мне живет это неугомонное любопытство, а ведь в любопытстве-то главная прелесть жизни.

Иногда он отваживался на вылазки в ту часть города, где находились театры и дорогие магазины. Здесь он продавал газеты, бегал с поручениями, как рассыльный, отворял дверцы экипажей. И вот однажды, захлопнув дверцы отъезжавшей кареты, он увидел в ней мистера Уиксона. Папа с наслаждением описал нам эту сцену.

— Уиксон вытаращил на меня глаза и только и сказал: «Какого черта!» Представляете? «Какого черта!» Покраснел до ушей и так растерялся, что забыл сунуть мне чаевые. Но, повидимому, тут же опомнился, потому что, как только его карета отъехала шагов на пятьдесят, смотрю, опять ко мне заворачивает. Уиксон высунулся в окошко.

«Послушайте, профессор,— крикнул он.— Это, знаете ли, уж слишком. Не могу ли я что-нибудь для вас сделать?»

«Я захлопнул дверцу вашей кареты,— сказал я.— С вас полагается за это десять центов».

«Бросьте дурака валять! Я в самом деле хотел бы вам помочь».

Он сказал это вполне серьезно,— очевидно, в нем на мгновение заговорила его атрофированная совесть. Я сделал вид, что размышляю.

«Пожалуй, вы могли бы вернуть мне мой дом,— предложил я ему.— А заодно и сьеррские акции».

Папа остановился.

— Ну и что же он? — не вытерпела я.— Что он тебе сказал?

— Что он мог сказать? Ничего, разумеется. Зато я сказал ему: «Ну, Уиксон, как ваше драгоценное?» Он как-то странно посмотрел на меня. А я повторил: «Хорошо вы себя чувствуете?»

Тут он приказал кучеру гнать во всю прыть и уехал, ругаясь на чем свет стоит. И мои десять центов не отдал мне, какой уж там дом и акции! Так что видишь, дорогая, карьера уличного попрошайки чревата немалыми разочарованиями.

Так папа и остался жить в нашей квартире на Пелл-стрит, когда мы с Эрнестом переехали в Вашингтон. Старая жизнь кончилась — и как вскоре выяснилось, кончилась бесповоротно.

Вопреки нашим ожиданиям, никто не помешал социалистам занять свои места в конгрессе. Все сошло благополучно. И я подсмеивалась над Эрнестом, которому даже и это благополучие внушало опасения.

Наши товарищи социалисты были преисполнены надежд. Они верили в свои силы и в предстоявшее им дело. Несколько депутатов от фермерской партии примкнули к нам, и мы выработали общую программу действий. Во всем этом Эрнест принимал самое деятельное участие, и только, бывало, нет-нет да и повторит, как будто и совсем некстати, свою излюбленную фразу: «Когда в воздухе запахнет порохом, помните, что химические соединения лучше механических. Они надежнее...»

Началось с затруднений у фермерской партии, которая в результате последних выборов завоевала руководящие посты в двенадцати штатах. Представителей ее не допустили к исполнению своих обязанностей. Упраздненные администраторы просто-напросто отказались сдавать дела. Они обжаловали выборы, и пошла обычная волокита. Фермерская партия была бессильна что-либо сделать. Последней инстанцией был суд, а в суде командовали ее враги.

Положение было критическое. Стоило нашим обманутым союзникам забить тревогу, как в стране начался бы переполох и на всех наших завоеваниях можно было бы поставить крест. Мы, социалисты, сдерживали их изо всех сил. Эрнест сутками не ложился. Руководители фермерской партии видели опасность и были всецело с нами. Но ничто не помогло. Олигархии нужны были беспорядки, и она прибегла к услугам провокаторов. Теперь можно считать установленным, что так называемое Крестьянское восстание было грандиозной провокацией.

Восстание вспыхнуло в двенадцати штатах, власть там захватили экспроприированные фермеры. Разумеется, это было противозаконно, и правительство двинуло на мятежников свои войска. Повсюду шныряли провокаторы, вызывая народ на эксцессы. Агенты

Железной пяты скрывались под маской фермеров, ремесленников и сельскохозяйственных рабочих. В столице Калифорнии, Сакраменто, фермерской партии удалось сохранить порядок. И вот тысячи тайных агентов были направлены в этот город. Шатаясь по улицам толпами, они палили в окна и грабили магазины и фабрики, втягивая в свои бесчинства городскую чернь, которую усиленно спаивали. Когда же все было подготовлено, в город нагрянули правительственные войска, вернее — войска Железной пяты, и началась кровавая расправа. На улицах Сакраменто и в домах было перебито одиннадцать тысяч жителей. Власть в штате захватило федеральное правительство, и судьба Калифорнии была решена.

То же самое повторилось в каждом из двенадцати штатов, отдавших голоса фермерской партии. Повсюду свирепствовало насилие и кровь лилась рекой. Сначала тайными агентами и черными сотнями провоцировались беспорядки, а затем появлялись войска. По всей сельской Америке буйствовали и бесчинствовали толпы громил. Над горящими городами и селами, над усадьбами и амбарами день и ночь стояли столбы дыма. В ход пошел и динамит. Какие-то неизвестные взрывали железнодорожные туннели и мосты и пускали под откос поезда. Фермеров вешали и расстреливали без числа. Народ восставал против своих мучителей, и множество офицеров и плутократов пало жертвой террористических актов. Злоба и ненависть владели людьми. Солдаты расправлялись с фермерами, словно с враждебными индейскими племенами, — и не даром: в штате Орегон две тысячи восьмисот солдат были уничтожены взрывами страшной силы, следовавшими один за другим. Многие погибали в железнодорожных катастрофах. Солдаты в не меньшей мере чем фермеры дрались за свою жизнь.

Что касается национальной гвардии, то был приведен в действие закон 1903 года, и рабочие одного штата должны были под страхом смерти стрелять в рабочих другого штата, своих товарищей. Закон этот на первых порах вызвал сопротивление. Немало офицеров национальной гвардии было убито из-за угла, немало рядовых подверглось расстрелу по приговору военно-полевых судов. То, что в свое время предсказывал Эрнест, нашло

разительное подтверждение в судьбе мистеров Асмунсена и Коуолта. Оба они были призваны в национальную гвардию и направлены с карательным отрядом из Калифорнии в штат Миссури. Мистер Асмунсен и мистер Коуолт отказались выполнить распоряжение командования. Расправа с ними была короткая. Военно-полевой суд приговорил смельчаков к расстрелу, и приговор был приведен в исполнение солдатами, которые стреляли им в спину.

Немало молодых людей бежало от мобилизации в горы. Их объявили вне закона, но особенно не тревожили до тех пор, пока в стране не наступило сравнительное успокоение. Но тут были приняты крутые меры. Правительство обратилось к беглецам с предложением явиться с повинной, для чего был дан трехмесячный срок. По истечении этого срока в горные округа было направлено до полумиллиона солдат с приказом выловить дезертиров. Расправлялись без суда и следствия, пристреливая людей на месте. Каратели действовали согласно инструкции, по которой все скрывавшиеся в горах считались злостными дезертирами, и всякий был волен в их жизни и смерти. Кое-где в защищенных местах отдельные отряды мужественно сопротивлялись, но в конце концов их выловили всех до единого и предали смерти.

Еще более внушительный урок был дан населению на примере расправы с канзасской национальной гвардией. Великое Канзасское восстание вспыхнуло в самом начале военного похода против фермеров. Вzbунтовалось шесть тысяч национальных гвардейцев. Частям этим не доверяли и, ввиду царившей в них угрюмой озлобленности, держали их на лагерном положении. К открытому мятежу они перешли, разумеется, не без пособничества провокаторов.

В ночь на 22 апреля гвардейцы восстали и перебили своих офицеров, только немногим удалось скрыться. Убийство командного состава, разумеется, не входило в планы Железной пяты,— агенты на сей раз перестарались. Однако Железной пяте и это пошло на пользу. К репрессиям подготовились заранее, а убийство офицеров давало достаточный для них повод. Сорок тысяч солдат внезапно окружили мятежников. Злополучные гвардейцы попали в ловушку. Слишком поздно хватились они, что из их пулеметов вынуты замки, а патроны не подходят

к винтовкам. Они выкинули белый флаг, но никто не обратил на это внимания. Враг не знал пощады. Все шесть тысяч человек полегли на месте. Сначала по ним били гранатами и шрапнелью, а затем, когда отчаяние подняло их в атаку, косили пулеметным огнем. По словам очевидцев, ни один гвардеец не успел подбежать к неприятельским цепям ближе, чем на полтора-два метра. Земля была усеяна трупами. Заключительная атака кавалеристов добила раненых, а тех, кого не прикончили сабля или пуля, растоптали конские копыта.

Не успело закончиться усмирение фермеров, как восстали горняки. Это была последняя вспышка борьбы организованного пролетариата. Всего бастовало семьсот пятьдесят тысяч углекопов, но силы их были распылены по всей стране. Каждый угольный округ был оцеплен правительственными войсками, и с каждым расправлялись в отдельности. Это была первая грандиозная облава на невольников, и Покок¹ стяжал себе на этом славу укротителя рабов и вечную ненависть пролетариата. На него неоднократно производились покушения, но, казалось, он был заколдован. Это он ввел для горняков паспортную систему, наподобие той, которая существовала в царской России, и по его инициативе им было запрещено свободно передвигаться по стране.

Социалисты держались крепко. В то время как партия фермеров погибала в огне и крови, а профсоюзы разго-

¹ Олберт Покок, так же как и Фарли,— один из знаменитых штрейкбрехеров своего времени. Гроза горняков, он до последнего своего издыхания держал их в беспрекословном повиновении. После смерти главы семьи обязанности его унаследовал сын, Льюис Покок, и так в течение трех поколений эта примечательная династия укротителей рабов деспотически правила на угольных копях. Существует следующее описание внешности Покока-старшего, известного также под именем Покока Первого: «Длинный узкий череп, окаймленный бахромой рыжевато-седых волос, лицо скуластое, с тяжелым подбородком, щеки бледные, тусклые серые глаза, скрипучий голос, движения медлительные». Покок Первый родился в бедной семье и начал свою деятельность буфетчиком в баре. Затем поступил в трамвайную компанию частным сыщиком и постепенно специализировался по части штрейкбрехерства. Последний в роде, Покок Пятый, был убит бомбой, взорвавшейся на водокачке во время одного из малозначительных горняцких восстаний на Индейской территории в 2073 году хр. эры.

нялись, социалисты воздерживались от всяких выступлений и готовились к уходу в подполье. Напрасно наши друзья из фермерской партии взывали к нам. Мы правильно возражали им, что всякое наше вмешательство грозило бы гибелью делу революции. Железная пята, не решавшаяся сперва выступить против всего пролетариата в целом, теперь, приободренная легкой победой, только и мечтала свернуть нам шею. Но мы сохраняли полное самообладание, несмотря на усилия провокаторов, которыми кишели наши ряды. В те времена агенты Железной пяты действовали неумело — им еще только предстояло пройти серьезную школу, — и наши боевые группы вылавливали их одного за другим. Это была тягостная, грязная работа, но мы боролись за жизнь и за революцию и нам приходилось сражаться с врагом его же оружием. Все же мы придерживались справедливости. Ни один агент Железной пяты не был казнен без суда и следствия. Если и случались ошибки, то лишь как исключение. В боевые группы шли самые храбрые, самые энергичные и преданные революции товарищи. Спустя десять лет, на основании сведений, сообщенных ему начальниками боевых групп, Эрнест занялся статистикой. Оказалось, что вступавшие туда мужчины и женщины могли рассчитывать в среднем не больше, чем на пять лет жизни. Это были герои. Принципиальные противники убийства, они шли на убийство стиснув зубы, считая, что великое дело свободы требует великих жертв¹.

¹ При организации боевых групп весьма пригодился и опыт русской революции; несмотря на неустанную борьбу, которую вела с ними Железная пята, они просуществовали триста лет, до самого ее падения. Эти организации, состоявшие из мужчин и женщин, воодушевленных высокой целью и презирающих смерть, были в свое время могучей силой, сдерживавшей разнузданную жестокость правителей. Их деятельность не ограничивалась подспудной войной с агентами олигархии. Самим олигархам зачастую приходилось выслушивать приказы боевых групп и нередко платить головой за послушание, не говоря уже об их подчиненных, офицерах армии или руководителях рабочих каст.

Суд мстителей был суров, но беспристрастен и справедлив. Он не допускал скоропалительных приговоров и решений. Если обвиняемого удавалось захватить, его судили по справедливости, предоставляя ему возможность защищаться. Но, разумеется, многие дела разбирались и решались заочно, как это было, например, с генералом Лэмптоном (2138 г. хр. эры).

Мы ставили себе тройную задачу: во-первых, вылавливание подосланных к нам агентов олигархии; во-вторых, организацию боевых групп, а также и всего революционного подполья; в-третьих, засылку наших агентов во все организации олигархии, а также в армию и рабочие касты. Они проникали туда под видом секретарей и конторщиков, телеграфистов, надсмотрщиков над рабочими и провокаторов. Это была работа, требовавшая времени и сопряженная с величайшей опасностью. Все наши усилия зачастую приводили лишь к неудачам и тяжелым потерям...

Железная пята победила в открытой войне. Но мы объявили ей другую, еще неведомую, странную и страшную подпольную войну. Мы воевали в потемках, наугад, слепые со слепыми,— однако в этой борьбе был свой порядок, дисциплина, единодушие. Наши агенты проникали

Один из самых кровожадных и злобных прислужников Железной пяты, генерал Лэмптон, был извещен о том, что боевые группы судили его, признали виновным и приговорили к смерти, причем заявление это последовало после трех предупреждений, призывавших его прекратить издевательства над рабочими. Узнав о приговоре, генерал не пожалел средств для обеспечения своей безопасности. Проходили годы, а боевым группам не удавалось до него добраться. Много наших товарищей, как мужчин, так и женщин, заплатили за свои попытки мучительной смертью. Специально в защиту генерала Лэмптона была восстановлена казнь на кресте, как законная мера наказания.

В конце концов изверга покарала слабая рука хрупкой семнадцатилетней Мадлены Прованс, которая два года работала с этой целью швей у него во дворце. Мадлена умерла в одиночном заключении, после нескончаемых страшных пыток. Ныне, увековеченный в бронзе, юный образ ее украшает Пантеон Братства людей в пре-краснейшем городе Серле.

Мы, живущие в мире, не знаящем кровопролития, не должны строго судить участников боевых групп. Эти герои, не щадя себя, служили человечеству, и никакие жертвы не были им страшны. Только необходимость заставляла их проливать кровь в эпоху, когда весь мир утонул в крови. Боевые группы были мучительной занозой в теле олигархии, от которой ей так и не удалось избавиться. Эвергард считается создателем этого своеобразного воинства, успешная трехвековая борьба которого свидетельствует о том, как мудро был заложен фундамент, простоявший века. Организация боевых групп, пожалуй, величайшая заслуга Эрнеста Эвергарда, хотя, говоря так, мы отнюдь не хотим преуменьшить его значение как выдающегося теоретика революции и одного из ее вождей.

во все организации Железной пяты, а в наших организациях гнездились ее агенты. Это была война втемную, коварная и увертливая, обе стороны изощрялись в интригах и конспирации, заговорах и контрзаговорах. А за всем этим постоянной угрозой маячила смерть, жестокая, насильственная смерть. Мужчины и женщины, наши лучшие, любимейшие товарищи, исчезали без следа. Сегодня мы еще видели друзей в своих рядах, а завтра уже не досчитывались их и знали, что это навсегда, что они сложили голову в борьбе.

Нельзя было кому-либо довериться или на кого-либо положиться. Человек, который работал рядом с вами, был, возможно, агентом Железной пяты. Мы минировали ее организации своими агентами, а она своими контрминировала наши организации. И хотя мы не имели права кому-либо довериться или на кого-нибудь положиться, каждый шаг поневоле основывался на доверии. То и дело мы сталкивались с изменой. Были среди нас и слабые люди. Железная пята располагала приманками в виде денег, праздности и удовольствий, которые ждали предателей в чудо-городах. Нашей же единственной наградой было чувство удовлетворения от сознания исполненного долга. В остальном воздаянием за верность была вечная опасность, нескончаемые муки и смерть.

Повторяю, попадались среди нас и слабые люди. И за слабость мы могли отплатить им только смертью. Необходимость заставляла нас карать предателей. По следам каждого обнаруженного изменника мы немедленно направляли от одного до десяти мстителей. Иногда нам не удавалось привести в исполнение приговор над врагом, как это было, например, с Пококами; но в наказании предателей мы не имели права на неудачу. Товарищи, по нашему решению, под видом перебежчиков проникали в чудо-города и там приводили приговор в исполнение. В конце концов мы стали для предателей такой грозой, что безопаснее было верно служить нам, чем изменять.

Революция приобрела характер религиозного движения. Мы приносили жертвы на алтарь революции, на алтарь свободы. Нас сжигал ее божественный

огонь. Мужчины и женщины отдавали жизнь Великому Делу, и новорожденные младенцы посвящались ему, как некогда они посвящались богу. Мы были поклонниками Человечества.

Глава семнадцатая **ЛИВРЕЙНЫЕ ЛАКЕИ**

После усмирения фермеров их представителей больше не видали в конгрессе. Всем им было предъявлено обвинение в государственной измене, и места их заняли ставленники Железной пяты. Социалисты оказались теперь в ничтожном меньшинстве; каждый из них понимал, что конец близок. Заседания сената и палаты превратились в фарс, в пустую проформу. Там все еще обсуждались и решались какие-то вопросы, но теперь это нужно было только для того, чтобы придать повелениям олигархии видимость законности.

Когда настал неизбежный конец, Эрнест оказался в самой гуще борьбы. В конгрессе обсуждался законопроект о помощи безработным. Кризис прошлого года резко снизил жизненный уровень пролетарского населения, а охватившие страну неурядицы довершили его бедствия. Миллионы людей голодали, между тем как олигархи и их приспешники не знали, куда девать свои огромные богатства¹. Для облегчения участи этих бедня-

¹ Характерным примером того же порядка было в XIX веке владычество англичан в Индии. Коренное население вымирало от голода, гибло миллионами, для того чтобы правители, присвоив себе плоды его трудов, швыряли их на безумную роскошь и бессмысленные развлечения. Поистине нам, в наш просвещенный век, приходится краснеть за своих предков. Остается лишь смотреть на эти вещи с высоты философии. Капиталистический период в развитии человечества можно приравнять к веку обезьян. Человек, освобождаясь от грязи и мерзости низшего животного существования, вынужден был пройти через эти стадии бытия. Естественно, что мерзость и грязь надолго пристали к нему, и от них не легко было очиститься.

ков, которых мы называли «обитателями бездны»¹, социалисты внесли в конгресс законопроект о безработных. Естественно, это не нравилось Железной пяте. Она собиралась на свой лад использовать труд голодных миллионов, и участь нашего проекта была предрешена. Эрнест и его товарищи понимали, что хлопочут понапрасну, их томила, однако, неопределенность положения. Они хотели, чтобы кончилось, наконец, это напряженное ожидание, и, не видя в своей деятельности никакого проку, считали, что лучше разделаться с постыдным фарсом, в котором им приходилось быть невольными участниками. Никто из них тогда не представлял себе, каков будет этот конец,— во всяком случае он превзошел самые худшие их опасения.

В тот день я сидела на галерее, в местах для публики. Все мы были охвачены ожиданием чего-то ужасного. Угроза носилась в воздухе, мы видели ее воплощение в шеренгах солдат, заполнявших коридоры, и в офицерах, кучками толпившихся у всех выходов. Олигархи, видимо, готовили удар. Трибуну занимал Эрнест. Он говорил об ужасах безработицы с таким жаром, как будто и вправду был одержим безумной надеждой тронуть сердца своих слушателей. Но республиканцы и демократы только издевались над ним. В зале стоял невообразимый шум.

Внезапно Эрнест переменял тон и перешел в открытое наступление.

— Я знаю, что не в силах убедить вас,— сказал он.— Убедить можно только того, у кого есть ум и сердце, но не вас, бесхребетная, бездушная человеческая слякоть! Вы преважно именуете себя демократами и республикан-

¹ Выражение «обитатели бездны» принадлежит Уэллсу, писателю конца XIX века хр. эры. Уэллс часто выступал в роли социального провидца, хотя это был здоровый, нормальный человек, с нормальными человеческими чувствами. До нас дошло немало фрагментов его сочинений, а две работы — «Прозрения» и «Человеческий род в своем развитии» — сохранились целиком. Задолго до олигархов и до Эвергарда Уэллс предвидел возникновение чудо-городов, однако он называл их «городами наслаждений».

цами. Ложь все это! Нет никаких демократов и нет никаких республиканцев, и прежде всего — их нет в этом зале. Вы блюдолизы и сводники, холопы плутократии! Бия себя в грудь, вы разглагольствуете о свободе. Но кто же не видит на ваших плечах окровавленной ливреи Железной пяты?

В залах поднялись крики: «Долой!», «К порядку!», и голос Эрнеста потонул в общем реве. Он с презрительной усмешкой ждал, пока шум немного утихнет, потом повел рукой на сидевших в зале и, повернувшись к своим товарищам, сказал:

— Послушайте, как лают эти раскормленные псы!

В зале снова воцарился ад. Председатель изо всех сил стучал молотком, вопросительно посматривая на офицеров в проходах. Отовсюду неслись крики: «Бунтовщик!», а дюжий бочкообразный депутат от Нью-Йорка, повернувшись к трибуне, орал во всю глотку: «Анархист!» На Эрнеста страшно было смотреть. Каждый его мускул был напряжен, глаза сверкали яростью. И все же он вполне владел собой и ничем не выдавал душившего его бешенства.

— Помните! — крикнул он громовым голосом, перебившим шум в зале. — Как вы теперь расправляетесь с пролетариатом, так он когда-нибудь расправится с вами.

Возгласы «бунтовщик» и «анархист» усилились.

— Я знаю, что вы собираетесь провалить наш законопроект, — продолжал Эрнест. — Вам приказано его провалить. Вы меня называете анархистом! Вы, отнявшие власть у народа, вы, бесстыдно щеголяющие в лакейской ливрее, называете меня анархистом! Я не верю в вечный огонь и кипящую серу преисподней, но иногда я готов пожалеть о своей неверии. В такие минуты, как сейчас, я готов в них верить. Должен быть ад, потому что ни в каком другом месте вам не воздастся в полной мере за ваши преступления. Нет, пока вы существуете, миру, по-видимому, не обойтись без адского огня.

У входа возникло какое-то движение. Эрнест, председатель и все депутаты повернули голову к дверям.

— Господин председатель, что же вы не зовете сюда ваших солдат? — обратился к нему Эрнест. — Они здесь и только ждут сигнала, чтобы привести в исполнение ваши тайные замыслы.

— Существуют другие тайные замыслы, кроме моих, — отвечал председатель. — И солдаты здесь для того, чтобы помешать им.

— Это уж не наши ли козни вы имеете в виду? — издевался Эрнест. — Бомбы или что-нибудь в этом роде?

При слове «бомбы» атмосфера в зале снова накалилась. Эрнест не мог перекричать весь этот шум и стоял выжидая. И тут произошло нечто неожиданное. Со своего места на галерее я заметила только вспышку огня. Затем меня оглушил взрыв, и сквозь завесу дыма я увидела, как Эрнест покачнулся и как по всем проходам к трибуне ринулись солдаты. Наши товарищи повскакали с мест, не владея собой от возмущения. Но Эрнест, сделав над собой величайшее усилие, остановил их движением руки.

— Это провокация! — загремел он. — Спокойствие, а то вы только себя погубите!

Он медленно опустился на пол, и подоспевшие солдаты окружили его стеной. Другие солдаты очищали галерею от публики. Поневоле пришлось уйти и мне, и больше я ничего не видела.

Я объявила, что я жена Эрнеста, в надежде, что буду допущена к нему, но вместо этого меня тут же арестовали. Одновременно был произведен арест всех социалистических депутатов, включая и беднягу Симпсона, лежавшего в тифозной горячке.

Суд не заставил себя долго ждать. Все приговоры были предрешены заранее. Удивительно, что Эрнесту сохранили жизнь. Это была величайшая ошибка олигархии, и она ей дорого стала. Сказывалось то опьянение собственными успехами, в котором пребывали наши победители. Им и в голову не приходило, что эта горсточка героев способна потрясти их власть до самого основания. Завтра, когда начнется великая революция и весь мир услышит мерный шаг восставших миллионов, олигархия поймет, хотя и слишком поздно,

в какую могучую силу превратился скромный отряд героев¹.

Как член революционной организации, посвященный во все ее тайные планы и деливший с ней горе и радость, я принадлежу к тем немногим, кто более других может судить, были ли наши депутаты причастны к взрыву в конгрессе. Могу сказать без малейших колебаний, что никто из социалистов, как бывших в этот день в конгрессе, так и не бывших там, не имел к этому делу никакого касательства. Мы не знаем, кто бросил бомбу, но знаем достоверно, что это сделали не мы.

С другой стороны, много данных за то, что это сделала сама Железная пята. Пусть у нас нет доказательств и это всего лишь предположение, но вот какие серьезнейшие доводы говорят в его пользу. Председатель конгресса был извещен тайной полицией о том, что депутаты социалисты собираются перейти к террористическим методам борьбы. Назначен будто бы даже день — тот самый, когда и произошел взрыв. Поэтому в Капитолий заранее были введены войска. Но поскольку мы ничего не знали о предполагающемся взрыве, а власти заблаговременно к нему готовились, и взрыв действительно произошел, естественно заключить, что Железная пята знала. Более того,

¹ Эвис Эвергард писала для своих современников и потому ни словом не упоминает о приговоре, вынесенном по делу пятидесяти двух депутатов социалистов, обвиненных в государственной измене. Такого рода досадные пробелы неоднократно встречаются в ее рукописи. Все депутаты, представшие перед судом, были признаны виновными. Как ни странно, ни один из них не был приговорен к смерти. Эвергард был одним из двенадцати, осужденных на пожизненное заключение, в число которых входили также Теодор Донелсон и Мэтью Кент. Остальные были осуждены на срок от тридцати до сорока пяти лет, и только Артур Симпсон, который, как было сказано выше, лежал во время взрыва в тифозной горячке, отделался пятнадцатью годами. По некоторым сообщениям, его уморили голодом в одиночке. Такое суровое обращение было вызвано крайним упорством заключенного и его нескрываемой ненавистью к своим палачам. Он умер в тюрьме Кабаньяс на Кубе, где были заключены еще три наших товарища. Все депутаты социалисты были брошены в военные тюрьмы в разных концах страны. Так Дюбуа и Вудс содержались в Пуэрто-Рико, а Эвергард и Мерривезер попали в старинную военную тюрьму на Алькатрасе, небольшом островке в заливе Сан-Франциско.

мы, социалисты, утверждаем, что преступление это и совершено было Железной пятой,— она задумала его и привела в исполнение, чтобы потом возложить вину на нас и таким образом способствовать нашей гибели.

Через председателя палаты весть о готовящемся террористическом акте достигла его коллег, холопов, облаченных в кровавую ливрею. Во время выступления Эрнеста все они только и ждали, когда это произойдет. Надо отдать им справедливость, они и в самом деле верили, что социалисты что-то готовят. На процессе многие искренно утверждали, что видели в руках у Эрнеста бомбу и что она преждевременно разорвалась. Разумеется, ничего подобного они не видели, и картину эту нарисовало им разгоряченное воображение.

На суде Эрнест сказал:

— Неужели вы не понимаете, что, если бы мне понадобилось бросить бомбу, я не удовлетворился бы какой-то хлопушкой. Ведь в ней и пороху-то почти не было. Только что надымилась, а ранила одного меня. Посудите сами, что это за бомба, если, разорвавшись у моих ног, она даже не убила меня. Поверьте, если я начну швырять бомбы, это вам дешево не пройдет. Вы не отделаетесь испугом.

Обвинение со своей стороны утверждало, что социалисты просчитались: слабое действие бомбы было для них так же неожиданно, как и преждевременный взрыв, вызванный растерянностью Эрнеста. Последнее, кстати, совпадало с показаниями свидетелей, будто бы видевших бомбу в руках Эрнеста.

Никто из нас не знал, кто бросил бомбу. Эрнест впоследствии рассказывал мне, что за какую-то долю секунды до взрыва он видел и слышал, как бомба ударилась у его ног. То же самое он говорил и на суде, но ему, конечно, не поверили. Всю эту историю, попросту говоря, «состряпала» Железная пята, желая с нами разделаться, и бороться с ее тайными замыслами было бесполезно.

По известному речению, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Данный случай это опровергает. Прошло девятнадцать лет, а мы, несмотря на все наши старания, так и не обнаружили человека, бросившего в Каштолини бомбу. Это, несомненно, был пособник Железной

пята, но так тщательно законспирированный, что ни один из наших агентов ни разу не наткнулся на его след. И теперь, когда все сроки прошли, остается лишь поставить крест на этой тайне и сдать ее в архив неразрешимых исторических загадок¹.

Глава восемнадцатая **В ГОРАХ СОНОМЫ**

О себе за этот период могу рассказать лишь очень немного. Полгода меня продержали в тюрьме, не предъявляя никакого обвинения. Я была «на подозрении» — термин, с которым вскоре пришлось познакомиться многим

¹ Эвис Эвергард пришлось бы прожить не одну жизнь, чтобы дожидаться разрешения этой загадки. Около ста лет тому назад и, значит, свыше шестисот лет после смерти автора этих записок, в тайниках Ватикана была обнаружена предсмертная исповедь некоего Первэза, американца французского происхождения. Кое-что в этом документе заслуживает внимания, хотя в целом он представляет скорее архивный интерес.

В 1913 году Первэз сидел в одной из нью-йоркских тюрем в ожидании суда за совершенное им убийство. Из исповеди явствует, что Первэз не был преступником по натуре. Человек крайне горячий и порывистый, он в припадке ревности убил жену — случай, нередкий в те времена. Заключение со страхом думал о предстоящей казни — в исповеди подробно говорится об этом — и был готов на что угодно, только бы ее избежать. Полицейские агенты поддерживали в нем страх, уверяя, что ему не миновать электрического стула. То был стул особого устройства. Приговоренного к смерти сажали на него и в присутствии опытных врачей подвергали действию электрического тока, вызывавшего мгновенную смерть. Этот вид казни был очень распространен. Анестезия, как способ насильственного лишения жизни, тогда еще не применялась.

Итак, этот неплохой, но необузданный по натуре человек сидел в тюрьме, ожидая неминуемой смерти, когда к нему обратились агенты Железной пяты с предложением бросить бомбу в палате представителей. Первэза уверили — и об этом с непрерываемой ясностью говорится в исповеди, — что бомба будет заряжена очень слабо и взрыв не вызовет человеческих жертв. Как известно, бомба, взорвавшаяся у ног Эвергарда, действительно не причинила большого вреда.

Первэза спрятали в одной из галерей Капитолия, считавшейся закрытой по случаю ремонта. Выбор подходящей минуты был оставлен на его усмотрение, и Первэз, по его собственным словам,

революционерам. Но наша новорожденная тайная агентура уже становилась на ноги. К концу второго месяца моего заключения один из стражей открылся мне в том, что он революционер, близко связанный с нашей организацией; а несколько недель спустя я узнала, что недавно назначенный к нам тюремный врач Джозеф Паркерст — член одной из боевых групп.

Так наша организация, незаметно проникая в поры вражеской организации, оплетала ее невидимой паутиной. Сидя в тюрьме, я знала все, что творится во внешнем мире. Да и каждый из депутатов, отбывавших заключе-

так заинтересовался речью Эвергарда и шумом, поднявшимся в зале, что едва не забыл о данном ему поручении.

В награду за эту услугу Первэза не только выпустили на свободу, но и обеспечили пожизненной рентой. Однако ему недолго пришлось ею пользоваться. В сентябре 1914 года у него открылся порок сердца, и он умер, прохворав всего лишь три дня. Перед смертью Первэз послал за католическим священником, патером Питером Дюрбаном, и исповедался ему.

Священник был так поражен этим признанием на смертном одре, что записал его от слова до слова и предложил умирающему клятвенно подтвердить его. О дальнейшем можно только догадываться. Документ, очевидно в виду его большого значения, был направлен в Рим, а там, под давлением влиятельных сил, убрал подальше и в течение многих веков пролежал под спудом. Только в прошлом веке знаменитый итальянский историк Лорбиа случайно обнаружил его во время своих изысканий в Ватикане.

В настоящее время не подлежит сомнению, что бомба, взорвавшаяся в палате представителей в 1913 году хр. эры, была брошена по приказу Железной пяты. В этом нас убеждает не столько исповедь Первэза — история в своих заключениях могла бы обойтись и без нее, — сколько то, что этот маневр, позволивший олигархии сразу посадить под замок пятьдесят двух неугодных депутатов, чрезвычайно похож на другие аналогичные преступления, совершенные как олигархами, так и капиталистами до них.

Классическим примером циничного и подлого судебного убийства ни в чем не повинных людей явилась в последние десятилетия XIX века казнь так называемых хеймаркетских анархистов в Чикаго.

Особую категорию преступлений составляли умышленные поджоги и уничтожение имущества, учиняемые капиталистами для того, чтобы ответственность за них взвалить на рабочих. Обычно за это платились невинные люди, которых, по излюбленному выражению того времени, почему-либо хотели «упечь» в тюрьму.

Во время рабочих беспорядков первой четверти XX века хр. эры капиталисты с особой кровожадностью применяли эту тактику

ние, был связан таким образом с мужественными товарищами, которые скрывались под личиной лакеев Железной пяты. И хотя Эрнеста содержали в военной крепости на Тихоокеанском побережье и нас разделяли три тысячи миль, мы постоянно сносились друг с другом, и наши письма безошибочно находили себе дорогу через всю страну.

Социалистическим лидерам в тюрьме и на воле удавалось обсуждать между собой все главнейшие вопросы и таким образом руководить движением. Уже через несколько месяцев появилась возможность кое-кому из них устроить побег. Но поскольку заключение не совсем отрывало их от организации, решено было временно воздер-

в своей борьбе с Западной федерацией горняков. Провокаторы взорвали железнодорожную станцию Индепенденс. Тридцать человек были убиты, многие получили тяжелые ранения. Капиталисты, державшие в своих руках законодательную власть и все суды штата Колорадо, обвинили в этом преступлении рабочих и чуть было не добились их осуждения. Некто Ромэн, одно из их орудий в этом злодеянии, сидел, как и Первэз, в тюрьме другого штата — Канзаса — и ждал суда, когда к нему обратились агенты капиталистов. Однако последующее признание Ромэна было еще при его жизни предано гласности.

К этому же периоду относится процесс Мойера и Хейвуда, двух энергичных и неустрашимых рабочих лидеров. Один из них был председателем Западной федерации горняков, другой — ее секретарем. В ту пору был убит при таинственных обстоятельствах бывший губернатор штата Айдахо. Горняки и социалисты открыто обвиняли в этом преступлении шахтовладельцев. Несмотря на это и в нарушение конституции и местных законов, губернаторы штатов Айдахо и Колорадо сговорились между собой, и Мойер и Хейвуд были по их приказу похищены полицией и брошены в тюрьму. Обоим было предъявлено обвинение в убийстве. Вот что писал по этому поводу тогдашний лидер американских социалистов Юджин Дебс: «Против тех рабочих лидеров, которых нельзя ни подкупить, ни запугать, у плутократии существуют такие меры, как убийство из-за угла и судебная расправа. Единственным преступлением Мойера и Хейвуда было то, что они верно служили рабочему классу. Капиталисты завладели всей страной, они растлили наших политиков, развратили суд, зажали в тиски рабочих, а сейчас им не терпится расправиться с теми, кто не хочет подчиниться деспотическому произволу. Губернаторы штатов Колорадо и Айдахо только пешки в руках плутократии, покорные исполнители ее воли. Идет борьба рабочих с плутократией. И если плутократы нанесли нам первый тяжелый удар, то последний, решающий удар будет нанесен нами».

жаться от всяких скороспелых мероприятий. Кроме пятидесяти депутатов, по разным штатам сидело еще триста видных работников. Предполагалось освободить всех разом. Если бы какая-то часть опередила другую, олигархия была бы начеку и это помешало бы побегу остальных. Считалось также, что одновременное освобождение наших узников по всей стране произведет большое впечатление на пролетариат и такое свидетельство нашей моральной силы заставит его поднять голову.

Было решено, что, отбыв свой срок, я должна скрыться от властей и приготовить надежное убежище для Эрнеста. Но даже скрыться оказалось нелегкой задачей. Как только я вышла на волю, для наблюдения за мной была наряжена целая свора ищеек. Для того чтобы беспрепятственно пробраться в Калифорнию, надо было прежде всего сбить их со следа. Это создало забавную ситуацию.

В то время начала действовать паспортная система, подобная той, какая существовала в царской России. О том, чтобы под своим именем пуститься в путь через все штаты, нечего было и думать. Прежде чем помышлять о встрече с Эрнестом, мне надо было исчезнуть, иначе, выследив меня, наши гонители могли бы после его побега добраться и до него. С другой стороны, при существующих условиях было бы небезопасно пускаться в далекое путешествие под видом простой работницы. Оставалось одно — выдать себя за привилегированную особу из лагеря властителей. Помимо горсточки сверхолигархов, существовали еще сонмы олигархов помельче, с состоянием в несколько миллионов, вроде мистера Уиксона, — они-то и составляли преданную сверхолигархам когорту. У микроолигархов были, разумеется, жены и дочери, легион влиятельных дам, за одну из которых я и должна была сойти. Несколько лет спустя, при более изощренной паспортной системе, охватившей всех жителей США от мала до велика и регистрировавшей каждое их движение, такая затея была бы уже невозможна.

Когда все приготовления были закончены, ищейки потеряли мой след: Эвис Эвергард как сквозь землю провалилась. Вместо нее некая мисс Фелиция Ван-Вердиган, в сопровождении двух камеристок, болонки и горничной

при болонке¹, величественно прошествовала в роскошный пульмановский² салон-вагон, который уже через несколько минут на всех парах мчался на запад.

Под видом свиты богатой дамы я увозила с собой трех революционерок. Две из них были членами боевых групп, третья, Грейс Холбрук, вступила в группу на следующий же год и спустя несколько месяцев была казнена Железной пятой. Это на ней лежала обязанность ухаживать за болонкой. Что же касается прочих моих спутниц, то одна из них, Берта Стоул, двенадцать лет спустя пропала без вести, в то время как Анна Ройлстон и поныне здравствует, и ее роль в революционном движении все растет³.

Без особых приключений в пути добрались мы до Калифорнии. Когда поезд по прибытии в Окленд подошел к дебаркадеру на 16-й улице, мы благополучно выгрузились на перрон — и владетельной мисс Фелиции Ван-Вердиган, камеристок, болонки и горничной при болонке как не бывало. Прислужниц богатой дамы сразу же встретили и увели надежные товарищи. Другие занялись мной. Через полчаса после моего приезда в Окленд я уже была на борту небольшого рыбацкого баркаса, бороздившего воды залива Сан-Франциско. Дул противный

¹ Эта характерная картинка превосходно изображает дикие нравы и бессердечие правящих классов. В то время как люди голодали, болонки пользовались уходом специальной прислуги. Затеянный Эвис Эвергард маскарад был далеко не шуточным. Дело шло о жизни и смерти и о судьбе всего движения. Тем больше у нас оснований верить правдивости ее рассказа и видеть в нем живое изображение нравов эпохи. Это были поистине странные времена.

² Так, по имени их изобретателя, назывались самые роскошные вагоны того времени.

³ Несмотря на жизнь среди постоянных опасностей и тревог, Анна Ройлстон дожила до глубокой старости и скончалась девяносто одного года от роду. Как семейство Пококов ускользало от мести революционеров, так Анна Ройлстон оставалась неуловимой для агентов Железной пяты. Ей баснословно везло, из тысячи рискованных и трудных положений она выходила невредимой. На ней лежало исполнение приговоров боевой группы, и воинственная мстительница, которую товарищи звали «Красной девой», стала одним из самых излюбленных образов революции. Уже старухой она пристрелила «кровавого Хелклиффа» на глазах у вооруженной стражи и благополучно скрылась. Умерла она, достигнув старости, в убежище революционеров, в Озаркских горах.

ветер, и мы большую часть ночи пролежали в дрейфе. Но я видела издали огоньки Алькатраса, где Эрнест томился в крепостном каземате, и утешалась тем, что мы так близко друг от друга.

На рассвете мы на веслах подошли к Мариновым островам и весь день простояли в укрытии, а как только спустилась ночь, за два часа, при попутном ветре, пересекли залив Сан-Пабло и вошли в устье реки Петалумы. Здесь меня ждала лошадь и новый провожатый; ни минуты не медля, мы сели в седло и поскакали при свете звезд.

На севере перед нами высился мощный хребет Сономы — цель нашего путешествия. Объехав стороной город Соному, мы углубились в ущелье, пролежавшее в отрогах скал. Проезжая дорога сменилась проселком, проселок — козьей тропкой, а затем и она затерялась среди горных пастбищ. Теперь мы поднимались прямоком по откосу. Это был самый надежный путь — здесь мы никого не могли встретить.

Заря застала нас уже на северном склоне, и в серых сумерках утра мы сквозь заросли вечнозеленых кустарников спустились в уютную ложину, где густо росли секвойи. Здесь сладко благоухало позднее лето. Это была моя родина — знакомые, милые мне места, отсюда я могла бы взять на себя роль провожатого. Укрытие для Эрнеста было выбрано по моему совету. Уже не прячась, пустились мы через широкую луговину и по узкому кряжу, поросшему дубняком, перебрались на другой луг, поменьше. Здесь нам опять предстояло вскарабкаться на горный кряж, на этот раз одетый рощей земляничных деревьев с яркокрасной корой и пурпурных мансанит. Позади вставало солнце. Стайка перепелов, вспорхнув, шарахнулась в сторону и скрылась в лесной чаще. Крупный заяц бесшумно, как олень, перемахнул через дорогу. А вот и сам олень с ветвистыми рогами на мгновение показался на высокой круче, и солнце облило золотом его бока и шею.

Мы поскакали за ним следом, а потом извилистой тропкой, которой он пренебрег, спустились в рощу секвой, обступивших небольшое озеро, вода которого казалась темной от гальки, усеявшей его дно. Здесь мне был знаком

каждый кустик. Владелец этого ранчо был когда-то писатель, мой большой друг. Он также стал революционером, но оказался несчастливее меня, ибо его уже не было в живых, и никто не знал, когда и как он погиб. Ему одному было известно то место, куда мы направили теперь своих коней. Мой друг купил это ранчо, привлеченный его живописным положением, и, к великому негодованию окрестных фермеров, заплатил за него кругленькую сумму. Он любил рассказывать, как, погруженные в нехитрые арифметические выкладки, они сокрушенно качали головой и недоуменно разводили руками, говоря: «Да тут и шести процентов не выколотишь!»

А теперь, когда он ушел из жизни, даже наследникам его не пришлось попользоваться этим живописным владением. По воле случая оно досталось мистеру Уиксону, который с недавних пор завладел всей обширной территорией по северному и восточному склону Сономы, от имени Спреклсов до Бенетской долины. Он превратил ее в олений заповедник, и здесь, на пространстве в тысячи акров, на широком приволье холмов, долин и ущелий, в почти первобытной глуши разгуливали олени. Все население было согнано с насиженных мест. Калифорнийский приют для слабоумных тоже вынужден был освободить место для оленей — от него камня на камне не оставили.

Охотничий домик Уиксона находился всего лишь в четверти мили от избранного мной убежища. Я видела в этом не опасность, а скорее некоторое добавочное преимущество. Таким образом, мы будем находиться как бы под крылом одного из микроолигархов — положение как нельзя более выигрышное. Шпионам Железной пяты и в голову не придет искать меня или Эрнеста, когда он присоединится ко мне, в оленьем заповеднике Уиксона.

Мы привязали лошадей в чаще секвой на берегу озера. Из тайника, скрытого гниющим дуплистым стволом, мой спутник извлек на свет множество разнообразнейших предметов: пятидесятифунтовый мешок муки, консервы, кухонную посуду, одеяла, просмоленный брезент, книги и письменные принадлежности, пятигалонный керосиновый бидон и — самое важное — большой моток креп-

кой веревки. Припасов было так много, что их и в несколько раз трудно было унести.

Хорошо еще, что до убежища было рукой подать. Захватив с собой веревку, я пустилась вперед по прогалине, тянувшейся меж двух лесистых холмов и густо заросшей кустарником и диким виноградом. Прогалина вела к обрывистому берегу ручья, который питался родниками и не пересыхал даже в самое знойное лето. Кругом в живописном беспорядке высились такие же лесистые холмы,—казалось, они были разбросаны здесь по прихоти какого-то титана. В этих холмах не было каменистого подзема. Поднимаясь на несколько сот футов в высоту, они сплошь состояли из вулканической лавы — знаменитого сономского краснозема. Ручеек пробил себе в их склонах глубокое извилистое ложе.

Нам пришлось чуть ли не ползком спуститься с крутого склона, а потом шагов сто пройти по руслу ручья. И тут мы очутились перед огромной пещерой. Снаружи ничто не указывало на ее существование, да она и не была похожа на обычную пещеру. Пробравшись через заросли шиповника, вы оказывались на самом ее краю и, выглянув из-за густой завесы зелени, видели под собой такую же колеблющуюся изумрудную завесу. Длина и ширина пещеры достигали нескольких сот футов, а глубина была вдвое меньше. Возникнув здесь, быть может, по той же прихоти природы, которая раскидала вокруг шапки холмов, она веками подтачивалась и вымывалась протекавшим в ней ручейком. Нигде не проглядывало ни клочка голой земли. Вся пещера внутри была покрыта сплошным ковром зелени, где венерины волосы и золотистый папоротник соседствовали с гигантскими секвойями и дугласиями. Много могучих деревьев вырастало прямо из стен. Некоторые нависали под углом в сорок пять градусов, но большинство тянулось вверх, уходя корнями в почти отвесную кручу.

Трудно было бы сыскать более укромное убежище. Сюда не забирались даже мальчишки из Глен-Эллена. Если бы пещера находилась в ущелье хотя бы в милую длину, она была бы известна многим. Но эта речушка от истока до самого устья насчитывала каких-нибудь пятьсот ярдов. Она брала свое начало из горного источника,

отстоявшего от пещеры на триста ярдов, и уже в сотне ярдов ниже, у подножия холма, выбегала из-под земли и потом вливалась в реку, протекавшую по открытой холмистой местности.

Обвязав веревку вокруг дерева и опоясав меня другим концом, мой спутник стал осторожно спускать меня вниз. Через мгновение я была уже на дне пещеры. Вскоре тем же путем последовали за мной все вещи и припасы, которые он постепенно приносил из тайника. Когда все было водворено на место, мой спутник втащил веревку наверх, спрятал ее в надежном месте, крикнул мне на прощание несколько дружеских слов и ушел, оставив меня одну.

Прежде чем продолжать, скажу несколько слов об этом своем спутнике Джоне Карлсоне, преданном и верном товарище, скромном рядовом великой армии революции. Он служил конюхом у Уиксона и жил тут же неподалеку. На лошадях Уиксона мы и совершили свое путешествие в олений заповедник. В течение последующих двадцати лет Карлсон был сторожем и хранителем нашего убежища, и за все это время, я твердо уверена, ни разу мысль о предательстве не шевельнулась в его мозгу. Это был человек слова, и вы могли положиться на него до конца. Внешне он производил впечатление флегматика и увальня,— казалось бы, что общего может быть у такого человека с революцией? А между тем любовь к свободе бестрепетно горела в его сумрачной душе. Отсутствие воображения и неповоротливый ум делали его в нашем кругу в некотором роде незаменимым. Он никогда не терял голову, каждый приказ выполнял молча, без лишних разговоров и вопросов. Однажды я спросила Карлсона, что сделало его революционером.

— В молодости я служил в солдатах,— рассказал он мне.— Давно это было, еще в Германии. Там все служат, пришлось и мне. Подружился я в полку с одним человеком, моих же лет. Отец у него агитировал против кайзера — значит, правду народу говорил; ну его, конечно, схватили — и в тюрьму. А этот парень — сын его, значит,— все толковал мне про народ, и про труд, и про капиталистов, как они простой народ обирают. Он и обратил меня в свою веру, стал и я социалистом. Очень уж

он правильно и хорошо про это говорил, мне на всю жизнь в память врезалось. И как только я сюда приехал, сразу стал социалистов искать. Приняли меня в одну районную организацию, тогда еще была у нас социалистическая рабочая партия, а после раскола перешел я в социалистическую партию. Работал тогда в Сан-Франциско, в извозничьем дворе,— это еще до землетрясения было. Я двадцать два года плачу членские взносы. И сейчас состою членом и плачу взносы, хотя теперь за это по головке не погладят. И всегда буду платить, что бы там ни было. Хотелось бы мне дожить до народной власти...

Оставшись одна, я приготовила на керосинке завтрак и занялась приведением в порядок моего нового жилища. Нередко на рассвете или после захода солнца ко мне украдкой приходил Карлсон, и несколько часов мы работали вместе. Сначала я жила под натянутым брезентом. Потом сооружена была палатка. И, наконец, когда мы убедились в своей безопасности, Карлсон приступил к сооружению маленького домика. Сверху, за густым пологом зелени, он был совершенно незаметен. Домик мы поставили у отвесной стены пещеры и в самой земле, укрепив подпорками стены и потолок, вырыли две каморки, сухие и хорошо проветриваемые. О, поверьте, у нас было чудесно! Впоследствии, когда к нам в убежище приехал знаменитый немецкий террорист Биденбах, он соорудил нам дымоуловители, и в холодные зимние вечера обитатели пещеры могли греться возле уютного камелька.

Здесь я позволю себе выступить на защиту этого товарища-террориста, человека прекрасной и чистой души, по отношению к которому была совершена неслыханная в летописи нашей революции несправедливость. Неверно, будто Биденбах оказался предателем. Неверно, будто с ним, как утверждают, расправились его же товарищи. Это утка, пущенная клеветами Железной пяты. Биденбах был подвержен приступам необычайной рассеянности и забывчивости. По трагическому недоразумению его подстрелили наши часовые, охранявшие убежище в Кармеле, так как он умудрился позабыть пароль и условные знаки. Чистейшая ложь, будто Биденбах предал свою боевую

группу. В его лице мы потеряли одного из лучших и преданнейших революционеров¹.

Вот уже девятнадцать лет, как основанное мною убежище служит надежным укрытием для наших товарищей. Оно никогда не пустует и, кроме одного только случая, не было обнаружено никем из врагов. При всем этом оно находится чуть ли не рядом с охотничьим домиком Уиксона и в неполной миле от деревни Глен-Эллен. Каждое утро и вечер я слышала шум приходящих и уходивших поездов и проверяла часы по гудку, доносившемуся ко мне с кирпичного завода².

¹ Несмотря на все старания, мы так и не нашли в сохранившихся документах того времени каких-либо сведений о Биденбахе. Единственное упоминание о нем встречается в Эвергардовском манускрипте.

² Любопытный путник по выходе из Глен-Эллена, свернув к югу, окажется в аллее, расположенной на том месте, где семьсот лет назад пролежала проселочная дорога. Пройдя еще четверть мили и миновав второй мост, он справа увидит глубокий овраг, который бороздит широкую равнину, ведя к группе лесистых холмов. Когда-то, во времена частной собственности, овраг отгораживал дорогу общего пользования, проходившую через владения некоего Шове, французского пионера, прибывшего в Калифорнию во времена золотой лихорадки. Лесистые холмы — те самые, о которых повествует Эвис Эвергард.

Во время великого землетрясения 2368 года один из холмов обвалился и засыпал пещеру, в которой когда-то укрывались супруги Эвергард. После первого же ознакомления с Эвергардовским манускриптом здесь были начаты раскопки, в результате которых был обнаружен домик в пещере, две каморки, вырытые в стене, и много всякого мусора и отбросов, указывавших на длительное пребывание здесь людей. Найдено немало интересных реликвий и среди них, как ни странно, те самые дымоуловители, которые, по свидетельству мемуаристики, были в свое время изобретены и установлены Биденбахом. Лиц, интересующихся этими вопросами, мы можем отослать к брошюре Арнольда Бентама, которая вскоре выйдет в свет.

К северо-западу от лесистых холмов, на расстоянии мили, у слияния Дикарки и реки Сономы, находится Уэйк-Робинлодж. Здесь не лишнее сказать, что Дикарка когда-то именовалась Грейм-крик и под этим названием нанесена на старинные карты этой местности. Однако новое наименование больше за ней укрепилось.

Эвис Эвергард часто наезжала в Уэйк-Робинлодж и подолгу жила здесь в те годы, когда ей приходилось скрываться под личиной провокатора, для того чтобы продолжать революционную деятельность. Сохранилось официальное разрешение, выданное ей для проживания в этих местах, оно за подписью Уиксона, который фигурирует в ее мемуарах в качестве одного из микроолигархов.

Глава девятнадцатая
ИСКУССТВО ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ

«Ты должна перевоплотиться,— писал мне Эрнест.— Пусть Эвис Эвергард исчезнет с лица земли. Ты должна стать совершенно другим человеком; но для того чтобы перемена была не только внешней — впитай в себя это новое всеми порами своего существа. Перевоплотись так, чтобы даже я не узнал тебя; измени свой голос, жестикаляцию, движения, мимику, походку — одним словом, преобразись с головы до ног».

Я послушалась его приказа. Каждый день я часами упражнялась в том, чтобы освободиться от Эвис Эвергард и похоронить ее глубоко-глубоко под личиной другой женщины, которая должна была стать моим новым «я». Такое перевоплощение требует большой и постоянной работы. Например, голос, интонация... Я старалась добиться их окончательного закрепления, чтобы они жили независимо от моего желания. Только такой автоматизм в исполнении заученной роли мог обеспечить полный успех. Надо было настолько войти в роль, чтобы совершенно забыть себя. Это как усвоение чужого языка — скажем, французского. Сначала это для вас сознательный процесс, требующий вмешательства и напряжения воли. Вы думаете по-английски и переводите свои мысли на французский язык или читаете французскую книгу и переводите на английский, чтобы уловить смысл, пока, наконец, после основательной подготовки, вы не начинаете читать, писать, а главное — думать без помощи родного языка.

Так было и с нашей маскировкой. Приходилось работать над ролью, вживаться в нее так, чтобы стать самим собой было уже трудно, требовало внимания и напряжения воли. Сначала, разумеется, все делалось наобум, и немало было путаницы и ошибок. Ведь мы создавали новое искусство, многое надо было впервые найти и многому научиться. Но такие поиски шли повсюду. Появлялись мастера этого нового искусства, накапливался целый арсенал приемов и рецептов, создавалось своего рода неписанное руководство, которое впоследствии вошло в

программу обучения каждого новичка в школе революции¹.

К этому времени относится исчезновение моего отца. Регулярно приходившие письма внезапно прекратились. В квартиру на Пелл-стрит он давно уже не заходил. Товарищи искали его повсюду. Наши тайные агенты обшарили все тюрьмы в Америке и нигде его не нашли. Он исчез бесследно, словно его поглотила земля, и поныне не обнаружено никаких его следов².

Шесть долгих месяцев я провела в одиночестве, но это не были месяцы вынужденной праздности. Наша организация развивалась, и дела было по горло. Эрнест и другие узники, поддерживавшие между собой постоянную связь, руководили работой. Надо было организовать устную пропаганду, работать над улучшением и расширением сети тайной агентуры, создать ряд подпольных типографий, наладить так называемую подпольную железную дорогу, иначе говоря — установить связь между тысячами тайных убежищ и устроить новые там, где их не доставало.

Словом, работы было уйма. По истечении полугода мое одиночество было нарушено приездом двух товарищей. Это были молодые девушки, самоотверженные и пламенные борцы за свободу: Лора Питерсен, исчезнув-

¹ Маскировка стала в то время подлинным искусством. Во всех убежищах возникали своеобразные школы актерского мастерства. Здесь пренебрегали такими аксессуарами грима, как парики или накладные бороды и брови, какие обычно в ходу на сцене. Борьба шла не на жизнь, а на смерть, и обычный грим мог сослужить человеку плохую службу. Маскировка должна была быть настолько совершенной, чтобы стать неотъемлемой частью человека, его вторым «я». По дошедшим до нашего времени сведениям, «Красная дева» была несравненным мастером перевоплощения, чем и объяснялась ее долгая и успешная деятельность.

² Тайнственные исчезновения людей были одним из страшных бедствий того времени. Повсюду в литературе той эпохи постоянно встречается этот мотив. Явление это было порождено ожесточенной подпольной борьбой, не утихавшей в течение трех столетий. Исчезновения наблюдались не только среди революционеров, но и среди олигархов и в рабочих кастах. Мужчины, женщины и даже дети исчезали без следа, и дальнейшая их судьба оставалась для всех неразрешимой загадкой.

шая в 1922 году, и Кэйт Бирс, позднее вышедшая замуж за Дюбуа¹. Последняя и сейчас с нами, как и все мы, она призывает зарю того дня, который откроет новую эру в жизни человечества.

Обе девушки были страшно взволнованы. Чего только они не пережили в пути: страх, смятение, близкую опасность — смерть коснулась их своим крылом. Среди экипажа рыбацкого баркаса в заливе Сен-Пабло оказался шпик. Агент олигархии, он втерся в наши ряды под маской революционера и во многое был посвящен. Очевидно, он охотился за мной, — еще раньше доходили слухи, что олигархи крайне озабочены моим бегством. К счастью, он, как потом выяснилось, еще никому не успел сообщить о своих догадках. Он, видимо, рассчитывал вот-вот открыть мое убежище и добраться до меня и со дня на день откладывал свое донесение. Так оно и умерло вместе с ним. Когда обе путницы высадились в устье Петалумы и пересели на лошадей, он под каким-то предлогом отпросился на берег. Карлсону поведение матроса показалось подозрительным. Проводив девушек на гору и проехав с ними часть пути, он оставил им свою лошадь и вернулся обратно пешком. Каким-то образом ему удалось изловить шпика, а что случилось вслед за этим, пусть лучше расскажет он сам.

— Убрал я его, — сказал нам Карлсон со свойственной ему краткостью. — Убрал... — Глаза Карлсона мрачно поблескивали, корявые, огрубевшие пальцы сжимались и разжимались. — Он даже и не вскрикнул. Я спрятал его там. Как стемнеет, поеду закопаю поглубже.

В то время я немало дивилась произошедшей во мне перемене. Вспоминая безмятежные годы моей юности в замкнутом, тихом университетском мирке, я сравнивала их со своей теперешней жизнью революционерки, бестрепетно взирающей на смерть и насилие. Не может быть, чтобы и то и другое было действительностью. Но где же сон и где явь? Быть может, жизнь революционерки, скрывающейся в какой-то норе, — тяжелый кошмар, который рассеется при свете дня? Или же я действительно рево-

¹ Дюбуа, старший библиотекарь центрального книгохранилища в Ардисе, потомок этой достойной четы революционеров.

люционерка, и мне только пригрезились далекие годы, когда я мирно жила в городе Беркли и самыми волнующими событиями моей жизни были танцы и вечера, публичные лекции и споры за чайным столом? Впрочем, мне думается, так чувствовали все, кто сплотился под красными знаменами всемирного братства людей.

Иногда я вспоминала тех, кого знала в былые годы. Как ни странно, тени их время от времени возникали на моем горизонте, чтобы тут же исчезнуть без следа. Например, епископ Морхауз. Мы тщетно разыскивали его, когда наша организация окрепла. Его переводили из одного сумасшедшего дома в другой. Стало известно о его временном пребывании в Стоктоне и Санта-Клара, а потом след его терялся. Сведений о смерти тоже не было. Видимо, ему удалось бежать. В то время я и представить себе не могла нашей будущей страшной встречи в черные дни разгрома Чикагского восстания.

Джексона, который лишился руки на сьеррской фабрике, — человека, чья судьба так круто изменила мою судьбу, я больше никогда не встречала. Но сведения о нем мне удалось собрать. Джексон не примкнул к социалистам. Озлобленный своими несчастьями и горькой обидой, он сделался анархистом. Не последователем какой-либо теории, нет: в нем пробудился зверь, обуреваемый ненавистью и жаждущий мести. И он достиг своего. Обманув бдительность стражей, в глухую ночь, когда все уже спали, он взорвал дворец Пертонуэйтов вместе со всеми его обитателями, включая и сторожей. В следственной тюрьме он удавился.

Зато весьма утешительным образом сложилась судьба доктора Гаммерфилда и доктора Боллингфорда. Оба продолжали верно служить своим хозяевам и дождались щедрой награды. Каждому из них был отведен в качестве резиденции великолепный епископский дворец, где они продолжают жить и поныне, в ладу с миром и собственной совестью. Оба — ярые защитники олигархии. Оба страдают ожирением. Эрнест сказал о них однажды: «Доктор Гаммерфилд отлично приспособил свою метафизику, и ныне его бог благословляет на царство Железную пяду. Будучи поклонником красоты в богослужении, он благополучно свел на нет ту газообразную субстан-

цию, о которой говорил Геккель, и в этом его отличие от доктора Боллингфорда. У того бог — один газ и никакой субстанции».

Питер Донелли, мастер сьеррской фабрики, штрейкбрехер, знакомый мне по тому же делу Джексона, удивил нас всех. В 1918 году в Сан-Франциско мне довелось присутствовать на собрании группы террористов, именовавших себя «Красные из Фриско», самой грозной и беспощадной из всех. Члены этой группы не входили в нашу организацию. Это были фанатики, безумцы. Такие настроения были нам абсолютно чужды, и мы их не поощряли. Но отношения у нас были вполне добрососедские. В тот вечер меня привело к ним дело большой важности. В доме, где мы собрались, я оказалась единственной женщиной среди двух десятков мужчин, причем все они были в масках. Когда наши переговоры закончились, один из присутствующих вызвался проводить меня к выходу. В темной прихожей он неожиданно остановился, зажег спичку и, поднеся ее к лицу, сбросил маску. Я увидела искаженное от волнения лицо Питера Донелли. Спичка погасла.

— Я только хотел, чтобы вы меня узнали,— сказал он мне в темноте.— Помните инспектора Даллеса?

Я сказала, что помню; передо мной встала лисья физиономия инспектора сьеррской фабрики.

— С ним я свел счеты в первую очередь,— горделиво пояснил Донелли.— Потом уже примкнул к «Красным из Фриско».

— Как же это вы решились? А ваша жена, дети?

— У меня никого не осталось. Нет, не думайте,— прибавил он торопливо.— Это я не за них мщу. Они умерли дома, в постели. Всех унесла болезнь, одного за другим. Вот и развязали мне руки. А мщу я за свою искалеченную жизнь. Когда-то меня знали как штрейкбрехера Донелли. А сегодня — сегодня я номер двадцать седьмой в группе «Красные из Фриско»! Ну пойдемте, я выведу вас отсюда.

Вскоре мне пришлось узнать о нем больше. По-своему, Донелли был прав, говоря, что лишился всех своих детей. Однако сын его Тимоти был жив, и отец знает его

не хотел, с тех пор как тот поступил в наемные войска¹ Железной пяты.

В группе «Красные из Фриско» было правило, что каждый ее член должен совершить в год не меньше двенадцати террористических актов. Неудача каралась смертью. Невыполнение установленного минимума обязывало провинившегося к самоубийству. Совершение террористических актов не было оставлено на волю случая. Время от времени эти маниаки собирались и выносили массовые смертные приговоры особо ненавистным олигархам или их прислужникам. Распределение казней между членами группы производилось по жребию.

Причиной моего прихода к ним послужило следующее обстоятельство. Один из наших товарищей, который под видом духовного лица много лет работал в тайной полиции Железной пяты, был приговорен к смерти «Красными из Фриско». Как раз в тот вечер разбиралось его дело. Сам он, разумеется, на суде не присутствовал, и судьи не знали его истинного лица. Мне было поручено рассеять это недоумение. Может показаться странным, как мы узнали о планах этой группы, но все объяснялось очень просто. Один из наших тайных агентов входил в это сообщество. Мы обязаны были знать, что происходит не только среди наших врагов, но и среди друзей, и уж эту группу безумцев нам во всяком случае нельзя было выпускать из виду.

Но вернемся к Питеру Донелли и его сыну. Бывший мастер исправно служил своей группе, пока однажды в списке доставшихся ему приговоров не прочел имя Тимоти Донелли. Тут в нем заговорили отцовские чувства. Чтобы спасти сына, он предал своих единомышленников, — правда, не всех, однако человек двенадцать было казнено, и группа оказалась фактически разгромленной. Остальные вынесли предателю смертный приговор.

Тимоти Донелли не на много пережил отца. «Красные из Фриско» поклялись предать его смерти. Олигархия

¹ Помимо рабочей касты, возникла и военная. Вместо национальной гвардии, не оправдавшей себя при новом режиме, была создана регулярная армия из солдат-профессионалов, руководимая самими олигархами. Солдаты эти получили название «наемников». В добавление к тайной полиции Железной пятой была создана тайная полиция из наемников, она осуществляла связь между полицией и армией.

делала все для спасения своего агента. Его перебрасывали с места на место. Трое террористов заплатились жизнью за попытку до него добраться. Как я уже говорила, их организация состояла из одних мужчин. С отчаяния они обратились к женщине. Это была не кто иная, как Анна Ройлстон. Наш центр запретил ей всякое вмешательство в это дело, но с Анной нелегко было сладить,— дисциплина у нее всегда хромала. Необычайная одаренность и личное обаяние сделали ее популярной, и ей многое прощали. Трудно было подвести ее под общий ранжир и мерить обычной меркой.

Несмотря на категорическое запрещение руководства, она взялась за это дело. Надо сказать, что Анна была пленительной женщиной, пользовавшейся успехом у мужчин. Все наши молодые люди отдали ей свое сердце, и было немало случаев, когда ее красота приводила к нам новых членов. Но Анна и думать не хотела о замужестве. Она нежно любила детей, но считала, что это не для нее: она посвятила себя целиком нашему делу, а дети и семья стали бы для нее помехой.

Анне не стоило большого труда повергнуть к своим стопам Тимоти Донелли. Совесть ее при этом оставалась спокойной. Как раз в это время произошла пресловутая нэшвилльская резня: наемники во главе с Донелли убили восемьсот ткачей. Анне не пришлось самой сводить с ним счеты, она только сдала его с рук на руки членам группы «Фриско»¹. Это случилось в прошлом году, и с тех пор Анну Ройлстон зовут у нас «Красной девой».

С полковником Ингрэмом и полковником Ван-Гилбертом, моими старыми знакомыми, мне тоже пришлось еще свидеться.

Полковник Ингрэм достиг при олигархах высоких должностей и в конце концов получил назначение послом в Германию. Его одинаково презирали рабочие обеих

¹ После подавления Второго восстания группа «Красные из Фриско» снова возродилась и просуществовала еще лет пятьдесят. Наконец, одному из агентов Железной пяты удалось проникнуть в эту организацию и выведать все ее тайны, что и привело к окончательному ее уничтожению. Это произошло в 2002 году хр. эры. Членов группы потом казнили по одному через каждые три недели, а их мертвые тела выставляли в рабочем гетто Сан-Франциско.

стран. Я встретила с ним в Берлине, куда приезжала как доверенное лицо Железной пяты по делам международного шпионажа. Полковник оказывал мне всяческое содействие. Кстати, эта двойная игра позволила мне сделать для революции много полезного.

Полковник Ван-Гилберт получил прозвище «Цепной пес». Он сыграл видную роль в создании нового кодекса законов после Чикагского восстания. Но еще до этого ему был вынесен приговор за его судебную деятельность. Я была среди тех, кто судил и приговорил его к смертной казни. Приговор привела в исполнение все та же Анна Ройлстон.

И еще одна знакомая фигура встает передо мной — Джозеф Герд, адвокатишка Джексона. Меньше всего я могла предполагать, что еще раз встречу этого человека. И какая же это была встреча! Спустя два года после Чикагского восстания мы с Эрнестом заехали в Бентхарборское убежище, на берегу озера Мичиган, против Чикаго. Войдя, мы застали знакомую картину: судили какого-то шпика. После вынесения смертного приговора его вели к выходу, и мы встретились с ним у порога. Завидев меня, несчастный вырвался из рук своих конвоиров, бросился к моим ногам, судорожно обхватил мои колени и стал молить о пощаде. Когда он поднял вверх искаженное страхом лицо, я узнала Джозефа Герда. Мне немало пришлось видеть в жизни тяжелого, но задыхающиеся вопли этого жалкого существа потрясли меня, как ничто другое. В нем говорила вся иступленная жажда жизни. Это была страшная, душераздирающая сцена. Десятки рук оттаскивали его прочь, но он не отпускал меня. Когда же его, наконец, подхватили и унесли, отбивающегося и кричащего, я без чувств упала на пол. Тяжко взирать на гибель храбрых, но нет ужасней зрелища, чем трус, молящий о пощаде¹.

¹ Бентхарборское убежище представляло собой подземелье, вход в которое был искусно замаскирован колодцем. Оно хорошо сохранилось; любознательный турист может и сегодня через сложный лабиринт подземных коридоров проникнуть в общий зал, где, очевидно, и произошла сцена, описанная Эвис Эвергард. В глубине — камеры для заключенных и комната смерти, в которой происходили казни. Еще дальше кладбище — высеченные в твердой породе извилистые галереи, где в глубоких нишах, расположенных ярусами, лежат друг над другом останки умерших революционеров, похороненных здесь много лет назад.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОЛИГАРХА

Но воспоминания о старой жизни увлекли меня слишком далеко вперед, в новую жизнь. Массовое освобождение наших узников из тюрьмы произошло только в первой половине 1915 года. Сложнейшую операцию по устройству многочисленных побегов удалось провести сверх ожидания удачно, и этот большой успех придал нам уверенности и силы для дальнейшей работы. За одну только ночь на пространстве от Кубы до Калифорнии нам удалось освободить из тюрем, крепостей и военных узилищ всех наших депутатов, а также свыше трехсот других видных деятелей. У нас не было ни единого провала. Все узники не только бежали, но и благополучно достигли назначенных им убежищ. Одному только Артуру Симпсону не удалось увидеть свободу, он скончался в Кабань-ясской тюрьме после жестоких пыток.

Следующие полтора года были для нас с Эрнестом счастливейшей порой нашей жизни. Все это время мы были неразлучны. Впоследствии, когда мы вышли из нашего убежища, нам уже редко выпадало такое счастье. Я ждала в ту ночь Эрнеста с таким же нетерпением, с каким сейчас жду завтрашнего восстания. Мы бог весть как давно не видались, и мысли о возможной задержке, об ошибке, грозящей какими-нибудь осложнениями, доводили меня до безумия. Часы тянулись бесконечно. Я ждала одна. Биденбах и трое молодых товарищей, укрывавшихся в убежище, ушли, вооруженные с головы до ног, в горы, встречать Эрнеста. В ту ночь убежища, наверно, пустовали по всей стране.

Как только небо осветилось первым проблеском зари, раздался условный сигнал. Я ответила. В темноте я чуть не бросилась на шею Биденбаху, спустившемуся вниз первым. Но в следующее мгновение Эрнест уже сжимал меня в своих объятиях. И тут я почувствовала, что только усилием воли могу стать прежней Эвис Эвергард, воскресить ее улыбку, интонации, голос. Я уже не могла оставаться самой собой без постоянного напряжения памяти и воли, так прочно завладело мной новое существо, в которое мне удалось перевоплотиться.

В уединении нашей маленькой комнатки, при свете керосиновой лампы, я хорошенько вгляделась в Эрнеста. Не считая бледности, он почти не изменился. Это был он, мой возлюбленный муж, мой герой. Правда, черты его стали резче и суровее, но это скорее даже шло ему, это придавало отпечаток благородства и утонченности его лицу, дышавшему избытком энергии. В нем чувствовалась новая сосредоточенность, хотя в глазах попрежнему сверкали искорки смеха. Он потерял двадцать фунтов в весе, однако чувствовал себя превосходно. Усиленные занятия гимнастикой укрепили его мускулы, и они были как стальные. Он, пожалуй, казался даже здоровее, чем до тюрьмы.

Прошло много часов, прежде чем Эрнест согласился лечь отдохнуть. Я же, взволнованная и счастливая, и думать не могла о сне. Мне ведь не пришлось бежать из тюрьмы и долгие часы скакать на коне.

Пока Эрнест спал, я переделалась и изменила прическу, готовясь снова вернуться к той роли, которая стала для меня моим вторым «я». Как только Биденбах и наша молодежь проснулись, мы все вместе составили против Эрнеста маленький заговор. Мы уже обо всем уговорились и сидели в кухне, служившей нам и столовой, когда дверь отворилась и в комнату вошел мой муж. Биденбах, как было условлено, обратился ко мне с каким-то вопросом, называя меня Мери, и я ответила ему, в то же время поглядывая на Эрнеста с интересом, естественным для молодой особы, впервые увидевшей перед собой такую знаменитость. Эрнест бегло взглянул на меня и нетерпеливо осмотрелся. Я была представлена ему как Мери Холмс.

На стол был поставлен лишний прибор, и когда все расселись по местам, один стул оказался свободен. Увидев, что мой муж недоволен и еле сдерживает нетерпение, я готова была закричать от радости. Наконец, Эрнест не выдержал.

— Где моя жена? — спросил он напрямик.

— Спит еще, — отозвалась я.

Это была критическая минута, но я говорила измененным голосом, и Эрнест меня не узнал. Обед продолжался. Я болтала без умолку, изображая из себя экспансивную молодую особу, увлекающуюся знаменитостями и не стесняющуюся навязывать им свое поклонение. Наконец,

как бы не в силах совладать со своими чувствами, я вскочила с места, обняла Эрнеста и чмокнула его в губы. Надо было видеть при этом моего мужа. Опасливо отодвинув меня на расстояние вытянутой руки, он оглядывался по сторонам с видом величайшего недовольства и недоумения. Наши мужчины не выдержали и покатались со смеху. Начались объяснения, но Эрнест не сразу им поверил. Он долго вглядывался и то узнавал, то окончательно отказывался узнать меня. И только когда я стала прежней Эвис Эвергард и принялась нашептывать ему на ухо ласковые прозвища, которые знали на всем свете только я да он, Эрнест согласился признать меня своей милой женой.

Забавно, что в этот день он все как-то меня дичился и, наконец, решившись обнять, признался с великим смущением, что чувствует себя чем-то вроде двоеженца.

— Ты для меня теперь и Эвис и какая-то еще неведомая мне женщина,— говорил он, смеясь.— Выходит, что у меня не одна, а две жены,— можно сказать, целый гарем. Что ж, тем лучше. Если придется удирать из Америки, запишемся с тобой в турецкое подданство. Мы теперь для турок самая подходящая компания¹.

Для меня началась пора безоблачного счастья. Правда, работа отнимала целые дни, но это были дни, прожитые вместе с Эрнестом. Полтора года мы безраздельно принадлежали друг другу, не зная к тому же тягостного уединения, видя перед собой все новых и новых людей, рядовых революционеров и знаменитых деятелей, наблюдая причудливую перекличку голосов со всех участков фронта, слушая рассказы о еще более причудливых событиях — из мира революции и подпольной войны. Немало было даровано нам смеха и веселья. Мы были не сумрачными заговорщиками, отчужденными от мира. Нам выпало на долю много работать и много страдать и, сменяя павших в бою товарищей, неуклонно идти вперед,— но и труд, и борьба, и жизнь в непосредственной близости от смерти таили для нас немало светлых минут беспечного смеха и любви. К нам приезжали художники, ученые, му-

¹ В те времена в Турции было еще распространено многоженство.

зыканты и поэты. И в нашей пещере, в недрах земли, мы наслаждались культурой, куда более утонченной и высокой, чем та, которой кичились олигархи в своих пышных хоромаш и чудо-городах. Кстати, многие из приезжавших к нам участвовали в создании всего этого великолепия¹.

Мы не сидели взаперти в своей пещере. Часто по вечерам вся наша ватага отправлялась в горы на уиксоновских скакунах. Знал бы их владелец, скольких революционеров мчали на своей спине его лошади! Мы даже отваживались устраивать пикники в уединенных местах и, выехав до рассвета, возвращались домой поздно вечером. К нашим услугам были уиксоновские сливки и масло². Эрнест не отказывал себе в удовольствии пострелять уиксоновских зайцев и перепелов, а при случае не гнушался и молодым оленем.

Мы чувствовали себя в полной безопасности. Как уже сказано, только однажды к нам в убежище вторгся посторонний. Кстати, мой рассказ об этом впервые прольет свет на таинственное исчезновение молодого Уиксона, наделавшее в свое время столько шума. Теперь, когда его уже нет в живых, запрет с этой тайны может быть снят.

В нашей пещере было одно местечко, куда несколько часов в течение дня падали солнечные лучи. Мы натаскали туда речного гравия и устроили нечто вроде пляжика, где можно было полежать и погреться. Как-то я прикорнула здесь с томиком Менденхолла³ и незаметно задремала. Мне было так уютно и спокойно на моем ложе, что даже пла-

¹ Это не преувеличение. Весь цвет интеллектуального и артистического мира принадлежал к лагерю революции. За исключением нескольких музыкантов и певцов да кое-кого из олигархов, все выдающиеся таланты того времени, чьи имена дошли до нас, были революционерами.

² Масло и сливки изготавливались кустарным способом из коровьего молока. Химическая пищевая промышленность еще не была известна миру.

³ В дошедшей до нас литературе и личных документах того времени постоянно встречаются ссылки на стихи Рудольфа Менденхолла. Товарищи называли его «Факелом». Несомненно, это был замечательный поэт. Но, кроме отдельных изысканных, туманных строк, цитируемых другими авторами, ничего из его произведений до нас не дошло. Казнен Железной пятой в 1928 году хр. эры.

менные строфы этого вдохновенного поэта не могли развеять мою дремоту.

Разбудил меня ком земли, упавший мне на ноги. Очнувшись, я услышала, что кто-то спускается вниз. Минута — и какой-то юноша, съехав с отвесной кручи, очутился передо мной. Это был молодой Филипп Уиксон — тогда я, конечно, этого не знала. Увидев меня, он не растерялся и только присвистнул от удивления.

— Однако, — пробормотал он и, сняв с головы шляпу, вежливо добавил: — Простите, я не рассчитывал кого-нибудь здесь найти.

Я не так спокойно, как он, отнеслась к этой встрече. Мой опыт конспиратора был еще невелик, и я легко терялась в трудных обстоятельствах. Впоследствии, в присвоенной мне роли международного шпиона, я, разумеется, не ударила бы лицом в грязь. Но тут я сразу вскочила и выкрикнула условный сигнал, предупреждающий об опасности.

— Что это значит? — Уиксон посмотрел на меня испытующе. Видно было, что, спускаясь, он и не подозревал о нашем существовании, и я свободно вздохнула.

— А вы как полагаете? — спросила я в ответ. Находчивостью я, как видите, не отличалась.

— Кто вас знает, — пробурчал он, покачивая головой. — Может, у вас тут сообщники. Но придется вам ответить за это. Мне эта история определенно не нравится. Вы забрались в чужие владения. Это поместье моего отца и...

В эту минуту голос Биденбаха, как всегда вежливый и спокойный, негромко произнес за моей спиной:

— Руки вверх, молодой человек!

Уиксон послушно поднял руки и повернулся к Биденбаху, который направил на него в упор тяжелый маузер.

Уиксон был не робкого десятка.

— Ого! — сказал он. — Да вас тут шайка революционеров. Осиное гнездо, как я погляжу. Ну, долго вы тут не засидитесь, смею вас уверить.

— Может быть, вы измените свое мнение, молодой человек, когда поближе с нами познакомитесь, — спокойно

возразил Биденбах.— Во всяком случае прошу вас следовать за мной.

— Это куда же еще? — удивился Уиксон.— Что у вас тут, катакомбы? Мне приходилось слышать о таких вещах...

— А вот пойдемте, увидите,— сказал Биденбах.

— Вы не имеете права...— вскипел его пленник.

— С вашей точки зрения,— многозначительно возразил террорист.— А с нашей—имеем. Придется вам привыкнуть к тому, что здесь на все смотрят иначе, чем в мире насилия и жестокости, где вы жили до сих пор.

— Ну, это спорный вопрос,— пробормотал Уиксон.

— Вот мы и поспорим с вами, время у нас найдется.

Молодой человек рассмеялся и последовал за своим конвоиром в дом. Мы оставили его под наблюдением в одной из маленьких комнат, а сами собрались в кухне для совещания.

Биденбах со слезами на глазах сказал, что молодого Уиксона придется убрать, и был очень рад, когда мы большинством голосов провалили это жестокое предложение. С другой стороны, отпустить молодого олигарха на все четыре стороны мы тоже не могли.

— Давайте оставим малого у себя и займемся его воспитанием,— предложил Эрнест.

— В таком случае, с вашего разрешения, я хотел бы стать его наставником в вопросах юриспруденции,— воскликнул Биденбах.

Так, смеясь, мы и приняли это решение. Филипп Уиксон должен был остаться у нас для прохождения курса социологии и социалистической морали. А между тем нас ждала другая, более неотложная задача: надо было уничтожить следы неудачного путешествия молодого олигарха на дно пещеры — одна стена была сильно изрыта обвалом. Эта работа досталась Биденбаху. Обвязавшись веревкой, он целый день равнял и выглаживал почву скребком. Так же тщательно были уничтожены все следы, ведущие к нам по тропинке. И, наконец, явился Карлсон и потребовал у нас башмаки Уиксона.

Молодой олигарх не пожелал разуваться и чуть было в драку не полез, но при ближайшем знакомстве с желез-

ными пальцами Эрнеста — пальцами кузнеца — сменил гнев на милость. Карлсон натер на ногах волдыри и содрал немало кожи тесной обувью своего молодого хозяина, но зато поработал на славу. Шагая в башмаках Уиксона от того места, где обрывались следы, он свернул налево и, то обходя холмы, то поднимаясь на кручи и спускаясь в лощины, прошел несколько миль, пока не скрыл следы в водах бурного ручья. Здесь он снял башмаки и большую часть обратного пути проделал босиком. Только неделю спустя мы вернули Уиксону его башмаки.

К вечеру в парке были спущены собаки-ищейки, и нам уже не пришлось спать в эту ночь. На следующий день собаки то и дело рыскали по нашему ущелью, но, сбитые с толку следами Карлсона, убегали влево, и лай их постепенно удалялся и замирал высоко в горах. Все это время наши мужчины стояли наготове в полном вооружении, с револьверами и винтовками; нечего и говорить, что мобилизованы были все адские машины, изготовленные Биденбахом. Можно себе представить, как изумился бы спасательный отряд, если бы он все-таки попал в нашу пещеру.

Я рассказала здесь о подлинных обстоятельствах исчезновения Филиппа Уиксона, некогда принадлежавшего к классу олигархов, впоследствии верного сына революции, потому что мы в конце концов перевоспитали его. Это был юноша с восприимчивым, гибким умом и неиспорченной душой. Несколько месяцев спустя, сев на лошадей из конюшни его отца, мы вместе с ним перевалили через Соному и спустились к устью Петалумы, где нас принял на борт небольшой рыбацкий баркас. С величайшими предосторожностями переезжая с одной стоянки на другую, мы перебрались в Кармел, в тамошнее убежище.

Здесь Уиксон прожил с нами еще восемь месяцев, а потом и сам не захотел с нами расстаться. На это у него были две причины. Во-первых, он, как и следовало ожидать, влюбился в Анну Ройлстон; во-вторых, стал социалистом. И только окончательно удостоверясь в безнадежности своей любви, он исполнил наше желание и вернулся в отчий дом.

Продолжая считаться для внешнего мира олигархом, Филипп Уиксон на самом деле был одним из ценнейших наших агентов во вражеском лагере. Недаром олигархи так часто становились в тупик перед неожиданным крушением своих замыслов и планов. Если бы они знали, как велико число наших сторонников в их рядах, им не пришлось бы удивляться. Всю свою жизнь Филипп Уиксон был свято верен великому делу революции. Эта преданность стоила ему жизни. В 1927 году, во время ужаснейшей бури, он отправился на собрание социалистических руководителей, простудился и заболел воспалением легких, которое и свело его в могилу¹.

Глава двадцать первая

РЕВУЩИЙ ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ

За время долгого пребывания в убежище мы не отрывались от внешнего мира и достаточно ясно представляли себе всю мощь режима, с которым находились в состоянии войны. Кончился период ломки и перехода на новые рельсы и теперь, оформившись и окрепнув, новые учреждения Железной пяты приобрели все признаки устойчивости и постоянства. Олигархии удалось создать всеобъемлющий, разветвленный государственный аппарат, и машина эта исправно работала, несмотря на все наши попытки затормозить, затруднить ее ход.

Для многих наших товарищей это было полнейшей неожиданностью. Они даже не представляли себе такой возможности. И тем не менее жизнь в стране шла своим чередом. Люди продолжали трудиться на полях и в недрах земли. Но теперь они были рабами. Ведущие отрасли промышленности процветали. Рабочие, члены привилегированной касты, жили припеваючи и усердно трудились.

¹ Эпизод с молодым Уиксоном не был по тем временам чем-то из ряда вон выходящим. Немало молодых олигархов, исходя из чисто моральных побуждений или под влиянием революционных идей, посвятило свою жизнь борьбе за правое дело. Так и сыны русского дворянства сыграли заметную роль в революционном движении своей страны на его более раннем этапе.

Впервые, после неурядиц промышленной войны, они вкусили мир. Кончился вечный страх перед безработицей, кончились стачки, локауты, гонения на профсоюзы. Они жили в удобных домах, в специально для них построенных уютных поселках, которые казались им сущим раем по сравнению с трущобами и грязными гетто, где они раньше ютились. Теперь они лучше питались, меньше работали, чаще отдыхали, в их обиходе появились новые интересы и развлечения. О своих братьях и сестрах, гонимых париях, злосчастных обитателях бездн, они и думать забыли. В человеческом обществе начиналась новая эра — эра эгоизма. И все же это было верно лишь до известной степени. Рабочие касты были густо прослоены нашими сторонниками, людьми, для которых шкурнические интересы не заслоняли светлых идеалов свободы и братства.

Другим важным учреждением, принявшим устойчивую форму и работавшим без заминки, была армия наемников. Она возникла из старой регулярной армии и насчитывала миллион солдат, помимо колониальных войск. Наемники были особым сословием. Они жили в специально отведенных им городах, которыми сами управляли, и пользовались множеством других привилегий. Немалая доля чудовищных прибылей Железной пяты уходила на их содержание. Утрачивая постепенно всякую связь с народом, они вырабатывали свое классовое самосознание, свою классовую мораль. Но и среди них было множество наших приверженцев¹.

Надо сказать, что и олигархи прошли некий путь развития, столь же примечательный, сколь и неожиданный. Они создали у себя жесткую классовую дисциплину. У всех у них были общественные обязанности, которые строго выполнялись. Вывелась порода богатых бездельников. Каждый олигарх по мере своих сил содействовал укреплению объединенной мощи олигархии. Они

¹ К концу существования Железной пяты наемники стали влиятельной силой. В борьбе между рабочими кастами и олигархией, в этой непрестанной смене интриг и заговоров, они играют роль третьей стороны, бросая свой меч то на ту, то на эту чашу весов.

занимали командные посты в армии и промышленности, овладевали техническими знаниями и становились дельными, а подчас и выдающимися инженерами. Они заполняли многочисленные государственные должности, служили в колониях, десятками тысяч работали в тайной полиции. Их, можно сказать, в обязательном порядке обучали богословию, естествознанию и другим наукам, прививали им вкус к литературе и искусствам. И во всех этих областях они выполняли важнейшую для себя задачу — внушать всей нации идеи, способствующие увековечению олигархии.

Их учили, а впоследствии и сами они учили, что правда и добро на их стороне. С детства им прививали аристократические представления о своей классовой исключительности, они всасывали их с молоком матери. Олигархи смотрели на себя, как на укротителей зверей, как на властителей человеческого стада. Почву под их ногами сотрясали подземные толчки народного возмущения. Призрак насильственной смерти гнался за ними по пятам. Бомбы, ножи и пули были для них клыками и когтями ревушего зверя из бездны, которого необходимо укротить для спасения человечества. Они и полагали себя спасителями человечества, самоотверженно ведущими его к высокой цели.

Как класс, они считали себя единственными носителями цивилизации. Они верили, что стоит им ослабить узду, как их поглотит разверстая пасть первобытного зверя, а вместе с ними погибнет вся красота, и радость, и благо жизни. Без них водворится анархия и человек вернется в первобытную ночь, из которой он с таким трудом выбрался. С детских лет их пугали этой картиной грядущей анархии, и, одержимые страхом, они и сами пугали ею своих детей: вот зверь, которого должно держать в повиновении, и высшая миссия аристократии в том, чтобы держать его под пятой. Короче говоря, только они, по их представлениям, ценой неустанных трудов и жертв способны были защитить бессильный род людской от всепожирающего зверя; и они верили этому, верили непоколебимо.

О присущей классу олигархов уверенности в своей правоте надо очень и очень помнить. В этом-то и сила

Железной пяты,— чего некоторые наши товарищи не пожелали или не сумели увидеть. Многие усматривали силу Железной пяты в ее системе подкупа и наказаний. Но это ошибка. Небо и ад могут быть решающими стимулами в религиозном рвении фанатиков; для огромного же большинства верующих небо и ад — лишь производные их представлений о добре и зле. Любовь к добру, стремление к добру, неприятие лжи и зла — короче говоря, служение добру и правде всеми делами и помыслами — вот основной стимул всякой религии. Нечто подобное видим мы и на примере олигархии. Тюрьмы, изгнание и поношение, почести, дворцы и чудо-города — в их системе лишь производное. Основная сила олигархов — уверенность в своей правоте. Разумеется, существуют исключения; ясно также, что власть Железной пяты основана на угнетении и лжи. Все это так. Но для нас важно то, что сегодня сила Железной пяты заключается в самодовольном утверждении собственной правоты¹.

Но разве революция за последние страшные двадцать лет не черпала силы единственно лишь в сознании своей правоты? Чем иначе объясните вы наш нескончаемый список мучеников и жертв! Разве не этой верой проникнут подвиг Рудольфа Менденхолла, погибшего за революцию и посвятившего ей свою лебединую песнь? Разве не она побудила Гулберта предпочесть предательству смерть под пыткой? Не она ли заставила Анну Ройлстон отказаться от радостей материнства? Не она ли подвигнула Джона Карлсона на его верное, бескорыстное служение скромным сторожем при глен-элленском убежище? Да и к кому бы вы ни обратились из тех, кто предан революции, будь то юноша или старик, женщина или мужчина, мудрец или

¹ Из эклектической мешанины, характеризующей капиталистическую мораль, возникла новая этика олигархов, последовательная и четкая, суровая и непреклонная, в высшей степени нелепая и вздорная и в то же время представляющая собой необычайно действенное орудие, каким не располагал еще ни один из классов-тиранов. Олигархи твердо верили в силу своей этики, хотя она противоречила всем законам эволюции и биологии, и эта вера позволяла им на три века задержать могучее движение человеческого прогресса. Для метафизика это — парадоксальное и непонятное обстоятельство; материалиста же оно заставляет над многим призадуматься и кое-что пересмотреть в своих взглядах.

невежда, вождь или скромный рядовой,— все они движимы одной силой — великим, неугасимым стремлением к истине и добру.

Однако я слишком отклонилась от своего рассказа.

Мы с Эрнестом еще до выхода из подполья понимали, в чем заключается сила Железной пяты. С одной стороны, рабочие касты, наемники, полчища тайных агентов, полиция всех видов и оттенков — все это преданно служило Железной пяте; об утерянной свободе они не горевали, и жилось им в общем лучше, чем раньше. С другой стороны, огромнейшие массы населения — обитатели бездны — все больше погружались в скотскую апатию смирения и безнадежности. Когда среди них появлялись сильные личности, выделявшиеся из общей массы, олигархия переманивала их к себе и включала в ряды привилегированных рабочих или наемников. Так заранее приглушался всякий протест и пролетариат терял тех, кто мог стать его вождями.

Положение обитателей бездны было крайне тяжелым. Обязательное школьное обучение на них не распространялось. Они жили, как скот, в огромных грязных рабочих гетто, обреченные на нищету и вырождение. Все их старинные привилегии были отняты. Труд стал для них повинностью рабов. Они лишены были права выбирать себе работу, свободно передвигаться по стране, хранить или носить оружие. Если фермеры превратились в невольников, прикрепленных к земле, то рабочие прикреплялись к машинам, к производству. Когда в рабочих руках появлялась особая надобность, как при строительстве шоссежных дорог и авиационных линий, каналов, туннелей, метро и военных укреплений, в рабочих гетто производили насильственный набор, и десятки тысяч пролетариев — хочешь не хочешь — следовали к месту своего назначения. Вот и сейчас целые армии согнаны на строительство Ардиса. Их разместили в общих бараках, где семейная жизнь невозможна, где быстро отмирает всякое представление о приличии и царят скотские нравы. Поистине, в рабочих гетто притаился ревуший зверь из бездны — тот зверь, которого олигархи так страшатся. Но они сами его создали, сами разбудили и поддерживают в нем инстинкты тигра и обезьяны.

Объявлено, что предстоит новый набор для строительства Эсгарда — чудо-города, который должен намного превзойти Ардис, даже когда последний будет окончательно завершен¹. Мы, революционеры, намерены продолжать это строительство, но оно будет выполняться не руками угрюмых, измученных рабов. Стены, башни и колонны прекрасного города вознесутся ввысь под звуки радостных песен, и его блеск и красота будут напоминать не о стонах и проклятиях, а о музыке и веселии.

Эрнест рвался в широкий мир, чтобы принять участие в подготовке нашего злополучного Первого восстания, которое было впоследствии разгромлено в Чикаго. Приготовления к нему шли полным ходом. Однако Эрнесту пришлось вооружиться терпением, и, пока Хедли, специально для этой цели привезенный из штата Иллинойс, производил над ним свои манипуляции, долженствовавшие превратить его в другого человека², Эрнест, на тот случай, если восстание закончится неудачей, вынашивал грандиозные планы пропаганды революционных идей

¹ Строительство Ардиса было завершено в 1942 году, строительство Эсгарда — только в 1984 году хр. эры. Всего Эсгард строился пятьдесят два года. В работе принимала участие постоянная полумиллионная армия рабов. Временами число их превышало миллион, не считая сотен тысяч рабочих из привилегированных каст и множества архитекторов и художников.

² Среди революционеров было немало талантливейших хирургов, совершавших в своей области чудеса. По свидетельству Эвис Эвергард, им ничего не стоило превратить пациента в другого человека. Такие косметические операции, как удаление рубцов, родимых пятен или бородавок, было для них самым простым делом. Все эти операции они производили необычайно искусно, не оставляя ни малейших следов своей работы. Излюбленным объектом для этого рода хирургии был нос. Никаких трудностей не представляла также пересадка кожи или волосяного покрова. Паразитного эффекта достигали они в изменении выражения лица. Глаза, брови, рот, уши переделывались до неузнаваемости. Посредством искуснейших манипуляций в области гортани и горла, а также в полости носа и рта совершенно менялся голос человека, его артикуляция и произношение. Необычайные времена вызывают необходимость в необычайных средствах, и хирургия эпохи революции прекрасно справлялась с выпавшей на ее долю задачей. Среди прочих своих достижений она умела менять рост человека — либо увеличивая его на четыре-пять дюймов, либо укорачивая дюйма на два. Это искусство для нас утеряно, да мы в нем и не нуждаемся.

среди сознательных рабочих, а также планы распространения среди обитателей бездн хотя бы начатков образования.

Только в январе 1917 года удалось нам оставить убежище. Друзья заранее обеспечили мне и Эрнесту возможность легального существования. Мы были зачислены на службу к Железной пяте в качестве тайных агентов. Я считалась сестрой Эрнеста. С помощью товарищей, занимавших влиятельные посты среди олигархов, нам достали необходимые бумаги. При поддержке властей сделать это было нетрудно, ибо в зыбком, двойственном мире разведки человек становился тенью. Тайные агенты появлялись и исчезали, подобно призракам: они выполняли свои обязанности, повиновались распоряжениям, выслеживали, выпытывали и отчитывались перед начальством, хотя никогда, быть может, в глаза его не видели, и сотрудничали с другими агентами, которых видели, быть может, в первый и последний раз.

Глава двадцать вторая **ЧИКАГСКОЕ ВОССТАНИЕ**

Работа провокаторов была связана с разъездами. Кроме того, по своему характеру она требовала постоянного общения с революционерами и рабочими. Это позволяло нам находиться одновременно в двух лагерях и, числясь агентами Железной пяты, отдавать все силы служению революции. Так было не только с нами. Чуть ли не повсюду в тайной полиции Железной пяты сидели наши люди, и никакими перетрясками и перестройками нельзя было окончательно от нас избавиться.

Первое восстание, назначенное на весну 1918 года, было задумано Эрнестом чрезвычайно широко. Осенью 1917 года подготовка была в самом разгаре. Много еще оставалось сделать, и начать восстание до срока — значило бы обресть его на неудачу. Наши планы, естественно, отличались большой сложностью, и всякая поспешность могла оказаться для нас роковой. Это понимали и олигархи, и сообразно с этим они и действовали.

Мы рассчитывали первым ударом поразить нервные центры противника, парализовав все его органы. После всеобщей забастовки Железная пята не доверяла телеграфу, и по всей стране были возведены станции беспроводного телеграфа, порученные охране наемников. Мы со своей стороны парировали этот ход. По данному сигналу самые надежные товарищи в городах, поселках и казармах, а также в многочисленных убежищах должны были начать революционные действия повсеместным взрывом станций беспроводного телеграфа. Этим мы надеялись сковать Железную пята, обречь ее на вынужденное бездействие.

В это же время другие группы должны были приступить к взрыву туннелей и мостов и разбору рельсовых путей, чтобы привести в расстройство все железнодорожное движение. По тому же сигналу должны были начаться аресты офицеров наемных войск и полиции, а также видных деятелей олигархии и их прислужников. Этим рассчитывали обезглавить противника в боях, которые должны были разгореться по всей стране.

Многое должно было произойти по тому же сигналу. Канадские и мексиканские патриоты, силы которых, кстати сказать, недооценивались Железной пятой, должны были проделать то же самое у себя. Предполагалось, что часть товарищей (женщины по преимуществу, у мужчин найдутся другие задачи) займется расклейкой прокламаций, заготовленных в подпольных типографиях. Наши агенты, занимающие высокие посты в аппарате Железной пяты, посеют анархию и беспорядок в своих ведомствах. Засланные в ряды наемной армии тысячи социалистов взорвут склады боеприпасов и дезорганизуют военную машину. Беспорядок и анархия будут распространены и на города наемников и рабочих каст.

Словом, олигархию ждал внезапный и ошеломляющий удар. Предполагалось, что он окажет такое действие, от которого она уже не опомнится. Разумеется, предстояли бедствия и лишения; мы знали, что будет пролито много крови. Но может ли это остановить революционеров! Мы отводили в своих планах место и стихийному восстанию обитателей бездн: пусть гнев их обрушится на города и дворцы олигархов. Не беда, если это приведет

к человеческим жертвам и уничтожению ценного имущества! Пусть ярится зверь из бездны, и пусть свирепствуют полицейские и наемники. Зверь из бездны все равно будет ярится, полицейские и наемники все равно будут свирепствовать. И те и другие опасны для революции, лучше им обратиться друг против друга. А мы тем временем займемся своим делом — захватом и освоением государственной машины.

Таков был план, тайно разработанный во всех деталях и по мере приближения срока сообщаемый все большему числу участников. Мы понимали, насколько расширение круга посвященных для нас опасно. Но на самом деле опасность угрожала нам с другой стороны. Через свою сеть подсланных шпионов Железная пята узнала о готовящемся восстании, и нам решили преподать еще один кровавый урок. Местом расправы был избран Чикаго, и урок мы получили основательный.

Из американских городов Чикаго¹ наиболее созрел для революции. Если и раньше его именовали «городом на крови», то теперь ему вновь предстояло заслужить это название. В жителях Чикаго сильна революционная закваска. Здесь было подавлено столько забастовок, что пролетариат не мог этого ни забыть, ни простить. Даже рабочие касты Чикаго еще не растеряли революционных традиций. Слишком много было пролито крови и разнесено черепов во время последних забастовок. Как ни изменились к лучшему условия их жизни, ненависть к господствующему классу все еще тлела в их сердцах. Духом возмущения были охвачены даже наемники. Три полка в полном составе только и ждали сигнала, чтобы перейти на нашу сторону.

¹ Чикаго был промышленной преисподней XIX века. Сохранился забавный анекдот, связанный с именем некоего Джона Бернса, видного рабочего лидера, одно время входившего в английское правительство. Во время его пребывания в Америке какой-то репортер спросил, как ему понравился Чикаго. «Чикаго — это ад в миниатюре», — отвечал гость. Прошло некоторое время, и приезжий собрался домой в Англию. Когда он сел на пароход, другой репортер спросил, не изменил ли он свое мнение о Чикаго. «Да, я изменил его», — последовал ответ. — Теперь я склонен думать, что ад — это Чикаго в миниатюре».

Чикаго всегда был горнилом революции, полем битвы между трудом и капиталом. Это был город уличных боев, где насильственная смерть была частой гостьей, где классово-сознательным организациям капиталистов противостояли классово-сознательные организации рабочих, где даже школьные учителя были давно объединены в профсоюзы и, наравне с малярами и каменщиками, входили в Американскую федерацию труда. И вот Чикаго стал ареной преждевременного разразившегося восстания.

Беспорядки были спровоцированы Железной пятой. Тут действовал хитрый расчет. С некоторых пор олигархи стали вести себя с населением вызывающе, не делая исключения даже для привилегированных рабочих каст. Обещания и соглашения открыто нарушались, за ничтожные провинности налагались суровые взыскания. Все усилия были направлены на то, чтобы раздражить зверя из бездны, вывести его из обычного состояния апатии. Железной пяте явно не терпелось услышать его рев. А о мерах для охраны города почему-то забывали,— в этом отношении Железная пята стала вдруг проявлять несвойственное ей легкомыслие. Среди наемников заметно упала дисциплина, и много полков было выведено из Чикаго и отправлено на новые квартиры во все концы страны.

Вся эта программа была выполнена за короткий срок — всего несколько недель. До нас, революционеров, доходили кое-какие слухи, ничего толком не объяснявшие. Мы видели в чикагских неурядицах скорее проявление стихийного протеста, который до поры до времени следует придержать. Никому и в голову не приходило, что кто-то втихомолку разжигает эти настроения в городе,— все делалось в строжайшей тайне и по указанию таких высоких инстанций, что к нам не просочилось ни единого намека. Словом, встречный маневр Железной пяты был умело подготовлен и умело выполнен.

Я находилась в Нью-Йорке, когда получила приказ немедленно выезжать в Чикаго. Человек, говоривший со мной,— я не знаю его имени и не видела его лица,— судя по голосу и тону, был олигархом. Приказ был настолько ясен, что не оставлял места ни для каких сомнений: наш заговор раскрыт, и под нас подводится контрмина. Остается лишь поднести запал,— целая армия агентов

Железной пяты, как местных, так и присланных издалека, в том числе и я, должна заняться этим и произвести взрыв. Смею думать, что под испытующим взором олигарха я ничем себя не выдала, а между тем сердце готово у меня было выскочить из груди. Я еле удерживалась, чтобы не броситься на этого сатрапа и не вцепиться ему в горло, пока он хладнокровно отдавал мне свои напутственные распоряжения.

Оказавшись, наконец, одна, я рассчитала время. До ухода поезда у меня оставались буквально минуты, чтобы повидаться, если посчастливится, с кем-нибудь из здешних лидеров. Убедившись, что за мной не следят, я помчалась в больницу неотложной помощи. По счастью, главный врач Гелвин оказался на месте и немедленно меня принял. Я только что начала, задыхаясь, свой рассказ, как он прервал меня.

— Знаю,— сказал он спокойно, хотя в его выразительных глазах ирландца вспыхивали молнии.— И догадываюсь, зачем вы пришли. Мне рассказали все четверть часа назад, и я уже доложил кому следует. Всеми силами постараемся хоть здесь удержать товарищей от выступлений. Чикаго придется пожертвовать. Хорошо еще, если дело обойдется одним Чикаго.

— А вы пробовали телеграфировать? — спросила я.

Он покачал головой.

— Всякая связь прервана. Город полностью отрезан. Там будет ад крошечный...

Он замолчал, его тонкие белые пальцы судорожно сжимались и разжимались.

— Клянусь жизнью, я дорого бы дал, чтобы быть там! — вырвалось у него со вздохом.

— А может, не поздно и еще удастся что-то сделать,— сказала я.— Если с поездом ничего не случится, я могу оказаться там во-время. А нет, так подоспеет другой товарищ, посланный за тем же...

— Как же вы все прозевали это? — укоризненно спросил Гелвин.

Я опустила голову.

— Все держалось в строжайшем секрете,— виновато сказала я.— До сегодняшнего дня знали только наверху, а у нас там еще нет никого, вот и прохлопали. Конечно,

если бы Эрнест был здесь... Впрочем, возможно, он в Чикаго, и тогда все будет в порядке.

Доктор Гелвин с сомнением покачал головой.

— Насколько я слышал, его услали не то в Бостон, не то в Нью-Хэвен. Секретная служба, как я понимаю, страшно связывает его. Но это все же лучше, чем торчать в убежище.

Я заторопилась, и Гелвин крепко пожал мне руку на прощанье.

— Не падайте духом,— напутствовал он меня,— если наше восстание и кончится неудачей. После первого будет второе. И уж в следующий раз мы не ошибемся. Прощайте, желаю вам удачи. Кто знает, придется ли нам еще свидеться. Там будет ад крошечный. Но я отдал бы десять лет жизни, чтобы оказаться на вашем месте.

«Двадцатый век»¹ отходил из Нью-Йорка в шесть часов вечера и прибывал в Чикаго на другой день в семь утра. Но в эту ночь он запаздывал. Перед нами все время шел какой-то другой состав. Моим соседом в пульмановском вагоне оказался товарищ Хартмен, работавший в разведке Железной пяты на одном со мной положении. Он и рассказал мне о поезде, идущем впереди. Это был такой же состав, как у нас, но он шел порожняком, без пассажиров. Очевидно, боялись, что на «Двадцатый век» готовится покушение и в этом случае пострадать должен был пустой состав. Возможностью катастрофы объяснялось и то, что в поезде было не много пассажиров, по крайней мере в нашем вагоне их было раз, два и обчелся.

— С нами едут какие-то важные особы,— сообщил мне Хартмен.— Вы заметили? Сзади прицепили салон-вагон.

Был уже вечер, когда мы прибыли на какую-то большую станцию, где впервые сменялся паровоз. Я вышла на перрон подышать свежим воздухом и осмотреться и, проходя мимо салон-вагона, заглянула в открытое окно. Хартмен был прав. Мне сразу же бросился в глаза генерал Альтендорф, а с ним еще две знакомые фигуры: Мэзон и Вандерболд, члены главного штаба разведывательной службы Железной пяты.

¹ Курьерский поезд, который тогда считали самым быстроходным в мире; некоторое время он привлекал к себе общее внимание.

Ночь выдалась тихая, лунная, но на душе у меня было беспокойно, и я ни на минуту не сомкнула глаз. Наконец, в пять утра я оделась и вышла в коридор.

Горничная в туалетной на мой вопрос сообщила, что мы опаздываем на два часа. Это была мулатка с измученным лицом и ввалившимися глазами. Взгляд их выражал растерянность и затаенный страх.

— Что с вами? — спросила я.

— Ничего, мисс. Это от бессонной ночи, — ответила она.

Я посмотрела на нее внимательно и подала условный сигнал. Ответ не замедлил последовать, и после обычных вопросов я убедилась, что она своя.

— В Чикаго готовится что-то ужасное, — рассказала она мне. — Вы знаете, что впереди совершенно пустой поезд? Из-за него, да и из-за воинских эшелонов мы и опаздываем.

— Воинские эшелоны? — переспросила я.

Она утвердительно кивнула головой.

— Все пути забиты ими. А сколько мы обогнали ночью! И подумать только, что все они направляются в Чикаго. Говорят, войска доставляются даже по воздуху. Значит, дело нешуточное.

— У меня жених в наемных войсках, — добавила она, точно оправдываясь. — Он там от наших, и я очень боюсь...

Бедная девушка! Ее жених служил в одном из полков, готовившихся перейти на нашу сторону.

Мы с Хартменом отправились в вагон-ресторан завтракать, и я с трудом заставила себя проглотить что-нибудь. Теперь небо хмурилось, и поезд с грохотом неся вперед, разрывая седую пелену утреннего тумана. Хартмен в это утро склонен был видеть все в черном свете.

— Ну, что тут можно сделать? — повторял он в двадцатый раз, угрюмо пожимая плечами. Он показал на окно. — Видите, все наготове. Могу вас уверить, то же самое у них по всем дорогам, ведущим в Чикаго, на расстоянии тридцати — сорока миль от города.

Он говорил о воинских эшелонах, стоявших на всех запасных путях. Вдоль насыпи, вокруг костров, расположились солдаты, готовившие себе завтрак. Они с любо-

пытством поднимали голову, провожая глазами грохочущий поезд, пронесившийся мимо с бешеной скоростью.

Когда мы въезжали в Чикаго, там царило полное спокойствие. Видимо, в городе еще ничего не произошло. На пригородных станциях появились в вагоне утренние газеты. В них не было ничего тревожного; и все же тому, кто умеет читать между строк, было над чем призадуматься. Чуть ли не за каждым словом скрывались тайные происки Железной пяты. Повсюду были рассеяны намеки, наводившие на мысль о слабости и растерянности в рядах олигархов. Разумеется, нигде это не было сказано открыто, но так, что читатель волей-неволей проникался этой мыслью. Это была тонкая работа. Утренние газеты от 27 октября можно было бы назвать шедевром мистификации.

Местная хроника отсутствовала — это тоже было весьма ловким ходом. Жизнь города как бы окутывалась тайной, — можно было подумать, что олигархия не решается сказать правду жителям Чикаго. Зато отсутствие городских вестей восполнялось туманными сообщениями о беспорядках, якобы вспыхнувших по всей стране, причем лживые сведения эти, для отвода глаз, сопровождались успокоительными заверениями властей о том, что повсюду приняты меры для усмирения бунтовщиков. Говорилось о взрывах многочисленных станций беспроводного телеграфа; мало того, за поимку виновников предлагались крупные награды. На самом деле ни одна станция не была взорвана. Сообщалось и о других случаях того же характера, предусмотренных нашими тайными планами. Словом, газеты были составлены с таким расчетом, чтобы навести наших чикагских товарищей на мысль, будто восстание уже началось, хотя и не повсюду оно протекает благоприятно. Трудно было, не зная всей подоплеки дела, уберечься от ловушки, трудно было не вообразить — мало того, увериться, что в стране назрела революция и восстание идет полным ходом.

Далее в газетах сообщалось, будто бы волнения среди наемников в Калифорнии настолько серьезны, что пришлось расформировать с полдюжины полков и перевезти мятежников вместе с их семьями в рабочие гетто. А между тем калифорнийские полки были самыми лояльными. Но

могли ли это знать отрезанные от всей страны жители Чикаго? Паническая телеграмма из Нью-Йорка сообщала, что там к восставшему населению примкнули рабочие касты. Впрочем, конец телеграммы был сформулирован в успокоительных тонах (очевидно, в надежде на то, что это будет принято за надувательство): войска якобы овладели положением и в городе водворяется порядок.

Эта тактика проводилась олигархами не только в печати. Как мы узнали впоследствии, провокационные слухи распространялись и другими путями. Так, первую половину ночи олигархи отправляли по различным адресам секретные телеграммы того же содержания с явным расчетом, что они станут известны в революционном лагере.

— Повидимому, тут и без нас обошлись,— сказал Хартмен, складывая газету, когда поезд подошел к главному вокзалу.— Не понимаю, зачем мы им понадобились. У Железной пяты дела идут блестяще. В городе вот-вот начнется резня.

Выходя из вагона, он оглянулся на хвост поезда.

— Так и есть,— пробормотал он себе под нос.— Вагон отцепили, как только были получены утренние газеты.

У Хартмена был такой убитый вид, что я невольно старалась его подбодрить. Но он не обращал на меня внимания, а когда мы проходили через вокзал, вдруг торопливо заговорил, понизив голос.

— У меня давно были подозрения,— начал он довольно бессвязно,— но ничего определенного, и я молчал. Я уже больше месяца бьюсь над этим, и пока все в том же положении — ничего определенного. Берегитесь Ноултона! Я ему не верю! Ноултону известны десятки убежищ, жизнь сотен товарищей в его руках,— а между тем он, повидимому, предатель. По крайней мере у меня такое чувство, хотя доказательств никаких нет. С некоторых пор с ним что-то произошло — какая-то перемена. Боюсь, что он собирается совершить предательство, если уже не совершил. Я почти убежден... Не следовало бы говорить на авось, но у меня чувство, что живым из Чикаго мне не выбраться. Выследите Ноултона... выведите его на чистую воду. Больше я ничего не знаю. Это просто подозрение. Фактов у меня никаких.

Мы вышли на вокзальную площадь.

— Помните,— сказал мне Хартмен в заключение.— Надо установить за Ноултоном слежку.

Хартмен оказался прав. Не прошло и месяца, как Ноултон заплатил жизнью за предательство. Приговор был вынесен и приведен в исполнение революционерами города Милуоки.

Повсюду царила тишина, зловещая тишина. Казалось, город вымер. На улице не было обычной суеты и движения. Даже извозчики не показывались. Трамваи не шли, не действовала и воздушная железная дорога. Лишь изредка попадались одинокие прохожие, но и они не задерживались на пути, не озирались по сторонам. Все шло торопливо, спеша поскорее добраться до дому, и вместе с тем неуверенно, словно боясь, что дома вот-вот упадут и придавят их своей тяжестью или тротуар провалится под их ногами, а то еще, пожалуй, взлетит на воздух. Я все же заметила несколько мальчишек, возбужденно шнырявших по улице, повидимому в ожидании каких-то интересных, увлекательных событий.

Откуда-то из южной части города донеслось глухое уханье взрыва, и опять все смолкло. Мальчишки замерли на месте и долго стояли не шелохнувшись, тревожно вслушиваясь в тишину, словно молодые олени. Подъезды домов были заперты, окна магазинов наглухо закрыты тяжелыми ставнями. Некоторое оживление вносили полицейские и дворники, во множестве торчавшие на углах и в подворотнях, да пронесившиеся по мостовой автомобили с отрядами наемников.

Мы с Хартменом решили, что нет никакого смысла являться в местное отделение разведки. Это служебное упущение можно будет потом объяснить беспорядками в городе. Мы направились к огромному рабочему гетто, расположенному в южной части города, рассчитывая найти там кого-либо из товарищей. Слишком поздно! Мы это прекрасно понимали. Но нельзя же было бесцельно бродить по пустынным, молчаливым улицам. «Где-то теперь Эрнест? — проносилось у меня в голове.— И что творится в поселках рабочих каст и наемников? А чикагская крепость?..» Словно в ответ, послышался страшный, воющий грохот. Приглушенный расстоянием, он долго стоял в ушах, рассыпаясь раскатами отдельных взрывов.

— Это в крепости,— сказал Хартмен.— Пропали наши три полка.

На перекрестке нам бросился в глаза гигантский столб дыма над районом боев. На следующем перекрестке такие же столбы дыма мы увидели над западной частью города. Над поселком наемников качался в небе огромный привязной аэростат. Пока мы смотрели на него, он загорелся и, объятый пламенем, рухнул наземь. Что за трагедия разыгралась перед нами в воздухе? Кто погиб в этих горящих обломках — друзья или враги? Теперь ветер доносил к нам какой-то отдаленный гул, напоминавший бульканье гигантского котла. Хартмен сказал, что это оружейный и пулеметный огонь.

Мы попрежнему шли пустынными, притихшими улицами. В этой части города царило полное спокойствие. Все так же мчались мимо грузовики с полицейскими и военными патрулями да проехало несколько пожарных машин, возвращавшихся в депо. Какой-то офицер, проезжавший мимо в автомобиле, спросил о чем-то пожарных, и мы услышали, как один из них крикнул:

— Нет воды! Взорваны магистрали!

— Мы разрушили водопровод! — в волнении воскликнул Хартмен.— Если нам удаются такие дела при одинокой, преждевременной попытке, обреченной на неудачу, чего же мы достигнем, действуя единым фронтом по всей стране!

Автомобиль с офицером, спрашивавшим о пожаре, двинулся дальше. И вдруг — оглушительный грохот, и машина со всем своим живым грузом взлетела на воздух в густых облаках дыма и грудой обломков и исковерканных тел ударилась о землю.

Хартмен ликовал.

— Хорошо, отлично! — повторял он взволнованным шепотом.— Сегодня пролетариат получает суровый урок, но и сам он тоже как следует проучит своих учителей.

К месту взрыва бежала со всех сторон полиция. Остановился военный грузовик. Я стояла оглушенная, не в силах понять, что произошло. Ведь я глаз не спускала с той машины, и вдруг... Я была так ошеломлена, что не заметила, как нас задержал полицейский патруль, и очнулась, только увидя револьверное дуло, поднятое в уровень

с лицом моего спутника. Но Хартмен не растерялся и спокойно сказал пароль. Револьвер нерешительно качнулся в воздухе и опустился вниз. Державший его полицейский возмущенно ворчал себе под нос, на чем свет стоит кляня разведку. Вечно эти агенты путаются под ногами, говорил он, между тем как Хартмен с апломбом заправского шпика отчитывал полицию за ее бездарность.

Уже в следующую минуту я поняла, как произошел взрыв. Вокруг места недавней катастрофы собралась толпа, и я увидела, как двое мужчин подняли офицера и понесли его к остановившемуся грузовику. И вдруг всех стоявших на улице охватила паника. Толпа дрогнула и рассыпалась в слепом страхе, бросив на дороге раненого офицера. Побежал и наш сердитый полицейский, и мы с Хартменом, сами не зная почему, тоже помчались со всех ног, охваченные паническим страхом.

Однако ничего не произошло, но зато все разъяснилось. Беглецы сконфуженно возвращались назад, опасливо поглядывая вверх, на высокие фасады зданий, поднимавшиеся по обеим сторонам улицы, подобно стенам глубокого ущелья. Значит, бомба была сброшена из окна, — но из какого? Второй бомбы не было, был только страх.

Мы в раздумье поглядывали на окна: в каждом из них притаилась смерть. Каждое здание могло оказаться засадой. Такова была война в современных джунглях — в большом городе. Улицы были глубокими теснинами, каждый дом — скалой. Мы недалеко ушли от первобытных дикарей, хотя по асфальту и мчались автомобили.

Повернув за угол, мы наткнулись на труп женщины, плававший в луже крови. Хартмен наклонился посмотреть, мне же сделалось дурно, я еле держалась на ногах. В этот день мне предстояло увидеть сотни смертей, но самым страшным было это впечатление от валявшегося на тротуаре всеми брошенного и забытого тела.

— Убита наповал выстрелом в грудь, — констатировал Хартмен.

Окостенелой рукой женщина, словно ребенка, прижимала к груди пачку печатных листков. И в смерти хранила она то, что принесло ей смерть: ибо, когда Хартмену удалось вытащить пачку из цепких объятий трупа, листки оказались революционными прокламациями.

— Наш товарищ...— сказала я.

Хартмен только яростно выругался, и мы пошли дальше. Нас то и дело останавливали патрули и полицейские заставы, но пароль служил нам надежным пропуском. Из окон не бросали больше бомб, прохожие окончательно исчезли с безлюдных улиц, окружающая тишина стала бездонной. А вдали все так же булькал невидимый котел, со всех сторон грохотали взрывы, и повсюду, куда ни глянь, уходили в небо зловещие столбы дыма.

Глава двадцать третья

ОБИТАТЕЛИ БЕЗДНЫ

И вдруг все изменилось. Улица ожила, чувствовалось приближение чего-то нового. Мимо пронеслись машины — две, три, десять, двенадцать. Нам кричали оттуда какие-то слова предостережения. Одна из машин, полукварталом ниже, на полной скорости шарахнулась в сторону, а в следующую секунду, когда она уже уносилась вдаль, посреди мостовой зияла черная воронка. Мы увидели, как полицейские бросились в боковые улицы, и поняли: сейчас начнется что-то страшное. Нарастающий рев говорил о его приближении.

— Идут наши славные товарищи,— сказал Хартмен.

Когда показалась головная часть колонны, заполнявшей улицу от края до края, последний удирающий воинский грузовик на минуту задержался. Оттуда выскочил солдат, осторожно неся что-то перед собой. Он подбежал к сточной канаве и опустил в нее ношу, потом поспешно вернулся к своим. Машина снялась с места и, завернув за угол, мгновенно скрылась из виду. Хартмен бросился к канаве и низко нагнулся над ней.

— Не подходите! — крикнул он.

Я видела, как с лихорадочной быстротой делают что-то его руки. Когда он вернулся, пот лил с него градом.

— В порядке,— сказал он.— Только-только успел разъединить. Солдат, видно, неопытный. Он готовил ее для наших товарищей, но она разорвалась бы раньше. Теперь не разорвется!

События быстро следовали одно за другим. Полукварталом ниже, на противоположной стороне улицы, из окна высунулись чьи-то головы. Я едва успела показать на них Хартмену, как по фасаду здания, где они только что мелькнули, полоснуло огнем и дымом, и воздух сотрясся от взрыва. С шумом посыпалась вниз штукатурка, местами обнажая металлический каркас здания. В следующее мгновение такое же полотнище огня и дыма скользнуло по фасаду дома на нашей стороне. Между взрывами слышалась трескотня винтовок и маузеров. Эта дуэль в воздухе длилась несколько минут, потом все затихло. Очевидно, в одном здании засели наши товарищи, в другом — наемники, но кто где — мы не знали.

К этому времени головной отряд колонны приблизился. Едва он поровнялся с домами, обстреливавшими друг друга, как между ними снова завязался бой. Из одного здания вниз полетели бомбы, из другого в упор падали по бросавшим, и те тоже начали отстреливаться. Тогда нам стало ясно, где наши товарищи: они привлекали на себя огонь, мешая неприятелю забрасывать демонстрацию бомбами.

Тут Хартмен схватил меня за руку и увлек в ближайший подъезд.

— Это не наши идут! — крикнул он мне на ухо.

Ворота во двор были заперты на замки и крепкие засовы. Бежать было некуда. Первые ряды уже проходили мимо. Это не было организованное шествие. Разнузданная толпа, многоводной рекой затоплявшая улицу, состояла из обитателей бездны. Одурманенные вином и жаждой мести, они восстали, наконец, и с ревом требовали крови своих хозяев. Мне и раньше приходилось встречать обитателей бездны. Я бывала в их гетто и думала, что знаю их. Но нет, такими я их еще не видела. Куда девалась их обычная тупая апатия! Вся толпа была охвачена бешеной яростью. Она пронеслась мимо клокочущей лавиной гнева, ворча и храпя, опьянев от вина с разграбленных складов, обезумев от ненависти и жажды крови. Передо мной проходили мужчины, женщины и дети в тряпье и лохмотьях, свирепые существа с затуманенным мозгом и чертами, в которых печать божественного сменилась каиновой печатью. Обезьяны — рядом с тиграми;

обреченные смерти чахоточные — рядом с грузными, заросшими шерстью выючными животными; болезненные восковые лица людей, из которых общество-вампир высосало всю кровь, — рядом с чудовищными мускулами и опухшими образинами, раздутыми развратом и пьянством; иссохшие ведьмы, скалящиеся, убеленные сединами черепа, гниющая заживо юность и разлагающаяся старость, видения из преисподней, скрюченные, изуродованные, искаленные чудовища, изъеденные болезнями и голодом, — отбросы и подонки, рычащие, воюющие, визжащие, беснующиеся орды.

Да, обитателям бездны нечего было терять, кроме своей проклятой, окаянной жизни. А выиграть? Нет, выиграть они тоже ничего не могли, кроме этого последнего судорожного глотка утоляющей мести. И вот, глядя на эту бушующую лавину, я подумала, что среди этих людей немало подвижников, наших товарищей, героев, которым выпал жребий разбудить зверя из бездны, чтобы отвлечь на него внимание противника.

И тогда я ощутила в себе странную, удивительную перемену. Страх смерти — страх за себя, за других — внезапно оставил меня. Мною овладел странный экстаз, я чувствовала себя новым существом в новом, небывалом мире. Ничто больше не тревожило меня. Пусть наше дело сегодня проиграно — завтра оно вновь восстанет из пепла, живое, вечно юное. С этой минуты я со спокойным интересом могла следить за кровавой оргией, которая разыгрывалась передо мной. И жизнь и смерть ничего уже не значили для меня. Ибо ум мой поднялся на головокружительную высоту, с которой глядят на землю равнодушные звезды, готовый все заново взвесить и переоценить. Если бы не это, я наверняка не выдержала бы.

С четверть часа уже валила мимо толпа, а мы все еще не были обнаружены. Как вдруг женщина, одетая в лохмотья, с испитым лицом и узенькими щелками глаз, с зрачками, как раскаленные буравчики, увидела нас в подъезде и с пронзительными воплями кинулась к нам, увлекая за собой часть толпы. Сейчас, набрасывая эти строки, я снова вижу перед собой простоволосую старуху с взъерошенными седыми космами, с лицом, залитым кровью, стекающей с рассеченного лба. Зажав в правой руке топорик, а левой, сморщенной и желтой, как птичья лапа, судо-

рожно хватая воздух, неслась она на меня, опередив остальных. Хартмен бросился вперед и заслонил меня собой. Вступать в какие-либо объяснения не приходилось. Мы были хорошо одеты, этого было довольно. Выбросив руку вперед, Хартмен кулаком ударил старуху в переносицу. Она отшатнулась, но наступавшая сзади людская стена снова бросила ее на нас, и занесенный над головой Хартмена топорик слабо скользнул по его плечу.

В следующую минуту я уже ничего не сознавала. Толпа ринулась на меня и сбила с ног. Маленький подъезд наполнился криком, визгом, неистовыми проклятиями. Град ударов обрушился на меня. Чьи-то руки хватали меня, цеплялись, срывали платье. Смятая толпой, я чувствовала, что задыхаюсь под грузом навалившихся сверху тел. В этой страшной свалке чья-то крепкая рука вцепилась мне в плечо и тянула к себе изо всех сил. От боли, от духоты я лишилась сознания. Хартмен так и не вышел больше из этой западни. Заградив меня, он принял на себя первый стремительный натиск. Это спасло мне жизнь. В последовавшей затем давке толпа могла только неистово топтаться на месте и в бешенстве дергать меня и терзать.

Очнувшись я уже на ногах. Куда-то я двигалась, но двигалась не только я. Меня непреодолимо увлекал вперед стремительный поток и, словно щепку, уносил по течению неведомо куда. Свежий воздух оведал мне лицо, живительной струей вливался в легкие. Еще не придя в себя, чувствуя слабость и головокружение, я смутно сознавала, что чья-то сильная рука, обхватив за плечи, увлекает меня вперед, почти несет меня. Без этой помощи я не могла бы идти. Перед глазами у меня мерно колыхалось пальто шедшего впереди мужчины. Кто-то распорол его по шву сверху донизу, и обе половинки сходились и расходились на спине его хозяина в такт шагам. Завороженная этим странным зрелищем, я ни о чем не думала, а между тем сознание и жизнь постепенно возвращались ко мне. Вскоре по острой, саднящей боли я догадалась, что у меня ободраны нос и щеки, с лица стекает кровь. Шляпа моя куда-то исчезла, волосы в беспорядке рассыпались по плечам. Жгучая боль в темени напоминала о том, как в подъезде

кто-то ожесточенно дергал меня за волосы. Плечи и грудь ломило, жгло от ссадин и кровоподтеков.

Окончательно придя в себя, я оглянулась на поддерживавшего меня человека,— это он вытащил меня из свалки и спас мне жизнь. Мой спутник заметил, что я смотрю на него.

— Все в порядке! — крикнул он хриплым голосом.— Я сразу увидел вас в толпе.

Я все еще не узнавала его, но ничего не ответила. Мысли мои были заняты другим: я задела ногами что-то мягкое, копошившееся на земле. Задние ряды напирали, и я не могла остановиться взглянуть, но понимала, что это женщина, упавшая и смятая толпой, и что тысячи ног сейчас втопчут ее в землю.

— Все в порядке! — продолжал мой спутник.— Не узнаете? Я Гартуэйт.

Он оброс бородой, исхудал и был неимоверно грязен, но я все же признала славного юношу, который три года назад жил у нас в Глен-Эллене. Он сделал мне знак, говоривший, что он так же, как и я, работает в тайной полиции Железной пяты.

— Я вас вытаску из этой каши, как только представится случай,— заверил он меня.— Но ради бога, будьте осторожны. Главное — не оступиться и не упасть.

Все в этот день происходило с какой-то пугающей внезапностью,— так и сейчас, с внезапностью, от которой у меня похолодело сердце, толпа остановилась. Я налетела на грузную женщину, шедшую впереди (распоротое пальто куда-то успело скрыться), задние налетели на меня. Началось столпотворение — крики, проклятия, предсмертные вопли, заглушаемые дробной стукотней пулеметов и отчетливым ра-та-та-та винтовок. Я долго ничего не понимала. Рядом со мной мешком валились на землю люди. Грузная женщина впереди вдруг согнулась пополам и присела, обхватив руками живот. У моих ног бился в предсмертных судорогах какой-то мужчина.

Тут я поняла, что мы очутились в первых рядах толпы. Куда делась вся головная часть колонны, растянувшаяся на полмили, я так никогда и не узнала. Была ли она сметена каким-то чудовищным орудием войны, или же

ее рассеяли и перебили постепенно? А может, ей удалось спастись? Трудно сказать, но только наша часть колонны оказалась впереди, под смертоносным ураганом визжащего свинца.

Как только смерть разредила толпу, Гартуэйт, все еще не выпуская моей руки из своей, ринулся вместе с десятком других бегущих в подъезд какого-то здания. И тотчас же нас настигла и притиснула к дверям грома задыхающихся, лезущих друг на друга тел. Долгое время мы не могли сдвинуться с места.

— Ну и удружил же я вам,— горевал Гартуэйт.— Опять затащил в западню. На улице нам бы наверняка непоздоровилось, но и здесь не лучше. Единственное, что остается, это кричать «Vive la Revolution!» *

И вот началось то, чего он опасался. Наемники расправлялись с бунтовщиками, без жалости пристреливая и прикалывая всех подряд. Мы только что задыхались в давке, а теперь натиск толпы значительно уменьшился,— мертвые и умирающие валялись на землю, освобождая место для живых. Гартуэйт, пригнувшись к моему уху, кричал что-то изо всех сил, но голос его тонул в окружающем шуме, и я ничего не могла разобрать. Тогда он схватил меня за плечи и заставил лечь на землю, потом подтащил тело умирающей женщины и, навалив его на меня, сам с трудом примостился рядом, отчасти прикрывая меня сверху. Едва мы легли, как над нами начала расти гора тел, а поверх этой горы, стеной и судорожно хватаясь за трупы, ползали те, в ком еще не угасла жизнь. Но вскоре и они замерли, и наступило нечто вроде тишины, прерываемой стонами, криками и хрипением умирающих.

Если бы не Гартуэйт, меня бы наверняка раздавили. Я и до сих пор не понимаю, что дало мне силы выдержать это испытание и остаться жить. Помню, я изнемогала от боли, задыхаясь под грудой тел, но находила в себе одно только чувство — любопытство. Что будет дальше? Какая кончина меня ждет? В чикагской резне я получила свое революционное крещение. До сих пор смерть была для меня чем-то туманным, далеким. С этих же пор я смотрю

* «Да здравствует революция!» (франц.)

на смерть, как на простое, обыденное явление. Ведь это так легко может случиться с каждым.

Наемники все еще не оставляли нас в покое. Сгрудившись в нашем подъезде, они принялись расшвыривать тела убитых в поисках тех, кто был еще жив, или, как и мы, притворился мертвым. Помню, какой-то мужчина униженно молил пощады, и его рабы молебны до тех пор не умолкали, пока их не оборвал выстрел. Помню женщину, которая бросилась на солдат с поднятым револьвером. Пока ее схватили, она успела выпустить шесть зарядов,— не знаю, с каким успехом. Лишь звуки рассказывали нам о совершившихся рядом трагедиях. Поминутно возникало какое-то движение, возня, и каждый раз это кончалось выстрелами. А в перерывах слышались разговоры и ругань солдат, они разбирали груды тел под нетерпеливыми окриками офицеров, приказывавших им торопиться.

Наконец, они добрались до нас. Я почувствовала, как постепенно уменьшается давившая меня тяжесть. Гартуэйт сразу же начал выкрикивать пароль. Сначала его не слышали. Тогда он закричал громче.

— Кричит кто-то,— сказал один из солдат.

И тотчас же отозвался офицер:

— Эй, вы там, полегче!

О, первый спасительный глоток воздуха, когда мы оказались на ногах! Все переговоры вел Гартуэйт, но и меня подвергли краткому допросу для выяснения моей личности.

— Верно! Это наши агенты,— решил, наконец, допрашивавший нас офицер. Это был безбородый юнец, очевидно сынок какого-то видного олигарха.

— Собачья должность! — ворчал Гартуэйт.— Я не я буду, если не попрошусь в армию. Вам, ребята, можно позавидовать.

— Вы заслужили перевода в армию,— благосклонно ответил молодой офицер.— Постараюсь вам помочь, у меня есть кое-какие связи. Я охотно засвидетельствую, что вам пришлось пережить.

Он записал имя и номер Гартуэйта и обратился ко мне:

— А вы?

— О, я выхожу замуж и скоро развяжусь со всем этим,— небрежно объявила я.

Пока мы разговаривали, солдаты добивали раненых. Сейчас все это кажется сном, но тогда я уже ничему не удивлялась. Гартуэйт и молодой офицер оживленно болтали, сравнивая методы современной войны с тактикой уличных сражений и дуэлями небоскребов, которые происходили сегодня по всему городу. Я прислушивалась к их разговору, поправляя волосы и кое-как скалывая прорехи на платье. И все время вокруг добивали раненых. Иногда гром револьверных выстрелов заглушал вопросы и ответы, и собеседникам приходилось повторять сказанное.

Я провела три дня в восставшем Чикаго и, чтобы дать представление о масштабах расправы и ее жестокости, могу только сказать, что все эти три дня я не видела ничего, кроме беспощадного уничтожения обитателей бездны да еще дуэлей небоскребов. Мне не пришлось быть свидетелем героических подвигов наших товарищей, я видела только действие их бомб и мин, видела зарево зажженных ими пожарищ — вот и все. Но одно славное их дело частично протекало у меня на глазах — это принятая ими воздушная атака на военную крепость противника.

Был второй день восстания. Все три полка, перешедшие на сторону революции, были уничтожены до единого человека. Крепость занял новый гарнизон. Дул благоприятный ветер, и вот с крыши одного из небоскребов в центральной части города поднялись наши аэростаты.

После отъезда из Глен-Эллена Биденбах изобрел взрывчатое вещество необычайной силы, названное им «экспедитом». Этим-то экспедитом и были вооружены наши аэростаты. Это были воздушные шары, наполненные горячим воздухом, — неуклюжая самодельщина; но свою задачу они выполнили. Мне довелось наблюдать это зрелище с крыши небоскреба. Первый аэростат отнесло в сторону, и он скрылся за чертой города. Впоследствии мы узнали его судьбу. На нем находились Бертон и О'Салливан. При спуске они оказались над железнодорожным полотном, по которому мчался воинский эшелон, направляясь в Чикаго. Наши аэронавты сбросили весь свой запас

взрывчатки на паровоз. Причиненные взрывом разрушения надолго вывели дорогу из строя. По счастью, освободившись от груза, аэростат взмыл вверх, и оба героя опустились на землю милях в шести от места катастрофы.

Второй аэростат постигла неудача. Он летел слишком низко, и пули изрешетили его прежде, чем он успел добраться до крепости. На его борту были Хартфорд и Гвиннес. Оба они погибли при страшном взрыве, разворотившем все поле, на которое рухнул аэростат.

Биденбах был в отчаянии, как нам потом рассказывали, и на третьем аэростате поднялся он один. Шар и на этот раз летел низко, но, по счастью, ни одна пуля не причинила ему серьезного повреждения. Я и сейчас вижу перед собой, как видела тогда с высоты небоскреба, неуклюжий раздутый мешок и под ним еле заметную точку — прицепившегося к нему в корзинке человека. Мне так и не удалось разглядеть крепость среди множества других зданий, но товарищи, бывшие вместе со мной на крыше, говорили, что шар находится как раз над ней. Я также не видела, как смертоносный груз полетел вниз, после того как перерезан был прикреплявший его канат. Но зато я увидела, как аэростат сильно потрянуло в воздухе, после чего он стремительно взмыл кверху. Почти тотчас же огромный черный столб дыма поднялся в небо, застилая горизонт, а следом раздался оглушительный взрыв. Милый, душевный Биденбах один разрушил мощную крепость! Два последних аэростата последовали за ним вместе. На одном преждевременно разорвался экспедит, и его разнесло в клочья, другой от сотрясения воздуха лопнул и упал на уцелевшие строения крепости. Это была неожиданная удача, — хоть она и стоила жизни двум товарищам.

Что касается обитателей бездны, которых мне пришлось наблюдать вблизи, то они свирепствовали и смели все на своем пути и сами подвергались повальному истреблению, — но только в деловых кварталах города. К западной окраине, где стояли дворцы олигархов, их и не подпустили. Олигархи сумели защитить себя там, где это было им нужно. Отдав на разгром Сити, они позаботились о том, чтобы ни один волос не упал с их собствен-

ной головы или с головы их жен и детей. Мне рассказывали потом, что в дни побоища их дети беззаботно играли в парках: подражая старшим, усмиряли пролетариат.

На долю наемников выпала нелегкая задача: им приходилось наряду с подавлением восставших толп отражать удары социалистов. Чикаго остался верен своим традициям, и хотя здесь с лица земли было стерто целое поколение революционеров, они погибли, унося с собой целое поколение своих врагов. Железная пята, разумеется, не допустила опубликования цифры своих потерь, но даже по самому скромному подсчету общее число убитых наемников достигло ста тридцати тысяч. наших товарищей в Чикаго постигла трагическая неудача. Они рассчитывали бороться вместе со всей страной, а оказались предоставлены сами себе, олигархи могли при желании обрушить на них всю свою военную мощь. И действительно, день за днем и час за часом в Чикаго прибывали бесконечные поезда, доставляя все новые сотни тысяч солдат.

Ибо конца не видно было бушующим толпам! Устав от избиений, наемники предприняли обширную операцию, целью которой было загнать людей, переполнявших улицы, в озеро Мичиган. Мы с Гартуэйтом как раз и присутствовали при самом начале этой грандиозной облавы, когда повстречались с молодым офицером. Однако самоотверженными стараниями наших товарищей эти планы были сорваны. Вместо многих сотен тысяч наемникам удалось потопить в озере не более сорока тысяч чикагцев. Каждый раз, как солдатам удавалось загнать большое скопище людей на улицы в районе набережной, революционеры устраивали диверсию, отвлекавшую внимание карателей и позволявшую хотя бы части затравленных толп вырваться из ловушки и бежать.

Вскоре после встречи с молодым офицером мы оказались свидетелями такого маневра. Толпа, которая только что уносила с собой и нас, теперь, под натиском наемников, отступала в беспорядке. Густые цепи солдат мешали ей свернуть на юг и на восток; на запад ей не давали растекаться те отряды, к которым присоединились теперь и

мы с Гартуэйтом. Оставалось одно — уходить на север, к озеру, тем более что наемники открыли со всех сторон беглый огонь из винтовок и пулеметов. Трудно сказать, спасительная ли догадка, или слепой инстинкт руководили толпой, но у самой набережной она шарахнулась в переулок и, выйдя на параллельную улицу, повернула на юг, стремясь назад, в свое гетто.

Мы пробирались на запад, стараясь выйти из района уличных боев, как вдруг на повороте увидели толпу, которая с ревом неслась нам навстречу. Гартуэйт схватил меня за руку, чтобы броситься ей наперерез, но тут же потащил обратно. И во-время: мы еле-еле увернулись от колес военных грузовиков с пулеметами, которые мчались прямо на нас. Позади следовали солдаты с винтовками. Кажется, толпа вот-вот сомнет их, прежде чем они успеют построиться.

То тут, то там раздавались отдельные выстрелы, но они были бессильны остановить чернь, которая с гиканьем и свистом неслась вперед. У пулеметчиков что-то не ладилось, и они не открывали стрельбу. Машины, на которых они прибыли, загородили мостовую, и солдаты протискивались между машинами, взбирались на них и заполняли тротуары. Солдат подходило все больше, и нам уже нечего было думать ускользнуть в этой давке; нас прижали к стене какого-то здания.

Когда пулеметы заговорили, толпа находилась уже в десяти шагах. Но перед этой огненной завесой пролегла зона смерти. Толпа все прибывала, не делая ни шагу дальше. Вскоре здесь выросли курганы трупов, курганы слились в насыпь, насыпь превратилась во все растущий вал, в котором умирающие перемешались с мертвецами. Задние напирали — и передние ряды от края и до края улицы громоздились друг на друга. Раненые мужчины и женщины, выброшенные клокочущей пучиной на этот страшный вал, скатывались с его гребня в мучительных корчах и образовали кровавое месиво, в котором вязли колеса и люди. Солдаты приканчивали раненых прикладами и штыками, но я видела, как один из поверженных вскочил и зубами вцепился врагу в горло. И оба они, солдат и раб, исчезли в страшном водовороте.

Но вот огонь прекратился. Дело было сделано. Обезумевшая толпа, стремившаяся во что бы то ни стало прорваться сквозь преграду, отхлынула назад. Последовал приказ очистить колеса. Всю улицу запрудили мертвые тела, и машины могли только свернуть в переулок. Солдаты принялись освобождать от трупов колеса машин, как вдруг началось что-то непонятное. Потом нам рассказали, что и как произошло. Оказалось, что кварталом ниже в одном из домов засела сотня наших товарищей. Перебираясь по крышам и переходя из здания в здание, они сумели занять удобную позицию над сгрудившимися вниз солдатами. И тогда началось контризбиение.

С крыши градом посыпались бомбы. Высоко в воздух взлетели обломки машин и клочья растерзанных тел. Солдаты, оставшиеся в живых, бросились бежать вместе с нами. Полукварталом ниже нас встретил новый огненный шквал. И если раньше солдаты устилали улицу телами рабов, то теперь они устилали ее собственными телами. Мы с Гартуэйтом только чудом уцелели. Как и раньше, мы укрылись в нише подъезда. Но на этот раз мой спутник решил, что его уже не застанут врасплох: как только затихли выстрелы, он выглянул наружу.

— Толпа возвращается! — крикнул он мне. — Бежим!

Мы побежали на угол, скользя и спотыкаясь на залитых кровью тротуарах. В глубине переулка видны были фигуры бегущих солдат. Никто не стрелял по ним, путь был свободен. На минуту мы остановились и оглянулись назад. Толпа медленно приближалась. Она приканчивала раненых наемников и вооружалась оружием, взятым у мертвецов. И тут мы стали свидетелями смерти спасшего нас молодого офицера. С трудом приподнявшись на локте, он стрелял в толпу из пистолета.

— Прощайте все мои надежды на перевод в армию, — рассмеялся Гартуэйт, увидев, как какая-то женщина, размахивая ножом мясника, бросилась к офицеру. — Ну, бежимте. К сожалению, нам нужно в обратную сторону. Да уж ладно, как-нибудь выберемся.

Мы устремились на восток по притихшим улицам, ожидая нападения на каждом повороте. Вся южная

сторона неба была охвачена заревом грандиозного пожара. Горело рабочее гетто. Чувствуя, что я не в силах ступить ни шагу дальше, я в изнеможении опустилась на тротуар. Все мои ссадины и кровоподтеки болели, тело ныло от усталости. И все же я не могла не рассмеяться, когда Гартуэйт, свергивая папиросу, разразился следующей тирадой:

— Эх, болван я, болван! А еще взялся вас выручать, когда тут такой кавардак, что сам черт ногу сломит. Безобразие, беспорядок! Только выберешься из одной беды, как попадешь в другую, похуже. Ведь мы сейчас в каких-нибудь двух-трех кварталах от того подъезда, откуда я вас вытащил. И попробуй — разберись в этой суматохе, кто тебе друг, а кто враг! Все перепуталось. Не угадаешь, кто сидит за этими треклятыми стенами. Сунься-ка только, попробуй — как раз получишь бомбой по макушке! Ведь, кажется, никого не трогаешь, идешь себе тихонько по своим делам, — так нет же: либо на тебя набегит толпа, и с ней как раз угодишь под пулеметы, либо набегут солдаты, и тогда твои собственные товарищи станут поливать тебя с крыши огнем. А потом все равно налетит толпа, и тут тебе и каюк!

Он горестно покачал головой и, закурив, опустился рядом со мной на тротуар.

— Я так есть хочу, — сумрачно добавил он, — что готов камни грызть. — И тут же вскочил и, сойдя на мостовую, в самом деле принялся выковыривать булыжник. Потом, вернувшись с ним, стал разбивать витрину соседней лавки.

— Первый этаж и, значит, никуда не годится, — философствовал он, подсаживая меня в пролом разбитого окна. — Но ничего лучше сейчас не придумаешь. Вы здесь попробуйте соснуть, а я пойду на разведку. Похоже, что мне все-таки удастся вас спасти, но только на это потребуется время, много времени, и... хоть немного еды.

Мы, оказывается, забрались в лавку шорника. Пройдя в заднюю комнатку, окнами во двор, Гартуэйт перенес туда груды конских попон и устроил в углу удобное ложе. У меня, помимо страшной усталости, разболелась голова,

и я рада была возможности закрыть глаза и вытянуть усталые ноги.

— Ждите меня назад в самом скором времени,— сказал Гартуэйт, уходя.— Не обещаю возвратиться с машиной, но чего-нибудь поесть обязательно принесу.

Мы свиделись с Гартуэйтом только через три года. Вместо того чтобы вернуться, как обещал, он с простреленным легким и раной в шею попал в больницу.

Глава двадцать четвертая

КОШМАР

После бессонной ночи в вагоне, после волнений и усталости страшного дня я крепко заснула, а когда проснулась, стояла глубокая ночь. Гартуэйт еще не вернулся. В давке я потеряла часы и не имела представления о времени. Лежа с закрытыми глазами, я прислушивалась к отдаленному гулу взрывов. Там попрежнему kloкотал ад. Я ползком добралась до витрины. Зарево гигантских пожаров освещало улицу, как днем. При этом свете можно было бы читать газету. В нескольких кварталах от меня рвались гранаты и стучали пулеметы, издали доносился тяжелый грохот взрывов, непрерывно следовавших друг за другом. Я поползла обратно, к своему ложу из конских попон, и снова крепко уснула.

Когда я проснулась, в комнату проникал мутножелтый свет зари. Наступали вторые сутки чикагской резни. Я опять ползком добралась до витрины. Густой покров дыма, местами прорезанный багровыми вспышками огня, застилал небо. По противоположному тротуару брел, спотыкаясь, какой-то несчастный раб; одну руку он крепко прижимал к боку, по тротуару вился за ним кровавый след. Глазами, в которых застыл ужас, он боязливо водил по сторонам. На мгновение взгляд его встретился с моим, и я прочла в нем немую жалобу раненого и загнанного животного. Он увидел меня, но между нами не протянулась нить взаимного понимания, видимо ничто во мне не сулило ему дружеского участия. Он еще больше съезжился и заковылял прочь. Ему неоткуда было ждать помощи во

всем божьим мире. В грандиозной облаве на рабов, которую устроили его хозяева, он был презренным илотом, не больше. Все, на что он надеялся и чего искал, была нора, куда он, подобно раненому животному, мог бы забиться. Резкие звонки кареты скорой помощи, показавшейся из-за угла, заставили его вздрогнуть. Кареты были не для таких, как он. Со страдальческим стоном поспешил он в ближайший подъезд, потом снова вышел и понуро поплелся дальше.

Я опять прилегла на попоны и еще с час провела в ожидании Гартуэйта. Головная боль не проходила, напротив — она усиливалась с каждой минутой. Только с трудом могла я открыть глаза и сосредоточиться на каком-нибудь предмете. Но и открыть их и смотреть было невыразимо мучительно. В висках стучало. Шатаясь от слабости, я вылезла в витрину и побрела наугад, бессознательно стремясь выбраться из района кровавой бойни. С этой минуты я воспринимала все как в кошмарном сне, и те воспоминания, которые сохранились у меня о дальнейших событиях, подобны воспоминаниям о кошмаре. Многое навсегда врезалось мне в память, но это только отрывочные картины на фоне густой тьмы. Что происходило в эти минуты полного забвения, я не знаю — и не узнаю никогда.

Помню, на углу я упала, споткнувшись о чьи-то ноги. Это было то самое загнанное существо, которое недавно, изнемогая, тащилось мимо моего убежища. Как сейчас вижу раскинутые на тротуаре бескровные узловатые руки, скорее похожие на лапы или копыта какого-то животного, — искривленные, изуродованные трудом целой жизни, с мозолистыми наростами на ладонях толщиной чуть ли не в полдюйма. Поднимаясь, я заглянула в лицо этого пария и поняла, что он еще жив. В тусклом взоре бедняги теплилось сознание, и я видела, что он смотрит на меня и видит меня.

После этого я впала в благодетельное забытие. Машинально брела я по улицам, ни о чем не думая, ничего не сознавая, инстинктивно ища спасения. Следующим видением в моем кошмаре была безгласная улица мертвых. Я наткнулась на нее неожиданно, как странник, заблудившийся среди полей и рощ, натывается на стреми-

тельно бегущий ручей. Но только этот ручей был недвижим, он застыл в оцепенении смерти. Заливая всю ширину мостовой и выплескиваясь на тротуары, он простирался почти ровной гладью, над которой здесь и там вздымались островки и бугры тесно переплетенных человеческих тел. Бедные затравленные илоты полегли здесь, словно калифорнийские зайцы после грандиозной облавы¹. Я посмотрела направо, налево — нигде ни движения, ни звука. Многоглазые дома молчаливо взирали на это зрелище. И вдруг из мертвых вод поднялась рука. Клянусь, я видела, как она судорожно задвигалась в воздухе; а вместе с рукой поднялась страшная, вся в запекшейся крови голова, пролепетала мне что-то невнятное и запрокинулась, чтобы не подняться больше.

Помню и другую улицу в рамке молчаливых домов и нарастающий прибой толпы, зрелище которой снова ввергло меня в ужас и вернуло к действительности. Но, взглядевшись, я успокоилась. Толпа с трудом подвигалась вперед, оглашая воздух стонами и рыданиями, бессильными проклятиями, бессмысленным бормотанием старости, истерическими воплями неистовства и безумия. Ибо здесь собрались дети и старики, расслабленные и больные, беспомощные и отчаявшиеся, все человеческие обломки и вся заваль гетто. Пожар выгнал их на улицу, в крошечный ад уличных боев. Куда они направились и что с ними стало, я так никогда и не узнала².

Смутно припоминаю, как, выломав окно, я пряталась в лавке от толпы, преследуемой солдатами. На другой тихой улице, где, кроме меня, не было, повидимому, ни одного человеческого существа, рядом со мной разорва-

¹ В те дни Калифорния была еще так мало заселена, что полевые хищники нередко становились бичом населения. Здесь были в обычае облавы на зайцев. В назначенный день все местные фермеры собирались и, оцепив большое пространство, гнали десятки тысяч зайцев в специально огороженное место, где дети и взрослые приканчивали их дубинами.

² Вопрос о том, случайно ли сгорело гетто в Чикаго, или же его сожгли войска наемников, долго считался нерешенным. В настоящее время установлено, что гетто сожгли наемники по приказу своего командования.

лась бомба. Следующая вспышка сознания: я слышу щелканье ружейного затвора и внезапно отдаю себе отчет в том, что солдат в остановившейся передо мной машине целится прямо в меня. Пуля просвистела мимо, и я поторопилась сказать пароль и подать условный знак. Не помню, как меня посадили в машину и как долго я ехала в ней, но и эта поездка озарена мгновенной вспышкой сознания. Мой сосед солдат снова щелкает затвором. Я машинально открываю глаза и вижу, как на тротуаре покачнулся и медленно опускается наземь Джордж Милфорд — наш с Эрнестом знакомый со времен Пелл-стрит. Пока он падал, солдат вторично выстрелил. Милфорд перегнулся пополам, потом выпрямился во весь рост и ничком рухнул на мостовую. Солдат усмехнулся и повел машину дальше.

Далее я вижу себя после крепкого, освежающего сна. Меня разбудил человек, беспрерывно расхаживающий взад и вперед по комнате. У него утомленное, измученное лицо, пот градом катится с его лба и стекает по переносице. Рукой он крепко прижимает к груди раненую руку, из которой каплями сочится кровь. Он в форме наемника. Снаружи, сквозь стены, доносится приглушенный грохот рвущихся бомб. Я нахожусь в здании, которое обстреливается из другого здания.

Вошел врач — сделать раненому перевязку, и я узнаю, что уже два часа пополудни. Голова все еще болит, и врач дает мне сильно действующее средство, чтобы успокоить сердце и облегчить головную боль. Я снова засыпаю и затем помню себя уже на крыше небоскреба. Перестрелка кончилась. Я наблюдаю налеты аэростатов на крепость. Кто-то держит меня за талию, я крепко прильнула к его плечу, и на душе у меня отрадное чувство, что Эрнест опять со мной, — я только не могу понять, почему у него опалены волосы и брови.

Счастливый случай свел нас в этом страшном городе. Эрнест не знал, что я уехала из Нью-Йорка, и, проходя по комнате, где я крепко спала, сперва глазам своим не поверил. Больше мне уже не пришлось наблюдать усмирение Чикагского восстания. С крыши, где мы следили за атакой на крепость, Эрнест проводил меня в одну из

комнат обширного здания, и здесь я проспала остаток дня и ночь. Третий день мы провели в стенах того же здания, а на четвертый Эрнест, получив у властей разрешение и машину, вывез меня из Чикаго.

Головная боль прошла, но я была страшно измучена душевно и физически. Прислонившись к Эрнесту, я безучастно следила за тем, как солдат-шофер и его помощник искусно маневрируют, стараясь вывести машину из города. Кое-где еще не утихло сражение, но теперь это были уже отдельные очаги. Районы, где еще удерживались наши товарищи, были сплошь оцеплены войсками. Революционеры оказались заперты в сотнях ловушек, и солдаты теснили их шаг за шагом. Поражение для наших бойцов было равносильно смерти, и все они героически боролись до конца¹.

Едва мы приближались к таким кварталам, патрули преграждали нам дорогу и приказывали ехать в обход. В одном случае нас направили по совершенно выгоревшей улице, где справа и слева находились укрепленные позиции революционеров. Пробираясь мимо тлеющих пожарниц и шатких обгорелых стен, мы слышали по обе стороны гром и грохот войны. Часто путь нам преграждали горы развалин, и тогда приходилось поворачивать и пускаться в обход. Так мы кружили по нескончаемому лабиринту развалин и еле-еле подвигались вперед.

Чикагские боины вместе с прилегающим рабочим гетто сгорели дотла. Далеко направо — там, где дымное облако застиало горизонт, — был пульмановский поселок, вернее — то, что от него осталось, ибо наемники разорили его дотла. Наш шофер побывал там накануне с

¹ Некоторые здания удерживались революционерами неделю, а одно оборонялось одиннадцать дней. Каждый дом приходилось брать штурмом, как крепость, постепенно, этаж за этажом. Бои велись не на жизнь, а на смерть. Ни та, ни другая сторона не давала пощады и не просила ее. Преимущество революционеров заключалось в том, что они закреплялись в верхних этажах. И хотя революционеры были разбиты, они и на этот раз не остались в долгу у противника. Гордые пролетарии Чикаго не изменили своим традициям: как ни велики были их потери, противник понес не меньшие.

поручением. По его словам, таких тяжелых боев не было нигде в городе; все улицы завалены мертвецами.

Огибая полуразрушенные стены какого-то строения в районе боен, мы наткнулись на гору трупов, более всего напоминавшую океанский вал. Нетрудно было представить себе, что здесь произошло. Выйдя на перекресток, толпа оказалась под обстрелом пулеметов, косивших ее под прямым углом и в упор. Но и солдатам пришлось не сладко. Очевидно, среди них разорвалась случайная бомба, расстроившая их ряды, и толпа, перехлестнув через вал из трупов, залила неприятельские позиции живым потоком отчаянно сопротивляющихся людей. Солдаты и рабы лежали вперемежку, растерзанные и порубанные, среди обломков машин и брошенных винтовок.

Эрнест выскочил из автомобиля. В гряде трупов внимание его привлекла сутулая спина в ситцевой рубашке и венчик серебряных волос. Я ни о чем не спрашивала, и уже потом, когда мы опять сидели рядом и машина увозила нас дальше, он сказал мне:

— Это епископ Морхауз...

Вскоре мы выехали на зеленое раздолье полей и лугов, и я бросила последний, прощальный взгляд на дымное небо. Ветер донес до нас слабый гул отдаленного взрыва. Тогда я припала к груди Эрнеста и беззвучно зарыдала, оплакивая гибель нашего великого дела. Рука Эрнеста, обнимавшая мои плечи, говорила мне о его любви красноречивее всяких слов.

— Сегодня, голубка, мы потерпели поражение,— говорил он.— Но это ненадолго. Мы многому научились. Завтра, обогатившись новой мудростью и опытом, великое дело возродится вновь.

Машина подвезла нас к тихому полустанку. Здесь нам предстояло сесть на поезд, идущий в Нью-Йорк. Пока мы ждали на перроне, прошли три состава, они направлялись на запад, в Чикаго. Все вагоны были набиты чернорабочими в рваной одежде — обитателями бездны.

— Новые партии рабов для восстановления Чикаго! — с горечью воскликнул Эрнест.— Ведь в Чикаго не осталось больше рабов. Все перебиты...

ТЕРРОРИСТЫ

Только спустя много недель после возвращения в Нью-Йорк нам удалось уяснить себе всю огромность постигшей нас катастрофы. В стране не утихали вражда и кровопролитие. Во многих местах вспыхнули восстания рабов, давшие повод к неслыханно жестоким расправам. Список жертв возрастал. Повсюду происходили бесчисленные казни. Люди, преследуемые властями, убегали в горы и пустыни, и за ними шла систематическая охота. Наши убежища были переполнены революционерами, за поимку которых правительство назначило большие суммы. Целый ряд убежищ был выслежен агентами Железной палаты и разгромлен ее солдатами.

Многие из наших товарищей под действием охватившего их разочарования обратились к террору. Крушение всех надежд, отчаяние толкало их на отчаянные средства борьбы. Возникшие повсюду независимо от нас террористические группы причиняли нам немало хлопот¹. Эти

¹ Этот сравнительно короткий период кровью вписан в анналы истории. Единственным побудительным мотивом тогда была месть. Члены террористических организаций, не видя перед собой никакого будущего, безрассудно шли на смерть. «Даниты», взявшие свое имя у ангелов-мстителей из религиозных представлений мормонов, впервые объявились в горах Запада и оттуда распространились по всему Тихоокеанскому побережью — от Панамы до Аляски. Ужас наводили на врага «Валькирии» — группа, состоявшая исключительно из женщин. В члены ее принимали только тех, у кого были личные, кровные счеты с олигархами. Сохранились сведения, что они бесчеловечно истязали своих пленников. Не меньшей известностью пользовались, впрочем, и «Вдовы героев». «Валькириям» не уступали в жестокости «Берсеркеры». Эти смельчаки, не ставившие свою жизнь ни во что, уничтожили большой город наемников Беллону вместе с его стотысячным населением. Наряду с двумя родственными друг другу организациями рабов, которые именовали себя «Бедламитами» и «Адамитами», возникла недолго просуществовавшая секта «Гнева господня». Названия всех этих сект достаточно красноречиво их характеризуют: «Кровоточащие сердца», «Сыны утра», «Утренние звезды», «Фламинго», «Тройные треугольники», «Три черты», «Мстители», «Команчи», «Эребузиты» и т. д.

изуверы и фанатики, напрасно жертвовавшие собой, часто срывали наши планы и тормозили разумную организаторскую работу.

И среди всего этого хаоса Железная пята с обычным хладнокровием и уверенностью шла к своей цели. Она обшарила всю страну в поисках укрывающихся революционеров, перетряхнула сверху донизу всю армию, все рабочие касты, органы шпионажа и тайной полиции, — карая жестоко, но бесстрастно, молчаливо снося ответные удары, снова пополняя свои ряды, едва они приходили в расстройство.

А между тем Эрнест и другие социалистические лидеры работали не покладая рук над реорганизацией революционных сил. Нетрудно представить себе огромность их задачи, если помнить...¹

¹ На этом, обрываясь на полуслове, и заканчивается манускрипт. Очевидно, Эвис Эвергард была заблаговременно извещена о приходе наемников, так как, прежде чем бежать или быть застигнутой своими палачами, она успела спрятать рукопись в надежном месте. Приходится лишь пожалеть, что повесть ее так и осталась недописанной, иначе нам, возможно, открылись бы обстоятельства смерти Эрнеста Эвергарда, которые и по сей день, спустя семьсот лет, представляют для нас загадку.

МАРТИН ИДЕН

(Роман)

Глава первая

Тот, что шел впереди, отпер дверь своим французским ключом. Молодой парень, шагавший следом, прежде чем переступить порог, неловко сдернул кепку с головы. На нем была простая, грубая одежда, пахнувшая морем; в просторном холле он как-то сразу оказался не на месте. Он не знал, что делать со своей кепкой, и собрался уже запихнуть ее в карман, но в это время спутник взял кепку у него из рук и сделал это так просто и естественно, что парень был тронут. «Он понимает,— пронеслось у него в голове,— он меня не выдаст».

Раскачиваясь на ходу, широко расставляя ноги, словно пол под ним опускался и поднимался на морской волне, он шел за своим спутником. Огромные комнаты, казалось, были слишком тесны для его размашистой походки,— он все время боялся зацепить плечом за дверной косяк или смахнуть какую-нибудь безделушку с камина. Он шаркался из стороны в сторону и тем увеличивал опасность, существовавшую больше в его воображении. Между роялем и столом, заваленным книгами, могли свободно пройти шесть человек, но он отважился на это лишь с замиранием сердца. Его большие руки беспомощно болтались, он не знал, что с ними делать. И когда вдруг ему показалось, что он вот-вот заденет книги на столе, он отпрянул, как испуганный конь, и едва не повалил табурет у рояля. Он взглянул на своего уверенно шагавшего спутника и впервые в жизни подумал о том, как неуклюжа

его собственная походка и как она отличается от походки других людей. На мгновение его обожгло стыдом от этой мысли. Капли пота выступили у него на лбу, и, остановившись, он вытер свое бронзовое лицо носовым платком.

— Артур, дружище, погодите немножко,— сказал он, пытаясь шутливым тоном замаскировать свое смущение.— Слишком уж для меня много на первый раз. Дайте собраться с духом. Вы ведь знаете, что я не хотел идти, да и вашим-то едва ли так уж не терпится посмотреть на меня.

— Пустяки! — последовал успокоительный ответ.— Вам нечего бояться нас. Мы люди простые... Эге! Кажется, мне письмо!

Артур подошел к столу, вскрыл конверт и стал читать, предоставляя гостю возможность прийти в себя. И гость это понял и оценил. Он был от природы чуток и отзывчив и, несмотря на внешнюю растерянность, не утратил этих чувств и сейчас. Он снова вытер лоб и обвел комнату сосредоточенным взглядом, но в этом взгляде все еще была тревога, как у дикого животного, опасющегося западни. Он был окружен неведомым, он боялся того, что его ожидало, он не знал, что ему делать, и понимал, что держится нескладно и что, вероятно, нескладность эта проявляется не только в походке и жестах. Чувствительность его была обострена, смущение дошло до предела, и лукавый взгляд, который украдкой бросил на него Артур поверх письма, поразил его, как удар ножом. Он поймал этот взгляд, но не подал виду, так как многому уже успел научиться, и прежде всего дисциплине. Однако этот удар ножом ранил его гордость. Он выругал себя за то, что пришел, но тут же решил: будь что будет, но раз уж он здесь, то выдержит все до конца. Лицо его приняло суровое выражение и в глазах сверкнул сердитый огонь. Он снова огляделся, теперь уже более уверенно, стараясь запечатлеть в своем мозгу все детали окружающей обстановки. Ничто не ускользнуло от его широко раскрытых глаз; и по мере того как он глядел на эти красивые вещи, сердитый огонь в его глазах угасал, сменяясь теплым блеском. Он всегда живо

откликался на красоту, а здесь было на что откликнуться.

Его внимание привлекла картина на стене, писанная маслом. Могучий вал разбивался о прибрежную скалу; низкие грозовые облака покрывали небо, а по бушующим волнам, освещенная закатными лучами, неслась маленькая шхуна, сильно накренившись, так, что вся ее палуба была открыта взгляду. Это было красиво, а красота неодолимо влекла его. Он забыл о своей неуклюжей походке и подошел к картине вплотную. Красоты как не бывало. Он с недоумением взирал на то, что теперь казалось грубой мазней. Затем он отошел. И тотчас же картина снова стала прекрасной. «Картина с фокусом»,— решил он, отворачиваясь, и среди новых нахлынувших впечатлений успел с негодованием подумать о том, что столько красоты принесено в жертву ради глупого фокуса. Он не имел понятия о живописи. До сих пор он знал лишь хромолитографии, которые были одинаково гладки и отчетливы издали и вблизи. Правда, в витринах магазинов он видал картины, написанные красками, но стекло не позволяло разглядеть их как следует.

Он оглянулся на своего друга, читавшего письмо, и взгляд его упал на лежавшие на столе книги. Его глаза загорелись жадностью, как у голодного при виде пищи. Он невольно шагнул к столу и начал с волнением перебирать книги. Он глядел на заглавия и имена авторов, читал отдельные фразы в тексте, ласкал книги глазами и руками и вдруг узнал книгу, которую недавно прочел. Но все другие книги, кроме этой, были ему совершенно неизвестны, так же как и их авторы. Ему попался томик Суинберна, он стал читать и забыл, где находится; лицо его разгорелось. Дважды он закрывал книгу, чтоб посмотреть имя автора, указательным пальцем заложив страницу. Суинберн! Он запомнит имя. У этого Суинберна был, видно, наметанный взгляд, он умел видеть очертания и краски. Но кто он такой? Умер он лет сто тому назад, как большинство поэтов, или жив и еще пишет? Он перевернул заглавную страницу. Да, этот Суинберн написал и другие книги. Ладно, завтра же утром он пойдет в публичную библиотеку и попробует достать что-нибудь из его сочинений.

Он так увлекся чтением, что не заметил, как в комнату вошла молодая девушка. Его заставил опомниться голос Артура:

— Руфь! Это мистер Иден.

Книга захлопнулась, и, прежде чем повернуться, он весь задрожал от нового, еще незнакомого ощущения, вызванного, однако, не появлением девушки, а словами ее брата. В этом мускулистом теле жила обостренная чувствительность. Под малейшим воздействием внешнего мира его чувства и мысли вспыхивали и играли, как пламя. Он был необычайно восприимчив и впечатлителен, а его пылкое воображение все время работало, устанавливая связь между вещами, их сходство и различие. Слова «мистер Иден» — вот что заставило его вздрогнуть. Он, которого всю жизнь звали «Иден», или «Мартин Иден», или просто «Мартин», — вдруг «мистер». «Это уже кое-чего стоит», — отметил он про себя. Его сознание вдруг словно превратилось в огромную камеру-обскуру, и перед ним, обгоняя друг друга, замелькали знакомые картины: кочегарки, трюмы, доки, пристани, тюрьмы и трактиры, больницы и мрачные трущобы; все это нанизалось на один стержень — форму обращения, к которой он привык в жизни.

Но тут он обернулся и увидел девушку. Беспорядочные видения, роившиеся в его памяти, сразу исчезли. Перед ним было бледное, воздушное существо с большими одухотворенными голубыми глазами, с массой золотых волос. Он не знал, как она одета, — знал лишь, что наряд на ней такой же чудесный, как и она сама. Он мысленно сравнил ее с бледнозолотым цветком на тонком стебле. Нет, скорей она дух, божество, богиня, — такая возвышенная красота не может быть земной. Или в самом деле правду говорят книги, и в других, высших кругах общества много таких, как она? Вот ее бы воспеть этому Суинберну. Может быть, он и думал о ком-нибудь, похожем на нее, когда описывал Изольду в книге, которая лежит там, на столе. Вся эта смена мыслей, образов и чувств заняла одно мгновение. А внешние события шли своей непрерывной чередой. Руфь протянула ему руку, и он заметил, как прямо смотрела она ему в глаза во время крепкого, совсем мужского рукопожатия. Женщины,

которых он знал, не так пожимали руку. Они вообще редко здоровались за руку. Его снова захлестнул целый поток пестрых картин, воспоминаний о встречах и знакомствах с разными женщинами. Но он отогнал все эти воспоминания и смотрел на нее. Такой он никогда не видел. Женщины, которых он знал... Немедленно рядом с нею выстроились «те» женщины. В течение секунды, показавшейся вечностью, он словно стоял посреди портретной галереи, в которой она занимала центральное место, а вокруг теснилось множество женщин, и каждую надо было оценить беглым взглядом, сравнив и сопоставив с нею. Он увидел худые, болезненные лица фабричных работниц и задорных девчонок городской улицы; увидел батрачек с огромных скотоводческих ранчо и смуглых жительниц Мексики с неизменной сигаретой в зубах. Потом замелькали похожие на кукол японки, семенящие на деревянных подошвах; женщины Евразии с тонкими чертами лица, уже отмеченные признаками вырождения; за ними пышнотелые женщины островов Тихого океана, в венках из цветов, оттеняющих их темную кожу. И, наконец, всех оттеснила чудовищная, кошмарная толпа — растрепанные потаскухи с панелей Уайтчепела, пропитанные джином ведьмы из темных притонов, целая вереница исчадий ада, грязных и развратных, жалкие подобия женщин, подстерегающие моряков на стоянках, отбросы гаваней, пена и накипь людского котла.

— Садитесь, мистер Иден, — сказала девушка. — Мне так хотелось познакомиться с вами, после того что нам рассказал Артур. Это был такой смелый поступок.

Он остановил ее движением руки и пробормотал, что все это сущий вздор, что всякий поступил бы так же на его месте. Она заметила, что рука, которую он поднял, покрыта свежими, заживающими ссадинами; посмотрела на другую руку и увидела то же самое. Потом, скользнув по нем быстрым испытующим взглядом, она заметила шрам у него на щеке, другой на лбу, под самыми волосами, и, наконец, третий, исчезавший за крахмальным воротничком. Она подавила улыбку, увидав красную полоску, натертую воротничком на его бронзовой шее. Он, видимо, не привык носить воротнички. Ее женский глаз отметил и дурной, мешковатый покрой его костюма,

складки у плеч, морщины на рукавах, под которыми обрисовывались могучие бицепсы.

Повторяя, что в его поступке нет ничего особенного, он послушно шагнул к креслу. При этом он успел полюбоваться той непринужденной грацией, с которой села она, и смутился еще больше, представив себе свою нескладную фигуру. Это было ново для него. Ни разу в жизни не задумывался он над вопросом, ловок он или неуклюж. Ему никогда в голову не приходило смотреть на себя с такой точки зрения. Он осторожно присел на край кресла, не зная, куда деть свои руки. Как он их ни клал, они все время мешали ему. А тут еще Артур вышел из комнаты, и Мартин Иден с невольной тоской посмотрел ему вслед. Оставшись в комнате наедине с этим бледным духом в женском облике, он окончательно растерялся. Тут не было ни стойки, где можно спросить джину, ни мальчишки, которого можно послать за пивом, чтобы при помощи этих располагающих к общению напитков завести дружескую беседу.

— У вас шрам на шее, мистер Иден,— сказала девушка.— Откуда он? Наверно, это след какого-нибудь необычайного приключения?

— Мексиканец меня хватил ножом, мисс,— отвечал он, проведя языком по губам и кашлянув, чтобы прочистить горло.— Была потасовка. А потом, когда я вырвал у него нож, он хотел мне откусить нос.

Он сказал это совершенно просто, а перед его глазами возникла картина той душной звездной ночи в Салина-Круц: белая полоса берега, огни груженных сахаром пароходов, голоса пьяных матросов в отдалении, толкотня грузчиков, искаженное яростью лицо мексиканца, звериный блеск его глаз при звездном свете, холод стали на шее, струя крови, толпа и крики, два тела, сплетенные вместе и катающиеся на песке, и мелодичный звон гитары где-то вдали. Так это было, и, вздрогнув при одном воспоминании, он подумал о том, сумел ли бы изобразить все это красками тот, кто написал картину, висевшую на стене? Белый берег, звезды, огни грузовых пароходов,— все это должно бы здорово получиться,— а посредине, на песке, темная толпа вокруг дерущихся. Он

решил, что и нож следовало изобразить на картине,—
сталь так красиво блестела бы при свете звезд.

Но обо всем этом он не сказал ни слова.

— Да, он хотел откусить мне нос,— повторил он
только.

— О! — воскликнула девушка, и в тоне ее голоса и в
выражении лица он почувствовал замешательство. Он и
сам смешался, легкая краска разлилась по его загорелым
щекам, но ему показалось, что они пылают, как после
целого часа, проведенного у открытой топки котла. О та-
ких неприглядных предметах, как драка на ножах, едва
ли удобно беседовать со светской дамой. В книгах люди
ее круга никогда таких разговоров не вели,— может быть,
они даже не знали о подобных вещах.

Произошла легкая заминка в едва успевшей завя-
заться беседе. Тогда Руфь снова задала вопрос, на этот
раз о шраме у него на щеке. Когда она сделала это, он
понял, что она старается говорить с ним о том, что ему
близко, и тут же решил, ответив, перевести затем разго-
вор на то, что близко ей.

— Случай такой вышел,— сказал он, проводя рукой
по щеке.— Однажды ночью, в большую волну, сорвало
грот со всеми снастями. Трос-то был проволочный, он и
стал хлестать кругом, как змея. Вся вахта старалась его
поймать. Ну, я бросился и закрепил его, только при этом
меня звездануло по щеке.

— О! — воскликнула она опять, на этот раз с неко-
торым участием, хотя все эти «гроты» и «тросы» были
для нее настоящей китайской грамотой.

— Этот... Свайнберн,— начал он, осуществляя свой
план, но при этом делая ошибку в произношении.

— Кто?

— Свайнберн,— повторил он,— поэт.

— Суинберн,— поправила она его.

— Да, он самый,— проговорил он, снова покраснев.—
Давно он умер?

— Я не слыхала, чтобы он умер.— Она посмотрела
на него с любопытством.— А где вы с ним познакоми-
лись?

— Да я его и в глаза не видал,— отвечал он.— Я про-
читал кое-что из его стихов вон в той книжке на столе,

как раз перед тем, как вы пришли. Вам его стихи нравятся?

Она заговорила свободно и легко об интересовавшем его предмете. Он почувствовал себя лучше и даже глубже уселся в кресло, продолжая, однако, крепко держаться за ручки, словно опасался, что оно уйдет из-под него и он шлепнется на пол. Ему удалось подсказать ей тему, ей близкую, и теперь он напряженно слушал, удивляясь тому, как много знаний укладывается в ее хорошенькой головке, и наслаждаясь созерцанием ее хрупкой красоты. Он старался понять то, что слышал, хотя незнакомые слова, так просто слетавшие с ее губ, повергали его в недоумение, да и весь ход ее мысли был ему совершенно чужд. Однако все это заставляло работать его мозг. Вот где умственная жизнь, думал он, вот где красота, яркая и чудесная, какая даже не снилась ему. Он забыл все окружающее и жадными глазами впился в девушку. Да, вот это — то, для чего стоит жить, чего стоит добиваться, из-за чего стоит бороться и ради чего стоит умереть. Книжки говорили правду. Бывают на свете такие женщины. Вот одна из них. Она окрылила его воображение, и огромные яркие полотна возникали перед ним, и на них роились таинственные, романтические образы, сцены любви и героических подвигов во имя женщины — бледной женщины, золотого цветка. И сквозь эти зыбкие, трепетные видения, как сквозь чудесный мираж, он смотрел на живую женщину, говорившую ему об искусстве и литературе. Он слушал и смотрел, не подозревая, что в его глазах, в устремленном на нее пристальном взгляде отражена вся мужская сущность его натуры. Но она, мало знавшая о жизни и о мужчинах, вдруг по-женски настрожилась, поймав его пылающий взгляд. Еще ни один мужчина не смотрел на нее так, и этот взгляд смутил ее. Она запнулась и умолкла. От нее вдруг ускользнула нить рассуждений. Этот человек пугал ее, и в то же время ей почему-то было приятно, что он так на нее смотрит. Привитые воспитанием навыки предостерегали ее против опасности и силы этого таинственного, коварного обаяния; но инстинкт звенел в крови, требуя, чтобы она забыла, кто она и что она, и устремилась навстречу этому гостю из другого мира, этому неуклюжему юноше

с израненными руками и красной полоской на непривычной к воротничку шее,— юноше, носившем на себе явный и неприглядный отпечаток грубой жизни среди грубых людей. Она была чиста, и вся чистота ее возмущалась; но она была женщина, и к тому же только что начавшая познавать удивительный парадокс женской природы.

— Значит, как я говорила... А что я говорила? — вдруг воскликнула она, оборвав фразу, и сама весело рассмеялась.

— Вы говорили, что этот Суинберн не сделался великим поэтом, потому что... да... вот на этом вы как раз и остановились, мисс...

Он сказал это и почувствовал точно приступ внезапного голода. От ее смеха приятные мурашки забегали у него по спине. Точно серебро, подумал он, точно маленькие серебряные колокольчики; и в то же мгновение, и только на одно мгновение, он перенесся в далекую страну — сидел там под вишней, осыпанной розовым цветом, курил и слушал звон колокольчиков остроконечной пагоды, призывающий на молитву богомольцев в соломенных сандалиях.

— Да, да... благодарю вас,— отвечала она.— Суинберн потому не сделался великим поэтом, что, по правде говоря, он иногда бывает грубоват. У него есть такие стихотворения, которые просто не стоит читать. У настоящего поэта каждая строчка исполнена прекрасной истины и взывает к самому высокому и благородному в человеке. У великого поэта нельзя выкинуть ни одной строчки. Это было бы огромной потерей для мира.

— А мне это показалось очень хорошо,— сказал он нерешительно,— то, что я вот тут прочел... Мне и в голову не приходило, что он такой... такой дурной. Должно быть, это по другим его книгам видно.

— И в той книге, которую вы читали, есть много строк, которые можно было бы выкинуть без всякого ущерба,— заявила она твердым и безапелляционным тоном.

— Мне они, верно, не попались,— сказал он.— То, что я читал, было уж очень здорово. Точно свет какой-то тебе в душу светит, вроде солнца или прожектора. Так

мне показалось, мисс; да ведь я, должно быть, ни черта в стихах не смыслю.

Он вдруг умолк, мучительно сознавая свою косноязычность. В том, что он только что прочел, он почувствовал силу и теплое дыхание жизни, но ему не хватало слов, чтобы рассказать об этом. Он чувствовал себя, точно матрос на чужом судне, который темною ночью путается в незнакомой оснастке. Хорошо, решил он, значит нужно во что бы то ни стало освоиться в этом чужом мире. Еще никогда не бывало, чтобы он не смог достигнуть того, чего хотел, а сейчас он страстно хотел научиться выражать свои чувства и мысли так, чтобы она его понимала. Она уже затмила для него весь горизонт.

— Вот, например, Лонгфелло...— начала она.

— Да, да. Я его читал,— живо перебил он, желая поскорей проявить все свои хоть и малые познания в области литературы. Пусть она убедится, что он не такой уж круглый невежда.— Я читал «Псалом жизни», «Эксцельсиор»... Да вот, кажется, и все.

Она улыбнулась, кивнула головой, и он почувствовал в ее улыбке снисходительность, жалостливую снисходительность. Он сглупил, вздумав похвалиться своими убогими познаниями. Ведь этот Лонгфелло написал, наверно, несчетное множество книг.

— Простите меня, мисс, что я к вам полез с разговорами,— сказал он.— Правду сказать, я мало смыслю в таких вещах. Это не моего ума дело... Но я добьюсь того, что это будет моего ума дело.

Последние слова прозвучали как угроза. Голос его звенел, глаза сверкали, складки в углах рта обозначились резче. Ей даже показалось, что челюсть у него выдвинулась вперед, отчего все лицо приняло какое-то неприятное, вызывающее выражение. И в то же время мощная волна мужественности, исходящая от него, захлестнула ее.

— Я верю, вы добьетесь того, чтобы... чтобы это стало вашего ума дело,— подтвердила она смеясь.— Вы такой сильный!

Ее взгляд на миг остановился на его мускулистой, почти бычьей шее, бронзовой от солнца, пышущей здоровьем и силой. И хотя он сидел перед ней такой смущен-

ный и робкий, ее снова потянуло к нему. У нее вдруг мелькнула сумасбродная мысль. Ей представилось, что если б она обняла эту шею, вся его сила и мощь передались бы ей. Эта мысль устыдила ее. Точно вдруг проявилась какая-то скрытая порочность ее натуры. Кроме того, физическая сила всегда казалась ей чем-то низким и грубым. Ее идеалом мужской красоты была до сих пор элегантная стройность. Однако странная мысль не оставляла ее. Она не понимала, как могло у нее явиться желание обнять эту загорелую шею. А между тем все было просто. Она была хрупка от природы, и потому телом и душой тянулась к силе, которой ей не хватало. Но она не сознавала этого, она знала лишь, что ни один мужчина еще не затрагивал ее так сильно, как этот человек, чья неправильная речь то и дело резала ее слух.

— Да, я вообще здоров, как бык,— сказал он,— ежели понадобится, могу переварить ржавое железо. Но сейчас вот у меня что-то вроде несварения. Многое из того, что вы говорите, мне не переварить. Меня, видите ли, никогда ничему такому не обучали. Я люблю книги и стихи и читаю их, как только выдастся время. Но только я никогда про них так не думаю, как вы. Оттого мне и говорить о них трудновато. Я вроде моряка в незнакомом море, без карты и без компаса. А мне хочется сообразить, что тут к чему. Может, вы мне поможете? Откуда вы сами столько знаете?

— Я училась, ходила в школу,— отвечала она.

— В школу и я ходил, когда был мальчишкой,— возразил он.

— Да, но я кончила среднюю школу, а потом ходила в университет, слушала лекции.

— Вы учились в университете? — переспросил он с неприкрытым изумлением. И сразу между ними легло пространство в миллионы миль.

— Я и сейчас там учусь. Я слушаю специальный курс по английской филологии.

Он не знал, что значит «филология», и, отметив свое невежество в этом пункте, спросил:

— А сколько времени нужно было бы мне учиться, чтобы попасть в университет?

Она решила ободрить его в этом стремлении к знанию.

— Зависит от того, сколько вы учились раньше. Вы совсем не были в средней школе? Ну, да, конечно, нет... Но начальную школу вы окончили?

— Мне оставалось до конца всего два года,— отвечал он,— да я ушел... Но учился я всегда с наградами.

И тотчас же, браня себя за это хвастовство, он так сжал ручки кресла, что у него заныли пальцы. В то же мгновение он увидел, что в комнату вошла какая-то дама. Девушка тотчас же встала и пошла ей навстречу. Они поцеловались и, обнявшись, вместе направились к нему. Наверно, ее мать, решил он. Это была высокая белокурая женщина, стройная, величественная и красивая, одетая нарядно, как и подобает хозяйке такого дома. Изящные линии ее платья радовали глаз. Весь ее облик напомнил Мартину Идену женщин, виденных им на сцене. Потом он вспомнил, что таких же важных дам, так же одетых, он видел в вестибюлях лондонских театров, где, бывало, пялил на них глаза, пока полисмен не выгонит его на улицу под дождь. Вслед за этим воображение перенесло его в Июкогаму, к Гранд-Отелю, где ему тоже случалось видеть издали подобных дам. И тотчас же замелькали перед ним сотни картин Июкогамы — города и гавани. Но он принудил себя закрыть калейдоскоп памяти и сосредоточить все внимание на настоящем. Он догадался, что должен встать и представиться, и с трудом поднялся с кресла, чувствуя, как безобразно пузываются у него брюки на коленях. Руки его беспомощно повисли, а лицо при мысли о предстоящем испытании приняло мрачное выражение.

Глава вторая

Переход в столовую был сплошным кошмаром. Продвигаясь среди всех этих предметов, на которые можно было ежесекундно натолкнуться, он медлил, спотыкался, останавливался, и подчас ему казалось, что он никогда не доберется до цели. Но в конце концов он проделал

опасный путь и теперь сидел рядом с нею. Обилие ножей и вилок испугало его. Они грозили неведомыми опасностями, и он, как зачарованный, смотрел на них, пока в глазах у него не зарябило от блеска, и на этом сверкающем фоне всплыла знакомая картина матросского кубрика, где он и его товарищи ели солонину, действуя складными ножами, а то и просто пальцами, или хлебали густой гороховый суп из общей миски помятыми железными ложками. В ноздрях у него стоял запах тухлого мяса, в ушах раздавалось громкое чавканье матросов, которому аккомпанировал скрип снастей. Он решил, что они ели, как свиньи. Ладно, тут уж он последит за собой. Постарается жевать без шума, все время будет помнить об этом.

Он окинул взглядом стол. Против него сидели Артур и второй брат, Норман. Ее братья, сказал он себе, и почувствовал к ним искреннее расположение. Как они любят друг друга, члены этой семьи! Ему вспомнилось, как Руфь встретила свою мать, как они поцеловались, как, обнявшись, направились к нему. В том мире, из которого он вышел, не в обычае были подобные нежности между родителями и детьми. Для него это послужило своего рода откровением, доказательством той возвышенности чувств, которой достигли высшие классы. Из всего, что ему пришлось увидеть в этом новом для него мире, это было самое прекрасное. Он был глубоко тронут, и сердце его исполнилось нежностью и сочувствием. Всю свою жизнь Мартин искал любви. Его природа жаждала любви. Это было органическою потребностью его существа. Но жил он без любви, и душа его все больше и больше ожесточалась в одиночестве. Впрочем, сам он никогда не сознавал, что нуждается в любви. Не признавал он этого и теперь. Он только видел перед собой проявления любви, и они волновали его, казались ему благородными, возвышенными, прекрасными.

Он был рад, что за столом нет мистера Морза. Достаточно с него было знакомства с Руфью, с ее матерью и с ее братом Норманом,— Артура он уже немного знал. Знакомиться еще и с отцом—это было бы слишком. Ему казалось, что еще никогда он так не трудился. Самая тяжелая работа была детской игрой по сравнению

с этим. На лбу у него выступили мелкие капли пота, а рубашка взмокла от усилий, которых требовало решение стольких непривычных задач сразу. Надо было есть так, как он никогда прежде не ел, пользоваться предметами, с назначением которых он не был знаком, украдкой поглядывать на других, чтобы понять, как все это делается, и в то же время вбрасывать в себя непрерывный поток новых впечатлений, — он едва успевал классифицировать их в своем сознании; и при этом он еще испытывал неодолимое влечение к Руфи, наполнявшее его смутной и болезненной тревогой; томился страстным желанием подняться до той жизни, которой жила она, и напряженно и непрестанно размышлял о том, как достичь этого. Искося поглядывая на Нормана, сидевшего напротив, или еще на кого-нибудь из обедающих, чтобы узнать, какой нож или вилку надо брать в том или ином случае, он старался в то же время ясно запечатлеть в своем сознании черты каждого и угадать, в каких он отношениях с Руфью. Кроме того, он должен был говорить, слушать то, что говорили ему, или то, что говорилось вокруг, отвечать, когда это было нужно, заботясь о том, чтобы язык, привыкший к распушенным речам, не сболтнул чего-нибудь неподходящего. В довершение всего существовала еще постоянная угроза в виде слуги, который бесшумно появлялся за его стулом и, подобно некоему сфинксу, задавал загадки, требуя немедленного ответа. И все время Мартину не давала покоя мысль о чашках для ополаскивания пальцев. Против воли он то и дело вспоминал об этих чашках, думал о том, какие они из себя и когда их подадут. До сих пор он знал о них только понаслышке, и вот теперь, может быть через минуту-две, он их увидит, — ведь он сидит за одним столом с высшими существами, которые привыкли ополаскивать пальцы после еды, и должен будет сам — да, сам — это проделать. Но больше всего его занимала неотступная мысль: как ему держаться с этими людьми? Как себя вести? Он мучительно и напряженно старался разрешить эту проблему. Иногда его соблазняло желание притвориться не тем, что он есть на самом деле, но тотчас являлась опасливая мысль, что ничего у него не выйдет, что он не привык к притворству и легко может оказаться в дураках.

Занятый всеми этими размышлениями, Мартин первую половину обеда просидел очень тихо. Он не знал, что тем самым опровергает слова Артура, предупредившего родных, что приведет обедать дикаря, но чтобы они не пугались, так как дикарь этот очень интересный. Мартину никогда не пришло бы в голову, что ее брат может быть способен на такое предательство, в особенности после того, как он этого брата выручил из беды. И он сидел за столом, угнетенный сознанием собственного ничтожества и очарованный всем, что совершалось вокруг него.

Впервые он понял, что еда не просто удовлетворение физической потребности. Раньше он никогда не замечал того, что ел. Это была пища, и только. Здесь же, за этим столом, он находил удовлетворение своему чувству прекрасного, потому что еда здесь являлась эстетической функцией. И не только эстетической, но и интеллектуальной. Ум его усиленно работал. Вокруг него произносили слова, непонятные ему по значению или же такие, которые он встречал только в книгах и которые никто из людей его мира не мог бы даже выговорить. И слушая, как легко перебрасываются подобными словами члены этой удивительной семьи, ее семьи, он дрожал от восторга. Все увлекательное, высокое и прекрасное, о чем он читал в книгах, оказалось правдой. Он находился в блаженном состоянии человека, мечты которого вдруг перестали быть мечтами и воплотились в жизнь.

Никогда еще не поднимался он на такие жизненные высоты, и он старался поменьше обращать на себя общее внимание, наблюдая и слушая, отвечая односложно: «да, мисс» и «нет, мисс», если к нему обращалась она; «да, мэм» и «нет, мэм», если к нему обращалась ее мать. Он едва удерживался, чтобы не говорить ее братьям: «слушаю, сэр», как полагалось по правилам морской дисциплины. Он чувствовал, что тем самым поставил бы себя в приниженное положение, а этого не должно быть, если он хочет добиться ее. Да и гордость его восставала против этого. Ей-богу, думал он, я не хуже их; и если они знают многое, чего я не знаю, то и я их тоже мог бы кой-чему научить. Но в следующий миг, когда она или ее мать говорили ему: «мистер Иден», — он забывал свою

строптивную гордость и сиял от восторга. Он был сейчас цивилизованным человеком — да, да, вот именно — и обедал в обществе людей, о которых раньше только читал в книжках. Он словно сам попал в книгу и странствовал по страницам переплетенного тома.

Но, сидя за столом и уподобляясь скорее кроткому ягненку, чем изображенному Артуром дикарю, Мартин не переставал ломать голову над тем, как ему быть. Он вовсе не был кротким ягненком, и его властная натура не мирилась с второстепенной ролью. Он говорил только тогда, когда это было необходимо, и речь его очень напоминала его переход из гостиной в столовую — он так же поминутно спотыкался и останавливался, роясь в своем многоязычном лексиконе и опасаясь, что нужные слова он не сумеет произнести как следует, а иные, знакомые ему, окажутся грубыми или непонятными. Все время его угнетала мысль, что эта связанность речи вредит ему, мешает выразить то, что он на самом деле чувствует и думает. Кроме того, словесная узда стесняла его независимый дух точно так же, как крахмальный воротничок давил его шею. Он знал, что долго не выдержит. Чувства и мысли, обуревавшие его, настоятельно стремились вылиться наружу и принять определенную форму; и в конце концов он забыл, где находится, и старое, знакомое слово, одно из тех, которыми он привык пользоваться, сорвалось с его языка.

Мартин отстранил блюдо, которое назойливо предлагал ему лакей, торчавший у него за спиной, и сказал кратко и выразительно:

— Пау.

Все за столом мгновенно застыли в ожидании, слуга с трудом сдержал злорадную ухмылку, а сам Мартин оцепенел, объятый ужасом. Но он быстро овладел собою.

— Это канакское слово, — сказал он, — означает: «хватит», «довольно». Так уж у меня вырвалось, нечаянно.

Он поймал любопытный взгляд Руфи, устремленный на его руки, и, придя в разговорчивое настроение, продолжал:

— Я недавно приплыл на одном из пароходов тихоокеанской почтовой линии. Он опаздывал, и нам при-

шлось здорово поработать на погрузке в портах залива Пюджет. Вот я и поободрал себе шкуру.

— А я вовсе не на то смотрела,— поспешно сказала она.— У вас очень маленькие руки для такого крупного мужчины.

Он покраснел, словно ему указали еще на один его недостаток.

— Да,— сказал он огорченно,— кулаки у меня маловаты, это верно. Но бицепсы здоровые и удар что надо. Как заеду кому-нибудь в зубы, так непременно руки в кровь расшибу.

Мартин был недоволен тем, что сказал. Он почувствовал отвращение к себе: перестал следить за собой и сразу наболтал лишнего о вещах не очень красивых.

— Как смело было с вашей стороны прийти на помощь Артуру, тем более что он вам совсем чужой,— сказала Руфь деликатно, заметив его смущение, но не поняв причины.

Он же вполне понял и оценил ее тактичность и, увлеченный порывом благодарности, опять дал волю своему языку.

— Ерунда,— сказал он,— каждый сделал бы то же на моем месте. Эта шайка мерзавцев просто лезла на скандал. Артур их и не трогал. Они набросились на него, а я на них,— ну и отдул их порядком. Правда, руки у меня пострадали, ну да зато кое-кто из них не досчитался зубов. Я очень рад, что так вышло. Я когда вижу...

Он вдруг умолк, с раскрытым ртом, потрясенный собственным ничтожеством, чувствуя, что недостойн даже дышать одним воздухом с нею. И в то время как Артур, подхватив разговор, в двадцатый раз стал рассказывать о приключении на пароме,— как на него напали какие-то пьяные хулиганы и как Мартин Иден бросился на них и спас его,— герой этого приключения, насупив брови, молча думал о том, что выставил себя болваном, и еще больше прежнего терзался вопросом, как же нужно вести себя в обществе этих людей. Он явно делал все время не то, что надо. Он был не их породы и не умел говорить их языком. Это для него было несомненно. Поддель-

ваться под них? Но из этого ничего бы не вышло, да и вообще притворство было не в его натуре. В нем не было места для обмана и фальши. Будь что будет, но он должен оставаться самим собою. Сейчас он не может говорить так, как говорят они, но со временем сможет: это он решил твердо. А пока — не молчать же ему! — он будет говорить своим языком, разумеется, смягчая выражения, чтобы его речь не шокировала их и была им понятна. Больше того, он не хочет своим молчанием дать повод думать, что ему ясно то, что на самом деле ему совершенно неясно. Поэтому, когда братья, говоря об университетских делах, несколько раз употребили слово «триг», Мартин Иден, следуя своему решению, спросил их:

— Что такое «триг»?

— Тригонометрия, — отвечал Норман. — Часть высшей «матики».

— А «матика» что такое? — был следующий вопрос, и на этот раз почему-то все засмеялись, глядя на Нормана.

— Математика — ну, арифметика, — отвечал он.

Мартин Иден кивнул головой. Он заглянул в бесконечные, на первый взгляд, дали мудрости. Но то, что он увидел, приняло для него осязаемые формы. Необычайная сила его воображения воплощала абстрактные понятия в конкретные образы. В алхимическом приборе его мозга тригонометрия и математика и вся область знания, обозначением которой служили эти слова, превратилась в яркий ландшафт. Он видел, как на картине, зеленую листву, лесные прогалины, то ярко освещенные, то лишь пронизанные золотистыми лучами. Издалека все казалось окутанным легкой пурпурной дымкой, но за этой дымкой, он знал твердо, лежала страна неведомого, страна романтических чудес. Все это пьянило его, как вино. Тут была почва для подвига, простор для мыслей и дел, мир, который можно было завоевать, — и тотчас же из глубины сознания всплыла мысль: завоевать ради нее, бледной, как лилия, девушки, сидящей рядом с ним.

Сверкающее видение было разрушено Артуром, который прилагал все старания, чтобы в Мартине Идене проявился, наконец, дикарь. Мартин помнил свое решение.

Впервые за весь вечер он стал самим собою и сначала с усилием, а потом свободно, увлекшись радостью творчества, стал рассказывать, стараясь представить жизнь такой, какою он ее знал. Он был матросом на контрабандистской шхуне «Алкион», когда ее захватил таможенный катер. Мартин умел видеть и вдобавок умел рассказать о том, что видел. Он описывал бурное море, корабли и людей команды и силой своего воображения заставлял слушателей смотреть его глазами. С чутьем настоящего художника он выбирал из множества подробностей самое яркое и разительное, создавал картины, полные света, красок и движения, увлекаая слушателей своим самобытным красноречием, вдохновением и силой. Иногда их шокировала реальность описаний или отдельные обороты речи, но грубое в его рассказе неизменно чередовалось с прекрасным, а трагизм смягчался юмором, причудливыми и веселыми образцами остроумия моряков.

И пока Мартин Иден говорил, Руфь смотрела на него с восхищением. Его огонь согревал ее. Она впервые почувствовала, что все эти годы жила, не зная тепла. Ей хотелось прильнуть к этому могучему, пылкому человеку, в котором клокотал вулкан силы и здоровья. Желание это было так сильно, что она с трудом сдерживала себя. Но в то же время что-то и отталкивало ее от Мартина. Отталкивали эти израненные мозолистые руки, в кожу которых словно въелась житейская грязь, эти вздувшиеся мускулы, эта шея, натертая воротничком. Его грубость пугала ее. Каждое грубое слово оскорбляло ее слух, каждая грубая подробность его жизни оскорбляла ее чувства. И все-таки ее влекла к нему какая-то, как ей казалось, сатанинская сила. Все, что так твердо устоялось в ее мозгу, вдруг стало колебаться. Его жизнь, полная романтики и приключений, опрокидывала все привычные ей условные представления. Она слушала его смех, его веселые рассказы об опасностях, и жизнь уже не казалась ей чем-то серьезным и трудным, а скорее игрушкой, которой приятно поиграть, повертеть во все стороны, но которую можно и отдать без особого сожаления. «Вот и ты играй,— говорил ей внутренний голос,— прижмись к нему, если тебе так хочется, обними его за шею». Ее

ужаснула легкомысленность этих побуждений, но напрасно заставляла она себя думать о своей чистоте, своей культуре — обо всем том, что отличало ее от него. Посмотрев кругом, Руфь увидела, что и остальные слушают его, как замороженные, но в глазах своей матери она прочла тот же ужас, — восторженный, но все-таки ужас, — и это придало ей силы. Да, этот человек, пришедший из мрака, — порождение зла. Ее мать также видит это, — значит, так и есть. Руфь была готова положиться на суждение матери, как привыкла полагаться всегда. Пламя Мартина перестало жечь ее, и страх, который он ей внушал, потерял свою остроту.

После обеда она играла ему на рояле, с тайным вызовом, с неосознанным желанием еще увеличить пропасть, их разделявшую. Ее музыка ошеломила Мартина, подействовала на него, как жестокий удар по голове, но, ошелолив и сокрушив, в то же время всколыхнула его душу. Он смотрел на Руфь с благоговением. Как и она, он почувствовал, что пропасть между ними еще увеличилась, но тем сильнее хотелось ему перешагнуть через нее. Он был слишком полон жизни и энергии, чтобы целый вечер молча созерцать эту пропасть, в особенности когда еще при этом звучала музыка. Музыка на него всегда сильно действовала. Она, точно крепкое вино, горячила его чувства, опьяняла воображение и уносила в заоблачную высь. У него словно вырастали крылья. Неприглядная действительность переставала существовать, уступая место прекрасному и необычайному. Он, конечно, не понимал того, что играла Руфь. Это было совсем не похоже на звуки разбитого пианино, которые он слышал на матросских танцульках, или на оглушительную медь духового оркестра. Но в книгах ему случалось читать о такой музыке, и он принимал на веру игру Руфи, не находя в ней простого и четкого ритма, к которому привыкло его ухо. Иногда ему казалось, что он поймал ритмический рисунок, и он уже готов был подчинить ему строй образов, встававших перед ним, но тотчас же снова терялся в хаосе звуков, и его воображение беспомощно низвергалось на землю, как лишенная опоры тяжесть.

Один раз Мартину даже пришлось в голову, не смеется ли она над ним. В ее игре ему чудилось нечто враждеб-

ное, и он старался угадать, что хотели сказать ее руки, ударявшие по клавишам. Но он поспешно отогнал эту недостойную мысль и постарался свободно отдаться музыке. Прежнее очарование постепенно опять овладело им. Его ноги словно отделились от земли, плоть стала духом, лучезарное сияние разлилось перед глазами. Все, что было вокруг, исчезло, он парил над каким-то неведомым миром, мечту о котором лелеял давно. Знакомое и незнакомое смешалось в ярком и неотступном видении. Он входил в гавани неведомых жарких стран, блуждал по людным площадям в селениях никому не известных диких племен. Он снова чувствовал пряный аромат островов, который привык вдыхать в знойные ночи на море, снова долгие тропические дни боролся с пассатным ветром среди увенчанных пальмами коралловых рифов, исчезавших и вновь появлявшихся на бирюзовой поверхности океана. Картины возникали и исчезали быстро, как мысли. То он скакал на коне по выжженной солнцем пустыне Аризоны, то, в следующее мгновение, сквозь радужную дымку раскаленного воздуха заглядывал в белую гробницу калифорнийской Долины Смерти или ударял веслами по волнам Ледовитого океана, где сверкали на солнце ледяные громады. То лежал на коралловом острове под кокосовой пальмой, прислушиваясь к мерному шуму прибоя. Остов старого, потерпевшего крушение судна пылал синеватым пламенем, и при этом таинственном свете танцоры плясали «гулу» под страстные завывания певцов, под звон гавайской гитары и грохот там-тама. Стояла напоенная страстью тропическая ночь. Вдали, на фоне звездного неба, вырисовывался силуэт вулкана. Вверху над головой медленно плыл бледный месяц, и низко над горизонтом сияли звезды Южного Креста.

Он словно превратился в эолову арфу. То, что он пережил и изведal на своем веку, было струнами, а музыка — ветром, который колебал эти струны, и они вибрировали, порождая воспоминания и мечты. Он не просто чувствовал. Каждое ощущение принимало у него форму и окраску и претворялось в образы каким-то чудесным и таинственным путем. Прошедшее, настоящее и

будущее сливалось в одно; он уносился в огромный, жаркий, прекрасный мир, совершал великие подвиги, добиваясь Ее. И вот он с ней, он владеет ею, заключает ее в свои объятия, увлекает в царство своих грез.

Руфь, взглянув на Мартина через плечо, прочла на его лице то, что он чувствовал. Это было совсем другое лицо, с большими сверкающими глазами, взгляд которых будто проникал за пелену звуков и там ловил биение живой жизни и исполинские призраки фантазии. Она была потрясена. Грубый, неуклюжий парень исчез. Плохо сшитый костюм, израненные руки и обожженное солнцем лицо попрежнему были перед ней, но теперь все это казалось ей лишь тюремной решеткой, сквозь которую она видела великую душу, беспомощную и немую, ибо не было слов, которые могли выразить волновавшие ее чувства. Но все это Руфь видела лишь один миг; неуклюжий парень появился снова, и она рассмеялась своей фантазии. Однако впечатление от этого мига сохранилось, и когда Мартин неловко подошел к ней, чтобы проститься, она дала ему томик Суинберна и еще томик Броунинга,— как раз сейчас она изучала Броунинга в курсе английской литературы. Мартин вдруг показался ей таким мальчиком, когда стоял перед нею и бормотал слова благодарности, что она невольно почувствовала к нему материнскую нежность и жалость. Она забыла и грубого парня, и пленную душу, и мужчину, который так по-мужски смотрел на нее, радуя и в то же время пугая своим взглядом. Она видела перед собою лишь мальчика, и этот мальчик, пожимая ее руку своей рукой, такой жесткой и огрубевшей, что она царапала кожу, говорил ей, запинаясь:

— Самый замечательный день в моей жизни. Видите ли, я не очень привык ко всему этому,— он растерянно оглянулся,— к таким людям и к таким домам. Это все совсем ново для меня... и это мне нравится.

— Надеюсь, вы к нам еще придете,— сказала она, когда он прощался с ее братьями.

Он напялил кепку, неловко споткнулся о порог и вышел.

— Ну, как он тебе понравился? — спросил Артур.

— Очень занятный. Для нас это — словно струя озона, — ответила она. — Сколько ему лет?

— Двадцать, почти двадцать один. Я спрашивал его сегодня. Никак не предполагал, что он так молод.

«Значит, я на целых три года старше его», — подумала Руфь, целуя братьев на прощанье и желая им спокойной ночи.

Глава третья

Сойдя с лестницы, Мартин Иден запустил руку в карман и, вытащив лоскуток коричневой рисовой бумаги и щепотку мексиканского табаку, скрутил папироску. Он с наслаждением затянулся и медленно выпустил дым.

— Черт побери! — воскликнул он, и в этом возгласе было и удивление и благоговейный восторг. — Черт побери! — повторил он и, помолчав, пробормотал еще раз: — Черт побери! — Потом он отстегнул воротничок и сунул его в карман. Моросил холодный дождь, но Мартин шел с непокрытой головой и в расстегнутом пиджаке, ничего не замечая вокруг. Лишь смутно до его сознания доходило, что идет дождь. Он был в каком-то экстазе, грезил наяву, мысленно переживая снова все, что только что с ним произошло.

Наконец-то он встретил ту самую женщину, о которой он, правда, думал редко, — задумываться о женщинах ему было несвойственно, — но которую всегда смутно надеялся встретить на своем пути. Он сидел с нею рядом за столом, он пожимал ее руку, он смотрел ей в глаза и видел в них красоту ее души, равную красоте этих глаз, в которых она светилась, этого тела, в котором она обитала. Но о теле ее Мартин не думал, — и это было ново для него, потому что до сих пор он о женщинах думал только так. Ее тело было чем-то особым; казалось даже, что оно не должно быть подвержено обыкновенным телесным недугам и слабостям. Оно было не только обиталищем ее души, — оно было эманацией духа, чистейшим и прекраснейшим воплощением ее божественной сущности. Это впечатление божественности поразило Мартина и, рассеяв мечты, обратило его к более трезвым

мыслям. До сих пор ни одно слово, ни одно указание, ни один намек на божественное не задевали его сознания. Мартин никогда не верил в божественное. Он всегда был человеком без религии и весело смеялся над священниками, толкующими о бессмертии души. Никакой жизни «там», говорил он себе, нет и быть не может; вся жизнь здесь, а дальше — вечный мрак. Но то, что он увидел в ее глазах, была именно душа — бессмертная душа, которая не может умереть. Ни один мужчина, ни одна женщина не внушали ему прежде мыслей о бессмертии. А она внушила! Она безмолвно подсказала ему эту мысль сразу, как только взглянула на него. Ее лицо и теперь сияло перед ним, бледное и серьезное, ласковое и выразительное, улыбающееся так нежно и сострадательно, как могут улыбаться только ангелы, и озаренное светом такой чистоты, о какой он и не подозревал никогда. Чистота ее ошеломила его и потрясла. Он знал, что существуют добро и зло, но мысль о чистоте, как об одном из атрибутов живой жизни, никогда не приходила ему в голову. А теперь — в ней — он видел эту чистоту, высшую степень доброты и непорочности, в сочетании которых и есть вечная жизнь.

И его вдруг охватило честолюбивое желание приобщиться к этой вечной жизни. Он отлично знал, что недостойн и воду таскать для такой девушки, как Руфь; уже то, что он весь вечер сидел с нею и беседовал, было неожиданной и фантастической удачей. Конечно, это была только случайность. Он ничем не заслужил этого. Он не был достоин такого счастья. Религиозное настроение овладело им. Он стал кротким и смиренным, готовым к самоотречению и самоунижению. В таком состоянии идет грешник к исповеди. Он был обличен во грехе. Но как всякий грешник, каясь и скорбя о своих прегрешениях, прозревает будущее блаженство, так и он видел впереди то счастье, которое даст ему обладание ею. Но мысль об этом обладании была окутана каким-то туманом и совсем не похожа на те мысли, которые возникали обычно. Честолюбивые мечты окрыляли его, ему представлялось, что он парит вместе с нею на высотах духа, наслаждается всем прекрасным и возвышенным, делит с нею ее мысли. Это было какое-то духовное обладание,

освобожденное от всего грубого, вольное содружество душ, которое он никак не мог осмыслить до конца. Да он и не думал об этом. Он вообще ни о чем не думал. Ощущения в нем взяли верх над рассудком, и он отдался эмоциям, которых никогда прежде не испытывал, плыл по течению в океане чувств, возвышенных и утонченных, уносясь за пределы действительной жизни. Он шел шатаясь, как пьяный, и бормотал вполголоса:

— Черт побери! О, черт побери!

Полисмен на углу посмотрел на него подозрительно и по походке признал в нем матроса.

— Где это ты нагрузился? — спросил полисмен.

Мартин Иден возвратился на землю. Он был от природы наделен внутренней гибкостью, умением быстро приспосабливаться к обстоятельствам. Как только полисмен окликнул его, он тотчас же опомнился.

— Здорово! — воскликнул он со смехом. — А я и не заметил, что разговариваю вслух.

— Еще немножко, и ты начнешь петь, — определил его состояние полисмен.

— А вот не начну. Дайте-ка мне спичку, я сейчас сяду в трамвай и поеду домой.

Он закурил папироску, пожелал полисмену доброй ночи и зашагал дальше.

— Как вам это нравится, — пробормотал он себе под нос, — этот олух принял меня за пьяного! — Он усмехнулся про себя и подумал: «А ведь я вправду пьян, вот не думал, что могу опьянеть от женского лица».

На Телеграф-авеню он вскочил в трамвай, шедший в Беркли. Вагон был набит молодыми людьми, распевавшими студенческие песни. Он с любопытством наблюдал их. То были студенты университета. Они посещали те же лекции, которые посещала она, принадлежали к тому же обществу, могли водить с ней знакомство, могли видеть ее каждый день, если бы захотели. Он удивлялся, что они этого не хотят, что они прошатались где-то весь вечер, вместо того чтобы провести этот вечер с нею, беседовать с нею, любоваться ею восхищенно и почтительно. Он заметил одного юношу с узенькими глазками и отвислой губой. Дрянной, порочный мальчишка, решил он. На корабле это был бы трус, слюнтяй и доносчик. Мысль, что

он, Мартин, куда лучше этого юнца, чрезвычайно обрадовала его. Она как будто приблизила его к ней. Он стал сравнивать себя с этими студентами. Он подумал о своем крепком, мускулистом теле и решил, что в физическом отношении всем им далеко до него. Но их головы были наполнены знаниями, которые позволяли им говорить одним языком с нею, и вот эта-то мысль угнетала его. Но для чего же мне дан мозг, с горячностью подумал он. В самом деле, разве не мог он достичь того, чего достигли они? Они изучали жизнь по книгам, в то время как он был занят тем, что жил. Его голова тоже была наполнена знаниями, только это были знания иного рода. Кто из них сумел бы натянуть парус, править рулем, отстоять вахту? Его жизнь пронеслась перед ним, полная опасностей, отваги, лишений и трудов. Он вспомнил все, что ему пришлось пережить во время ученья. Что ж, а все-таки он не в проигрыше. Когда-нибудь и им придется столкнуться с живою жизнью и испытать все, что он уже испытал. И прекрасно. Пока они будут узнавать то, что ему уже давно известно, он станет по книгам изучать другую сторону жизни.

Трамвай шел мимо пустырей, которых много между Оклендом и Беркли, и Мартин Иден ждал, когда он поровняется с хорошо знакомым двухэтажным домом, украшенным горделивой вывеской: «Розничная торговля Хиггинботама». Возле этого дома он соскочил с трамвая и с минуту смотрел на вывеску. Она говорила ему больше, чем можно было на ней прочесть. Мелочностью, себялюбием и ничтожеством веяло, казалось, от самих букв. Бернارد Хиггинботам был женат на сестре Мартина, и он достаточно хорошо успел изучить его. Мартин отпер дверь своим ключом и поднялся по лестнице во второй этаж. Тут жил его зять. Лавка находилась внизу, но запах гнилых овощей проникал и сюда. Пробираясь по темной прихожей, он споткнулся об игрушечную тележку, забытую кем-то из его многочисленных племянников и племянниц, и с грохотом налетел на дверь. «Скряга,— подумал он,— жалеет уплатить два лишних цента за газ, чтобы жильцы не разбивали себе носов».

Нащупав ручку, он открыл дверь и вошел в освещенную комнату, где сидели его сестра и Бернارد Хиггин-

ботам. Она чинила его брюки, а он читал газету, расположившись на двух стульях и вытянув костлявые ноги в стоптанных ковровых туфлях. Когда Мартин вошел в комнату, он взглянул на него поверх газеты темными, пронзительными, хитрыми глазками. В Мартине Идене Бернард всегда вызывал инстинктивное отвращение. Что могло привлечь сестру в этом человеке? Он ему казался каким-то гадом и вызывал непреодолимое желание раздавить его каблуком. «Когда-нибудь я набью ему морду», — утешал он себя, и только эта мысль помогала ему выносить присутствие зятя. Сейчас злые и хищные глазки смотрели на Мартина неодобрительно.

— Ну, — спросил Мартин, — в чем дело?

— Эту дверь только на прошлой неделе окрасили, — произнес мистер Хиггинботам не то жалобно, не то злобно, — а ты знаешь, какую плату теперь дерут союзы. Можно было бы поосторожнее!

Мартин хотел было ответить, но раздумал, решив, что это все равно безнадежно. Чтобы отделаться от гадливого чувства, он посмотрел на хромолитографию, висевшую на стене. Он удивился. Всегда эта картина нравилась ему, но теперь он словно увидел ее впервые. Это была дешевка, третий сорт, как и все в этой лачуге. Ему вдруг представился тот дом, который он только что покинул, и он увидел сначала картины на стенах, а потом Ее, с ласковой улыбкой пожимающую ему руку на прощанье. Он забыл, где находится, забыл о существовании Бернарда Хиггинботама и опомнился только, когда названный джентльмен спросил его:

— Привидение ты увидел, что ли?

Мартин пришел в себя и, взглянув в эти злые, хитрые глазки, вдруг вспомнил, какие они бывают, когда обладатель их отпускает товар в лавке, — масляные, слащавые, с заискивающим, рабски-угодливым выражением.

— Да, — отвечал Мартин, — я увидел привидение. Покойной ночи! Покойной ночи, Гертруда!

Он направился к двери и по дороге опять споткнулся и чуть не упал, зацепившись за складку пыльного ковра.

— Не хлопай дверь, — предостерегающе окликнул мистер Хиггинботам.

Мартину кровь бросилась в голову, но он сдержался и осторожно затворил за собою дверь.

Мистер Хиггинботам торжествующе поглядел на жену.

— Пьян,— объявил он хриплым шепотом.— Я тебе говорил, что он налижится!

Жена покорно кивнула головой.

— У него, правда, глаза блестят,— признала она,— и воротничок куда-то девался, а пошел он из дому в воротничке. Но, может, он не так уж много выпил.

— Он еле на ногах держится,— возразил ее супруг,— я наблюдал за ним. Шагу не мог сделать, чтобы не споткнуться. Ты слышала, как он чуть не свалился в передней?

— Он, верно, наскочил на тележку Алисы,— отвечала она,— не заметил ее в темноте.

Мистер Хиггинботам повысил голос, давая волю нарастающему раздражению. Весь день он скромно стушевывался перед покупателями, в ожидании вечера, когда в кругу семьи сможет, наконец, позволить себе стать самим собою.

— Я тебе говорю, что твой прекрасный братец пьян!

Он говорил резким, холодным, решительным тоном, чеканя слова, точно штампуя их на станке. Жена грустно умолкла. Это была толстая, рыхлая женщина, всегда небрежно одетая, всегда изнемогающая под бременем своего тела, своей работы и своего супруга.

— Это у него наследственное, от папаши,— продолжал тот прокурорским тоном.— Тоже кончит где-нибудь под забором. Так и знай!

Она опять кивнула и со вздохом принялась шить. Оба были убеждены, что Мартин пришел домой пьяный. Их души были глухи ко всему прекрасному, иначе они бы поняли, что эти сверкающие глаза и сияющее лицо были отражением первой юношеской любви.

— Хорош пример для детей! — закричал вдруг мистер Хиггинботам, раздраженный молчанием жены. Иногда ему хотелось, чтобы она почаще возражала ему.— Если это случится еще раз, пусть убирается вон. Поняла? Я не желаю, чтобы невинные дети развращались, глядя на его пьяную харю! — Мистер Хиггинботам любил употреблять слова, только что вычитанные в газете.— Да, развращались. Иначе не скажешь.

Но жена попрежнему только вздыхала, качала головой и продолжала шить. Мистер Хиггинботам снова взял газету.

— А он заплатил за прошлую неделю? — спросил он вдруг, выглядывая из-за газетного листа.

Она утвердительно наклонила голову.

— У него еще есть деньги.

— А скоро он опять отправится в плавание?

— Должно быть, как все истратит, — отвечала она. — Он уж вчера ездил в Сан-Франциско — посмотреть, нет ли подходящего судна. Но пока у него деньги есть, он, конечно, не наймется на первое попавшееся. Он очень разборчив.

— Еще чего! Палубной швабре не пристало задаваться! — Мистер Хиггинботам усмехнулся. — Разборчив! Подумаешь!

— Он тут рассказывал про одну шхуну, которая отправляется в далекие края какой-то клад искать. Вот он на ней хочет идти, если только хватит денег ее дожждаться.

— Если бы он хотел устроиться здесь, я бы его взял к себе возчиком, — сказал муж, без тени доброжелательства впрочем. — Том взял расчет.

Жена посмотрела на него тревожно и вопросительно.

— Сегодня взял расчет. Он переходит к Каррузерсам. Они платят больше. Я столько не могу платить.

— Вот видишь! — вскричала она. — Я тебе говорила. Ты ему платил слишком мало по его работе.

— Вот что, старуха, — огрызнулся мистер Хиггинботам. — Я тебе тысячу раз говорил, чтобы ты не совала нос не в свое дело. Больше повторять не буду.

— Мне-то все равно, — проворчала она. — А только Том был хороший малый.

Супруг метнул на нее яростный взгляд. С ее стороны это было большой дерзостью.

— Если бы твой братец не был лодырем, он мог бы ездить с подводой.

— Он платит исправно за стол и квартиру, — возразила жена. — Он мой брат, и покуда он тебе ничего не должен, нечего придирааться к нему. Я ведь еще тоже человек, даром что прожила с тобою целых семь лет.

— А ты заявила ему, что он должен платить за газ, если будет читать по ночам? — спросил он.

Миссис Хиггинботам ничего не ответила. Ее негодование уже остыло, ее дух снова забился в недра утомленного тела. Супруг торжествовал. Он одержал верх. И его бусинки-глазки сверкнули злобной радостью. Ему доставляло большое удовольствие смирать ее; и, по правде говоря, теперь это было совсем нетрудно, не то что в первые годы их супружеской жизни, когда ежегодные роды и его постоянные придирки еще не подорвали ее сил.

— Так вот, заяви завтра, — сказал он. — И еще, чтоб не забыть: пошли завтра за Мэриен, пусть присмотрит за детьми. А то теперь, раз Том ушел, мне самому придется ездить за товаром, а ты будешь торговать в лавке вместо меня.

— Завтра у меня стирка, — возразила она нерешительно.

— Встань пораньше, только и всего... Я раньше десяти не выберусь.

Он сердито перевернул газетный лист и снова погрузился в чтение.

Глава четвертая

Мартин Иден, все еще содрогаясь после столкновения с зятем, ощупью пробрался через темную переднюю и вошел в свою комнату — тесную каморку, где помещалась только кровать, умывальник и один стул. Мистер Хиггинботам был слишком скуп, чтобы держать служанку, раз жена его могла работать. К тому же лишняя комната позволяла иметь двух жильцов вместо одного. Мартин положил Суинберна и Броунинга на стул, снял пиджак и сел на кровать. Пружины жалобно застонали под тяжестью его тела, но он не обратил на это внимания. Нагнувшись, чтобы снять башмаки, он вдруг устался на противоположную стену, где на белой штукатурке остались темные полосы от просочившегося сквозь крышу дождя, и замер. На этом грязном фоне стали возникать и таять разные видения. Он забыл про башмаки и долго

смотрел на стену, потом у него зашевелились губы и он прошептал: «Руфь!»

«Руфь!» Мартин никогда и не думал, что простой звук может быть так прекрасен. Этот звук ласкал его слух, и он повторял с упоением: «Руфь, Руфь». Это был талисман, магическое заклинание; и каждый раз, когда он произносил его, ее лицо являлось перед ним, озаряя всю стену золотым сиянием. И не только стену — оно уходило в бесконечность, и где-то там, в золотом просторе, его душа искала ее душу. Все лучшее, что было заложено в нем, хлынуло наружу могучим потоком. Самая мысль о ней облагораживала и возвышала его, делала лучше и вызывала желание стать еще лучше. Это было для него внове. Мартин никогда еще не встречал женщин, с которыми он становился бы лучше. Напротив, все они обычно превращали его в грубое животное. Он не знал, что многие из них все же отдавали ему свое самое лучшее, как ни убого это лучшее было. Он никогда не задумывался о себе и не подозревал, что в нем есть нечто, вызывающее в сердцах любовь, и что именно поэтому многие женщины так упорно добивались его внимания. Он их никогда не искал, они сами его искали; и ему не пришло бы в голову, что некоторые из них становились лучше благодаря ему. До сих пор он относился к женщинам с беспечной небрежностью и теперь был убежден, что это они всегда хватали его и старались удержать своими нечистыми руками. Он был несправедлив к ним, несправедлив и к самому себе. Но этого он не мог понять, потому что не привык еще задумываться о себе, и только сгорал от стыда, вспоминая то, что теперь казалось ему постыдным.

Он вдруг встал и заглянул в засиженное мухами зеркало над умывальником. Он тщательно вытер его полотенцем и смотрел на себя долго и внимательно. В сущности он рассматривал себя впервые в жизни. У него был зоркий и наблюдательный взгляд, но до сих пор он всегда был поглощен пестрым разнообразием внешнего мира, и у него не оставалось времени взглянуть на себя. Теперь он видел перед собой лицо молодого, двадцатилетнего парня, но никак не мог решить, красиво оно или нет, так как у него не было критерия для подобной

оценки. Он увидел копну каштановых волос, вьющихся над высоким крутым лбом. Его кудри нравились женщинам, они любили перебирать их и гладить. Но он не стал приглядываться к волосам, считая, что для Нее они не могут иметь никакого значения, и сосредоточенно и вдумчиво смотрел на свой лоб, пытаясь просверлить его взглядом, узнать, что за ним скрывается. Он настойчиво спрашивал себя, какой у него мозг? Что может этот мозг дать ему? Чего он добьется с его помощью? Добьется ли он Ее?

Он спрашивал себя, видна ли душа в этих иссиня-серых глазах, которые часто становились совсем голубыми, точно вбирали в себя синеву морской глади, озаренной солнцем. Он гадал, могли ли его глаза понравиться ей. Он попытался взглянуть на них со стороны, ее взглядом, но из этого ничего не вышло. Он обычно легко проникал в мысли других людей, но все это были люди, жизнь которых он хорошо знал. А ее жизни он не знал совсем. Она была тайна и чудо,—где ж ему было угадать хоть одну ее мысль? Ну что ж, решил он, наконец, это честные глаза, ни подлости, ни коварства в них нет. Его удивил темный цвет его лица; никогда он не думал, что так черен. Он засучил рукава рубашки и сравнил белую кожу выше локтя с кожей лица. Нет, он все-таки белый. Но руки тоже были покрыты загаром. Тогда он согнул руку и, напрягая бицепсы, постарался разглядеть те части рук, которых вовсе не касалось солнце. Они были очень белы. Он рассмеялся при мысли, что и это бронзовое лицо в зеркале было некогда таким же белым; ему не приходило в голову, что не так уж много на свете женщин, которые могут похвастать такой же белой кожей, как у него,—там, где она не обожжена солнцем.

Рот у него был бы совсем как у херувима, если бы он не имел обыкновения, когда сердился, крепко сжимать свои чувственные губы, что придавало ему какую-то суровость, строгость почти аскетическую. Это были губы воина и любовника. Они знали всю полноту наслаждения жизнью, но умели при случае и принять властный изгиб. Подбородок и чуть тяжеловатая нижняя челюсть еще подчеркивали это властное выражение. Сила уравновешивала в нем чувственность, и потому он любил здоровую красоту и откликался на здоровые чувства.

А между губами блестели зубы, которые ни разу еще не нуждались в услугах дантиста. Они были белые, крепкие и ровные,— так он решил, рассмотрев их. Но тотчас же он почувствовал смущение. Где-то в его памяти шевельнулось смутное представление о том, что некоторые люди ежедневно чистят зубы. То были люди высшего круга, ее круга. Она, вероятно, тоже чистит зубы каждый день. Что она подумала бы о нем, если бы узнала, что он ни разу в жизни не чистил зубов. Он решил завтра же купить зубную щетку и ввести это в обычай. Одними подвигами ее не завоеешь. Он должен произвести изменения во всем, что касалось его особы, начиная с чистки зубов и кончая ношением воротничка, хотя, надевая крахмальный воротничок, он всегда чувствовал себя так, будто его лишили свободы.

Мартин приподнял руку и поскреб пальцем мозолистую ладонь, глядя на грязь, которая, казалось, въелась в кожу так, что ее не соскоблишь и щеткой. Какая ладонь у нее! Даже вспомнить и то было приятно. Нежная, точно лепесток розы; прохладная и легкая, как снежинка. Он никогда и не подозревал, что женская рука может быть такой мягкой и нежной. Он подумал о том, как чудесна должна быть ласка такой руки, и, поймав себя на этой мысли, покраснел и смутился. Эта мысль была слишком дерзкой и оскорбляла ее духовную красоту. Ведь она — бледный дух, бесплотный призрак, парящий где-то далеко от всего земного. И все же он не мог отогнать воспоминания о ее мягкой ладони. Он привык к жестким, огрубевшим в труде рукам фабричных работниц и женщин, измученных домашней работой. Да, конечно, он понимал, почему так грубы их руки. Ее рука... она была нежной и мягкой потому, что ей был незнаком труд. Пропасть снова разверзлась между ними, как только он подумал о том, что есть люди, которым не нужно работать для того, чтобы жить. Он вдруг увидел перед собою образ аристократии, людей, не знающих труда. Этот образ возник на грязнобелой стене в виде бронзовой статуи, надменной и величавой. Мартин работал всю жизнь, с тех пор как он себя помнил; и вся его семья трудом добывала себе пропитание. Взять хоть Гертруду. Ее натруженные руки от стирки распухали и делались

красными, как вареное мясо. Или другая его сестра, Мэриен. Она работала на консервном заводе, и ее маленькие, хорошенькие ручки были сплошь в ссадинах от ножей, которыми резали помидоры. Кроме того, прошлой зимой, когда она работала на картонной фабрике, ей машиной отхватило суставы двух пальцев на руке. Он вспомнил шершавые руки своей матери, сложенные крестнакрест в гробу. Отец его тоже работал до конца дней, и на его ладонях выросли мозоли чуть не в полдюйма толщиной. А у Руфи руки были нежные, и не только у нее, но и у ее матери и братьев. Последнее особенно поразило его; это был красноречивый знак касты, доказательство огромности расстояния, их разделявшего.

Мартин с горькой усмешкой опять сел на кровать и снял, наконец, башмаки. С ума он сошел — опьянел от женского лица, от нежных женских рук. И вдруг перед его глазами всплыло новое видение. Он стоит перед огромным мрачным домом в лондонском Ист-энде, ночью, а рядом с ним стоит Марджи, девчонка-работница лет пятнадцати. Он провожал ее домой после гулянья. Она жила в этом грязном доме, похожем на большой хлев. Прощаясь, Мартин протянул ей руку. Она подставила ему губы для поцелуя, но ему не хотелось целовать ее. Что-то в ней его отпугивало. Тогда она с лихорадочным трепетом сжала ему руку. Мартин почувствовал мозоли на ее маленькой ладони, и его вдруг захлестнула волна жалости. Он видел ее молящие, голодные глаза, ее тщедушное, полудетское тело, в котором уже проснулся несмелый, но жадный инстинкт женщины. Тогда, в порыве сострадания, он обнял ее и поцеловал в губы. Он услышал ее радостный возглас и почувствовал, как она, словно кошка, прижалась к нему. Бедный маленький заморыш! Мартин смотрел на эту картину далекого прошлого. У него побежали мурашки по телу, как тогда, в ту минуту, когда она прильнула к нему, и сердце его сжалось от сострадания. Это была серая картина: небо тогда было серо, и серый дождь моросил над грязными плитами мостовой. Но вдруг яркий свет озарил стену, и, затмевая все образы и видения, перед ним засияло Ее бледное лицо в короне золотых волос, далекое и недостижимое, как звезда.

Он взял со стула томики Суинберна и Броунинга и поцеловал их. А все-таки она звала меня приходить, подумал он. Потом снова взглянул на себя в зеркало и сказал громко и торжественно:

— Мартин Иден, первое, что ты сделаешь завтра утром,— это пойдешь в бесплатную читальню и почи-таешь что-нибудь о правилах хорошего тона. Понял?

После этого он погасил газ, и пружины заскрипели, приняв груз его тела.

— А главное, Мартин, ты должен поменьше черты-хаться. Слышишь, старина! Заруби это себе на носу!

С этими словами он заснул, и сны его по смелости и необычайности могли сравниться с грезами курильщика опиума.

Глава пятая

Проснувшись на другое утро, он почувствовал запах мыла и грязного белья и забыл свои розовые сны. Уши сразу наполнил нестройный шум тяжелой, безрадостной жизни. Выйдя из своей комнаты, он услышал сердитый окрик и звук затрешины, которой его сестра наградила кого-то из детей, чтобы дать выход своему раздражению. Визг ребенка резнул его, словно ножом. Все здесь казалось ему отвратительным, даже самый воздух, которым он дышал. Как все это не похоже на покой и гармонию, царившие в доме, где жила Руфь! Там все было возвышенно и духовно; здесь — материально, грубо материально.

— Иди сюда, Альфред,— крикнул он плачущему ребенку и опустил руку в карман, где у него лежали деньги. К деньгам он относился небрежно, в этом сказывалась его широкая натура. Он сунул мальчугану двадцатипятицентовую монету и взял его на руки, чтобы успокоить.

— Ну, а теперь беги купи себе леденцов да поделись с братьями и сестрами. Выбери такие, чтоб подольше не таяли во рту.

Его сестра на миг распрямилась над лоханью и посмотрела на него.

— Довольно было бы и десяти центов,— сказала она,— ты не знаешь цены деньгам. Мальчик теперь обьестся.

— Ничего,— ответил он весело,— мои денежки сами знают себе цену. Доброе утро, сестренка, если бы ты не была так занята, ей-богу поцеловал бы тебя.

Ему хотелось быть поласковее с сестрой; сердце у нее было доброе, и она по-своему — он это знал — любила его. Правда, с годами она все больше и больше теряла свой прежний облик, становилась сварливой и раздражительной. Он решил, что эта перемена объясняется тяжелым трудом, большой семьей и нудным характером супруга. И вдруг ему пришло в голову, что за это время она словно вся пропиталась запахом гнилых овощей, грязного белья и захватанных медяков, которые она считала за прилавком.

— Ступай-ка лучше завтракать,— сказала она внешне сурово, но в глубине души довольная; из всех ее странствующих по миру братьев Мартин всегда был самым любимым.

— Ну, иди ко мне, я тебя поцелую,— прибавила она, поддавшись неожиданному порыву.

Она обобрала пальцами пену сначала с одной руки, потом с другой. Мартин обнял ее тяжеловесный стан и поцеловал влажные, распаренные губы. Слезы навернулись у нее на глазах не столько от полноты чувства, сколько от слабости, вызванной постоянным переутомлением. Она оттолкнула его, но он все-таки успел заметить ее слезы.

— Завтрак в печке,— торопливо проговорила она.— Джим, наверное, уже встал. Я сегодня из-за стирки поднялась ни свет ни заря. Иди скорей поешь, да и уходи из дому; у нас сегодня тяжелый денек. Том ушел, стало быть Бернарду самому придется ехать с подводой.

Мартин с тяжелым сердцем отправился на кухню. Красное лицо сестры и ее неряшливый вид врезались ему в память. Она бы любила меня, если бы у нее нашлось время, подумал Мартин. Но она надрывается от работы. Скотина этот Бернард Хиггинботам, что заставляет ее так работать. И в то же время Мартин никак не мог отделаться от мысли, что в поцелуе сестры не было ничего

красивого. Правда, этот поцелуй сам по себе был необычен. Уже много лет она целовала его лишь когда проводила в плавание или встречала по возвращении домой. Но в этом поцелуе чувствовался вкус мыльной пены, а губы ее были дряблы. Они не прижимались быстро и упруго к его губам, как должно быть в поцелуе. Это был поцелуй женщины настолько усталой, что она забыла даже, как целуются. Он невольно вспомнил, как до замужества она могла плясать всю ночь напролет после дня тяжелой работы и как ни в чем не бывало прямо с танцев отправлялась опять в свою прачечную. Тут Мартин снова подумал о Руфи и о том, что губы у нее, должно быть, такие же свежие, как и вся она. Она целует, вероятно, так же, как смотрит, как жмет руку: крепко и искренно. Он даже дерзнул представить себе, как ее губы прикасаются к его губам, и представил это так живо, что у него закружилась голова. Ему казалось, что он медленно плывет в облаке из розовых лепестков, опьяняющих его своим ароматом.

В кухне он нашел Джима, второго жильца, который не спеша ел овсяную кашу, уставясь в пространство тупым, отсутствующим взглядом. Он был подмастерьем слесаря, и его вялый нрав и безвольный подбородок в сочетании с некоторой умственной отсталостью не сулили ему удачи в борьбе за существование.

— Ты почему не ешь? — спросил он, видя, как неохотно ковыряет Мартин свою остывшую недоваренную овсянку. — Опять, что ли, напился вчера?

Мартин отрицательно покачал головой. Он был подавлен убожеством всего, что его окружало. Руфь Морз казалась теперь еще дальше.

— А я напился, — сказал Джим с нервным хихиканьем, — нализался в доску. Эх, хороша же была девочка! Билл приволок меня домой.

Мартин кивнул головой в знак того, что слушает, — у него была бессознательная привычка проявлять таким образом внимание к собеседнику, к любому собеседнику. Потом он налил себе чашку едва теплого кофе.

— Пойдем сегодня потанцевать в «Лотос»? — спросил Джим. — Будет пиво. А если явится компания из Темескаля, то без драки не обойдется. Мне, конечно,

начхать. Я все равно притащу туда свою девчонку. Фу!.. Ну и вкус у меня во рту. Черт знает что такое!

Он скорчил гримасу и поспешил прополоскать рот глотком кофе.

— Ты Джулию знаешь?

Мартин покачал головой.

— Она теперь со мной,— объяснил Джим.— Конфетка, а не девочка! Я бы тебя познакомил, да ты отобьешь. Ей-богу, я не понимаю, из-за чего девчонки на тебя так вешаются. Даже зло берет, когда видишь, как тебе ничего не стоит отбить любую.

— У тебя я еще ни одной не отбил,— заметил Мартин равнодушно, только чтобы окончить завтрак без ссоры.

— Как же так,— возразил тот,— а Мэгги?

— Да у меня с ней не было ничего. Я даже и не танцевал с нею после того раза.

— Вот то-то и оно,— вскричал Джим,— ты только потанцевал с нею да глянул на нее разок-другой — и готово дело. Ты, может, ничего такого и не думал. А она после на меня и смотреть не стала. Все время только про тебя и спрашивала. Если бы ты захотел, она бы тебе сразу же назначила свиданье.

— Но я ведь не захотел.

— Неважно. Я все равно получил отставку.— Джим посмотрел на него с восхищением.— И как это тебе удастся, Март?

— Мало ими интересуюсь, вот и все.

— Ты, стало быть, делаешь вид, что тебе на них наплевать? — допытывался Джим.

Мартин с минуту раздумывал над ответом.

— Может, и это подействовало бы. Но мне-то в самом деле на них наплевать. А ты попробуй сделать вид, может что и выйдет.

— Жаль, тебя вчера не было у Райли,— объявил вдруг Джим без всякой логики и связи,— там был один красавчик из Западного Окленда, по прозвищу Крыса. Ох и увертлив в драке! Никому из наших ребят не удалось свалить его. Все жалели, что тебя нет! Где ты вчера шатался?

— Так, в Окленде,— отвечал Мартин.

— В театре был?

Мартин отодвинул свою тарелку и пошел к двери.

— Так что ж, придешь на танцульку? — крикнул Джим ему вслед.

— Да нет, едва ли, — ответил Мартин.

Он сбежал с лестницы и вышел на улицу, чувствуя потребность в свежем воздухе. Он и так задыхался в атмосфере этого дома, а болтовня Джима окончательно привела его в ярость. Были мгновения, когда он чуть-чуть не вскочил и не ткнул его носом в тарелку с кашей. Чем больше болтал Джим, тем дальше уходила Руфь. Разве он может надеяться, живя среди таких скотов, стать когда-нибудь с нею рядом? Его приводила в отчаяние трудность стоящей перед ним задачи, он чувствовал безвыходность своего положения, положения человека из рабочего класса. Казалось, все кругом висело на нем мертвым грузом и не давало подняться — сестра, ее дом, ее семья, слесарь Джим, — все, к чему он привык, куда уходили корни его существования. Жизнь для него утратила вкус. До сих пор он принимал жизнь, как она есть. Он никогда не задумывался над вопросом, хороша она или плоха, разве лишь когда читал книги. Но ведь то были только книги, прекрасные сказки о прекрасном несуществующем мире. А теперь он увидел этот мир существующим в действительности и в центре его — женщину-цветок, по имени Руфь. И вот он изведal горечь жизни, тоску и безнадежность, особенно мучительную оттого, что надежда питала ее.

Мартин долго решал, куда пойти: в Берклейскую общедоступную читальню или в Оклендскую, и остановился на Оклендской, потому что в Окленде жила Руфь. Как знать! Читальня — самое подходящее для нее место, и вполне возможно, что он встретит ее там. Он совершенно не был знаком с расположением отделов и скитался среди бесконечных полок беллетристики, пока, наконец, худенькая, похожая на француженку девушка не сказала ему, что справочная библиотека находится наверху. Он не догадался обратиться к человеку, сидевшему за столом, и, двинувшись наугад, попал в отдел философии. Он слышал о существовании философских книг, но никак не подозревал, что об этой науке столько

написано. Вид высоких шкафов, набитых толстыми томами, подавлял его и в то же время подстрекал его воображение. Здесь было над чем поработать мозгу. В математическом отделе он нашел книги по тригонометрии и долго рассматривал казавшиеся ему бессмысленными формулы и чертежи. Он читал английские слова, но значение их от него ускользало. Это был какой-то особенный язык. Норман и Артур знали этот язык. Он слышал, как они говорили на нем. А они были ее братья. Мартин ушел из отдела философии с чувством безнадежности. Книги, казалось, надвигались со всех сторон и хотели задавить его. Он никогда не подозревал, что человеческие знания так огромны. Его охватил страх: сумеет ли он одолеть все это. Но тут же он вспомнил, что были люди — и много людей, — которые одолели. И он горячо поклялся, что сумеет постичь все то, что постигли другие.

Так он блуждал, переходя от отчаяния к восторгу, среди полок, уставленных сокровищами мудрости. В общем отделе он нашел «Конспективный курс» Норри. С благоговением он перелистал его. Здесь по крайней мере было что-то родное. Автор, как и он, был моряком. Потом он нашел «Навигационный справочник» Боудича и сочинения Лекки и Маршала. Вот, отлично. Он займется изучением навигации. Бросит пить, начнет усиленно работать и станет капитаном. В этот миг Руфь казалась ему совсем близкой. Капитаном он уже может жениться на ней — если она захочет. А если не захочет — что ж, благодаря ей он будет жить хорошей, достойной жизнью, а пить во всяком случае бросит. Потом он вспомнил о страховщике и судовладельце, этих двух хозяевах капитана, интересы которых никогда не совпадают, и подумал о том, что каждый из них может погубить его, и наверняка погубит. Оглядев комнату, он даже зажмурился перед внушительным зрелищем десяти тысяч томов. Нет, с морем покончено. Здесь, в этом множестве книг, заключена огромная сила, и если он хочет совершать великие дела, то должен совершать их на суше! А кроме того, капитанам не разрешается брать с собою в плавание жен.

Наступил полдень. Время шло. Мартин забыл о еде и все рассматривал заглавия книг, отыскивая руковод-

ство по правилам хорошего тона. Его ум, помимо мыслей о карьере, был занят решением простой задачи: если молодая леди, прощаясь с вами, просит зайти еще раз, то как скоро можно это сделать? Но когда он набрел, наконец, на нужную книгу, он все же не получил ответа. Он пришел в ужас от сложности и многообразия форм этикета, запутался во всех этих наставлениях о порядке обмена визитными карточками, принятом в светском обществе, и отошел с грустью. Он не нашел того, что искал, но зато понял, что соблюдение всех форм вежливости требует огромного количества времени и для усвоения всех этих форм ему пришлось бы предварительно прожить целую жизнь.

— Ну что же, нашли вы, что вам нужно? — спросил его при выходе человек, сидевший за столом.

— Да, сэр, у вас отличная библиотека, — отвечал Мартин.

Человек кивнул головой.

— Приходите к нам почаще. Вы моряк?

— Да, сэр. Я приду еще как-нибудь.

«Как он узнал, что я моряк?» — спрашивал он себя, спустившись с лестницы.

И, выйдя на улицу, он постарался идти прямо, без неуклюжего раскачивания. Он помнил об этом, пока не задумался, а тогда зашагал своей обычной походкой.

Глава шестая

Беспокойное томление, похожее на муки голода, овладело Марином. Он изнывал от желания увидеть вновь девушку, чьи нежные руки с неожиданной цепкостью захватили всю его жизнь. Пойти к ней он не решался. Он боялся, что это будет слишком скоро и он таким образом нарушит страшный свод правил, именуемый хорошим тоном. Он проводил долгие часы в Оклендской и Берклейской библиотеках, где записался на свое имя, на имя Гертруды, Мэриен и даже Джима, который дал согласие после того, как Мартин щедро угостил его пивом. На все четыре абонемена он набрал книг, и в его каморке почти

всю ночь горел газ, за что мистер Хиггинботам брал с него лишних пятьдесят центов в неделю.

Но книги, которые он читал, только усиливали его беспокойство. Каждая страница в новой книге казалась ему лазейкой в сады знаний. Его голод становился еще острее от чтения этих книг. К тому же он не знал, с чего следовало начинать, и, конечно, очень страдал от отсутствия подготовки. Он не знал даже самых простых вещей, которые, очевидно, должен был знать всякий берущийся за книгу. Это относилось и к поэзии, которую Мартин читал с необычайным увлечением. Из Суинберна он прочел не только то, что было в томике, данном ему Руфью. Он прочел и «Долорес» и отлично понял все. Руфь, вероятно, не понимала этого произведения, решил он. Как могла она понять, живя такой утонченной жизнью? Потом ему попались под руку стихотворения Киплинга, и он был заворожен музыкой, ритмом, волшебной образностью строк, говоривших о таких знакомых ему вещах. Его поразила та любовь к жизни, та тонкость психологии, которая отличала все стихи Киплинга. «Психология» была новым словом в лексиконе Мартина Идена. Он приобрел толковый словарь, чем подорвал свои финансы и сократил срок пребывания на суше, а кроме того, привел в ярость мистера Хиггинботам, который предпочел бы получить эти деньги в уплату за комнату.

Днем он не решался даже приближаться к обиталищу Руфи, но по ночам, словно вор, бродил вокруг дома Морзов, украдкой глядя на освещенные окна и испытывая нежность к самим стенам, которые ее окружали. Несколько раз он чуть не наткнулся на ее братьев, а однажды долго шел за мистером Морзом, на поворотах изучая его лицо при свете уличных фонарей и страстно желая, чтобы почтенный джентльмен подвергся какой-нибудь смертельной опасности и предоставил Мартину случай спасти его жизнь. В другой раз он вдруг увидел Руфь в окне второго этажа. Видна была лишь ее голова, плечи и руки, по движениям которых он решил, что она причесывается. Это длилось одно мгновение, но и мгновения было достаточно, чтобы вся кровь заклокотала в нем и превратилась в пьянящее вино. Она, правда, тот-

час же опустила штору, но он узнал, где ее комната, и после этого уже часами простаивал под деревом на противоположном тротуаре, выкуривая бесчисленное количество папирос. Однажды он увидел, как ее мать выходила из банка, и лишний раз убедился в неизмеримости расстояния, их разделяющего. Она принадлежала к тем, кто держит деньги в банке! Он за всю свою жизнь ни разу не переступил порога банка и был убежден, что подобные учреждения посещаются лишь очень богатыми и очень могущественными людьми.

В известном смысле он переживал целую бытовую революцию. Чистота и непорочность Руфи произвели на него такое впечатление, что он теперь был положительно одержим потребностью в чистоте. Он должен стать чистым, если хочет быть достойным дышать одним с нею воздухом. Он чистил зубы и беспрестанно скреб руки кухонной щеткой, пока в окне магазина не увидел щетки для ногтей и не угадал ее назначения. Приказчик, взглянув на его ногти, предложил ему еще и ногтечистку, и, таким образом, его набор туалетных принадлежностей обогатился еще одним предметом. Он достал в библиотеке книгу о личной гигиене и вычитал в ней совет каждое утро обливаться холодной водой — что он и стал делать, к большому восторгу Джима и смущению мистера Хиггинботама, который, не сочувствуя подобным причудам, всерьез призадумался, не следует ли брать с Мартина особую плату за воду. Следующим шагом по пути прогресса была забота о брюках. Начав интересоваться этим вопросом, Мартин скоро заметил разницу между мешковатыми штанами рабочих и брюками людей высшего класса, с прямою складкою от колена до ступни. Догадавшись, в чем тут секрет, Мартин отправился в кухню сестры за утюгом и гладильной доской; но первая попытка окончилась неудачей, он только прожег свои брюки и должен был купить новые, чем еще больше приблизил день ухода в плавание.

Но внешними реформами дело не ограничилось. Курить он все еще продолжал, однако пить бросил. До сих пор он считал пьянство самым подходящим занятием для мужчины и даже очень гордился тем, что у него крепкая голова и он может продолжать пить, когда большинство

собутельников давно уже валяется под столом. В Сан-Франциско у него было много товарищей по прежним плаваниям, и при встречах он попрежнему ставил им угощение, но себе заказывал только кружку легкого пива или имбирного лимонада и добродушно сносил все насмешки. Он с любопытством наблюдал за тем, как они, напиваясь, постепенно доходили до скотского состояния, и радовался, что сам он уже не такой. У каждого из них были свои горести, и вино помогало им забыть действительность и перенестись в страну грез и фантазий. Но Мартину уже не нужен был алкоголь. Он изведал опьянение более глубокое,— он был пьян Руфью, которая зажгла в нем любовь и стремление к новой, лучшей жизни; пьян книгами, которые пробудили в нем мириады неиспытанных желаний; пьян своей вновь обретенной чистотой, которая дала ему еще более полное, чем раньше, ощущение здоровья и заставила все его тело трепетать от физической радости существования.

Однажды Мартин отправился в театр в смутной надежде увидеть Руфь, и с балкона второго яруса он и в самом деле увидел ее. Она прошла по партеру в сопровождении Артура и еще какого-то незнакомого, стриженного бобриком молодого человека в очках, который тотчас возбудил в Мартине тревогу и ревность. Она села в первом ряду, и он уже почти ничего не видал в течение всего вечера, кроме ее стройных плеч и золотых волос, издали словно подернутых дымкой. Но все же раз или два он оглянулся по сторонам и успел заметить двух девушек, сидевших через несколько мест от него; девушки эти улыбались и строили ему глазки. Он всегда был общителен, и не в его привычках было оставлять без ответа подобные проявления благосклонности. Еще недавно он непременно улыбнулся бы в свою очередь, а затем пошел бы и дальше. Но теперь все переменилось. Он, правда, ответил улыбкой, но тотчас же после этого отвернулся и старался больше не смотреть в ту сторону. Однако не один еще раз, совсем позабыв об этих девушках, он вдруг снова ловил их улыбки. Трудно измениться за один день, да к тому же он от природы был ласков и приветлив и поэтому невольно улыбался девушкам в ответ, улыбался просто, по-приятельски. Все это было не ново для него. Он

знал, что они ведут с ним обычную женскую игру. Но для него теперь все стало иным. Там, далеко, в первом ряду, сидела женщина, единственная на свете, столь не похожая, столь бесконечно не похожая на этих двух девушек его класса, что к ним он уже не мог чувствовать ничего, кроме жалости. Он от души желал им обладать хоть крохотной долей ее красоты и душевного величия. Ни за что на свете он не бросил бы им упрека в слишком дерзком заигрывании. Но оно не льстило ему; напротив, оно как бы подчеркивало его низкое положение, и это было неприятно. Он отлично понимал, что, принадлежи он к миру Руфи, эти девушки не стали бы заигрывать с ним. И при каждом их взгляде он чувствовал, как сжимаются вокруг него цепкие щупальцы его мира и тянут его вниз.

Мартин покинул свое место незадолго до конца представления, надеясь увидеть Руфь, когда она будет выходить. У театрального подъезда всегда толпилось множество ротозеев, и легко можно было остаться незамеченным, если пониже надвинуть кепку на лоб и спрятаться за чьей-нибудь спиной. Он вышел одним из первых и смешался с толпой, но едва он занял удобное место на краю тротуара,— появились те две девушки. Он знал, что они ищут его, и в этот миг проклинал ту силу, которая притягивала к нему женщин. Сначала они как будто не заметили его, но он понимал, что это только маневр. Подходя ближе, они замедлили шаг, и, наконец, одна из них, проходя мимо, задела его плечом и оглянулась, делая вид, словно только сейчас его узнала. Это была стройная брюнетка с черными лукавыми глазами. Обе девушки опять улыбнулись ему, и он тоже улыбнулся им в ответ.

— Мое почтение,— сказал он.

Это было сказано совершенно машинально,— так часто случалось ему начинать знакомство подобным образом. Впрочем, природная отзывчивость и добродушие не позволили бы ему поступить иначе. Черноглазая девушка улыбнулась весело и вызывающе и, взяв под руку свою подругу, выразила желание остановиться; подруга хихикнула в знак согласия. Мартин испугался, что вот сейчас она выйдет и увидит его разговаривающим с этими

девушками. Нужно было помешать этому. Он просто, как будто так и нужно было, шагнул к черноглазой и пошел рядом с нею. В этом обществе он не чувствовал себя ни скованным, ни косноязычным. Здесь он был в своей стихии, мог и проявить остроумие и щегольнуть жаргонными словечками, мог смеяться и болтать о чем угодно, как это водится на первой стадии быстрого и случайного знакомства. Дойдя до угла, он сделал попытку отстать от толпы и свернуть в переулок. Но черноглазая девушка схватила его за локоть, не выпуская руки своей подружки, и крикнула:

— Постой, Билл. Что за спешка? Уж не хочешь ли ты удрать от нас?

Мартин остановился и, смеясь, повернулся к ним лицом. Позади них, под ярким светом уличных фонарей, струился людской поток. Там, где он стоял, было сравнительно темно, и он мог, оставаясь незамеченным, увидеть Ее, если бы она прошла мимо. А пройти она должна была непременно, потому что эта дорога вела к ее дому.

— Как ее зовут? — спросил он, указывая на черноглазую и обращаясь к ее хихикающей подружке.

— Это уж вы ее спросите, — отвечала та, фыркнув.

— Ну, как же? — спросил он, оборачиваясь к черноглазой.

— А вы мне сказали, как вас зовут? — возразила она.

— Да вы и не спрашивали, — улыбнулся он, — впрочем, вы угадали. Меня и в самом деле зовут Билл. Верно, верно!

— Да ну вас! — Она посмотрела на него долгим взглядом, зовущим и откровенно страстным. — Нет, правда? Скажите!

И посмотрела снова. Вся женская сущность, неизменная от века, отражалась в ее взгляде. И Мартин уже знал, что будет дальше: теперь она начнет отступать смиренно и робко, готовая в любой миг перейти в наступление, как только почувствует, что в нем остывает пыл погони. Как-никак он был мужчина, не мог не оценить ее привлекательности, и ее страстные взоры льстили его самолюбию. О, он прекрасно знал этих девчонок, знал их насквозь! Славные, хорошие девушки — насколько

могли быть хорошими девушки этого класса. Привыкшие добывать себе пропитание тяжелым трудом и слишком гордые, чтобы продавать свои ласки, они искали хоть немножко счастья в житейской пустыне, стараясь не заглядывать в будущее и отсрочить выбор между безысходной рутинной труда и бездной падения, куда вела хотя и лучше оплачиваемая, но страшная дорога.

— Билл,— отвечал он снова.— Ей-богу! Билл и никак не иначе.

— Шутите? — переспросила она.

— И вовсе не Билл,— вмешалась другая.

— А вы почему знаете? Вы меня никогда и в глаза не видали.

— Ну и что ж, что не видала! И так знаю, что врете!

— Ну, как же — Билл? — спрашивала первая.

— Пусть будет Билл,— дружелюбно сказал он.

Она ухватила его за плечо и весело тряхнула.

— Так и знала, что врете. А все-таки вы ничего себе.

Он пожал ее ищущую руку и на ладони нащупал знакомые царапины и шрамы.

— Давно ушли с консервного завода? — спросил он.

— Вы почему знаете? Уж не ясновидящий ли вы? — вскричали обе девушки.

И, обмениваясь с ними убогими плоскими шутками, он вдруг мысленно увидел перед собой многоярусные библиотечные полки, хранящие мудрость веков. Он с горечью улыбнулся неуместному сейчас видению, и опять сомнения охватили его. Но за всем этим — болтовней и раздумьем — он не упускал из виду потока уличной толпы. И вот в ярком свете фонарей он увидел Ее; она шла между братом и незнакомым юношей в очках. Сердце его замерло. Он долго ждал этого мгновения. Он успел разглядеть что-то легкое и воздушное вокруг ее царственной головы, стройные контуры фигуры, изящество походки, грациозное движение, которым она подобрала юбку, когда переходила через улицу. И вот она прошла, а он остался с этими двумя фабричными работницами, стоял и смотрел на их платья, носившие следы жалких и отчаянных попыток принарядиться, их дешевые ботинки, дешевые ленточки, дешевые колечки на грубых пальцах.

Кто-то тронул его за руку, и он услышал голос, говоривший:

— Проснитесь, Билл. Что такое с вами?

— Вы что-то сказали? — переспросил он.

— Да так, ничего особенного, — отвечала черноглазая, тряхнув головой, — просто мне пришло в голову...

— Что?

— Было бы недурно, если бы вы подыскиали кавалера для нее, — она указала на подругу, — и мы бы пошли куда-нибудь выпить кофе или поесть мороженого.

Он почувствовал внезапно какую-то духовную тошноту. Уж очень груб был переход от Руфи ко всему этому. Рядом с дерзкими, откровенно зовущими глазами этой девушки Мартин увидел вдруг лучезарные, ясные глаза Руфи, глаза святой, взиравшие на него с недостижимых высот чистоты. И он почувствовал в себе могучую силу. Он выше всего этого. Жизнь для него нечто большее, чем для этих девушек, мечты которых не идут дальше кавалеров и мороженого. Он вспомнил, что и раньше он жил в своих мыслях особой, тайной жизнью. Он пробовал иногда верить эти мысли другим, но до сих пор не встретил ни одной женщины, способной их понять, да и ни одного мужчины тоже. Когда он высказывал их вслух, слушатели смотрели на него с недоумением. Что ж, если его мысли им недоступны — значит, и сам он выше их. Ощущение силы радовало его; он сжал кулаки. Если жизнь для него нечто большее, то он вправе и требовать от нее большего, но только, конечно, не здесь, не в общении с этими людьми. Эти черные глаза ничего не могли дать ему. Он знал, какие мечты отражены в их взгляде, — о мороженом и еще, пожалуй, кое о чем. Тогда как Ее неземной взор обещал ему все, к чему он стремился, и еще бесконечно многое. Книги, картины, красоту и гармонию, изящество возвышенной и утонченной жизни — вот что обещал этот взор. Та работа мысли, которая отражалась в черных глазах, смотревших на него, была известна ему во всех подробностях. Это был как бы часовой механизм, и он мог наблюдать в нем каждое колесико. Эти глаза звали к пошлым, низменным утехам, ведущим к пресыщению, в конце которых зияла могила. А тот, неземной взор звал к проникновению в непости-

жимую тайну, в чудо вечной жизни. В нем он видел отражение ее души и отражение своей души также.

— В программе одна ошибка,— сказал он громко,— я сегодня занят.

Девушка не пыталась скрыть свое разочарование.

— Вздумали навестить больного друга? — съязвила она.

— Нет, зачем... У меня свидание... — он запнулся,— с одной девушкой.

— Не врете? — спросила она строго.

Он поглядел ей в глаза и ответил:

— Честное слово, правда. Но мы можем встретиться в другой раз. Как все-таки вас зовут? Где вы живете?

— Меня зовут Лиззи,— отвечала она, взяв его под руку и всем телом прижимаясь к нему.— Лиззи Конолли. Я живу на углу Маркет-стрит и Пятой.

Они еще поболтали несколько минут, прежде чем проститься. Мартин не хотел сразу идти домой. Он пошел к знакомому дереву, встал на привычное место под ее окном и прошептал взволнованно:

— У меня свидание с вами, Руфь. Я не хочу других свиданий.

Глава седьмая

Прошла неделя с того дня, как Мартин познакомился с Руфью, а он все еще не решался пойти к ней. Иногда он уже совсем готов был решиться, но всякий раз сомнения одерживали верх. Он не знал, спустя какой срок прилично повторить посещение, и не было никого, кто бы мог ему сказать это, а он боялся совершить непоправимый промах. Он отошел от всех своих прежних товарищей и порвал с прежними привычками, а новых друзей у него не было, и ему оставались только книги. Читал он столько, что обыкновенные человеческие глаза давно уже не выдержали бы такой нагрузки. Но у него были выносливые глаза и крепкий, выносливый организм. Кроме того, до сих пор он жил, не зная абстрактных книжных мыслей, и мозг его представлял собой нетронутую целину, благодатную почву для посева. Он не был утомлен

науками и теперь мертвой хваткой вцеплялся в книжную премудрость.

К концу недели Мартину показалось, что он прожил целые столетия,— так далека была прежняя жизнь и прежнее отношение к миру. Но ему все время мешал недостаток подготовки. Он брался за книги, которые требовали многих лет предварительных специальных занятий. Сегодня он читал книги по античной, завтра по новейшей философии, так что в голове у него царил постоянная путаница идей. То же самое было и с экономическими учениями. На одной и той же полке в библиотеке он нашел Карла Маркса, Рикардо, Адама Смита и Милля, и непонятные ему формулы одного опровергали утверждения другого. Он совершенно растерялся и все-таки хотел все знать. Он увлекся вопросами экономики, промышленности и политики. Однажды, проходя через Сити-Холл-парк, он увидел толпу, окружившую человека пять или шесть, которые, по всей видимости, были заняты каким-то горячим спором. Он подошел поближе и тут в первый раз услышал еще незнакомый ему язык народных философов. Один из споривших был бродяга, другой — профсоюзный агитатор, третий — студент юридического факультета, а остальные — просто любители дискуссий из рабочих. Впервые он услышал об анархизме, социализме, о едином налоге, узнал, что существуют различные, враждебные друг другу, системы социальной философии. Он услышал сотни совершенно новых для него терминов из таких областей науки, которые еще не вошли в скудный обиход его познаний. В силу этого он не мог следить за развитием спора и лишь чутьем угадывал идеи, выраженные в этих странных словах. Был среди спорщиков черноглазый лакей из ресторана — теософ, член профсоюза пекарей, — агностик, какой-то старик, сразивший всех своей удивительной философией, основанной на утверждении, что все сущее справедливо, и еще один старик, пространно рассуждавший о космосе, об атоме-отце и об атоме-матери.

У Мартина Идена голова распухла от всех этих рассуждений, и он поспешил в библиотеку посмотреть значение десятка врезавшихся в его память слов. Уходя из библиотеки, он нес подмышкой четыре толстых тома:

«Тайная доктрина» госпожи Блаватской, «Прогресс и нищета», «Квинтэссенция социализма», «Война религии и науки». К несчастью, он начал с «Тайной доктрины». Каждая строчка в этой книге изобиловала многосложными словами, которых он не понимал. Он сидел на кровати и чаще смотрел в словарь, чем в книгу. Слов было так много, что, запоминая одни, он забывал другие и должен был снова искать в словаре. Он решил записывать слова в особую тетрадку и в короткий срок исписал десятка два страниц. И все-таки он ничего не мог понять. Он читал до трех часов утра; у него уже ум за разум зашел, а все же он не сумел ухватить в прочитанном ни одной существенной мысли. Он поднял голову, и ему показалось, что стены и потолок ходят ходуном, как на корабле во время качки. Тогда он выругался, отшвырнул «Тайную доктрину», потушил газ и решил заснуть. Не лучше пошло дело и с остальными тремя книгами. И не то чтобы мозг его был слаб или невосприимчив — он мог бы усвоить все, о чем шла речь в этих книгах, — но ему не хватало привычки мыслить и не хватало словесного запаса. Он, наконец, понял это и одно время носился даже с мыслью читать один только словарь, пока он не выучит наизусть все незнакомые слова.

Единственным утешением была для Мартина поэзия: он с восторгом читал тех простых поэтов, у которых каждая строчка была ему понятна. Он любил красоту, а здесь он находил ее в изобилии. Поэзия действовала на него так же сильно, как и музыка, и незаметным образом подготавливала его ум к будущей, более трудной работе. Страницы его памяти были чисты, и он без всякого усилия запоминал строфу за строфой, так что скоро мог уже вслух произносить целые стихотворения, наслаждаясь гармоническим звучанием оживших печатных строк. Однажды он случайно наткнулся на «Классические мифы» Гэйли и «Мифический век» Булфинча. Словно луч яркого света прорезал вдруг мрак его невежества, и его еще больше потянуло к поэзии.

Человек за столом уже знал Мартина, был очень приветлив с ним и дружелюбно кивал головой, когда Мартин приходил в библиотеку. Поэтому Мартин решился

однажды на смелый поступок. Он взял несколько книг и, когда библиотекарь штемпелевал его карточки, пробормотал:

— Послушайте, можно вас спросить кой о чем?

Библиотекарь улыбнулся и ободряюще кивнул головой.

— Если вы познакомились с молодой леди и она пригласила вас зайти... так вот... когда можно это сделать?

Мартин почувствовал, что рубашка прилипла к его спине, вспотевшей от волнения.

— Да когда угодно, по-моему,— отвечал библиотекарь.

— Нет, вы не понимаете,— возразил Мартин.— Она... видите ли, в чем штука: ее может не быть дома. Она учится в университете.

— Ну, другой раз зайдете.

— Собственно дело даже не в этом,— признался Мартин, решившись, наконец, отдаться на милость собеседника,— я, видите ли, простой матрос и не очень-то привык к светскому обществу. Эта девушка совсем не то, что я, а я совсем не то, что она... Вы не подумайте, что я дурака ломаю,— перебил он вдруг сам себя.

— Нет, нет, что вы,— запротестовал библиотекарь.— Правда, ваш запрос не в компетенции справочного отдела, но я с удовольствием постараюсь помочь вам.

Мартин посмотрел на него с восхищением.

— Эх, если бы я умел так шпарить, вот это было бы дело,— сказал он.

— Виноват...

— Я хочу сказать, что было бы хорошо, если бы я умел так складно и вежливо говорить, как вы.

— А! — сочувственно отозвался библиотекарь.

— Когда лучше прийти? Днем? Только так, чтобы не угодить к обеду, да? Или вечером? А может, в воскресенье?

— Знаете, что я вам посоветую,— сказал, улыбаясь, библиотекарь,— вы ей позвоните по телефону и спросите.

— А ведь верно! — вскричал Мартин, собрал книги и пошел к выходу.

На пороге он обернулся и спросил:

— Когда вы разговариваете с молодой леди — ну, скажем, мисс Лиззи Смит, — как надо говорить: мисс Лиззи или мисс Смит?

— Говорите «мисс Смит», — сказал библиотекарь авторитетным тоном, — говорите «мисс Смит», пока не познакомитесь с ней поближе.

Итак, проблема была разрешена.

— Приходите когда угодно. Я всегда дома после обеда, — отвечала по телефону Руфь на его робкий вопрос, когда можно возвратить взятые у нее книги.

Она сама встретила его у двери, и ее женский глаз сразу отметил и отутюженную складку брюк и какую-то общую неуловимую перемену к лучшему. Но удивительнее всего было выражение его лица. Казалось, здоровая сила переливалась через край в этом юноше и волною захлестывала ее, Руфь. Снова она почувствовала желание прижаться к нему, ощутить теплоту его тела и снова поразились тому, как действовало на нее его присутствие. А он в свою очередь вновь ощутил блаженный трепет, когда пожимал ей руку. Разница между ними была в том, что она внешне ничем не обнаруживала своего волнения, в то время как он покраснел до корней волос.

Он последовал за нею, по-старому неуклюже раскачиваясь на ходу. Но когда они уселись в гостиной, Мартин, против ожидания, почувствовал себя довольно непринужденно. Она всячески старалась создать у него это ощущение непринужденности и делала это так деликатно и бережно, что стала ему еще во сто крат милее. Сначала они поговорили о книгах, о Суинберне, которым он восхищался, и о Броунинге, который был для него непонятен. Руфь направляла разговор, а сама все думала о том, как бы помочь ему. Она часто думала об этом после их первой встречи. Ей непременно хотелось помочь ему. Она чувствовала к нему нежность и жалость, но в этой жалости не заключалось ничего обидного: это было никогда не испытанное ею прежде, почти материнское чувство. Да и могла ли это быть простая, обычная жалость, если в человеке, ее вызывавшем, было столько мужественной силы, что одна его близость порождала в ней безотчетный деликатный страх и заставляла сердце биться от странных мыслей и чувств. Опять возникло у нее желание обнять

его за шею или положить руки ему на плечи. И попрежнему это желание смущало ее, но она уже к нему привыкла. Ей не приходило в голову, что зарождающаяся любовь может принимать такие формы. Но ей не приходило в голову также и то, что чувство, охватившее ее, можно назвать любовью. Ей казалось, что Мартин просто заинтересовал ее как личность незаурядная, с огромными скрытыми возможностями и что ею руководит лишь человеческое участие.

Она не понимала, что желает его; но с ним дело обстояло иначе. Мартин знал, что любит Руфь; и знал, что желает ее так, как никогда ничего не желал в своей жизни. Он и прежде любил поэзию, как любил все прекрасное, но после встречи с нею перед ним открылись врата в огромный мир любовной лирики. Она дала ему гораздо больше, чем Булфинч и Гэйли. Неделию тому назад он не стал бы задумываться над такой, например, строчкой: «Блаженный юноша, он одержим любовью и в поцелуе умереть готов», но теперь слова эти не выходили у него из головы. Он восхищался ими, как величайшим откровением; он смотрел на Руфь и думал, что с радостью умер бы в поцелуе. Он чувствовал себя тем самым блаженным юношей, который «одержим любовью», и гордился этим больше, чем мог бы гордиться возведением в рыцарское достоинство. Он постиг, наконец, смысл жизни и цель своего существования на земле.

Когда он смотрел на нее и слушал ее, его мысли становились смелее. Он вспоминал наслаждение, испытанное при пожатии ее руки, и жаждал почувствовать его снова. Порою он с жадным томлением смотрел на ее губы. Но ничего грубого и земного в этом томлении не было. Ему доставляло невыразимое наслаждение ловить каждое движение ее губ в то время, как она говорила; это не были обычные губы, какие бывают у всех женщин и мужчин. Они были не из плоти и крови. Это были уста бесплотного духа, и желание их поцеловать совершенно не было похоже на желание, которое пробуждали в нем губы других женщин. Он, конечно, охотно прижал бы к этим небесным устам свои губы, но это было бы все равно, как если бы он приложился к святыне. Он не мог разобраться в той своеобразной переоценке ценностей, которая в нем

происходила, и не понимал, что в конце концов, когда он смотрит на нее, глаза его горят тем самым огнем, которым горят глаза всякого мужчины, жаждущего любви. Он не подозревал, как пылок и мужественен его взгляд, как сильно он волнует ее душу. Ее девственная непорочность облагораживала для него его собственные чувства и возносила их на высоту холодного целомудрия звезд. Он был бы поражен, узнав, что его глаза излучают таинственное тепло, которое проникает в глубину ее существа и там зажигает ответный огонь. Смушенная, встревоженная его взглядом, она несколько раз теряла нить разговора и с немалым трудом вновь собирала обрывки мыслей. Обычно она не затруднялась в разговоре и теперь, не понимая, что с ней, решила, что просто ей никогда не приходилось иметь дело с таким своеобразным собеседником. Она очень впечатлительна по натуре, и нет ничего странного, если этот пришелец из другого мира смущает ее.

Она думала, как помочь ему, и хотела повернуть разговор в этом направлении, но Мартин опередил ее.

— Хочется мне попросить у вас совета,— начал он и едва не задохнулся от радости, когда она выразила готовность сделать для него все, что будет в ее силах.— Помните, я в тот раз говорил, что не умею говорить о книгах, о всяких таких вещах, ничего у меня из этого не получается. Ну вот, я с тех пор много передумал. Стал ходить в библиотеку, набрал там всяких книг, но только все они не моего ума дело. Может, лучше начать с самого начала? Я ведь по-настоящему и не учился никогда. Мне пришлось работать с самого детства, а вот теперь я пошел в библиотеку, посмотрел на книги, почитал — и вижу, что раньше читал я совсем не то, что нужно. Понимаете, где-нибудь на ферме или в пароходном кубрике таких книг не найдешь, как, скажем, у вас в доме. Там чтение другое, и вот к такому-то чтению я как раз и привык. А между тем, скажу не хвастаясь, я не такой, как те, с кем я водил компанию. Не то чтобы я был лучше других матросов и ковбоев,— я и ковбоем тоже был,— но я, видите ли, всегда любил книги и всегда читал все, что попадалось под руку, и мне кажется, у меня голова работает на иной манер, чем у моих товарищей. Но дело-то еще не в этом. Дело вот в чем. Я никогда не бывал

в таких домах, как ваш. Когда я к вам пришел на той неделе и увидел вас, и вашу мать, и ваших братьев и как тут у вас все,— мне очень понравилось. Я раньше только в книжках читал про такое, но тут вот оказалось, что книги не врут. И мне понравилось. Мне захотелось всего этого, да и теперь хочется. Я хотел бы дышать таким воздухом, как у вас в доме, чтобы кругом были книги, картины и всякие красивые вещи, и чтобы люди говорили спокойно и тихо и были чисто одеты, и мысли чтоб у них были чистые. Тот воздух, которым я всю жизнь дышал, пропитан запахом кухни, спиртным духом, руганью и разговорами о квартирной плате. Когда вы встали, чтобы поцеловать свою мать, мне это показалось так красиво,— ничего красивее, кажется, на свете не видел. А я повидал немало и могу сказать — всегда видел больше, чем другие. Я очень люблю смотреть, и мне всегда хочется увидеть что-нибудь еще и еще.

Но это все не то. Самое главное вот: мне бы хотелось подняться до такой жизни, какую живете вы здесь, в этом доме. Жизнь—это ведь не только пьянство, драка, тяжелая работа. Теперь вот вопрос: как это сделать? С чего мне начать? Работы я не боюсь; если уж говорить об этом, то я в работе любого перегоню. Мне бы только начать, а там буду работать день и ночь. Вам, может, смешно, что я с вами об этом говорю? Я знаю, мне бы не след докучать вам своими расспросами, но мне больше некого спросить — вот разве что Артура? Может, мне к нему и надо было пойти? Если я был...

Он вдруг замолчал. Весь его план зашатался при мысли, что надо было в самом деле спросить Артура и что он разыграл дурака. Руфь ответила не сразу. Она была поглощена тем, что пыталась связать воедино его нескладную речь и примитивные мысли с тем, что она читала в его глазах. Она никогда не видела глаз, в которых отражалась бы такая несокрушимая сила. Этот человек все может,— вот о чем говорил его взгляд, и это плохо вязалось с его неумением распоряжаться словами. К тому же ее собственный ум был так изощрен и сложен, что она не могла по-настоящему оценить простоту и непосредственность. И все же даже в этом косноязычии мысли угадывалась сила. Мартин представлялся ей великаном,

сияющим сорвать с себя оковы. Ее лицо дышало лаской, когда она заговорила.

— Вы сами знаете, чего вам не хватает,— сказала она,— вам не хватает образования. Вам бы следовало начать сначала — кончить школу, а потом пройти курс в университете.

— Для этого нужны деньги,— прервал он ее.

— О,— воскликнула она,— я не подумала об этой стороне дела! Но разве никто из ваших родных не мог бы поддержать вас?

Он отрицательно покачал головой.

— Отец и мать мои умерли. У меня две сестры: одна замужняя, другая, вероятно, скоро выйдет замуж. Братьев целая куча, я младший, но они никому никогда не помогали. И все давно уже разбрелись по свету искать счастья, каждый сам по себе. Старший умер в Индии. Двое сейчас в Южной Африке, третий плавает на китобойном судне, а четвертый разъезжает с бродячим цирком — он акробат. Вот и я такой же. С одиннадцати лет я живу своим трудом, с тех пор как умерла мать. Так что придется мне самому, без школы, доходить до всего. Я только хочу знать, с чего начать.

— Вам, во-первых, надо бы заняться языком. Вы иногда выражаетесь (она хотела сказать «ужасно», но удержалась) не совсем правильно.

Лоб его покрылся испариной.

— Я знаю, что иногда отпускаю такие словечки, которых вам не понять. Но эти-то я хоть знаю, как выговаривать. Я держу в голове кое-какие слова из книг, но я не знаю, как они произносятся, потому-то и не говорю их.

— Дело тут не только в словах, а в общем строе речи. Можно говорить с вами откровенно? Вы не обидитесь на меня?

— Нет, нет! — воскликнул он, благословляя в душе ее доброту. — Жарьте! Уж лучше мне узнать все это от вас, чем от кого-нибудь другого!

— Так вот. Вы очень часто неправильно строите фразу. Употребляете обороты, непринятые в литературной речи. Я многое отметила в вашем разговоре, от чего вам надо отвыкать. Но лучше всего вам начать с грамматики. Я вам сейчас принесу учебник.

Когда Руфь встала, Мартину вспомнилось одно правило, вычитанное им из руководства по хорошему тону, и он неуклюже вскочил со своего места, но тут же испугался — не подумала бы она, что он собирается уходить.

Руфь принесла учебник грамматики, придвинула свой стул к его стулу, — он тут же подумал, что, вероятно, нужно было помочь ей. Она раскрыла книгу, и головы их сблизилась. Ему трудно было следить за ее объяснениями — так волновала его эта близость. Но когда она начала объяснять тайны спряжений, он забыл все на свете. Он никогда не слышал о спряжениях, и это первое проникновение в таинственные законы речи заворожило его. Он ниже пригнулся к книге, и вдруг ее волосы коснулись его щеки.

Только раз в жизни Мартин Иден терял сознание, но тут он подумал, что сейчас это случится снова. У него перехватило дыхание, а сердце забилося так сильно, что, казалось, вот-вот выскочит. Никогда она не казалась ему столь доступной. На одно мгновение через бездну, их разделявшую, был перекинут мост. Но его чувства не стали от этого более низменными. Это не она опустила до него. Это он поднялся за облака и приблизился к ней. Его любовь, как и прежде, была полна религиозного благоговения. Ему почудилось, что он вторгся в святая святых некоего храма, и он осторожно отвел голову, чтобы избежать этого прикосновения, действовавшего на него, как электрический ток. Но Руфь ничего не заметила.

Глава восьмая

Много недель прошло, а Мартин Иден все учил грамматику, штудировал руководства по хорошему тону и по-жирал каждую книгу, которая увлекала его воображение. От своего прежнего круга он отошел совершенно. Девушки из «Лотоса» не понимали, что с ним приключилось, и забрасывали Джима вопросами, а многие молодые люди были рады, что он больше не появляется на состязаниях у Райли. Он сделал еще одну драгоценную находку в сокровищнице библиотеки. Как грамматика открыла ему

основы языка, так эта новая книга указала на правила, лежащие в основе поэзии. Он начал изучать размеры, формы и законы стихосложения и понял, как создается восхищающая его красота. Один новейший трактат рассматривал поэзию как изобразительное искусство, причем теория в нем была подкреплена многими ссылками на лучшие литературные образцы. Ни одного романа Мартин не читал с таким увлечением. И его свежий, нетронутый двадцатилетний ум, подстрекаемый жаждой знания, усваивал все с активностью и энергией, несвойственной восприятию студента.

Когда Мартин оглядывался на прежний свой мир — мир далеких стран, морей, кораблей, матросов и уличных женщин, — этот мир представлялся ему очень маленьким; и все-таки какими-то своими гранями он соприкасался с большим, вновь открывшимся Мартину миром. Ум его всегда стремился к единству; однако он все же был удивлен, когда впервые обнаружил, что эти два мира связаны между собой. Он воспарил над старым миром благодаря возвышенным мыслям и чувствам, почерпнутым из книг. Он был теперь уверен, что в том высшем круге, к которому принадлежат Руфь и ее семья, все мужчины и все женщины думают и чувствуют именно так. До сих пор он жил в каком-то грязном болоте и теперь хотел очиститься и подняться в высшую сферу. Уже в детстве и юности какая-то смутная тревога постоянно томила его; он гнался за чем-то, но сам не понимал, зачем гонится, пока не встретил Руфи. И теперь его томление сделалось острым и болезненным, он понял ясно и твердо, что искал красоты, ума и любви.

За эти недели он несколько раз встречался с Руфью, и каждый раз свидание с нею вдохновляло его. Она исправляла его язык и произношение, занималась с ним арифметикой. Но их беседы не ограничивались одними учебными занятиями. Он слишком много видел в жизни, его ум был слишком зрелым, чтобы удовлетвориться дробями, кубическими корнями, грамматическим разбором и спряжениями. Бывали минуты, когда их разговор касался совсем других тем, — они говорили о стихах, которые он только что прочел, о поэте, которого она теперь изучала. И когда она читала ему вслух свои любимые строчки, он

испытывал несказанное блаженство. Никогда, ни у одной женщины на свете он не слышал такого голоса. От одного звука ее речи расцветала его любовь, каждое слово заставляло его трепетать. Пленительной была музыкальность этого голоса, его гибкие, богатые интонации — качества, которые даются культурой и душевным благородством. Слушая ее, он невольно вспоминал гортанные голоса женщин из диких племен, крикливую речь портовых потаскух, неблагозвучный говор фабричных работниц, женщин и девушек его класса. Тотчас же его воображение начинало работать, вереницы женских образов возникали в мозгу, и от сравнения с ними ореол, окружавший Руфь, сверкал еще более ослепительно. Но он не только любил слушать ее голос, ему бесконечно приятно было сознавать, что Руфь глубоко проникает в сущность читаемого и живо откликается на красоту поэтической мысли. Она много читала ему из «Принцессы», и часто он видел при этом слезы у нее на глазах, — так тонко чувствовала она красоту. В такие минуты ему казалось, что он поднимается до божественного всевидения; глядя на нее и слушая ее голос, он словно созерцал самую жизнь и читал ее сокровеннейшие тайны. И, достигнув этих вершин чувства, он начинал понимать, что это и есть любовь и что любовь — самое великое в мире. Перед его внутренним взором проходили все радости, испытанные им некогда, — опьянение, ласки женщин, игра, задор физической борьбы, — и все это казалось невыносимо пошлым и низким по сравнению с чувствами, овладевшими им теперь.

Руфь не отдавала себе отчета в происходившем. У нее не было еще никакого опыта в сердечных делах. Все, что она знала, она почерпнула из книг, где творческая фантазия автора всегда преображала события обыденной жизни в нечто нереальное и прекрасное; ей не приходило в голову, что этот грубый матрос заронил в ее сердце искру, которая в один прекрасный день разгорится ярким всесокрушающим пламенем. До сих пор это пламя еще ни разу не опалило ее. Ее представления о любви были чисто умозрительными, и самое слово «любовь» напоминало ей о кротком сиянии звезд, легкой зыби, колеблющей морскую гладь, прохладной росе на исходе бархатной

летней ночи. Любовь представлялась ей как нежная привязанность, служение любимому в сумеречной тишине, напоенной ароматом цветов и исполненной благостного покоя. Она и не подозревала о вулканических бурях любви, о ее страшном зное, превращающем сердце в пустыню горячего пепла. Она не знала ничего о силах, сокрытых в мире, сокрытых в ней самой; глубины жизни терялись за дымкой иллюзий. Супружеская привязанность отца и матери была для нее идеалом любовного единения, и она спокойно ждала, где-то в будущем, дня, когда без всяких волнений и потрясений войдет в такое же мирное сосуществование с любимым человеком.

Таким образом, на Мартина Идена она смотрела, как на новинку, как на странное, исключительное существо, и этой новизне и исключительности приписывала те необыкновенные ощущения, которые он в ней вызывал. Это было естественно. Того же порядка чувства испытывала она, когда смотрела в зверинце на диких зверей или когда видела, как гнутся деревья в бурю, и вздрагивала от всплесков молнии. Было что-то космическое в подобного рода явлениях, и было, несомненно, что-то космическое и в нем. Он ей принес дыхание моря, бесконечность земных просторов. Блеск тропического солнца запечатлелся на его лице, а в его крепких железных мускулах была первобытная жизненная сила. Он весь был в рубцах и шрамах, полученных в том неведомом мире жестоких людей и жестоких деяний, который начинался за пределами ее кругозора. Это был дикарь, еще не прирученный, и втайне она чувствовала себя польщенной его покорностью. Ею руководило желание приручить дикаря. Желание это было бессознательно, и ей не приходило в голову, что она хочет сделать из него подобие своего отца, который ей казался образцом совершенства. В своем неведении она не могла понять, что космическое чувство, которое он в ней вызывал, есть любовь, та непреодолимая сила, что влечет мужчину и женщину друг к другу через целый мир, заставляет оленей в период течки убивать друг друга и все живое побуждает стремиться к соединению.

Быстрое развитие Мартина чрезвычайно удивляло и занимало ее. Она встретила в нем способности, о которых не могла и подозревать; и они раскрывались день ото

дня, как цветы на благодатной почве. Она читала ему вслух Броунинга, и сплошь да рядом он изумлял ее неожиданными истолкованиями неясных мест. Она не понимала, что его истолкования, основанные на знании жизни и людей, были часто гораздо правильнее, чем ее. Ей казалось, что он рассуждает наивно, хотя иногда ее увлекал смелый полет его мысли, уносившей его в такие надзвездные дали, куда она не могла следовать за ним и только трепетала от столкновения с какою-то непонятной силой. Иногда она играла ему на рояле, и музыка проникала в глубины его существа, которых ей было не измерить. Он весь раскрывался навстречу звукам музыки, как цветок раскрывается навстречу солнечным лучам; он очень скоро позабыл дробные ритмы и резкие созвучия музыки матросских танцулек и научился ценить излюбленный Руфью классический репертуар. Но все же он испытывал какое-то демократическое пристрастие к Вагнеру, и увертюра к «Тангейзеру», особенно после объяснений Руфи, ему нравилась больше всего. Увертюра эта как бы служила иллюстрацией к его жизни. Его прошлое было для него олицетворено в лейтмотиве Венерина грота, а Руфь он связывал с хором пилигримов; и казалось, вагнеровские мелодии уносили его в призрачное царство духа, где добро и зло ведут извечную борьбу.

Иногда он задавал вопросы, и ей вдруг начинало казаться, что она сама неправильно понимает музыку. Зато, когда она пела, он ни о чем не спрашивал. В благоговейном молчании прислушивался он к ее высокому чистому сопрано, и ему казалось, что он слышит ее душу. И снова по контрасту он вспоминал визгливые песенки фабричных девушек и хриплые завывания пьяных мегер в портовых кабаках. Ей нравилось играть и петь ему. В сущности она в первый раз имела дело с живой человеческой душой, и такой податливой и гибкой, что формировать ее было одно наслаждение,— Руфи казалось, что она формирует душу Мартина, и она делала это с самыми лучшими намерениями. А кроме того, ей просто было приятно его общество. Он больше не пугал ее. Сначала она действительно испытывала смутный страх — не перед ним, а перед чем-то, вдруг шевельнувшимся в ее собственной душе, но теперь этот страх улегся. Сама того не подо-

зревая, она уже чувствовала какие-то права на него. С другой стороны, он оказывал на нее живительное действие. Она очень много времени отдавала университетским занятиям, и ей, очевидно, было полезно иногда оторваться от книжной пыли и вдохнуть свежую струю морского ветра, которым он был пропитан. Сила! Да, ей нужна была сила, и он великодушно делился с нею своим неисчерпаемым запасом. Быть с ним в одной комнате, встречать его в дверях — уже значило дышать полной грудью. И когда он уходил, она бралась за свои книги с удвоенной энергией.

Руфь прекрасно знала Броунинга, но она никогда не думала, что игра с человеческой душой так опасна. Чем больше она интересовалась Мартином, тем сильнее хотелось ей переделать его жизнь.

— Вот возьмите мистера Бэтлера, — сказала она однажды, после того как они отдали должное и грамматике, и арифметике, и поэзии, — ему сначала ни в чем не было удачи. Его отец был банковским кассиром, но, прохворав несколько лет, умер от чахотки в Аризоне, так что мистер Бэтлер — тогда еще он был просто Чарльз Бэтлер — остался совершенно один. Его отец родился в Австралии, и родных у него в Калифорнии нет. Он поступил в типографию, — он мне несколько раз об этом рассказывал, — и на первых порах зарабатывал три доллара в неделю. А теперь у него тридцать тысяч годового дохода. Как он достиг этого? Он был честен, трудолюбив и бережлив. Он отказывал себе в удовольствиях, которые обычно так любят молодые люди. Он положил себе за правило откладывать сколько-нибудь каждую неделю, ценою любых лишений. Конечно, он стал скоро получать больше трех долларов, и по мере того как увеличивался его заработок, увеличивались и сбережения. Днем он работал, а после работы ходил в вечернюю школу. Он постоянно думал о будущем. Потом он стал посещать вечерние курсы. Семнадцати лет он уже был наборщиком и получал хорошее жалованье, но он был честолобив. Он хотел сделать карьеру, а не просто иметь обеспеченный кусок хлеба, и готов был на всякие жертвы ради будущего. Он решил стать адвокатом и поступил в контору моего

отца рассыльным — подумайте! — на четыре доллара в неделю. Но он научился быть экономным и даже из этих четырех долларов ухитрялся откладывать.

Руфь остановилась на мгновение, чтобы перевести дыхание и посмотреть, как Мартин воспринимает рассказ. На его лице отражался живой интерес к судьбе мистера Бэтлера, но брови были слегка нахмурены.

— Верно, туговато ему приходилось, — сказал он. — Четыре доллара в неделю! С этого не разгуляешься. Я вот плачу пять долларов в неделю за квартиру и стол и, ей-богу, ничего хорошего не имею. Он, вероятно, жил, как собака. Питался, должно быть...

— Он сам себе готовил на керосинке, — прервала она его.

— Питался, должно быть, так же скверно, как матросы на рыболовных судах, а это уж значит — хуже нельзя.

— Но подумайте, чего он достиг теперь! — вскричала она с воодушевлением. — Ведь он с лихвой может вознаградить себя за все лишения юности!

Мартин посмотрел на нее испытующе.

— А вы знаете, что я вам скажу, — возразил он. — Едва ли вашему мистеру Бэтлеру так уж весело жить теперь. Он настолько плохо питался все прошлые годы, что желудок у него, надо думать, ни к черту не годится.

Она отвела глаза, не выдержав его взгляда.

— Пари держу, что у него катар.

— Да, — согласилась она, — но...

— И наверно, — продолжал Мартин, — он теперь сердитый и скучный, как старый филин, и никакой радости нет ему от его тридцати тысяч. И наверно, он не любит смотреть, когда вокруг него веселятся. Так или не так?

Она кивнула утвердительно и поторопилась объяснить:

— Но ему это и не нужно. Он по натуре человек замкнутый и серьезный. Он всегда был таким.

— Еще бы ему не быть! — воскликнул Мартин. — На три да на четыре доллара в неделю! Молодой парень сам стряпает, чтобы отложить деньги! Днем работает, ночью учится, только и знает, что трудится, и никогда не по-

развлечется, никогда не погуляет, даже и не знает, должно быть, как это делается. Хо! Слишком поздно пришли эти его тридцать тысяч.

Услужливое воображение тотчас же нарисовало ему во всех подробностях жизнь этого бережливого юноши и ту узенькую дорожку, которая в конечном счете привела его к тридцатитысячному годовому доходу. Все мысли и поступки Чарльза Бэтлера прошли перед ним словно на экране.

— Знаете,— прибавил он,— мне жалко его, вашего мистера Бэтлера. Он тогда был слишком молод и не понимал, что сам у себя украл всю жизнь ради этих тридцати тысяч, от которых ему теперь никакой радости. Сейчас уж он на эти тридцать тысяч не купит того, что мог бы тогда купить за свои отложенные десять центов,— ну, там леденцов каких-нибудь, когда был мальчишкой, или орехов, или билет на галерку!

Такой ход мыслей всегда несколько ошеломлял Руфь. Это было не только ново для нее и не соответствовало ее взглядам, но она смутно угадывала здесь долю правды, которая грозила опрокинуть и в корне изменить все ее представления о мире. Будь ей не двадцать четыре года, а четырнадцать, она, может быть, изменила бы свои взгляды под влиянием Мартина. Но ей было двадцать четыре, и вдобавок по натуре она была консервативна и слишком привыкла к образу жизни и мыслей той среды, в которой родилась и выросла. Правда, своеобразные суждения Мартина иногда смущали ее во время разговора, но она объясняла их оригинальностью его личности и судьбы и старалась поскорее выбросить из памяти. И все-таки, хотя она и не соглашалась с ним, убедительность его тона, блеск глаз и серьезное выражение лица, когда он говорил, всегда волновали ее и влекли к нему. Ей и в голову не приходило, что этот человек, пришедший из чуждого ей мира, высказывал очень часто мысли, слишком глубокие для нее и выходящие за пределы ее кругозора. Мир для нее исчерпывался пределами этого кругозора, но ограниченные умы замечают ограниченность только в других. Таким образом, она считала свой кругозор очень широким и всякий раз, когда у нее с Мартином выходили идейные споры, считала это

следствием его ограниченности и мечтала научить его смотреть на вещи ее глазами и расширить его кругозор до пределов своего.

— Погодите, я еще не закончила рассказа,— сказала она.— Мистер Бэтлер работал, по словам отца, с редкостным рвением и усердием. Он всегда отличался необычайной работоспособностью, никогда не опаздывал на службу, наоборот — очень часто являлся раньше, чем было нужно. И все-таки он ухитрялся экономить время. Каждую свободную минуту он посвящал учению. Он изучал бухгалтерию, научился писать на машинке, брал уроки стенографии и в уплату за них диктовал по ночам своему преподавателю, судебному репортеру, нуждавшемуся в практике. Он скоро из рассыльного сделался клерком и сумел стать в своем роде незаменимым. Отец мой вполне оценил его и увидал, что это человек с большим будущим. По совету отца, он поступил в юридическую школу, сделался адвокатом и вернулся в контору уже в качестве младшего компаньона. Это выдающийся человек. Он уже несколько раз отказывался от места в сенате Соединенных Штатов и мог бы стать, если бы захотел, членом Верховного суда. Такая жизнь должна всех нас вдохновлять. Она доказывает, что человек с упорством и с волей может высоко подняться над своим окружением.

— Да, он выдающийся человек,— согласился Мартин совершенно искренно.

И все же что-то в этом рассказе плохо вязалось с его представлениями о жизни и о красоте. Он никак не мог найти достаточного оправдания для всех тех лишений и тягот, которые претерпел мистер Бэтлер. Если бы он это делал из-за любви к женщине или из-за влечения к прекрасному — Мартин бы его понял. Юноша, одержимый любовью, мог умереть за поцелуй, но не за тридцать тысяч долларов в год! Было что-то жалкое, мелкотравчатое в карьере мистера Бэтлера. Тридцать тысяч долларов — это, конечно, не плохо, но катар и неспособность радоваться жизни уничтожали их ценность.

Многие из этих соображений Мартин высказал Руфи, чем лишний раз убедил ее, что необходимо заняться его перевоспитанием. Ей была свойственна та характерная

узок мысли, которая заставляет людей думать, что только их раса, религия и политические убеждения хороши и правильны и что все остальные человеческие существа, рассеянные по миру, стоят гораздо ниже их. Это была та же узость мысли, которая заставляла древнего еврея благодарить бога за то, что он не родился женщиной, а теперь заставляет миссионеров путешествовать по всему земному шару, чтобы навязать всем своего бога. И она же внушала Руфи желание взять этого человека, выросшего в совершенно иных условиях жизни, и перековать его по образцу людей ее круга.

Глава девятая

Мартин Иден возвращался из плавания, спеша в Калифорнию с нетерпением влюбленного. Восемь месяцев назад, истратив все свои деньги, он нанялся на судно, отправлявшееся на поиски клада, зарытого где-то на Соломоновых островах. После долгих и безуспешных поисков предприятие было признано неудавшимся. В Австралии экипаж получил расчет, и Мартин немедленно нанялся на судно, идущее в Сан-Франциско. За эти восемь месяцев он не только заработал достаточно денег, чтобы подольше продержаться на суше, но, кроме того, значительно продвинулся в своих занятиях, для которых всегда умел находить время.

У него был восприимчивый ум, к тому же ему помогали природное упорство и любовь к Руфи. Он несколько раз проштудировал полученный от Руфи учебник грамматики и в конце концов основательно овладел предметом. Он теперь замечал неправильности речи матросов и мысленно исправлял их ошибки в произношении и построении фразы. С радостью он замечал, что его ухо стало очень чувствительно и что у него развилось особое грамматическое чутье. Всякая неправильность речи резала его слух, как фальшивый аккорд, хотя с непривычки бывало еще, что и у него самого срывались с языка неправильные обороты. Видимо, нужно было время для того, чтобы освободиться от них навсегда.

Покончив с грамматикой, он принялся за словарь и взял за правило каждый день прибавлять двадцать слов к своему лексикону. Это была нелегкая задача. Стоя на вахте или у штурвала, он повторял выученные слова и старался произносить их как следует. Он вспоминал все наставления Руфи и, к своему изумлению, скоро обнаружил, что начал говорить по-английски чище и правильнее самих офицеров и тех сидевших в каютах джентльменов, которые финансировали всю авантюру.

У капитана, норвежца с рыбьими глазами, нашлось случайно полное собрание сочинений Шекспира, в которое он, конечно, никогда не заглядывал, и Мартин получил разрешение пользоваться драгоценными книгами за то, что взялся стирать белье их владельцу. Отдельные, особенно полюбившиеся ему места трагедий он без всякого труда запоминал наизусть и некоторое время был настолько одержим Шекспиром, что весь мир представлялся ему в образах и формах елизаветинского театра, а мысли его сами собой укладывались в белые стихи. Это послужило полезной тренировкой для его слуха и научило его ценить благородство английского языка, хотя в то же время внесло в его речь много устаревших и редких оборотов.

Мартин хорошо провел эти восемь месяцев. Он обогатил свой словарь и свой умственный багаж, и он лучше узнал самого себя. С одной стороны, он смиренно признавал свое невежество, с другой — чувствовал в себе великие силы. Он видел огромную разницу между собою и своими товарищами, но не мог понять, что разница эта лежит не столько в достигнутом, сколько в возможном. То, что он делал, могли делать и они, но какое-то внутреннее чувство говорило ему, что он способен на большее. Он мучительно остро воспринимал красоту мира, и ему хотелось, чтобы Руфь могла любоваться этой красотой вместе с ним. Он решил описать ей величие Тихого океана. Эта мысль пробудила в нем творческий импульс, и ему захотелось передать красоту мира не одной только Руфи. И вот ослепительная идея осенила его: он будет писать. Он будет одним из тех людей, чьими глазами мир видит, чьими ушами слышит, чьим сердцем чувствует. Он будет писать все: поэзию и прозу, романы и очерки, и пьесы, как Шекспир. Это настоящая карьера, и это — путь к

сердцу Руфи. Ведь писатели — гиганты мира, куда до них какому-нибудь мистеру Бэтлеру, который имеет тридцать тысяч годового дохода и мог бы стать членом Верховного суда, если б захотел.

Едва возникнув, эта идея всецело овладела им, и весь обратный путь в Сан-Франциско он проделал как во сне. Он был опьянен сознанием своей силы и ощущением, что может все. В спокойном уединении Великого океана вещи приобрели перспективу. Впервые он ясно увидел и Руфь и тот мир, в котором она жила. Эти видения облеклись для него в конкретную форму, он мог как бы брать их руками, повертывать во все стороны и рассматривать. Много было непонятного и туманного в этом мире, но он глядел на целое, а не на детали, и в то же время видел способ овладеть всем этим. Писать! Эта мысль жгла его, как огонь. Он начнет писать немедленно по возвращении. Прежде всего он опишет экспедицию искателей клада. Он пошлет рассказ в какой-нибудь журнал в Сан-Франциско, ничего не сказав об этом Руфи, и она будет удивлена и обрадована, увидев его имя в печати. Он может одновременно и писать и учиться. Ведь в сутках двадцать четыре часа. Он непобедим, потому что умеет работать, и все твердыни рушатся перед ним. Ему уже не нужно будет плавать по морю простым матросом; в воображении он вдруг увидел собственную яхту. Есть же писатели, которые имеют собственные яхты! Конечно, останавливал он себя, успех приходит не сразу, хорошо если на первых порах он хотя бы заработает своим писанием достаточно для того, чтоб продолжать ученье. А потом, через некоторое время, — очень неопределенное время, — когда он выучится и подготовится, он напишет великие произведения, и его имя будет у всех на устах. Но важнее этого, бесконечно важнее всего самого важного, — это что тогда он станет, наконец, достойным Руфи. Слава хороша, но не ради славы, а ради Руфи леял он эти мечты. Он был не искатель славы, а только юноша, одержимый любовью.

Явившись в Окленд с туго набитым карманом, Мартин опять водворился в своей каморке в доме Бернарда Хиггинботама и засел за работу. Он не сообщил Руфи о своем возвращении. Он решил, что пойдет к ней, лишь

окончив свой очерк об искателях сокровищ. Творческая лихорадка, охватившая его, помогала переносить эту отсрочку. Кроме того, каждая написанная им фраза приближала ее к нему. Он не знал, какой длины должен быть его очерк, но сосчитал количество слов в очерке, занимавшем две страницы в воскресном приложении к «Обозревателю Сан-Франциско», и решил этим руководствоваться. В три дня, работая без передышки, закончил Мартин свой очерк, потом тщательно переписал его крупными буквами, чтоб легче было читать,—и тут вдруг узнал из взятого в библиотеке учебника словесности, что существуют абзацы и кавычки. А он и не подумал об этом! Мартин тотчас снова сел за переписку очерка, все время справляясь с учебником, и в один день приобрел столько сведений о том, как писать сочинение, сколько обыкновенный школьник не приобретает и за год. Переписав вторично очерк и осторожно свернув его в трубку, он вдруг прочел в одной газете правила для начинающих авторов, гласившие, что рукопись нельзя свертывать в трубку и что писать надо на одной стороне листа. Он нарушил оба правила. Но он прочел еще, что в лучших журналах платят не менее десяти долларов за столбец. Переписывая в третий раз, Мартин утешался тем, что без конца помножал десять столбцов на десять долларов. Результат получался всегда один и тот же,—сто долларов,—и он решил, что это куда выгоднее матросской службы. Если бы он дважды не дал маху, рассказ за три дня был бы готов. Сто долларов в три дня! Ему бы пришлось три месяца скитаться по морям, чтобы заработать такую сумму. Надо быть дураком, чтобы тянуть матросскую лямку, если можешь писать. Впрочем, деньги сами по себе не представляли для Мартина особенной ценности. Их значение было только в том, что они могли дать ему досуг, возможность купить приличный костюм, а все это вместе взятое должно было приблизить его к стройной бледной девушке, которая перевернула всю его жизнь и наполнила ее вдохновением.

Мартин вложил рукопись в большой конверт, запечатал и адресовал редактору «Обозревателя Сан-Франциско». Он представлял себе, что все присылаемое в редакцию немедленно печатается, и так как послал очерк в пят-

лицу, то ожидал его появления в воскресенье. Приятно будет таким способом известить Руфь о своем возвращении. В это же воскресенье он и пойдет к ней. Между тем он уже носился с новой идеей, которая казалась ему необыкновенно удачной, правильной, здоровой и в то же время непритязательной: написать приключенческий рассказ для мальчиков и послать его в «Спутник юношества». Он пошел в читальню и просмотрел несколько комплектов «Спутника юношества». Выяснилось, что большие рассказы и повести печатаются в еженедельнике частями, примерно по три тысячи слов. Каждая повесть тянулась в пяти номерах, а некоторые даже в семи, и он решил исходить из этого расчета.

Мартин однажды плавал в Арктику на китобойном судне; плавание было рассчитано на три года, но закончилось через полгода, потому что корабль потерпел крушение. Хотя он и обладал пылкой фантазией, в нем была сильна любовь к правде, и ему хотелось писать лишь о вещах ему известных. Он отлично знал китобойный промысел и, основываясь на фактическом материале, решил повествовать о вымышленных приключениях двух мальчиков-подростков. Это было нетрудно, и в субботу вечером он уже написал первую часть в три тысячи слов, чем доставил великое удовольствие Джиму и вызвал со стороны мистера Хиггинботама целый ряд насмешек по поводу объявившегося в их семье «писаки».

Мартин молчал и только с наслаждением представлял, как удивится зять, когда, развернув воскресный номер «Обозревателя», прочтет очерк об искателях сокровищ. В воскресенье он рано утром сам спустился к парадной двери за газетой.

Просмотрев номер внимательно несколько раз, он свернул его и положил на место, радуясь, что никому ничего не сказал о своей попытке. Потом, поразмыслив, решил, что ошибся относительно срока появления рассказов в печати. К тому же в его очерке не было ничего злободневного, и возможно, что редактор решил предварительно написать ему свои соображения.

После завтрака он снова занялся повестью. Слова так и текли из-под его пера, хотя он часто прерывал работу, чтобы справиться со словарем или с учебником

словесности. Иногда во время таких пауз он читал и перечитывал написанную главу, утешая себя тем, что, отвлекаясь от великого дела творчества, он зато усваивает в это время правила сочинения и учится выражать и излагать свои мысли. Он писал до темноты, затем шел в читальню и рылся в еженедельных и ежемесячных журналах до десяти часов вечера, то есть до самого закрытия. Такова была его программа на эту неделю. Каждый день он писал три тысячи слов и каждый вечер шел в читальню, листал журналы, стараясь уяснить себе, какие стихи, повести, рассказы нравятся издателям. Одно было несомненно: он бы мог написать все, что написали эти бесчисленные писатели, и более того: дайте срок, и он напишет много такого, чего им не написать. Ему было приятно прочитать в «Книжном бюллетене» статью о гонорарах, где было сказано, что Киплинг получает доллар за слово, а для начинающих писателей — что особенно заинтересовало его — минимальная ставка в первоклассных журналах два цента. «Спутник юношества» был, несомненно, первоклассным журналом, и, таким образом, за каждые три тысячи слов, которые он писал в день, он должен был получить по шестьдесят долларов — заработок за два месяца плавания.

В пятницу вечером он закончил свою повесть. В ней было ровно двадцать одна тысяча слов. По два цента за слово — и то это уже даст ему четыреста двадцать долларов. Недурная плата за недельную работу. У него еще никогда в жизни не было столько денег сразу. Он даже не понимал, на что можно истратить так много. Ведь это же золотое дно! Неиссякаемый источник благополучия! Он решил приодеться, выписать кучу газет и журналов, купить все необходимые справочники, за которыми теперь приходилось бегать в библиотеку. И все же от четырехсот двадцати долларов оставалась еще довольно крупная сумма, и он ломал голову, как использовать ее, пока, наконец, не решил нанять служанку для Гертруды и купить велосипед Мэриен.

Мартин отослал объемистую рукопись в «Спутник юношества» и в субботу вечером, обдумав план очерка о ловле жемчуга, отправился к Руфи. Он предварительно позвонил ей по телефону, и она сама вышла встретить

сго. И сразу же ее обдало знакомым исходящим от него ощущением силы и здоровья. Казалось, эта сила передавалась и ей, горячей волной разливалась по ее жилам и заставляла трепетать от волнения. Он вспыхнул, коснувшись ее руки и взглянув в ее голубые глаза, но она не заметила этого под темным загаром, покрывшим его лицо за восемь месяцев пребывания на солнце. Но полосу, натертую воротничком на шее, не скрыл и загар, и, заметив ее, Руфь едва удержалась от улыбки. Впрочем, у нее прошла охота улыбаться, когда она взглянула на его костюм. Брюки на этот раз отлично сидели,— это был его первый костюм, сшитый на заказ, и Мартин казался в нем стройнее и тоньше. Вдобавок вместо кепки он держал в руке мягкую шляпу, которую она тут же велела ему примерить и похвалила его внешний вид. Руфь была счастлива, как никогда. Эта перемена в нем была делом ее рук, и, гордясь этим, она уже мечтала о том, как будет и дальше направлять его.

Но в особенности радовало ее одно обстоятельство, казавшееся самым важным: перемена в его языке. Он теперь говорил не только правильнее, но гораздо свободнее, и его лексикон значительно обогатился. Правда, в моменты увлечения он забывался и опять начинал употреблять жаргонные словечки и комкать окончания; иногда он запинаясь, готовясь произнести слово, которое только недавно выучил. Но дело было не только в правильности выражений. В разговоре его появилась легкость, живое остроумие, чрезвычайно обрадовавшее Руфь. Это сказывался его природный юмор, за который его всегда любили товарищи, но который он раньше не мог проявить при ней за недостатком подходящих слов. Теперь он понемногу осваивался и уже не чувствовал себя таким чужеродным элементом в ее обществе. Но все же он был преувеличенно осторожен и, предоставив Руфи вести беседу в веселом, непринужденном тоне, старался, правда, не отставать от нее, но ни разу не брал на себя инициативу.

Он рассказал ей о своем сочинительстве, изложил свой план — писать для заработка и продолжать учиться. Но его ждало разочарование: Руфь отнеслась к этому плану скептически.

— Видите ли,— откровенно сказала она,— литература такое же ремесло, как и всякое другое. Я не специалист, конечно, я просто высказываю общеизвестные истины. Ведь нельзя же стать кузнецом, не проучившись предварительно года три, а то, пожалуй, и все пять. Но писатели зарабатывают лучше кузнецов, и потому, вероятно, очень многие хотели бы стать писателями и даже пробуют писать.

— А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности? — спросил Мартин, радуясь втайне, что так хорошо выразился; и тотчас же заработало его воображение, и он увидел как бы со стороны картину этого разговора в гостиной, а рядом сотни картин его прежней жизни, грубых и отвратительных.

Но все эти пестрые видения пронеслись перед ним в один миг, не прерывая течения его мыслей, не замедляя темпа разговора. На экране своей фантазии видел Мартин эту прелестную, милую девушку и себя самого, разговаривающих на хорошем английском языке, среди книг и картин, в уютной комнате, где на всем лежала печать культуры и хорошего воспитания. Эта сцена, озаренная ровным, ясным светом, как бы занимала середину экрана. А кругом, по краям экрана, возникали и исчезали совсем иные сцены, и он, как зритель, мог смотреть на любую из них по выбору. Они сменялись перед ним, выхватываемые лучами яркого красноватого света из зыбкой сумеречной пены тумана. Он видел ковбоев, пивших в кабаке огненное виски, кругом раздавалась грубая речь, пересыпанная непристойностями, а сам он тоже стоял у стойки, пил и бранился, не отставая от самых отъявленных забулдыг и буянов, или сидел с ними за столом под коптящей керосиновой лампой, сдавая карты и звеня фишками. Потом видел себя обнаженным до пояса, со сжатыми кулаками, перед началом знаменитого боя с рыжим ливерпульцем на баке «Сасквеганны»; потом он увидел окровавленную палубу «Джона Роджерса» в то серое утро, когда вспыхнул мятеж, увидел старшего помощника, корчившегося в предсмертных судорогах, дымящийся револьвер в руках капитана, толпу матросов вокруг, с искаженными от ярости лицами, раненых, изрыгающих проклятья,— и от этих картин он вновь вернулся

к центральной сцене, спокойной и тихой, озаренной ярким светом, вновь увидел Руфь, беседующую с ним среди книг и картин; увидел большой рояль, на котором она позже будет играть ему; услышал свою собственную, правильно построенную и произнесенную фразу: «А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности?»

— Даже если у человека есть способности к ремеслу кузнеца,— возразила она со смехом,— разве этого достаточно? Я никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь стал кузнецом, не побывав сначала в обучении.

— Что же вы мне посоветуете? — спросил он. — Но только помните, я действительно чувствую, что могу писать. Это трудно объяснить, но это так.

— Вам надо учиться,— последовал ответ,— независимо от того, станете вы писателем или нет. Образование необходимо вам, какую бы карьеру вы ни избрали, и оно должно быть систематическим, а не случайным. Вам надо пойти в школу.

— Да...— начал он, но она прервала его:

— Вы можете и тогда продолжать писать.

— Поневоле буду продолжать,— отвечал он грубо.

— Почему же?

Она посмотрела на него почти с неудовольствием: ей не нравилось упорство, с которым он стоял на своем.

— Потому что без этого не будет и ученья. Ведь нужно же мне есть, покупать книги, одеваться.

— Я все забываю об этом,— сказала она смеясь.— Почему вы не родились с готовым доходом!

— Предпочитаю иметь здоровье и воображение,— отвечал он,— а доходы придут. Я бы много делов наделал ради...— и он чуть не сказал «ради вас»,— ради... другого чего-нибудь.

— Не говорите «делов»! — воскликнула она с шутивым ужасом.— Это ужасно вульгарно.

Мартин смутился.

— Вы правы,— сказал он,— поправляйте меня, пожалуйста, всегда.

— Я... я с удовольствием,— отвечала Руфь неуверенно.— В вас очень много хорошего, и мне бы хотелось, чтобы все это стало еще лучше.

Он тотчас опять превратился в глину в ее руках и страстно желал, чтобы она лепила из него что ей угодно, а она так же страстно желала вылепить из него мужчину по тому образцу, который ей представлялся идеалом. Когда она сказала ему, что приемные экзамены в среднюю школу начнутся в понедельник, он тут же объявил, что пойдет экзаменоваться.

После этого она уселась за рояль и долго играла и пела ему, а он смотрел на нее жадными глазами, восторгаясь ею и удивляясь, почему вокруг нее не толпятся сотни обожателей, внимая ей и томясь по ней так же, как внимал и томился он.

Глава десятая

В этот вечер Мартин остался обедать у Морзов и, к великому удовольствию Руфи, произвел очень благоприятное впечатление на ее отца. Разговор шел о профессии моряка — предмете, который Мартин знал как свои пять пальцев; и мистер Морз отозвался о нем после как об очень сообразительном и здравомыслящем молодом человеке. Мартин старался избегать грубых слов и неправильных выражений и поэтому говорил медленно и лучше формулировал свои мысли. Он держался за обедом гораздо непринужденнее, чем в первый раз, почти год тому назад, но сохранил скромность и некоторую застенчивость, что очень понравилось миссис Морз, которая была приятно поражена происшедшей в нем переменой.

— Это первый мужчина, который удостоился внимания Руфи, — сказала она своему мужу. — Она всегда так равнодушно относилась к мужчинам, что меня это даже начало тревожить.

Мистер Морз взглянул на нее с удивлением.

— Ты хочешь, чтобы этот молодой матрос пробудил в ней женщину? — спросил он.

— Я не хочу, чтобы она умерла старой девой. Если Мартин Иден заставит ее заинтересоваться мужчинами вообще, это будет очень хорошо.

— Очень хорошо! — согласился мистер Морз. — Но предположим, — а иногда, моя дорогая, приходится зани-

маться предположениями,— предположим, что он заинтересует ее не вообще, а в частности?

— Это невозможно,— смеясь, сказала миссис Морз.— Она на три года старше его, и потом это просто невозможно! Ничего плохого не будет. Положись на меня.

Таким образом, роль Мартина Идена была определена вполне точно. Между тем сам он обдумывал одну довольно экстравагантную затею, на которую его натолкнули Артур и Норман. Речь шла о воскресной загородной прогулке на велосипедах, которая, конечно, едва ли заинтересовала бы Мартина, если бы он не узнал, что и Руфь тоже собирается ехать. Он никогда не ездил на велосипеде, но раз Руфь ездит, для него не оставалось уже сомнений в том, что и он должен научиться. Поэтому по дороге домой он зашел в магазин и купил за сорок долларов велосипед. Эту сумму он и в месяц не мог бы заработать самым тяжелым трудом, и такой расход был весьма чувствителен для его кармана. Но, прибавив к ста долларам, которые он должен был получить с «Обозревателя», те четыреста двадцать, которые ему заплатит «Спутник юношества», он даже обрадовался, что нашел разумное применение хотя бы для части всех этих денег. Не смутило его и то обстоятельство, что при первой попытке научиться ездить на велосипеде он порвал брюки и пиджак. Он тут же позвонил портному по телефону из лавки Хиггинботам и заказал себе новый костюм. Потом он втащил велосипед по узенькой наружной лестнице к себе в каморку, и когда отодвинул кровать от стены, то в комнате осталось место только для него и для велосипеда.

Воскресенье он решил посвятить подготовке к приемным экзаменам, но рассказ о ловле жемчуга так увлек его, что он провел весь день в лихорадке творчества, пытаясь воссоздать на бумаге красоту картин, которые горели в его мозгу. В это воскресенье «Обозреватель» опять не напечатал его рассказа об искателях сокровищ, но это нисколько его не смутило. Он слишком высоко взлетел на крыльях своего воображения и даже не слышал, как его два раза звали обедать. Так ему и не пришлось попросовать изысканного обеда, которым мистер Хиггинботам имел обыкновение отмечать воскресные дни.

Для мистера Хиггинботама такие обеды были вещественным доказательством его жизненного успеха, и он всегда сопровождал их пошлейшими разглагольствованиями о мудрости американского уклада жизни и тех богатых возможностях, которые этот уклад предоставляет людям: например, дает возможность возвыситься,— он это особенно подчеркивал,— от приказчика овощной лавки до хозяина торгового предприятия.

В понедельник утром Мартин Иден печально поглядел на свой неоконченный очерк о ловле жемчуга и отправился в оклендскую школу. Когда он несколько дней спустя явился, чтобы узнать результаты, ему сообщили, что он провалился по всем предметам, за исключением грамматики.

— Ваши познания по грамматике превосходны,— сообщил ему профессор Хилтон, глядя на него сквозь толстые очки,— но по другим предметам вы ничего не знаете, положительно ничего не знаете, а ваши ответы по истории Соединенных Штатов чудовищны,— именно чудовищны, другого слова не придумаешь. Я бы вам посоветовал...

Профессор Хилтон умолк и посмотрел на него неприязненно и равнодушно, как на одну из своих пробирок. Он преподавал в школе физику, имел большую семью, получал маленькое жалованье и обладал запасом знаний, затверженных, как затверживает слова попугай.

— Да, сэр? — смиренно сказал Мартин, жалея, что вместо профессора Хилтона с ним не беседует библиотекарь из справочного отдела.

— Я бы вам посоветовал еще года два поучиться в начальной школе. Всего хорошего!

Мартина не очень тронула эта неудача, но он был поражен, увидав, как огорчилась Руфь, когда он передал ей слова профессора Хилтона. Огорчение Руфи было так очевидно, что и он пожалел о своем провале — не из-за себя, а из-за нее.

— Вот видите,— сказала она,— я была права. Вы знаете гораздо больше иных студентов, а вот экзамена выдержать не можете. Это потому, что вы все время учились урывками и не систематически. Вам нужно учиться по определенной системе, а для этого нужны хорошие учителя. Знания должны быть основательными.

Профессор Хилтон прав, и на вашем месте я бы поступила в вечернюю начальную школу. Вы пройдете курс года в полтора и сэкономите шесть месяцев. Кроме того, днем у вас будет время для писания или для другой работы, если вам не удастся зарабатывать деньги своим пером.

«Но если днем я буду работать, а по вечерам ходить в школу, то когда же я буду видеться с вами?» — была первая мысль Мартина, которую он, впрочем, побоялся высказать. Вместо этого он сказал:

— Уж очень это для меня детское занятие — ходить в вечернюю школу. Я бы, конечно, на это не посмотрел, если бы знал, что дело стоит того. Но только, по-моему, не стоит. Я сам могу изучить все гораздо быстрее, чем со школьными учителями. Это было бы пустой тратой времени (он думал о ней, о своем желании добиться ее), а я не могу тратить время! У меня его нет!

— Но ведь вам так много нужно сделать.

Она ласково посмотрела на него. И Мартин мысленно назвал себя грубой скотиной за то, что решился противоречить ей.

— Для физики и химии нужны лаборатории, — сказала она. — С алгеброй и геометрией вам никогда не справиться самостоятельно. Вам необходим руководитель, опытные педагоги-специалисты.

Он молчал с минуту, обдумывая тщательно, как бы получше ответить ей.

— Не думайте, что я хвастаюсь, — сказал он, — дело совсем не в этом. Но у меня есть чувство, что я могу легко всему научиться. Я сам могу всему научиться. Меня тянет к учению, как утку к воде. Вы сами видели, как я одолел грамматику. И я изучил еще много других вещей, вы себе и представить не можете, как много... А ведь я только начал учиться. Мне еще не хватает... — он запнулся на мгновение и потом твердо выговорил: — инерции. Я ведь только начинаю становиться на линию.

— Что значит становиться на линию? — прервала она его.

— Ну, разбираться, что к чему, — проговорил он.

— Эта фраза ничего не означает, — опять сказала Руфь.

Он решил тогда выразиться иначе:

— Я только теперь начинаю в себе понимать направление.

Она из жалости промолчала на этот раз, и он продолжал:

— Наука представляется мне штурманской рубкой, где хранятся морские карты. Когда я прихожу в библиотеку, я об этом всегда думаю. Дело учителя познакомить ученика со всеми картами по порядку. Вот и все. Он — вроде проводника. Он ничего не может выдумать из головы. Он ничего нового не создает. На картах все есть, и он только должен показать новичку, где что лежит, чтобы тот не запутался. А я не заплутаюсь. Я умею распознавать местность. И обычно соображаю, чего делать. Опять не так что-нибудь?

— Не «чего делать», а «что делать», — сказала Руфь.

— Верно, что делать, — повторил он с благодарностью. — О чем это я? Да, о морских картах. Ну, так вот: иным людям...

— Людям, — поправила она опять.

— Иным людям нужны проводники. Это так. А мне вот кажется, что я могу обойтись и без них. Я уже довольно повертелся возле этих карт и знаю, которые мне нужны, и какие берега мне исследовать, я тоже знаю. И я сам гораздо скорее исследую их все. Скорость флота меряется всегда по скорости самого тихоходного судна. Ну, вот то же самое и со школой. Учителя должны равняться по отстающим ученикам, а я один могу идти быстрее.

— «Тот всех быстрее идет вперед, кто в путь идет один», — процитировала она.

«Но я бы желал идти не один, а с вами», — чуть не выпалил он в ответ. Перед ним возникла величественная картина безграничных, озаренных солнцем пространств и звездных путей, по которым он летит рука об руку с нею, и ее бледнозолотые волосы, развеваясь, касаются его щеки. И тотчас же он почувствовал жалкое бессилие своей речи. Боже правый! Если бы он мог рассказать ей обо всем так, чтобы и она увидела то, что видел он! Как острая боль, пронзило его страстное непреодолимое желание нарисовать ей те видения, которые возникли так

неожиданно в зеркале его мысли. И вдруг он понял! Так вот ключ к тайне! Ведь именно это и делают великие мастера — поэты и писатели! В этом их величие. Они умеют передать словами все то, что видят, думают и чувствуют. Собака, дремлющая на солнце, часто повизгивает и лает во сне, но она не может объяснить, что заставляло ее визжать и лаять! Вот и он не лучше собаки, уснувшей на солнцепеке; он тоже видит чудесные, сказочные сны, но бессилён передать их Руфи. Но теперь довольно спать. Он будет учиться, будет работать до тех пор, пока у него не откроются глаза и не развяжется язык, пока он не сможет поделиться с ней сказочным сокровищем своих видений. Есть же люди, которые владеют тайной выражения мыслей, умеют делать слова своими послушными рабами, сочетать их так, что возникает нечто новое, и это новое больше, чем простая сумма отдельных значений. Он был глубоко потрясен мыслью, что проник на мгновение в тайну, давно его мучившую, и опять перед ним засияли солнечные и звездные пространства. Наконец, он пришел в себя, пораженный наступившей тишиной, и увидел, что Руфь смотрит на него с веселой улыбкой.

— Я только что грезил наяву,— сказал Мартин, и при этих словах его сердце сильно забилося.

Как нашел он такие слова? Они правильно объяснили ту паузу в беседе, которую вызвали его видения. Это было чудо! Никогда он так прекрасно не выражал прекрасных мыслей. Но ведь он никогда и не пробовал. Ну, конечно. Теперь все ясно. Он не пробовал. Суинберн, Теннисон, Киплинг и другие великие поэты — они пробовали, и у них выходило. Ему вспомнились его «Ловцы жемчуга». Он ведь никогда не пытался изобразить словами ту красоту, которая жила в нем. Если бы он сделал это, рассказ был бы совершенно иным. Ему стало почти страшно при мысли о том, сколько прекрасного он мог бы описать; а воображение несло его дальше, и он вдруг подумал: почему бы ему не выразить всю волновавшую его красоту в стихах, звучных, благородных стихах, как это делают великие поэты? Выразить хотя бы его любовь к Руфи, таинственную прелесть и высокую духовность этой любви. Почему он не может сделать то, что делают

поэты? Они поют о любви. И он будет петь! Черт побери!..

Эти слова как удар грома прозвучали в его ушах. Увлеченный мечтами, он произнес их вслух. Кровь бросилась ему в лицо, и он покраснел до корней волос под бронзовым загаром.

— Я... я... простите, пожалуйста,— прошептал он,— я задумался...

— Вы сказали это таким тоном, как говорят: «я молился»,— храбро попробовала она пошутить, но внутри у нее все дрожало.

В первый раз в жизни она услышала проклятие в устах знакомого ей человека и была глубоко потрясена, не только потому, что это оскорбило ее слух и чувство благопристойности,— ее испугал резкий порыв ветра, ворвавшийся вдруг в заботливо укрытую теплицу ее девичества.

И все же она простила его и сама удивилась своей снисходительности. Его почему-то было нетрудно прощать. Условия жизни не позволили ему быть похожим на других людей, но он старался исправить это и уже достиг очень многого. Ей не приходило в голову, что есть и другие причины, еще проще объясняющие ее снисходительность. Она испытывала к нему настоящую нежность, но сама не догадывалась об этом. Да она и не могла догадаться. Она спокойно прожила свои двадцать четыре года, ни разу не испытав даже легкого любовного увлечения, не умела разбираться в своих чувствах и, до сих пор не согретая любовью, не понимала, что это любовь согревает ее теперь.

Глава одиннадцатая

Мартин снова принялся за своих «Ловцов жемчуга» и, вероятно, очень скоро кончил бы их, если бы его не отвлекало желание писать стихи. Это были любовные стихи, вдохновительницей которых являлась Руфь. Но ни одного стихотворения он не мог закончить. Нельзя было овладеть в короткий срок благородным искусством поэзии. Ритм, метр, общая структура стиха сами по себе

представляли достаточные сложности, но, помимо всего этого, было еще нечто неуловимое, что он находил в стихах великих поэтов, но чего никак не мог вложить в свои собственные. То был дух поэзии, который никак не давался ему. Мартину он представлялся каким-то сиянием, выходящей радужной дымкой, которая всегда разлеталась у него под руками, и в лучшем случае ему удавалось поймать лишь клочья, сложить отдельные красивые строки, которые звучали в мозгу, как музыка, или проносились перед глазами призрачными видениями. Это было мучительно. Прекрасные чувства просились на язык, а выходили прозаические, обыденные фразы. Мартин вслух читал себе свои стихи. Размер был выдержан по всем правилам, с рифмами и с ритмом дело тоже обстояло благополучно, но не было, увы, ни огня, ни истинного вдохновения. Он никак не мог понять, отчего это происходит, и, временами приходя в отчаяние, возвращался к своему очерку. Проза была более послушным инструментом.

После очерка о ловцах жемчуга Мартин написал еще несколько — о профессии моряка, о ловле черепах, о северо-восточном пассате. Затем, в виде опыта, он попытался написать небольшой сюжетный рассказ и, увлекшись, написал вместо одного целых шесть и разослал их в различные журналы. Он работал напряженно и плодотворно с утра до вечера и даже до глубокой ночи, за исключением тех часов, когда ходил в библиотеку или навещал Руфь. Мартин был в эти дни необычайно счастлив, его жизнь была полна и прекрасна, творческая лихорадка никогда не оставляла его. Радость созидания, которую прежде он считал привилегией богов, теперь и ему была доступна. Все окружавшее его — запах прелых овощей и мыльной воды, расплывшаяся фигура сестры и ехидная физиономия мистера Хиггинботамы, — все это представлялось каким-то сном. Реальный мир существовал только в его мозгу, и те рассказы, которые он писал, были осколками этого мира.

Дни казались слишком короткими, — уж очень много было областей знания, в которые ему хотелось проникнуть. Он сократил время сна до пяти часов и нашел, что этого вполне достаточно. Он даже пробовал спать только четыре с половиной часа, но все же с сожалением должен

был вернуться к пятичасовой норме. Все остальное время он с восторгом посвящал своим занятиям, неохотно прерывал писание, чтобы сесть за учебники, откладывал учебники, чтобы пойти в библиотеку; медлил покинуть штурманскую рубку науки и с грустью отрывался от чтения журналов, наполненных рассказами тех писателей, которые каким-то образом сумели пристроить свои произведения. Когда Мартин бывал у Руфи, то всякий раз, чтобы подняться и уйти, ему приходилось словно отрывать ее от своего сердца; а уйдя, он опрометью бежал по темным улицам, чтобы как можно скорее вернуться к книгам. Но труднее всего было закрыть учебник алгебры или физики, отложить в сторону перо и тетрадь и решиться сомкнуть усталые глаза. Выбыть из жизни хотя бы на такое короткое время казалось Мартину невыносимым, и его утешало лишь сознание, что через пять часов будильник снова разбудит его. Он потеряет только пять часов, а там пронзительный трезвон вырвет его из бесплодного забытья, и перед ним будет снова целых девятнадцать часов работы.

Между тем время шло, деньги у Мартина были на исходе, а гонорары пока что не поступали. Рукопись, отправленную в «Спутник юношества», он через месяц получил обратно. Отказ был написан в очень деликатной форме, так что Мартин даже почувствовал расположение к издателю. Но не то было с «Обозревателем Сан-Франциско». Прождав две недели, Мартин написал туда; еще через неделю написал снова. В конце концов он отправился в редакцию, чтобы лично побеседовать с редактором. Но цербер в образе рыжеволосого юнца, охранявший двери, не допустил его до лицезрения столь значительной особы. В конце пятой недели рукопись была возвращена по почте без всяких объяснений. Не было ни отказа, ни объяснительного письма — ничего. Так же были вскоре возвращены и другие рукописи, посланные им в крупные газеты Сан-Франциско. Тогда Мартин отправил свои творения в журналы восточных штатов, но не успел оглянуться, как получил их все обратно, — правда, каждый раз с печатным уведомлением о невозможности использовать.

Та же судьба постигла и рассказы. Мартин перечел их несколько раз подряд, и они ему так понравились, что он никак не мог понять, почему журналы столь решительно

отклоняют их, пока не прочел в одной газете, что рукописи должны быть непременно переписаны на машинке. Все объяснилось. Редакторы, несомненно, были так заняты, что не могли тратить время на изучение неразборчивых почерков. Мартин взял напрокат пишущую машинку и целый день учился писать на ней. Теперь он каждый вечер перепечатывал все, что написал за день, и, кроме того, постепенно перепечатал все свои прежние произведения. Каково же было его изумление, когда и перепечатанное стало возвращаться обратно. Лицо Мартина приняло упрямое выражение, челюсть воинственно выдвинулась вперед, и он упорно продолжал рассылать рукописи все по новым и новым адресам.

Наконец, ему пришло в голову, что самому очень трудно судить о своих произведениях. Он решил испытать их на Гертруде и прочитал ей некоторые свои рассказы. У нее заблестели глаза, и она сказала, с гордостью посмотрев на него:

— А ведь здорово, что ты пишешь такие штуки.

— Да, да,— нетерпеливо перебил он.— Но ты скажи — тебе нравится?

— Господи помилуй! — воскликнула она.— Еще бы не нравилось. Меня так разобрало, что просто страсть!

Но Мартин видел, что не все в его рассказе вполне ясно сестре. Ее добродушное лицо выражало недоумение. Он ждал.

— А скажи-ка, Март,— промолвила она после долгой паузы,— чем же у них дело кончилось? Что ж, этот парень, который так ловко чешет языком... что ж — он женился на ней?

И после того как Мартин объяснил ей конец, казавшийся ему вполне понятным из контекста, она промолвила:

— Ну то-то же. Почему ж ты прямо так не написал?

Прочтя Гертруде с десятков рассказов, он понял, что ей нравятся только счастливые концы.

— Рассказ хорош, что и говорить,— объявила она, выпрямляясь над корытом и со вздохом вытирая лоб красной, распаренной рукой,— только уж очень от него мне тяжело стало. Плакать захотелось. А кругом и так грустного много. Когда я слушаю про хорошее, мне и

самой становится лучше. Вот если бы они поженились, да... Ты не сердись на меня, Март? — спросила она с тревогой. — Может быть, мне это кажется, потому что я очень устала. А так рассказ — прелесть, ну просто прелесть. Куда ты думаешь пристроить его?

— Это уж другой вопрос, — усмехнулся он.

— Но если б удалось его пристроить, сколько бы ты за него получил?

— Да уж сотню долларов, не меньше.

— Ого! Хорошо бы тебе удалось его пристроить!

— Не плохие денежки, а? — И он прибавил с гордостью: — Заметь, я это накатал в два дня. Пятьдесят долларов в день!

Мартину страстно хотелось прочесть свои рассказы Руфи, но он не отваживался. Он решил подождать, пока что-нибудь будет напечатано, — по крайней мере тогда она лучше оценит его старания. Тем временем он продолжал учиться. Ни одно приключение не казалось ему таким заманчивым, как это путешествие по неисследованным дебрям разума. Он купил учебники физики и химии и наряду с алгеброй изучал физические законы и их доказательства. Экспериментальную часть ему приходилось принимать на веру, но его могучее воображение помогало ему видеть как бы воочию всякие химические реакции, и он понимал их лучше, чем студенты, присутствующие при опытах. Сквозь страницы учебников Мартин начинал постепенно проникать в тайны природы и мира. Раньше он воспринимал мир как нечто данное, теперь он начал понимать его устройство, взаимодействие и соотношение энергии и материи. Его ум постоянно находил теперь объяснение давно знакомым вещам. Рычаги и блоки сразу привели на память лебедки и подъемные краны, с которыми ему приходилось иметь дело на море. Теория навигации, дающая возможность судам не сбиваться с пути в открытом море, стала вдруг простой и понятной; он постиг тайну бурь, дождей, приливов, узнал причину возникновения пассатных ветров и даже подумал, не поторопился ли он написать свой очерк о северо-восточном пассате. Во всяком случае он чувствовал, что теперь мог бы написать его лучше. Однажды он отправился с Артуром в университет и затаив дух с чувством религиозного благоговения

смотрел на производившиеся в лаборатории опыты и слушал лекцию профессора физики.

Но он не забросил своих литературных занятий. Очерки и рассказы так и текли из-под его пера, и он еще находил время писать небольшие стихотворения — вроде тех, которые печатались в журналах; потом вдруг закусил удила и в две недели написал белым стихом трагедию, которую, к его изумлению, немедленно забраковали с полдюжины издателей. Однажды, начитавшись Гэнли, он написал целый цикл стихов о море, по образцу «Поэм с больничной койки». Это были простые стихи, светлые и красочные, полные романтики и боевого духа. Мартин назвал их «Песни моря» и решил, что это самое лучшее из всего им написанного. Цикл состоял из тридцати стихотворений; он написал их за месяц по одному в вечер, после целого дня работы над прозой — работы, на которую любой модный писатель затратил бы не меньше недели. Но Мартину такой труд был нипочем. Он даже и не считал это за труд. Просто он обрел дар речи, и все мечты, все мысли о прекрасном, которые долгие годы безгласно жили в нем, хлынули наружу неудержимым, мощным, звенящим потоком.

Мартин никому не показал своих «Песен моря» и никуда не послал их. Он потерял доверие к редакторам. Впрочем, не из недоверия воздержался он на этот раз от посылки своего творения. Оно было исполнено для него такой красоты, что ему хотелось поделиться им с одной только Руфью, в тот блаженный миг, когда он осмелится, наконец, прочесть ей свои произведения. А до тех пор он решил держать их при себе, читал и перечитывал вслух, пока, наконец, не выучил наизусть.

Он интенсивно жил каждое мгновение, когда бодрствовал, и продолжал жить даже во сне; его сознание, протестуя против вынужденного пятичасового бездействия, развивало все передуманное и пережитое за день, рождая невероятные и нелепые грезы. Таким образом, он никогда не отдыхал, и на его месте другой, менее крепкий телом и менее здоровый духом, давно бы свалился с ног. Его свидания с Руфью становились все реже и реже: приближался июнь, в начале которого она должна была сдать экзамены и получить университетский диплом. Бакалавр

искусств! Когда Мартин думал об этом звании, ему казалось, что Руфь улетает от него на такие высоты, где ему уже не достичь ее.

Один день в неделю Руфь все же посвящала Мартину, и он обычно в этот день оставался у Морзов обедать и после обеда слушал музыку. Это были его праздничные дни. Вся атмосфера дома Морзов была так не похожа на ту, в которой жил Мартин, и близость Руфи так окрыляла его, что всякий раз, возвращаясь домой, он мысленно давал себе клятву достичь этих высот во что бы то ни стало. Несмотря на неумный пыл творчества и жажду красоты, томившую его, он в конце концов трудился только ради нее. Он прежде всего был влюбленным и все остальное подчинял своей любви. Мечта о любви была для него важнее мечты о знании. Мир казался удивительным вовсе не потому, что состоял из молекул и атомов, подчинявшихся действию каких-то таинственных законов,— мир казался удивительным потому, что в нем жила Руфь. Она была чудом, какое никогда раньше не являлось ему даже в мечтах.

Но Мартина все время приводила в уныние мысль о расстоянии между ними. Руфь была бесконечно далека, и он никак не мог придумать, что сделать, чтобы приблизиться к ней. Он всегда пользовался успехом у женщин и девушек своего класса. Но ни одной из них он не любил, а ее он полюбил. Дело было не в том, что Руфь принадлежала к другому классу. Его любовь вознесла ее выше всех классов. Она была особым существом, настолько отличным от всех, что он не знал даже, как подойти к ней со своей любовью. Правда, теперь, когда он больше знал и лучше умел говорить, она как будто стала ближе, у них появился общий язык, общие темы, вкусы и интересы, но любовная жажда этим не удовлетворялась. Его воображение влюбленного наделило ее такой святостью, такой бесплотной чистотой, что исключило всякую мысль о телесной близости. Сама любовь отнимала у него то, чего он так страстно желал.

И вот, в один прекрасный день, через бездну, их разделявшую, на мгновение был перекинут мост, и после этого мгновения бездна уже не казалась такой непреодолимой. Они сидели и ели вишни, большие черные вишни,

сок которых напоминал терпкое вино. И после, когда она стала читать ему «Принцессу», он заметил следы вишневого сока у нее на губах. На мгновение она перестала быть божеством. Она была созданием из плоти и крови, ее тело было подчинено тем же законам, что и его тело и тело всякого человека. Ее губы были так же телесны, как и его, и вишни оставляли на них такие же следы. А если таковы были ее губы, то такова была она вся. Она была женщина — женщина, как и всякая другая. Эта мысль поразила его, точно удар грома. Это было для него настоящим откровением. Он словно увидел, как солнце падает с неба, или присутствовал при кощунственном осквернении божества.

Когда Мартин вполне уяснил себе смысл этого открытия, сердце бурно заколотилось у него в груди, побуждая его домогаться любви этой женщины, которая вовсе не была духом, слетевшим с неба, а обыкновенной женщиной, с губами, запачканными вишневым соком. Он содрогнулся от этих дерзких мыслей, но голос разума и голос сердца, сливаясь в победном гимне, твердили ему, что он прав. Должно быть, Руфь почувствовала эту внезапную перемену в настроении Мартина, так как вдруг перестала читать, взглянула на него и улыбнулась. Его взгляд скользнул по ее лицу от голубых глаз к губам, где виднелся след вишневого сока — небольшое пятнышко, сводившее его с ума. Его руки готовы были протянуться к ней, как часто тянулись к другим женщинам в дни его прежней беспутной жизни. А она как будто ждала, слегка склонясь к нему, и Мартину пришлось напрячь всю свою волю, чтобы сдержаться.

— Вы не слышали ни одного слова,— сказала она обиженно.

И тут же улыбнулась ему, наслаждаясь его смущением. Мартин взглянул в ее ясные глаза и понял, что она ничуть не догадывалась о том, что в нем происходило, и ему стало стыдно. В мыслях он посмел слишком далеко зайти! Всякая другая женщина догадалась бы — всякая, кроме Руфи. А она не догадалась. Вот тут-то и заключалась разница! Она была не такая, как все! Мартин смотрел на нее, совершенно уничтоженный мыслью о своей

грубости и ее невинности, и снова между ними разверзлась бездна. Мост был разрушен.

И все-таки этот случай приблизил его к ней. Воспоминание о нем не исчезло и утешало Мартина в моменты разочарований и сомнений. Бездна уже не была так непреодолима, как раньше. Он проделал путь куда больший, чем тот, что давал право на звание бакалавра искусств. Правда, она была чиста, так чиста, что раньше он даже и не знал о существовании такой чистоты. Но вишни оставляли пятна у нее на губах. Она была подчинена физическим законам, как и все в мире, она должна была есть, чтобы жить, и могла простуживаться и хворать. Но не это было важно. Важно было то, что она могла испытывать голод и жажду, страдать от зноя и холода, а стало быть — могла чувствовать и любовь, любовь к мужчине. А он был мужчина! Почему бы в таком случае ему не стать ее избранником? «Я добьюсь счастья,— шептал он лихорадочно.— Я стану им! Сумею стать. Я добьюсь счастья!»

Глава двенадцатая

Однажды вечером, когда Мартин мучился над сонетом, в который тщетно старался вложить прекрасные, но туманные образы, теснившиеся в его мозгу, его вызвали к телефону.

— Тебя дама спрашивает. По голосу слышно, что настоящая дама,— сказал насмешливо мистер Хиггинботам.

Мартин подошел к телефону, находившемуся в углу комнаты, и горячая волна пробежала по его телу, когда он услышал голос Руфи. Возясь со своим сонетом, он забыл о ее существовании, но при звуке знакомого голоса любовь охватила его с новой силой, сокрушительной, как удар молнии. Какой это был голос! Нежный и мелодичный, словно далекая музыка, словно звон серебряных колокольчиков кристальной чистоты! Нет! Не могла обыкновенная, смертная женщина обладать таким голосом. В нем было что-то небесное, что-то не от мира сего. Поддавшись наплыву чувств, он едва мог разобрать, что она ему говорила, хотя старался внешне сохранить спокойствие, зная,

что мышинные гла́зки мистера Хиггинботама так и впи-
ваются в него.

Руфь не сказала ничего особенного: она собиралась сегодня вечером на публичную лекцию с Норманом, но у Нормана — такая досада! — началась мигрень, и так как билеты уже взяты, то не хочет ли Мартин пойти с нею, если он не занят.

Если он не занят! Мартин едва мог скрыть дрожь в голосе. Он не верил своим ушам! До сих пор он встречался с ней только у них дома и никогда не осмеливался пригласить ее куда-нибудь! Стоя с телефонной трубкой в руке, он вдруг почувствовал непреодолимое желание умереть за нее, и перед его мысленным взором возникли героические образы, сцены самопожертвования во имя любви. Он любил ее так сильно, так страшно, так безнадежно. Его охватила такая сумасшедшая радость при мысли, что она пойдет с ним, пойдет на лекцию с ним, с Мартином Иденом, что ему захотелось умереть за нее. Ничего лучшего он не мог придумать. Это было единственное, чем он мог доказать свое безграничное и бескорыстное чувство. Это был великий порыв самоотречения, знакомый каждому истинно влюбленному, и он налетел на него, точно огненный вихрь, во время короткого разговора по телефону. Умереть за нее, думал он, это значило бы, что он жил и любил по-настоящему. А ему было всего двадцать один год, и это была его первая любовь!

Дрожащей рукой он повесил трубку, обессилев после только что пережитого потрясения. Глаза у него сияли каким-то ангельским светом, лицо преобразилось, точно он очистился от земной скверны и стал святым и безгрешным.

— Свидание на стороне, а? — ехидно прошипел зять. — А знаешь, чем это кончается? Как раз угодишь в полицейский суд, голубчик мой.

Но Мартин не мог сразу спуститься с высот. Даже эти гнусные намеки не могли вернуть его на землю. Он был выше и гнева и раздражения. Он еще весь был во власти прекрасного видения и, точно божество, не мог испытывать к подобным ничтожным созданиям ничего, кроме жалости. Он и не замечал мистера Хиггинботама, его глаза смотрели сквозь него, и, как во сне, он вышел из

комнаты, чтобы переодеться. Только когда он уже завязывал галстук перед своим зеркальцем, до его сознания дошел какой-то раздражающий звук. Это было застрявшее у него в ушах глупое гоготание Бернарда Хиггинботамы, которое он словно сейчас только услышал.

Когда дверь дома Морзов закрылась за ними и Мартин стал спускаться со ступенек крыльца вместе с Руфью, он вдруг почувствовал замешательство. Радость этой прогулки с нею омрачилась непредвиденными сомнениями. Он не знал, как держать себя. Он не раз видал, что люди ее круга, выходя на улицу, берут даму под руку. Но это бывало не всегда, и он не знал, принято ли ходить под руку только по вечерам или, быть может, так ходят лишь мужья с женами или братья с сестрами.

Ставя ногу на последнюю ступеньку, он вдруг вспомнил Минни. Минни была большая модница, и при второй их встрече она сделала ему выговор за то, что он шел с внутренней стороны тротуара, тогда как истинный джентльмен, гуляя с леди, должен идти всегда с внешней стороны. И Минни завела обычай наступать ему на ноги, когда они переходили улицу, чтобы он не забывал держаться внешней стороны. Но он не знал, откуда она выкопала такое правило, в самом ли деле так принято в высшем обществе и нужно ли это правило соблюдать.

В конце концов Мартин решил, что беды от этого во всяком случае не будет, и, выйдя на улицу, он пропустил Руфь вперед, а сам пошел рядом, с внешней стороны тротуара. Но тут возникла вторая проблема: нужно ли предложить ей руку? До сих пор он никогда не предлагал руку спутнице. Девушки, с которыми он привык иметь дело, не гуляли с кавалерами под руку. В начале знакомства они обычно просто ходили рядом, а позже старались выбирать темные переулки и шли, положив голову на плечо спутника, который при этом обнимал их за талию. Но здесь дело обстояло иначе. Она была совсем не такая, как те девушки. И Мартин не знал, как ему быть.

Ему пришло в голову слегка согнуть свою правую руку, как будто случайно, по привычке. И тут произошло чудо. Мартин почувствовал, как ее рука легла на его руку. Сладостная дрожь пронизала его, и несколько мгновений ему казалось, что ноги его отделились от земли, а за спи-

ной выросли крылья. Но новое осложнение вернуло его к действительности. Они перешли улицу, и теперь он очутился не с внешней, а с внутренней стороны тротуара. Что же теперь делать? Выпустить ее руку и переменить место? А что делать, когда им придется переходить улицу вторично? И в третий раз? Что-то было тут не совсем ясно, и Мартин решил, что не будет валять дурака, прыгая взад и вперед. Но такое решение не вполне удовлетворяло его, и, очутившись с внутренней стороны, он начал быстро и с увлечением говорить о чем-то. Пусть в случае чего она думает, что он просто в пылу беседы забыл перейти на другую сторону.

На Бродвее Мартина ожидало новое испытание. При свете уличных фонарей он вдруг увидел Лиззи Конолли и ее смешливую подругу. На одно, только одно мгновение он заколебался, но тотчас же снял шляпу и поклонился. Он не намерен был стыдиться своей среды, и его поклон относился не только к Лиззи Конолли. Девушка кивнула в ответ, задорно глянув на него красивыми и смешливыми глазами, так не похожими на светлые и ясные глаза Руфи. Она также оглядела Руфь и сразу, по видимому, оценила ее наружность и платье и угадала общественное положение. Мартин заметил, что и Руфь бросила на девушку ответный взгляд, и этот взгляд, мимолетный и исполненный голубиной кротости, все же успел отметить и дешевый наряд и затейливую шляпку, какими любили щеголять молодые работницы.

— Какая красивая девушка, — сказала Руфь минуту спустя.

Мартин готов был благословить ее за эту фразу, но сказал только:

— Не знаю. Дело вкуса, должно быть; я не нахожу ее особенно красивой.

— Ну, что вы! Такие правильные черты встречаются один раз на тысячу. У нее лицо точно камей. И глаза чудесные!

— Вы находите? — равнодушно сказал Мартин, ибо для него существовала на свете только одна красивая женщина, и она шла рядом с ним, опираясь на его руку.

— Если б эту девушку одеть как следует и научить ее держаться, уверяю вас, она покорила бы всех мужчин и вас в том числе, мистер Иден.

— Прежде всего нужно было бы научить ее правильно говорить,— отвечал он,— а то большинство мужчин и не поняли бы ее. Я уверен, что вы не поняли бы и половины из ее речи, если б она говорила так, как привыкла.

— Глупости! Вы так же упрямы, как Артур, когда хотите доказать что-нибудь.

— А вы забыли, как я говорил, когда мы встретились первый раз? Сейчас я говорю совсем иначе. Я тогда говорил так же, как эта девушка. Но за это время я выучился говорить иначе и могу утверждать понятным для вас языком, что ее язык для вас непонятен. Вот вы обратили внимание, что она некрасиво держится. А знаете почему? Я ведь теперь все время думаю о таких вещах, которые раньше мне и в голову не приходили,— и я многое начинаю понимать.

— Почему же она так держится?

— Она уже несколько лет работает на фабрике. Молодое тело податливо, как воск, и тяжелый труд формирует его; оно невольно привыкает к положению, удобному для данной работы. Я с одного взгляда могу определить, чем занимается рабочий, встреченный мною на улице. Посмотрите на меня. Почему я так раскачиваюсь при ходьбе? Да потому, что я почти всю жизнь провел на море. Если бы все эти годы я был не матросом, а ковбоем, я бы не ходил враскачку, но у меня были бы кривые ноги. Вот и с этой девушкой так. Вы заметили, какой у нее, если можно так выразиться, жесткий взгляд? Ведь она никогда не жила под чьим-нибудь крылышком. Она все время сама должна думать о себе, а когда девушке приходится самой о себе думать и заботиться, у нее не может быть такого нежного, кроткого взгляда, как... как у вас, например.

— Вы, пожалуй, правы,— тихо сказала Руфь.— Как это ужасно! Она такая красивая...

Мартин, взглянув на нее, увидел, что в ее глазах светится сострадание. И тут же он подумал о том, как он любит ее и какое необычайное счастье выпало ему — любить ее и идти с нею вдвоем, под руку, направляясь на лекцию.

«Кто ты такой, Мартин Иден? — спрашивал он себя в этот вечер, вернувшись домой и глядя на себя в зеркало. Он глядел долго и с любопытством. — Кто ты и что ты? Где твое место? Твое место подле такой девушки, как Лиззи Конолли. Твое место среди миллионов людей труда, — там, где все вульгарно, грубо и некрасиво. Твое место в хлеву, на конюшне, среди грязи и навоза. Чувствуешь запах прели? Это гниет картофель. Нюхай же, черт тебя побери, нюхай хорошенько! А ты смеешь совать нос в книги, слушать красивую музыку, любоваться прекрасными картинами, заботиться о своем языке, думать о том, о чем не думает никто из твоих товарищей, отмахиваться от Лиззи Конолли и любить девушку, которая неизмеримо далека от тебя и живет среди звезд! Кто ты и что ты, черт тебя возьми! Добьешься ли ты того, к чему стремишься?»

Он погрозил себе в зеркале кулаком и сел на край кровати, глядя перед собой широко открытыми, невидящими глазами. Потом немного спустя достал свою тетрадку, учебник алгебры и углубился в квадратные уравнения. А часы летели, звезды меркли, и за окном серели уже предрассветные сумерки.

Глава тринадцатая

Кружок словоохотливых социалистов и философов из рабочих, который собирался в Сити-Холл-парке в жаркие дни, случайно натолкнул Мартина на одно великое открытие. Раза два в месяц, проезжая через парк по пути в библиотеку, Мартин слезал с велосипеда, прислушивался к спорам, и всякий раз ему стоило труда оторваться от них. Общий тон этих дискуссий был иной, чем за столом мистера Морза. Спорщики не были важны и преисполнены достоинства. Они давали волю своему темпераменту и осыпали друг друга обидными прозвищами, ругательствами и ядовитыми намеками. Раза два дело доходило до потасовки. И все же, не отдавая себе ясного отчета — почему, Мартин чувствовал какую-то живую основу во всех этих словопрениях; они сильнее действовали

на него, чем спокойный и уравновешенный догматизм мистера Морза. В этих людях, которые немилосердно коверкали английский язык, жестикулировали как помешанные, и с первобытной яростью нападали на своих идейных противников,— в них, казалось ему, было куда больше жизни, чем в мистере Морзе и его друге мистере Бэтлере.

На собраниях в парке Мартин несколько раз слышал имя Герберта Спенсера, но вот однажды появился там его ученик и последователь, жалкий бродяга в рваной куртке, застегнутой наглухо, чтобы скрыть отсутствие рубашки. Началось генеральное сражение в дыму бесконечных папирос, среди беспрестанно сплевываемой табачной жвачки, причем бродяга ловко парировал все удары, даже когда один из рабочих-социалистов крикнул насмешливо: «Нет бога, кроме Непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его!» Мартин не мог уяснить себе, о чем идет спор, но он заинтересовался Гербертом Спенсером и, явившись в библиотеку, спросил «Основные начала», так как бродяга в разгаре спора часто упоминал это сочинение.

И это было начало великого открытия. Мартин уже однажды пытался читать Спенсера, но так как он выбрал «Основы психологии», то и потерпел фиаско, так же как и с госпожой Блаватской. Он ничего не мог понять в этой книге и вернул ее непрочитанной. Но в этот вечер, после алгебры и физики и долгой борьбы с сонетом, он лег в постель и раскрыл «Основные начала». Утро застало его еще за чтением. Спать он не мог. В этот день он даже не писал. Он лежал и читал до тех пор, пока у него не заболели бока; тогда он слез с постели, улегся на голый пол и продолжал читать, держа книгу над головой или облокотясь на руку. Эту ночь он спал и утром уселся писать, но соблазн был так велик, что вскоре он снова принялся за чтение, позабыв все на свете, даже то, что в этот вечер его ожидала Руфь. Он опомнился только тогда, когда Бернард Хиггинботам распахнул дверь и спросил, не думает ли он, что у них тут ресторан.

Мартин Иден всегда отличался любознательностью. Он хотел все знать и отчасти из-за этого увлекся профессией всесветного бродяги-моряка. Но теперь, читая Спенсера, он понял, что не знает ничего, что никогда ничего и

не узнал бы, сколько бы ни странствовал по морям. Он лишь скользил по поверхности вещей, наблюдая разрозненные явления, накапливая отдельные факты, делая иногда небольшие частные обобщения,— все это без всякой попытки установить связь, привести в систему мир, который представлялся ему прихотливым сцеплением случайностей. Наблюдая летящих птиц, он часто размышлял над механизмом их полета; но ни разу он не задумался о том процессе развития, который привел к появлению живых летающих существ. Он даже и не подозревал о существовании такого процесса. Что птицы могли «появиться», не приходило ему в голову. Они «были» — вот и все, были всегда.

И как обстояло дело с птицами, так обстояло и со всем остальным. Все его попытки философских умозаключений были обречены на неудачу из-за отсутствия знаний и навыка мысли. Средневековая метафизика Канта ничего не открыла ему, а лишь заставила усомниться в своих умственных силах. Такую же неудачу он потерпел, начав изучать теорию эволюции по слишком специальной книге Роменса. Единственное, что он вынес из этого чтения,— это представление об эволюции как о беспочвенной теоретической выдумке сухих педантов, изъясняющихся тарбарским языком. А теперь он увидел, что это вовсе не голая теория, но общепризнанный закон развития; что если между учеными и возникают еще по этому поводу споры, то лишь по частным вопросам о формах эволюции.

И вот явился человек — Спенсер, который привел все это в систему, объединил, сделал выводы и представил изумленному взору Мартина конкретный и упорядоченный мир во всех деталях и с полной наглядностью, как те маленькие модели кораблей в стеклянных банках, которые матросы мастерят на досуге. Не было тут ни неожиданностей, ни случайностей. Во всем был закон. Подчиняясь этому закону, птица летала; подчиняясь тому же закону, бесформенная плазма стала двигаться, извиваться, у нее выросли крылья и лапки — и появилась на свет птица.

Мартин в своей умственной жизни шел от одной вершины к другой и теперь достиг самой высокой. Он вдруг проник в тайную сущность вещей, и познание опьянило его. Ночью, во сне, он жил с богами, преследуемый вели-

чественными видениями. Днем бродил, как лунатик, и перед его блуждающим взором был только тот мир, который открыл ему Спенсер. За столом во время обеда он не слышал разговоров и споров о разных житейских мелочах, так как его ум все время напряженно работал, вскрывая причинную связь во всем, что он видел. В мясе, лежащем на тарелке, он прозревал энергию солнечных лучей и в обратном порядке прослеживал через все превращения их путь от первоисточника, отстоящего на миллионы миль, или же мысленно продолжал этот путь и думал о той силе, которая движет мускулы его руки, заставляя ее резать мясо, и о мозге, посылающем приказание мускулам, так что в конечном счете находил в своем мозгу ту же энергию солнечных лучей. Мартин настолько ушел в свои мысли, что не слышал, как Джим пробормотал: «Спитил», не замечал тревожных взглядов сестры и не обращал внимания на Бернарда Хиггинботамы, который уже несколько раз выразительно покрутил пальцем около своего лба.

Больше всего поразила Мартина взаимосвязь между науками — всеми науками. Он всегда был жаден до знаний, но те знания, которые ему удавалось приобрести, откладывались у него как бы в отдельные клетки памяти. Так, в одной клетке скопилось много отрывочных сведений о мореплавании. В другой — о женщинах. Но эти две клетки никак не сообщались между собой. Мысль, что можно установить связь между женщиной в истерике и судном, подхваченным бурей, показалась бы Мартину нелепой и невозможной. Но Герберт Спенсер доказал ему не только, что в этом нет ничего нелепого, но что, напротив, между этими двумя явлениями не может не быть связи. Все связано в мире, от самой далекой звезды в небесных просторах и до мельчайшего атома в песчинке под ногой человека.

Для Мартина это было постоянным источником изумления, и он теперь все время был занят тем, что старался устанавливать связь вещей и явлений на этой планете — да и не только на этой. Он составлял целые списки самых разнородных вещей и не мог успокоиться до тех пор, пока не находил между ними связи. Так, оказалось, что существует связь между любовью, поэзией, землетрясе-

ниями, огнем, гремучими змеями, радугой, драгоценными камнями, уродством, солнечными закатами, львиным рыком, светильным газом, каннибализмом, красотой, убийством, рычагами, точкой опоры и табаком. Теперь вселенная предстала перед ним как единое целое, и он странствовал по ее закоулкам, тупикам и дебрям не как заблудившийся путник, сквозь таинственную чащу прорастающий к неведомой цели, а как опытный путешественник-наблюдатель, старающийся ничего не упустить из виду и все заносающий на карту. И чем больше он узнавал, тем больше восхищался миром и собственной жизнью в этом мире.

— Эх ты, болван! — кричал он своему изображению в зеркале. — Тебе хотелось писать, и ты писал, а писать-то было не о чем! Ну что у тебя было? Детские понятия, незрелые чувства, смутное представление о красоте, огромная черная масса невежества, сердце, готовое разорваться от любви, да самолюбие, такое же сильное, как твоя любовь, и такое же безнадежное, как твое невежество. И ты хотел писать? Но ведь только теперь ты начинаешь находить, о чем писать. Ты хотел создавать красоту, а сам ничего не знал о природе красоты. Ты хотел писать о жизни, а сам не имел понятия о ее сущности. Ты хотел писать о мире, а мир был для тебя китайской головоломкой; и что бы ты ни писал, ты бы только лишний раз расписался в своем невежестве. Но не падай духом, Мартин, мой мальчик! Ты еще будешь писать. Ты уже кое-что знаешь; правда, еще очень мало, но ты теперь держишь правильный курс и скоро будешь знать больше. Если тебе повезет, то когда-нибудь ты узнаешь почти все, что можно узнать. И вот тогда ты будешь писать!

Он сообщил Руфи о своем великом открытии, чувствуя потребность поделиться с ней своей радостью и удивлением. Но она отнеслась к этому очень спокойно, так как, повидимому, знала все это раньше. И его не удивило такое бесстрастное отношение к тому, что так взбудоражило все его существо, — он понимал, что для нее тут нет ничего нового. Артур и Норман, как удалось ему выяснить, были сторонниками эволюционной теории и оба читали Герберта Спенсера, хотя на них он, повидимому, не произвел такого ошеломляющего впечатления; а молодой человек в очках, которого звали Вилл Олни,

неприятно засмеялся при упоминании имени Спенсера и повторил уже слышанную Мартином остроту: «Нет бога, кроме Непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его».

Но Мартин простил ему эту насмешку, так как уже начал догадываться, что Олни вовсе не влюблен в Руфь. Впоследствии по разным мелким фактам он убедился, что Олни не только не влюблен в нее, но относится к ней с явною неприязнью. Мартину это казалось непонятным. Это был феномен, который он никак не мог связать с прочими явлениями вселенной. Ему даже стало жаль этого юношу, которому, очевидно, какой-то природный недостаток мешал оценить прелесть и красоту Руфи. Они очень часто по воскресеньям все вместе катались на велосипедах, и Мартин убедился во время этих поездок, что Руфь и Олни находятся в состоянии вооруженного мира. Олни больше дружил с Норманом, предоставляя Руфь, Артура и Мартина обществу друг друга, за что Мартин был ему очень благодарен.

Эти воскресенья были для Мартина праздниками вдвойне, потому что он имел возможность проводить их с Руфью, а кроме того, приучаться к обществу молодых людей ее класса. Хотя эти люди и получили систематическое образование, Мартин видел, что в умственном отношении он не уступает им; разговор с ними был для него, Мартина, прекрасной практикой устной речи. Он давно перестал читать руководства по правилам поведения в обществе, решив положиться на свою наблюдательность. За исключением тех случаев, когда он забывал обо всем, увлекшись предметом разговора, он всегда внимательно следил за поведением своих спутников, стараясь запомнить разные мелочи в их обращении друг с другом.

То обстоятельство, что Спенсера вообще очень мало читали, изумляло Мартина. «Герберт Спенсер,— сказал библиотекарь в справочном отделе,— о, это великий ум». Но, повидимому, сам библиотекарь очень мало знал о творениях этого великого ума. Однажды за обедом у Морзов, в присутствии мистера Бэтлера, Мартин завел разговор о Спенсере. Мистер Морз резко осудил агностицизм английского философа, сознавшись, впрочем, что не читал «Основных начал», а мистер Бэтлер объявил, что Спенсер нагоняет на него тоску, что он не прочел ни строчки

из его сочинений и отлично обходится без этого. Мартин стали одолевать сомнения, и не будь он так резко самобытен, он, пожалуй, подчинился бы общему мнению и отказался от дальнейшего знакомства со Спенсером. Но взгляды Спенсера на мир казались ему необычайно убедительными, и отказаться от них было для него все равно, что для мореплавателя выбросить за борт компас и карты. Поэтому Мартин продолжал изучать теорию эволюции, все более и более овладевая предметом и находя подтверждение взглядов Спенсера у тысячи других писателей. Чем дальше он шел в своих занятиях, тем больше открывалось перед ним неисследованных областей знания, и он все чаще сожалел, что в сутках всего двадцать четыре часа.

Однажды, принимая во внимание краткость дня, он решил бросить алгебру и геометрию. К тригонометрии он даже еще и не приступал. Потом он вычеркнул из своего расписания и химию, оставив лишь физику.

— Я же не специалист,— сказал он Руфи в свое оправдание,— и я не собираюсь стать специалистом. Ведь наук так много, что одному человеку не хватит жизни изучить их все. Я хочу получить общее образование. Когда мне понадобятся специальные знания, я могу обратиться к книгам.

— Но это совсем не то, что самому обладать этими знаниями,— протестовала она.

— А зачем нужно ими обладать? Мы всегда пользуемся трудами специалистов. Для того они и существуют. Вот сегодня, входя к вам в дом, я видел, что у вас работают трубочисты. Они тоже специалисты, и когда они сделают свое дело, вы будете пользоваться вычищенными трубами, даже и не зная ничего о строении печей.

— Ну, это явная натяжка!

Она посмотрела на него неодобрительно, и он прочел упрек в ее взгляде и тоне. Но он был убежден в своей правоте.

— Все мыслители, задумывавшиеся над общими проблемами, все величайшие умы фактически всегда полагались в отдельных вопросах на суждения специалистов. И Герберт Спенсер поступал точно так же. Он обобщал открытия многих тысяч исследователей. Ему надо было

бы прожить тысячи жизней, чтобы дойти до всего самому. То же самое было с Дарвином. Он использовал то, что было изучено садовниками и скотоводами.

— Вы правы, Мартин,— сказал Олни,— вы знаете, что вам нужно, а Руфь не знает. Она не знает даже, что ей самой нужно. Да, да,— продолжал он, не давая Руфи времени возразить.— Я знаю, вы называете это общей культурой. Но если добиваться этой общей культуры, то не все ли равно, что изучать? Вы можете изучать французский язык, можете изучать немецкий или эсперанто,— вы все равно приобретете так называемую «общую культуру». Или займитесь латынью и греческим,— правда, ни тот, ни другой язык никогда вам не пригодится, но культуру это вам, несомненно, даст. Изучала же Руфь два года назад староанглийский язык, и даже очень успешно, а теперь ничего не помнит, кроме одной строчки: «Когда апрель обильными дождями». Так, кажется? И это дало вам «общую культуру»,— засмеялся он, опять не давая ей возможности возразить,— знаю, знаю. Мы ведь с вами были на одном курсе.

— Вы так говорите о культуре, как будто это средство, а не цель! — воскликнула Руфь. Глаза ее засверкали, а на щеках выступили два красных пятна.— Культура самоценна!

— Но Мартину не это нужно.

— А вы откуда знаете?

— Что вам нужно, Мартин? — спросил Олни, круто поворачиваясь к нему.

Мартин почувствовал себя крайне неловко и умоляюще поглядел на Руфь.

— Да, скажите, что вам нужно,— сказала Руфь.— Это разрешит наш спор.

— Конечно, мне нужна культура,— сказал Мартин нерешительно.— Я люблю красоту, а культура дает мне возможность лучше понять и оценить ее.

Руфь кивнула головой с торжествующим видом.

— Чепуха! И вы сами это прекрасно знаете,— объявил Олни.— Мартин добивается карьеры, а не культуры. То, что в его случае карьера связана с культурой,— простое совпадение. Если бы он хотел стать химиком, культура была бы ему ни к чему. Мартин хочет стать писателем,

но боится сказать это, чтобы вы не потерпели фиаско в нашем споре. А почему Мартин хочет стать писателем?— продолжал он.— Потому что он не обеспечен материально. Почему вы забивали себе голову староанглийским языком и всей этой вашей «общей культурой»? Да потому, что вам не надо пробивать себе дороги. Об этом заботится ваш отец. Он платит за ваши наряды, он сделает для вас и все остальное. Что проку в том образовании, которое мы все получили,— и вы, и я, и Артур, и Норман? Мы доверху набиты «общей культурой», а разорись завтра наши отцы, нам только и осталось бы, пожалуй, что держать экзамен на школьного учителя. Самое большее, на что Руфь могла бы тогда рассчитывать,— это стать сельской учительницей или преподавательницей музыки в женском пансионе.

— А вы бы что делали? — спросила Руфь.

— Ничего путного. Пошел бы на черную работу доллара за полтора в день или рискнул бы наняться репетитором в заведении Хэнли, натаскивать тупиц к экзаменам; говорю: «рискнул бы», потому что через неделю меня бы, вероятно, выгнали за полной негодностью.

Мартин молча прислушивался к разговору; он чувствовал, что Олни прав, но в то же время осуждал его за непочтительное отношение к Руфи. В его голове во время этого спора складывались новые взгляды на любовь. Разум не должен вмешиваться в любовные дела. Правильно рассуждает любимая женщина или неправильно — это безразлично. Любовь выше разума. В данном случае Руфь, очевидно, не понимала, как важна для него карьера, но от этого она, разумеется, не стала менее прелестной. Она была прелестна, и то, что она думала, не имело никакого отношения к ее прелести.

— Что вы сказали? — переспросил он Олни, который неожиданным вопросом прервал течение его мыслей.

— Я спросил, неужели у вас хватит глупости взяться за изучение латыни.

— Латынь не только дает культуру,— прервала Руфь,— это тренировка ума.

— Ну, так как же, Мартин, будете вы изучать латынь? — настаивал Олни.

Мартин был прижат к стене. Он видел, что Руфь с нетерпением ждет его ответа.

— Я боюсь, что у меня не хватит времени,— ответил он, наконец.— Я бы стал изучать, но у меня не хватит времени.

— Видите, Мартину вовсе не нужна ваша «общая культура»! — торжествовал Олни.— Он хочет чего-то добиться в жизни, выйти в люди.

— Да, но ведь это же тренировка ума, это дисциплина! Латынь дисциплинирует ум! — При этих словах Руфь посмотрела на Мартина, словно прося его переменить свое суждение.— Вы видели, как футболисты тренируются перед игрою? То же самое латынь для мыслителей. Это тренировка.

— Какой вздор! Это нам в детстве вбивали в голову! Но есть одна истина, которую забыли нам внушить свое временно. Пришлось доходить до нее своим умом.— Олни сделал паузу для вящего эффекта и сказал торжественно: — Джентльмену следует изучать латынь, но джентльмену не следует ее знать.

— Это нечестно! — вскричала Руфь.— Я так и знала, что вы сведете весь разговор к шутке.

— Но согласитесь, что шутка остроумна! — возразил он.— И к тому же это верно. Единственные люди, которые знают латынь,— это аптекари, адвокаты и преподаватели латыни. Если Мартин хочет стать аптекарем или адвокатом, я умолкаю. Но причем тут вообще Герберт Спенсер? Мартин только что открыл Спенсера и пришел от него в дикий восторг. Почему? Потому что Спенсер ему дал нечто. Вам Спенсер ничего не может дать и мне тоже. Потому что нам ничего и не нужно. Вы в один прекрасный день выйдете замуж, а мне вообще ничего будет делать, так как все за меня будут делать разные поверенные и управляющие, которые позаботятся о капитале, который я получаю от отца.

Олни направился было к двери, но, остановившись, выпустил свой последний заряд:

— Оставьте Мартина в покое, Руфь. Он сам прекрасно знает, что ему нужно. Посмотрите, как многого он уже сумел добиться. Иногда он заставляет меня краснеть и стыдиться за себя. Он и сейчас знает о мире и жизни и о

назначении человека куда больше, чем Артур, Норман, я или вы, несмотря на всю нашу латынь, французский и староанглийский, несмотря на всю нашу так называемую культуру.

— Но Руфь моя учительница,— рыцарски возразил Мартин,— если я и знаю что-нибудь, то только благодаря ей.

— Чепуха! — Олни посмотрел на Руфь с каким-то недоброжелательством. — Вы еще скажете мне, что вы стали читать Спенсера по ее совету. Только я не поверю. Руфь знает о Дарвине и об эволюции столько же, сколько я об алмазных россыпях царя Соломона. Помните, несколько дней тому назад вы огорошили нас своим толкованием одного места у Спенсера — относительно неопределенного, неуловимого и однородного. Попробуйте растолковать ей это — и посмотрите, поймет она вас или нет? Это, видите ли, не «культура»! Словом, Мартин, если вы начнете зубрить латынь, я просто потеряю к вам уважение.

С интересом прислушиваясь к этому разговору, Мартин в то же время чувствовал какой-то неприятный осадок. Речь шла об учении и уроках, о начатках знания, и общий школьный тон спора не соответствовал тем большим вопросам, которые волновали Мартина, заставляя его цепко ухватывать все жизненные явления и трепетать каким-то космическим трепетом от сознания своей пробуждающейся силы. Он мысленно сравнивал себя с поэтом, выброшенным на берег неведомой страны, который потрясен окружающей красотой и тщетно старается воспеть ее на чуждом ему языке диких туземцев. Так было и с ним. Он чувствовал в себе мучительное стремление познать великие мировые истины, — а вместо этого должен был слушать детские пререкания о том, нужно изучать латынь или не нужно.

— На кой дьявол тут припуталась эта латынь! — говорил он себе в этот вечер, стоя перед зеркалом. — Пусть мертвецы остаются мертвецами. Какое имею я отношение к этим мертвецам? Красота вечна и всегда жива. Языки создаются и исчезают. Они — прах мертвецов.

Он тут же подумал, что научился хорошо формулировать свои мысли, и, ложась в постель, старался понять, почему он теряет эту способность в присутствии Руфи.

При ней он превращался в школьника и говорил языком школьника.

— Дайте мне время,— сказал он вслух.— Дайте мне только время.

Время! Время! Это была его вечная мольба.

Глава четырнадцатая

Несмотря на свою любовь к Руфи, Мартин не стал изучать латынь. Советы Олни были тут ни при чем. Время было для него все равно что деньги, а многие науки, куда важнее латыни, повелительно требовали его внимания. К тому же он должен был писать. Ему нужно было зарабатывать деньги. Но, увы, его нигде не печатали. Рукописи грустно странствовали по редакциям. Почему же печатали других писателей? Он проводил долгие часы в читальне, читая чужие произведения, изучая их внимательно и критически, сравнивая со своими собственными и тщетно стараясь раскрыть секрет, помогавший этим писателям пристраивать свои творения.

Он удивлялся надуманности большей части того, что попадало на страницы печати. Ни света, ни красок не было в этих рассказах. От них совсем не веяло дыханием жизни, а между тем они оплачивались по два цента за слово, по двадцати долларов за тысячу слов,— так было сказано в статье, которую он вырезал из газеты. С недоумением он читал и перечитывал бесчисленные рассказы, написанные (он не мог не признать этого) легко и остроумно, но далекие от того, что составляет существо жизни. Ведь жизнь сама по себе так удивительна, так чудесна, так много в ней нерешенных задач, грез, героических усилий, а эти рассказы касались всегда только житейской обыденщины. Мартин чувствовал силу и величие жизни, ее жар и трепет, ее мятежный дух,— вот о чем стоило писать! Ему хотелось воспеть смельчаков, стремящихся навстречу опасности, юношей, одержимых любовью, гигантов, борющихся среди ужасов и страданий, заставляющих жизнь трещать под их могучим напором. А между тем в напечатанных рассказах прославлялись всевозможные

мистеры Бэтлеры, жалкие охотники за долларами, изображались мелкие любовные тревожения мелких, ничтожных людишек. «Быть может, это потому, что сами редакторы — мелкие людишки? — спрашивал он себя. — Или же все эти редакторы, писатели и читатели просто-напросто боятся жизни?»

Больше всего его смущало то, что он не был знаком ни с редакторами, ни с писателями. Он не только не знал ни одного писателя, но даже не знал никого, кто бы когда-нибудь пытался писать. Некому было поговорить с ним, направить его, дать ему хороший совет. Он даже начал сомневаться в том, что редакторы — живые люди. Они стали представляться ему винтиками или рычажками какой-то машины. Да, да, именно так. В рассказах, очерках и поэмах он изливал свою душу, и эти излияния отдавал на суд машине. Он запечатывал рукопись в большой конверт, вкладывал в него марку для ответа и опускал в почтовый ящик. Пространствовав известное число дней по континенту, рукопись возвращалась к нему, причем была уже запечатана в другой конверт, а марка, вложенная им внутрь, была наклеена снаружи. По всей вероятности, никакого редактора не существовало, а был просто хитро устроенный механизм, который перекладывал рукопись из одного конверта в другой и наклеивал марку. Нечто вроде тех автоматов, в которые опускают монетку, — оттуда тотчас выскакивает кусок жевательной резины или плитка шоколада. Опустить монетку в одно отверстие — получишь резину, опустить в другое — получишь шоколад. И точно так же обстояло дело здесь. Из одного отверстия выскакивают чеки на гонорар, из другого — письма с отказом. До сих пор он все время попадал во второе отверстие.

Пресловутые письма дополняли сходство с машиной. Это были стандартные печатные бланки, на которых представлялись только имена и названия. Мартин их получил уже сотни — штук по десяти на каждую рукопись. Если бы он получил хоть одну живую строчку, написанную от руки, обращенную лично к нему, он был бы счастлив. Но ни один редактор не подал и признака жизни. Оставалось только предположить, что никаких живых редакторов на

свете не бывает, а есть только хоршо смазанные и исправно функционирующие автоматы.

Мартин был прирожденным борцом, смелым и выносливым, и у него хватило бы упорства в течение долгих лет питать эти бездушные машины. Но он истекал кровью, и не годы, а недели должны были решить исход борьбы. Еженедельная плата за содержание приближала миг банкротства, а почтовые расходы еще больше способствовали этому. Он уже не мог покупать книги и решил экономить на мелочах, чтобы только отдалить роковой конец; но он не умел экономить и на целую неделю ускорил развязку, подарив своей сестре Мэриен пять долларов на платье.

Мартин боролся во мраке, без совета, без поощрения; все кругом словно сговорились подтачивать его мужество. Даже Гертруда стала коситься на него; сначала она, как добрая сестра, смотрела сквозь пальцы на то, что ей казалось ребяческой дурью; но потом, опять-таки как добрая сестра, начала беспокоиться. Ей казалось, что ребяческая дурь уже переходит в сумасшествие. Мартин замечал ее тревожные взгляды и страдал от них больше, чем от бесцеремонных и наглых насмешек мистера Хиггинботамы. Он верил в себя, но он был одинок в своей вере. Даже Руфь не разделяла ее. Ей хотелось, чтобы он занимался только самообразованием, и хотя она никогда открыто не осуждала его литературных увлечений, но никогда и не поощряла их.

Мартин ни разу не показывал ей того, что писал. Какая-то особая щепетильность удерживала его; кроме того, зная, как она занята в университете, он стеснялся отнимать у нее время. Но когда все экзамены были сданы, Руфь сама сказала, что хочет почитать что-нибудь из его произведений. Мартин и обрадовался и оробел. Руфь — настоящий судья. Она бакалавр искусств. Она изучала литературу под руководством профессоров. Может быть, и редакторы опытные судьи, но она по-другому отнесется к его произведениям. Она не вручит ему печатного бланка с отказом, не сообщит, что при всех своих достоинствах его рассказы, к сожалению, не подходят для напечатания в данном издании. Она выскажет ему свою оценку в живых, человеческих словах, и, что всего важнее, она узнает, наконец, подлинного Мартина Идена. В его творениях она

почувствует его душу и сердце, и хоть немного, хоть чуть-чуть поймет, о чем он мечтает и на что он способен.

Мартин отобрал несколько рассказов и прибавил к ним, после некоторого колебания, «Песни моря». В один из жарких июньских дней он и Руфь на велосипедах поехали за город, к ее любимым холмам. Это была их вторая прогулка вдвоем, и когда они мчались по дороге, овеваемые морским ветерком, умерявшим дневную жару, он глубоко, всем своим существом ощущал, что мир прекрасен и что хорошо жить и любить. Они оставили велосипеды у дороги, а сами взобрались на бурую вершину холма, где от выжженной солнцем травы шел сухой и пряный запах свежего сена.

— Она сделала свое дело,— сказал Мартин, когда они уселись — Руфь на его куртке, а он сам прямо на теплой земле.

Вдыхая сладкий, дурмнящий аромат, он тотчас, по привычке, начал размышлять, переходя от частного к общему и основному.

— Она исполнила свое жизненное назначение,— продолжал он, ласково глядя сухую траву,— питалась влагою зимних ливней, боролась с первыми весенними ураганами, цвела и привлекала насекомых и пчел, разбрасывала свои семена, а теперь, свершив свой долг перед миром...

— Почему вы смотрите на все с такой противной практической точки зрения? — прервала его Руфь.

— Вероятно, потому, что я изучаю теорию эволюции. Говоря по правде, я только недавно начал видеть все в настоящем свете.

— Но мне кажется, что вы перестаете понимать красоту из-за этого практического подхода. Вы разрушаете красоту, как мальчик уничтожает бабочек, стирая пыльцу с их красивых крылышек.

Он отрицательно покачал головой:

— У красоты есть свое значение, но я до сих пор не ощущал этого значения. Мне нравилось красивое просто потому, что оно красиво, вот и все. Я не понимал сущности красоты. А теперь понимаю, или, вернее, начинаю понимать. Эта трава для меня гораздо прекраснее теперь, когда я знаю, почему она такая, знаю все то сложное воздействие солнца, дождей и соков земли, которое

понадобилось, чтобы она выросла на этом холме. Есть много романтического в истории каждой травинки; она пережила немало приключений. Одна эта мысль вдохновляет меня. Когда я думаю об игре энергии и материи, обо всей великой жизненной борьбе, я чувствую, что я мог бы написать про эту траву целую поэму, и не одну.

— Как хорошо вы говорите,— сказала Руфь рассеянно, и Мартин вдруг поймал на себе ее странный, испытующий взгляд. Он сразу смутился, даже растерялся, и румянец залил его щеки.

— Ох, если б я в самом деле умел хорошо говорить,— начал он, запинаясь.— Сколько во мне всяких мыслей и так хочется их высказать. Но все это такое большое, что я не могу найти подходящих слов. Иногда мне кажется, что весь мир, все живые существа зывают ко мне и требуют, чтобы я говорил за них. Я это чувствую — ну как мне выразить это? — я чувствую величие всего; но, когда я начинаю говорить, получается детский лепет. Это огромная задача — суметь воплотить свои мысли и чувства в слова и написать или сказать эти слова так, чтобы слушатель или читатель понял их, чтобы в нем они снова перевоплотились в те же мысли и в те же чувства. Это задача, которая ни с чем не может сравниться. Вот смотрите, я зарываюсь лицом в траву, и этот запах, который я вдыхаю, рождает во мне тысячи мыслей и образов. Ведь это я вдохнул запах вселенной. Я слышу песни и смех, вижу счастье и горе, борьбу, смерть. Бесконечные видения возникают в моем мозгу, и мне бы хотелось передать их вам, всему миру! Но как мне сделать это? Язык мой скован. Вот я хотел словами передать вам все, что я чувствовал сейчас, вдыхая аромат травы. И ничего у меня не вышло. Получились бледные, неуклюжие намеки. Какой-то бесвязный набор слов... а между тем мне так хочется говорить. О...— он с отчаянием заломил руки,— это невозможно! Нельзя рассказать! Нельзя передать!

— Но вы отлично говорите,— утверждала Руфь,— просто удивительно, как вы научились говорить за это короткое время. Мистер Бэтлер — всеми признанный оратор. Комитет штата всегда приглашает его выступать с речами во время предвыборной кампании. А тогда, за обедом, вы говорили не хуже его. У него только больше вы-

держки. Вы слишком горячитесь; но это постепенно пройдет. Из вас может выработаться отличный оратор. Вы далеко пойдете... если захотите. В вас есть сила. Вы способны вести людей за собой, я уверена в этом. Вы можете одолеть любые трудности на пути, так же как вы одолели грамматику. Можете стать известным адвокатом. Или политическим деятелем. Ничто не мешает вам добиться такого же успеха, как мистер Бэтлер. И притом без катара,— прибавила она с улыбкой.

Они продолжали беседовать; Руфь, по своему обыкновению, ласково, но настойчиво говорила о необходимости учиться, указывала на латынь, как на один из краеугольных камней в любой области знания. Она нарисовала ему свой идеал человека и мужчины, который был целиком списан с ее отца и дополнен кое-какими черточками, явно заимствованными у мистера Бэтлера. Мартин слушал ее, лежа на спине и наслаждаясь каждым движением ее губ, но то, что она говорила, не находило в нем отклика. Нарисованные ею перспективы не влекли его, и он чувствовал глухую горечь разочарования, соединенную с острым томлением любви. Она ни одним словом не упомянула о его литературной работе, и рукописи, которые он захватил с собой, лежали на земле в полном пренебрежении.

Наконец, во время одной паузы он взглянул на солнце, измерил его высоту над горизонтом и стал собирать свои рукописи, тем самым напомнив о них.

— Ах, я и забыла,— живо сказала Руфь,— а мне так хочется послушать!

Мартин прочел ей рассказ, казавшийся ему одним из лучших. Он назвал его «Вино жизни»; и это вино, опьянявшее Мартина, когда он писал рассказ, снова бросилось ему в голову теперь, во время чтения. Было своеобразное очарование в оригинальном замысле рассказа, а он еще постарался усилить его яркими словами и оборотами. Вдохновенный огонь, горевший в нем во время писания, охватил его снова, и он читал с огромным увлечением, не замечая никаких недостатков. Но не то было с Руфью. Ее изощренное ухо сразу заметило все слабые стороны, все преувеличения, чрезмерный пафос, характерный для новичка, частые нарушения ритмического строя фразы. Она вообще не улавливала ритма в его рассказе, за

исключением тех мест, которые звучали претенциозно-размеренно, и это неприятно поразило ее, как дурной дилетантизм. «Дилетантизм» — таков был ее окончательный приговор, но она не произнесла его. Напротив, она сделала всего несколько мелких замечаний, сказав, что в общем рассказ ей нравится.

Но Мартин был разочарован. Ее критика была справедлива, он не мог не признать этого, но ведь не для школьных поправок он читал ей свое произведение. Дело не в деталях. Это все поправимо. Рано или поздно он, конечно, сам научится замечать мелкие погрешности или даже вовсе избегать их. Но ведь в этот рассказ он постарался вместить кусок большой, живой жизни. Этот кусок жизни он хотел показать ей, а вовсе не ряд фраз, разделенных точками и запятыми. Он хотел, чтобы она почувствовала то большое и важное, что он видел своими глазами, охватил своим разумом и своими руками вложил вот в эти напечатанные на машинке строки. Очевидно, это не удалось, подумал он. Может быть, редакторы и правы в конце концов. Он видел большое и важное, но не умел выразить это в словах. И, скрыв свое разочарование, Мартин так легко согласился с ее критикой, что ей и в голову не пришло, какую бурю протеста она в нем подняла.

— Вот эту вещицу я назвал «Котел», — сказал он, развертывая другую рукопись. — Ее отвергли четыре или пять журналов, а мне рассказ все-таки нравится. Конечно, самому судить трудно, но, по-моему, в нем кое-что есть. Может быть, вас это не захватит так, как захватило меня, но рассказ коротенький, всего две тысячи слов.

— Какой ужас! — вскричала она, когда он кончил читать. — Это просто страшно!

Мартин с тайным удовлетворением смотрел на ее бледное лицо, блестящие глаза и судорожно сцепленные руки. Он достиг своей цели. Он сумел передать ей чувства и образы, владевшие им. Все равно, понравился ей рассказ или нет, — важно, что он произвел на нее впечатление, заставил ее слушать внимательно, так что она даже не заметила мелочей.

— Это жизнь, — возразил он, — а жизнь не всегда прекрасна. А впрочем — может быть, я очень странно уст-

роен, но я и здесь нахожу красоту. Она мне даже кажется еще в десять раз более ценной в таком...

— Но почему же эта несчастная женщина не могла...— прервала его Руфь и, не договорив фразы, снова воскликнула с возмущением: — О! Это безобразно! Это гадко! Это грязно!

На мгновение ему показалось, что у него остановилось сердце. Грязно! Он никогда не думал об этом, никогда не предполагал. Весь рассказ горел перед ним огненными буквами, и, ослепленный сиянием, он не замечал в нем никакой грязи. Но вот сердце снова забилося у него в груди. Совесть его была спокойна.

— Почему вы не взяли более красивого сюжета? — говорила она.— Мы знаем, что в мире много грязи, но это вовсе не значит...

Руфь продолжала говорить что-то с негодованием в голосе, но он ее не слушал. Он смотрел на ее девичье личико, озаренное такой трогательной невинностью, что, казалось, невинность эта проникла в самое сердце Мартина, очищая и омывая его эфирным сиянием, прохладным, нежным и ласковым, как сияние звезд. «Мы знаем, что в мире много грязи». Он подумал о том, что она могла «знать», и улыбнулся про себя радостно, словно она шутила с ним. В мгновенной вспышке перед ним возникло видение бесконечного океана житейской грязи, который он так хорошо знал, по которому столько раз плавал, и он простил ей, что она не поняла его рассказа. Она была не виновата, что не поняла его. Слава богу, что она родилась и выросла в стороне от всего этого. Но он — он знал жизнь, знал в ней все низкое и все великое, знал, что она прекрасна, несмотря на всю грязь, ее покрывающую, и — черт побери! — он скажет об этом свое слово миру. Не удивительно, что святые на небесах чисты и непорочны. Тут нет заслуги. Но святые среди грязи — вот это чудо! И ради этого чуда стоит жить! Видеть высокий нравственный идеал, вырастающий из клоаки несправедливости; расти самому и глазами, еще залепленными грязью, ловить первые проблески красоты; видеть, как из слабости, порочности, ничтожества и скотской грубости рождается сила и правда и благородство духа.

До слуха Мартина вдруг донесся голос Руфи:

— Весь тон какой-то низменный! А есть так много прекрасного и высокого: вспомните «In Memoriam»¹.

Он хотел сказать ей: «А Локсли Холл?», и сказал бы, если бы снова его не отвлекли видения. Он глядел на нее и думал, какими сложными путями, взбираясь в течение сотен тысяч веков по лестнице жизни, достигла, наконец, женщина высшей ступени совершенства и стала Руфью, образцом творенья, чистым и прекрасным, одаренным божественной силой, и сумела вдохнуть в него любовь и стремление к чистоте и желание изведать эту божественную силу — в него, Мартина Идена, который тоже непостижимым образом поднялся из глубин первобытной жизни, из хаоса бесчисленных ошибок и неудач вечного процесса созидания. Вот где и романтика, и красота, и чудо! Вот о чем надо писать; только бы найти слова. Святые на небесах — они всего только святые. А он — человек.

— В вас очень много силы, — услышал он голос Руфи, — но эта сила какая-то необузданная.

— Похож на бегемота в посудной лавке, — пошутил он и был награжден улыбкой.

— Нельзя так — писать обо всем, без разбора. Вы должны выработать в себе вкус, изящество, стиль.

— Я, должно быть, слишком много на себя беру, — пробормотал он.

Руфь ответила ему ободряющей улыбкой и приготовилась слушать следующий рассказ.

— Не знаю, как вам понравится, — сказал Мартин, словно оправдываясь. — Это странный рассказ! Может быть, я тут слишком размахнулся, но, право, замысел у меня был хороший. Постарайтесь не обращать внимания на мелочи. Главное, чтобы вам удалось уловить основную мысль. Это важная мысль и верная, не знаю только, сумел ли я сделать ее понятной.

Он начал читать; читая, поглядывал на Руфь. Наконец, ему показалось, что рассказ захватил ее. Она сидела неподвижно, не сводя с него глаз, затаив дыхание, видимо зачарованная созданными им образами. Он назвал рассказ «Приключение», и это был в самом деле апофеоз приключения — не книжного, а настоящего, Приключения

¹ Памяти, в память (лат.).

с большой буквы, грозного повелителя, одинаково щедрого на взыскания и награды, прихотливого и вероломного, требующего рабской покорности и неустанного труда, который то выводит на ослепительные солнечные просторы, то обрекает мукам жажды, голода, томительного долгого пути или жестокой лихорадки, несущей смерть, и через пот, кровь, укусы ядовитых насекомых, через длинную цепь мелких и непримечательных событий приводит к великолепному, победному финалу.

Все это и еще многое другое изобразил Мартин в своем рассказе; все это, казалось ему, заставляло Руфь слушать его с горящими глазами; щеки ее разрумянились, и к концу чтения ему казалось, что она вот-вот упадет в обморок. Она действительно была взволнована, но не рассказом, а им самим. Дело было не в рассказе; она снова испытала на себе действие той знакомой уже ей силы, которая исходила от Мартина и захватывала ее всю. Но странным образом рассказ тоже был насыщен этой силой, и Руфь сейчас воспринимала ее именно через рассказ и только через рассказ. Она ощущала лишь эту силу, почти не замечая того, что служило посредником; и хотя ее как будто увлекло то, что он читал, — на самом деле она была увлечена совсем посторонней, страшной, невероятной мыслью, внезапно возникшей в ее мозгу. Она вдруг задумалась о замужестве, и прихотливая настойчивость этой мысли испугала ее. Это было нескромно. Это было до сих пор так чуждо ей. Ее еще никогда не мучила пробуждающаяся женственность, и до сих пор она жила в мире снов, навеянных поэзией Теннисона, оставаясь глухой даже к тем деликатным намекам, которыми поэт касался истинных взаимоотношений рыцарей и королей. Она спала до сих пор, и вдруг жизнь властно постучалась у ее двери. Объятая ужасом, она хотела было запереться на все запоры, но пробуждающийся инстинкт требовал, чтобы она широко распахнула дверь перед странным и прекрасным гостем.

Мартин ждал ее приговора с чувством удовлетворения. Он не сомневался в том, каков будет этот приговор, и был ошеломлен, когда Руфь сказала только:

— Это красиво.

После маленькой паузы она с жаром повторила:

— Очень красиво!

Конечно, это было красиво; но в рассказе было нечто большее, нечто такое, чему красота лишь служила и подчинялась. Он лежал, растянувшись на земле, и зловещая туча сомнения надвигалась на него... Опять не удалось. Он не владеет словом. Он видит величайшие чудеса мира, но не в силах описать их.

— А что вы скажете о... — он помедлил, не решаясь произнести новое слово, — об идее?

— Она недостаточно ясна, — отвечала она, — таково мое общее впечатление. Я старалась следить за основной линией сюжета, но это трудно. Вы слишком многословны. Вы затемняете действие введением совершенно постороннего материала.

— Но ведь все это подчинено основной идее, — поторопился он объяснить. — Центральная идея — космического, мирового значения. Я хотел насытить ею весь рассказ. Он для нее только внешняя оболочка. Я шел по верному пути, но я плохо справился с задачей. Мне не удалось, очевидно, высказать то, что я хотел. Может быть, я научусь со временем.

Руфь не слушала его. Его мысли были недоступны ей, хотя она и была бакалавром искусств. Она не понимала их и свое непонимание приписывала его неумению выражаться.

— Вы слишком многословны, — повторила она, — но местами это прекрасно.

Ее голос доносился до Мартина как будто издали, ибо он в это время раздумывал, читать ли ей «Песни моря». Он лежал молча, чувствуя тоску и отчаяние, а она смотрела на него, и в голове ее носились все те же незванные и упорные мысли о замужестве.

— Вы хотите стать знаменитым? — вдруг спросила она.

— Да, пожалуй, — согласился он, — но это не главное. Меня занимает не столько слава, сколько путь к ней. А кроме того, слава мне нужна для другого. Есть причина, ради которой я очень хочу стать знаменитым.

Он хотел прибавить «ради вас», и, вероятно, прибавил бы, если бы Руфь более горячо отнеслась к его произведениям.

Но она слишком была занята в этот миг мыслями о какой-либо мало-мальски приемлемой карьере для него, и потому не спросила даже, на что он намекает. Что писателя из него не выйдет, в этом Руфь была твердо уверена. Он только что доказал это своими дилетантскими, наивными сочинениями. Он хорошо говорил, но совершенно не владел литературным слогом. Она сравнивала его с Теннисоном, Броунингом и с любимейшими своими писателями-прозаиками — и сравнение оказывалось для него более чем невыгодным. Но она не стала говорить ему все, что думала. Странное чувство, которое тянуло ее к нему, заставляло ее быть не слишком взыскательной. В конце концов его склонность к писательству была маленькой слабостью, которая со временем, вероятно, исчезнет. Тогда он, несомненно, попробует свои силы на каком-нибудь другом, более серьезном жизненном поприще и добьется успеха. В этом Руфь была уверена. Он так силен, что, наверное, добьется всего... лишь бы он скорей бросил писать.

— Я хочу, чтобы вы читали мне все, что вы пишете, мистер Иден,— сказала она.

Он вспыхнул от радости. Она заинтересовалась, это несомненно. В конце концов она ведь не забрала его произведений. Она даже нашла отдельные места прекрасными, от нее первой он услышал ободряющие слова.

— Хорошо,— пылко сказал он,— и вот вам мое слово, мисс Морз, я стану хорошим писателем. Я пришел издалека, я знаю это, и мне еще предстоит долгий путь, но я пройду его, хотя бы мне пришлось ползти на четвереньках.— Он протянул ей пачку отпечатанных на машинке листков: — Вот это «Песни моря». Я вам дам их, а вы прочитаете дома, когда будет время. Но только потом скажите откровенно свое мнение. Мне так нужна критика! Пожалуйста, скажите мне всю правду!

— Я ничего не утаю,— обещала она, чувствуя, однако, в глубине души, что на этот раз она не была с ним откровенна, и не зная, сможет ли быть откровенной и впоследствии.

— Первая схватка состоялась,— говорил Мартин своему изображению в зеркале дней десять спустя,— но будет вторая, третья, и так до тех пор, пока...

Не dokonчив фразы, он оглядел свою жалкую комнатенку, и взгляд его с грустью остановился на ворохе длинных конвертов, валявшихся в углу. Все это были возвращенные рукописи. Ему не на что было купить марок для отправки их по новым адресам, и вот за неделю набралась целая груда. Они будут приходить и завтра и послезавтра, пока все не вернется к своему владельцу. И он уже не в состоянии рассылать их дальше. Он целый месяц не платил за прокат машинки — и не мог заплатить, потому что у него едва хватало денег для недельной платы за содержание и взноса в посредническую контору, через которую он рассчитывал получить работу. Он сел и задумчиво посмотрел на свой стол. На нем виднелись чернильные пятна, и Мартин вдруг почувствовал к нему нежность.

— Милый старый стол,— сказал он,— много счастливых часов я провел за тобой, и ты был всегда верным другом. Ты никогда не отталкивал меня, никогда не обижал незаслуженными отказами, никогда не сетовал на тяжесть работы.

Он облокотился на стол и закрыл лицо руками. Что-то подступило к горлу, и хотелось заплакать. Ему вспомнилась его первая драка, когда он, шестилетний мальчуган, весь в слезах, отбивался от другого мальчика, на два года старше, который бил его кулаками до потери сил. Он видел тесный круг мальчишек, поднявших дикий вой, когда он, наконец, упал, глотая кровь, которая текла из носа, смешиваясь со слезами, струившимися из подбитых глаз.

— Бедный малыш,— бормотал он,— и теперь тебя снова побили! Так побили, что и не встать.

Но воспоминание об этой первой битве исчезло не сразу. За нею последовало тогда много других битв, и все они постепенно всплывали в памяти Мартина. Полгода спустя Масляная Рожа (это было прозвище того самого мальчишки) опять напал на него. Но на этот раз и Мар-

тин посадил ему синяк под глазом. Это чего-нибудь да стоило! Он вспомнил все их схватки, одну за другой. Масляная Рожа всегда побеждал. Но Мартин ни разу не обратился в бегство. Он почувствовал гордость при мысли об этом. Он всегда стойко держался до конца, хотя ему и приходилось туго. Масляная Рожа был подлым противником и не давал никогда пощады. Но Мартин держался. Он всегда держался до конца!

Потом Мартин увидел узкий переулок между рядами ветхих каркасных домов. В конце переулочка находилось одноэтажное кирпичное здание, из которого доносился глухой ритмический шум машин, печатающих дневной выпуск газеты «Вестник». Мартину было тогда одиннадцать лет, а Масляной Роже тринадцать; оба они продавали газеты. Потому-то они и стояли в ожидании у ворот типографии. Масляная Рожа, разумеется, тотчас придрался к Мартину, и завязался бой, исход которого остался нерешенным, так как без четверти четыре распахнулись ворота типографии и вся толпа мальчишек устремилась за газетами.

— Я тебя вздую завтра,— пообещал ему Масляная Рожа, и Мартин дрожащим от слез голосом заявил, что завтра будет на месте.

И он прибежал на следующий день, удрав из школы и явившись на место битвы за две минуты до Масляной Рожи. Другие мальчики хвалили Мартина и давали ему советы, следуя которым он непременно должен был побить противника. Но те же мальчики давали такие же советы и Масляной Роже. Как наслаждались эти бесплатные зрители! Сейчас, вспоминая, Мартин даже позавидовал им при мысли о том, сколько удовольствия они тогда получили. Битва началась и продолжалась целых полчаса, пока не открылись ворота типографии.

Снова и снова Мартин видел себя мальчишкой, каждый день торопящимся из школы к воротам типографии. Он не мог быстро бегать. Он горбился, он прихрамывал от постоянных драк. Тело у него было сплошь в синяках, руки исцарапаны и некоторые царапины начинали гноиться. У него болели бока, болела спина, болели плечи; в голове, точно налитой свинцом, был туман. В школе он уже не мог играть, забросил ученье. Для него было

мукой сидеть целый день за партой. Казалось, прошли века с тех пор, как начались эти ежедневные драки, и время тянулось, как кошмар, в непрестанном ожидании новой стычки. «Почему нельзя побить Масляную Рожу?» — думал Мартин. Это сразу избавило бы его от всех мучений. Но никогда ему не приходило в голову сдать и признать, что Масляная Рожа сильнее его.

И так он день за днем таскался к воротам типографии, истерзанный душой и телом, учась великой науке долготерпения, и там встречал своего вечного врага — Масляную Рожу, который был истерзан так же, как и он, и охотно прекратил бы эти побоища, если бы не подстрекательства мальчишек-газетчиков, перед которыми он не хотел осрамиться. Однажды, после двадцатиминутной отчаянной схватки с соблюдением всех правил борьбы (не драться ногами, не давать подножек и не бить лежащего), Масляная Рожа, шатаясь, едва переводя дух, предложил кончить дело вничью. Мартин и теперь вздрогнул от сладости этого воспоминания: задыхаясь и давясь кровью, текшей из его разбитых губ, он кинулся к Масляной Роже, выплюнул кровь, мешавшую ему говорить, и крикнул, что на ничью он не согласен, и если Масляная Рожа выдохся, пусть сдается. Но Масляная Рожа сдать не захотел, и драка продолжалась.

На следующий день драка возобновилась, и возобновлялась попрежнему изо дня в день. Каждый раз в начале побоища Мартин сильно страдал от боли, но потом боль притуплялась, и он дрался, ослепленный яростью, как во сне, видя перед собою лишь широкие скулы Масляной Рожи и его горящие, как у зверя, глаза. Он сосредоточил все свое внимание на этой роже, все остальное перестало существовать. В мире не было ничего, кроме этой рожи, и Мартин знал, что успокоится он лишь тогда, когда превратит ее в кровавое месиво или когда в кровавое месиво превратится его собственная физиономия. Тогда можно будет прекратить состязание. Но согласиться ему, Мартину, на ничью — это было невозможно!

И вот настал день, когда, придя к воротам типографии в обычное время, Мартин не нашел Масляной Рожи. Он так и не пришел. Мальчишки поздравляли Мартина, утверждая, что Масляная Рожа сдался. Но Мартин не

был удовлетворен таким исходом. Он не победил Масляную Рожу, и Масляная Рожа не победил его. Спор не был решен. Впоследствии выяснилось, что в тот самый день у Масляной Рожи внезапно умер отец.

Мартин мысленно перескочил через несколько лет и увидел себя сидящим на галерке в театре. Ему уже шел семнадцатый год, и он только что вернулся из плавания. Среди зрителей вспыхнула ссора. Кто-то кого-то толкнул. Мартин вмешался и встретился со сверкающими глазами своего старинного врага — Масляной Рожи.

— После спектакля я тебе всыплю, — прошипел Мартину его враг.

Мартин кивнул головой. К месту скандала спешил блюститель порядка.

— Встретимся у выхода после конца, — шепнул Мартин, делая вид, что поглощен происходящим на сцене.

Блюститель порядка посмотрел на них и отошел.

— Ты с компанией? — спросил Мартин Масляную Рожу по окончании действия.

— Конечно!

— Тогда я тоже кое-кого позову, — объявил Мартин.

Во время антракта он навербовал себе партию: трех приятелей с гвоздильного завода, одного пожарного, полдюжины матросов и столько же молодых из знаменитой шайки с Маркет-стрит.

По окончании спектакля обе партии пошли по разным сторонам улицы. В тихом переулке неподалеку они сошлись и устроили военный совет.

— Самое подходящее место — это мост Восьмой улицы, — сказал рыжий парень из шайки Масляной Рожи, — драться будете посередке, под электрическим фонарем, а мы будем смотреть, не идут ли фараоны. Если с одной стороны покажутся, мы удерем в другую сторону.

— Ладно. Идет, — сказал Мартин, посоветовавшись со своими.

Мост Восьмой улицы, перекинутый через рукав устья Сан-Антонио, по длине равен трем городским кварталам. Посредине моста и на обоих концах его горели электрические фонари. Ни один полисмен не мог подойти незамеченным. Перед закрытыми глазами Мартина возникло во всех подробностях это удобное для боя место. Он увидел

обе шайки, хмурые и враждебные, стоявшие друг против друга, каждая позади своего бойца. Мартин и Масляная Рожа разделись до пояса. Дозорные заняли свои наблюдательные посты на концах моста. Один из матросов взял у Мартина куртку, рубашку и шапку, чтобы в случае появления полиции удрать с ними в безопасное место. Мартин ясно увидел самого себя — как он выходит на середину поля битвы, смотрит прямо в глаза Масляной Роже и говорит, подняв кулак:

— Никаких церемоний разводить не будем! Понял? Драться до конца! Без уверток. У нас с тобой старые счеты, и надо свести их вчистую! Понял?

Масляная Рожа заколебался — Мартин заметил это, — но Масляная Рожа был самолюбив и не хотел ударить лицом в грязь перед столькими зрителями.

— Ну что же, выходи, — крикнул он, — чего разболтался! До конца так до конца.

И тут, сжав кулаки, они бросились друг на друга, как два молодых бычка, со всем пылом юности, охваченные желанием бить, ломать, калечить. Все, что было достигнуто человечеством на его тысячелетнем трудном пути к совершенству, рухнуло в один миг. Только электрический фонарь стоял, как забытая вежа прогресса. Мартин и Масляная Рожа были дикарями каменного века, жителями пещер и древесных убежищ. Они все глубже и глубже погружались в трясину первобытного существования, сталкивались слепо, произвольно, как осколки небесных тел, как атомы, вечно притягивающие и вечно отталкивающие друг друга.

— Боже! Что за скоты мы были! Что за дикие звери! — простонал Мартин, вспоминая подробности этого боя. Благодаря необычайной силе своего воображения он видел все так живо, словно сидел в кинематографе. Он был одновременно и участником и зрителем. Культура и знания, приобретенные за долгие месяцы, заставляли его содрогаться при воспоминании об этом; но вскоре прошлое вытеснило настоящее из его сознания, и он снова стал былым Мартином Иденом и, только что вернувшись из плавания, дрался с Масляной Рожей посреди моста Восьмой улицы. Он напрягал силы, потел, обливался кровью, ликовал, когда кулаки его попадали в цель.

Казалось, то были не люди, а два буйных вихря, налетевшие друг на друга. Время шло, и обе партии стояли, присмирив и затаив дыхание. Подобной ярости они не видели, и она внушала им страх. Перед ними боролись два зверя, более свирепые, чем они сами.

Когда остыл первый порыв, противники стали драться осторожнее и обдуманнее. Ни один не брал верх.

— Ничья будет,— долетели до Мартина слова.

Он сделал нечаянно какое-то неудачное движение и в тот же миг получил страшный удар в щеку, разодравший ее до кости. Голый кулак не мог нанести такой раны. Мартин услышал возгласы изумления и почувствовал, что из щеки у него хлещет кровь. Но он не подал и виду. Он тотчас же насторожился, так как хорошо знал, с кем имел дело, и мог ожидать всякой низости. Он стал внимательно следить за противником и, уловив блеск металла, сделал ловкий маневр и поймал его за руку.

— Покажи руку! — гаркнул он.— Ты меня хватил кастетом!

Обе партии с ревом и руганью бросились друг на друга; еще секунда, и произошла бы общая свалка и Мартин не утолил бы своей жажды мести. Он был вне себя.

— А ну назад! — загремел он.— Все назад! Понятно?

Они расступились. Они были звери, но он был сверхзверь, и ужас, внушенный им, заставил их подчиниться.

— Это мое дело, и никто пусть не мешает. Эй, ты! Давай сюда кастет.

Масляная Рожа повиновался, немного испуганный, и отдал предательское оружие.

— Это ты ему дал кастет, рыжая сволочь,— продолжал Мартин, швырнув кастет в воду,— я видел, как ты тут терся, не догадался только, что тебе нужно. Если ты еще раз сунешься, я изобью тебя до смерти. Понял?

Бой возобновился, и хотя оба противника дошли до полного изнеможения, они все же продолжали осыпаться друг друга ударами, пока, наконец, окружавшая их звериная стая, насытив свою жажду крови, не почувствовала страха и не начала уговаривать их прекратить драку. Масляная Рожа, едва державшийся на ногах, избитый до

потери человеческого облика и превратившийся в какое-то страшное чудовище, остановился в нерешительности, но Мартин кинулся на него, снова и снова осыпал ударами.

Казалось, они боролись уже целую вечность, и Масляная Рожа заметно стал сдавать, как вдруг послышался громкий хруст, и правая рука Мартина беспомощно повисла. Кость была сломана. Все слышали, и все поняли. Понял и Масляная Рожа и, как тигр, набросился на раненого противника, колотя изо всех сил. Партия Мартина бросилась на выручку. Но Мартин, одурев от сыпавшихся на него ударов, не переставая изрыгать проклятия вперемежку со стонами злобы и отчаяния, крикнул, чтобы они не вмешивались, и все бил одной левой рукой, ничего не сознавая, колотил и колотил. Словно издалека доносились до него испуганные перешептывания, потом он услышал, как кто-то сказал дрожащим голосом: «Ребята, это не драка! Это убийство! Надо растащить их!»

Но ни один не решился подступить, а он все бил и бил своей левой рукой, попадая каждый раз во что-то мягкое, кровавое, ужасное и не имеющее ничего общего с человеческим лицом, и это что-то не поддавалось и продолжало маячить перед его помутившимся взором. И он все бил и бил, все тише и тише, постепенно теряя последние остатки жизненной энергии, бил, казалось, целые века, целые тысячелетия, пока, наконец, бесформенная кровавая масса не рухнула на доски моста. И тогда он встал над ней, шатаясь, как пьяный, ища опоры в воздухе и спрашивая изменившимся голосом:

— Еще хочешь? Говори... Еще хочешь?

Он все спрашивал, настойчиво требуя ответа, и вдруг почувствовал, что товарищи хватают его, тащат, пытаются надеть на него рубашку. И тут внезапно сознание покинуло его.

Будильник на столе зазвонил, но Мартин не слышал его и продолжал сидеть, закрыв лицо руками. Он ничего не слышал. Он ни о чем не думал. Так живо он пережил все опять, что вновь потерял сознание, как в ту ночь, на мосту Восьмой улицы. Мрак и пустота окутывали его в течение нескольких минут. Потом, точно оживший мертвец, он вскочил, сверкая глазами, весь взмокший от пота.

— Я все-таки побил тебя, Масляная Рожа! — вскричал он. — Мне понадобилось для этого одиннадцать лет, но я побил тебя!

Ноги у него дрожали, голова кружилась, и, пошатнувшись, он должен был сесть на постель. Он все еще был во власти прошлого. Он недоуменно озирался по сторонам, словно не понимая, где он находится, пока, наконец, не увидел грудку рукописей в углу. Тогда колеса его памяти закружились быстрее, промчали его через четырехлетний промежуток, и он вспомнил книги, вспомнил мир, который они открыли ему, вспомнил свои гордые мечты и свою любовь к бледной девушке, впечатлительной и нежной, которая умерла бы от ужаса, если бы хоть на миг стала свидетельницей того, что он только что заново пережил, хоть на миг увидела бы ту грязь жизни, через которую он прошел!

Он поднялся и поглядел на себя в зеркало.

— Теперь ты вылез из этой грязи, Мартин, — торжественно сказал он себе, — в глазах у тебя прояснилось, ты касаешься звезд плечами, живешь полной жизнью и отвоевываешь ценнейшее наследие веков у тех, кто им владеет.

Он внимательно поглядел на себя и рассмеялся.

— Немножко истерики и мелодрамы? Ну что ж! Это не страшно. Ты когда-то одолел Масляную Рожу, — так же ты одолеешь и издателей, хотя бы тебе для этого пришлось потратить и больше, чем одиннадцать лет! Только не вздумай останавливаться, иди вперед. Бороться так бороться до конца!

Глава шестнадцатая

Будильник разбудил Мартина так внезапно, что у человека с менее здоровым организмом это наверняка вызвало бы головную боль. Хотя он спал очень крепко, но проснулся мгновенно, как кошка, радуясь, что миновали пять часов забытья. Он ненавидел сон. Так много нужно было сделать, так много испытать в жизни! Он жалел о каждом миге, похищенном у него сном; и не успел еще

будильник кончить свою трескотню, как он уже погрузил голову в таз с водой, наслаждаясь ощущением холода.

Но день не пошел по обычной программе. Не было начатого рассказа, который ждал бы окончания, не было нового замысла, который просился бы на бумагу. Он очень поздно кончил заниматься накануне, и теперь время уже приближалось к завтраку. Он хотел было прочитать главу из Фиска, но голова его была занята другими мыслями, и книгу пришлось отложить. Сегодня ему предстояло вступить в новую схватку с жизнью, и на некоторое время он решил прервать свое писание. Ему было грустно, как бывает грустно человеку при расставании с семьей и с родным домом. Он поглядел на рукописи в углу. Да, он должен покинуть своих бедных, опозоренных детей, которым никто не хотел дать приюта. Он наклонился и начал разбирать рукописи, перечитывал свои любимые места. «Котел» и «Приключение» он удостоил даже чтения вслух. Особенно он остался доволен рассказом «Радость», написанным накануне и брошенным в угол за отсутствием марки.

— Не понимаю,— бормотал он,— а может быть, это редакторы не понимают. Чего им еще нужно? Они печатают вещи куда хуже. Да все, что они печатают, гораздо хуже этого... почти все.

После завтрака он уложил в футляр пишущую машинку и отвез ее в Окленд.

— Я задолжал за месяц,— сказал он приказчику.— Скажите хозяину, что я уезжаю на работу и расплачусь по возвращении. Через месяц или около того.

Он переправился на пароме в Сан-Франциско и пошел в посредническую контору.

— Любую работу, все равно какую,— начал он, но его прервал приход нового посетителя, одетого с тем дешевым шиком, с каким одеваются рабочие, имеющие склонность к «изысканной жизни».

Человек, сидевший за столом, безнадежно покачал головой.

— Неужели никого? — спросил вновь пришедший.— Но мне до зарезу необходимо найти кого-нибудь сегодня.

Он повернулся и посмотрел на Мартина, а Мартин посмотрел на него и увидел довольно красивое лицо, но

бледное и помятое, как бывает после бурно проведенной ночи.

— Ищешь работы? — спросил он у Мартина. — Что умеешь делать?

— Любую тяжелую работу, знаю морское дело, пишу на машинке, стенографии не знаю; могу ездить верхом, — вообще могу делать все, что угодно.

Тот кивнул головой.

— Ну что ж, подходит. Меня зовут Доусон, Джо Доусон, и я ищу помощника себе в прачечную.

— В прачечную? — мысль, что он будет гладить всякие там женские кружевные финтифлюшки, показалась Мартину забавной. Но наниматель чем-то понравился ему, и потому он прибавил: — Стирать я вообще умею. Научился в плавании.

Джо Доусон на минуту призадумался.

— Слушай, мы, пожалуй, можем столкнуться. Хочешь узнать, о чем речь идет?

Мартин утвердительно кивнул головой.

— Есть такая маленькая прачечная при гостинице в курортном местечке «Горячие Ключи». Для работы нужны двое: старший и помощник. Я — старший. Каждый делает свое дело, но ты мне подчиняешься. Как, согласен?

Мартин задумался. Перспектива была заманчива. Несколько месяцев работы — и у него появится опять время для занятий. А он умел и работать и учиться на совесть.

— Хорошие харчи и отдельная комната, — сказал Джо.

Это решило вопрос. Отдельная комната, где никто не будет мешать жечь лампу по ночам.

— Но работа адова, — прибавил Джо.

Мартин погладил свои мускулы, вздувавшиеся под рукавом.

— Мне к работе не привыкать.

— Так по рукам!

Джо пощупал свой лоб.

— Фу, черт. До сих пор перед глазами круги идут. Уж больно я вчера перехватил... Да, так условия такие: на двоих полагается сотня долларов и квартира. Я получал шестьдесят, а помощник — сорок. Но тот парень знал

дело, а ты новичок. На первых порах мне придется много работать за тебя. Положим, ты начнешь с тридцати и постепенно дойдешь до сорока. Я не надую. Как только ты приладишься и начнешь работать по-настоящему — станешь получать свои сорок.

— Согласен,— заявил Мартин и протянул руку, которую тот пожал.— Только хорошо бы задаток. На дорогу и другие расходы.

— Все просадил,— грустно отвечал Джо, снова потирая лоб,— только и осталось, что обратный билет.

— А я все до последнего цента должен отдать за квартиру.

— А ты плюнь,— посоветовал Джо.

— Не могу. Родной сестре должен.

Джо сочувственно присвистнул и принял глубокомысленный вид.

— У меня на полбутылки наберется. Пойдем. Может, что и придумаем.

Мартин отклонил это предложение.

— Не употребляешь? — спросил Джо.

Мартин качнул головой, и Джо тут же заметил унылым голосом:

— Завидую, у меня вот не выходит. Проработаешь целую неделю как черт, поневоле пойдешь в кабак. Если бы я не напивался, я бы давно перерезал себе глотку или подпалил все заведение. Но я рад, что ты из непьющих. Продолжай в том же духе.

Мартин видел, какая огромная пропасть лежит между ним и этим человеком,— пропасть, созданная книгами; но ему нетрудно было вновь перешагнуть через нее. Всю жизнь он прожил среди людей рабочего класса, и чувство трудового товарищества было его второй натурой. Мартин быстро разрешил вопрос о переезде — задачу, чрезвычайно затруднительную для одурманенной головы Джо. Он пошлет свой чемодан багажом по билету Джо, а сам придет в «Горячие Ключи» на велосипеде. Расстояние в семьдесят миль он вполне мог осилить за воскресенье, чтобы уже с понедельника стать на работу. А теперь он пойдет домой и уложит вещи. Прощаться ему было не с кем. Руфь и вся ее семья уехали на лето в Сиерру, к озеру Тэхо.

Мартин явился в «Горячие Ключи» в воскресенье вечером, усталый и весь в пыли. Джо восторженно встретил его. Голова Джо была обвязана мокрым полотенцем, так как он проработал целый день.

— Часть белья оставалась еще с прошлой недели,— пояснил он,— когда я ездил нанимать тебя. Твой багаж прибыл в сохранности. Он у тебя в комнате. Ну, скажу тебе, и тяжесть же. Что там напихано? Слитки золота?

Пока Мартин распаковывал чемодан, Джо присел на его кровать. Это был, собственно говоря, не чемодан, а просто ящик из-под консервов, за который мистер Хиггинботам взял с Мартина полдоллара. Приколотив к ящику две веревочные ручки, Мартин преобразил его в некоторое подобие чемодана. Джо вытаращил глаза, когда после нескольких смен белья из ящика начали появляться книги, книги и книги.

— Как! До самого дна все книги? — спросил он.

Мартин утвердительно кивнул и продолжал выкладывать том за томом на кухонный стол, заменявший умывальник.

— Ну и ну!

Отведя душу этим восклицанием, Джо замолчал, и в его мозгу начала, повидимому, складываться какая-то мысль. Наконец, ему удалось ее сформулировать.

— Скажи, ты как насчет девочек? Слаб? — спросил он.

— Нет,— ответил Мартин,— раньше случалось, пока я не начал читать книги. А теперь у меня нет времени.

— Ну, здесь у тебя не будет времени и на книги,— только работать и спать.

Мартин вспомнил о своей пятичасовой норме сна и улыбнулся. Его комната была расположена над прачечной, и в этом же здании помещался мотор, который качал воду, подавал свет и приводил в движение машины в прачечной. Монтер, живший в соседней комнате, зашел познакомиться с новым работником и помог Мартину приспособить электрическую лампочку на длинном проводе, так что ее можно было переносить от стола к постели.

На следующее утро Мартин встал в четверть седьмого,— ему сказали, что завтрак подается без четверти

семь. В доме оказалась ванная для служащих, и Мартин, к великому изумлению Джо, принял холодную ванну.

— Ну, и чудило же ты! — воскликнул Джо, когда они уселись завтракать на кухне.

С ними завтракали монтер, садовник, помощник садовника и два или три конюха. Все они ели мрачно и торопливо, изредка перекидываясь отдельными словами, и Мартин, прислушиваясь к этому несложному разговору, думал о том, как далеко он ушел от таких людей. Их умственное убожество было невыносимо для него, и ему хотелось поскорее избавиться от их общества. Поэтому он так же торопливо, как и они, проглотил свою порцию жидкой безвкусной каши и вздохнул свободно, лишь выйдя за кухонную дверь.

Маленькая паровая прачечная была превосходно оборудована новейшими машинами, которые делали все, что только могли делать машины. Получив краткие наставления, Мартин стал разбирать и сортировать огромные груды грязного белья, а Джо тем временем запускал машины и разводил жидкое мыло, составленное из едких химикалий, так что он принужден был закутать полотенцем глаза, нос и рот и стал похож на мумию. Покончив с разборкой, Мартин приступил к выжиманию уже выстиранного белья. Для этого белье закладывалось в особый вращающийся барабан, делавший несколько тысяч оборотов в минуту и удалявший из белья влагу с помощью центробежной силы. Потом Мартин все время переходил от сушилки к выжималке, а в промежутках еще отбирал чулки и носки. После обеда, пока нагревались утюги, они занялись катаньем носков и чулок. Потом гладили нижнее белье до шести часов, но когда пробило шесть, Джо с сомнением покачал головой.

— Не управились! — сказал он. — Придется работать и после ужина.

И после ужина они работали до десяти, при слепящем электрическом свете, пока последняя пара нижнего белья не была выглажена и приготовлена к выдаче. Была знойная калифорнийская ночь, и, несмотря на распахнутые настежь окна, в комнате от раскаленной плиты и утюгов стояла невыносимая жара. Мартин и Джо, в одних ру-

башках, с засученными рукавами, обливались потом и задыхались.

— Точно на погрузке в тропическом порту! — сказал Мартин, когда они поднимались по лестнице.

— У тебя дело пойдет, — говорил Джо. — Ты работаешь молодцом. Если и дальше так будет, ты только первый месяц просидишь на тридцати долларах. В следующий месяц получишь уже все сорок. Но не может быть, чтобы ты раньше никогда не гладил. Меня не проведешь.

— Ей-богу, не выгладил за всю свою жизнь ни одной тряпки.

Мартин чувствовал сильную усталость и удивлялся этому, позабыв, что проработал, стоя на ногах, четырнадцать часов подряд! Он поставил будильник на шесть и, отсчитав пять часов, решил читать до часу. Сняв башмаки, чтобы дать отдохнуть ногам, он сел за стол и обложился книгами. Он раскрыл Фиска на том самом месте, на котором прервал чтение два дня назад. Но голова работала плохо, и ему пришлось два раза прочесть один и тот же абзац. Потом он вдруг проснулся от боли в затекших мышцах и от холодного ветра, который дул с гор в открытое окно. Он поглядел на часы. Они показывали два. Он спал уже четыре часа. Тогда он разделся, лег в постель и заснул, едва коснувшись головой подушки.

Вторник прошел в такой же напряженной работе. Быстрота, с которой работал Джо, приводила Мартина в восторг. Сам черт не мог бы за ним угнаться. Он не терял ни одного мгновения в течение всего долгого дня, сосредоточивал на работе все свое внимание и то и дело указывал Мартину, где вместо пяти движений можно сделать три и вместо трех — два. Мартин смотрел и старался подражать ему. Он и сам был прекрасным работником, ловким, сообразительным, и всегда гордился тем, что никто не мог превзойти его в работе. Теперь он тоже решил сосредоточить на работе все внимание и следовать всем наставлениям Джо. Он так ловко растирал крахмал на воротничках и манжетах, чтобы на них не образовались пузыри во время глажения, что Джо даже похвалил его.

Работа шла без всяких перерывов. Кончив одно дело, Джо тотчас же переходил к другому, ничего не дожидаясь, ничего не откладывая. Они накрахмалили двести белых сорочек, правой рукой погружая в горячий крахмал воротничок, грудь и манжеты, а левой придерживая рубашку, чтобы другие части ее не касались крахмала,— а крахмал был такой горячий, что, отжимая его, им каждый раз приходилось опускать руку в холодную воду. В этот вечер они работали до половины одиннадцатого, подкрахмаливая оборки на тонком женском белье.

— В тропиках и то легче,— со смехом сказал Мартин.

— Только не для меня,— серьезно возразил Джо,— я ничего не умею делать, кроме этого.

— Но это ты делаешь здорово.

— Еще бы. Я начал работать одиннадцати лет, в Окленде. Стоял у парового катка. С тех пор прошло восемнадцать лет, и все время я только этим и занимался. Но такой каторжной работы, как тут, мне еще не попадалось. Сюда надо бы по крайней мере троих. Завтра придется работать и ночью. По средам всегда приходится работать и ночью: воротнички и манжеты.

Мартин опять завел будильник, сел за стол и раскрыл Фиска. Но он не мог прочитать и одного абзаца. Строчки плясали перед его глазами, и он клевал носом. Он стал расхаживать из угла в угол, колотя себя кулаками по голове, чтобы разогнать сон, но все было напрасно. Потом он положил книгу перед собой и попробовал читать, придерживая веки пальцами, но тотчас же заснул с раскрытыми глазами. Тогда, не в силах больше бороться с усталостью, он разделся, едва сознавая, что делает, и бросился на кровать. Он проспал семь часов тяжелым животным сном и проснулся от звона будильника, с ощущением, что все еще не выспался.

— Много прочитал? — спросил его Джо.

Мартин отрицательно покачал головой.

— Ничего! — утешил его Джо.— Мы сегодня пустим каток ночью, зато завтра кончим в шесть. У тебя будет тогда время для чтения.

Мартин в этот день полоскал шерстяные вещи в большой лохани, наполненной раствором едкого мыла, причем

полоскание производилось с помощью особого приспособления, состоявшего из колесной втулки и поршня, укрепленных на перекладине над лоханью.

— Мое изобретение,— с гордостью сказал Джо.— Заменяет и валец и руки и сберегает к тому же по крайней мере пятнадцать минут в неделю! А ты знаешь, чего стоит каждая минута в этом чертовом пекле!

Пропускание через каток воротничков и манжет было тоже его выдумкой, и вечером, когда они продолжали работу при электрическом свете, Джо объяснил:

— В других прачечных еще не додумались до этого. А я таким образом получаю возможность в субботу кончать работу в три часа. Только надо умело это делать — вот и все. Нужна особая температура, особое давление, и пропускать надо три раза. Посмотри-ка.

Он взял манжету.

— Так и вручную не сделаешь, верно?

В четверг Джо пришел в ярость: был прислан целый узел тонкого крахмального белья сверх нормы.

— К черту,— заорал он,— к дьяволу! Не хочу больше. Я работал, как скотина, целую неделю, сэкономил каждую минуту, и вдруг, извольте радоваться,— узел крахмального белья сверх нормы! Я живу в свободной стране, и я скажу этому голландскому борову все, что я о нем думаю! Я не стану с ним изъясняться по-французски. Найдутся и на языке Соединенных Штатов подходящие словечки. Целый узел сверх нормы!

— Придется опять работать до полуночи,— сказал он через минуту, забыв свою вспышку и покоряясь судьбе.

И в эту ночь Мартину опять не пришлось читать. Уже неделю он не видал газеты и, к собственному удивлению, не чувствовал охоты ее увидеть. Новости его не интересовали. Он был слишком утомлен, чтобы чем-нибудь интересоваться, но все-таки решил в субботу, если они действительно кончат в три, съездить на велосипеде в Окленд. Семьдесят миль туда и семьдесят миль обратно— это значило, что ему не придется вовсе отдохнуть и запастись силами на предстоящую неделю. Было бы лучше поехать поездом, но это обошлось бы в два с половиной доллара, а Мартин твердо решил копить деньги.

Мартин приобрел много новых познаний. На первой неделе был один день, когда они с Джо пропустили двести белых рубашек. Джо управлял машиной, к перекладине которой был привешен утюг на стальной пружине, регулирующей давление. Так он разглаживал накрахмаленные части рубашки, потом кидал ее Мартину. Тот на доске доглаживал все остальное.

Это была тяжелая, изнурительная работа, продолжавшаяся к тому же беспрерывно, час за часом. На открытых верандах гостиницы мужчины и дамы, одетые в белое, прогуливались для моциона или сидели за столиками и пили прохладительные напитки. Но в прачечной стояла нестерпимая духота. Раскаленная докрасна плита полыхала жаром, а из-под утюгов, прикасавшихся к сырому белью, клубился пар. Утюги нагревались гораздо сильнее, чем их обычно нагревают домашние хозяйки. Утюг, который пробуют, поскоблив палец, показался бы Мартину и Джо холодным. Они определяли степень нагретости утюга, просто поднося его к щеке, и угадывали температуру каким-то особым чутьем, которое казалось Мартину совершенно необъяснимым. Если утюг был слишком горячим, его погружали в холодную воду. Это тоже требовало большого навыка и ловкости. Довольно было поддержать утюг в воде одну лишнюю секунду, чтобы остудить его больше, чем нужно; и Мартин сам изумлялся своей точности — безупречной точности автомата, с которой он выполнял этот трудный маневр.

Впрочем, и изумляться ему было некогда. Все внимание Мартин сосредоточил на работе. Не останавливаясь, работал он головой и руками, как живая машина, и работа поглощала все, что в нем было человеческого. В голове у него не оставалось места для размышлений о мире и его загадках. Все широкие, просторные помещения в его мозгу были заперты и опечатаны. Сознание его поселилось в тесной комнатке, в штурманской рубке, из которой оно посылало указания его рукам и пальцам — как водить утюгом по дымящейся ткани, как в строгой последовательности размеренных движений разглаживать бесконечные рукава, спины, полы, бока, не уклоняясь ни на

один дюйм, как отбрасывать выглаженную рубашку, не измяв ее. И только его внимание переставала занимать одна рубашка, он уже должен был думать о другой. Так шли долгие часы. Снаружи вся жизнь замирала под жарким солнцем Калифорнии, но в душной прачечной она не замирала ни на мгновение. Тем, кто прохлаждался на верандах гостиницы, постоянно требовалось чистое белье.

Пот градом катился с Мартина. Он пил невероятное количество воды, но зной был так велик, что влага не задерживалась в теле и выступала из всех пор. Во время плаваний самая тяжелая работа не мешала ему отдаваться своим мыслям. Владелец судна был господином только его времени; а здесь хозяин гостиницы был еще и господином его мыслей. Он не мог думать ни о чем, кроме труда, равно изнурительного и для ума и для тела. Других мыслей у него не было. Он даже не знал, любит ли он Руфь. Она как бы перестала существовать, потому что измученному работой Мартину было не до воспоминаний, и только вечером, когда он ложился в постель, или утром, за завтраком, она мелькала перед ним туманным видением.

— Хуже, чем в аду, верно? — спросил однажды Джо.

Мартин кивнул, но почувствовал вдруг приступ раздражения. Это было ясно и без напоминаний. Они обычно никогда не разговаривали во время работы. Разговор выбивал из ритма, и теперь, отвлеченный вопросом Джо, Мартин сделал утюгом два лишних движения.

В пятницу утром запустили стиральную машину. Два раза в неделю приходилось стирать белье гостиницы: скатерти, салфетки, простыни и наволочки. Покончив со всем этим, они принимались за тонкое белье. Это была работа чрезвычайно кропотливая и утомительная, выполнять ее нужно было с большой осторожностью, и у Мартина дело шло медленнее; к тому же он боялся промахов, в данном случае пагубных.

— Видишь эту штуку? — сказал Джо, показывая лифчик, такой тонкий, что его можно было спрятать в кулаке. — Спали его — и с тебя вычтут двадцать долларов.

Но Мартин ничего не спалил: он сумел ослабить напряжение мускулов за счет еще большего напряжения нервов и, работая, с удовольствием слушал ругань, которой

Джо осыпал дам, носящих тонкое белье,—конечно, только потому, что им не приходится самим стирать его. Тонкое белье было проклятием для Мартина, да и для Джо тоже. Это тонкое белье похищало у них драгоценные минуты. Они возились с ним целый день. В семь часов они прервали стирку, чтобы прокатать простыни, скатерти и салфетки, а в десять, когда все в гостинице уже спали, снова взялись за тонкое белье и потели над ним до полуночи, до часу, до двух! Они кончили в половине третьего.

В субботу с утра опять было тонкое белье и всякие мелочи, и, наконец, в три часа недельная работа была кончена.

— На этот раз, надеюсь, ты не поедешь в Окленд? — спросил Джо, когда они уселись на ступеньках и с наслаждением закурили.

— Нет, поеду,—ответил Мартин.

— За каким чертом ты туда таскаешься? К девчонке, что ли?

— Нет, мне нужно обменять книги в библиотеке. А чтобы сэкономить два с половиной доллара, я ееду на велосипеде.

— Пошли книги по почте. Это обойдется в четверть доллара.

Мартин задумался.

— Ты лучше отдохни завтра,—продолжал Джо,—тебе это необходимо. Я по себе сужу. Я совсем разбит.

Это было видно. Неутомимый борец за секунды и минуты, враг промедлений и сокрушитель препятствий, неиссякаемый источник энергии, человеческий мотор предельной мощности, сущий дьявол на работе — теперь, покончив свою трудовую неделю, он находился в состоянии полнейшего изнеможения. Он был угрюм и измучен, и красивое лицо его осунулось. Он рассеянно курил папироску, и голос его звучал тускло и монотонно. Не было уже в нем ни огня, ни энергии, и даже заслуженный отдых не радовал его.

— А с понедельника опять все сначала,—уныло сказал он,—и на кой черт это в конце концов! А? Иногда я, право, завидую бродягам. Они не работают, а ведь как-то живут. Ох, ох! Я бы с удовольствием выпил ста-

канчик пива, но ведь для этого надо тащиться в деревню. А ты дурака не ломай. Пошли свои книги по почте, а сам оставайся здесь.

— А что я буду делать тут целый день? — спросил Мартин.

— Отдыхать. Ты сам не понимаешь, как ты устал. Я, например, так устаю к воскресенью, что даже газету прочесть не могу. Я однажды тифом болел. Пролежал в больнице два с половиной месяца — и ни черта не делал все это время. Вот здорово было!

— Да, это было здорово! — повторил он мечтательно минуту спустя.

Мартин пошел принимать ванну, а по возвращении обнаружил, что Джо куда-то исчез. Мартин решил, что он, наверное, отправился выпить стаканчик пива, но пойти в деревню, чтобы разыскать его, у Мартина не хватило духу. Он улегся на кровать, не снимая башмаков, и попробовал собраться с мыслями. До книг он так и не дотронулся. Он был слишком утомлен и лежал в полубытьи, ни о чем не думая, пока не пришло время ужинать. Джо и тут не явился. На вопрос Мартина садовник заметил, что Джо, наверное, пустил корни у стойки бара. После ужина Мартин пошел спать и проснулся на другое утро, как ему показалось, вполне отдохнувшим. Джо все еще не было. Мартин, развернув воскресную газету, лег в тени под деревьями. Он и не заметил, как прошло утро. Никто ему не мешал, он не спал и тем не менее не мог дочитать газеты. После обеда он снова было принялся за чтение, но очень скоро так и заснул над газетой.

Так прошло воскресенье, а в понедельник утром он уже сортировал белье, в то время как Джо, обвязав голову полотенцем, с проклятиями разводил мыло и запускал стиральную машину.

— Ничего не могу поделать, — объяснил он, — как наступит субботний вечер, меня так и тянет напиться.

Прошла еще неделя непрерывного труда, причем опять работали до глубокой ночи, при ярком электрическом свете, а в субботу, не успев даже как следует порадоваться тому, что удалось закончить работу к трем часам дня, Джо снова отправился в деревню, чтобы

забыться. Мартин провел это воскресенье так же, как и предыдущее. Он немного поспал в тени деревьев, потом рассеянно проглядел газету, потом несколько часов лежал, ничего не делая, ни о чем не думая. Он был слишком утомлен, чтобы думать, и уже начинал чувствовать к самому себе отвращение, как будто чем-то унизил и непорочно осквернил себя. Все возвышенное было в нем подавлено, честолюбие его притупилось, а жизненная сила настолько ослабела, что он уже не испытывал никаких стремлений. Он был мертв. Его душа была мертва. Он стал просто скотиной, рабочей скотиной. Он уже не замечал никакой красоты в солнечном сиянии, пронизывавшем зеленую листву, и глубина небесной лазури уже не волновала его и не вызывала мыслей о космосе, исполненном таинственных загадок, которые так хотелось разгадать. Жизнь была нестерпимо скучна и бессмысленна, и казалось, только набивала оскомину. Черное покрывало было накинута на экран его воображения, а фантазия томилась, загнанная в темную каморку, в которую не проникал ни один луч света. Он уже начал завидовать Джо, который регулярно напивался в деревне каждую субботу и в пьяной одуре забывал о предстоящей неделе мучительного труда.

Потянулась четвертая неделя; Мартин проклинал себя, проклинал жизнь. Его угнетала мысль о поражении. Редакторы были правы, отвергая его рассказы. Он теперь ясно понимал это и сам смеялся над собой и над своими недавними мечтаниями. Руфь по почте вернула ему «Песни моря». Он равнодушно прочел ее письмо. Она, повидимому, приложила все усилия, чтобы выразить свое восхищение его стихами. Но Руфь не умела лгать, а скрыть правду от самой себя ей тоже было трудно. Стихи ей не понравились, и это сквозило в каждой строчке ее натянутых, вымученных похвал. И она, конечно, была права. Мартин убедился в этом, перечитав стихи; он больше не находил в них красоты и никак не мог понять теперь, что побудило его написать их. Смелые обороты речи теперь показались ему смешными, сравнения чудовищными и нелепыми, все в целом было глупо и неправдоподобно. Он бы охотно тотчас сжег «Песни моря», но от одного его желания они не загорелись бы, а сойти в

машинное отделение у него не было сил: все его силы уходили на стирку чужого белья, и для своих личных дел их уже не оставалось.

Мартин решил в воскресенье собраться с духом и написать Руфи письмо. Но в субботу вечером, окончив работу и приняв ванну, он почувствовал непреодолимое желание забыться. «Пойду посмотрю, как там Джо развлекается»,— сказал он себе, и тотчас понял, что лжет; но у него не хватило энергии задуматься над этим,— да и все равно он не стал бы изобличать себя во лжи, потому что больше всего ему хотелось именно забыться. Не спеша, как бы прогуливаясь, он направился в деревню, но, приближаясь к кабачку, невольно ускорил шаги.

— А я думал, ты одну водицу употребляешь! — встретил его Джо.

Мартин не удостоил его объяснением, а заказал виски, налил себе полный стакан и передал бутылку Джо.

— Только пошевеливайся,— грубо сказал он.

Но так как Джо мешкал, Мартин не стал его дожидаться, залпом выпил стакан и налил второй.

— Теперь я могу подождать,— угрюмо произнес он,— но ты все-таки поживее.

Джо не заставил себя уговаривать, и они выпили вместе.

— Доконало-таки? — сказал Джо.

Но Мартин не пожелал вступать в обсуждение этого вопроса.

— Я же тебе говорил, что это ад, а не работа,— продолжал Джо.— Мне, по правде сказать, не нравится, что ты сдал позиции, Март. А в общем к черту! Выпьем.

Мартин пил молча, отрывисто заказывал еще и еще и приводил в трилет буфетчика — деревенского паренька, похожего на девушку, с голубыми глазами и волосами, расчесанными на прямой ряд.

— Это прямо свинство, так загонять людей на работе,— говорил Джо,— если бы я не напивался, я уже давно подпалил бы ихнее заведение. Их счастье, что я пью, ей-богу.

Но Мартин ничего не ответил. Еще два-три стакана, и пьяный угар начал обволакивать его мозг. А, наконец-то он почувствовал дыхание жизни — впервые за эти

недели. Его мечты вернулись к нему. Фантазия вырвалась из темной каморки и манила его к сверкающим высотам. Экран его воображения стал вновь светлым и серебристым, и яркие видения замелькали, обгоняя друг друга. Прекрасное и необычайное шло с ним рука об руку, он снова все знал и все мог. Он хотел объяснить это Джо, но у Джо были свои мечты — о том, как он перестанет тянуть лямку и станет сам хозяином большой паровой прачечной.

— Да, Март, и ребятишки не будут у меня работать, это уж можешь мне поверить. Ни под каким видом. И после шести часов вечера — ни живой души во всей прачечной. Слышишь? Машин будет много, и людей тоже будет много, так чтобы рабочий день кончался, когда положено. А тебя, Март, я сделаю своим помощником. План у меня вот какой. Бросаю пить, начинаю копить деньги и через два года...

Но Мартин не слушал, предоставив Джо излагать свои мечты буфетчику, пока того не отозвали новые посетители — два местных фермера. Мартин с королевской щедростью угостил и их, и всех, кто был в трактире, — нескольких батраков, помощника садовника и конюха из гостиницы, самого буфетчика и еще какого-то бродягу, который проскользнул в кабачок как тень и маячил у дальнего конца стойки.

Глава восемнадцатая

В понедельник утром Джо с руганью загрузил первую партию белья в стиральную машину.

— Вот я и говорю... — начал он.

— Отстань! — зарычал на него Мартин.

— Прости, Джо, — сказал он позже, когда они сели обедать.

У Джо слезы навернулись на глаза.

— Ладно, старина, — отвечал он, — мы живем в аду, так мудро ли иной раз окрыситься. А только я тебя за это время полюбил, ей-богу. Оттого-то мне и было немножко обидно. Я как-то сразу привязался к тебе.

Мартин пожал ему руку.

— Бросим все к черту,— предложил Джо,— пойдем бродяжничать. Я никогда не пробовал, но это, должно быть, здорово. Подумай только: ничего не делать! Я раз в тифу провалялся в больнице, так даже вспомнить приятно. Хоть бы опять заболеть.

Шли недели. Гостиница была полна, и тонкого белья поступало все больше и больше. Они проявляли чудеса мужества, работали до полуночи при электрическом свете, сократили время еды, начинали работать еще до завтрака. Мартин больше не брал холодных ванн: не хватало времени. Джо заботливо распоряжался минутами, никогда не терял ни одной, считал их, как скряга считает золото; работал яростно, неистово, как машина, в постоянном контакте с другой машиной, которая некогда была человеком по имени Мартин Иден.

Мартину редко приходилось думать. Обитель мысли была заперта, окна заколочены, а сам он был лишь прозрачным стражем у ворот этой обители. Да, он стал призраком. Джо был прав. Они оба были призраками в царстве нескончаемого труда. А может быть, все это был только сон? Иногда, водя тяжелыми утюгами по белоснежной ткани, утопая в клубах горячего пара, Мартин убеждал себя, что все это в самом деле только сон. Быть может, очень скоро, а быть может, через тысячу лет он проснется снова в своей маленькой комнатке за столом, запачканным чернилами, и возобновит прерванную накануне работу. А может быть, все его сочинительство было сном, и он проснется, чтобы заступить на вахту, и, соскочив со своей койки, выйдет на палубу и встанет к штурвалу под усеянным звездами тропическим небом, и свежее дыхание пассата будет холодить ему кожу.

Опять наступила суббота, и в три часа работа была кончена.

— Не пойти ли выпить стаканчик пива? — спросил Джо равнодушным голосом, потому что им уже овладела обычная субботняя апатия.

Но Мартин как будто проснулся. Он привел в порядок велосипед, смазал колеса, проверил руль и вычистил передачу. Джо сидел в салуне, когда Мартин промчался мимо, низко пригнувшись к рулю, ритмически нажимая

ногами на педали, глядя вперед, на пыльную дорогу, по которой ему предстояло проехать семьдесят миль. Он переночевал в Окленде, а в воскресенье приехал обратно и принялся в понедельник за работу, усталый, но зато с приятным сознанием, что на этот раз не был пьян.

Прошла пятая неделя, за нею шестая, а он все жил и работал, как машина, и только в глубине его души сохранялась какая-то маленькая искорка, заставлявшая его в конце каждой недели совершать на велосипеде стосорокамильный путь. Но это не было отдыхом. Это было тем же напряжением машины, и в конце концов в душе Мартина погасла даже эта последняя искорка — все, что оставалось от его былой жизни. В конце седьмой недели, не пытаясь даже сопротивляться, он отправился в деревню вместе с Джо и опять вернул себе ощущение жизни и жил до понедельника.

Однако в следующую субботу он снова проехал семьдесят миль, прогоняя оцепенение, вызванное усталостью, другим оцепенением, вызванным усталостью еще большей. И только в конце третьего месяца он в третий раз отправился в деревню вместе с Джо. Забывшись, он снова ожил, а ожив, увидел, словно при внезапной вспышке молнии, каким он стал животным, — не потому, что пил, а потому, что так работал. Пьянство было следствием, а не причиной. Оно следовало за работой с такою же закономерностью, с какою ночь следует за днем. Став выючной скотиной, никогда не достигнешь светлых высот: виски подсказало ему эту мысль, и он согласился с нею. Виски проявило великую мудрость. Оно открыло ему важную истину.

Мартин велел подать себе бумагу и карандаш, заказал виски для всей компании, и, пока все пили за его здоровье, он, прислонясь к стойке, написал что-то на бумаге.

— Телеграмма, Джо, — сказал он, — прочти-ка.

Джо стал читать с глупой, пьяной усмешкой. Но то, что он прочел, вдруг отрезвило его. Он с упреком посмотрел на Мартина, и слезы заблестели у него на глазах.

— Ты меня бросаешь, Март? — спросил он печально.

Мартин утвердительно кивнул головой и, подождав какого-то мальчишку, велел ему сбегать на телеграф.

— Стой! — заплетающимся языком выговорил Джо. — Я хочу обмозговать кое-что.

Он ухватился за стойку, чтобы не упасть, а Мартин обнял его за плечи и поддерживал, пока он не собрался с мыслями.

— Напиши, что оба работника уходят, — внезапно выпалил Джо. — Пиши.

— Но почему же ты-то уходишь? — спросил Мартин.

— Потому же, почему и ты.

— Я отправляюсь в плавание, а ты не можешь.

— Верно, — отвечал Джо, — но я стану бродягой. Очень даже отлично.

Мартин с минуту испытующе смотрел на него и, наконец, воскликнул:

— Ей-богу, ты прав! Лучше быть бродягой, чем вячным животным. По крайней мере будешь жить. А до сих пор у тебя жизни не было.

— Была, — запротестовал Джо, — я раз лежал в больнице. Тифом болел, я тебе, кажется, говорил. Эх, и здорово было.

И пока Мартин исправлял в тексте телеграммы «второй рабочий» на «оба рабочих прачечной», Джо продолжал:

— Пока я лежал в больнице, мне совсем не хотелось пить. Чудно, а? Но, когда я всю неделю работаю, как лошадь, я должен напиться под конец. Все знают, что повара пьют, как черти... и пекари тоже... Работа такая. Стой! Я плачу половину за телеграмму.

— Ладно, сочтемся, — сказал Мартин.

— Эй, все сюда, я угощаю! — крикнул Джо, высыпая на стойку деньги.

В понедельник утром Джо был сам не свой от волнения. Он не обращал внимания на головную боль и не интересовался работой. Немало было потеряно драгоценных минут, пока он сидел и беспечно глазел в окна, любуясь солнцем и деревьями.

— Посмотрите! — кричал он. — Ведь это все мое. Это свобода! Я могу лежать под деревьями и проспать хоть тысячу лет, если захочу. Пошли, Март. Плюнем на все. Ну их к черту! Чего нам ждать? Впереди страна

безделья, и туда я теперь возьму билет,— только не обратный.

Несколько минут спустя, закладывая белье в стиральную машину, Джо увидел рубашку хозяина гостиницы,— он знал его метку. В упоении вновь обретенной свободы он кинул рубашку на пол и начал топтать ее ногами.

— Я бы хотел, чтобы это была твоя морда, голландский боров! — кричал он. — На тебе! Получай! Вот! Вот тебе! Пусть-ка кто-нибудь удержит меня! Пусть попробует!..

Мартин, смеясь, пытался его образумить. Во вторник вечером явились два новых работника, и до конца недели Джо и Мартин были заняты тем, что приучали их ко всем порядкам. Джо сидел и давал наставления, но сам ничего не делал.

— Дудки! — объявил он. — Я и пальцем не пошевелю. Пускай увольняют раньше срока, а я все-таки не пошевелю пальцем. Я работать кончил. Буду разъезжать в товарных вагонах и спать в тени, под деревьями. Эй вы, работнички! Нажимайте! Потейте! Потейте, черт вас возьми! А когда вы околеете, то сгниете так же, как и я сгнию, — и не все ли равно, как вы жили? А? Ну, скажите мне на милость, не все ли равно в конце концов?

В субботу они получили расчет и вместе дошли до перекрестка.

— Ты, конечно, со мной не пойдешь, не стоит и уговаривать? — спросил Джо с видом полной безнадежности.

Мартин отрицательно покачал головой. Он приготовился уже сесть на велосипед. Они пожали друг другу руки, и Джо, удержав на мгновение руку Мартина, сказал:

— Мы с тобой еще увидимся на этом свете, Март. Такое у меня предчувствие. Прощай, Март, будь счастлив. Я тебя люблю, ей-богу люблю!

Он беспомощно стоял посреди дороги, глядя вслед Мартину, пока тот не скрылся за поворотом.

— Славный малый, — пробормотал он, — очень славный.

Потом он побрел вдоль дороги к водокачке, где на запасном пути стояло с полдюжины пустых товарных вагонов, ожидая, когда их прицепят к поезду.

Руфь со всей своей семьей вернулась в Окленд, и Мартин снова стал встречаться с нею. Окончив курс и получив степень, она уже не отдавала все время ученью, а он, израсходовав на работе свои душевные и физические силы, уже не писал. Это давало им возможность чаще видаться, и они сближались все больше и больше.

Сначала Мартин только отдыхал и ничего не делал. Он много спал, много думал, вообще жил как человек, постепенно приходящий в себя после сильного потрясения. Но вот постепенно в нем стал проявляться интерес к газете, которую он все это время только лениво пробегал глазами,— и это послужило первым признаком пробуждения. Потом он начал снова читать, сначала стихи и беллетристику, но прошло еще несколько дней, и он с головой погрузился в давно забытого Фиска. Его изумительное здоровье помогло ему восстановить утраченную было жизненную энергию, и он вновь обрел весь свой юношеский пыл и задор.

Руфь была явно огорчена, когда Мартин сообщил ей, что отправится в плавание, как только вполне отдохнет.

— Зачем? — спросила она.

— Деньги нужны,— отвечал он,— мне нужны деньги для новой атаки на издателей. Деньги и выдержка — лучшее оружие в этой борьбе.

— Но если вам нужны только деньги, почему же вы не остались в прачечной?

— Потому, что прачечная превращала меня в животное. Когда так работаешь, недолго и спиться.

Она посмотрела на него с ужасом.

— Вы хотите сказать...— начала она.

Он мог бы легко уклониться от ответа, но его натура не терпела лжи, да к тому же ему вспомнилось его давнее решение всегда говорить правду, к чему бы это ни вело.

— Да,— отвечал он,— несколько раз случалось.

Руфь вздрогнула и отодвинулась от него.

— Ни с кем из моих знакомых этого не случается.

— Вероятно, никто из них не работал в прачечной «Горячих Ключей»,— возразил он с горьким смехом.— Труд — дело хорошее, он даже полезен человеку — это

говорят проповедники; и, видит бог, я никогда не боялся труда. Но все хорошо в меру. А в прачечной этой меры не было. Потому-то я и решил отправиться в плавание. Это будет мой последний рейс. А вернувшись, я сумею пробиться на страницы журналов. Я уверен в этом.

Руфь молчала, грустная и недовольная, и Мартин чувствовал, что ей не понять всего, что он пережил.

— Когда-нибудь я опишу все это в книге, которая будет называться «Унижение труда», или «Психология пьянства в рабочем классе», или что-нибудь в этом роде.

Никогда еще, если не считать первого дня знакомства, они не были так далеки друг от друга. Его откровенная исповедь, за которой таился дух возмущения, оттолкнула Руфь. Но самое это отдаление поразило ее куда больше, чем причина, его вызвавшая. Оно показало ей, как близки они стали друг другу, и ей захотелось еще большей близости. Кроме того, ей было жаль Мартина, и в душе ее возникали невинные мечты об его исправлении. Она хотела спасти этого юношу, сбившегося с дороги, спасти от окружающей среды, спасти от него самого, хотя бы против его воли. Ей казалось, что ею руководят отвлеченные и благородные побуждения, и она не подозревала, что за всем этим таится лишь ревность и желание любви.

В ясные осенние дни они часто уезжали на велосипедах далеко за город и там, на холмах, поочередно читали вслух благородные, вдохновенные поэтические произведения, располагавшие к возвышенным мыслям. Самопожертвование, терпение, трудолюбие — вот принципы, которые косвенным образом старалась внушить ему Руфь, видя воплощение этих принципов в своем отце, мистере Бэтлере и Эндрю Карнеги, который из бедного мальчика-иммигранта превратился в «короля книг», снабжающего ими весь мир.

Все эти старания Руфи были оценены Мартином. Он теперь гораздо лучше понимал ее мысли, и ее душа не была уже для него чудом за семью печатями. Они беседовали и делились мыслями, как равный с равным. Но возникавшие при этом разногласия не влияли на любовь Мартина. Его любовь становилась все глубже и сильнее, потому что он любил Руфь такую, какой она была, и даже ее физическая хрупкость придавала ей в его гла-

зах особое очарование. Он читал о болезненной Элизабет Баррет, которая много лет не касалась ногами земли, пока, наконец, не наступил тот памятный день, когда она бежала с Броунингом и твердо встала на землю под открытым небом. Мартин решил, что он может сделать для Руфи то, что Броунинг сделал для своей возлюбленной. Но прежде всего Руфь должна его полюбить. Все остальное уже просто. Он даст ей здоровье и силу. Он часто мечтал о их будущей совместной жизни. Он видел себя и Руфь среди комфорта и благосостояния, созданного трудом. Они читают и говорят о поэзии. Она полулежит, опираясь на груды пестрых подушек, и читает ему вслух. Всегда ему рисовалась одна и та же картина — символ всей их жизни. Иногда не она, а он читал, обняв ее за талию, причем ее головка покоилась у него на плече, иногда они вдвоем читали одну и ту же книгу молча, одними глазами вбирая в себя всю красоту, которой дышали печатные строчки. Руфь любила природу, и щедрое воображение Мартина позволяло ему менять декорацию, на фоне которой происходила эта излюбленная им сцена. То они читали, сидя в долине, окруженной высокими отвесными скалами, то это была зеленая лужайка где-то в горах или же серые песчаные дюны, у подножия которых плещутся морские волны; порою он видел себя вместе с нею где-нибудь на вулканическом острове, под тропиками, где с грохотом низвергаются водопады и брызги их долетают до моря, подхваченные порывами ветра. Но на первом плане всегда были они, Мартин и Руфь, склоненные над книгой, — красоты природы лишь служили им фоном, а где-то в глубине картины, словно в тумане, рисовались образы труда и успеха и нажитого трудом богатства, позволявшего им наслаждаться всеми сокровищами мира.

— Я бы советовала моей девочке быть поосторожней, — сказала однажды мать Руфи предостерегающим тоном.

— Я знаю, о чем ты говоришь, но это невозможно. Он не...

Руфь смутилась и покраснела: это было смущение девушки, впервые заговорившей о священных тайнах жизни с матерью, которая тоже для нее священна.

— Он не ровня тебе, — докончила мать ее фразу.

Руфь кивнула головой.

— Я не хотела этого сказать, но это так. Он груб, неотесан, силен... он слишком силен. Он жил не...

Она запнулась и не могла продолжать. Слишком ново было для нее говорить с матерью о подобных вещах. И снова мать договорила за нее:

— Он жил не вполне добродетельной жизнью. Ты это хотела сказать?

Руфь опять кивнула, и румянец залил ее щеки.

— Да, я как раз это хотела сказать. Это, конечно, не его вина, но он слишком много соприкасался с...

— С житейской грязью?

— Да. И он пугает меня. Мне иногда просто страшно слышать, как он спокойно говорит о своих самых безобразных поступках. Как будто в этом нет ничего особенного. Но ведь так нельзя. Правда?

Они сидели обнявшись, и когда Руфь умолкла, мать ласково погладила ее руку, ожидая, чтобы дочь снова заговорила.

— Но мне с ним интересно,— продолжала Руфь,— во-первых, он в некотором роде мой подопечный. А потом... у меня никогда не было друзей-мужчин, хотя он не совсем друг. Он и друг и подопечный одновременно. Иногда, когда он пугает меня, мне кажется, что я словно играю с бульдогом, большим таким бульдогом, который рычит и скалит зубы и вот-вот готов сорваться с цепи.

Опять Руфь умолкла, а мать ждала.

— У меня интерес к нему, как... как к бульдогу. Но в нем очень много хорошего, а много и такого, что мне мешало бы... ну, относиться к нему иначе. Ты видишь, я думала обо всем этом. Он ругается, курит, пьет, он дерется на кулаках, он сам рассказывал мне об этом и даже говорил, что любит драться. Это совсем не такой человек, какого я бы хотела иметь... — ее голос осекся, и она закончила тихо: — своим мужем. А кроме того, очень уж он силен. Мой возлюбленный должен быть похож на волшебного принца — тонкий, стройный, изящный, с темными волосами. Нет, не бойся, я не влюблюсь в Мартина Идена, это было бы для меня самым большим несчастьем.

— Я не об этом говорю,— уклончиво сказала мать,— но думала ли ты о нем? Такой человек, во всех отноше-

ниях для тебя неподходящий... что, если он полюбит тебя?

— Но он... он давно меня любит! — вскричала Руфь.

— Этого надо было ожидать, — ласково сказала миссис Морз. — Разве тот, кто тебя знает, может не полюбить тебя?

— Вот Олни меня ненавидит! — пылко воскликнула Руфь. — И я ненавижу Олни. Когда он подходит ко мне, я становлюсь, как кошка, мне хочется царапаться; я знаю, что противна ему, — и уж во всяком случае он противен мне. А с Мартином Иденем мне хорошо. Меня еще никто не любил, «так» не любил. А ведь приятно быть любимой «так». Ты понимаешь, милая мама, что я хочу сказать? Приятно чувствовать себя настоящей женщиной... — Руфь спрятала лицо на груди у матери. — Я знаю, я ужасно дурная, но я не хочу кривить душой и откровенно говорю тебе то, что чувствую.

Миссис Морз была и огорчена и обрадована. Дочь-девочка с университетским дипломом исчезла; перед ней сидела дочь-женщина. Опыт удался. Станный пробел в характере Руфи был заполнен, и заполнен безопасно и безболезненно. Этот неуклюжий матрос выполнил свою функцию, и хотя Руфь не любила его, он все же пробудил в ней женщину.

— У него руки дрожат, — говорила Руфь, стыдливо пряча лицо, — это смешно и нелепо, но мне жаль его. А когда руки его дрожат слишком сильно, а глаза сверкают слишком ярко, я читаю ему наставления и указываю на все его ошибки. Он боготворит меня, я знаю, его руки и глаза не лгут. А меня это как будто делает взрослой — уже одна мысль об этом. Я начинаю чувствовать, что во мне есть что-то, присущее моей природе, и я становлюсь похожей на других девушек... и... и... молодых женщин. Я знаю, что раньше я не была на них похожа, и это тревожило тебя. То есть ты не показывала мне своей тревоги, но я замечала... и я хотела «встать на линию», как говорит Мартин Иден.

Это были святые минуты и для матери и для дочери, и глаза их были влажны в вечерних сумерках. Руфь — невинная, откровенная и неопытная; мать — любящая, понимающая и поучающая.

— Он на четыре года моложе тебя,— сказала она,— у него нет положения в свете. Он нигде не служит и не получает жалованья. Он очень непрактичен. Если он тебя любит, он должен был бы подумать о каком-то занятии, которое дало бы ему возможность и право жениться на тебе, а не забавляться писанием рассказов и детскими мечтами. Боюсь, он никогда и не сделается взрослым. У него нет чувства ответственности, нет стремления найти себе настоящее дело, подобающее мужчине,— как было у твоего отца, у мистера Бэтлера и вообще у всех людей нашего круга. Мартин Иден, мне кажется, никогда не будет зарабатывать деньги. А мир так устроен, что деньги необходимы: без них не бывает счастья, о, я не говорю о каком-нибудь огромном состоянии, но просто о твердом доходе, дающем возможность прилично существовать. Он тебе никогда не говорил о своих чувствах?

— Ни одного слова. Он даже не пытался; да я бы и не дала ему говорить. Ведь я-то его не люблю.

— Я рада этому. Я бы не хотела, чтобы моя дочь, моя чистая девочка, полюбила такого человека. Ведь есть на свете много настоящих мужчин, порядочных и чистых. Подожди немного. В один прекрасный день ты встретишь такого человека и полюбишь его и он тебя полюбит. И ты будешь счастлива с ним так, как я была счастлива с твоим отцом. Об одном ты должна всегда помнить...

— Да, мама?

Голос миссис Морз сделался тихим и нежным:

— О детях.

— Я... я думала об этом,— призналась Руфь, вспомнив непрошенные мечты, овладевавшие ею подчас, и снова покраснела от стыда.

— Мистер Иден не может быть твоим мужем именно из-за детей,— многозначительно произнесла миссис Морз.— Они должны унаследовать чистую кровь, а это он едва ли сможет дать им. Твой отец рассказывал мне о жизни матросов, и... и ты понимаешь?

Руфь с волнением сжала руку матери, чувствуя, что все понимает, хотя то страшное и смутное, что ей представлялось, никак не могло принять форму четкой и определенной мысли.

— Ты знаешь, мама, я тебе всегда все говорю,— начала она,— только иногда ты должна сама спрашивать меня — ну, вот так, как сегодня. Я давно уже хотела сказать тебе об этом, а как начать — не знала. Это, конечно, ложный стыд, но тебе ведь так легко помочь мне! Иногда ты должна спрашивать меня, давать мне возможность высказаться. Ты тоже ведь женщина, мама! — вскричала вдруг Руфь, схватив мать за руки и радостно ощущая это новое, еще незнакомое равенство между ними. — Я бы никогда не думала так, если б ты не начала этого разговора. Нужно было мне сперва почувствовать себя женщиной, чтобы понять, что и ты женщина тоже.

— Мы обе женщины,— сказала мать, обнимая и целуя ее. — Мы обе женщины,— повторила она, когда они выходили из комнаты, обнявшись, взволнованные вновь возникшим ощущением общности судеб.

— Наша маленькая девочка стала, наконец, женщиной,— час спустя с гордостью объявила миссис Морз своему мужу.

— То есть ты хочешь сказать, что она влюблена? — спросил тот, вопросительно посмотрев на жену.

— Нет, я хочу сказать, что она любима,— отвечала та с улыбкой. — Опыт удался. В ней проснулась женщина.

— Тогда надо отвести Идена,— кратко, деловым тоном заключил мистер Морз.

Но его жена покачала головой:

— Нет надобности: через несколько дней он отправляется в плавание. А когда он вернется, Руфи здесь не будет. Мы пошлем ее к тете Кларе. Ей будет очень полезно провести год на востоке страны, повидать других людей, другую жизнь, переменить климат, обстановку.

Глава двадцатая

Желание писать снова охватило Мартина. Идеи рассказов, стихотворений беспрестанно рождались в его мозгу, и он делал беглые наброски, чтобы когда-нибудь, в будущем, вернуться к ним. Но писать не писал. Это были его каникулы, и он решил посвятить их любви и

отдыху,— что удалось вполне. Жизнь снова была в нем ключом, и каждый раз при встрече с ним Руфь, как прежде, поддавалась могучему обаянию его здоровья и силы.

— Будь осторожна,— предостерегающе сказала ей однажды мать,— не слишком ли ты часто видишься с Мартином Иденом?

Но Руфь лишь улыбнулась в ответ. Она была слишком уверена в себе, да к тому же через несколько дней ему предстояло уйти в плавание. А когда он вернется, она будет уже далеко на Востоке. И все-таки в силе и здоровье Мартина таилась для нее неотразимая привлекательность.

Мартин знал о ее предполагаемой поездке на Восток и понимал, что надо торопиться. Но он совершенно не представлял себе, как подойти к девушке, подобной Руфи. Весь его прежний опыт только затруднял положение. Женщины и девушки, с которыми он привык иметь дело, были совсем другие. Они знали жизнь, хорошо понимали, что такое любовь, ухаживание, флирт, а Руфь ничего этого не знала. Ее необычайная невинность ошеломяла его, лишала дара речи, невольно внушала мысль о том, что он ее недостоин. Было и еще одно обстоятельство, осложнявшее дело. Он сам еще ни разу не любил до сих пор. Бывало, что женщины нравились ему, иными он даже увлекался, но все это отнюдь нельзя было назвать любовью. Просто ему стоило небрежно, по-хозяйски, свистнуть — и они сдавались. Это было для него минутной забавой, случайностью, элементом сложной игры, из которой состоит жизнь мужчины,— и притом второстепенным элементом. А теперь в первый раз он был робок, смущен, застенчив. Он не знал, как приступить, что говорить, теряясь перед безмятежной чистотой своей возлюбленной.

В своих скитаниях по пестрому, изменчивому миру Мартин научился одному мудрому правилу: играя в незнакомую игру, никогда не делать первого хода. Это правило тысячу раз оправдало себя на деле; к тому же оно развивало наблюдательность. Мартин научился ориентироваться, соразмерять свои силы, выжидать, пока обнаружится слабое место противника. Так и в кулачном бою он всегда старался нащупать у противника слабое место.

А тогда уже опыт помогал ему бить по этому месту, и бить наверняка.

И теперь, с Руфью, он тоже выжидал, желая и не решаясь заговорить о своей любви. Он боялся оскорбить ее и не был уверен в себе. Но сам того не подозревая, он выбрал правильный путь. Любовь явилась в мир раньше членораздельной речи, и на заре существования она усвоила приемы и способы, которых никогда уже не забывала. Именно этими первобытными способами Мартин добивался благосклонности Руфи. Сначала он делал это бессознательно, и лишь впоследствии истина открылась ему. Прикосновение его руки к ее руке было красноречивее любых слов, непосредственное ощущение его силы оказывалось могущественнее, чем строчки и рифмы, чем пламенные излияния сотен поколений влюбленных. Словесные объяснения затронули бы прежде всего разум Руфи, тогда как прикосновение руки, мимолетная близость действовали непосредственно на таившийся в ней инстинкт женщины. Разум ее был юным, как она сама. Но инстинкт ее был стар, как человечество, и даже еще старше. Он родился в те давние времена, когда родилась сама любовь, и силе его древней мудрости уступали все тонкости и ухищрения позднейших веков. Разум Руфи молчал. Мартин не обращался к нему; он взывал без слов к той стороне ее существа, которая томилась о любви, и Руфь еще не осознала всей властной силы этого призыва. Что Мартин любит ее, было ясно, как день, и Руфь наслаждалась проявлениями его любви — блеском глаз, дрожанием рук, краской, то и дело заливавшей его щеки под загаром. Иногда Руфь даже как будто разжигала Мартина, но делала это так робко и так наивно, что ни он, ни она сама не замечали этого. Она трепетала от радостного сознания своей женской силы и, подобно Еве, наслаждалась, играя с ним и дразня его.

А Мартин молчал, потому что не знал, как заговорить, и потому что чувства, переполнявшие его, были слишком сильны, — молчал и продолжал искать выход в несмелых и безыскусных попытках сближения. Прикосновение его руки доставляло ей удовольствие, и даже нечто большее, чем простое удовольствие. Мартин не знал этого, но он чувствовал, что не противен ей. Правда, они

пожимали друг другу руки, только здороваясь и прощаясь, но очень часто пальцы их сталкивались, когда они брались за велосипеды, передавали друг другу книжку или вместе листали ее. Случалось не раз, что ее волосы касались его щеки или что она на миг прижималась к нему плечом, склоняясь над понравившимся местом в книге. Руфь застенчиво улыбалась про себя тем странным чувствам, которые при этом охватывали ее: иногда, например, ей хотелось потрепать его волосы; а он в свою очередь страстно желал, устав от чтения, положить голову ей на колени и с закрытыми глазами мечтать о будущем — их общем будущем. Сколько раз, бывало, во время воскресных пикников Мартин клал свою голову на колени какой-нибудь девушке и спокойно засыпал, предоставляя ей защищать его от солнца и влюбленно глядеть на него, удивляясь его величественному равнодушию к любви. Положить голову девушке на колени всегда представлялось Мартину самым простым делом в мире, а теперь, глядя на Руфь, он сознавал, что это невозможно, невысказано. Но именно сдержанность, в которой это сознание проявлялось, незаметно для самого Мартина, вела его к цели. Благодаря своей сдержанности он ни разу не возбуждал в Руфи тревоги. Неопытная и застенчивая, она не понимала, какое опасное направление начинают принимать их встречи. Ее бессознательно влекло к нему, а он, чувствуя растущую близость, хотел и не мог быть смелее.

Но однажды Мартин проявил смелость. Придя к Руфи, он застал ее в комнате со спущенными шторами; она пожаловалась на сильную головную боль.

— Ничего не помогает, — сказала она в ответ на его расспросы. — А порошки мне доктор Холл запретил принимать.

— Я вас вылечу без всякого лекарства, — отвечал Мартин. — Не уверен, конечно, но, если хотите, можно попробовать. Мое средство — самый простой массаж. Меня научили ему в Японии. Ведь японцы — первоклассные массажисты. А потом я видел, как то же самое, только с некоторыми изменениями, делают и гавайцы. Они называют этот массаж «ломи-ломи». Он иногда действует гораздо лучше всякого лекарства.

Едва его руки коснулись ее лба, Руфь уже сказала со вздохом:

— Как хорошо.

Через полчаса она спросила его:

— А вы не устали?

Вопрос был излишний, ибо она знала, какой последует ответ. И Руфь, впад в полудремотное состояние, подчинилась ему. Целительная сила истекала из его пальцев, отгоняя боль,— так по крайней мере ей казалось. Наконец, боль настолько утихла, что Руфь спокойно уснула, и Мартин потихоньку удалился.

Вечером она позвонила ему по телефону.

— Я спала до ужина,— сказала она,— вы меня совершенно исцелили, мистер Иден; не знаю, как и благодарить вас.

Мартин от радости и смущения едва нашел слова для ответа, а в его мозгу все время плясало воспоминание о Броунинге и Элизабет Баррет. Что сделал Броунинг для своей возлюбленной, может сделать и он — Мартин Иден — для Руфи Морз. Вернувшись в свою комнату, он лег на постель и принялся за спенсерову «Социологию». Но чтение не шло ему на ум. Любовь всецело завладела его мыслями, и вскоре, сам не заметив как, он очутился у своего столика, испачканного чернилами. И сонет, написанный им в этот вечер, был первым из цикла пятидесяти «Сонетов о любви», заверщенного в течение двух следующих месяцев. Идея этого цикла была навеяна воспоминанием о «Сонетах с португальского» Элизабет Баррет. Он писал при самых благоприятных обстоятельствах для создания великого произведения,— писал, одержимый любовью.

То время, в которое он не виделся с Руфью, Мартин посвящал «Сонетам о любви» и чтению у себя дома или в читальне, где он внимательно изучал текущие номера журналов, стараясь проникнуть в тайну издательского выбора. В те часы, которые Мартин проводил с Руфью, надежды чередовались с неопределенностью, и то и другое было одинаково мучительно. Через неделю, после того как Мартин вылечил Руфь от головной боли, Норман предложил прокатиться в лунную ночь на лодке по озеру Меррит, а Артур и Олни охотно поддержали этот план.

Никто, кроме Мартина, не умел управлять парусной лодкой, а потому его и попросили взять на себя обязанности капитана. Руфь села рядом с ним на корме, а трое молодых людей, разместившись на средних скамьях, завели нескончаемый спор о каких-то своих студенческих делах.

Луна еще не взошла, и Руфь, глядя в звездное небо и не обмениваясь ни словом с Мартином, вдруг почувствовала себя одинокой. Она взглянула на него. Порыв ветра слегка накренил лодку, и он, держа одной рукой румпель, а другой гроташкот, слегка изменил направление, стараясь обогнуть выступ берега. Мартин не замечал ее взгляда, и она внимательно смотрела на него, размышляя о странной прихоти, которая побуждает его, юношу незаурядных способностей, тратить время на писание посредственных рассказов и стихов, заведомо обреченных на неуспех.

Ее взгляд скользнул по его красиво посаженной голове, по могучей шее, смутно обрисовывавшейся при свете звезд, и знакомое желание — обвить руками эту шею — снова овладело ею. Та присущая ему сила, которая казалась ей неприятной, в то же время влекла ее. Чувство одиночества усилилось, и Руфь ощутила усталость. Качание лодки раздражало ее. Она вспомнила, как Мартин вылечил ее от головной боли одним своим прикосновением. Он сидел рядом с нею, совсем рядом, и лодка, накрываясь, как бы толкала ее к нему. И Руфи вдруг захотелось прислониться к Мартину, найти в нем опору — и, не успев еще осознать это желание, она уже клонилась, подчиняясь ему. Или, может быть, в этом была виновата качка? Руфь не знала. Она и не узнала никогда. Она знала лишь, что прислонилась к нему, что ей теперь хорошо и спокойно. Пусть даже всё дело было в качке, но Руфь не хотела отодвинуться от Мартина. Она оперлась на его плечо, оперлась очень легко, но продолжала опираться даже тогда, когда он переменил позу, чтобы ей было удобнее сидеть.

Это было безумием с ее стороны, но ей не хотелось вдумываться. Она уже не была прежней Руфью, она была женщиной, и женская потребность опоры говорила в ней; правда, она только слегка прислонилась к Мартину, но потребность была удовлетворена. Ее усталости как не бывало. Мартин молчал. Он боялся рассеять чары.

Благодаря его сдержанности и робости очарование длилось, но у него кружилась голова и путались мысли. Он никак не мог понять, что случилось. Это было слишком чудесно, это не могло случиться наяву. Он с трудом преодолевал желание выпустить шкот и румпель и сжать ее в объятиях. Но он инстинктивно чувствовал, что это испортило бы все дело, и мысленно благодарил судьбу за то, что у него заняты руки. Однако он сознательно замедлил ход лодки, без зазрения совести отпуская парус, чтобы подольше затянуть галс. Он знал, что при перемене галса ему придется пересесть, и их близость будет нарушена. Все это он проделывал опытной рукой, не возбуждая в спорщиках ни малейшего подозрения. Он благословлял всю свою трудную матросскую жизнь за то, что она дала ему это умение подчинять своей воле море, лодку и ветер и теперь позволяла продлить эту драгоценную близость с любимой в чудесную лунную ночь.

Когда первый луч луны озарил их жемчужным сиянием, Руфь отодвинулась от Мартина и, отодвигаясь, почувствовала, что и он сделал то же. Им обоим хотелось скрыть все от других. Это должно было остаться их тайной. Руфь сидела теперь в стороне, с пылающими щеками, только сейчас осознав, что произошло. Она сделала что-то такое, чего не хотела обнаружить ни перед братьями, ни перед Олни. Как могла она решиться? Никогда еще этого с ней не было, хотя она много раз каталась в лунные ночи на лодке с молодыми людьми. У нее даже желаний таких не появлялось. Ей было стыдно и страшно этой пробуждающейся женственности. Она поглядела украдкой на Мартина, который в этот момент был занят переменной галса, и готова была возненавидеть его за то, что он побудил ее совершить такой необдуманный и бесстыдный поступок. И именно он — Мартин Иден! Быть может, ее мать в самом деле права, и они слишком часто видятся. Руфь тут же твердо решила, что это никогда не повторится, а в дальнейшем она постарается реже встречаться с ним. У нее даже явилась нелепая мысль солгать ему, вскользь сказать как-нибудь при случае, что ее укачало в лодке и она почувствовала себя плохо как раз перед тем, как взошла луна. Но тут она вспомнила, как они отодвинулись друг от друга

перед лицом обличительницы-луны, и поняла, что Мартин ей не поверит.

Все последующие дни Руфь была сама не своя; она перестала анализировать свои чувства, перестала думать о том, что с нею происходит и что ее ждет; точно в лихорадке она прислушивалась к тайному зову природы, то страшному, то чарующему. Но у нее было одно твердое решение, которое придавало ей уверенности: не дать Мартину заговорить о любви. Пока он молчит, все обстоит благополучно. Через несколько дней он уйдет в плавание. А впрочем, если он и заговорит, все равно ничего не случится. Ведь она-то не любит его. Конечно, это будут мучительные полчаса для него и довольно затруднительные для нее, так как ей впервые придется выслушать объяснение в любви. От одной этой мысли сердце ее сладко забилося. Она стала настоящей женщиной, и мужчина добивается ее руки. Все женское в ней готово было откликнуться на зов. Трепет охватил все ее существо, одна и та же мысль назойливо кружилась в голове, как мотылек над огнем. Она зашла так далеко, что уже представляла себе, как Мартин делает ей формальное предложение: она вкладывала слова в его уста, а сама по несколько раз повторяла свой отказ, стараясь по возможности смягчить его, призывая на помощь присущее Мартину благородное мужество. Прежде всего он должен бросить курить. На этом она будет особенно настаивать. Но нет, нет, она совсем не разрешит ему говорить о любви. Это в ее власти, и она обещала это своей матери. Краснея и вся дрожа, Руфь с сожалением отгоняла недозволенные мечты. Придется отложить ее первое любовное объяснение до более подходящего времени и до встречи с более достойным претендентом.

Глава двадцать первая

Наступили чудесные дни, теплые и полные неги, какие часто бывают в Калифорнии в пору бабьего лета, когда солнце словно окутано дымкой и слабый ветерок едва колеблет дремотный воздух. Легкий лиловатый туман,

словно сотканный из цветных нитей, прятался в складках холмов, а по ту сторону залива дымным пятном раскинулся город Сан-Франциско. Залив блестел, словно полоса расплавленного металла, и на нем кое-где белели паруса судов, то неподвижных, то лениво скользящих по течению. Вдалеке, в серебристом тумане, высился Тамальпайс; Золотые Ворота и в самом деле золотились в лучах заходящего солнца, а за ними открывались безмерные просторы Тихого океана, окаймленные на горизонте густыми облаками — первыми предвестниками надвигающейся зимы.

Лету пора было уходить. Но оно все еще медлило здесь, среди холмов, сгущая лиловые тени в долинах, и под дымчатым саваном усталости и пресыщения умирало спокойно и тихо, радуясь, что жило и что жизнь его была плодотворна. На склоне своего любимого холма сидели Мартин и Руфь, совсем рядом, склонив головы над страницами книги; он читал вслух, а она слушала стихи любви, написанные женщиной, которая любила Броунинга так, как умеют любить лишь немногие женщины.

Но чтение подвигалось плохо. Слишком сильны были чары угасающей красоты в природе. Золотая пора года умирала так, как жила, — прекрасной и нераскаянной грешницей, и казалось, самый воздух вокруг был напоен истомой сладких воспоминаний. Эта истома проникала в кровь Мартина и Руфи, лишала их воли, обволакивала радужным туманом мысли и решения. Мартин поддавался разнеживающей слабости, и временами его словно окатывало теплой волной. Их головы совсем сблизились, и когда от случайного порыва ветра волосы Руфи касались его щеки, печатные строчки начинали расплываться у него перед глазами.

— По-моему, вы не слушаете того, что читаете, — сказала Руфь, когда он вдруг сбился, потеряв место, которое читал.

Мартин поглядел на нее горящими глазами, но, не выдав себя, ответил:

— И вы тоже не слушаете. О чем говорилось в последнем сонете?

— Не знаю, — засмеялась она. — Я уже забыла. Не стоит больше читать. Уж очень хорош день.

— Нам теперь долго не придется гулять,— сказал он серьезно,— вон там, на горизонте, собирается буря.

Книга выскользнула из его рук, и они молча сидели, глядя на дремлющий залив мечтательными невидящими глазами. Руфь мельком взглянула на шею Мартина. Какая-то сила, более властная, чем закон тяготения, могучая, как судьба, вдруг повлекла ее. Всего на один дюйм ей надо было склониться, чтобы коснуться плечом его плеча, и это случилось помимо ее воли. Она коснулась его так легко, как бабочка касается цветка, и тут же почувствовала ответное прикосновение, такое же легкое, почувствовала, как при этом прикосновении дрожь прошла по всему его телу. Ей надо было отодвинуться в эту минуту. Но она уже не повиновалась себе. Все, что она делала, делалось автоматически, без участия ее воли, да она и не заботилась уже ни о чем, охваченная радостным безумием.

Рука Мартина нерешительно протянулась и обняла ее талию. Она ждала с мучительным наслаждением, ждала, сама не зная чего; губы ее пересохли, сердце стучало, кровь горела в ней. Объятие Мартина стало крепче, он медленно и нежно привлекал ее к себе. Она не могла больше ждать. Она судорожно вздохнула и безотчетным движением уронила голову к нему на грудь. Мартин быстро наклонился, и губы их встретились.

Это, должно быть, любовь, подумала Руфь, когда на один миг к ней вернулось сознание. Если это не любовь, это слишком постыдно. Конечно, это могла быть только любовь. Она любила этого человека, руки которого обнимали ее, а губы прижимались к ее губам. Она прильнула к нему еще крепче инстинктивным, прилаживающимся движением, и вдруг, почти вырвавшись из его объятий, решительно и самозабвенно обхватила руками загорелую шею Мартина Идена. И так сильна, так остра была радость удовлетворенного желания, что в следующее мгновение с тихим стоном она разжала руки и почти без чувств пошла в его объятиях.

Еще долго не было сказано ни одного слова. Дважды он наклонялся и целовал ее, и каждый раз ее губы робко тянулись навстречу и тело инстинктивно искало уютной, покойной позы. Она была не в силах оторваться от него,

и Мартин молча сидел, держа ее в объятиях и устремив невидящий взгляд на огромный город по ту сторону залива. На этот раз никакие видения не возникали перед ним. Он видел только краски и яркие лучи, жаркие, как этот чудесный день, горячие, как его любовь. Он склонился к ней; она заговорила.

— Когда вы полюбили меня? — спросила она шепотом.

— С первого дня, с самой первой минуты, как только я вас увидел. Еще тогда полюбил и с тех пор с каждым днем любил все сильнее. А теперь еще сильнее люблю, дорогая. Я совсем сошел с ума. У меня голова кружится от счастья.

— Мартин... дорогой. Как я рада, что я женщина, — сказала она, глубоко вздохнув.

Он снова крепко сжал ее в объятиях, потом тихо спросил:

— А вы, когда вы поняли впервые?

— О, я поняла это давно, почти сразу!

— Значит, я был слеп, как летучая мышь! — вскричал Мартин, и в его голосе прозвучала досада. — Я догадался об этом только теперь, когда поцеловал вас.

— Я не то хотела сказать. — Она слегка отодвинулась и взглянула на него. — Я поняла уже давно, что вы меня любите.

— А вы? — спросил он.

— Мне это открылось как-то вдруг. — Она говорила очень тихо, взгляд ее потеплел и затуманился, щеки порозовели. — Я не понимала до тех пор, пока... пока вы не обняли меня. И я никогда до этой минуты не думала, что могу стать вашей женой, Мартин. Чем вы приворожили меня?

— Не знаю, — улыбнулся он. — Разве только своей любовью. Моя любовь могла бы растопить камень, а не то что сердце живой женщины.

— Это так все не похоже на любовь, как я ее себе представляла, — растерянно произнесла она.

— Как же вы себе ее представляли?

— Я не думала, что она такая.

Она секунду смотрела в его глаза и потом сказала, потупившись:

— Я совсем ничего не понимала.

Ему снова захотелось привлечь Руфь к себе, но он медлил, боясь испугать ее, и только рука, обнимавшая ее, невольно чуть дрогнула. Тогда она сама потянулась к нему, и губы их опять слились в долгом поцелуе.

— Что скажут мои родители? — спросила она вдруг с внезапной тревогой.

— Не знаю. Но это нетрудно узнать, как только мы пожелаем.

— А если мама не согласится? Я ни за что не решусь сказать ей.

— Давайте я скажу, — храбро предложил он. — Мне почему-то кажется, что ваша мать меня не любит, но это ничего, я сумею покорить ее. Тот, кто покорила вас, может покорить кого угодно. А если это не удастся...

— Что тогда?

— Мы все равно не расстанемся. Но только я уверен, что ваша мать согласится. Она слишком сильно вас любит.

— Я боюсь разбить ее сердце, — задумчиво сказала Руфь.

Мартин хотел сказать, что материнские сердца не так-то легко разбиваются, но вместо этого произнес:

— Ведь любовь самое великое, что есть в мире!

— Вы знаете, Мартин, я иногда боюсь вас. Я и теперь боюсь, когда думаю о том, кто вы и кем вы были раньше. Вы должны быть очень, очень хорошим со мной. Помните, что я в сущности еще дитя! Я ведь еще никого не любила!

— И я тоже. Мы оба дети. И мы очень счастливы. Ведь наша первая любовь оказалась взаимной!

— Но этого не может быть, — вскричала она вдруг, высвобождаясь из его рук быстрым, порывистым движением, — не может быть, чтобы вы... Ведь вы были матросом, а матросы, я знаю...

Ее голос осекся.

— Привыкли иметь жен в каждом порту, — закончил он за нее. — Вы это хотели сказать?

— Да, — тихо отвечала она.

— Но ведь это же не любовь, — возразил он авторитетным тоном. — Я побывал во многих портах, но я никогда не испытывал ничего похожего на любовь, пока не встретился с вами. Знаете, когда я возвращался от вас в первый раз, меня чуть-чуть не забрали.

— Как забрали?

— Очень просто. Полисмен подумал, что я пьян. Я был и в самом деле пьян... от любви!

— Но мы уклоняемся. Вы сказали, что мы оба дети, а я сказала, что этого не может быть. Вот о чем шла речь.

— Я же вам ответил, что никого раньше не любил,— возразил он,— вы моя первая, моя самая первая любовь.

— А все-таки вы были матросом,— настаивала она.

— И тем не менее полюбил я вас первую.

— Да, но ведь были женщины... другие женщины... О! — И, к великому удивлению Мартина, она вдруг залилась слезами, так что понадобилось немало поцелуев, чтобы успокоить ее.

Мартину невольно пришли на память слова Киплинга: «Но знатная леди и Джуди О'Греди во всем остальном равны». Он подумал, что в сущности это верно, хотя романы, читанные им, заставляли его думать иначе. По этим романом он составил себе представление, что в высшем обществе единственный путь к женщине — формальное предложение руки и сердца. В том кругу, из которого он вышел, для девушек и юношей объятия и поцелуи были обыкновенным делом. Но среди утонченных представителей высшего класса подобные способы выражения любви казались ему невозможными. Значит, романы лгали. Он только что получил этому доказательство. Одни и те же безмолвные ласки производят одинаковое впечатление и на бедных работниц и на девушек высшего общества. Несмотря на несходство положений, они «во всем остальном равны». Он мог бы и сам додуматься до этого, если бы вспомнил Герберта Спенсера. И, утешая Руфь ласками и поцелуями, Мартин с удовольствием останавливался на мысли о том, что знатная леди и Джуди О'Греди в сущности равны во всем. Эта мысль приближала к нему Руфь, делала ее доступнее. Ее прекрасное тело было все же телом, таким же, как и у всех людей. Ничего невозможного не было в их браке. Классовое различие оставалось единственным различием между ними, но и оно было в конце концов чисто внешним. Им можно было пренебречь. Читал же Мартин об одном римском рабе, который возвысился до пурпурной тоги. Раз это было, почему же и ему не возвыситься до Руфи? При всей своей чистоте, непороч-

ности, культуре и душевном изяществе она была самой настоящей женщиной, такой же, как Лиззи Конолли и все Лиззи Конолли на свете. Все, что было возможно для них, было возможно и для нее. Она могла любить, ненавидеть; быть может, даже ей случалось биться в истерику; наконец, она могла ревновать, уже ревновала, думая о его недавних портовых любовниках.

— А кроме того, я старше вас,— вдруг сказала она, взглянув ему в глаза,— я старше вас на три года.

— И все-таки вы дитя. А по житейскому опыту я старше вас на тридцать три года,— возразил Мартин.

В действительности оба они были детьми во всем, что касалось любви; и по-детски, неумело и наивно, выражали свои чувства, несмотря на ее университетский диплом и ученую степень и несмотря на его философские познания и суровый жизненный опыт.

Они сидели, озаренные сиянием меркнувшего дня, разговаривая так, как обычно разговаривают влюбленные; дивились могучему чуду любви и судьбе, которая свела их, и твердо верили, что любят так, как никто еще никогда не любил на свете. Они беспрестанно вспоминали свою первую встречу, стараясь воскресить свои впечатления друг от друга, стараясь точно восстановить, что они тогда подумали и почувствовали.

Облака на западе поглотили заходящее солнце. Небо над горизонтом стало розовым, все кругом потонуло в этом розовом свете, и Руфь тихонько запела «Прощай, счастливый день». Она пела, положив голову ему на плечо, и ее руки были в его руках, и каждый из них в этот миг держал в своей руке сердце другого.

Глава двадцать вторая

Даже если бы миссис Морз не обладала материнской чуткостью, она и тогда бы легко догадалась обо всем, только взглянув на Руфь. Красноречивее всяких слов был румянец, заливавший ее щеки, и блестящие глаза, отражавшие радость и победное ликование.

— Что случилось? — спросила миссис Морз, дождав-
шись, когда Руфь легла в постель.

— Ты догадалась? — спросила в свою очередь Руфь
дрожащим голосом.

Вместо ответа мать нежно обняла ее и провела рукой
по ее волосам.

— Он ничего не сказал! — воскликнула Руфь. — Я со-
всем не хотела, чтобы это случилось, и я бы ни за что не
позволила ему говорить, — но он ничего не сказал.

— Но если он ничего не сказал, то ничего и не могло
случиться.

— И все-таки случилось.

— Ради бога, дитя мое, что ты болтаешь! — произ-
несла миссис Морз. — В чем дело? Что такое случилось?
Руфь с изумлением посмотрела на мать.

— Я думала, что ты уже догадалась, — сказала она. —
Мы с Мартином жених и невеста.

Миссис Морз разразилась смехом, в котором слыша-
лись недоверие и досада.

— Но он ничего не сказал, — продолжала Руфь. — Он
просто любит меня, вот и все. Для меня это было так же
неожиданно, как для тебя. Он не сказал ни слова. Он про-
сто обнял меня, и я... я совсем потеряла голову. Он поце-
ловал меня, и я его поцеловала... Я не могла иначе. Я дол-
жна была его поцеловать. И тут я поняла, что люблю его.

Руфь умолкла, ожидая, что мать ее приласкает, но
миссис Морз хранила зловещее молчание.

— Конечно, это ужасно, я понимаю, — снова начала
Руфь упавшим голосом. — Я не знаю, сможешь ли ты про-
стить меня. Но я не могла иначе. Я до той минуты не по-
дозревала, что люблю его. Только ты сама скажи об этом
отцу.

— А может быть, лучше ничего не говорить отцу?
Я сама поговорю с Мартином Иденом и объясню ему все.
Он поймет и освободит тебя от данного слова.

— Нет, нет! — вскричала Руфь с живостью. — Я не хо-
чу, чтобы он освобождал меня. Я люблю его, а любить так
хорошо. Я выйду за него замуж, — конечно, если вы мне
позволите.

— У нас с твоим отцом несколько другие планы, Руфь,
милая... нет, нет, нет, ты не думай, что мы тебе кого-ни-

будь навязываем. Но просто мы хотим, чтобы ты вышла за человека нашего круга, за настоящего джентльмена, почтенного и уважаемого, которого ты сама выберешь и полюбишь.

— Но ведь я уже люблю Мартина,— жалобно возразила Руфь.

— Мы вовсе не хотим влиять на твой выбор; но ты наша дочь, и мы не можем спокойно позволить тебе выйти замуж за такого человека. Ничем, кроме грубости и невоспитанности, он не может ответить на всю твою нежность и деликатность. Он тебе не пара ни в каком отношении. Ему не на что даже содержать тебя. Мы не гонимся за богатством, но комфорт и известное благосостояние муж обязан дать жене; и наша дочь должна выйти замуж за человека, который может ей это обеспечить, а не за нищего авантюриста, матроса, ковбоя, контрабандиста и бог знает кто он там еще. К тому же это необыкновенно легкомысленный человек, совершенно лишенный чувства ответственности.

Руфь молчала, сознавая, что мать говорит правду.

— Он тратит время на свои писания и хочет достигнуть того, чего редко достигают даже особо одаренные и высоко образованные люди. Человек, думающий о женитьбе, должен как-то подготовиться к такому шагу. А у него этого и в мыслях нет. Я уже сказала — и я знаю, ты согласишься со мной, — что у него нет чувства ответственности. Да и откуда оно возьмется? Все матросы таковы. Он никогда не старался быть бережливым и воздержанным. Привык тратить не считая, и это уже вошло у него в плоть и кровь. Конечно, тут не его вина, но это не меняет дела. А подумала ли ты о его прежней жизни, разгульной и распушенной, — она не могла быть иной. А ты знаешь, моя девочка, что такое брак?

Руфь вздрогнула и прижалась к матери.

— Я думала... — Руфь надолго замолчала, подыскивая слова. — Это, конечно, ужасно. Мне так тяжело об этом думать. Я сознаю, что моя любовь — большое несчастье, но я ничего не могу поделать с собою. Могла ты не полюбить папу? Вот и со мной то же самое. Что-то есть такое в нем и во мне — до сегодняшнего дня я не понимала этого, но что-то есть, что заставляет меня любить его.

Я никак не думала, что полюблю его, а вот — полюбила, — заключила она с оттенком торжества в голосе.

Еще долго тянулся этот бесплодный разговор, и в конце концов они решили подождать некоторое время, ничего не предпринимая.

С этим решением согласился час спустя и мистер Морз, после того, как жена рассказала ему о неожиданном результате, к которому привела ее хитрость.

— Иначе и быть не могло, — заявил мистер Морз, — ведь, кроме этого грубого матроса, она не знала близко ни одного мужчины. Рано или поздно женщина должна была проснуться в ней. Она проснулась, и, извольте радоваться, рядом оказался этот малый... Ясно, что она немедленно влюбилась в него, или по крайней мере вбила это себе в голову, что в конце концов одно и то же.

Миссис Морз сказала, что попробует воздействовать на Руфь косвенным путем, вместо того чтобы прямо противиться ее желанию. Времени для этого достаточно, так как Мартин в данный момент не может и думать о женитьбе.

— Пусть себе видится с ним сколько хочет, — решил мистер Морз. — Чем ближе она его узнает, тем вернее разлюбит. Надо дать ей возможность сравнить его с кем-нибудь. Надо собирать у нас в доме побольше молодежи, девушек и молодых людей нашего круга, культурных и воспитанных, настоящих джентльменов. Рядом с ними он будет выглядеть иначе. Она увидит его в настоящем свете. А потом в конце концов — он просто мальчишка. Ведь ему всего двадцать один год. Руфь тоже совершенный ребенок. Это просто детская влюбленность, и со временем она пройдет.

На том и порешили. В семейном кругу признали, что Мартин и Руфь помолвлены, но оглашения не делали. Родители втайне считали, что это и не понадобится. Само собою разумелось, что помолвка будет весьма продолжительной. Мартину ничего не говорили о необходимости изменить образ жизни и приняться за серьезную работу; ему никто не советовал прекратить писать. В планы семьи не входило способствовать его жизненным успехам. А сам Мартин только лил воду на мельницу своих недоброжелателей, так как меньше всего думал о приискании солидных занятий.

— Не знаю, одобрите ли вы мои начинания,— сказал Мартин Руфи несколько дней спустя.— Я решил, что жить у сестры мне не по карману, и хочу устроиться самостоятельно. Я уже снял комнату в Северном Окленде, в очень тихом доме, и купил керосинку — буду сам себе стряпать.

Руфь пришла в восторг. Особенно ей понравилась керосинка.

— Вот и мистер Бэтлер с этого начал,— сказала она.

Мартин слегка нахмурился при упоминании имени до-
стопочтенного джентльмена и продолжал:

— Я наклеил марки на все свои рукописи и разослал их опять по редакциям. Сегодня перееду на новую квартиру, а с завтрашнего дня начинаю работать.

— Вы поступили на службу! — вскричала она, всем своим существом откликаясь на радостную весть, придвигаясь ближе, улыбаясь, сжимая его руку.— Что же вы мне ничего не сказали! Что это за служба?

Но Мартин отрицательно качнул головой.

— Я хотел сказать, что с завтрашнего дня опять начну писать.— Ее лицо вытянулось, и он торопливо продолжал: — Поймите меня правильно. На этот раз я не буду предаваться радужным мечтам. Мною руководит холодный, прозаический, чисто деловой расчет. Это лучше, чем снова отправляться в плавание, и я уверен, что заработаю гораздо больше, чем рядовой оклендский служащий. За последние месяцы у меня было время многое обдумать. Я не работал, как ломовая лошадь, и я почти ничего не писал, а если и писал, то не для печати. Все свое время я отдавал любви к вам и размышлениям о разных вещах. Кое-что, правда, читал, но это было непосредственно связано с моими размышлениями,— читал главным образом журналы. Я думал о себе, о мире, о своем месте в нем и о том, какие у меня есть шансы добиться положения, которое я мог бы предложить вам. Кроме того, я прочел «Философию стиля» Спенсера и нашел там очень много интересного, имеющего прямое отношение ко мне,— вернее, к моим писаниям, а также и к той литературе, которая каждый месяц печатается в журналах. И вот к чему я пришел в результате всего этого — размышлений, чтения и любви к вам: я решил сделаться литературным ремесленником.

На время забуду о шедеврах и буду писать всякий вздор: фельетоны, анекдоты, стишки на злобу дня, юмористику,— вообще все, на что есть спрос. Ведь существуют же литературные агентства, которые поставляют материал для газет, для страниц юмора, для воскресных приложений. Я буду мастерить то, что им требуется, и, уверяю вас, начну неплохо зарабатывать. Есть молодчики, которые выгоняют в месяц четыреста, а то и пятьсот долларов. Я не собираюсь уподобляться им; но во всяком случае я заработаю на жизнь, и у меня еще будет время для своей работы и для учения, чего никакая служба не даст. Понемногу я начну пробовать свои силы на настоящих вещах и буду учиться и готовиться к настоящей работе. Знаете, я сам изумляюсь, как сильно я подвинулся. Когда я в первый раз попробовал писать, мне в сущности и писать было не о чем. Я просто описывал разные происшествия, не умея даже понять и осмыслить их по-настоящему. Никаких идей, никаких мыслей у меня не было. У меня не было даже слов, которыми я бы мог мыслить. Все, что я пережил, рисовалось мне в виде ряда картин, лишенных всякого значения. Но когда я начал учиться и увеличил свой словесный запас, я стал прозревать во всех этих картинах многое такое, чего раньше не замечал. Вот тогда-то я начал писать настоящие вещи: я написал «Приключение», «Радость», «Котел», «Вино жизни», «Веселую улицу», «Сонеты о любви» и «Песни моря». Я напишу еще очень многое в таком роде, и даже гораздо лучше, но я буду заниматься этим лишь в свободное время. Я теперь больше не витаю в облаках. Сначала черная работа для заработка, а уж потом шедевры. Вчера вечером, специально чтобы доказать вам, что я прав, я написал с полдюжины мелочей для юмористических еженедельников, а когда уже ложился спать, мне пришло в голову попробовать себя на шуточных куплетах, и в какой-нибудь час я написал целых четыре штуки. Можно получить по доллару за штуку. Заработать четыре доллара между делом, ложась спать,— право, это не так уж плохо. Конечно, такая работа сама по себе не имеет никакой ценности. Это скучно и однообразно, но не скучнее, чем всю жизнь вести конторские книги и складывать бесконечные столбцы цифр за шестьдесят долларов в

месяц. Притом эта работа все-таки имеет отношение к литературе и даст мне возможность писать настоящие вещи.

— Но какой смысл писать эти настоящие вещи, эти шедевры? — спросила Руфь. — Ведь вы же не можете продать их?

— Не скажите... — начал он.

Она перебила его:

— Из всего того, что вы перечислили и что вам так нравится самому, вы до сих пор не продали ни одной строчки. Мы не можем пожениться в расчете на шедевры, которых никто не покупает.

— Ну, так мы поженемся в расчете на куплеты, которые будут покупать все, — упрямо сказал он и обнял ее. Но Руфь на этот раз не была расположена к ласкам. — Вот, послушайте, — намеренно весело сказал он, — это не искусство, но это доллар:

Меня не было дома,
Когда мой знакомый
Зашел ко мне денег занять.
Меня не было дома,
И мой знакомый
Стал тут же меня ругать.
Но раз меня не было дома, —
Я об этом не мог узнать.

Веселый, приплясывающий ритм стихов не вязался с обескураженным выражением, которое постепенно принимало его лицо. Руфь не улыбнулась. Она смотрела на него сумрачно.

— Может быть, за это и дадут доллар, — сказала она, — но это доллар рыжего в цирке. Как вы не понимаете, Мартин, что это унижительно для вас. Мне бы хотелось, чтобы любимый и уважаемый мною человек был занят более серьезным и достойным делом, чем сочинение рифмованного вздора.

— Вы бы хотели, чтобы он был похож на мистера Бэтлера? — спросил Мартин.

— Я знаю, что вы не любите мистера Бэтлера, — начала она.

— Мистер Бэтлер прекрасный человек, — перебил он. — В нем все хорошо, кроме несварения желудка. Но, право, я не понимаю, почему сочинять куплеты хуже, чем

стучать на машинке или потеть над конторскими книгами? И то и другое лишь средство для достижения цели. Вы хотите, чтобы я начал с корпенья над книгами и в конце концов сделался каким-нибудь адвокатом или коммерсантом. А я хочу начать с мелкой газетной работы и стать впоследствии большим писателем.

— Тут есть разница,— настаивала Руфь.

— В чем же?

— Да хотя бы в том, что вы никак не можете продать те свои произведения, которые считаете удачными. Вы ведь пробовали неоднократно, а редакторы не покупают у вас ничего.

— Дайте мне время, дорогая,— сказал Мартин умоляюще.— Эта работа — только пока, и я ее всерьез не принимаю. Дайте мне года два. За эти два года я достигну успеха, и все мои произведения будут нарасхват. Я знаю, что говорю. Я верю в себя и прекрасно знаю, на что я способен. Я знаю, что такое литература, я знаю, какой дрянью ничтожные писаки наводняют газеты и журналы. И я уверен, что через два года я буду на пути к успеху и к славе. А деловой карьеры я никогда не сделаю. У меня к ней не лежит сердце. Она представляется мне чем-то скучным, мелочным, тупым и бессмысленным. Во всяком случае я для нее не гожусь. Мне никогда не пойти дальше простого клерка, а разве мы можем быть счастливы, живя на жалкое конторское жалованье? Я хочу добиться для вас самого лучшего, что только есть на свете, и добьюсь во что бы то ни стало. Добьюсь! Знаменитый писатель своими заработками даст десять очков вперед всякому мистеру Бэтлеру. Знаете ли вы, что книга, которая «пошла», может дать автору пятьдесят тысяч долларов, а то и все сто. Иногда немножко больше, иногда немножко меньше, но в среднем около этого.

Руфь молчала. Она была очень огорчена и не скрывала своего огорчения.

— Плохо ли? — спросил он.

— У меня были совсем другие надежды и планы. Я считала и сейчас считаю, что вам всего лучше было бы научиться стенографии — писать на машинке вы умеете — и поступить в папину контору. У вас большие способности, и я уверена, что вы могли бы стать хорошим юристом.

Мартин не стал меньше любить и уважать Руфь от того, что она проявляла такое недоверие к его писательскому дару. За время своих «каникул» Мартин очень много думал о себе и анализировал свои чувства. Он окончательно убедился, что красота для него дороже славы и что прославиться ему хотелось лишь для Руфи. Ради нее он так настойчиво стремился к славе. Он мечтал возвеличиться в глазах мира, чтобы любимая женщина могла гордиться им и счесть его достойным.

А сам Мартин настолько любил красоту, что находил достаточное удовлетворение в служении ей. И еще больше он любил Руфь. Любовь казалась ему прекраснее всего в мире. Не она ли произвела в его душе этот великий переворот, превратив его из неотесанного матроса в мыслителя и художника? Что ж удивительного, что любовь представлялась ему выше и наук и искусств. Мартин начинал уже сознавать, что в области мысли он сильнее Руфи, сильнее ее братьев, сильнее ее отца. Несмотря на все преимущества университетского образования, несмотря на свое звание бакалавра искусств, Руфь не могла и мечтать о таком понимании мира, искусства, жизни, каким обладал Мартин, самоучка, еще с год назад не знавший ничего.

Все это он понимал, но это отнюдь не влияло ни на его любовь к ней, ни на ее любовь к нему. Любовь была слишком прекрасным, слишком благородным чувством, и Мартин, как истый влюбленный, считал невозможным оскорблять его критикой. Какое дело любви до взглядов Руфи на искусство, на французскую революцию или на всеобщее голосование? Все это относится к рассудку, а любовь выше рассудка. Мартин не мог унижать любовь, потому что он боготворил ее. Любовь обитала на недосягаемых горных вершинах, высоко над долинами разума. Она была квинтэссенцией жизни, высшей формой существования и не всякому выпадала на долю. Научная философия излюбленных им авторов раскрыла ему биологическое значение любви; но, продолжая развивать для себя их основные положения, он пришел к выводу, что именно

в любви человеческий организм вполне оправдывает свое назначение, а потому любовь должна приниматься без всяких оговорок, как высшее благо жизни. Влюбленный представлялся Мартину существом, отмеченным благодатью, и ему приятен был образ «юноши, одержимого любовью», для которого уже не имеют цены все земные блага — богатство, знания, успех, — не имеет цены сама жизнь, ибо он «в поцелуе умереть готов».

Мысли подобного рода приходили Мартину в голову и раньше, до многого же он додумался лишь теперь. Но все это время он не переставал работать, ведя спартанский образ жизни и позволяя себе отвлекаться от занятий лишь для того, чтобы повидаться с Руфью. За комнату, которую он снимал у португалки по имени Мария Сильва, он платил в месяц два с половиной доллара. Португалка, особа довольно сварливого нрава, была вдовой и неустанно трудилась, чтобы прокормить многочисленных детишек, заливая подчас свое горе бутылкой кислого вина, купленного в соседнем погребе за пятнадцать центов. Сначала Мартин возненавидел ее, в особенности его раздражал ее язык, но потом он начал восхищаться мужеством и упорством, с каким она вела тяжкую борьбу за существование. В домике было всего четыре маленьких комнатки, и одну из них занял Мартин. Другая комната служила гостиной, ей придавал веселый вид пестрый половик, покрывавший пол, но фотография одного из умерших малюток в гробу вносила скорбную ноту. Гостиная предназначалась только для гостей, ставни в ней всегда были затворены, и босоногая команда допускалась туда лишь в особо торжественных случаях. Мария стряпала на кухне, там же все семейство ело, и там же она стирала, гладила, трудилась не покладая рук изо дня в день, кроме воскресенья. Она стирала на соседей, и это служило главным источником ее дохода. Спальня была так же мала, как и комната, занимаемая Мартином, и в ней ютилась сама Мария и семеро ребятишек. Мартину казалось совершенно необъяснимым, как они там все размещались; по вечерам он слышал за тонкой перегородкой их возню, визг и писк, напоминавший чириканье птенцов. Другим источником дохода Марии были две коровы, которых она доила утром и вечером и которые паслись на пустыре или контра-

бандой пощипывали травку, растущую по обочинам дороги. Два оборванных мальчугана, дети хозяйки, пасли коров — иначе говоря, зорко смотрели, чтобы они не попались на глаза полисменам.

В своей тесной каморке Мартин спал, учился, писал, думал, занимался хозяйством. Перед единственным окном, выходящим на крыльцо, стоял кухонный стол, который служил и письменным столом, и библиотекой, и подставкой для пишущей машинки. Кровать, поставленная у задней стены, занимала две трети комнаты. Рядом со столом стояла шифоньерка, которую, видно, изготовляли, заботясь больше о прибыли, чем об удобствах потребителя; покрывающий ее тонкий слой фанеры весь покоробился. Шифоньерка эта стояла в одном углу, а в другом была кухня — ящик из-под мыла, на котором стояла керосинка, а внутри хранилась посуда и кухонные принадлежности, над ним полка для провизии, и рядом ведро с водой; в комнате не было водопроводного крана, и за водою нужно было ходить на кухню. Дни большой стряпни, когда горячий пар наполнял комнату, особенно болезненно отзывались на поверхности шифоньерки. Над кроватью Мартин повесил велосипед. Сначала он его оставлял внизу, но ребяташки Сильвы отвинчивали педали и прокалывали шины. Тогда он попробовал пристроить его на крылечке, но крылечко было крошечное и не могло служить надежной защитой от дождя, а потому в конце концов Мартину пришлось перетащить велосипед в комнатку и подвесить под потолком.

В маленьком стенном шкафу висела одежда и лежали книги, которые не помещались уже ни на столе, ни под столом. Читая, Мартин имел обыкновение делать заметки, и их накопилось так много, что пришлось протянуть через всю комнату веревки и развесить на них тетрадки наподобие сохнувшего белья. Вследствие этого передвигаться по комнате стало довольно затруднительно. Он не мог отворить двери, не затворив предварительно дверцу шкафа, и наоборот. Пройти через комнату по прямой линии нельзя было нигде. Чтобы от двери дойти до изголовья кровати, надо было совершить сложный зигзагообразный путь, и в темноте Мартин всегда на что-нибудь натывался. Благополучно сманеврировав со входной дверью

и дверцей шкафа, приходилось круто забрать вправо, чтобы не наткнуться на кухонный ящик; потом повернуть влево, огибая кровать, причем малейшее отклонение от курса грозило столкновением со столом. Искусно лавируя, можно было войти в канал, одним берегом которого являлся стол, а другим кровать. Но когда единственный стул стоял на своем месте, перед столом, этот канал становился несудоходным. Когда стул не был в употреблении, он стоял на кровати; впрочем, Мартин нередко стряпал сидя, так как, пока кипела вода или жарилось мясо, он успевал прочесть две-три страницы. Угол, занимаемый кухней, был так мал, что Мартин мог, не вставая со стула, достать все необходимое. Стряпать сидя было даже удобнее: стоя Мартин все время сам себе загораживал свет.

Мартин знал несколько блюд, питательных и дешевых в одно и то же время, да кроме того его могучий желудок переваривал все что угодно. Основой его питания был гороховый суп, картофель и крупные коричневые бобы, приготовленные по мексиканскому способу. Рис, сваренный так, как не сумела бы сварить ни одна американская хозяйка, появлялся на столе непременно хоть раз в день. Вместо масла Мартин варил и ел с хлебом сушеные фрукты, которые были в два раза дешевле свежих. Иногда он разнообразил меню куском мяса или супом из костей. Два раза в день он пил кофе без сливок или молока, а вечером пил чай; но и тот и другой напиток были приготовлены артистически.

Мартину поневоле приходилось быть расчетливым. Его каникулы поглотили почти все, что он заработал в прачечной, а свои «доходные» произведения он отправил так далеко, что ответ мог прийти лишь через несколько недель. Он жил затворником и нарушал свое уединение лишь для того, чтобы навестить сестру или повидаться с Руфью. Работал он за троих. Спал попрежнему всего пять часов, и только его железное здоровье давало ему возможность выносить ежедневное девятнадцатичасовое напряжение труда. Мартин не терял ни одной минуты. За рамку зеркала он затыкал листочки с объяснениями некоторых слов и с обозначением их произношения: когда он брился или причесывался, он повторял эти слова.

Такие же листочки висели над керосинкой, и он заучивал их, когда стряпал или мыл посуду. Листки все время сменялись. Встретив при чтении непонятное слово, он немедленно лез в словарь и выписывал слово на листочек, который вывешивал на стене или на зеркале. Листочки со словами Мартин носил и в кармане и заглядывал в них на улице или дожидаясь очереди в лавке.

Эту систему Мартин применял не только к словам. Читая произведения авторов, достигших успеха, он отмечал все особенности их стиля, изложения, построения сюжета, характерные выражения, сравнения, остроты — одним словом, все, что могло способствовать успеху. И все это он выписывал и изучал. Он не стремился подражать. Он только искал каких-то общих принципов. Он составлял длинные списки литературных приемов, подмеченных у разных писателей, что позволяло ему делать общие выводы о природе литературного приема, и, отталкиваясь от них, он вырабатывал собственные, новые и оригинальные приемы и учился применять их с тактом и мерой. Точно так же он собирал и записывал удачные и красочные выражения из живой речи — выражения, которые жгли, как огонь, или, напротив, нежно ласкали слух, яркими пятнами выделяясь среди унылой пустыни обывательской болтовни. Мартин всегда и везде искал принципов, лежащих в основе явления. Он старался понять, как явление создается, чтобы иметь возможность самому создавать его. Он не довольствовался созерцанием дивного лика красоты; в своей тесной камерке, наполненной кухонным чадом и криками хозяйских ребятишек, он, как химик в лаборатории, старался разложить красоту на составные части, понять ее строение. Это должно было помочь ему творить красоту.

Мартин мог работать только сознательно. Такова была его натура; он не мог работать, как слепой, не зная, что выходит из-под его рук, полагаясь только на случай и на звезду своего таланта. Случайные удачи не удовлетворяли его. Он хотел знать, «как» и «почему». Его творчество было творчеством осмысленным, и, принимаясь за рассказ или стихи, Мартин уже держал в голове план всего произведения, ясно представлял себе и свою цель и те художественные средства, которыми он

располагает для достижения этой цели. Без этого его попытки были обречены на неудачу. С другой стороны, он воздавал должное и тем случайным словам и сочетаниям слов, которые вдруг ярко вспыхивали в его мозгу и впоследствии с честью выдерживали испытание, не только не вредя, но даже способствуя красоте и цельности произведения. Перед подобными находками Мартин преклонялся с восхищением, видя в них проявление чего-то большего, чем сознательное творческое усилие. И, исследуя красоту и стараясь доискаться до законов прекрасного, Мартин чувствовал, что есть в ней что-то сокровенное, куда ему не удастся проникнуть и куда не проникал еще ни один человек. Он твердо знал из сочинений Спенсера, что конечной сущности вещей человек не в силах постигнуть и тайна красоты столь же непостижима, как и тайна жизни, может быть даже еще непостижимее; что красота и жизнь сплетаются между собою, а сам человек — частица этого удивительного сплетения звездной пыли, солнечных лучей и еще чего-то неведомого.

Под влиянием этих мыслей Мартин написал однажды статью, озаглавленную «Звездная пыль», в которой он нападал не на основы критики, а на основных критиков. Это было блестящее, глубокомысленное произведение, исполненное изящества и юмора. Впрочем, и оно было немедленно отклонено всеми журналами, куда он послал его. Но Мартин, освободившись от беспокоивших его мыслей, продолжал идти своей дорогой. Он давно уже приучил себя хорошенько вынашивать, додумывать до конца каждую рождавшуюся у него мысль и затем излагать ее на бумаге. Его не слишком огорчало, что ни одна его строчка до сих пор не была напечатана. Писание было для него заключительным звеном сложного умственного процесса, последним узлом, которым связывались отдельные разрозненные мысли, подытоживанием накопившихся фактов и положений. Написав статью, он освобождал в своем мозгу место для новых идей и проблем. В конце концов это было нечто вроде присущей многим привычки периодически «облегчать свою душу словами» — привычки, которая помогает иногда людям переносить и забывать подлинные или вымышленные страдания.

Шли недели. Деньги у Мартина были на исходе, а издательские чеки все не появлялись. Серьезные рассказы неизменно возвращались обратно, не лучше обстояло дело и с произведениями «доходными». Разнообразные кушанья уже не готовились в его маленькой кухне, так как у него оставалось всего с полмешка рису и немного сушеных абрикосов. Этим он и питался в течение пяти дней. Потом он решил прибегнуть к кредиту. Лавочник португалец перестал отпускать провизию, как только долг Мартина достиг внушительной суммы в три доллара и восемьдесят пять центов.

— Потому что,— сказал лавочник,— у вас нэт работа. Как вы мне будэт заплатить?

Мартин ничего не мог возразить на это. Рассуждения лавочника были вполне логичны. Разве можно было открывать кредит молодому здоровому малому из рабочих, по лени не желающему искать работы.

— Заработаешь дэньга — будэт обэд,— говорил лавочник.— Нэт монэт — нэт обэд. Такая дела...

И чтобы доказать Мартину, что тут нет личного убеждения, португалец прибавил:

— Давай выпэй. Одна стакана. Я угощай. Ты друг, я друг.

И Мартин выпил стаканчик в подтверждение дружбы и лег спать не поужинав.

Овощи Мартин покупал в другой лавке, и хозяин американец, будучи менее тверд в своих коммерческих принципах, довел кредит Мартина до пяти долларов, после чего тоже прекратил отпуск товара в долг. Булочник остановился на двух долларах, а мясник — на четырех. Сложив все свои долги, Мартин определил их общую сумму в четырнадцать долларов и восемьдесят пять пенсов. Подошел уже срок платежа и за пишущую машинку, но Мартин решил, что два месяца вполне сможет пользоваться ею в долг, что составит еще восемь долларов. Когда пройдет и этот срок, все кредитные возможности будут исчерпаны.

Последней его покупкой в овощной лавке был мешок картофеля, и целую неделю Мартин ел одну картошку

по три раза в день. Время от времени он обедал у Морзов и этим поддерживал немного свои силы, хотя, глядя на множество расставленных на столе яств и из вежливости отказываясь от лишнего куска, он испытывал танталовы муки. Иногда, поборов стыд, Мартин отпраплялся в обеденное время к своей сестре и там ел столько, сколько осмеливался,—впрочем, все-таки больше, чем у Морзов.

День за днем продолжал он все так же упорно работать, и день за днем почтальон приносил ему отвергнутые рукописи. Денег на марки больше не было, и возвращенные рукописи грудой валялись под столом. Однажды случилось так, что у него почти двое суток не было куска во рту. На обед у Морзов он не мог рассчитывать, так как Руфь на две недели уехала гостить в Сан-Рафаэль, а пойти к сестре ему мешал стыд. В довершение бед почтальон принес ему пять рукописей сразу. Тогда Мартин взял свое пальто, поехал в Окленд и через некоторое время вернулся домой уже без пальто, но с пятью долларами в кармане. Каждому из лавочников он уплатил по доллару, и в его кухне опять зашипело поджариваемое с луком мясо, закипел кофе и появился большой горшок вареного чернослива. Пообедав, Мартин сел за стол, и в полночь у него была готова новая статья под названием «Сила ростовщичества». Кончив писать, он швырнул рукопись под стол, потому что от пяти долларов уже ничего не оставалось: купить марок было не на что.

Несколько дней спустя Мартин заложил часы, а потом и велосипед; сэкономив на провизии, он накупил марок и снова разослал все свои рукописи. «Доходные» произведения обманули ожидания Мартина. Никто не покупал их. Сравнивая их с тем, что печаталось в газетах и дешевых еженедельных журнальчиках, он попрежнему находил, что сам пишет гораздо лучше. А все-таки он не мог продать ни одной строчки. Узнав, что большинство газет пользуется так называемым «стереотипным» материалом, он отправил несколько заметок в одну ассоциацию, поставлявшую в газеты подобный материал, но очень скоро получил их обратно вместе с печатным бланком, в котором говорилось, что ассоциация организует материал силами своих штатных сотрудников.

В одном журнале для юношества он увидел целые столбцы анекдотов и маленьких рассказиков, то, что называется «смесью». Вот еще способ заработать деньги! Но и тут он потерпел полную неудачу, все ему было, по обыкновению, возвращено. Впоследствии, когда это уже не имело для него значения, он узнал, что обычно сотрудники редакции пишут такие мелочи сами, ради дополнительного заработка. Юмористические еженедельники возвращали все его шутки и стишки; не находили сбыта и стихотворные фельетоны, которые Мартин посылал в крупные журналы. Оставался еще газетный фельетон. Мартин прекрасно знал, что может написать гораздо лучше, чем то, что печатается, и, узнав адрес двух литературных агентов, завалил их очерками и небольшими рассказами. Но, написав двадцать и не пристроив ни одного, Мартин перестал писать. А между тем изо дня в день он читал десятки рассказов и фельетонов, которые не выдерживали никакого сравнения с его попытками в этом жанре. Доведенный до отчаяния, он решил, наконец, что, загипнотизированный своими произведениями, потерял всякое критическое чутье и способность здраво судить о своем творчестве.

Бесчеловечная издательская машина продолжала свою работу. Мартин вкладывал рукопись в пакет вместе с маркой для ответа и опускал ее в почтовый ящик, а недели три-четыре спустя почтальон звонил у дверей и возвращал ему рукопись. Очевидно, и в самом деле никаких живых людей по указанным адресам не было. Были просто хорошо слаженные, смазанные маслом автоматы. Впав в полное отчаяние, Мартин начал вообще сомневаться в существовании редакторов. Ни один еще не подал признака жизни, а то обстоятельство, что все им написанное неизменно отвергалось без объяснений, как будто подтверждало ту мысль, что редактор — миф, созданный и поддерживаемый усилиями наборщиков, метранпажей и редакционных курьеров.

Часы, которые Мартин проводил у Руфи, были единственными счастливыми часами в его жизни, да и то не всегда. Тревога, постоянно владевшая им, стала еще мучительнее после того, как Руфь открыла ему свою любовь, потому что сама Руфь оставалась такой же недостижимой,

как и прежде. Мартин просил ее подождать два года, но время шло, а он ничего еще не добился. Кроме того, он постоянно чувствовал, что Руфь не одобряет его занятий. Она, правда, не говорила этого прямо, зато косвенно давала понять достаточно определенно. Она не возмущалась, она именно не одобряла, хотя женщина менее кроткого нрава наверняка возмущилась бы тем, что ей доставляло только огорчение. Ее огорчало, что человек, которого она решила перевоспитать, не поддается перевоспитанию. Вначале он показался ей довольно податливым, но потом вдруг заупрямился и не пожелал походить ни на мистера Морза, ни на мистера Бэтлера.

Самого достойного и значительного в Мартине она не замечала или, что еще хуже, не понимала. Этого человека, настолько гибкого, что он мог приспособляться к любым формам человеческого существования, Руфь считала упрямым и своенравным, потому что не могла перекрыть его по своей мерке — единственной, которую знала. Она не могла следовать за полетом его мысли, и когда он достигал высот, ей недоступных, она просто считала, что он заблуждается. Мысли ее отца, матери, братьев и даже Олни ей всегда были понятны, — и потому, не понимая Мартина, она считала, что в этом его вина. Повторялась исконная трагедия одиночки, пытающегося внушить истину миру.

— Вы привыкли благоговеть перед всем, что признано достойным поклонения, — сказал однажды Мартин, поспорив с Руфью о Прапсе и Вандеруотере. — Я согласен, что это надежные и устойчивые авторитеты, их считают лучшими литературными критиками Соединенных Штатов. Каждый школьный учитель смотрит на Вандеруотера как на вождя американской критики. Но я его прочел, и мне он показался типичным образцом блестящего пустословия. Одни банальности, прикрытые высокопарными фразами. И Прапс не лучше. Его «Лесные мхи», например, написаны превосходно. Ни одной запятой нельзя выкинуть, а общий тон — ах, какой торжественный тон! Он самый высокооплачиваемый критик в Соединенных Штатах. Но, да простит мне господь эту дерзость, он собственно вообще не критик. В Англии искусство критики стоит выше. Дело в том, что подобные

критики все время наигрывают популярные мотивы, которые звучат у них и благородно, и высоконравственно, и возвышенно. Рупор ходячих мнений — вот что они такое. Их критические статьи напоминают воскресные проповеди. Они всячески поддерживают профессоров английской филологии, а те в свою очередь поддерживают их. И ни у тех, ни у других не гнездится под черепной коробкой ни одной оригинальной идеи. Они знают только то, что общепризнано, — да собственно общепризнанное это они и есть. Все утвердившиеся идеи приклеиваются к ним так же легко, как этикетки к пивным бутылкам. И главная их обязанность состоит в том, чтобы вытравить из университетской молодежи всякую оригинальность мышления и заставить мыслить по определенному трафарету.

— Мне кажется, — возразила Руфь, — что я ближе к истине, придерживаясь общепризнанного, чем вы, нападая на авторитеты, как дикарь на священные изображения.

— Священные изображения низвергают не дикари, а миссионеры, — засмеялся Мартин, — но, к сожалению, все миссионеры разъехались по языческим странам и у нас не осталось ни одного, который помог бы низвергнуть мистера Вандеруотера и мистера Прапса.

— А заодно и всех университетских профессоров, — прибавила она.

Он энергично закачал головой.

— Нет. Преподаватели естественных наук пусть остаются. Они действительно делают дело. Но из профессоров английской филологии — этих попугайчиков с микроскопическими мозгами — девять десятых не вредно было бы выгнать вон.

Столь суровое отношение к профессорам казалось Руфи просто кощунственным. Она невольно сравнивала степенных, элегантно одетых профессоров, говорящих размеренным голосом, дышащих утонченной культурой, с этим невозможным человеком, которого она почему-то любила, вчерашним матросом в дурно сидящем костюме, со стальными мускулами, напоминающими о грубом физическом труде, — человеком, который ни о чем не умеет говорить спокойно, бранится, вместо того чтобы тактично

изложить свою точку зрения, и кричит, когда нужно проявлять достоинство и выдержку. Профессора по крайней мере получали хорошее жалование и были — да, этого нельзя было не признать — настоящими джентльменами, тогда как Мартин не мог заработать ни одного пенса и на джентльмена походил очень мало.

Руфь даже не считала нужным обдумывать аргументы Мартина. Что они были ошибочны, в этом ее убеждали внешние обстоятельства. Профессора, несомненно, были правы в своих суждениях о литературе, ибо они добились успеха в жизни, а Мартин ошибался уже потому, что не мог продать ни одного своего произведения. Говоря его языком, у них «вышло», а у него не выходило. И разве мог он судить правильно о литературе, — он, который еще так недавно стоял посреди этой самой комнаты, красный от смущения, неуклюжий, озираясь в страхе, как бы не уронить какой-нибудь безделушки, спрашивая, давно ли умер «Свайнберн», и глупо хвастаясь, что читал «Все выше и выше» и «Псалом жизни».

Таким образом, Руфь сама подтверждала свое преклонение перед общепризнанным. Мартин отлично понимал ее мысли, но не желал придавать этому значения. Он любил ее независимо от того, как она относилась к Прапсу, Вандероутеру и профессорам английской филологии, но все больше убеждался, что сумел проникнуть в области мышления, для нее совершенно недоступные, о существовании которых она даже и не подозревает.

Руфь в свою очередь считала, что Мартин ничего не понимает в музыке, а суждения его об опере она находила не только неверными, но намеренно парадоксальными.

— Вам понравилось? — спросила однажды Руфь, когда они возвращались из оперы.

В этот вечер, ценою целого месяца суровой экономии на еде, он смог пригласить ее в театр. Тщетно прождав, что Мартин сам заговорит о спектакле, который на нее произвел сильное впечатление, она, наконец, решила спросить его.

— Мне очень понравилась увертюра, — отвечал он, — это было превосходно.

— Ну, а сама опера?

— Опера тоже, то есть оркестр, разумеется. Но было бы еще лучше, если бы эти шуты гороховые стояли спокойно или вовсе бы ушли со сцены.

Руфь была ошеломлена.

— Вы говорите о Тетралани и Барильо? — спросила она.

— Да и о них, и обо всех других тоже.

— Но ведь это же великие артисты!

— Все равно. Они своим глупым кривляньем только портили музыку.

— Так неужели вам не нравится голос Барильо?! — воскликнула Руфь. — Ведь он считается вторым после Карузо.

— Нет, отчего же, нравится, а Тетралани нравится еще больше. У нее исключительный голос, насколько я могу судить.

— Но... но... — Руфь не находила слов. — Я тогда ничего не понимаю. Вы восхищаетесь их голосами, а говорите, что они портили музыку.

— Вот именно. Я бы много дал, чтобы послушать их в концерте, и дал бы еще больше, чтобы не слышать их, когда играет оркестр. Видно, я безнадежный реалист. Великие певцы не всегда великие актеры. Конечно, прекрасно, когда Барильо ангельским голосом поет любовную арию, а Тетралани вторит ему голосом, еще более ангельским, и все это на фоне яркой, сверкающей всеми красками оркестровой музыки. Не спорю, это огромное наслаждение. Но все впечатление мгновенно разбивается, как только я взгляну на сцену и увижу даму гренадерского роста, весом фунтов в двести и рядом маленького квадратного человечка, с обрюзгшей физиономией и грудной клеткой кузнеца, которые становятся в позы, хватаются за сердце и размахивают руками, словно обитатели сумасшедшего дома. А я должен верить, что это любовная сцена между юным принцем и прекрасной принцессой. Нет, я не верю. Это чушь, глупость. Это неестественно. Вот в чем все дело: это совершенно неестественно. Неужели хоть кто-нибудь объясняется в любви таким образом? Да если бы я вздумал вам так объясняться, вы бы мне надавали пощечин!

— Вы не понимаете,— негодовала Руфь,— каждый вид искусства имеет свои ограничения. (Она вспомнила лекцию об условности искусства, слышанную недавно в университете.) Вот живопись двумерна. Однако вы принимаете иллюзию трех измерений, которую художник создает силой своего искусства. В литературе автор всемогущ и всезнающ. Ведь вы признаете за ним право сообщать о тайных помыслах героини, хотя, когда эта героиня думала, никто не мог подслушать ее мысли? То же самое в театре, в скульптуре, в опере — всюду. С некоторыми противоречиями приходится мириться.

— Да, я понимаю,— отвечал Мартин,— всякое искусство условно. (Руфь изумилась, как правильно он выразился: как будто это был человек с университетским образованием, а не самоучка, читавший в библиотеке все, что попадалось под руку.) Но и в условности должна быть реальность. Деревья, намалеванные на картоне и стоящие по бокам сцены, мы считаем лесом. Это условность, но достаточно реальная. Но ведь изображение моря мы не будем считать за лес. Мы не можем этого сделать. Это значило бы насиловать свои чувства. И потому-то все ужимки, гримасы и конвульсии двух сумасшедших, которых мы только что видели, никак нельзя принять за выражение любовных чувств и настроений.

— Неужели вы и в музыке считаете себя выше всех критиков? — возмущенно сказала Руфь.

— О нет, нет. Просто я позволяю себе иметь собственное мнение. Я говорю все это для того, чтобы объяснить вам, почему слоновая грация госпожи Тетралани испортила мне все впечатление от оркестра. Может быть, знаменитые музыкальные критики совершенно правы. Но у меня есть свое мнение, и я не подчиню его приговору всех критиков на свете, вместе взятых. Что мне не нравится, то мне не нравится, и с какой стати я должен делать вид, что мне это понравилось! Только потому, что это нравится, или будто бы нравится, большинству? Я не желаю подчинять свои вкусы моде.

— Но музыка требует подготовки,— возразила Руфь,— а опера требует особой подготовки. Может быть...

— ...я еще недостаточно подготовлен, чтобы слушать оперу,— договорил Мартин.

Она кивнула.

— Возможно, — согласился он, — но я даже рад этому. Если бы меня смолоду приучили к опере, я, вероятно, сегодня проливал бы слезы умиления, глядя на ужимки этих клоунов, и не заметил бы ни их голосов, ни звучания оркестра. Но вы правы. Это, конечно, дается воспитанием, а я уж слишком стар. Мне нужно или нечто реальное, или уж лучше совсем ничего. Иллюзия, в которой нет и намек на правду, не трогает меня, и опера кажется мне сплошной фальшью, в особенности когда я вижу, как маленький Барильо судорожно хватается в объятия огромную Тетралани и говорит ей о том, как он ее любит.

Но Руфь, как всегда, судила о взглядах Мартина, исходя из внешних признаков и из своего преклонения перед общепризнанным. Кто он такой в конце концов, чтобы считать правым только себя, а весь культурный мир обвинять в непонимании? Его слова и мысли не произвели на нее никакого впечатления. Руфь слишком привыкла ко всему общепризнанному и не сочувствовала мятежным мыслям; к тому же музыкой она занималась с детства, с детства любила оперу, так же как и все люди ее круга. По какому же праву этот Мартин Иден, только что вынырнувший из царства рэгтаймов и уличных песенок, берется судить о мировых сокровищах музыки? Руфь была задета в своем самолюбии и, продолжая идти рядом с Мартином, испытывала смутное чувство обиды. В лучшем случае его взгляды и суждения можно было признать капризом или нелепой шуткой. Но когда, прощаясь с ней у дверей дома, Мартин обнял ее и нежно поцеловал, Руфь забыла все, вновь охваченная любовью. После, лежа в постели без сна, Руфь все раздумывала, как могло случиться, что она полюбила такого странного человека, полюбила вопреки желанию всей своей семьи.

На следующий день Мартин Иден отложил в сторону свои «доходные» литературные поделки и одним духом написал статью под названием «Философия иллюзий». Украшенный маркой конверт с рукописью отправился в путешествие, но бедной «Философии» суждено было переменить еще очень много марок и совершить много-много длительных путешествий.

Мария Сильва была бедна и хорошо знала, что такое бедность. Для Руфи слово «бедность» означало просто известные неудобства существования. Этим исчерпывалось ее представление о бедности. Она знала, что Мартин Иден беден, и мысленно сравнивала его жизнь с жизнью юного Авраама Линкольна или мистера Бэтлера — вообще всех тех, кто, начав с лишений, достиг под конец успеха и благополучия. Признавая, что быть бедным неприятно, Руфь в то же время, как и большинство людей ее круга, видела в бедности превосходный стимул для карьеры, сулящей успех всякому, кто не лишен ума и способностей. Поэтому Руфь не слишком огорчилась, узнав, что Мартину пришлось заложить часы и пальто. Наоборот, она даже была довольна, надеясь, что тем скорее он образумится и бросит свои литературные начинания.

Лицо Мартина, худое и осунувшееся, не наводило Руфь на мысль о том, что он голодает. Она замечала перемену в нем и радовалась, находя, что облик Мартина стал одухотвореннее, тоньше, утратив ту мощь здорового животного, которая одновременно и влекла и отталкивала ее. Иногда Руфь восхищалась каким-то особенным блеском его глаз, делавшим его похожим на поэта или ученого, то есть на того, кем он хотел бы быть и кем она хотела его видеть. Но Марии Сильве его ввалившиеся щеки и горящие глаза говорили совсем другое, и по этим признакам она изо дня в день отмечала перемены в его благосостоянии. Она видела, как он однажды вышел из дому в пальто, а вернулся без пальто, хотя день был холодный и дождливый. Потом на некоторое время щеки его слегка округлились и голодный огонь в глазах погас. Мария заметила также исчезновение часов и велосипеда, повлекшее за собой снова некоторый прилив жизненных сил.

Кроме того, Мария знала, как он трудится, так как ей было точно известно, сколько керосина он сжигает за ночь. Работа! Мария отлично понимала, что Мартин работает не меньше ее, хотя его работа совсем иного свойства. Ее очень удивляло, что чем меньше он ест, тем усерднее трудится. Иногда, когда ей казалось, что Мартин

голодает особенно сильно, она посылала ему с одним из ребятишек свежий хлебец, под нехитрым предлогом, что ему самому не испечь такого вкусного. Иногда она посылала и миску горячего супа, мучаясь в то же время сомнением, имеет ли она право отнимать этот суп у детей, у своей плоти и крови. И Мартин был полон самой горячей благодарности, ибо умел ценить милосердие бедняков.

Однажды, накормив свое многочисленное потомство остатками запасов, имевшихся в доме, Мария истратила последние пятнадцать центов на галлон дешевого вина и угостила Мартина, зашедшего в кухню за водой. Он выпил за ее здоровье, а она — за его. Потом она выпила за благополучие в его делах, а он за то, чтобы Джемс Грант поскорее явился и заплатил за стирку. Джемс Грант был плотничий подмастерье, который неаккуратно платил и задолжал Марии целых три доллара.

И Мартин и Мария пили на пустой желудок, и кислое молодое вино быстро бросилось в голову обоим. При всем своем несходстве, они оба были нищи и одиноки, и эта нищета, о которой всегда умалчивалось, связывала их прочными узами. Мария обрадовалась, узнав, что Мартин бывал на Азорских островах, где она прожила до одиннадцати лет. Еще больше она обрадовалась, услышав, что он бывал и на Гавайских островах, куда потом перебрались ее родители. Но ее восторг перешел всякие границы, когда Мартин сообщил ей, что бывал на острове Мауйи, где она вышла замуж. А на Кагулуи, где она впервые познакомилась со своим будущим мужем, Мартин был два раза. Еще бы ей не помнить груженных сахаром судов! Так он плавал на них? Ну скажите пожалуйста, до чего же тесен мир! А Вайлуку? Мартин и там побывал! Знал ли он главного надсмотрщика плантации? Ну как же, он даже пропустил за его здоровье стаканчик.

Так, предаваясь воспоминаниям, они топили свой голод в кислом вине. Впрочем, Мартину будущее не представлялось слишком мрачным. Рано или поздно он добьется успеха и славы. Он уже чувствует их дыхание рядом. Еще немножко — и он сможет схватить их рукой. Тут он стал пытливо взглядываться в изможденное лицо женщины, сидящей перед ним, вспомнил хлеб и суп,

которые она ему присылала, и ощутил порыв великой благодарности, желание облагодетельствовать ее.

— Мария,— вскричал он вдруг,— чего бы вы больше всего хотели?

Она с недоумением посмотрела на него.

— Ну, чего бы вы больше всего хотели именно сейчас?

— Семь пара башмака — для ребят.

— Вы их получите,— объявил он, и она торжественно кивнула головой.— Ну, а еще чего-нибудь, поважнее?

В глазах Марии мелькнула добродушная радость. Мартин шутил с ней — с ней, с которой уже давно никто не шутил.

— Подумайте, не спешите,— сказал он предостерегающе, когда она открыла было рот, чтобы заговорить.

— Корошо,— сказала она,— я подумала. Минэ надо дом, своя дом,— бесплатна жить. Нэ платить семь доллара на месяц.

— Вы его получите,— пообещал он,— и очень скоро. Ну, а самое ваше большое желание? Вообразите, что я бог и что я все могу исполнить. Ну, говорите, я слушаю.

Мария сосредоточенно помолчала минуту.

— Вы будэтэ пугацца.

— Нет, нет,— засмеялся он,— я не испугаюсь. Ну, говорите?

— Большой вещь, ах, большой,— предупредила она.

— Ладно, ладно. Говорите.

— Корошо.— Она глубоко, по-детски вздохнула, готовясь высказать свое самое заветное, сокровенное желание.— Минэ хочетса фэрма — молочна фэрма. Много корова, много луг, много трава. Около Сан-Лиана. В Сан-Лиана живет мой сестра. Буду продавать молоко в Окленд. Много дэньга. Джо и Ник нэ будэт пасти коров. Они пойдет в короша школа. Будэт важный инженер, строить дорога. Да, хочетса молочна фэрма.

Мария умолкла и блестящими глазами поглядела на Мартина.

— Вы ее получите,— быстро отвечал он.

Она кивнула и выпила за великодушного дарителя, хотя и прекрасно знала, что никогда не получит обещанных даров. Но она была благодарна Мартину за его

доброе намерение и умела ценить обещание, как ценила бы самый дар.

— Да, да, Мария,— продолжал Мартин.— Нику и Джо не придется пасти коров. Все ребята будут учиться в школе круглый год, ходить в хороших, крепких башмаках. Это будет первоклассная ферма: у вас будет дом, конюшня, хлев со стойлами для всех коров. У вас будут свиньи, куры, огород, фруктовый сад — одним словом, все, что нужно; у вас хватит средств, чтобы нанять работника, даже двух работников. И вам нечего будет делать. Вы будете воспитывать детей. А если подвернется хороший человек, вы выйдете за него замуж, и он станет хозяйничать на ферме, а вы будете отдыхать.

И, щедрой рукой отмерив ей долю из своих будущих благ, Мартин встал и пошел закладывать свой единственный выходной костюм. Ему было не легко решиться на это, потому что таким образом он лишал себя возможности видаться с Руфью. Другого приличного костюма у Мартина не было, а в матросской заплатанной куртке он мог заходить к булочнику и мяснику, мог навещать сестру, но о том, чтобы являться в таком виде к Морзам, разумеется, нечего было и думать.

Мартин продолжал трудиться, испытывая тоску, близкую к полному отчаянию. Все чаще ему приходило на ум, что и второе сражение проиграно и что в самом деле нужно снова идти работать. Все были бы довольны этим: лавочники, сестра, Руфь и даже Мария, которой он задолжал за целый месяц. Он уже два месяца не платил за прокат пишущей машинки, и магазин требовал, чтобы он или уплатил, или вернул машинку. Готовый покориться и отложить борьбу до более подходящего времени, Мартин отправился держать экзамен на железнодорожного почтальона. К своему изумлению, он выдержал первым. Правда, неизвестно было, когда откроется вакансия.

И вот в эту особенно тяжелую пору издательская машина вдруг нарушила свой обычный ход. Или в ней соскользнуло какое-нибудь колесико, или она была просто плохо смазана, но в одно прекрасное утро почтальон принес маленький запечатанный конверт. В углу конверта Мартин увидел штамп «Трансконтинентального ежеме-

сячника». Сердце у него рванулось и замерло, он почувствовал слабость во всем теле, колени как-то странно задрожали. Пройдя к себе в комнату, он уселся на кровать с нераспечатанным конвертом в руке и в этот миг ясно понял, как люди умирают от радостного известия.

Конечно, это было радостное известие. В таком маленьком конверте не могла бы поместиться рукопись. Мартин помнил, что в «Трансконтинентальный ежемесячник» он послал «Колокольный звон», страшный рассказ, в котором было пять тысяч слов. А так как лучшие журналы всегда платят по приеме рукописи, то в конверте, очевидно, таился чек. Два цента за слово — стало быть, двадцать долларов за тысячу слов; чек, значит, должен быть на сто долларов. Сто долларов! Разрывая конверт, он уже подсчитал мысленно все свои долги: 3 доллара 85 центов в бакалейную лавку; 4.00 — мяснику; 2.00 — булочнику; за овощи — 5.00; всего 14.85. Далее, за комнату — 2.50, за месяц вперед — 2.50; за двухмесячный прокат машинки — 8.00, за месяц вперед — 4.00; всего 31.85. Кроме того, надо выкупить вещи из ломбарда: часы — 5.50; пальто — 5.50; велосипед — 7.75; костюм — 5.50 (из 60% — но не все ли равно!). Общий итог — 56.10. Эта сумма словно была выписана перед ним в воздухе светящимися цифрами. Остаток в 43 доллара 90 центов представлял необычайное богатство, принимая во внимание, что будет уплачено вперед и за комнату и за машинку.

Тем временем он, наконец, вскрыл конверт и вынул отпечатанное на машинке письмо. Чека не было. Он потряс конверт, поглядел его на свет, не доверяя глазам, разорвал. Чека не было. Тогда он начал читать письмо, стараясь сквозь похвалы редактора добраться до сути дела, найти объяснение, почему не прислан чек. Этого объяснения он не нашел, но зато прочел нечто такое, что внезапно поразило его, как удар грома. Письмо выпало у него из рук. В глазах помутилось, он упал головой на подушку и судорожно потянул на себя одеяло.

Пять долларов за «Колокольный звон». Пять долларов за пять тысяч слов! Вместо двух центов за слово — один цент за десять слов! А издатель еще расточает ему

похвалы, сообщая, что чек будет выслан немедленно по напечатании рассказа! Значит, все это было вранье — и то, что минимальная ставка два цента за слово, и то, что платят по приеме рукописи. Все это было вранье, и он просто-напросто попался на удочку. Знай он это раньше, он не стал бы писать. Он пошел бы работать — работать ради Руфи. Он ужаснулся, подумав о том, сколько времени было потрачено на писание. И все это, чтобы в конце концов получить по центу за десять слов! Все другие блага и почести, которые, по словам газеты, сыпались на писателей, вероятно, тоже существовали лишь в воображении автора заметки. Все его полученные из вторых рук представления о писательской карьере были неверны: доказательство налицо. «Трансконтинентальный ежемесячник» стоит двадцать пять центов номер, и художественно выполненная обложка указывает на его принадлежность к первоклассным журналам. Это старый, почтенный журнал, начавший издаваться задолго до того, как Мартин Иден появился на свет. На его обложке неизменно печатается изречение одного всемирно известного писателя, указывающее на высокую идейность «Трансконтинентального ежемесячника», на страницах которого начало свою карьеру упомянутое литературное светило. И вот этот-то высокохудожественный и идейный журнал платит пять долларов за пять тысяч слов! Тут Мартин вспомнил, что автор изречения недавно умер на чужбине в страшной нищете, — и решил, что ничего удивительного в этом не было.

Да. Он попался на удочку. Газеты наврали ему всякого вздора про писательские гонорары, а он из-за этого потерял целых два года! Но теперь довольно. Больше он не напишет ни одной строчки! Он сделает то, чего хочет Руфь, чего хотят все кругом, — он поступит на службу. Эта последняя мысль вдруг напомнила Мартину Джо — Джо, который где-то там колесит по дорогам страны безделья. Мартин вздохнул с завистью. Ежедневная девятнадцатичасовая работа внезапно дала себя почувствовать. Но Джо не был влюблен, не знал ответственности, которую налагает любовь, и, следовательно, имел право шататься по миру и бездельничать. А у него, у Мартина, есть ради чего работать, и потому он будет работать,

Завтра же с раннего утра он начнет искать службу и завтра же известит Руфь о том, что намерен переменить образ жизни и готов поступить в контору к ее отцу.

Пять долларов за пять тысяч слов, за десять слов один цент — вот рыночная цена искусства! Несправедливость, ложь, подлость, таившиеся в этом, не давали ему покоя. А сквозь закрытые веки глаза его жгла цифра 3.85 — сумма его долга бакалейщику. Мартина знобило, и все кости у него ныли. В особенности ломило поясницу. Голова болела — темя болело, затылок болел, самый мозг, казалось, болел под черепною коробкой; особенно невыносима была боль над бровями. А перед глазами попрежнему сверкала беспощадная, терзающая цифра 3.85. Чтобы избавиться от этого назойливого видения, Мартин открыл глаза, но яркий дневной свет причинил ему нестерпимое страдание; пришлось снова закрыть глаза, и цифра 3.85 вспыхнула с прежней силой.

Пять долларов за пять тысяч слов, за десять слов — один цент! — эта мысль сверлила его мозг, и он не мог от нее избавиться, так же как не мог избавиться от цифры 3.85, горевшей перед глазами. Наконец, в цифре начались какие-то изменения, за которыми Мартин наблюдал с любопытством, и постепенно она превратилась в 2.00. А, догадался он, это долг булочнику! Следующая цифра была 2.50. Эта цифра так заинтриговала его, словно ею решался для него вопрос жизни и смерти. Кому-то он в самом деле должен два с половиной доллара, но кому? Ему необходимо было решить эту задачу, решить во что бы то ни стало, и он бродил по длинным темным коридорам памяти, шарил в ее углах и закоулках, загроможенных обрывками ненужных сведений и воспоминаний, грустно стараясь найти ответ. Казалось, прошли целые столетия, пока он вдруг сразу не вспомнил, что должен эти деньги Марии. С чувством огромного облегчения Мартин подумал, что теперь может отдохнуть, решив эту сложную задачу. Но не тут-то было. Исчезла цифра 2.50, а вместо нее зажглась другая — 8.00. Кому он должен восемь долларов? Опять нужно было пускаться в утомительные скитания по лабиринтам памяти.

Сколько длились эти скитания, Мартин не знал (ему казалось, что бесконечно долго), но вдруг он пришел в

себя от стука в дверь и услышал голос Марии, спрашивавшей, не болен ли он. Глухим, незнакомым голосом Мартин ответил, что просто вздремнул. Его удивила темнота в комнате. Письмо пришло в два часа дня, а теперь был уже вечер. Видно, он заболел.

Тут опять перед ним появилась цифра 8.00, и он снова начал напряженно думать. Впрочем, теперь он стал хитрее. Вовсе незачем блуждать среди хаоса воспоминаний. Как он был глуп! Нужно просто повернуть наудачу огромное колесо памяти; оно повернулось — и вдруг, завертевшись с необычайной скоростью, втянуло его в свою орбиту и понесло в черную пустоту.

Мартин нисколько не удивился, увидав себя в прачечной подкладывающим крахмальные манжеты под каток. Но на манжетах были напечатаны какие-то цифры. Должно быть, новый способ метить белье, подумал Мартин и взгляделся в метку: на манжете стояла цифра 3.85. Он вспомнил, что это счет бакалейщика и что счета необходимо пропускать через каток. Коварная мысль пришла ему в голову. Он побросает все счета на пол и не станет платить по ним. Сказано — сделано. И вот он швыряет бесцеремонно смятые манжеты на необыкновенно грязный пол. Куча стала неимоверно расти, каждый счет удвоился, удесятерился, разбился на тысячи таких же счетов, и только счет Марии в два с половиною доллара не множился. Это означало, что Мария не станет притеснять его, и Мартин великодушно решил, что уплатит только по ее счету. Решив так, он начал разыскивать этот счет в груди, валявшейся на полу; он искал его много веков, но тут дверь вдруг отворилась и в комнату вошел хозяин гостиницы — толстый голландец. Лицо его пылало гневом, и громовым голосом он заорал на весь мир: «Я вычту стоимость манжет из вашего жалованья». Груда сразу превратилась в целую гору, и Мартин понял, что ему придется работать тысячу лет, чтобы заплатить за эти манжеты. Ничего не оставалось, как только убить хозяина гостиницы и поджечь прачечную. Но толстый голландец схватил его за шиворот и начал подбрасывать вверх. Он перебросил его через стол с утюгами, через плиту, каток, стиральную машину, выжималку. Мартин плясал и летал так, что у

него стучали зубы и звенело в голове, и все удивлялся силе голландца.

Затем он опять очутился перед катком, на этот раз принимая выстиранные и выкатанные манжеты, которые подкладывал с другой стороны издатель ежемесячного журнала. Каждая манжета превращалась в чек, и Мартин с тревожным любопытством рассматривал их, но чеки были пустые. Он стоял у катка миллионы лет и все вынимал чеки, боясь пропустить хоть один, — а вдруг именно этот будет заполнен на его имя? Наконец, такой чек появился. Дрожащею рукою Мартин взял его и поднес к свету. Чек был на пять долларов. «Ха-ха-ха», — хохотал издатель, прячась за каток. «Ладно, я тебя сейчас убью», — сказал Мартин. Он пошел в соседнюю комнату за топором и увидел там Джо, который крахмалил рукописи. Мартин, желая спасти рукописи, швырнул в Джо топором, но топор повис в воздухе. Мартин побежал назад к катку и увидел, что там свирепствует снежная буря. Нет, это был не снег, а бесконечное количество чеков, каждый не меньше чем на тысячу долларов. Он начал собирать их и раскладывать пачками по сто штук, и каждую сотню заботливо перевязывал ленточкой.

Вдруг перед Мартином появился Джо. Джо стоял и жонглировал утюгами, сорочками, рукописями. Иногда он хватал пачки чеков и подбрасывал их вверх, так что они, пробив крышу, исчезали в пространстве. Мартин кинулся на Джо, но тот вырвал у него топор и тоже подбросил вверх. За топором он подбросил и самого Мартина. Мартин пролетел сквозь крышу и успел поймать много рукописей, так что упал на землю с целой охапкой в руках. Но его снова понесло вверх, и он помчался по воздуху, описывая бесконечные круги. А в отдалении детский голосок напевал: «Протанцуй со мною, Вилли, протанцуй еще разок!»

Топор торчал среди Млечного Пути чеков, крахмальных сорочек и рукописей, и Мартин, взяв его, решил убить Джо немедленно по возвращении на землю. Но он так и не возвратился на землю. В два часа ночи Мария, услышав из-за перегородки его стоны, вошла к нему в комнату, обложила его тело горячими утюгами, а воспаленные глаза накрыла мокрым полотенцем.

Мартин Иден не пошел на следующее утро искать работы. Было уже за полдень, когда он очнулся от своего забытья и оглядел комнату. Восьмилетняя Мери, одна из дочерей Сильвы, дежурила подле него и, как только он очнулся, с визгом побежала за матерью. Мария пришла из кухни, где занималась стряпней. Она притронулась своей мозолистой рукой к его горячему лбу и пощупала пульс.

— Кушать будет? — спросила она.

Мартин отрицательно покачал головой. Меньше всего ему хотелось есть, и он даже удивился, что когда-то испытывал чувство голода.

— Я болен, Мария, — сказал он слабым голосом. — Что со мной? Не знаете?

— Грипп, — отвечала она, — три дня, и будет хорошо. Лучше без еда. Потом кушать. Завтра.

Мартин не привык хворать, и когда Мария и ее дочка вышли, он попытался одеться. Глаза его так болели, что он то и дело должен был опускать веки. Крайним напряжением воли он заставил себя встать с кровати и сел за стол, но тут силы изменили ему, он уронил на стол голову и долго не мог подняться. Через полчаса он кое-как добрался опять до постели и лежал неподвижно, закрыв глаза и пытаясь разобраться в своих болезненных ощущениях. Мария несколько раз входила к нему и меняла холодный компресс на лбу. Но заговаривать с ним не пыталась, мудро решив не надоедать ему болтовней. Исполненный благодарности, он пробормотал:

— Мария, у вас будет молочна ферма, хороша молочна ферма.

Затем ему вспомнился вчерашний день, уже отошедший в далекое прошлое. Казалось, целый век миновал с тех пор, как он получил письмо из «Трансконтинентального ежемесечника», — с тех пор, как он понял свое заблуждение и решил покончить с этим делом и перевернул страницу книги жизни. Он слишком сильно натягивал тетиву, и она в конце концов лопнула. Если б он не изнурял себя так голодом и лишениями, болезнь не одолела бы его. У него не достало силы бороться с микробом, про-

никшим в организм. И вот теперь он лежит и не может подняться.

«Какой смысл, если бы я написал даже целую библиотеку книг, раз за это надо расплачиваться жизнью? — спрашивал он себя. — Нет, это не для меня. К черту литературу! Моя судьба — вести конторские книги, получать ежемесячно жалованье и жить в маленьком домике вдвоем с Руфью».

Через два дня Мартин съел яйцо с двумя ломтиками хлеба и, выпив чашку чаю, попросил принести ему полуценную за это время почту. Но глаза у него все еще болели и читать ему был трудно.

— Прочитайте мне письма, Мария, — сказал он. — Большие, толстые конверты не вскрывайте. Швыряйте их под стол. Прочтите те письма, что в маленьких конвертах.

— Не умеи, — отвечала она. — Тереза умеи, она ходит в школа.

Тереза Сильва — девочка лет девяти — вскрыла конверты и принялась читать. Мартин рассеянно слушал настойчивые требования уплаты за прокат пишущей машинки, — мозг его в это время был занят мыслью о приискании работы. Внезапно до его слуха долетели следующие слова:

— «Мы предлагаем вам сорок долларов за исключительное право публикации вашего рассказа, — читала по складам Тереза, — если вы согласитесь на предлагаемые сокращения и изменения...»

— Откуда это, из какого журнала? — вскричал Мартин. — Дай сюда письмо.

Он сразу забыл о боли в глазах и с жадностью стал читать. Это «Белая мышь» предлагала ему сорок долларов за рассказ «Водоворот» — один из его ранних «страшных» рассказов. Мартин несколько раз перечитал письмо. Редактор прямо и откровенно говорил ему, что замысел рассказа разработан недостаточно четко, но самый этот замысел понравился им своей оригинальностью, и они готовы напечатать рассказ. Если он разрешит сократить «Водоворот» на одну треть, ему немедленно будет выслан чек на сорок долларов.

Мартин взял перо и написал редактору, что разрешает сократить рассказ хоть на три четверти, но чтобы чек выслали как можно скорее.

Тереза побежала опускать письмо, а Мартин откинулся на подушку и задумался. Значит, все-таки это не ложь. «Белая мышь» готова платить по принятии рукописи. В рассказе «Водоворот» было три тысячи слов. Если отбросить треть, останется две тысячи. Выходит как раз два цента за слово. Оплата по принятии рукописи и два цента за слово, — газеты говорили правду! А он-то считал «Белую мышь» третьесортным журнальчиком. Очевидно, он просто не имел о журналах никакого понятия. Он считал первоклассным «Трансконтинентальный еженедельник», а там платят цент за десять слов! Он относился к «Белой мыши» с пренебрежением, а там платят в двадцать раз дороже, и притом не дожидаясь выхода из печати!

Одно было ясно: когда он поправится, ему незачем бегать в поисках работы. В голове у него целая сотня рассказов не хуже «Водоворота», и если считать по сорок долларов за штуку, он может заработать на них гораздо больше, чем ему даст любая служба. Он выиграл сражение в тот самый миг, когда оно казалось проигранным. Его выбор оправдал себя. Дорога перед ним открыта. После «Белой мыши» список журналов, готовых его печатать, будет все расти и расти. Писание «доходных» мелочей можно теперь бросить. Все равно оно не принесет ему и доллара. Он займется работой, настоящей работой, и будет вкладывать в нее все, что в нем есть действительно ценного. Мартину захотелось, чтобы Руфь была тут и могла разделить его радость. Вдруг среди писем, разбросанных на постели, он нашел одно от нее. Руфь нежно упрекала его за то, что он вдруг пропал и уже который день не дает о себе знать. Мартин с восторгом перечитывал это письмо, рассматривал почерк, любовался каждой буквой, нежно целовал подпись.

В ответ он написал ей откровенно, что заложил свой единственный хороший костюм и потому не мог прийти. Он сообщил о своей болезни, которая, впрочем, уже почти прошла, и прибавил, что недели через две (время достаточное для получения чека из Нью-Йорка) он выкупит костюм и в тот же день будет у нее.

Но Руфь не собиралась ждать две недели. Ведь ее возлюбленный был болен. На другой же день она приехала к нему вместе с Артуром в коляске, к великому удовольствию ребятишек Сильвы и всей окрестной детворы и к полному ужасу Марии. Мария надавала пощечин детям, обступившим необыкновенных посетителей и, немилосердно коверкая язык, стала извиняться за свой неряшливый вид. На руках у нее засохла мыльная пена, а мокрая рогожа, надетая в виде передника, ясно говорила гостям, за какой работой они ее застали. Появление нарядных молодых людей в коляске, спрашивавших ее жильца, до того потрясло Марию, что она даже не догадалась пригласить их в свою крошечную гостиную. Чтобы добраться до комнаты Мартина, им пришлось пройти через жаркую кухню, наполненную паром по случаю большой стирки. От волнения Мария никак не могла осуществить сложный маневр с дверью комнаты и дверцей шкафа, и в комнату больного ворвались облака пара, запахи мыльной воды и грязного белья.

Руфь ловко повернула направо, потом налево, потом опять направо и прошла по узкому каналу между столом Мартина и его кроватью. Артур не проявил достаточной осторожности и с грохотом налетел на горшки и сковородки в кухонном углу. Впрочем, Артур недолго оставался в комнате. Единственный стул заняла Руфь, и ее брат, считая свои обязанности исполненными, вышел на крыльцо, где его немедленно обступило многочисленное потомство Сильвы, крайне заинтересованное его особой. Вокруг экипажа толпились ребятишки со всего квартала, ожидая какой-нибудь страшной, драматической развязки. Коляски появлялись в этих краях только в дни свадеб или похорон; но в данном случае никто не женился и не умер — следовательно, должно было произойти нечто из ряда вон выходящее, на что стоило посмотреть.

Все эти дни Мартин изнывал от желания видеть Руфь. Обладая горячо любящим сердцем, он больше чем кто-либо нуждался в сочувствии, — и не в простом сочувствии, а в глубоком и чутком понимании; но он еще не знал, что сочувствие Руфи основывается не на понимании его, Мартина Идена, стремлений, а просто на ее природной, несколько сентиментальной нежности. Пока

Мартин говорил с нею, держа ее за руку, Руфь, в порыве любви, отвечала ему ласковым пожатием и со слезами на глазах глядела на его осунувшееся лицо, думая о том, какой он несчастный и беспомощный.

Но когда Мартин рассказал Руфи о том, в какое отчаяние он пришел, получив письмо «Трансконтинентального ежесечасника», и как обрадовался предложению «Белой мыши», Руфь отнеслась к этому безучастно. Она слышала слова, им произносимые, и понимала смысл, но не разделяла ни его радости, ни его отчаяния. Она оставалась верна себе. Ее очень мало интересовали рассказы, журналы и редакторы. Она думала только об одном: когда им с Мартином можно будет пожениться. Правда, сама она этого не понимала, как не понимала и того, что ее желание заставить Мартина «устроиться» вызывалось подсознательным материнским инстинктом. Конечно, если бы Руфи сказали об этом прямо, она бы, во-первых, смутилась, во-вторых, вознегодовала и стала бы уверять, что ею руководит лишь забота о благе любимого человека. Но, так или иначе, пока Мартин, взволнованный первым успехом на избранном пути, изливал перед Руфью свою душу, она, слушая и не слыша, оглядывалась по сторонам, пораженная тем, что видела.

В первый раз Руфь лицом к лицу столкнулась с нищетой. Ей всегда казалось, что любовь и голод — очень романтическое сочетание, но она совершенно не представляла себе, как выглядит эта романтика в жизни. Такой картины она во всяком случае не ожидала. Ее тошнило от запаха грязного белья, который проникал сюда из кухни. Мартин, должно быть, весь пропитался этим запахом, думала Руфь, если эта ужасная женщина часто стирает. Нищета заразительна. Руфи начинало казаться, что к Мартину пристала грязь окружающей обстановки. Его небритое лицо (Руфь в первый раз видела Мартина небритым) вызывало в ней отвращение. От щетины на подбородке и щеках оно казалось таким же мрачным и грязным, как все жилище Сильвы, и это еще подчеркивало в нем ненавистное Руфи выражение животной силы. И надо же было, чтобы два рассказа Мартина приняли к напечатанию! Теперь он еще больше утвердился в своих безумных планах. Еще немного — и он бы

сдался и поступил на службу. А сейчас он с новым усердием примется за свое сочинительство, продолжая голодать и жить в этом ужасном доме.

— Чем это пахнет? — вдруг спросила Руфь.

— Вероятно, бельем. Мария стирает, — отвечал он. — Я уже привык к этому запаху.

— Нет, нет. Еще какой-то противный, застоявшийся запах!

Мартин, прежде чем ответить, понюхал воздух.

— Я ничего не чувствую, кроме запаха табаку, — объявил он.

— Вот именно. Какая гадость! Зачем вы так много курите, Мартин?

— Сам не знаю. Вероятно, когда у меня тоскливо на душе, я и курю больше. А вообще это старая привычка. Я начал курить еще мальчишкой.

— Нехорошая привычка, — укоризненно сказала Руфь. — Здесь просто дышать невозможно.

— Это уж табак виноват. Я курю самый дешевый. Вот подождите, получу чек на сорок долларов, тогда куплю такой табак, что его можно будет курить даже в обществе ангелов. А ведь это недурно! За три дня две принятых рукописи! Этими сорока пятью долларами я покрою почти все свои долги.

— Это за два года работы? — спросила Руфь.

— Нет, меньше чем за неделю. Пожалуйста, дайте мне ту книжечку, видите, которая лежит на углу стола, в сером переплете.

Мартин открыл книжку и быстро перелистал ее.

— Да, совершенно верно. Четыре дня «Колокольный звон», два дня «Водоворот». Сорок пять долларов за недельную работу. Сто восемьдесят долларов в месяц! Где бы я мог получить такое жалованье? А ведь это только начало. Мне бы и тысячи долларов не хватило, чтобы как следует обставить вашу жизнь. Жалованье в пятьсот долларов меня бы не удовлетворило. Но для начала хорошо и сорок пять долларов. Дайте мне выйти на дорогу. Вот тогда задымим изо всех труб.

Руфи это выражение напомнило о прежней теме.

— Вы и теперь слишком много дымите, — сказала она. — Дело не в качестве табака. Курение само по себе —

дурная привычка, независимо от того, что вы курите. Вы точно ходячая дымовая труба или живой вулкан. Это ужасно! Милый Мартин, ведь вы знаете, что это ужасно!

Взгляд Руфи был полон любви и ласки, и Мартин, смотря в ее чистые голубые глаза и нежное лицо, опять, как встарь, почувствовал, что не достоин ее.

— Я хочу, чтобы вы бросили курить,— прошептала она,— сделайте это ради меня.

— Хорошо,— вскричал он,— я брошу курить! Я сделаю для вас все, что вы пожелаете, милая моя, дорогая!

Руфью вдруг овладело искушение. Увидев, как легко и покорно он идет на уступки, она подумала: если сейчас потребовать, чтобы он бросил писать, он не откажет ей. Но слова замерли у нее на устах. Она не смогла их выговорить. Не решилась. Вместо этого она склонилась ниже и, положив голову ему на грудь, прошептала:

— Мартин, милый, ведь это я не ради себя, а ради вас. Вам, наверно, вредно курить, и потом — нехорошо быть рабом, даже рабом привычки.

— Я буду вашим рабом,— улыбнулся он.

— Ну, в таком случае я буду повелевать.

Руфь коварно посмотрела на него, в глубине души сожалея уже, что не высказала своего главного желания.

— Готов повиноваться вашему величеству.

— Хорошо. Вот вам моя первая заповедь: не забывайте бриться ежедневно. Посмотрите, как вы исцарапали мне щеку.

Таким образом, все закончилось ласками и веселым смехом. Но кой-чего она все же добилась, а за один раз нельзя было рассчитывать на большее. Она чисто по-женски гордилась тем, что заставила Мартина отказаться от курения. В следующий раз она убедит его поступить на службу; ведь он обещал исполнять все ее желания.

Руфь встала и занялась осмотром комнаты. Она обратила внимание на заметки, развешанные на бельевых веревках, ознакомилась с таинственным приспособлением, на котором подвешивался велосипед, с огорчением увидела груды рукописей под столом: как много времени потрачено зря! Керосинка привела ее в восторг, но при даль-

нейшем осмотре обнаружилось, что полки для провизии пусты.

— У вас тут нет ничего съестного! Ах вы бедняжка,— воскликнула она с состраданием,— вы, наверно, голодаете!

— Я держу свою провизию у Марии,— солгал Мартин,— там удобнее. Не бойтесь, я не голодаю. Посмотрите-ка!

Руфь подошла к нему и увидела, как Мартин согнул руку в локте, и твердые, как железо, мускулы вздулись под рубашкой. Это зрелище вызвало в ней отвращение. Ее чувствительность была оскорблена им. Но сердце, кровь, каждый фибр ее существа стремились к этим могучим мышцам, и, повинаясь знакомой непонятной силе, она, вместо того чтобы отшатнуться от Мартина, склонилась к нему. И когда Мартин сжал ее в объятиях, ее разум, знающий лишь внешние проявления жизни, негодовал и возмущался, зато сердце, женское сердце, которого коснулась сама жизнь, победно ликovalo. В такие мгновения Руфь начинала понимать всю силу своей любви к Мартину, потому что, когда его могучие руки смыкались вокруг нее, до боли сжимая ее в неудержимом страстном порыве, у нее начинала кружиться голова от счастья. В такие мгновения все казалось ей оправданным: измена идеалам, нарушение основных принципов, даже молчаливое неповиновение отцу и матери. Они не хотели, чтобы она вышла замуж за этого человека. Ее любовь к нему казалась им чем-то постыдным. Эта любовь порой казалась постыдной и ей самой, когда, вдали от него, она снова превращалась в холодную и рассудительную Руфь. Но когда он был рядом, она любила его; правда, временами любовь была полна огорчений, но все-таки это была любовь — властная и непобедимая.

— Этот грипп пустяки,— говорил Мартин,— правда, немного болит голова и знобит, но в сравнении с тропической лихорадкой это сущие пустяки.

— А вы болели тропической лихорадкой? — спросила Руфь рассеянно, стараясь продлить блаженное чувство забвения, которое она испытывала в его объятиях.

Она почти не прислушивалась к тому, что он отвечал, но вдруг одна фраза привлекла ее внимание. Мартин

упомянул, что перенес тропическую лихорадку в тайной колонии прокаженных на одном из Гавайских островов.

— А каким образом вы туда попали? — спросила Руфь. Такое царственное равнодушие к себе казалось ей преступным.

— Случайно, — отвечал Мартин, — я и не думал ни о каких прокаженных. Однажды я дезертировал со шхуны, доплыл до берега и отправился вглубь острова, чтобы найти себе безопасное убежище. Три дня я питался плодами гуавы, дикими яблоками и бананами — вообще всем, что растет в джунглях. На четвертый день я вышел на тропинку. Она вела в гору, и на ней были свежие следы человеческих ног. В одном месте тропинка проходила по гребню горы, острому, как лезвие ножа. Ширина там была не более трех футов, а с обеих сторон зияли пропасти глубиною в несколько сот футов. Один хорошо вооруженный человек мог бы тут сдержать наступление стотысячной армии. Это был единственный путь вглубь острова. Часа через три я очутился в маленькой долине, среди нагромождений застывшей лавы. В ней росли фруктовые деревья и стояло семь или восемь тростниковых хижин. Как только я увидел жителей, я понял, куда попал. Довольно было одного взгляда.

— Что же вы сделали? — спросила Руфь, слушая, как Дездемона, испуганная, но завороженная.

— А что же я мог сделать? Старшим у них был добродушный старикашка, весь изъеденный проказой, который правил, как полновластный король. Он открыл эту долину и основал в ней колонию, что было, разумеется, противозаконно. Но у них имелись ружья и боевые снаряды; кстати, все канаки дьявольски метко стреляют. Привыкли охотиться на кабанов и диких кошек. Так что бежать нечего было и думать. Пришлось Мартину Идену остаться и прожить там три месяца.

— Но как же вам удалось спастись?

— Я бы сидел там и сейчас, если бы не одна девушка, наполовину китаянка, на четверть белая и на четверть гавайянка. Она была очень красива, бедняжка, и притом образованна. У ее матери в Гонолулу было состояние по меньшей мере в миллион. Вот эта девушка меня в конце концов и выручила. Понимаете, ее мать давала деньги на

содержание колонии, и девушка, стало быть, не боялась, что ее накажут. Но она взяла с меня клятву никому не открывать убежища. И я сдержал эту клятву. Сейчас я впервые заговорил об этом. У бедной девушки тогда появились только первые признаки проказы. Пальцы правой руки у нее были сведены, и выше локтя виднелось маленькое пятнышко. Больше ничего. Теперь уж она, наверное, умерла.

— Но как же вы не боялись? И какое счастье, что вам удалось не заболеть этой ужасной болезнью!

— Вначале мне было порядком не по себе,— признался он.— Но потом я привык. К тому же мне очень было жаль эту несчастную девушку, и я забывал о том, что нужно бояться. Она была так хороша и душой и телом, болезнь еще едва-едва коснулась ее. И она знала, что обречена никогда больше не видеть людей, вести жизнь первобытного дикаря и постепенно заживо разлагаться. Вы даже вообразить не можете, до чего ужасна проказа.

— Бедная девушка! — прошептала Руфь.— Все-таки странно, что она вас так отпустила.

— Почему странно? — спросил Мартин, не понимая замечания Руфи.

— Да потому что она, наверно, любила вас,— продолжала Руфь так же тихо.— Ну скажите прямо: любила?

Загар давно сошел с лица Мартина благодаря работе в прачечной и затворнической жизни, а в последнее время, от голода и болезни, он очень побледнел; теперь сквозь эту бледность стал медленно проступать румянец. Он открыл рот и хотел заговорить, но Руфь перебила его:

— О, не отвечайте, пожалуйста! В этом нет необходимости! — воскликнула она смеясь.

Но Мартину показалось, что в смехе ее прозвучали какие-то металлические нотки, а глаза блеснули ледяным блеском. И ему вспомнилась буря, которую однажды пришлось ему пережить в северной части Тихого океана. На мгновение перед его глазами возникло видение грозных валов, озаренных холодным лунным светом. Вслед за тем он увидел девушку из колонии прокаженных и подумал,

что она дала ему возможность бежать именно потому, что любила его.

— Она была благородна,— сказал он просто,— она спасла мне жизнь.

Казалось, этим инцидент был исчерпан, но Мартин вдруг услышал подавленное рыдание и увидел, что Руфь, отвернувшись от него, глядит в окно. Когда она снова взглянула Мартину в глаза, в ее лице ничто уже не напоминало о морской буре.

— Я такая дурная,— жалобно сказала Руфь,— но я ничего не могу с собой поделать. Я так люблю вас, Мартин, так люблю. Может быть, я привыкну постепенно, но теперь я невольно ревную вас ко всем призракам прошлого. А ваше прошлое полно призраков!.. Да, да, иначе и быть не может,— быстро продолжала она, не давая ему возразить.— Ну, Артур уже делает мне знаки. Ему, бедному, надоело ждать. Прощайте, мой дорогой. Есть какой-то порошок, который помогает отвыкнуть от курения,— сказала Руфь уже в дверях,— я вам его пришлю.

Руфь затворила за собой дверь и затем снова приоткрыла ее.

— Люблю, люблю,— шепнула она и только после этого ушла.

Мария почтительно проводила Руфь к экипажу, стараясь по дороге разглядеть все детали ее костюма. (Мария никогда не видела такого покроя, и он ей казался необыкновенно красивым.) Толпа ребятишек разочарованно смотрела вслед коляске, пока та не скрылась за поворотом. В следующий миг все внимание сосредоточилось на Марии, которая сразу стала самым важным лицом в квартале. Но кто-то из ее собственных отпрысков испортил все дело, объявив, что знатные гости приезжали вовсе не к Марии, а к ее жильцу. После этого Мария вновь впала в ничтожество, зато Мартин стал замечать преувеличенное почтение к своей особе со стороны всех соседей.

В глазах Марии он возвысился безмерно, а если бы лавочник тоже видел эту чудесную коляску, он, несомненно, открыл бы Мартину кредит еще на три доллара и восемьдесят пять центов.

Солнце удачи взошло для Мартина. На другой же день после посещения Руфи он получил чек на три доллара от одного бульварного нью-йоркского журнальчика в уплату за три триолета. Еще через два дня одна чикагская газета приняла его «Искателей сокровищ», обещая уплатить десять долларов по напечатании. Цена была невелика, но ведь это было его первое произведение — первая попытка выразить на бумаге волновавшие его мысли. В довершение успеха и его приключенческая повесть для юношества была принята одним ежемесячным журналом под названием «Юность и зрелость». Правда, в повести была двадцать одна тысяча слов, а ему предложили за нее всего шестнадцать долларов, что составляло примерно семьдесят пять центов за тысячу слов, да и то по напечатании, — но ведь это была только вторая его литературная попытка, и Мартин сам теперь отлично видел, сколько в ней недостатков.

Впрочем, даже в самых ранних его произведениях не было признаков посредственности. В них скорее было слишком много силы — избыточной силы новичка, готового стрелять из пушек по воробьям. Мартин был рад, что ему удалось хоть по дешевке продать свои ранние произведения. Он знал им цену, и не так уж много времени ему понадобилось, чтобы это узнать. Все надежды он возлагал на свои последние произведения. Ему хотелось стать чем-то большим, чем автор журнальных рассказов и повестей. Он стремился вооружиться всеми приемами настоящего художника. Но силой жертвовать он не хотел. Напротив, он старался достигнуть еще большей силы, научившись обуздывать ее проявления. И любви к реализму он тоже не утратил. Во всех своих произведениях он стремился сочетать реализм с вымыслом и красотами, созданными фантазией. Он добивался вдохновенного реализма, проникнутого верой в человека и его стремления. Он хотел показать жизнь, как она есть, со всеми исканиями мятущегося духа.

Читая книги, Мартин обнаружил, что существуют две литературные школы. Одна изображала человека каким-то божеством, совершенно игнорируя его человеческую при-

роду; другая, напротив, видела в человеке только зверя и не хотела признавать его духовных устремлений и великих возможностей. Мартин не разделял установок ни той, ни другой школы, считая их слишком односторонними. По его мнению, истина находилась где-то посередине, и как ни далека была от этой истины школа «божества», школа «зверя», с ее животной грубостью, оказывалась не ближе.

В рассказе «Приключение», не вызвавшем когда-то восхищения у Руфи, Мартин попытался осуществить свой идеал художественной правды, а в статье «Бог и зверь» он изложил свои теоретические взгляды на этот предмет.

Но «Приключение» и все другие рассказы, которые он считал лучшими, продолжали странствовать из одной редакции в другую, а своим ранним вещам Мартин не придавал никакого значения и радовался лишь получаемому за них гонорару; не слишком высоко он расценивал и «страшные» рассказы, из которых два были только что приняты журналами. Рассказы эти представляли чистейшую выдумку, которой была придана видимость реально-го,— в этом и заключалась их сила. Правдоподобное изображение нелепого и невероятного Мартин считал ловким трюком, и только. Такие произведения нельзя было причислять к большой литературе. Их художественная выразительность могла быть велика, но Мартин невысоко ставил художественную выразительность, если она расходилась с жизненной правдой. Трюк заключался в том, чтобы облечь искусственную выдумку в маску живой жизни, и к этому приему Мартин прибегнул в полдюжине «страшных» рассказов, которые писал до того, как достиг высот «Приключения», «Радости», «Котла» и «Вина жизни».

На три доллара, полученные за триолеты, можно было кое-как прожить до получения чека от «Белой мыши». Мартин разменял трехдолларовый чек у недоверчивого португальца, уплатив ему один доллар в счет долга и разделив два других доллара между булочником и торговцем овощами. Он был еще не настолько богат, чтобы есть мясо, и питался довольно скудно, как вдруг пришел долгожданный чек «Белой мыши». Мартин не знал, как ему быть. Он ни разу в жизни не бывал в банке, а тем более по денежным делам, и теперь им овладело детское

желание во что бы то ни стало пойти в один из больших оклендских банков, и небрежно бросить в окошечко свой чек на сорок долларов. Но здравый смысл советовал ему разменять этот чек у бакалейщика и таким образом поддерживать свою репутацию и увеличить кредит. Скрепя сердце отправился Мартин к бакалейщику и, разменяв чек, расплатился с ним сполна. Он вышел от него с карманом, набитым деньгами, и пошел рассчитываться с другими долгами: расплатился с булочником и мясником, уплатил Марии за прошлый месяц и за месяц вперед, выкупил велосипед, заплатил за пишущую машинку. После всех этих платежей у него осталось в кармане всего три доллара.

Но и эта маленькая сумма казалась Мартину целым состоянием. Выкупив костюм, он тотчас же отправился к Руфи и по дороге не мог удержаться от удовольствия время от времени позвякивать в кармане пригоршнею серебра. Как голодный человек не может отвести взоров от пищи, так и Мартин, у которого давно не было ни цента в кармане, не мог выпустить монеты из рук. Он не был ни жаден, ни скуп, но деньги для него означали нечто большее, чем известное количество долларов и центов. Они означали успех, и чеканные орлы на монетах казались Мартину крылатыми вестниками победы.

Незаметно к Мартину вернулось его убеждение в том, что мир прекрасен. Он даже казался ему теперь еще прекраснее. В течение долгих недель это был темный и унылый мир; но теперь, когда все долги были выплачены, в кармане еще звенели три доллара, а в сердце крепла вера в успех,—солнце снова показалось Мартину горячим и ярким и даже ливень, хлынувший внезапно, вызвал у него только веселую улыбку. В голодные дни Мартин все время думал о тысячах голодных, разбросанных по всему миру, но теперь, когда он был сыт, мысль о них уже не тревожила его,—теперь, полный своей любовью, он стал думать о бесчисленных влюбленных, живущих на земле. В его мозгу смутно зашевелились мотивы любовной лирики, и, увлеченный творческим порывом, он незаметно проехал на трамвае два лишних квартала.

В доме Морзов Мартин застал многочисленное общество. Из Сан-Рафаэля приехали к Руфи гостить две ее

двоюродные сестры, и, воспользовавшись этим предлогом, миссис Морз решила привести в исполнение свой план — окружить Руфь молодежью. Кампания началась во время вынужденного отсутствия Мартина, и теперь военные действия были в полном разгаре. Миссис Морз задалась целью ввести в свой дом людей преуспевших или преуспевавших. Таким образом, кроме кузин, Дороти и Флоренс, в гостиной находились два университетских профессора: один — латинист, а другой — специалист по английской филологии; молодой армейский офицер, школьный товарищ Руфи, только что вернувшийся с Филиппин; молодой человек по фамилии Мельвилл, личный секретарь Джозефа Перкинса, главы кредитного общества Сан-Франциско; наконец, главный бухгалтер одного банка, Чарльз Хэпгуд, моложавый мужчина тридцати пяти лет, воспитанник Стэнфордского университета, член Нильского и Соединенного клубов, присяжный оратор республиканской партии во время выборных кампаний — словом, молодой человек, многообещающий во всех отношениях. Из дам одна была художница-портретистка, другая — профессиональная музыкантша, и третья — со степенью доктора социологических наук, прославившаяся своей организационной деятельностью в трущобах Сан-Франциско. Впрочем, в плане миссис Морз женщины не играли особой роли. Они являлись чем-то вроде необходимого аксессуара. Ведь нужно же было чем-нибудь привлекать в дом преуспевающих мужчин.

— Не горячитесь во время разговора, — шепнула Мартину Руфь, прежде чем познакомить его с присутствующими.

Мартин вначале чувствовал себя очень неловко: к нему вернулся давнишний его страх повредить при движении что-нибудь из мебели или безделушек. Кроме того, его стесняло общество. Он никогда раньше не сталкивался со столькими выдающимися личностями сразу. Особенно сильное впечатление произвел на него главный бухгалтер Хэпгуд, и Мартин решил при случае познакомиться с ним поближе. Под внешней робостью в Мартине было все так же действительно его могучее «я», и ему не терпелось помериться силами с этими мужчинами и женщинами и узнать,

что почерпнули они из книг и из жизни такого, чего еще не успел почерпнуть он.

Руфь часто посматривала на Мартина и была очень удивлена и обрадована той непринужденностью, с какой он беседовал с ее кузинами. Он в самом деле чувствовал себя непринужденно, но только пока сидел, ибо тогда мог не опасаться разрушений. Руфь знала, что обе ее кузины умные и не лишенные блеска собеседницы, и ночью, ложась спать, удивлялась, слыша, как они расхваливали Мартина. Сам он, привыкнув в своем кругу быть завзятым остряком и душою общества на всех вечеринках и воскресных пикниках, нашел, что и здесь тоже можно быть веселым и отпускать меткие словечки. А успех уже стоял у него за спиной и одобрительно похлопывал по плечу; вот почему Мартин, нисколько не смущаясь, смеялся сам и заставлял смеяться других.

Под конец вечера опасения Руфи все-таки оправдались. Мартин вступил в беседу с профессором Колдуэллом и хотя руками не размахивал, но Руфь придиричиво отметила особый блеск в его глазах, отметила, что голос его постепенно начинает повышаться и краска приливает к щекам. Не умея владеть собою и укрощать свой пыл, Мартин представлял резкий контраст с выдержанным молодым профессором.

Но Мартин очень мало думал сейчас о внешних приличиях! Он сразу увидел, как сведущ и как широко образован его собеседник. Профессор Колдуэлл оказался к тому же не таким, как представлялся Мартину вообще всякий профессор английской филологии. Мартин непременно хотел заставить профессора заговорить о своей специальности, и хотя тот сначала от этого уклонялся, Мартину в конце концов удалось добиться своего. Мартин не понимал, почему в обществе не принято говорить на профессиональные темы.

— Ведь это же нелепо, — говорил он Руфи еще задолго до этого вечера, — почему нельзя говорить на профессиональные темы? Для чего же тогда и собираются вместе, как не для того, чтобы каждый проявлял себя с самой сильной стороны. А сильней всего человек всегда в том, чем он больше всего интересуется, что составляет его основное занятие, чему он посвятил всю свою жизнь, о

чем думает и даже мечтает днем и ночью. Вообразите, что мистер Бэтлер, подчиняясь светским правилам, вдруг бы начал излагать свои взгляды на Поля Верлена, на немецкую драму или на романы д'Аннунцио. Все бы со скуки умерли. Я, например, если уж мне слушать мистера Бэтлера, предпочту, чтоб он говорил о своей юриспруденции. В этой сфере он лучше всего, а жизнь коротка, и мне всегда хочется взять от человека все самое лучшее, что в нем есть.

— Однако,— возражала Руфь,— есть такие темы, которые одинаково интересны для всех.

— Нет, в этом вы ошибаетесь,— в свою очередь возразил Мартин,— почти каждый человек и каждая группа общества всегда подражают тем, кто выше их по положению. А кто занимает самое высокое положение в обществе? Бездельники, богатые бездельники. Они обычно и понятия не имеют о вещах, которые хорошо известны людям, занятым каким-нибудь делом. Им попросту скучно слушать разговоры о таких вещах, и вот они объявляют, что это профессиональный разговор, который в обществе вести неприлично. И они же определяют, о чем можно беседовать в обществе. Беседовать можно о новой опере, новых романах, картах, бильярдах, коктейлях, автомобилях, яхтах, конских выставках, охоте, ловле форелей и так далее,— то есть, заметьте, обо всем, что хорошо известно бездельникам. В сущности говоря, это профессиональный разговор бездельников. Смешнее всего, что люди умные, или претендующие на это звание, подчиняются в данном случае мнению глупцов и лентяев. Что до меня, то я непременно хочу взять от человека то, что в нем самое лучшее. Называйте это профессиональным разговором, вульгарностью или как вам будет угодно.

Но Руфь не понимала Мартина. Его нападки на общепринятое она всегда считала просто проявлением его своенравия и упрямства.

Так или иначе, Мартин заразил профессора Колдуэлла своей серьезностью и заставил его заговорить на темы, ему близкие. Руфь, подойдя к ним, услышала, как Мартин сказал:

— Но в Калифорнийском университете вы, вероятно, не решаетесь высказывать подобную ересь!

Профессор Колдуэлл пожал плечами.

— Существуют честные налогоплательщики, а кроме того существует политика: Сакраменто¹ назначает нас, и нам приходится считаться с Сакраменто, считаться с правительством штата, с партийной прессой, точнее сказать — с прессой обеих партий.

— Это ясно, но вы должны чувствовать себя, как рыба, вынутая из воды! — воскликнул Мартин.

— У нас в университетском пруду немного наберется таких, как я. Иногда мне кажется, что я в самом деле рыба, выброшенная на сушу, и я начинаю думать, что мне было бы лучше и вольнее где-нибудь в Париже, в среде писак-строчкогонов или буйных завсегдатаев Латинского квартала. Я бы обедал в дешевых ресторанчиках, пил кларет и высказывал отчаянно смелые взгляды на мироздание. Мне иногда кажется, что по натуре я радикал. Но, увы, так много вопросов, в которых я не чувствую себя уверенным. Я просто робею, когда вижу свою человеческую ограниченность, мешающую мне охватывать все стороны проблемы, в особенности когда речь идет о коренных проблемах жизни.

Слушая его, Мартин невольно вспомнил «Песнь пассата»:

Вздуваю ночью я и днем
Все паруса.

Мартин чуть не произнес этих слов вслух. Он глядел на профессора и находил в нем что-то общее с северо-восточным пассатом, упорным, холодным и сильным. Он был так же ровен и надежен, и, однако, в нем было что-то смущающее. Мартин думал о том, что профессор, вероятно, никогда не высказывается до конца, так же как и северо-восточный пассат никогда не дует изо всех сил, а всегда оставляет себе резервы, которыми, однако, никогда не пользуется. Мартин не утратил своей способности к образному видению. Его мозг был как бы огромным складом воспоминаний и вымыслов, доступ к которым был всегда открыт. Что бы ни произошло, воображение Мартина мгновенно извлекало из этого склада что-либо сходное

¹ Сакраменто — столица штата Калифорния.

или, наоборот, противоположное и воплощало это в ярких образах. Делалось это совершенно произвольно, и каждому событию реальной жизни неизменно сопутствовали картины, создаваемые фантазией. Как тогда ревнивый блеск в глазах Руфи напомнил ему бурю при лунном свете, так теперь профессор Колдуэлл вызвал перед ним картину багряного в закатных лучах моря, по которому северо-восточный пассат гонит белые барашки волн. Так ежеминутно возникали перед ним различные видения и не только не нарушали хода его мыслей, но, напротив, помогали разбираться в них. Эти видения были отголоском всего того, что пережил некогда Мартин, всего, что он видел и вычитал из книг, и они постоянно, наяву и во сне, теснились в его мозгу.

И вот теперь, слушая плавную речь профессора Колдуэлла — речь умного и образованного человека, — Мартин невольно вспоминал свое прошлое. Он видел себя на заре своей юности, гулякой-парнем в лихо заломленной стетсоновской шляпе и двубортной куртке, идеалом которого была грубость и всякие безобразия, насколько они позволялись полицией. Мартин и не пытался что-либо смягчить или сглаживать в этих воспоминаниях. Да, в известный период своей жизни он был самым обыкновенным забиякой, предводителем шайки, которая вечно воевала с полицией и терроризировала честных жителей рабочего квартала. Но ведь теперь его идеалы изменились. Он поглядывал вокруг себя, на благовоспитанных и хорошо одетых мужчин и дам, вдыхал атмосферу утонченной культуры, а в это время призрак его юности в широкополой шляпе и двубортной куртке враскачку шел к нему по ковру гостиной. Ведь это он, озорной предводитель уличной шайки, превратился в того Мартина Идена, который сидит теперь в мягком кресле и мирно беседует с профессором университета.

В сущности говоря, Мартин так до сих пор и не нашел своего настоящего места. Он легко и быстро осваивался всюду, был всегда общим любимцем, потому что не отставал ни в работе, ни в игре и повсюду умел постоять за себя и внушить к себе уважение. Но никогда и нигде он не пускал корней. Вполне удовлетворяя своих сотоварищей, сам он никогда не был удовлетворен. Его все время

томило какое-то беспокойство, ему все время слышался голос, звавший его куда-то, и он странствовал по жизни в поисках, пока не нашел, наконец, книги, искусство и любовь. И вот теперь он сидит в этой светской гостиной — единственный из всего своего прежнего круга, который запросто мог прийти в гости к таким людям, как Морзы.

Все эти мысли отнюдь не мешали Мартину внимательно слушать. Он видел, насколько полны и обширны познания его собеседника, и время от времени чувствовал недостатки и пробелы в своем образовании, хотя благодаря Спенсеру ему все же были известны общие основы знания. Нужно было только время, чтобы заполнить пробелы. «Вот тогда потягаемся!» — думал он. Но пока он как бы сидел у ног профессора, слушая благоговейно и внимательно все, что тот говорил. Однако постепенно Мартин начал замечать и слабую сторону суждений своего собеседника, которая чувствовалась при любом повороте разговора, хотя определить ее было и не так легко. И когда Мартин понял, наконец, в чем заключается эта слабая сторона, у него сразу исчезло чувство неравенства, которое он испытывал в начале беседы.

Руфь подошла к ним вторично как раз в тот момент, когда Мартин начал говорить.

— Я скажу вам, в чем вы заблуждаетесь, или, вернее, в чем слабость ваших суждений, — сказал он. — Вы пренебрегаете биологией. Она отсутствует в вашем мирозерцании. То есть я разумею подлинную научную биологию как средство к познанию жизни, начиная с лабораторных опытов по оживлению неорганической ткани и кончая самыми широкими социологическими и эстетическими обобщениями.

Руфь была совершенно ошеломлена. Она в продолжение двух лет слушала лекции профессора Колдуэлла, и он казался ей олицетворением мудрости.

— Я не совсем понимаю вас, — нерешительно сказал профессор.

— Попытаюсь объяснить, — произнес Мартин. — Мне помнится, я читал в истории Египта, что нельзя понять египетское искусство, не изучив предварительно характер страны.

— Совершенно верно,— согласился профессор.

— И вот мне кажется,— продолжал Мартин,— что в свою очередь характер страны нельзя изучать, если не знаешь прежде всего, из чего и как создавалась жизнь. Как мы можем понять законы, учреждения, нравы и религию, не зная людей, их создавших, не зная даже природы этих людей? Так вот литература в такой же мере создание человека, как египетские храмы и статуи. Разве во вселенной существует что-нибудь, не подчиняющееся всемирному закону эволюции? Я знаю, что история эволюции отдельных искусств разработана, но мне кажется, что она разработана чисто механически. Человек остается при этом в стороне. Великолепно разработана эволюция инструментов — арфы, скрипки, эволюция музыки, танца, песни. Но что можно сказать об эволюции самого человека, о тех органах, которые развивались в нем, прежде чем он смастерил первый инструмент или пропел первую песню? Вот об этом-то вы забываете, а это именно я и называю биологией. Это биология в самом широком смысле слова. Я знаю, что говорю довольно бессвязно, но мне хотелось, чтобы вы поняли мою мысль. Она пришла мне в голову, пока вы говорили, и мне трудно сразу найти ей четкое выражение. Вы упомянули о человеческой ограниченности, мешающей человеку охватить все стороны проблемы — все факторы. Вот вы как раз — по крайней мере мне так кажется — упускаете биологический фактор, то есть именно то, на чем строится в конечном счете всякое искусство, основу основ всех человеческих дел и свершений.

К изумлению Руфи, Мартин не был мгновенно уничтожен, и профессор Колдуэлл даже отнесся внимательно к его словам, очевидно считаясь с его молодостью. После недолгого молчания профессор начал говорить, поигрывая своею золотою цепочкой.

— Вы знаете,— сказал он,— мне уж делал однажды подобные упреки один великий человек, ученый эволюционист Жозеф Леконт. Но он умер, и я думал, что никто не будет больше обличать меня, а вот теперь вижу в вашем лице нового обвинителя. Вероятно,— не могу не признать этого,— в ваших обвинениях есть доля истины, и даже очень большая доля. Я слишком ушел в классику

и недостаточно следил за развитием естественных наук; быть может, это объясняется просто недостатком энергии и работоспособности. Вы, вероятно, очень удивитесь, если узнаете, что я никогда не был ни в одной физической или химической лаборатории. Однако это факт. Леконт был прав, так же как и вы, мистер Иден, хоть я и не знаю насколько.

Под каким-то предлогом Руфь отвела Мартина в сторону и шепнула ему:

— Вы совсем монополизировали профессора Колдуэлла. Может быть, еще кто-нибудь хочет побеседовать с ним.

— Простите,— смущенно пробормотал Мартин,— я заставил его разговаривать, и это оказалось настолько интересно, что я забыл о других. Просто мне до сих пор не приходилось встречать такого умного и образованного собеседника. И, между прочим, знаете что? Я прежде думал, что все, кто окончил университет или занимает важное общественное положение, так же умны и образованны...

— Он человек исключительный,— возразила Руфь.

— Очевидно. С кем же вы хотите, чтобы я поговорил теперь? Вот что, сведите меня с этим Хэпгудом.

Мартин беседовал с главным бухгалтером минут пятнадцать, и Руфь не могла нарадоваться на своего возлюбленного. Его глаза ни разу не засверкали, щеки ни разу не вспыхнули, и Руфь изумлялась спокойствию, с каким он вел беседу. Но зато в глазах Мартина сословие банковских деятелей потеряло всякий престиж, и под конец вечера у него сложилось убеждение, что банковский деятель — синоним пошляка. Армейский офицер оказался очень добродушным, здоровым и уравновешенным человеком, вполне довольным своей судьбой. Узнав, что он тоже учился в университете целых два года, Мартин был очень удивлен и никак не мог понять, куда же делись все его познания. Но все же этот офицер понравился Мартину гораздо больше, чем Чарльз Хэпгуд.

— Меня не пошлости его возмущают,— говорил потом Мартин Руфи,— но меня злит тот напыщенный, самодовольный, снисходительный тон, которым эти пошлости изрекаются. А сколько времени на это уходит.

Я мог бы изложить всю историю Реформации, пока этот делец объяснял мне, что рабочая партия слилась с демократической. Он обращается со словами, как профессиональный игрок в покер со своими картами. Когда-нибудь я вам покажу это на примере.

— Мне очень жаль, что он вам не понравился,— отвечала Руфь.— Он любимец мистера Бэтлера. Мистер Бэтлер говорит, что это самый честный и надежный человек; он называет его скалой, камнем, который может служить надежной опорой для любого банковского учреждения.

— Я в этом и не сомневаюсь, даже судя по тому немногому, что я от него слышал. Но я утратил теперь всякое уважение к банкам. Вы не сердитесь, дорогая, что я так прямо высказываю свое мнение?

— Нисколько! Это очень интересно.

— Да,— подтвердил Мартин,— ведь я варвар, получающий первые впечатления от цивилизации. Цивилизованному человеку эти мои впечатления должны, несомненно, показаться очень любопытными.

— А что вы скажете о моих кузинах? — спросила Руфь.

— Они мне понравились больше других женщин. Они очень веселые и держатся просто, без претензий.

— Значит, другие женщины вам тоже понравились?

Мартин покачал головой.

— Эта общественная деятельница — просто попугай, болтающий о социальных проблемах. Готов поклясться, что, если б выпотрошить ее мозг, в нем не нашлось бы ни одной самостоятельной идеи. Портретистка невыносимо скучна. Вот была бы отличная пара для Хэпгуда. А уж музыкантша! Не знаю, может быть у нее великолепная техника, и беглость, и туше,— но только в музыке она ничего не смыслит.

— Но ведь она же превосходно играет,— попробовала протестовать Руфь.

— Да, с внешней стороны она играет виртуозно, но истинная сущность музыки для нее совершенно недоступна. Я спросил, какой внутренний смысл находит она в музыке,— вы знаете, меня всегда интересует этот вопрос,— и она ничего не могла ответить, кроме того, что

она обожает музыку, что музыка величайшее из всех искусств, что музыка для нее дороже жизни.

— Вы всех заставили говорить на профессиональные темы,— сказала Руфь с упреком.

— Не отрицаю. Но уж если они и тут не могли сказать ничего путного, то вообразите мои мучения, если бы они стали разговаривать на какие-нибудь общие темы. А я-то думал, что здесь, где люди пользуются всеми преимуществами культуры...— Мартин на секунду умолк: он снова увидел, как в комнату раскачивающейся походкой вошел парень в стетсоне и двубортной куртке.— Да, я думал раньше, что здесь все так и блещут умом и знаниями. Но из своего недолгого общения с ними я уже могу сделать вывод: большинство этих людей — круглые невежды, а девяносто процентов остальных невыносимо скучны. Вот профессор Колдуэлл — это совсем другое дело. Он настоящий человек.

Руфь просияла.

— Расскажите мне о нем,— сказала она,— не об его блестящих качествах,— я и так их прекрасно знаю,— а о том, что вам в нем не понравилось. Мне очень интересно знать.

— А вдруг я попаду впросак,— шутливо протестовал Мартин,— расскажите сначала вы. Или вы в нем видите только одно хорошее?

— Я прослушала у него два курса лекций и знаю его больше двух лет, потому-то мне и интересно ваше впечатление.

— В особенности — отрицательное? Ну что же, извольте! Я думаю, что он вполне заслуживает вашего восхищения и уважения. Это самый умный и развитый человек, которого я когда-либо встречал, но у него не спокойна совесть. О, не подумайте чего-нибудь дурного! — воскликнул Мартин.— Я хочу сказать, что он производит на меня впечатление человека, который заглянул вглубь вещей и так напугался, что самого себя хочет уверить в том, что ничего не видел. Может быть, я неясно выразил свою мысль? Попытаюсь объяснить иначе. Вообразите себе человека, который нашел тропу к скрытому в чаще храму и не пошел по ней. Он, может быть, даже видел мельком и самый храм, но потом убедил себя, что это был

просто мираж. Или вот еще. Человек мог бы совершить прекрасный поступок, но не счел это нужным и теперь все время жалеет, что не сделал того, что мог сделать. В глубине души он смеется над наградой, которую мог получить за свои деяния, но где-то еще глубже тоскует по этой награде и по великой радости свершения.

— Я его таким не воспринимаю,— сказала Руфь,— и, откровенно говоря, я все-таки не совсем понимаю, что вы хотите сказать.

— Потому что я сам чувствую все это очень смутно,— говорил Мартин, как бы оправдываясь,— я не могу это обосновать логически. Это только чувство, и очень может быть, оно меня обманывает. Вы, наверное, знаете профессора Колдуэлла лучше меня.

Из этого вечера у Морзов Мартин вынес странные и противоречивые чувства. Он несколько разочаровался в своих намерениях, разочаровался в людях, до которых хотел подняться. С другой стороны, успех ободрил его. Подняться оказалось легче, чем он думал. Мартин не только преодолел трудности подъема, но (он этого не скрывал от себя из ложной скромности) оказался выше тех, с кем старался сравняться, исключая, разумеется, профессора Колдуэлла. И жизнь и книги он знал гораздо лучше, чем все эти люди, и мог только удивляться, в какие углы и подвалы запрятали они свое образование. Ему не приходило в голову, что он наделен исключительным умом, не знал он и того, что истинных и глубоких мыслителей нужно искать никак не в гостиных Морзов; что эти мыслители подобны орлам, одиноко парящим в небесной лазури, высоко над землею, вдали от суеты и пошлости обыденной жизни.

Глава двадцать восьмая

Удача потеряла адрес Мартина Идена, и посланцы ее больше не стучались к нему в дверь. Двадцать пять дней, не отдыхая даже по воскресеньям и праздникам, Мартин работал над «Позором солнца» — большой статьей, почти в тридцать тысяч слов. Это была органи-

зованная атака на мистицизм школы Метерлинка,— вылазка из цитадели позитивных знаний, направленная против фантазеров, мечтающих о чудесах; правда, и в самой статье содержались элементы чудесного, но только такого, что не противоречило фактам. К этой большой статье Мартин немного позже присоединил две небольших: «Жрецы чудесного» и «Мерило нашего «я». И все три отправились путешествовать по редакциям.

За двадцать пять дней, потраченных на «Позор солнца», Мартину удалось продать на шесть с половиной долларов своих «доходных» произведений. За одну вещьцу он получил пятьдесят центов, за другую, посланную в юмористический еженедельник,— целый доллар. Кроме того, были проданы еще два юмористических стихотворения, одно за два, другое за три доллара. В конце концов, исчерпав свой кредит (хотя бакалейщик увеличил его до пяти долларов), Мартин опять должен был снести в ломбард велосипед и пальто. За прокат пишущей машинки снова требовали денег, напоминая Мартину, что по условию он обязан был платить за месяц вперед.

Ободренный сбытом нескольких мелочей, Мартин решил вновь заняться «ремесленничеством». Может быть, на это все-таки можно жить. У него под столом было сложено десятка два небольших рассказов, отвергнутых литературными агентствами. Мартин перечитал их, чтобы уяснить себе, как не надо писать газетные рассказы, и таким образом, выработать идеальную формулу. Он установил, что газетный рассказ не должен содержать трагического элемента и ни в коем случае не может иметь плохой конец; он не должен отличаться ни красотой слога, ни оригинальностью мысли, ни утонченностью чувств. Но чувства в нем должны быть непременно, даже в избытке и притом самые возвышенные и благородные, вроде тех, которые заставляли его некогда аплодировать с галерки ура-патриотическим мелодрамам и пьесам типа «Хоть беден, да честен».

Уяснив себе все это, Мартин принялся за изготовление рассказов по выработанной им формуле. Формула была трехчленная: 1) двое влюбленных должны разлучиться; 2) благодаря какому-то событию они соеди-

няются снова; 3) звон свадебных колоколов. Третий член был постоянной величиной, но первый и второй могли варьироваться бесконечно. Разлучить влюбленных могло роковое недоразумение, стечение обстоятельств, ревнивые соперники, жестокие родители, хитрые опекуны и т. д. и т. п.; соединить их мог какой-нибудь доблестный поступок влюбленного или влюбленной, вынужденное либо добровольное согласие опекуна, родителей или соперников, неожиданное разоблачение какой-нибудь тайны, самопожертвование влюбленного — и так далее, до бесконечности. Очень эффектно было заставить девушку сделать первый шаг, и еще много других эффектных приемов и ловких трюков придумал Мартин, разрабатывая эту тему. Одним только не мог он распоряжаться по своему усмотрению: в конце каждого рассказа обязательно должны были звонить свадебные колокола, хотя бы небеса рухнули или земля разверзлась. Дозировка была также совершенно точная: максимум — полторы тысячи слов, и минимум — тысяча двести.

Прежде чем окончательно овладеть искусством сочинения подобных рассказов, Мартин выработал пять или шесть схем, и с ними всегда сообразовался в процессе писания. Это было вроде тех математических таблиц, которые можно читать сверху, снизу, справа налево, слева направо и с помощью которых можно без всякого умственного напряжения получать какие угодно решения, всегда одинаково правильные и точные. По этим схемам Мартин в полчаса набрасывал штук десять сюжетов, которые откладывал и затем в свободное время обрабатывал. Обычно он делал это перед сном, после целого дня серьезной работы. Впоследствии он признавался Руфи, что мог сочинять такие рассказы даже во сне. Главная работа — составить схему, остальное все делалось чисто механически.

Мартин Иден не сомневался в силе своей формулы и, посылая первые два рассказа, был уверен, что они принесут ему деньги. И в самом деле, дней через десять Мартин получил два чека, каждый на четыре доллара.

Тем временем он сделал новые печальные открытия, касающиеся журналов. «Трансконтинентальный еженедельник» напечатал его «Колокольный звон», но чека не

прислал. Мартин очень нуждался в деньгах и написал в редакцию. Вместо чека он получил уклончивый ответ и просьбу прислать еще что-нибудь. Проголодав два дня, Мартин принужден был опять заложить велосипед. Регулярно два раза в неделю он напоминал «Ежемесячнику» о своих пяти долларах, но, повидимому, первый ответ был получен по чистой случайности. Мартин не знал, что «Ежемесячник» уже в течение нескольких лет едва сводит концы с концами, что он не имеет ни подписчиков, ни покупателей и существует только объявлениями, которые ему даются скорее всего из чисто благотворительских соображений. Не знал он и того, что «Ежемесячник» является единственным источником дохода для издателя и редактора и что этот доход они ухитряются извлекать, лишь систематически не платя ни за что никому. Разве мог Мартин подозревать, что на его пять долларов издатель выкрасил свой дом в Аламеде, и выкрасил его сам, так как для него была слишком высокой плата, установленная союзом маляров, а первый же нанятый им штрейкбрехер свалился с лестницы, которую кто-то нарочно подтолкнул, и его отвезли в больницу со сломанной ногой.

Не получил Мартин и десяти долларов за очерк «Искатели сокровищ», принятый чикагской газетой. Очерк был напечатан, в этом он убедился, просмотрев комплект газеты в городской читальне, но никакого ответа от издателя он добиться не смог. Его письма оставляли без внимания. Желая быть уверенным в том, что они доходят по назначению, Мартин отправлял их заказными. Это грабеж, решил он, хладнокровный грабеж среди белого дня,— он голодает, а у него крадут его товар, его единственную возможность заработать на кусок хлеба.

«Юность и зрелость» был еженедельным журналом. Напечатав две трети его повести в двадцать одну тысячу слов, журнал вдруг перестал выходить. Таким образом, пропала всякая надежда на получение шестнадцати долларов.

В довершение всего «Котел», который он считал своим лучшим рассказом, пропал зря. В отчаянии, перебрав множество журналов, Мартин послал его в

Сан-Франциско, в журнал «Волна». Выбрал он этот журнал лишь потому, что можно было быстро получить ответ: редакция была близко, на другом берегу залива. Недели через две он с радостью увидел свой рассказ напечатанным на видном месте да еще с иллюстрациями. Вернувшись домой со сладко бьющимся сердцем, Мартин старался угадать, сколько заплатят ему за этот лучший его рассказ. Его радовала та быстрота, с которой рассказ был принят и напечатан. Правда, издатель не уведомил его о принятии рукописи, но тем приятнее был неожиданный сюрприз. Прождав неделю, две и еще несколько дней, Мартин, поборов ложный стыд, написал редактору «Волны», высказывая предположение, что его маленький счет был забыт по недосмотру управляющего делами.

«Даже если мне заплатят всего пять долларов,— размышлял Мартин,— и то я смогу купить на эти деньги бобов и гороху и напишу еще с полдюжины таких же рассказов».

Наконец, пришел ответ, который привел Мартина в восторг своей великолепной наглостью:

«Мы очень благодарны вам за ваш прекрасный рассказ. Мы все в редакции с наслаждением читали его и, как видите, напечатали на почетном месте. Надеемся, что вам понравились иллюстрации.

Как видно из вашего письма, вы рассчитываете на авторский гонорар. К сожалению, у нас не принято платить за произведения, написанные не по нашему заказу, а ваш рассказ заказан не был. Принимая его к печати, мы, разумеется, полагали, что это вам известно. Нам остается только пожалеть, что произошло такое печальное недоразумение. Еще раз благодарим вас и надеемся получить от вас еще что-нибудь. Примите и проч.».

В постскриптуме было сказано, что хотя, как правило, «Волна» никому бесплатно не высылается, тем не менее редакция считает для себя за честь включить Мартина Идена в число подписчиков на следующий год.

После этого печального опыта Мартин всегда печатал вверх первого листа каждой рукописи: «Оплата по вашей обычной ставке».

«Когда-нибудь,— утешал он себя,— они будут мне платить по моей обычной ставке!»

Мартина в этот период времени охватила горячка самосовершенствования, и он без конца исправлял и переделывал «Веселую улицу», «Вино жизни», «Радость», «Песни моря» и другие свои ранние произведения. Ему попрежнему не хватало девятнадцатичасового рабочего дня. Он усердно писал и читал, стараясь трудом заглушить муки курильщика, отказавшегося от своей привычки. Средство, присланное Руфью, он засунул в самый дальний угол ящика письменного стола. Особенно трудно было обходиться без табака во время голодовок; как он ни старался подавить желание курить, оно не пропадало. Мартин считал это своим величайшим подвигом, а Руфь находила, что он поступает правильно, и только. Она купила ему обещанное средство из денег, которые получала на булавки, и через несколько дней совершенно забыла об этом.

Мартин ненавидел свои написанные по схеме рассказы, смеялся над ними, но они-то как раз неизменно находили сбыт. Благодаря им он расплатился со всеми своими долгами и даже купил новые велосипедные шины. Эти рассказы кормили и поили его, и у него еще оставалось время для серьезной работы. Кроме того, Мартин постоянно окрыляло воспоминание о сорока долларах, полученных от «Белой мыши». Как знать, может быть и другие первоклассные журналы платят неизвестным авторам столько же, а может быть, и еще больше. Но задача состояла в том, чтобы проникнуть в эти первоклассные журналы. Они последовательно отвергали все его лучшие рассказы и стихи, а между тем из номера в номер появлялись в них десятки безвкусных и пошлых вещей.

«Если бы кто-нибудь из этих важных издателей,— думал иногда Мартин,— снизошел и написал мне хоть одну ободряющую строчку! Может быть, мое творчество слишком необычно, может быть оно им не подходит по различным соображениям, но неужели нет в моих произведениях ничего, что могло бы хоть вызвать желание ответить».

И вот Мартин снова брал «Приключение» или другой такой же рассказ и в сотый раз перечитывал его, стараясь угадать причину молчания издателей.

С наступлением теплой калифорнийской весны для Мартина кончился период благоденствия. В течение нескольких недель его тревожило непонятное молчание литературного агентства. Наконец, в один прекрасный день ему вернули сразу десять его «штампованных» рассказов. При них было сопроводительное письмо, оповещавшее Мартина о том, что агентство завалено материалом и раньше чем через несколько месяцев не может принять ни одной новой рукописи. А Мартин, рассчитывая на эти десять рассказов, был в последнее время даже расточителен. Агентство обычно платило ему по пяти долларов за рассказ и до сих пор еще не отвергло ни одного; поэтому Мартин поступал так, как если бы у него на текущем счету уже лежало пятьдесят долларов. Таким образом, для него сразу наступил период тяжелых испытаний, и он снова начал с отчаянием рассылать свои старые рассказы по мелким изданиям, которые их печатали, но не платили, а новые отправлял в солидные журналы, которые и не платили и не печатали. Он возобновил посещения оклендского ломбарда. Несколько шуточных стихотворений, принятые нью-йоркскими еженедельниками, дали ему возможность кое-как перебиться. Тогда он решился и написал во все крупные журналы: почему не печатают его произведения? Ему ответили, что рукописи, поступающие самотеком, обычно не рассматриваются, что большая часть печатаемого материала пишется, по заказу журналов, авторами, которые уже имеют имя и опыт.

Глава двадцать девятая

Это было тяжелое лето для Мартина Идена. Редакторы и рецензенты разъехались на отдых, и рукописи, возвращавшиеся обычно через три недели, теперь валялись в редакциях по три месяца. Единственным утешением было то, что не приходилось тратить на марки. Только пиратские журнальчики продолжали жить интенсивную жизнь. И Мартин послал им все свои ранние произведения: «Ловцов жемчуга», «Профессию моряка», «Ловлю черепах», «Северо-восточный пассат». Ни за

одну из этих рукописей ему не было уплачено. Правда, после шестимесячной переписки Мартин получил в качестве гонорара за «Ловлю черепах» безопасную бритву, а за «Северо-восточный пассат» «Акрополь» обещал ему пять долларов и пять годовых подписок, но исполнил лишь вторую часть обещания.

За сонет о Стивенсоне Мартину удалось выжать два доллара из тощего кошелька одного бостонского издателя с утонченным вкусом, но ограниченными возможностями. «Пери и жемчуг», остроумная сатирическая поэма в двести строк, только что законченная Мартином, очень понравилась редактору одного журнала в Сан-Франциско, издававшегося на средства крупной железнодорожной компании. Редактор предложил Мартину в уплату за поэму даровой проезд по железной дороге. Мартин запросил его, может ли он передать это право другому лицу. Узнав, что передавать право на даровой проезд нельзя и, следовательно, нет надежды заработать на этом, Мартин потребовал возврата рукописи. Он ее вскоре получил вместе с письменными сожалениями редактора по поводу того, что поэму не пришлось напечатать. Мартин снова отправил ее в Сан-Франциско, на этот раз в журнал под названием «Шершень», когда-то основанный блестящим журналистом, сумевшим быстро раздуть его популярность. К несчастью, звезда «Шершня» начала меркнуть еще задолго до рождения Мартина. Редактор предложил Мартину за поэму пятнадцать долларов, но как только поэма была напечатана, повидимому, забыл о своем обещании. Не получив ответа на многие запросы, Мартин написал, наконец, резкое письмо и получил от нового редактора холодное извещение, что он не отвечает за ошибки своего предшественника и что сам он весьма невысокого мнения о поэме «Пери и жемчуг».

Но хуже всего поступил с Мартином чикагский журнал «Глобус». После долгих колебаний, побуждаемый голодом, Мартин все-таки решил напечатать «Песни моря». Отвергнутые десятком журналов, стихи эти обрели, наконец, тихую пристань в редакции «Глобус». В цикле было тридцать стихотворений, и Мартин должен был получить по доллару за каждое. В первый же месяц были напечатаны четыре стихотворения, и Мартин незамедли-

тельно получил чек на четыре доллара; но, заглянув в журнал, он ужаснулся. Заглавия стихотворений были изменены: вместо «Finis» было напечатано «Финиш»¹, вместо «Песня одинокого утеса», стояло «Песня кораллового утеса». Одно заглавие было просто заменено другим, совершенно неподходящим: вместо «Свет медузы» редактор написал: «Обратный путь». Самые стихи подверглись еще большим искажениям. Мартин скрежетал зубами и рвал на себе волосы. Фразы, строчки, целые строфы были выпущены, спутаны, переставлены так, что иногда ничего нельзя было понять. Иные строчки были просто заменены чужими. Мартин не мог представить себе, что здравомыслящий редактор может быть повинен в подобных злодействах, и решил, что это проделки какого-либо типографского курьера или переписчика. Мартин немедленно потребовал прекратить печатание и вернуть ему рукопись, он писал письмо за письмом, умоляя, угрожая, требуя. Но все его письма были оставлены без внимания. Ежемесячно появлялись эти исковерканные стихи, и ежемесячно Мартин получал чек за то, что уже было напечатано.

При всех этих неудачах Мартина поддерживало воспоминание о сорока долларах «Белой мыши», но он все больше и больше времени отдавал сочинению доходных мелочей. Он неожиданно нашел «хлебное место» в сельскохозяйственных и торговых журналах, попробовал было иметь дело с религиозным еженедельником, но увидел, что тут все шансы умереть с голоду.

В самый критический момент, когда уже был заложен черный костюм, Мартину вдруг повезло на конкурсе, объявленном окружным комитетом республиканской партии. Собственно это был даже не один конкурс, а три, и Мартин во всех трех оказался победителем. Он горько смеялся над самим собою, над тем, что ему приходится выкручиваться подобными способами. Его поэма удостоилась первой премии в десять долларов, его агитационная песня получила вторую премию в пять долларов и, наконец, статья о задачах республиканской партии полу-

¹ Finis — (лат.) — конец; финиш (англ.) — конечный пункт пробега в спорте.

чила опять-таки первую премию в двадцать пять долларов. Это очень обрадовало его, и он радовался до тех пор, пока не пришло время получать деньги. Что-то, очевидно, случилось в комитете, и хотя среди его членов был один банкир и один сенатор, денег у комитета все же не оказалось. Пока продолжалась волокита, Мартин доказал, что не хуже разбирается в задачах демократической партии, получив первую премию за статью, написанную для подобного же конкурса. Мало того, здесь он даже получил свои двадцать пять долларов. Сорока долларов, следуемых по республиканскому конкурсу, он так и не увидел никогда.

Чтобы встречаться с Руфью, Мартин вынужден был пойти на хитрость. Так как хождение от Северного Окленда до дома Морзов и обратно отнимало слишком много времени, то Мартин решил выкупить велосипед, заложив для этого свой черный костюм. Поездки к Руфи на велосипеде, сохраняя время, служили в то же время прекрасным физическим упражнением. А кроме того, короткие парусиновые брюки и старый свитер могли отлично сойти за велосипедный костюм, и Мартин стал снова совершать послеобеденные прогулки вдвоем с Руфью. У нее дома ему теперь почти не удавалось перемолвиться с нею словом, ибо миссис Морз продолжала осуществлять свой план светских развлечений. Избранное общество, которое Мартин встречал в гостиной Морзов и на представителей которого он еще недавно смотрел снизу вверх, теперь лишь раздражало его. Оно уже не казалось ему избранным. Тяжелая жизнь, напряженная работа и постоянные неудачи сделали Мартина злым и раздражительным, и разговор с подобными людьми приводил его в бешенство. Это не было чрезмерное самомнение. Людей он судил, сравнивая их не с собой, а с великими мыслителями, чьи книги читал с таким благоговением. В доме Руфи он не встретил еще ни одного по-настоящему умного человека, за исключением профессора Колдуэлла, который, впрочем, больше там не показывался. Все остальные были жалкие догматики, ничтожные людишки с ничтожными мыслями. Их невежество поражало Мартина. Почему они все так невежественны? На что ушло все их образование? Ведь они читали те же

книги, что и он. Как могло случиться, что они ничего не извлекли из них?

Мартин знал, что великие умы, настоящие, глубокие мыслители существуют. Лучшим тому доказательством были книги, которые помогли ему возвыситься над средою Морзов. И он знал, что даже в так называемом «обществе» можно встретить людей умней и куда интересней всех тех, которые наполняли гостиную Морзов. Он читал английские романы, персонажи которых спорили в светских гостиных на политические и философские темы. Он знал, что в больших городах, не только английских, но даже американских, существуют салоны, где сходятся представители искусства и научной мысли. Раньше он, по глупости, воображал, что каждый хорошо одетый человек, не принадлежавший к рабочему сословию, обладает силой ума и утонченным чувством прекрасного. Крахмальный воротничок казался ему признаком культуры, и он еще не знал, что университетский диплом и истинное образование далеко не одно и то же.

Ну что ж! Он будет прокладывать себе дорогу все выше и выше. И Руфь он поведет за собою. Горячо любя ее, Мартин был уверен, что она повсюду будет блистать. Он теперь понимал, что среда, в которой она выросла, во многом мешала ей, так же как ему, Мартину, мешала в свое время его среда. До сих пор у нее не было возможности по-настоящему расширить свой горизонт. Книжки в кабинете ее отца, картины на стенах, ноты на рояле — все это было лишь показное, внешнее. К настоящей литературе, настоящей живописи, настоящей музыке Морзы и все их знакомые были слепы и глухи. А важнее всего этого была жизнь, о которой они и вовсе не имели никакого представления. Они называли себя унитариями, носили маску вольнодумства и при всем том отстали по крайней мере на два века от позитивной науки; они мыслили по-средневековому, а их взгляды на мироздание и на происхождение жизни представляли собой чистейшую метафизику, столь же древнюю, как пещерный век, и даже древнее. Это была та самая метафизика, которая заставляла первого обезьяноподобного человека бояться темноты, первых иудеев привела к мысли о происхождении Евы из Адамова ребра, Декарту внушила идеалисти-

ческое представление о мире, как проекции его собственного ничтожного «я», а одного знаменитого английского священника побудила осмеять эволюцию в уничтожающей сатире, которая вызвала бури восторга и запечатлела его имя в виде жирной каракули на страницах истории.

Чем больше Мартин раздумывал над всем этим, тем сильнее крепло в нем убеждение, что вся разница между этими адвокатами, офицерами, дельцами, банкирами, с одной стороны, и людьми рабочего сословия, с другой, основана на том, что они по-разному едят, живут и одеваются. Всем им одинаково не хватало того самого главного, что он находил в книгах и чувствовал в себе. Морзы показали Мартину сливки своего круга, и он не пришел от них в восхищение. Нищий раб ростовщика, он все же был головою выше всех тех, кого встречал в гостининой у Морзов. Выкупив из заклада свой единственный костюм, Мартин являлся к этим людям и в их обществе неизменно испытывал чувство оскорбленного достоинства, точно принц, принужденный жить среди пастихов.

— Вы ненавидите и боитесь социалистов,— сказал он однажды за обедом мистеру Морзу,— но почему? Вы ведь не знаете ни их самих, ни их взглядов.

Разговор о социализме возник после того, как миссис Морз пропела очередной дифирамб мистеру Хэпгуду. Мартин не выносил этого самодовольного пошляка, и всякое упоминание о нем выводило его из равновесия.

— Да,— сказал Мартин,— Чарли Хэпгуд подает надежды, об этом все говорят, и это правда. Я думаю, что он еще задолго до смерти сядет в губернаторское кресло, а то и сенатором Соединенных Штатов сделается.

— Почему вы так думаете? — спросила миссис Морз.

— Я слышал его речь во время предвыборной кампании. Она была так умно-глупа и банальна и в то же время так убедительна, что лидеры должны считать его абсолютно надежным и безопасным человеком, а пошлости, которые он говорит, вполне соответствуют пошлости рядового избирателя. Всякому человеку лестно услышать с трибуны свои собственные мысли, приглашенные и приукрашенные.

— Мне положительно кажется, что вы завидуете мистеру Хэпгуду,— сказала Руфь.

— Боже меня упаси!

Ужас, с которым это было сказано, заставил миссис Морз настроиться на воинственный лад.

— Не хотите же вы сказать, что мистер Хэпгуд глуп? — спросила она ледяным тоном.

— Не глупее рядового республиканца,— возразил Мартин,— или рядового демократа. Они все или хитры, или глупы, причем хитрых меньшинство. Единственные умные республиканцы — это миллионеры и их сознательные прислужники. Эти-то отлично знают, где жареным пахнет, и знают, отчего.

— Вот я республиканец,— сказал с улыбкой мистер Морз,— интересно, как вы меня классифицируете?

— Вы бессознательный прислужник.

— Прислужник?!

— Ну, разумеется. Вы ведь работаете на корпорацию. У вас нет клиентуры среди рабочих, и уголовных дел вы тоже не ведете. Ваш доход не зависит от мужей, избивающих своих жен, или от карманных воров. Вы питаетесь за счет людей, играющих главную роль в обществе; а всякий человек служит тому, кто его кормит. Конечно, вы прислужник! Вы заинтересованы в защите интересов тех капиталистических организаций, которым вы служите.

Мистер Морз слегка покраснел.

— Должен вам заметить, сэр,— сказал он,— что вы говорите, как заядлый социалист.

Вот тогда-то Мартин и сделал свое замечание по поводу социализма:

— Вы ненавидите и боитесь социалистов. Почему? Ведь вы не знаете ни их самих, ни их взглядов.

— Ну, ваши взгляды во всяком случае совпадают со взглядами социалистов,— возразил мистер Морз.

Руфь с тревогой поглядывала на собеседников, а миссис Морз радовалась, что Мартин навлекает на себя немилость главы дома.

— Если я называю республиканцев глупыми и говорю, что свобода, равенство и братство — лопнувшие мыльные пузыри, то из этого еще не следует, что я

социалист,— сказал Мартин, улыбаясь.— Если я не согласен с Джефферсоном и с тем ненаучно мыслящим французом, который влиял на его мировоззрение, то опять-таки этого недостаточно, чтобы называться социалистом. Уверяю вас, мистер Морз, что вы гораздо ближе меня к социализму; я ему в сущности заклятый враг.

— Вы, конечно, изволите шутить? — холодно спросил мистер Морз.

— Ничуть. Я говорю совершенно серьезно. Вы верите в равенство, а сами служите капиталистическим корпорациям, которые только и думают о том, как бы похоронить это равенство. А меня вы называете социалистом только потому, что я отрицаю равенство и утверждаю как раз тот принцип, который вы, в сущности говоря, доказываете всей своей жизнью. Республиканцы — самые лютые враги равенства, хотя они и провозглашают его где только возможно. Во имя равенства они уничтожают равенство. Поэтому-то я говорю, что они глупы. А я индивидуалист. Я верю, что в беге побеждает быстрееший, а в борьбе сильнееший. Эту истину я почерпнул из биологии, или по крайней мере мне кажется, что я ее почерпнул оттуда. Повторяю, что я индивидуалист, а индивидуалисты вечные, исконные враги социалистов.

— Однако вы бываете на социалистических митингах,— раздраженно произнес мистер Морз.

— Конечно. Так же, как лазутчик бывает во вражеском лагере. Как же иначе изучить противника? А кроме того, мне очень весело на этих митингах. Социалисты — прекрасные спорщики, и хорошо ли, плохо ли, но они многое читали. Любой из них знает о социологии и о всяких других «логиях» гораздо больше, чем рядовой капиталист. Да, я раз десять был на социалистических митингах, но от этого не стал социалистом, так же как от разглагольствований Чарли Хэпгуда не стал республиканцем.

— Не знаю, не знаю,— нерешительно сказал мистер Морз,— но мне почему-то кажется, что вы все-таки склоняетесь к социализму.

«Черт побери,— подумал Мартин,— он не понял ни одного слова! Точно я говорил с каменной стенкой! Куда же делось все его образование?»

Так на пути своего развития Мартин столкнулся лицом к лицу с моралью, основанной на экономике,— классовой моралью; и вскоре она сделалась для него настоящим пугалом. Его собственная мораль опиралась на интеллект, и моральный кодекс окружающих его людей раздражал его даже больше, чем их напыщенная пошлость; это была какая-то удивительная смесь экономики, метафизики, сентиментальности и подражательности.

Образчик этой курьезной смеси Мартину неожиданно пришлось встретить среди своих близких. Его сестра Мэриен познакомилась с одним трудолюбивым молодым немцем, механиком, который, основательно изучив свое ремесло, открыл велосипедную мастерскую; кроме того, он взял представительство по продаже дешевых велосипедов и зажил очень недурно. Мэриен, зайдя к Мартину, сообщила ему о своей помолвке, а потом шутя взяла его за руку и стала по линиям ладони предсказывать его судьбу.

В следующий раз она привела с собою и Германа Шмидта. Мартин поздравил обоих в самых изысканных выражениях, что, повидимому, не слишком понравилось туповатому жениху. Дурное впечатление еще усилилось, когда Мартин прочел стихи, написанные им после прошлого посещения Мэриен. Это было изящное стихотворение, посвященное сестре и названное «Гадалка». Прочтя его вслух, Мартин был очень удивлен, что его гости не выразили никакого удовольствия. Напротив, глаза сестры с тревогой устремились на жениха, на топорной физиономии которого были ясно написаны досада и раздражение. Инцидент, впрочем, был этим исчерпан, гости скоро ушли, и Мартин забыл о нем, хотя ему было непонятно, как могла женщина, хотя бы и из рабочего сословия, не почувствовать себя польщенной, что в честь ее написаны стихи.

Через несколько дней Мэриен снова зашла к Мартину, на этот раз одна. Не успела она войти, как уже начала горько упрекать его за неуместный поступок.

— В чем дело, Мэриен? — спросил Мартин с удивлением. — Ты говоришь таким тоном, словно ты стыдишься своих родных или по крайней мере своего брата!

— Конечно, стыжусь, — объявила она,

Мартин был окончательно сбит с толку, увидев слезы обиды в ее глазах. Обида во всяком случае была искренняя.

— Неужели твой Герман ревнует из-за того, что брат написал о сестре стихи?

— Он вовсе не ревнует,— всхлипнула она,— он говорит, что это неприлично, непри... непристойно.

Мартин недоверчиво свистнул, потом полез в ящик и достал экземпляр «Гадалки».

— Не понимаю,— сказал он, передавая листок сестре,— прочти сама и скажи, что тут есть непристойного? Ведь ты так сказала?

— Раз он говорит, значит есть,— возразила Мэриен, с отвращением отстраняя бумагу.— Он требует, чтобы ты разорвал это. Он говорит, что не хочет иметь жену, про которую пишут подобные вещи, и так, чтоб всякий мог прочитать. Он говорит, что это срам... и он этого не потерпит.

— Но послушай, Мэриен, это же просто глупо,— начал было Мартин, но тут же передумал.

Перед ним сидела несчастная девушка, которую нельзя было переубедить, так же как и ее жениха, и поэтому, сознавая всю нелепость инцидента, Мартин решил покориться.

— Ладно,— сказал он и, разорвав рукопись на мелкие кусочки, бросил их в корзинку.

Его утешала при этом мысль, что оригинал «Гадалки» уже лежит в редакции одного из нью-йоркских журналов. Мэриен и ее супруг никогда не узнают этого, и ни они, ни он, ни мир не пострадают от того, что это невинное маленькое стихотворение будет напечатано.

Мэриен нерешительно потянулась к корзине.

— Можно? — спросила она.

Мартин кивнул головой и молча глядел, как сестра собирала и прятала в карман кусочки разорванной рукописи — вещественное доказательство удачно выполненной миссии. Мэриен чем-то напоминала Мартину Лиззи Конолли, хотя ей не хватало того огня и жизненного задора, которыми так полна была молоденькая работница, встреченная им в театре. Но у них было много общего — в одежде, в манерах, в поведении. Мартин не мог удер-

жаться от улыбки, представив себе вдруг этих девушек в гостиной Морзов. Но забавная картина исчезла, и чувство бесконечного одиночества охватило Мартина. И его сестра и гостиная Морзов были только вехами на пройденном им пути. Все это уже осталось позади. Мартин ласково поглядел на свои книги. Это были его единственные, всегда верные товарищи.

— Как? Что ты сказала? — переспросил он вдруг в изумлении.

Мэриен повторила свой вопрос.

— Почему я не работаю? — Мартин засмеялся, но смех его звучал не слишком искренно. — Это твой Герман велел тебе меня спросить?

Мэриен отрицательно покачала головой.

— Не лги, — строго сказал Мартин, и она смущенно наклонила голову. — Так скажи своему Герману, чтобы он не лез не в свои дела. Еще когда я пишу стихи, посвященные его невесте, это, пожалуй, его дело, но дальше пусть он не сует своего носа. Поняла? Ты думаешь, стало быть, что из меня не выйдет писателя? — продолжал он. — Ты считаешь, что я сбился с пути, что я позорю свою семью? Да?

— Я считаю, что тебе бы лучше подыскать себе какую-нибудь работу, — твердо сказала Мэриен, и Мартин видел, что она говорит искренно. — Герман находит...

— К черту Германа! — добродушно прервал ее Мартин. — Ты мне лучше скажи, когда ваша свадьба. И спроси своего Германа, сообразоволят ли он разрешить тебе принять мой свадебный подарок.

После ее ухода Мартин долго думал об этом инциденте и раз или два горько рассмеялся. Да, все они — его сестра и ее жених, люди его круга и люди, окружающие Руфь, — все они одинаково приспособляются к общим меркам, все строят свою жизнь по готовому, убогому образцу. И постоянно глядя друг на друга, подражая друг другу, эти жалкие существа готовы стереть свои индивидуальные особенности, отказаться от живой жизни, чтоб только не нарушить нелепых правил, у которых они с детства в плену. Вереница знакомых образов потянулась перед мысленным взором Мартина: Бернард Хиггинботам под руку с мистером Бэтлером,

Герман Шмидт, обнявшись с Чарли Хэпгудом. Всех их попарно и поодиночке внимательно оглядел Мартин, всех измерил тем мерилом интеллектуальной и моральной ценности, которое почерпнул из книг,— и ни один не выдержал испытания. Напрасно спрашивал он: где же великие сердца, великие умы? Их не было видно среди толпы пошлых, тупых и вульгарных призраков, наполнивших его тесную каморку. А к этой толпе он чувствовал такое же презрение, какое, вероятно, чувствовала Цирцея к своим свиньям.

Когда последний из призраков исчез, явился вдруг еще один, неожиданный и незванный — гуляка-парень в шляпе с огромными полями, в двубортной куртке, раскачивающийся на ходу,— Мартин Иден далекого прошлого.

— И ты был не лучше, приятель,— насмешливо сказал ему Мартин.— У тебя были такие же моральные представления, и знал ты не больше их. Ты ни о чем не задумывался и не заботился. Взгляды ты приобретал готовыми, как и платье. Ты делал то, что вызывало одобрение других. Ты стал коноводом своей шайки, потому что она сочла тебя подходящим для этого. Ты дрался и командовал шайкой не потому, что тебе так нравилось,— на самом деле тебе это было противно,— а потому, что другие поощрительно хлопали тебя за это по плечу. Ты побил Масленую Рожу потому, что не хотел уступить, а уступить не хотел, потому что в тебе сидел первобытный зверь и вдобавок тебе прожужжали уши, что мужчина должен быть свиреп, кровожаден и безжалостен, что бить и калечить — достойно и мужественно. А зачем ты, щенок, отбивал подружек у своих товарищей? Вовсе не потому, что они тебе нравились, а просто потому, что в тех, кто тебя окружал, определял твои нравственные устои, сильны были инстинкты жеребца и дикого козла! Ну вот, с тех пор прошло немало времени. Что же ты теперь обо всем этом думаешь?

И, как бы в ответ на это, в видении стала совершаться быстрая перемена. Грубая куртка и широкополая шляпа исчезли, их заменил простой скромный костюм; лицо утратило свое зверское выражение и озарилось внутренним светом, одухотворенное общением с истиной и красотой. Видение теперь было очень похоже на нынешнего

Мартина; оно стояло у стола, склонясь над раскрытой книгой, на которую падал свет лампы. Мартин взглянул на заголовок. Это были «Основы эстетики». И тотчас же Мартин вошел в видение, слился с ним и, сев за стол, погрузился в чтение.

Глава тридцатая

В солнечный осенний день, такой же прекрасный день бабьего лета, как год назад, когда они впервые признались, что любят друг друга, Мартин читал Руфи свои «Сонеты о любви». Так же, как и тогда, они сидели на своем любимом месте, среди холмов. Руфь несколько раз прерывала чтение восторженными возгласами, и Мартин, отложив последний лист рукописи, с волнением ждал, что она скажет.

Руфь долго молчала, потом, наконец, начала с запинкой, словно не решаясь облечь в слова свое суровое суждение.

— Эти стихи прекрасны,— сказала она,— да, конечно, они прекрасны. Но ведь вы не можете получить за них деньги. То есть вы понимаете, что я хочу сказать,— она произнесла это почти умоляюще,— все, что вы пишете, оказывается неприменимо в жизни. Я не знаю, в чем тут причина,— вероятно, виноваты условия спроса,— но вы не можете заработать на жизнь своими произведениями. Поймите меня правильно, дорогой мой. Я очень горжусь,— иначе я не была бы женщиной,— я горжусь и радуюсь, что мне посвящены эти чудесные стихи. Но ведь дня нашей свадьбы они не приближают, правда, Мартин? Не сочтите меня корыстолюбивой. Я вас люблю, и я все время думаю о нашем будущем. Ведь целый год прошел с тех пор, как мы поведали друг другу о нашей любви, а до свадьбы нам так же далеко, как и раньше. Пусть вам не покажется нескромным этот разговор: вспомните, что речь идет о моем сердце, обо всей моей жизни. Уж если вам непременно хочется писать — ну, найдите работу в какой-нибудь газете. Почему бы вам не сделаться репортером? Хотя бы ненадолго?

— Я испорчу свой стиль,— глухо ответил Мартин,— вы не представляете, сколько труда я положил, чтобы выработать этот стиль.

— Но писали же вы газетные фельетоны ради денег? Они вам не испортили стиля?

— Это совсем другое дело. Я их вымучивал, выжимал из себя после целого дня серьезной работы. А стать репортером, это значит заниматься ремесленничеством с утра до вечера, отдать ему всю жизнь! И жизнь превращается при этом в какой-то вихрь, это жизнь минуты, без прошлого и без будущего. Репортеру и думать некогда ни о каком стиле, кроме репортерского. А это не литература. Мне сделаться репортером именно теперь, когда стиль у меня только что начал вырабатываться, определяться,— да это было бы литературным самоубийством. Даже и сейчас каждый фельетон, каждое слово в фельетоне для меня всегда мука, насилие над собой, над своим чувством прекрасного. Вы не представляете, как мне это было тяжело. Я просто чувствовал себя преступником. Я даже радовался втайне, когда мои «ремесленные» рассказы перестали покупать, хотя из-за этого мне пришлось заложить костюм. Но зато какое наслаждение я испытал, когда писал «Сонеты о любви»! Ведь радость творчества — благороднейшая радость на земле. Она меня вознаградила за все лишения.

Мартин не знал, что для Руфи «радость творчества» — пустые слова. Она, правда, часто употребляла их в беседе, и впервые Мартин услышал о радости творчества из ее уст. Она читала об этом, слышала в лекциях университетских профессоров, даже упоминала, сдавая экзамен на степень бакалавра искусств. Но сама она была чужда всякой оригинальности мысли, всякого творческого порыва и могла лишь повторять то, что заучила с чужих слов.

— А может быть, редактор был прав, исправляя ваши «Песни моря»? — спросила Руфь.— Если бы редактор не умел правильно оценивать литературное произведение, он не был бы редактором.

— Вот лишнее доказательство устойчивости общепринятых мнений,— запальчиво возразил Мартин, раз-

драженный упоминанием о ненавистном ему племени редакторов.— То, что существует, считается не только правильным, но и лучшим. Самый факт существования чего-нибудь рассматривается как доказательство его права на существование, и заметьте, не только при данных условиях, а на веки вечные. Конечно, рядовой человек верит в эту чепуху только благодаря своему закоснелому невежеству. Мыслительный процесс таких людей превосходно описал Вейнингер. Не умеющие мыслить воображают, что они мыслят, и распоряжаются судьбами тех, которые мыслят на самом деле.

Мартин вдруг остановился, испуганный догадкой, что Руфь еще не доросла до всего этого.

— Я не знаю, кто такой Вейнингер,— возразила она,— вы всегда так ужасно все обобщаете, что я перестаю понимать ваши мысли. Я говорю, что если редактор...

— А я вам говорю,— перебил он,— что по крайней мере девяносто девять процентов редакторов — это просто неудачники. Это неудавшиеся писатели. Не думайте, что им приятнее тянуть лямку в редакции и сознавать свою рабскую зависимость от распространения журнала и от оборотливости издателя, чем предаваться радостям творчества. Они пробовали писать, но потерпели неудачу. И вот тут-то и получается нелепейший парадокс. Все двери к литературному успеху охраняются этими сторожевыми собаками, литературными неудачниками. Редакторы, их помощники, рецензенты, вообще все те, кто читает рукописи,— это все люди, которые некогда хотели стать писателями, но не смогли. И вот они-то, последние, казалось бы, кто имеет право на это, являются вершителями литературных судеб и решают, что нужно и что не нужно печатать. Они, заурядные и бесталанные, судят об оригинальности и таланте. А за ними следуют критики, обычно такие же неудачники. Не говорите мне, что они никогда не мечтали и не пробовали писать стихи или прозу,— пробовали, только у них ни черта не вышло. От журнальных критических статей тошнит, как от рыбьего жира. Впрочем, вы знаете мою точку зрения на всех этих рецензентов и так называемых критиков. Есть, конечно, великие критики, но они редки, как кометы. Если

из меня не выйдет писателя, пойду в редакторы. В конце концов это кусок хлеба. И даже с маслом.

Однако быстрый ум Руфи тотчас подметил противоречие, заключавшееся в рассуждениях ее возлюбленного.

— Ну, хорошо, Мартин, если это так и для талантливых людей все двери закрыты, то как же выдвинулись великие писатели?

— Они совершили невозможное, — ответил он, — они создали такие пламенные, блестящие произведения, что все их враги были испепелены и уничтожены. Они достигли успеха благодаря чуду, выпадающему на долю одного из тысячи. Они вроде гигантов Карлейля, которых нельзя одолеть. И я сделаю то же. Я добьюсь невозможного.

— Но если вы потерпите неудачу? Вы должны подумать и обо мне, Мартин!

— Если я потерплю неудачу? — Он поглядел на нее с минуту, словно она сказала нечто немыслимое. Затем глаза его лукаво блеснули. — Тогда я стану редактором и вы будете редакторской женой!

Руфь состроила недовольную гримасу, очаровательную гримасу, которую Мартин тотчас прогнал поцелуями.

— Ну, ну, довольно, — протестовала Руфь, стараясь напряжением воли освободиться от обаяния его силы. — Я говорила с папой и с мамой. Я еще никогда так с ними не воевала. Я требовала, я была непочтительна и непослушна. Они оба настроены против вас, но я так твердо говорила им о моей любви к вам, что папа, наконец, согласился принять вас к себе в контору. Он даже решил положить вам сразу приличное жалованье, чтобы мы могли пожениться и жить самостоятельно где-нибудь в маленьком коттедже. Это очень великодушно с его стороны, не правда ли, Мартин?

Мартин почувствовал, как тупое отчаяние сдавило ему сердце. Он машинально полез в карман за табаком и бумагой (которых давно уже не носил при себе) и пробормотал что-то невнятное.

Руфь продолжала:

— Откровенно говоря, — только, пожалуйста, не обижайтесь, я просто хочу, чтобы вы знали, как обстоит

дело,— папе очень не нравятся ваши радикальные взгляды, и, кроме того, он считает вас лентяем. Я-то знаю, конечно, что вы не лентяй. Я знаю, как вы много работаете.

«Нет, этого даже и она не знает»,— подумал Мартин, но вслух спросил только:

— Ну, а вы как думаете? Вам тоже мои взгляды кажутся чересчур радикальными? — Он смотрел ей прямо в глаза и ждал ответа.

— Мне они кажутся... сомнительными,— ответила она, наконец.

Этим было все сказано, и жизнь вдруг показалась Мартину такой унылой, что он совсем забыл об осторожно сделанном Руфью предложении: поступить на службу в контору ее отца. А она, чувствуя, что зашла достаточно далеко, готова была терпеливо ждать удобного случая, чтобы вернуться к этому вопросу.

Но ждать пришлось недолго: у Мартина в свою очередь был вопрос к Руфи. Ему хотелось испытать, насколько сильна ее вера в него. И через неделю каждый получил ответ на свой вопрос.

Мартин ускорил дело, прочтя Руфи «Позор солнца».

— Почему вы не хотите заняться репортерской работой? — воскликнула Руфь, когда Мартин кончил читать.— Вы так любите писать, и вы, наверное, добились бы успеха, могли бы выдвинуться, стать журналистом с именем, специальным корреспондентом какой-нибудь газеты. Ведь некоторые специальные корреспонденты зарабатывают огромные деньги, и, кроме того, они ездят по всему миру. Их посылают в Африку,— вот как Стэнли,— они интервьюируют папу в Ватикане, исследуют таинственные уголки Тибета.

— Значит, вам не нравится моя статья? — спросил Мартин.— Вы, стало быть, предполагаете, что я мог бы стать только журналистом, но никак не писателем?

— О нет! Мне очень понравилась ваша статья. Она прекрасно написана. Но только я боюсь, что все это не по плечу вашим читателям. По крайней мере для меня это слишком трудно. Звучит очень хорошо, но я ничего не поняла. Слишком много специальной научной терминологии, прежде всего. Вы любите крайности, дорогой

мой, и то, что вам кажется понятным, совершенно непонятно для всех нас.

— Да, в статье много философских терминов,— только и мог сказать Мартин.

Он еще был взволнован — ведь он только что читал вслух самые свои зрелые мысли,— и ее суждение ошеломило его.

— Ну, пусть это неудачно по форме,— пытался настаивать Мартин,— но неужели сами мысли в вас не встречают сочувствия?

Руфь покачала головой.

— Нет. Это так не похоже на все, что я читала раньше... Я читала Метерлинка, и он был мне вполне понятен.

— Его мистицизм вам понятен? — вскричал Мартин.

— Да. А вот эта ваша статья, где вы на него нападаете, мне совершенно непонятна. Конечно, если говорить об оригинальности...

Мартин сделал нетерпеливое движение, но промолчал. Потом вдруг до его сознания дошли слова, которые Руфь продолжала говорить.

— В конце концов ваше творчество было для вас игрушкой,— говорила она,— вы достаточно долго забавлялись ею. Пора теперь отнестись серьезно к жизни, к нашей жизни, Мартин. До сих пор вы жили только для себя.

— Вы хотите, чтобы я поступил на службу?

— Да. Папа предлагает вам...

— Знаю, знаю,— прервал он резко,— но скажите мне прямо: вы в меня больше не верите?

Руфь молча сжала ему руку. Ее глаза затуманились.

— Не в вас... в ваше сочинительство, мой милый,— почти шепотом сказала она.

— Вы прочли почти все мои произведения,— с той же беспощадной прямоотой продолжал он,— что вы о них думаете? Вам кажется, что это очень плохо? Хуже того, что пишут другие?

— Другие получают деньги за свои произведения.

— Это не ответ на мой вопрос. Считаете ли вы, что литература не мое призвание?

— Ну, хорошо, я вам отвечу.— Руфь сделала над собой усилие.— Я не думаю, что вы можете стать писателем. Не сердитесь на меня, дорогой! Вы же сами меня спросили. А ведь вы знаете, что я больше вашего понимаю в литературе.

— Да, вы бакалавр искусств,— проговорил Мартин задумчиво,— вы должны понимать... Но этим еще не все сказано,— продолжал он после мучительной для обоих паузы.— Я знаю, в чем моя сила. Никто не может знать этого лучше меня. Я знаю, что добьюсь успеха. Я преодолею все препятствия. Во мне так и кипит все то, что должно найти отражение в стихах, статьях, рассказах. Но я вас не прошу верить в это. Не верьте ни в меня, ни в мой литературный талант. Единственно, о чем я вас прошу,— это верить в мою любовь и любить меня по-прежнему. Год тому назад я просил вас дать мне два года сроку. Один год уже прошел, но я твердо верю, что, прежде чем пройдет второй год, я добьюсь успеха. Помните, когда-то вы сказали мне: чтобы стать писателем, нужно пройти ученический искуc. Что ж, я прошел его. Я спешил, я уложился в короткий срок. Вы были конечной целью всех моих стремлений, и мысль о вас все время поддерживала мою энергию. Знаете ли вы, что я давно забыл, что значит уснуть спокойно и безмятежно? Мне иногда кажется, что миллионы лет прошли с той поры, когда я спал столько, сколько мне нужно, и просыпался просто оттого, что выпался. Теперь меня всегда поднимает будильник. Я ставлю его на определенный час в зависимости от того, когда я разрешаю себе уснуть. Это последнее сознательное усилие, которое я делаю перед сном: завожу будильник и гашу лампу. Когда я чувствую, что меня клонит ко сну, я заменяю трудную книгу более легкой. А если я и над этой книгой начинаю клевать носом, то бью себя кулаком по голове, чтобы прогнать сон. Помните, у Киплинга — о человеке, который боялся спать? Он пристраивал в постели шпору так, что, если он засыпал, стальной шип вонзался ему в тело. Я делал то же самое. Я решал, что не должен заснуть до полуночи, до часу, до двух... И шпора не давала мне засыпать до положенного времени. Я не расставался с этой шпорой в течение многих месяцев. Я дошел до того, что

сон в пять с половиной часов стал уже для меня недопустимой роскошью. Теперь я сплю всего четыре часа. Я весь извелся от постоянного недосыпания. Иногда у меня кружится голова и путаются мысли — до такой степени хочется мне уснуть; могильный покой кажется мне иногда блаженством. Мне вспоминаются стихи Лонгфелло:

В морской холодной глубине
Все спит в спокойном, тихом сне.
Один лишь шаг — плеснет вода,
И все исчезнет навсегда.

Конечно, это вздор. Это от усталости, от нервного переутомления. Но вот вопрос: ради чего я делал все это? Ради вас. Чтобы сократить срок ученичества, чтобы заставить Успех поторопиться. И теперь мое ученичество окончено. Я знаю, на что я способен. Уверяю вас, ни один студент в год не выучит того, что я выучиваю в один месяц. Я знаю. Вы уж мне поверьте. Я бы не стал говорить об этом, если бы мне так страстно не хотелось, чтобы вы меня поняли. Тут нет хвастовства. Я сужу по книгам, которые я прочел. Ваши братья — невежественные дикари в сравнении со мной, со всем тем, что я узнал из книг в те часы, когда они мирно спали. Когда-то я хотел прославиться. Теперь слава для меня ничего не значит. Я хочу только вас. Вы мне нужнее пищи, нужнее одежды, нужнее признания. Я мечтаю только о том, чтоб уснуть, наконец, положив голову к вам на грудь. И меньше чем через год мечта эта сбудется.

Опять ощущение его силы захлестнуло ее; и чем упорнее она противилась, тем больше ее влекло к нему. Эта покорявшая ее сила теперь проявлялась в его сверкающем взгляде, в его страстной речи, в той огромной жизненной энергии, которая бурлила и клокотала в нем. И вот на один миг, на один только миг, прочный, устойчивый мир Руфи заколебался, и она вдруг увидела перед собой настоящего Мартина Идена, великолепного и непобедимого! И как на укротителей зверей минутах находит сомнение, так и она усомнилась в возможности смирить непокорный дух этого человека.

— И вот ведь еще что, — продолжал он. — Вы меня любите. Но почему вы меня любите? Ведь именно то, что

заставляет меня писать, заставляет вас любить меня. Вы любите меня потому, что я не похож на людей, которые вас окружают и одному из которых вы могли бы подарить свою любовь. Я не создан для конторки, для бухгалтерских книг, для мелкого крючкотворства. Заставьте меня делать то же, что делают все эти люди, дышать одним с ними воздухом, разделять их взгляды,— и вы уничтожите разницу между мною и ими, уничтожите меня, уничтожьте то, что вы любите. Самое живое, что только есть во мне,— это страсть к творчеству. Будь я какой-нибудь заурядный олух, я не мечтал бы стать писателем, но и вы вряд ли захотели бы стать моей женой.

— Но почему же,— прервала его Руфь, поверхностный, но живой ум которой сразу усмотрел возможность параллели.— Ведь бывали и раньше чудачки-изобретатели, которые всю жизнь бились над изобретением какого-нибудь вечного двигателя, обрекая свою семью на нужду и лишения. Их жены, разумеется, любили их и страдали вместе с ними, но не за их чудачества, а скорее несмотря на эти чудачества.

— Верно,— возразил он.— Но ведь были и другие изобретатели, не чудачки, те, что всю жизнь бились над изобретением вполне реальных и полезных вещей и в конце концов добивались своего. Я ведь не хочу ничего невозможного...

— Вы сами сказали, что хотите «добиться невозможного».

— Я выразился фигурально. Я стремлюсь, в сущности говоря, достичь того, чего достигли до меня очень и очень многие: писать и жить литературным трудом.

Молчание Руфи раздражало Мартина.

— Стало быть, вы считаете, что это такая же химера, как вечный двигатель? — спросил он.

Ответ был ясен из пожатия ее руки — нежного материнского пожатия, словно мать успокаивала капризного ребенка. Для нее Мартин и в самом деле был только капризный ребенок, чудак, желающий добиться невозможного.

Руфь еще раз напомнила Мартину о том, как враждебно относятся к нему ее родители.

— Но ведь вы-то меня любите? — спросил он.

— Люблю, люблю! — воскликнула она.

— И я вас люблю, и ничего они мне не могут сделать, — голос его звучал торжествующе. — Раз я верю в вашу любовь, то мне нет дела до их ненависти. Все в мире непрочно, кроме любви. Любовь не может сбиться с пути, если только это настоящая любовь, а не хилый уродец, спотыкающийся и падающий на каждом шагу.

Глава тридцать первая

Как-то раз случай свел Мартина на Бродвее с его сестрой Гертрудой — случай, несомненно, счастливый, несмотря на возникшую при этом неловкость. Ожидая на углу трамвая, Гертруда первая увидела Мартина, и ей сразу бросилось в глаза мрачное выражение его изможденного, осунувшегося лица. Мартин и в самом деле был мрачен. Он возвращался после неудачной беседы с ростовщиком, у которого хотел выторговать добавочную ссуду под велосипед. Наступила осенняя распутица, и поэтому Мартин давно уже заложил велосипед, но черный костюм он непременно хотел сохранить.

— Ведь у вас есть черный костюм, — сказал ростовщик, знавший наперечет все имущество Мартина. — Уж не заложили ли вы его у этого еврея Липке? Ну, если только...

Он так грозно посмотрел на Мартина, что тот поспешил воскликнуть:

— Нет, нет! Я не закладывал костюма. Просто я не могу без него обойтись.

— Отлично, — сказал ростовщик, смягчившись немного. — Но я тоже не могу без него обойтись, если вы хотите, чтобы я дал вам еще денег. Ведь я занимаюсь этим делом не ради развлечения.

— Мой велосипед стоит по крайней мере сорок долларов, и к тому же он в полной исправности, — возразил Мартин. — А вы мне дали за него только семь долларов! И даже не семь! Шесть с четвертью! Ведь вы берете вперед проценты!

— Хотите получить еще денег, так принесите костюм,— последовал хладнокровный ответ, и Мартин в полном отчаянии выбежал из душной тесной лавчонки. Вот откуда взялось мрачное выражение его лица, которое так огорчило Гертруду.

Не успели они поздороваться, как подошел трамвай, идущий на Телеграф-авеню. Мартин поддержал сестру под локоть, чтобы помочь ей сесть, и та поняла, что сам он хочет идти пешком. Стоя на ступеньке, Гертруда обернулась к нему, и сердце ее сжалось при виде его ввалившихся глаз.

— А ты разве не поедешь? — спросила она.

И тотчас же сошла с трамвая и очутилась рядом с ним.

— Я всегда хожу пешком, для моциона,— объяснил он.

— Ну что ж, я тоже пройдуся немножко,— сказала Гертруда,— мне это полезно. Я что-то себя плохо чувствую последнее время.

Мартин взглянул на сестру, и его поразила происшедшая в ней перемена. Вид у нее был утомленный и какой-то неряшливый, лицо безобразили отечные складки, и вся она как-то обрюзгла, расплылась, а тяжелая, неуклюжая походка была словно карикатурой на эластичную, бодрую поступь здоровой и веселой женщины.

— Уж лучше подожди трамвая,— сказал Мартин, когда они дошли до следующей остановки. Он заметил, что Гертруда начала задыхаться.

— Господи помилуй! И верно, ведь я устала,— сказала она.— Но и тебе тоже не мешало бы сесть на трамвай. Подошвы у твоих башмаков такие, что, пожалуй, протрутса, прежде чем ты дойдешь до Северного Окленда.

— У меня дома есть еще одна пара башмаков,— отвечал Мартин.

— Приходи завтра обедать,— сказала Гертруда неожиданно.— Бернарда не будет, он едет по делам в Сан-Леандро.

Мартин отрицательно покачал головой, но не сумел скрыть жадный огонек, сверкнувший у него в глазах при упоминании об обеде.

— У тебя нет ни пенса, Март, вот отчего ты ходишь пешком. Моцион, как же!

Она хотела презрительно фыркнуть, но из этого ничего не вышло.

— Погоди-ка...

И, порывшись в сумочке, Гертруда сунула Мартину в руку пятидолларовую монету.

— Я забыла, что на днях было твое рождение,— пробормотала она.

Мартин инстинктивно зажал в руке монету. Он сразу же почувствовал, что не должен принимать этого подарка, но заколебался. Ведь этот золотой кружочек означал пищу, жизнь, возвращение сил духовных и телесных, новый прилив творческой энергии, и как знать! — может быть, он напишет что-нибудь такое, что принесет ему много таких же золотых монет. Ему ясно представились две его последние статьи, которые валялись под столом среди груды рукописей, так как не на что было купить марок. Печатные заголовки так и горели у него перед глазами. Статьи назывались «Жрецы чудесного» и «Колыбель красоты». Он еще никуда не посылал их, но знал, что это лучшее из всего написанного им в этом роде. Только бы купить марки. Уверенность в успехе вдруг возникла в нем и довершила то, что начал голод: быстрым движением он сунул в карман монету.

— Я тебе верну в сто раз больше, Гертруда,— проговорил он с трудом, потому что судорога сдавила ему горло, и на глазах у него блеснули слезы.— Запомни мои слова! — воскликнул он твердо и убежденно.— Не пройдет года, как я принесу тебе ровно сотню таких золотых кругляков. Я не прошу тебя верить мне. Ты должна только ждать. А там увидишь!

Она и не верила. Но ей самой стало неловко от этого, и, не зная, как выйти из положения, она сказала:

— Я знаю, что ты голодаешь, Март. У тебя на лице написано. Приходи обедать в любое время. Когда Хиггинботам будет уходить по делам, я сумею известить тебя. Кто-нибудь из ребят всегда может сбегать. А что, Март...

Мартин наперед знал, что скажет сестра, так как ход ее мыслей был достаточно ясен.

— Не пора ли тебе поступить на какое-нибудь место?

— Ты думаешь, что я ничего не добьюсь? — спросил он.

Гертруда покачала головой.

— Никто в меня не верит, Гертруда, кроме меня самого.— Он сказал это с каким-то страстным задором.— Но я написал уже очень много хороших вещей и рано или поздно получу за них деньги.

— А почему ты знаешь, что они хороши?

— Да потому, что...— Все его познания по литературе, по истории литературы вдруг ожили в его мозгу, и он понял, что сестре не объяснишь, на чем основывается его вера в себя.— Да потому, что мои рассказы лучше, чем девяносто девять процентов всего того, что печатается в журналах.

— А все-таки послушай разумного совета,— сказала Гертруда, твердо уверенная, что правильно понимает его болезнь.— Да, послушай разумного совета,— повторила она,— а завтра приходи обедать.

Мартин усадил ее в трамвай и, побежав на почту, на три доллара из пяти купил марок. Позднее, по дороге к Морзам, он зашел в почтовое отделение и отправил множество толстых пакетов, на что ушли все его марки, за исключением трех двухпенсовых.

Это был памятный вечер для Мартина, ибо в этот вечер он познакомился с Рэссом Бриссенденом. Как Бриссенден попал к Морзам, кто его привел туда, Мартин так и не узнал. Он даже не полюбопытствовал спросить об этом Руфь, так как Бриссенден показался ему человеком бледным и неинтересным. Час спустя Мартин решил, что он еще и невежа: уж очень он бесцеремонно слонялся из одной комнаты в другую, глазел на картины и совал нос в книги и журналы, лежавшие на столах или стоявшие на полках. Наконец, не обращая внимания на прочее общество, он, точно у себя дома, удобно устроился в моррисовском кресле, вытащил из кармана какую-то книжку и принялся читать. Читая, он то и дело рассеянно проводил рукою по волосам. Потом Мартин забыл о нем и вспомнил только в конце вечера, когда увидел его в кружке молодых женщин, которые явно наслаждались беседой с ним.

Возвращаясь домой, Мартин случайно нагнал по дороге Бриссендена.

— А, это вы,— окликнул он.

Тот что-то не очень любезно проворчал в ответ, но все же пошел рядом. Мартин больше не делал попыток завязать беседу, и так они, молча, прошли несколько кварталов.

— Старый самодовольный осел!

Неожиданность и энергичность этого возгласа поразила Мартина. Ему стало смешно, но в то же время он почувствовал растущую неприязнь к Бриссендену.

— Какого черта вы туда таскаетесь? — услышал Мартин, после того как они прошли еще квартал в молчании.

— А вы? — спросил Мартин в свою очередь.

— Убейте меня, если я знаю, — отвечал Бриссенден. — Впрочем, это я там был в первый раз. В конце концов в сутках двадцать четыре часа. Надо же их как-нибудь проводить. Пойдемте выпьем.

— Пойдемте, — отвечал Мартин.

Он тут же мысленно выругал себя за свою сговорчивость. Дома его ждала «ремесленная» работа; кроме того, на ночь он решил почитать томик Вейсмана, не говоря уже об автобиографии Герберта Спенсера, которая для него была увлекательнее любого романа. Зачем тратить время на этого вовсе несимпатичного человека, думал Мартин. Но его привлек не спутник и не выпивка, а все то, что было связано с этим: яркий свет, зеркала, звон и блеск бокалов, разгоряченные лица и громкие голоса. Да, да, голоса людей веселых и беззаботных, которые добились жизненного успеха и могли с легким сердцем пропивать свои деньги. Мартин был одинок — вот в чем заключалась его беда. Потому-то он и принял с такой охотой приглашение Бриссендена. С тех пор как Мартин покинул «Горячие Ключи» и расстался с Джо, он ни разу не был в питейном заведении, за исключением того случая, когда его угостил португалец лавочник. Умственное утомление не вызывает такой потребности подкрепить свои силы алкоголем, как физическая усталость, и Мартин не тянуло к вину. Но сейчас ему захотелось выпить — вернее, очутиться в шумной атмосфере кабака, где пьют, кричат и хохочут. Таким именно кабаком была «Пещера». Бриссенден и Мартин, развалившись в удобных кожаных креслах, принялись потягивать шотландское виски с содовой.

Они разговорились; говорили о разных вещах и прерывали беседу для того, чтобы по очереди заказывать новые порции. Мартин, обладавший необычайно крепкой головой, все же не мог не удивляться выносливости своего собеседника. Но еще больше он удивлялся мыслям, которые тот высказывал. Вскоре Мартин пришел к убеждению, что Бриссенден все знает и что это вообще второй настоящий интеллигент, повстречавшийся ему на пути.

Но у Бриссендена к тому же было многое такое, чего не хватало профессору Колдуэллу. В нем был огонь, необычайная пронзительность и восприимчивость, какая-то особая свобода полета мысли. Он говорил превосходно. С его тонких губ срывались острые, словно на станке отточенные, слова. Они кололи и резали. А в следующий миг их сменяли плавные, льющиеся фразы, расцвеченные яркими, пленительными образами, словно бы таившими в себе отблеск непостижимой красоты бытия. Иногда его речь звучала, как боевой рог, зовущий к буре и грохоту космической борьбы, звенела, как серебро, сверкала холодным блеском звездных пространств. В ней кратко и четко формулировались последние завоевания науки. И в то же время это была речь поэта, проникнутая тем высоким и неуловимым, чего нельзя выразить словами, но можно только дать почувствовать в тех тонких и сложных ассоциациях, которые эти слова порождают. Его умственный взор проникал словно чудом в какие-то далекие, недоступные человеческому опыту области, о которых, казалось, нельзя было рассказывать обыкновенным языком. Но поистине магическое искусство речи помогало ему вкладывать в обычные слова необычные значения, которых не уловил бы заурядный ум, но которые, однако, были близки и понятны Мартину.

Мартин сразу забыл о своей первоначальной неприязни к Бриссендену. Перед ним было то, о чем до сих пор он только читал в книгах. Перед ним был воплощенный идеал мыслителя, человек, достойный поклонения. «Я должен повергнуться в прах перед ним», — повторял он самому себе, с восторгом слушая своего собеседника.

— Вы, очевидно, изучали биологию! — воскликнул он, наконец.

К его удивлению, Бриссенден отрицательно покачал головой.

— Но ведь вы высказываете положения, к которым немыслимо прийти без знания биологии,— продолжал Мартин, заметив удивленный взгляд Бриссендена.— Ваши выводы совпадают со всем ходом рассуждения великих ученых. Не может быть, чтобы вы не читали их трудов!

— Очень рад это слышать,— отвечал тот,— очень рад, что мои поверхностные познания открыли мне кратчайший путь к постижению истины. Но мне в конце концов безразлично, прав я или нет. Все равно это не имеет значения. Ведь абсолютной истины человек никогда не постигнет.

— Вы ученик и последователь Спенсера! — с торжеством воскликнул Мартин.

— Я с юных лет не заглядывал в Спенсера. Да и тогда-то читал только «Воспитание».

— Хотел бы я приобретать знания с такой же легкостью,— говорил Мартин полчаса спустя, подвергнув тщательному анализу весь умственный багаж Бриссендена.— Вы настоящий догматик, вот что самое удивительное. Вы догматически устанавливаете такие факты, которые наука могла установить только *a posteriori*¹. Вы как-то сразу делаете правильные выводы. Вам и в самом деле посчастливилось найти кратчайший путь к истине, и вы пролетаете этот путь с быстротой света. Это какая-то сверхъестественная способность.

— Да, это всегда смущало моих учителей, отца Джозефа и брата Дэттона,— возразил Бриссенден.— Но тут никаких чудес нет. Благодаря счастливой случайности я попал с ранних лет в католический колледж. А вы-то сами где получили образование?

Рассказывая ему о себе, Мартин в то же время внимательно рассматривал Бриссендена, аристократически тонкие черты его лица, покатые плечи, пальто с карманами, набитыми книгами, брошенное им на соседний стул. Лицо Бриссендена и его тонкие руки были покрыты темным загаром, и это удивило Мартина. Едва ли Бриссен-

¹ Исходя из опыта (лат.).

ден любитель прогулок на свежем воздухе. Где же он так загорел? Что-то болезненное, неестественное чудилось Мартину в этом загаре, и он все время думал о нем, вглядываясь в лицо Бриссендена — узкое, худощавое лицо, со впалыми щеками и красивым орлиным носом. В разрезе его глаз не было ничего замечательного. Они были не слишком велики и не слишком малы, карие, несколько неопределенного оттенка; но в них горел затаенный огонь, и выражение было какое-то странное, двойственное и противоречивое. Они смотрели гордо, вызывающе, подчас даже сердито и в то же время почему-то вызывали жалость. Мартину было безотчетно жаль Бриссендена; он скоро понял, откуда возникло это чувство.

— Ведь у меня чахотка, — объявил Бриссенден, после того как сказал, что недавно приехал из Аризоны. — Я жил там около двух лет; провел курс климатического лечения.

— А вам не боязно возвращаться теперь в наш климат?

— Боязно?

Он просто повторил слово, сказанное Мартином, но тот сразу понял, что Бриссенден ничего на свете не боится. Глаза его сузились, ноздри раздулись, в выражении лица появилось что-то орлиное, гордое и решительное. У Мартина сердце забилося от восторга перед этим человеком. «До чего хорош», — подумал он и затем вслух декламировал:

Под гнетом яростного рока
Окровавленного я не склоню чела.

— Вы любите Гэнли? — спросил Бриссенден, и выражение его глаз сразу сделалось нежным и ласковым. — Ну, конечно, разве вы можете не любить его. Ах, Гэнли! Великий дух! Он высится среди современных журнальных рифмоплетов, как гладиатор среди евнухов.

— Вам не нравится то, что печатают в журналах? — осторожно спросил Мартин.

— А вам нравится? — рявкнул Бриссенден так бешено, что Мартин даже вздрогнул.

— Я... я пишу, или, вернее, пробую писать для журналов, — пробормотал Мартин.

— Ну, это еще туда-сюда,— более миролюбиво сказал Бриссенден,— вы пробуете писать, но вам это не удастся. Я ценю и уважаю ваши неудачи. Я представляю себе, что вы пишете. Для этого мне не нужно даже читать ваши произведения. В них есть один недостаток, который закрывает перед ними все двери. В них есть глубина, а это не требуется журналам. Журналам нужен всякий хлам, и они его получают в изобилии — только не от вас, конечно.

— Я не чуждаюсь ремесленной работы,— возразил Мартин.

— Напротив...— Бриссенден остановился на мгновение и дерзко оглядел все признаки нищеты Мартина — его поношенный галстук, лоснящиеся рукава, обтрепанные манжеты; затем долго созерцал его впалые, худые щеки.— Напротив, ремесленная работа чуждается вас, и так упорно, что вам ни за что не преуспеть в этой области. Слушайте, милый мой, вы, наверно, обиделись бы, если бы я предложил вам поесть?

Мартин почувствовал, что неудержимо краснеет, а Бриссенден торжествующе расхохотался.

— Сытый человек не обижается на такие предложения,— заявил он.

— Вы дьявол! — раздраженно вскричал Мартин.

— Да ведь я вам и не предлагал!

— Еще бы вы посмели!

— Вот как? В таком случае приглашаю вас поужинать со мною.

Бриссенден, говоря это, привстал, как бы намереваясь тотчас же идти в ресторан.

Мартин сжал кулаки, кровь застучала у него в висках.

— Знаменитый пожиратель змей! Глотает их живьем! Глотает их живьем! — воскликнул Бриссенден, подражая зазывале ярмарочного балагана.

— Вас я и в самом деле мог бы проглотить живьем,— сказал Мартин, в свою очередь дерзко оглядев истощенного болезнью Бриссендена.

— Только я того не стою.

— Не вы, а дело того не стоит,— произнес Мартин и тут же рассмеялся от всего сердца.— Признаюсь,

Бриссенден, вы оставили меня в дураках. То, что я голоден, явление естественное, и ничего тут для меня постыдного нет. Вот видите — я презираю мелкие условности и предрассудки, но стоило вам сказать самые простые слова, назвать вещи своими именами, и я мгновенно превратился в раба этих самых предрассудков.

— Да, вы обиделись, — подтвердил Бриссенден.

— Обиделся, сознаюсь. Есть предрассудки, впитанные с детства. Хотя я многому успел научиться, а все-таки иногда срываюсь. У каждого свое слабое место — свой, как говорится, скелет в шкафу.

— Но сейчас вы уже заперли дверцы шкафа?

— Ну, конечно.

— Наверное?

— Наверное.

— Тогда идемте ужинать.

— Идемте.

Мартин хотел заплатить за виски и вытащил свои последние два доллара, но Бриссенден не позволил официанту взять их и заплатил сам.

Мартин состроил было недовольную гримасу, но Бриссенден мягко и дружелюбно положил ему руку на плечо, и он покорно положил деньги в карман.

Глава тридцать вторая

На следующий день Марии пришлось испытать новое потрясение: к Мартину опять явился необычайный гость. Но на этот раз она настолько сохранила самообладание, что даже чинно пригласила гостя подождать в гостиной.

— Вы не возражаете, что я вторгся к вам? — спросил Бриссенден.

— Нет, нет, что вы! — воскликнул Мартин, крепко пожимая ему руку, и, подвинув гостю единственный стул, сам сел на кровать. — Но как вы узнали мой адрес?

— Позвонил к Морзам. Мисс Морз сама подошла к телефону. И вот я здесь.

Бриссенден запустил руку в карман пальто и вытащил небольшой томик.

— Вот вам книжка стихов одного поэта,— сказал он, кладя книгу на стол,— прочтите и оставьте себе. Берите! — вскричал он в ответ на протестующий жест Мартина.— На что мне книги? У меня сегодня утром опять шла горлом кровь. Есть у вас виски? Ну, конечно, нет! Подождите минутку.

Он быстро встал и вышел. Мартин посмотрел ему вслед и с грустью увидел, как ссутулились над впалой грудью его когда-то, должно быть, могучие плечи. Достав два стакана, Мартин углубился в подаренную книгу. Это был последний сборник стихов Генри Вогана Марлоу.

— Шотландского нет,— объявил вернувшийся Бриссенден,— каналья торгует только американским. Но я все-таки взял бутылку.

— Я сейчас пошлю кого-нибудь из ребят за лимонами, и мы сделаем грог,— предложил Мартин.— Интересно, сколько получает Марлоу за такую книгу?

— Долларов пятьдесят,— отвечал Бриссенден,— и это еще хорошо. Пусть скажет спасибо, что ему удалось найти издателя, который захотел рискнуть.

— Значит, поэзией нельзя прожить?

В голосе Мартина прозвучало глубокое огорчение.

— Конечно, нет! Какой же дурак на это рассчитывает? Рифмоплетство — другое дело. Вот такие, как Брюс, Виржиния Спринг или Седжвик, делают хорошие дела. Но настоящие поэты... Вы знаете, чем живет Марлоу? Преподает в Пенсильвании, в школе для отстающих учеников, а из всех филиалов ада на земле — это, несомненно, самый мрачный. Я бы не поменялся с ним, даже если бы он предложил мне за это пятьдесят лет жизни. А ведь его стихи блещут среди виршей современных стихотворцев, как рубины среди стекляшек. А что о нем пишут критики! Черт бы побрал этих критиков, эти надутые ничтожества!

— Вообще люди, неспособные сами стать писателями, слишком много судят о настоящих писателях,— воскликнул Мартин.— Чего, например, не плели про Стивенсона!

— Болотные ехидны! — проговорил Бриссенден, с презрением стиснув зубы.— Да, я знаю эту породу. Всю жизнь они клевали Стивенсона за его письмо в защиту

отца Дамьена, разбирали его по косточкам, и взвешивали, и...

— И мерили его меркой собственного жалкого «я»,— вставил Мартин.

— Хорошо сказано. Ну, конечно! Трепали и поганили все Прекрасное, Истинное и Доброе в нем, а потом поощрительно похлопывали его по плечу и говорили: «Хороший пес Фидо!» Тьфу! «Жалкие сороки человеческого рода», сказал про них на смертном одре Ричард Рилф.

— Они клюют звездную пыль,— страстно подхватил Мартин,— хотят поймать мысль гения в ее метеорическом полете. Я как-то написал статью о критиках,— вернее, о рецензентах.

— Давайте ее сюда! — быстро сказал Бриссенден.

Мартин вытащил из-под стола экземпляр «Звездной пыли», и Бриссенден тотчас начал читать, то и дело фыркая, потирая руки и забыв даже про свой гроб.

— Да ведь вы сами частица звездной пыли, залетевшая в страну слепых карликов! — закричал Бриссенден, дочитав статью.— Разумеется, в первом же журнале ухватились за это руками и ногами?

Мартин заглянул в свою записную книжку.

— Эту статью отвергли двадцать семь журналов.

Бриссенден начал было хохотать, но тотчас закашлялся.

— А скажите,— прохрипел он, наконец,— вы, наверное, пишете стихи? Дайте мне почитать.

— Только не читайте здесь,— попросил его Мартин,— мне хочется поговорить с вами. А стихи я вам дам, и вы их прочтете дома.

Бриссенден ушел, захватив с собою «Сонеты о любви» и «Пери и жемчуг». На следующий день он снова пришел к Мартину и сказал только:

— Давайте еще.

Прочтя все, он заявил, что Мартин настоящий поэт. Оказалось, что он и сам пишет стихи.

Мартин пришел в восторг от стихов Бриссендена и очень удивился, узнав, что тот ни разу не сделал даже попытки напечатать их.

— Чума возьми журналы эти все! — сказал Бриссенден в ответ на предложение Мартина послать его стихи в

какой-нибудь журнал.— Любите красоту ради самой красоты, а о журналах бросьте думать. Ах, Мартин Иден! Возвращайтесь-ка вы снова к кораблям, к морю — вот вам мой совет. Чего вам здесь нужно, в этих городских клоаках? Ведь вы каждый день совершаете самоубийство, prostituiруя красоту на потребу журналам! Как это вы на днях сказали? Да... «Человек — последняя из эфемерид». Ведь слава для вас яд. Вы слишком самобытны, слишком непосредственны и слишком умны, чтобы питаться манной кашкой похвал. Надеюсь, что вы никогда не продадите журналам ни одной строчки. Нужно служить только Красоте. Служите ей — и к черту толпу! Успех? Какого вам еще надо успеха! Ведь вы же достигли его и в вашем сонете о Стивенсоне, — который, кстати сказать, много выше гэнлиевского «Видения», — и в «Сонетах о любви», и в морских стихах! Радость поэта в самом творчестве, а не в достигнутом успехе. Не спорьте со мной. Я это знаю. И вы сами это знаете. Вы ранены красотой. Это незаживающая рана, неизлечимая болезнь, раскаленный нож в сердце. К чему вам заигрывать с журналами? Пусть вашей целью будет только одна Красота. Зачем вы стараетесь чеканить из нее монету? Впрочем, все равно из этого ничего не выйдет. Можно не беспокоиться. Прочитайте все журналы хоть за тысячу лет, и вы не найдете в них ничего равного хотя бы одной строке Китса. Забудьте о славе и золоте и завтра же отправляйтесь в плавание.

— Я тружусь не ради славы, а ради любви, — засмеялся Мартин. — В вашем мироздании любовь не имеет, как видно, места. А в моем красота — прислужница любви.

Бриссенден посмотрел на него с восторгом и жалостью.

— Как вы еще молоды, Мартин! Ах, как вы еще молоды! Вы высоко залетите, но смотрите — крылья у вас уж очень нежные. Не опалите их. Впрочем, вы их уже опалили. И эти «Сонеты о любви» воспевают какую-то юбчонку... Позор!

— Они воспевают любовь, — возразил Мартин и опять засмеялся.

— Философия безумия! — возразил Бриссенден. —

Я убедился в этом, когда предавался грезам после хорошей дозы гашиша. Берегитесь! Эти буржуазные города погубят вас. Возьмите для примера тот притон торгашей, где мы с вами познакомились. Ей-богу, это хуже мусорной ямы. В такой атмосфере нельзя оставаться здоровым. Там невольно задохнешься. И ведь никто — ни один мужчина, ни одна женщина — не возвышается над всей этой мерзостью. Все это ходячие утробы, только утробы, с идейными и художественными стремлениями моллюсков...

Он вдруг остановился и взглянул на Мартина. Внезапная догадка, как молния, озарила его. И лицо выразило ужас и удивление.

— И вы написали свои изумительные «Сонеты о любви» в честь этой бледной и ничтожной самочки?

В ту же минуту правая рука Мартина схватила Бриссендена за горло и встряхнула так, что у него застучали зубы. Однако в глазах его Мартин не увидел страха: только какое-то любопытство и дьявольскую насмешку. И тогда, опомнившись, Мартин разжал пальцы и швырнул Бриссендена на постель.

Бриссенден долго не мог отдышаться. Отдышавшись, он засмеялся.

— Вы бы сделали меня своим вечным должником, если бы вытряхнули из меня остатки жизни,— сказал он.

— У меня последнее время что-то нервы не в порядке,— оправдывался Мартин,— надеюсь, я не сделал вам очень больно? Сейчас приготовлю свежий грог.

— Ах вы, юный эллин! — воскликнул Бриссенден.— Вы недостаточно цените свое тело. Вы невероятно сильны. Прямо молодая пантера! Львенок! Ну, ну! Это вам дорого обойдется в жизни.

— Как так? — с любопытством спросил Мартин, подавая ему стакан.— Выпейте и не сердитесь.

— А очень просто,— Бриссенден стал потягивать грог, одобрительно улыбаясь,— все из-за женщин. Они вам не дадут покоя до самой смерти, как не дают и сейчас. Я ведь не вчера родился. И не вздумайте опять душить меня. Я все равно выскажу вам все до конца. Я понимаю, что это ваша первая любовь, но ради Красоты будьте в следующий раз разборчивее. Ну на кой черт вам эти буржуазные девицы? Бросьте, не путайтесь с

ними. Найдите себе настоящую женщину, пылкую, страстную,— знаете, из тех, что «над жизнью и смертью смеются и любят, пока есть любовь». Есть на свете подобные женщины, и они, поверьте, полюбят вас так же охотно, как и эта убогая душонка, порождение сытой буржуазной жизни.

— Убогая душонка? — вскричал Мартин с негодованием.

— Именно, убогая душонка! Она будет лепетать вам прописные моральные истины, которые ей вдолбили с детства, и при этом будет бояться жить настоящей жизнью. Она будет по-своему любить вас, Мартин, но свою жалкую прописную мораль она будет любить еще больше. А вам нужна великая, самозабвенная любовь, вам нужна свободная душа, сверкающий красками мотылек, а не серая моль. А впрочем, в конце концов вам все женщины наскучат, если только, на свое несчастье, вы заживетесь на этом свете. Но вы не заживетесь! Вы ведь не захотите вернуться к морю! Будете таскаться по этим гнилым городам, пока не сгниете сами.

— Говорите, что хотите,— сказал Мартин,— вам все равно не удастся меня переубедить! В конце концов у вас своя жизненная мудрость, а у меня своя, и каждый из нас прав для себя.

Они не сходились во взглядах на любовь, на журналы и на многое другое, но тем не менее их влекло друг к другу, и Мартин чувствовал к Бриссендену нечто более глубокое, нежели простую привязанность. Они стали видеться ежедневно, хотя Бриссенден не мог высидеть более часа в душевной комнате Мартина.

Бриссенден никогда не забывал захватить с собою бутылку виски, а когда они обедали в каком-нибудь ресторанчике, он заказывал шотландское виски с содовой водой. Он неизменно платил за обоих, и благодаря ему Мартин познакомился со многими тонкими блюдами, впервые изведав прелесть шотландского и букет рейнвейна.

Но Бриссенден всегда оставался загадкой. Аскет с виду, он, несмотря на свою болезнь, знал цену жизненным наслаждениям. Он не боялся смерти, с горькой насмешкой относясь ко всем формам человеческого существования, но в то же время страстно любил жизнь до

самых мельчайших ее проявлений. Он был одержим жаждой жизни, стремлением ощущать ее трепет, «шевелиться на своем крохотном пространстве среди космической пыли, из которой я возник», — сказал он однажды. Он пробовал на себе действие наркотиков и проделывал странные вещи только ради того, чтобы изведать новые ощущения. Он рассказал Мартину, как три дня подряд не пил воды, чтобы на четвертый насладиться утолением жажды. Мартин так никогда и не узнал, кто он и откуда. Это был человек без прошлого, его будущее обрывалось близкой могилой, а в настоящем его сжигала горячка жизни.

Глава тридцать третья

Мартину приходилось все хуже и хуже. Как ни старался он экономить, заработка от его литературных поделок не хватало даже на насущные расходы. В конце концов он должен был заложить и черный костюм, тем самым лишив себя возможности принять приглашение Морзов к обеду в День благодарения. Руфь была очень огорчена, узнав причину его отказа, и это побудило его к отчаянному решению. Он пообещал ей прийти, сказав, что сам отправится в редакцию «Трансконтинентального ежемесячника» за своими пятью долларами и на них купит костюм.

Утром он занял у Марии десять центов. Он предпочел бы занять у Бриссендена, но этот чудака внезапно исчез с горизонта: уже две недели он не появлялся в комнате Мартина, и тот тщетно ломал голову, стараясь припомнить, не дал ли он ему повода для обиды. Десять центов нужны были Мартину, чтобы переправиться на пароме через залив, и вскоре он уже шел по Маркет-стрит, раздумывая над тем, как быть, если не удастся получить деньги. Даже возвращение в Окленд грозило стать проблемой в этом случае, так как в Сан-Франциско ему не у кого было занять десять центов на переправу.

Дверь редакции «Трансконтинентального ежемесячника» была приотворена, и Мартин невольно остановился, услышав следующий разговор:

— Да не в этом дело, мистер Форд. (Мартин знал, что Форд — фамилия редактора.) Дело в том, в состоянии ли вы мне уплатить? То есть, разумеется, уплатить наличными деньгами. Мне наплевать, какие виды у вашего журнала на будущий год. Я требую, чтобы вы мне заплатили за мою работу, и больше ничего. И предупреждаю, что, пока вы мне не заплатите все до цента, рождественский номер не будет спущен в машину. До свидания! Когда у вас появятся деньги, заходите.

Дверь распахнулась, и мимо Мартина промчался какой-то человек, сжимая кулаки и бормоча ругательства. Мартин почел за благо выждать минут пятнадцать. Побродив немного по улице, он вернулся, толкнул дверь и первый раз в жизни переступил порог редакционного помещения. Визитных карточек здесь явно не требовалось — мальчик просто-напросто пошел за перегородку и сказал, что кто-то спрашивает мистера Форда. Вернувшись, он провел Мартина в кабинет редактора. Первое, что поразило Мартина, был необыкновенный беспорядок, царивший в комнате. Затем он увидел сидевшего за столом моложавого господина с бакенбардами, который смотрел на него с любопытством. Мартин был поражен невозмутимым выражением его лица. Ссора с типографом, очевидно, нисколько не повлияла на его настроение.

— Я... я — Мартин Иден, — начал Мартин («и я пришел получить свои пять долларов», — хотел он сказать).

Но это был первый редактор, с которым ему довелось столкнуться лицом к лицу, и он решил, что не стоит начинать с резкостей. К его изумлению, мистер Форд вскочил с возгласом:

— Да что вы говорите! — и в следующий миг уже восторженно тряс его руку. — Если бы вы знали, как я рад с вами познакомиться, мистер Иден. Я так часто о вас думал, старался вообразить себе, какой вы.

Отступив немного, мистер Форд с восхищением оглядел рабочий и в данное время единственный костюм Мартина, который уже явно не поддавался штопке и чинке, — правда, складка на брюках была старательно отглажена утюгами Марии Сильвы.

— Я полагал, что вы много старше. Ваш рассказ полон таких зрелых мыслей и так крепко написан. Это

настоящий шедевр,— я понял это, прочтя первые три-четыре строчки. Хотите, я расскажу вам, как я прочел в первый раз ваш рассказ? Нет! Я хочу сначала познакомиться вас с нашими сотрудниками.

Продолжая говорить, мистер Форд провел его в общую комнату, где представил своему заместителю, мистеру Уайту, маленькому худенькому человечку с ледяными руками, имевшему такой вид, словно его трясла лихорадка.

— А это мистер Эндс. Мистер Эндс — наш управляющий делами.

Мартин пожал руку плешивому господину с блуждающим взглядом, еще не старому на вид, хотя лицо его было украшено белоснежной бородою, которую его супруга аккуратно подстригала по воскресеньям, а заодно брила ему и затылок.

Все трое обступили Мартина и затараторили наперебой, осыпая его похвалами, так что в конце концов у него явилась мысль, что они просто стараются заговорить ему зубы.

— Мы часто удивлялись, почему вы не показываетесь в редакции! — воскликнул мистер Уайт.

— У меня не было денег на паром, — отвечал Мартин, решив таким образом дать им понять, насколько остро он нуждается в деньгах.

«Мой «парадный» костюм, — подумал он при этом, — достаточно красноречиво свидетельствует о моей нужде».

Во время дальнейшего разговора он то и дело старался намекнуть на цель своего посещения. Но почитатели его таланта оказались глухи ко всем намекам. Они продолжали рассказывать ему о том, как они восхищались его рассказом, как восхищались их жены и родственники. Но ни один из троих не выказал ни малейшего намерения заплатить ему причитающиеся деньги.

— Я так и не рассказал вам, при каких обстоятельствах я впервые прочел ваш рассказ? — говорил мистер Форд. — Я ехал из Нью-Йорка, и когда поезд остановился в Огдене, в вагон вошел газетчик, и у него оказался последний номер «Трансконтинентального ежемесячника».

«Боже мой, — подумал Мартин, — эта каналья разъезжает в пульмановских вагонах, а я голодаю и не могу

выудить у него своих кровных пяти долларов!» Ярость охватила его. Преступление, совершенное «Трансконтинентальным ежемесячником», вдруг выросло до чудовищных размеров; он вспомнил долгие месяцы томительного ожидания, лишений и голодовок, вспомнил, что и вчера он лег полуголодным, а сегодня и вовсе не ел ничего. Гнев ударил ему в голову. Это даже не разбойники; просто мелкие жулики! Они выманили у него рассказ лживыми обещаниями и прямым надувательством. Ну, хорошо! Он им покажет!

И Мартин мысленно поклялся не выходить из редакции, пока не получит все, что ему причитается. Тем более, что ему все равно не на что вернуться в Окленд. Мартин все еще сдерживался, но в его лице появилось хищное выражение, которое смутило и даже испугало собеседников.

Они стали расточать похвалы с еще большим рвением. Мистер Форд опять начал рассказывать о том, как он впервые прочел «Колокольный звон», а мистер Эндс сообщил, что его племянница без ума от этого рассказа, а его племянница не кто-нибудь, — школьная учительница в Аламеде!

— Я пришел получить с вас деньги, — вдруг выпалил Мартин, — за этот рассказ, который вам так всем нравится, вы должны были заплатить мне по напечатании пять долларов.

Мистер Форд изобразил на своем лице полную готовность уплатить немедленно, ощупал карманы и, повернувшись к мистеру Эндсу, объявил, что забыл деньги дома. Мистер Эндс с досадой взглянул на него, и по тому, как он инстинктивно защитил рукою карман брюк, Мартин понял, что там лежат деньги.

— Очень сожалею, — произнес мистер Эндс, — но я только что расплатился с типографией, и на это ушла вся моя наличность. Конечно, было очень необдуманно с моей стороны захватить с собой так мало денег, но... вы понимаете, срок уплаты еще не наступил, а типограф вдруг пришел и стал просить в виде одолжения выдать ему аванс.

Оба посмотрели на мистера Уайта, но тот рассмеялся и пожал плечами. Его совесть во всяком случае чиста. Он поступил в «Трансконтинентальный ежемесячник»,

чтобы изучить журнальное дело, а изучать ему приходилось преимущественно финансовую политику. «Ежемесячник» уже четыре месяца не платил ему жалованья, но он успел узнать, что важнее умиротворить типографию, чем расплатиться с заместителем редактора.

— Досадно, что так получилось,— развязно сказал мистер Форд.— Вы, мистер Иден, застали нас врасплох. Но мы вот что сделаем. Мы завтра утром пошлем вам чек по почте. Мистер Эндс, у вас записан адрес мистера Идена?

О, разумеется, адрес мистера Идена был записан, и чек будет выслан завтра утром. Мартин плохо разбирался в финансовых и банковских делах, но он сразу же решил, что если они собираются дать ему чек завтра, то отлично могут сделать это и сегодня.

— Итак, решено, мистер Иден, завтра вам будет чек выслан.

— Деньги мне нужны сегодня, а не завтра,— твердо сказал Мартин.

— Несчастное стечение обстоятельств! Если бы вы попали к нам в любой другой день...— начал было мистер Форд, но мистер Эндс, обладавший, повидимому, более нетерпеливым характером, внезапно прервал его.

— Мистер Форд уже объяснил вам, как обстоит дело,— резко сказал он,— и я тоже. Чек будет вам выслан завтра.

— Я тоже объяснил вам,— сказал Мартин,— что деньги нужны мне сегодня.

Грубый тон управляющего делами задел Мартина за живое; он решил сосредоточить свое внимание на нем, тем более что касса «Ежемесячника», несомненно, находилась у него в кармане.

— Я в отчаянии...— начал было опять мистер Форд.

Но тут мистер Эндс нетерпеливым движением повернулся на каблуках и, повидимому, возымел намерение уйти из комнаты. В то же мгновение Мартин бросился на него и схватил его за горло так, что белоснежная борода, не теряя своей безукоризненной формы, задралась вверх под углом в сорок пять градусов. Мистер Форд и мистер Уайт, онемев от ужаса, глядели, как Мартин трясет их управляющего делами, точно персидский ковер.

— Эй вы, почтенный эксплуататор молодых талантов,— орал Мартин,— раскошеливайтесь, а не то я сам из вас повытрясу все до последнего цента!

Затем, обращаясь к испуганным зрителям, он прибавил:

— А вы лучше не суйтесь... не то и вам влетит так, что своих не узнаете.

Мистер Эндс задыхался, и Мартину пришлось слегка разжать пальцы, чтобы дать ему возможность изъяснить согласие на предложенные условия. После нескольких экскурсий в собственный карман управляющий делами извлек, наконец, четыре доллара и пятнадцать центов.

— Выворачивайте карман! — приказал ему Мартин.

Появились еще десять центов. Мартин для верности дважды пересчитал свою добычу.

— Теперь за вами дело! — крикнул он мистеру Форду. — Мне следует еще семьдесят пять центов!

Мистер Форд с готовностью выложил содержимое своих карманов, но у него набралось лишь шестьдесят центов.

— Ищите лучше,— сказал ему Мартин с угрозой в голосе,— что у вас там торчит из жилетного кармана?

В доказательство своей добросовестности мистер Форд вывернул оба кармана наизнанку. Из одного выпал картонный квадратик. Мистер Форд поднял его и хотел сунуть обратно в карман, но Мартин воскликнул:

— Что это? Билет на паром? Давайте его сюда. Он стоит десять центов. Значит, теперь у меня, если считать вместе с билетом, четыре доллара девяносто пять центов. Ну, еще пять центов!

Он так посмотрел на мистера Уайта, что этот subtilный джентльмен мгновенно извлек из кармана никелевую монетку.

— Благодарю вас,— произнес Мартин, обращаясь ко всей компании,— всего хорошего!

— Грабитель! — прошипел ему вслед мистер Эндс.

— Жулик! — ответил Мартин, захлопывая за собою дверь.

Мартин был упоен своей победой, до такой степени упоен, что, вспомнив о пятнадцати долларах, которые ему должен был «Шершень» за «Пери и жемчуг», он решил

незамедлительно взыскать и этот долг. Но в редакции «Шершня» сидели какие-то гладко выбритые молодые люди, настоящие разбойники, которые привыкли грабить всех и каждого, в том числе и друг друга. Мартин, правда, успел поломать кое-что из мебели, но в конце концов редактор (в студенческие годы бравший призы по атлетике) с помощью управляющего делами, агента по сбору объявлений и швейцара выставил Мартина за дверь и даже помог ему очень быстро спуститься с лестницы.

— Заходите, мистер Иден, всегда рады вас видеть! — весело кричали ему вдогонку.

Мартин поднялся с земли, тоже улыбаясь.

— Фу, — пробормотал он, — ну и молодцы ребята! Не то что эти трансконтинентальные гниды!

В ответ снова послышался хохот.

— Нужно вам сказать, мистер Иден, — сказал редактор «Шершня», — что для поэта вы недурно умеете постоять за себя. Где это вы научились этому бра руле?

— Там же, где вы научились двойному нельсону, — отвечал Мартин. — Во всяком случае у вас будет синяк под глазом!

— Надеюсь, что и у вас почешется шея, — любезно возразил редактор. — А знаете что, не выпить ли нам в честь этого? Разумеется, не в честь поврежденной шеи, а в честь нашего знакомства.

— Я побежден — стало быть, надо соглашаться, — ответил Мартин.

И все вместе, грабители и ограбленный, распили бутылочку, дружески согласившись, что битва выиграна сильнейшими, а потому пятнадцать долларов за «Пери и жемчуг» по праву принадлежат «Шершню».

Глава тридцать четвертая

Артур остался у калитки, а Руфь быстро взбежала по ступенькам крыльца Марии Сильвы. Она услышала топорливый стрекот пишущей машинки и, войдя, застала Мартина дописывающим последнюю страницу какой-то рукописи. Руфь специально приехала узнать, придет ли

Мартин к обеду в День благодарения, но Мартин, еще весь переполненный творчеством, не дал ей рта раскрыть.

— Позвольте прочесть вам это! — воскликнул он, вынимая из машинки страницу и откладывая копии. — Это мой последний рассказ. Он до того не похож на все другие, что мне даже страшно немного, но почему-то мне кажется, что это хорошо. Вот, судите сами. Рассказ из гаванской жизни. Я назвал его «Вики-Вики».

Лицо Мартина пылало от творческого жара, хотя Руфь дрожала в его холодной каморке и у него самого руки были ледяные.

Руфь внимательно слушала, но на лице ее все время было написано явное неодобрение. Кончив читать, Мартин спросил ее:

— Скажите откровенно, нравится вам или нет?

— Н-не знаю, — отвечала она, — по-вашему, это можно будет пристроить?

— Думаю, что нет, — сознался он. — Это не по плечу журналам. Но зато это чистая правда.

— Зачем же вы упорно пишете такие вещи, которые невозможно продать? — безжалостно настаивала Руфь. — Ведь вы же пишете ради того, чтобы зарабатывать на жизнь?

— Да, конечно. Но мой герой оказался сильнее меня. Я ничего не мог поделаться. Он требовал, чтобы рассказ был написан так, а не иначе.

— Но почему ваш Вики-Вики так ужасно выражается? Ведь всякий, кто прочтет это, будет шокирован его лексиконом, и, конечно, редакторы будут правы, отвергнув рассказ.

— Потому, что настоящий Вики-Вики говорил бы именно так.

— Это дурной вкус.

— Это жизнь! — воскликнул Мартин. — Это реально. Это правда. Я должен описывать жизнь такой, как я ее вижу.

Руфь ничего на это не ответила, и на секунду воцарилось неловкое молчание. Мартин слишком любил ее и потому не понимал, а она не понимала его потому, что он не умещался в ограниченном круге ее представлений.

— А вы знаете, я получил деньги с «Трансконтинентального ежемесячника»,— сказал Мартин, желая перевести разговор на более безобидную тему, и весело расхохотался, вспомнив о том, как он изъяснялся у редакционного трио четыре доллара девяносто центов и билет на паром.

— Чудесно! Значит, вы придете?— радостно воскликнула Руфь.— Я ведь это и хотела узнать.

— Приду?— переспросил он недоуменно.— Куда?

— К нам завтра обедать. Вы ведь сказали, что выкупите костюм, как только получите деньги.

— Я совсем забыл об этом,— смущенно проговорил Мартин.— Видите ли, в чем дело... Сегодня утром полисмен забрал двух коров Марии и теленка за потраву, а у нее как раз не было денег на уплату штрафа... Ну, я за нее и заплатил. Так что весь мой гонорар за «Колокольный звон» ушел на выкуп коров Марии.

— Значит, вы не придете?

Мартин оглядел свою поношенную одежду.

— Не могу.

Голубые глаза Руфи наполнились слезами, она укоризненно посмотрела на него, но ничего не сказала.

— Ну будущий год мы с вами отпразднуем День благодарения у Дельмонико, или в Лондоне, или в Париже, или где вам захочется. Я в этом уверен.

— Я читала на днях в газетах,— заметила Руфь вместо ответа,— что в почтовом ведомстве открываются вакансии. Ведь вы у них числились первым на очереди?

Мартин принужден был сознаться, что получил повестку, но не пошел.

— Я так уверен в себе, в своем успехе,— оправдывался он.— Через год я буду зарабатывать в десять раз больше, чем любой почтовик. Вот увидите.

— Ах!— только и сказала Руфь. Она встала и принялась натягивать перчатки.— Мне пора уходить, Мартин. Артур ждет меня.

Мартин крепко обнял ее и поцеловал, но Руфь безучастно приняла его ласку. Дрожь не прошла по ее телу, как обычно, она не обхватила руками его шею и не прижалась губами к его губам.

«Рассердилась,— подумал Мартин, проводив ее и возвращаясь домой.— Но почему? Конечно, жаль, что полис-

мен именно сегодня поймал коров, но ведь это просто досадная случайность. Никто не виноват в этом». Мартину не пришло в голову, что сам он мог бы поступить иначе, чем поступил. «Ну, конечно,— решил он, наконец,— я в ее глазах немножко виноват в том, что отказался от места на почте. И потом ей не понравился «Вики-Вики».

Сзади послышались шаги. Мартин обернулся и увидел подходившего к крыльцу почтальона. С привычным волнением Мартин принял от него целую грудку больших продолговатых конвертов. Среди них был один маленький. На нем стоял штамп «Нью-йоркского обозрения». Мартин немного помедлил, прежде чем решился распечатать его. Это не могло быть извещение о принятии рассказа. Он не посылал ни одной рукописи в этот журнал. «Может быть,— он весь замер при этой мысли,— они хотят заказать мне статью?» Но Мартин тотчас отогнал от себя эту дерзкую, несбыточную надежду.

В конверте было коротенькое официальное письмо редактора, извещавшее его о получении прилагаемого анонимного письма, причем редактор просил Мартина не беспокоиться, ибо никаким анонимным письмам редакция никогда не придает значения.

Прилагаемое анонимное письмо было написано от руки печатными буквами. Это был нелепый, безграмотный донос, что «так называемый Мартин Иден», посылающий в журналы свои рассказы и стихи, вовсе не писатель, что он просто крадет рассказы из старых журналов, перепечатывает на машинке и отправляет от своего имени. На конверте был штемпель: «Сан-Леандро». Мартин сразу угадал автора. Грамматика Хиггинботама, словечки Хиггинботама, мысли Хиггинботама сквозили в каждой строчке. Письмо явно было сработано грубыми руками его любезного родственника.

Но зачем это ему понадобилось? — спрашивал он себя. Что сделал он дурного Бернарду Хиггинботаму? Это было так нелепо, так бессмысленно. Нельзя было найти этому никакого здравого объяснения. В течение недели пришло еще с десятков подобных же писем из разных журналов восточных штатов. Очень благородно со стороны редакторов, решил Мартин. Совершенно его не

зная, многие из них даже выражали ему сочувствие. Было очевидно, что к анонимным доносам они относятся с отвращением. Глупая попытка повредить ему явно не удалась. Напротив, это могло даже пойти ему на пользу, так как привлекло внимание редакторов к его имени. Иной из них, читая теперь его рассказ, вспомнит, что это написал тот самый Мартин Иден, о котором говорилось в анонимном письме. И — как знать — может быть, это благоприятно повлияет на судьбу его произведений!

Около этого же времени произошел случай, после которого Мартин значительно упал в глазах Марии Сильвы. Однажды он застал ее на кухне в слезах, стонущую от боли; она была не в силах ворочать тяжелыми утюгами. Он тотчас же решил, что у нее грипп, дал ей хлебнуть виски, оставшегося на дне одной из бутылок, принесенных Бриссенденом, и велел лечь в постель. Но Мария ни за что не соглашалась. Она упрямо твердила, что ей необходимо догладить белье и сдать его сегодня же вечером, иначе завтра ее семерым ребятишкам нечего будет есть.

К своему великому удивлению (она не переставала рассказывать об этом до самой своей смерти), она увидела, как Мартин схватил утюг и швырнул на гладильную доску тонкую батистовую кофточку. Это была лучшая праздничная кофточка Кэт Флэнаган, самой большой франтихи в квартале. Мисс Флэнаган требовала, чтобы кофточка во что бы то ни стало была доставлена к вечеру. Все знали, что она водит дружбу с кузнецом Джоном Коллинзом, и, по частным сведениям Марии, они собирались завтра на прогулку в парк Золотых Ворот. Напрасно хотела Мария спасти кофточку. Мартин силою усадил ее на стул, и Мария, выпучив глаза от ужаса, следила за тем, как он яростно работает утюгами. Через десять минут Мартин подал Марии кофточку, выглаженную так, как самой Марии было не выгладить никогда, — в этом Мартин заставил ее признаться.

— Я бы мог справиться еще быстрее, если бы утюги были погорячей, — объяснил он.

Но, по мнению Марии, он и так уже раскалил утюги до последней возможности.

— Вы неправильно сбрызгиваете, — сказал он ей в довершение всего, — давайте-ка я вам покажу, как это

делается. Если вы хотите гладить быстро, надо держать сбрызнутое белье под прессом.

Мартин притащил из погреба ящик, приладил к нему крышку и положил сверху куски железного лома, который ребятишки собирали для сдачи. Сбрызнутое белье было уложено в ящик и накрыто крышкой с грузом железа. На этом приготовления закончились.

— А теперь смотрите,— воскликнул Мартин, раздевшись до пояса, и схватил утюг, накаленный чуть не до красна.

Мария потом всем рассказывала, как, кончив гладить, Мартин учил ее стирать шерстяные вещи.

— Он говорит: «Мария, больша дура, я буду учить вас». И он учил. В десят минута он строил уна машина. Бочка, два палка и колесна ступица. Вот!

Это приспособление Мартин заимствовал у Джо, в прачечной «Горячих Ключей». Ступица от старого колеса, приделанная к палке, служила поршнем. К другому концу была привязана веревка, пропущенная через стропило кухонного потолка, что давало возможность приводить поршень в движение одной рукой; шерстяные вещи, положенные в бочку, прекрасно выколачивались с помощью этого сооружения. Мария даже приспособила одного из мальчиков дергать веревку и только удивлялась хитроумию Мартина Идена.

Тем не менее, показав свое искусство и облегчив своими усовершенствованиями труд Марии, Мартин сильно упал в ее мнению. Ведь романтический ореол, окружавший его, развеялся, как дым, после того как выяснилось, что он бывший прачечник. Его книги, важные посетители, являвшиеся в колясках или оставлявшие после себя пустые бутылки из-под виски,— все сразу потеряло в глазах Марии всякое очарование. Он, оказывается, был простой рабочий, такой же рабочий, как и она сама, и они оба принадлежали к одному классу. От этого он стал ей ближе, понятнее, но обаяние тайны рассеялось.

От своих родных Мартин отходил все дальше и дальше. После неудачного выступления мистера Хиггинботамы проявил себя и будущий зять — Герман Шмидт. Мартину удалось однажды пристроить несколько стихиков и рассказиков и отчасти восстановить свое благо-

состояние. Он расплатился с частью кредиторов, выкупил костюм и велосипед. Убедившись, что велосипед нуждается в починке, Мартин решил в знак дружелюбного отношения к будущему родственнику отправить его в мастерскую Германа Шмидта.

В тот же вечер Мартин, к своему удивлению и удовольствию, получил велосипед обратно. Очевидно, Шмидт решил проявить такое же дружеское расположение и починил велосипед вне очереди, да вдобавок еще прислал его на дом, чего обычно не делает ни одна мастерская. Но, осмотрев велосипед, Мартин убедился, что никакой починки произведено не было. Он позвонил в мастерскую по телефону и узнал, что Герман Шмидт «не желает с ним иметь никакого дела».

— Господин Герман Шмидт,— спокойно сказал Мартин,— я, пожалуй, зайду к вам, чтобы разочек дернуть вас хорошенько за нос.

— Если вы придете ко мне в мастерскую,— был ответ,— я пошлю за полицией! Я вам покажу! Не беспокойтесь, вам со мной не удастся затеять драку. С такими, как вы, мне не по дороге. Вы лодырь, вот вы кто, но только меня вы не проведете. Если я женюсь на вашей сестре, то из этого еще не следует, что вы можете обдирать меня. Почему вы не хотите заняться делом и честно зарабатывать себе на хлеб? А? Ну-ка, ответьте!

Мартин, как истинный философ, сдержал свой гнев и повесил трубку, только свистнув в ответ. Сначала ему было смешно, но постепенно чувство одиночества больно сдавило ему сердце.

Никто не понимал его, никому не был он нужен, кроме разве только Бриссендена, но и Бриссенден исчез бог знает куда.

Уже смеркалось, когда Мартин вышел из овощной лавки с покупками в руках. На углу остановился трамвай, и знакомая долговязая фигура соскочила с него. Сердце Мартина так и встрепенулось от радости. Это был Бриссенден собственной персоной, и при свете, падавшем из освещенных окон, Мартин успел разглядеть оттопыренные карманы его пальто. В одном были книги, а в другом бутылка.

Бриссенден не дал Мартину никаких объяснений по поводу своего долгого отсутствия, да Мартин и не спрашивал его. Сквозь пар, клубившийся над стаканами с грогом, он с удовольствием созерцал бледное и худое лицо своего друга.

— Я тоже не сидел сложа руки,— объявил Бриссенден, после того как Мартин рассказал ему о своих последних работах.

Он вынул из кармана рукопись и передал ее Мартину, который, прочтя заглавие, вопросительно взглянул на Бриссендена.

— Да, да,— усмехнулся Бриссенден,— недурное заглавие, не правда ли? «Эфемерида»... лучше не скажешь. А слово это ваше,— помните, как вы говорили о человеке как о «последней из эфемерид», ожившей материи, порожденной температурой и борющейся за свое местечко на шкале термометра. Мне это засело в голову, и я должен был написать целую поэму, чтобы, наконец, освободиться! Ну-ка, прочтите и скажите, что вы об этом думаете?

Читая, Мартин то краснел, то бледнел от волнения. Это было совершеннейшее художественное произведение. Здесь форма торжествовала над содержанием, если можно было говорить о торжестве там, где каждый тончайший оттенок мысли находил словесное выражение, настолько совершенное, что у Мартина перехватывало дыхание от восторга и слезы закипали на глазах. Это была длинная поэма в шестьсот или семьсот стихов. Поэма странная, фантастическая, пугающая. Казалось, невозможно, немислимо создать нечто подобное, и все же это существовало и было написано черным по белому. В этой поэме изображался человек со всеми его исканиями, с его неутолимимым стремлением преодолеть бесконечное пространство, приблизиться к сферам отдаленнейших солнц. Это была сумасшедшая оргия воображения умирающего, который еще жил и сердце которого билось последними слабющими ударами. В торжественном ритме поэмы слышался гул планет, треск сталкивающихся метеоров, шум битвы звездных ратей среди мрачных пространств, озаряемых

светом огневых облаков, а сквозь все это слышался слабый человеческий голос, как неумолчная тихая жалоба в грозном грохоте рушащихся миров.

— Ничего подобного еще не было написано, — вымолвил Мартин, когда, наконец, в состоянии был заговорить. — Это изумительно! Изумительно! Я ошеломлен! Этот великий вечный вопрос теперь не выходит у меня из головы. В моих ушах всегда будет звучать этот жалобный голос человека, пытающегося постичь непостижимое! Точно предсмертный писк комара среди мощного рева слонов и рыканья львов. Но в этом писке слышится ненасытная страсть. Я, вероятно, говорю глупости, но эта вещь совершенно завладела мною. Вы... Я не знаю, что сказать, вы просто гениальны. Но как вы это создали? Как могли вы это создать?

Мартин прервал свой панегирик только для того, чтобы собраться с силами.

— Я никогда больше не буду писать. Я просто жалкий пачкун. Вы мне показали, что такое настоящее мастерство. Вы — гений! Нет, вы больше, чем гений! Это истина безумия. Это истина в самой своей сокровенной сущности. Вы, догматик, понимаете ли вы это? Даже наука не может опровергнуть вас. Это истина провидца, выкованная из железа космоса мощным ритмом стиха, превращенная в чудо красоты и величия. Больше я ничего не скажу! Я подавлен, уничтожен! Нет, я все-таки скажу еще кое-что: позвольте мне устроить поэму в какой-нибудь журнал.

Бриссенден расхохотался.

— Да ведь во всем христианском мире не найдется журнала, который решится напечатать такую штуку! Вы же сами прекрасно это знаете!

— Нет, не знаю! Я убежден, что во всем мире не найдется журнала, который бы не ухватился за это. Ведь такие произведения рождаются раз в сто лет. Это поэма не нынешнего дня. Это поэма века.

— Я готов поймать вас на слове!

— Не разыгрывайте циника! — возразил Мартин. — Редакторы не совсем уж кретины. Я знаю это. Хотите держать пари, что «Эфемериду» возьмут если не в первом же, то во втором месте, куда я ее предложу.

— Есть одно обстоятельство, мешающее мне принять ваше пари,— произнес Бриссенден и, немного помолчав, добавил: — Это большое произведение, лучшее из всего, что я вообще когда-либо написал. Я отлично это знаю. Это моя лебединая песня. Я чрезвычайно горжусь этой поэмой. Я преклоняюсь перед ней. Она мне милее виски. Это то совершенное творение, о котором я мечтал в дни своей юности, когда человек еще стремится к идеалам и верит иллюзиям. И вот я осуществил свою мечту, осуществил ее на краю могилы. Так неужели я буду отдавать ее на поругание свиньям? Я не стану с вами держать пари! Это мое! Я создал это и делюсь им только с вами.

— Но подумайте об остальном мире! — воскликнул Мартин. — Ведь цель красоты — радовать и улаждать!

— Вот пусть это радует и улаждает меня.

— Не будьте эгоистом!

— Я вовсе не эгоист! — Бриссенден усмехнулся, словно заранее смакуя то, что он собирался сказать. — Я альтруистичен, как голодная свинья.

Напрасно Мартин пытался поколебать его в принятом решении. Мартин уверял Бриссендена, что его ненависть к журналам нелепа и фанатична и что он поступает в тысячу раз бессмысленнее Герострата, сжегшего храм Дианы Эфесской. Бриссенден слушал все это, кивал головой, попивая грог, и даже соглашался, что его собеседник прав во всем — за исключением того, что касалось журналов. Его ненависть к редакторам не знала границ, и он ругал их гораздо ожесточеннее, чем Мартин.

— Пожалуйста, перепечатайте мне поэму, — сказал он, — вы сделаете это в тысячу раз лучше любой машинистки. А теперь я хочу дать вам один полезный совет. — Бриссенден вытащил из кармана объемистую рукопись. — Вот ваш «Позор солнца». Я три раза перечитывал его! Это самая большая хвала, которую я мог воздать вам. После того, что вы наговорили про «Эфемериду», я, разумеется, должен молчать. Но вот что я вам скажу: если «Позор солнца» будет напечатан, он наделает невероятно много шума. Из-за него поднимется жесточайшая полемика, и это будет для вас лучше всякой рекламы.

Мартин расхохотался.

— Уж не посоветуете ли вы мне послать эту статью в какой-нибудь журнал?

— Ни в коем случае, если только вы хотите, чтобы ее напечатали. Предложите ее одному из крупных издательств. Может быть, ее прочтет там какой-нибудь сумасшедший или основательно пьяный рецензент и даст о ней благоприятный отзыв. Да, видно, что вы читали книги! Все они переварились в мозгу Мартина Идена и излились в «Позоре солнца». Когда-нибудь Мартин Иден станет знаменит, и немалая доля его славы будет создана этой вещью. Ищите издателя, и чем скорее вы его найдете, тем лучше!

Бриссенден поздно засиделся у Мартина в этот вечер; Мартин проводил его до трамвая, и когда Бриссенден сел в вагон, то неожиданно сунул своему другу измятую бумажку.

— Возьмите это,— сказал он,— мне сегодня повезло на скачках!

Прозвенел звонок, и трамвай тронулся, оставив Мартина в полном недоумении, с измятой бумажкой в руках. Возвратившись к себе в комнату, он развернул бумажку — это был банковый билет в сто долларов.

Мартин воспользовался им без всякого стеснения. Он отлично знал, что у его друга много денег, а кроме того, был уверен, что сможет отдать долг в очень скором времени. На следующее утро он расплатился со всеми долгами, заплатил Марии вперед за три месяца и выкупил из заклада все свои вещи. Он купил свадебный подарок для Мэриен, рождественские подарки для Руфи и Гертруды. В довершение всего он отправился со всем семейством Сильва в Окленд и, во исполнение своего обещания (правда, опоздав на год), купил башмаки и Марии и всем ее ребятишкам. Мало того, он накупил им игрушек и сладостей, так что свертки едва помещались в детских ручонках.

Входя в кондитерскую во главе этой необыкновенной процессии, Мартин случайно повстречал Руфь и ее мать. Миссис Морз была чрезвычайно шокирована, и даже Руфь смутилась. Она придавала большое значение внешности, и ей было не очень приятно видеть своего возлюбленного в обществе целой оравы португальских оборвышей. Такое отсутствие гордости и самоуважения задело

ее. И что самое скверное — Руфь увидела в этом инциденте лишнее доказательство того, что Мартин не в состоянии подняться над своей средою. Это было достаточно неприятно само по себе, и хвастать этим перед всем миром — ее миром — совсем уж не следовало. Хотя помолвка Руфи с Мартином до сих пор держалась в тайне, их отношения ни для кого не составляли секрета, а в кондитерской, как нарочно, было много знакомых, и все они с любопытством смотрели на удивительное окружение нареченного мисс Морз. Руфь, верная дочь своей среды, не умела понять широкую натуру Мартина. Со свойственной ей чувствительностью она воспринимала этот случай как нечто позорное. Мартин, придя к Морзам в этот день, застал Руфь в таком волнении, что даже не решился вытащить из кармана свой подарок. Он в первый раз видел ее в слезах — слезах гнева и обиды, и зрелище это так потрясло его, что он мысленно назвал себя грубой скотиной, хотя все-таки не вполне ясно понимал, в чем его вина. Мартину и в голову не приходило стыдиться людей своего круга, и он не видел ничего унижительного для Руфи в том, что ходил покупать рождественские подарки детям Марии Сильвы. Но он готов был понять обиду Руфи, выслушав ее объяснения и истолковав весь эпизод как проявление женской слабости, которая, очевидно, свойственна даже самым лучшим женщинам.

Глава тридцать шестая

— Пойдемте, я покажу вам «настоящих людей», — сказал Мартину Бриссенден в один январский вечер.

Они пообедали в Сан-Франциско и собирались уже садиться на оклендский паром, как вдруг Бриссендену пришла фантазия показать Мартину «настоящих людей». Он повернул назад и зашагал в сторону от пристани, похожий на тень, в своем развевающемся плаще; Мартин едва поспевал за ним. По дороге Бриссенден купил два галлона старого портвейна в оплетенных флягах и, держа их в руках, вскочил в трамвай, идущий по Мишен-стрит; то же сделал и Мартин, нагруженный несколькими бутыл-

ками виски. «Что бы сказала Руфь, если бы увидела меня сейчас», — мелькнуло у Мартина в голове, но только на мгновение; мысли его были заняты вопросом: что же это за «настоящие люди»?

— Может быть, сегодня там никого не будет, — сказал Бриссенден, когда они сошли с трамвая и нырнули в темный переулок рабочего квартала к югу от Маркет-стрит. — Тогда вам так и не придется увидеть то, что вы давно ищете!

— А что же это такое? — спросил Мартин.

— Люди, настоящие умные люди, а не болтуны, вроде тех, которые толкуются в торгашеском притоне, где я вас встретил. Вы читали книги и страдали от одиночества! Ну вот, я познакомлю вас с людьми, которые тоже кое-что читали, и вы больше не будете так одиноки.

— Я не очень интересуюсь их бесконечными спорами, — прибавил Бриссенден, пройдя один квартал, — я вообще терпеть не могу книжной философии, но зато это, несомненно, настоящие интеллигенты, а не буржуазные свиньи! Но смотрите, они вас заговорят насмерть, о чем бы ни зашла речь!

— Надеюсь, мы застанем Нортон, — продолжал он немного спустя, задыхаясь, но не позволяя Мартину взять у него из рук фляги с портвейном. — Нортон — идеалист. Он кончил Гарвардский университет! Изумительная память! Идеализм привел его к философскому анархизму, и семья отреклась от него. Его отец — президент железнодорожной компании, сверхмиллионер, а сын влачит во Фриско полуголодное существование, редактируя анархический журнальчик за двадцать пять долларов в месяц.

Мартин плохо знал Сан-Франциско, в особенности же эту часть города, а потому никак не мог сообразить, куда собственно Бриссенден ведет его.

— Расскажите мне о них еще, — говорил он, — я хочу знать, что это за люди. Чем они живут? Как сюда попали?

— Хорошо бы застать и Гамильтона, — сказал Бриссенден, останавливаясь, чтобы перевести дух. — Собственно у него двойная фамилия: Страун-Гамильтон; он из старинной семьи южан, но сам по характеру настоящий бродяга и лентяй, каких свет не видел, хоть он и служит — вернее, пытается служить — в одном социалисти-

ческом кооперативе за шесть долларов в неделю. Это неисправимый бродяга! Он и в Сан-Франциско-то попал, бродяжничая. Как-то раз он целый день просидел на скамье в парке, причем у него с утра куска во рту не было, а когда я предложил ему пойти пообедать в ресторан, который находится за два квартала, — знаете, что он на это ответил? «Слишком много беспокойства, старина. Купите мне лучше пачку папирос!» Он был спенсерианец, как и вы, пока Крейс не обратил его на путь материалистического монизма. Если удастся, я заставлю его поговорить о монизме. Нортон тоже монист, но его монизм идеалистический. У него вечные схватки с Гамильтоном и с Крейсом.

— А кто такой Крейс? — спросил Мартин.

— А вот к нему мы и идем. Бывший профессор, изгнанный из университета, — самая обычная история. Ум острый, как бритва. Зарабатывает себе пропитание чем придется. Был даже уличным разносчиком. Абсолютно без предрассудков. Без зазрения совести снимет саван с покойника. Разница между ним и буржуа та, что он ворует без всяких иллюзий. Он может говорить о Ницше, о Шопенгауэре, о Канте, о чем угодно, но интересуется он, в сущности говоря, только монизмом. Даже о своей Мери он думает гораздо меньше, чем о монизме. Геккель для него божество. Единственный способ оскорбить его — это задеть Геккеля. Ну, вот мы и пришли.

Бриссенден поставил флаги на ступеньку лестницы, чтобы отдышаться перед подъемом. Дом был самый обыкновенный, угловой двухэтажный дом, с салуном и бакалейной лавкой в первом этаже.

— Вся компания здесь и живет, занимает весь второй этаж, — сказал Бриссенден, — но только один Крейс имеет две комнаты. Идемте!

Наверху не горела лампочка, но Бриссенден ориентировался в темноте, словно домовый. Он остановился, чтобы сказать Мартину:

— Есть тут еще Стивенс, теософ. Когда разойдется, так кого хочешь запутает. Недавно устроился мыть посуду в ресторане. Любитель хороших сигар. Может пообедать в обжорке за десять центов, а потом купить сигару за пятьдесят. Я на всякий случай захватил для него

парочку. А еще есть австралиец по фамилии Парри,— это статистик и ходячая спортивная энциклопедия. Спросите его, какой был урожай зерна в Парагвае в тысяча девятьсот третьем году, или сколько английского холста ввезено в Китай в тысяча восемьсот девяностом году, или сколько весил Джимми Брайт, когда побил Баттлинга-Нельсона, или кто был чемпион Соединенных Штатов в среднем весе в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году,— он на все вам ответит с быстротой и точностью автомата. Есть некий Энди, каменщик,— имеет на все свои взгляды и прекрасно играет в шахматы; затем — Гарри, пекарь, ярый социалист и профсоюзный деятель. Кстати, помните стачку поваров и официантов? Ее устроил Гамильтон. Он организовал союз и выработал план стачки, сидя здесь, в комнате Крейса. Сделал это для собственного развлечения и больше не принимал никакого участия в делах союза из-за лени. Если бы он хотел, он бы давно занимал видный пост. В этом человеке заложены бесконечные возможности, но ленив он невообразимо.

Бриссенден продолжал продвигаться в темноте, пока полоска света не указала им порог двери. Стук, ответное «войдите!» — и Мартин уже пожимал руку Крейсу, красивому белозубому brunetu с черными усами и большими выразительными черными глазами. Мери, степенная молодая блондинка, мыла посуду в небольшой комнатке, служившей одновременно кухней и столовой. Первая комната была спальней и гостиной. Через всю комнату гирляндами висело белье, так что Мартин в первую минуту не заметил двух людей, о чем-то беседовавших в углу. Бриссендена и его флаги они встретили радостными восклицаниями, и Мартин, знакомясь с ними, узнал, что это Энди и Парри. Мартин с любопытством стал слушать рассказ Парри о вчерашнем боксе. А Бриссенден с азартом занялся раскупориванием бутылок и приготовлением грога. По его команде «собрать всех сюда» — Энди сразу отправился по комнатам созывать жильцов.

— Нам повезло, почти все в сборе,— шепнул Бриссенден Мартину.— Вот Нортон и Гамильтон. Пойдемте, я вас познакомлю. Стивенса, к сожалению, пока нет. Я попробую затеять разговор о монизме. Нужно только дать им немного разойтись.

Сначала разговор не вязался, но Мартин сразу же мог оценить своеобразие и живость ума этих людей. У каждого из них были свои определенные воззрения, иногда противоречивые, и, несмотря на свой юмор и остроумие, эти люди отнюдь не были поверхностны. Мартин заметил, что каждый из них (о чем бы ни шла беседа) проявлял большие научные познания и имел свои твердые и ясные взгляды на мир и на общество. Они ни у кого не заимствовали готовых мнений; это были настоящие мятежники ума, и им чужда была всякая пошлость. Никогда у Морзов не встречался Мартин с таким разнообразием тем и интересов. Казалось, не было в мире вещи, о которой они не могли бы рассуждать без конца. Разговор перескакивал с последней книги миссис Гемфри Уорд на новую комедию Шоу, с будущей драмы на воспоминания о Мэнсфилде. Они хвалили или высмеивали утренние передовицы, говорили о положении рабочих в Новой Зеландии, о Генри Джеймсе и Брэндере Мэтьюзе, рассуждали о политике Германии на Дальнем Востоке и экономических последствиях Желтой Опасности, спорили о выборах в Германии и о последней речи Бебеля, толковали о последних разногласиях в руководстве социалистической партии и о том, что послужило поводом к забастовке портовых грузчиков.

Мартин был поражен их необыкновенной осведомленностью во всех этих делах. Им было известно то, что никогда не печаталось в газетах, они знали все тайные пружины, все нити, которыми приводились в движение марионетки. К удивлению Мартина, Мери тоже принимала участие в этих беседах и при этом проявляла такой ум и знания, каких Мартин не встречал ни у одной знакомой ему женщины.

Они поговорили о Суинберне и Россетти, после чего перешли на французскую литературу. И Мери завела его сразу в такие дебри, где он оказался профаном. Зато Мартин, узнав, что она любит Метерлинка, двинул против нее продуманную аргументацию, послужившую основой «Позора солнца».

Пришло еще несколько человек, и в комнате было уже темно от табачного дыма, когда Бриссенден решил, наконец, начать битву.

— Тут есть свежий материал для обработки, Крейс,— сказал он,— зеленый юноша, со всем пылом молодости влюбленный в Герберта Спенсера. Ну-ка, попробуйте сделать из него геккельянца.

Крейс внезапно встрепенулся, словно сквозь него пропустили электрический ток, а Нортон сочувственно посмотрел на Мартина и ласково улыбнулся ему, как бы обещая свою защиту.

Крейс сразу напустился на Мартина, но постепенно и Нортон начал вставлять словечки, и, наконец, разговор превратился в настоящее единоборство между ним и Крейсом. Мартин слушал, не веря своим ушам, ему казалось просто невыносимым, что все это происходит наяву — да еще где, в рабочем квартале, к югу от Маркет-стрит. В этих людях словно ожили все книги, которые он читал. Они говорили с жаром и увлечением, мысли возбуждали их так, как других возбуждает гнев или спиртные напитки. Это не была сухая философия печатного слова, созданная мифическими полубогами, вроде Канта и Спенсера. Это была живая философия, вошедшая в плоть и кровь спорщиков, кипящая и бушующая в их речах. Постепенно и другие вмешались в спор, и все следили за ним с напряженным вниманием, дымя папирусами.

Мартин никогда не увлекался идеализмом, но в изложении Нортон он явился для него откровением. Однако Крейса и Гамильтона не убеждала та логика, которая Мартину казалась неопровержимой, они смеялись над Нортоном, называя его метафизиком, а тот в свою очередь называл метафизиками их.

«Феномены» и «ноумены» так и носились в воздухе. Крейс и Гамильтон обвиняли Нортон в попытках объяснить сознание из самого сознания. А тот в свою очередь обвинял их в том, что в своих рассуждениях они идут от слов к теории, а не от фактов к теории. Это их бесило. Их основной догмат сводился к тому, что следует начинать с фактов и фактам давать наименование.

Когда Нортон углубился в сложные построения Канта, Крейс сказал, что всякий добрый старый немецкий философ после смерти попадает в Оксфорд. Когда Нортон упомянул о гамильтоновском законе условного, его противники немедленно объявили, что и они основны-

ваются на этом законе. А Мартин слушал, весь дрожа от восторга. Однако Нортон не был истинным сторонником Спенсера, и потому он часто в разгаре спора обращался к Мартину, полемизируя с ним так же, как и с другими противниками.

— Вы знаете, что Беркли еще никто не ответил,— говорил он, обращаясь уже прямо к Мартину.— Герберт Спенсер подошел ближе других, но и он, в сущности говоря, не дал исчерпывающего ответа. Самые смелые из его последователей не могут пойти дальше. Я читал статью Салиби о Спенсере. Ну, и он тоже говорит, что Спенсеру «почти» удалось ответить Беркли.

— А вы помните, что сказал Юм?! — воскликнул Гамильтон.

Нортон кивнул головой, но Гамильтон счел нужным пояснить остальным:

— Юм сказал, что аргументы Беркли не допускают никакого ответа и совершенно неубедительны.

— Неубедительны для Юма,— возразил Нортон.— А Юм мыслил точно так же, как и вы, с одной только разницей: у него хватало ума признать, что Беркли ответить невозможно.

Нортон был очень горяч и вспыльчив, хотя никогда не терял самообладания, а Крейс и Гамильтон напоминали хладнокровных дикарей, которые спокойно и неторопливо изучают слабые места противника. Под конец вечера Нортон, обозленный непрерывными упреками в том, что он метафизик, схватился обеими руками за свой стул, чтобы не вскочить с него в пылу спора, и со сверкающими глазами предпринял решительный натиск на своих противников.

— Ладно, геккельянцы,— закричал он,— может быть, я рассуждаю, как колдун и знахарь, но хотел бы я знать, вы-то как рассуждаете? Ведь вам же не на что опереться, хотя вы и кричите о позитивной науке где надо и где не надо. Вы невежественные догматики! Ведь еще задолго до возникновения школы материалистического монизма вся почва была до того перерыта, что никакого фундамента уже нельзя было заложить. Локк — вот кто сделал это! Джон Локк! Двести лет назад, даже больше, он в своем «Опыте о человеческом разуме» доказал нелепость понятия

врожденной идеи. А вы этим занимаетесь до сих пор. Доказываете мне сегодня в продолжение целого вечера, что никаких врожденных идей не существует. А что это значит? Это значит, что человек не может постичь высшей реальности. Когда вы рождаетесь, у вас в мозгу нет ничего. Все дальнейшее познание зиждется только на феноменах, на восприятиях, получаемых вами с помощью пяти чувств. Ноумены, которых не было у вас в мозгу при рождении, не могут никак попасть туда и после.

— Неверно, — перебил его Крейс.

— Дайте мне договорить! — воскликнул Нортон. — Вашему познанию доступны только те проявления взаимодействия силы и материи, которые так или иначе влияют на ваши чувства. Видите, ради удобства спора я готов даже признать, что материя существует! Но я вас сейчас уничтожу вашим же собственным аргументом. Другого пути у меня нет, так как, к сожалению, вам обоим недоступно абстрактное мышление. Так вот, скажите, исходя из положений высшей позитивной науки, что вы знаете о материи? Вы знаете только то, что воспринимаете, то есть опять-таки только феномены. Вам доступны только изменения материи, вернее даже только то, что воспринимается вами как ее изменение. Позитивная наука имеет дело только с феноменами, а вы, безумцы, воображаете, что имеете дело с ноуменами, и считаете себя онтологами. Да, позитивная наука оперирует только с явлениями. Кто-то уже сказал однажды, что наука о явлениях не может возвыситься над явлениями. Вы не можете ответить Беркли, даже если сумеете опровергнуть Канта; однако вы утверждаете, что Беркли не прав, ибо ваша наука, отрицая существование бога, не сомневается в существовании материи. Я признал сейчас существование материи только для того, чтобы вы поняли ход моих мыслей. Сделайте одолжение, будьте позитивистами, но онтологии нет места среди позитивных наук. Стало быть, оставьте ее в покое. Спенсер прав, как агностик, но если Спенсер...

Однако приближалось время отхода последнего оклендского парома, и Бриссенден с Мартином принуждены были уйти. Они выскользнули незамеченными, пока Нортон продолжал говорить, а Крейс и Гамильтон

только и ждали случая наброситься на него, как пара разъяренных гончих.

— Вы открыли мне волшебную страну,— сказал Мартин Бриссендену; когда они оба взошли на паром.— Поговорив с такими людьми, чувствуешь, что стоит жить! У меня голова идет кругом! Я до сих пор не понимал, что такое идеализм. Я и теперь не могу принять его. Я знаю, что всегда останусь реалистом,— так уж создан, должно быть. Но я охотно поспорил бы с Крейсом и Гамильтоном и для Нортон у меня тоже нашлось бы два-три словечка. Не вижу, чтобы Спенсеру были сделаны серьезные возражения. Я взволнован, как ребенок, впервые побывавший в цирке. Теперь я вижу, что мне еще очень многое нужно прочитать. Надо будет достать книгу Салиби! Я убежден, что Спенсер неуязвим. В следующий раз я сам приму участие в споре...

Но Бриссенден дремал, тяжело дыша, уткнувшись худым подбородком в теплый шарф, и все его тощее тело вздрагивало при каждом обороте винта,

Глава тридцать седьмая

На следующее утро Мартин, вопреки советам Бриссендена, отправил в «Акрополь» «Позор солнца». Он не терял надежды на то, что какой-нибудь журнал напечатает статью, а добившись успеха в журналах, ему легче будет пробивать себе дорогу в книгоиздательства. «Эфемериду» он также переписал на машинке и отправил. Несмотря на почти маниакальную ненависть Бриссендена к редакторам и журналам, Мартин твердо решил, что поэма должна увидеть свет. Он, конечно, не предполагал печатать ее без разрешения автора. Ему хотелось, чтобы какой-нибудь крупный журнал принял ее, а тогда, думал Мартин, можно будет добиться согласия Бриссендена.

И в то же утро Мартин начал писать повесть, которую задумал уже недели три тому назад и которая с тех самых пор настойчиво просилась на бумагу. Это должна была быть повесть из морской жизни, образец романтики двадцатого века, с увлекательным сюжетом, с реальными

характерами и реальной обстановкой. Но под занимательной фабулой должно было скрываться нечто такое, чего поверхностный читатель не мог заметить, но что, впрочем, не мешало бы и такому читателю получать удовольствие при чтении. Именно это «что-то», а не перипетии сюжета, было для Мартина самым главным в повести. Его всегда увлекала в произведении основная идея, и сюжет зависел от нее. Определив для себя эту идею, он искал такие образы и такие ситуации, в которых она могла получить наиболее яркое выражение. Повесть должна была называться «Запоздалый» и по объему не превышать шестидесяти тысяч слов,— а при работоспособности и творческой энергии Мартина это были, разумеется, сущие пустяки. В первый же день, начав писать, он испытал глубокое наслаждение мастера. Он уже не боялся теперь, что неловкость, беспомощность литературной формы обеднит его мысль. Долгие месяцы упорного, напряженного труда принесли, наконец, желанные плоды. Теперь он мог идти твердо и неуклонно к своей цели, и, самозабвенно отдаваясь работе, он чувствовал, как никогда прежде, что правильно понимает жизнь и умеет показать ее. В «Запоздалом» Мартину хотелось изобразить действительные происшествия и вывести реальных людей, реально мыслящих и чувствующих. Но, кроме того, в повести должен был заключаться великий тайный смысл, идея, равно справедливая для всех стран, всех времен и народов. «И все это благодаря Герберту Спенсеру,— подумал Мартин, откинувшись на спинку стула.— Да, благодаря Герберту Спенсеру и тому великому ключу к мирозданию, который он дал мне в руки и который зовется эволюцией!»

Мартин отчетливо сознавал значительность того, что он создавал сейчас. «Дело пойдет! Пойдет!» — мысленно твердил он себе. Да, дело пошло. Наконец-то он напишет такую вещь, за которую тотчас же ухватится любой журнал. Вся повесть целиком словно горела перед ним огненными буквами. Мартин вдруг оторвался от работы и набросал в своей записной книжке отрывок, который должен был стать заключительным. Вся композиция вещи была настолько ясна ему, что он вполне мог написать конец задолго до того, как подошло время его написания.

Он сравнивал свою еще не законченную повесть с морскими рассказами других писателей и пришел к убеждению, что его произведение неизмеримо выше.

— Только один человек мог бы написать нечто подобное,— пробормотал Мартин,— это Конрад. Но и Конрад вполне бы мог пожать мне руку за эту повесть и сказать: «Хорошо сработано, Мартин, дружище!»

Проработав почти весь день, Мартин вдруг вспомнил, что приглашен обедать к Морзам. Благодаря Бриссендену его черный костюм был выкуплен из заклада, и Мартин мог теперь снова появляться в обществе. По дороге он забежал в библиотеку и взял там книгу Салиби «Цикл жизни». Он решил еще в трамвае прочесть ту статью, о которой упоминал во время спора Нортон. Читая, Мартин пришел в ярость. Лицо его пылало, глаза сверкали, он все время бессознательно сжимал кулаки, словно угрожая кому-то. Выйдя из трамвая, он зашагал по улице торопливым шагом человека, доведенного до последней степени неистовства, и с такой злостью надавил звонок у двери Морзов, что тут же опомнился и добродушно расхохотался. Но как только он вошел в дом, его тотчас охватила глубокая тоска. У него словно подломились крылья, и он сразу упал с тех высот, на которые занесло его вдохновение.

«Буржуа! Торгаши!» — вспомнил он любимые выражения Бриссендена. «Ну и что же? — сердито перебил он сам себя.— Ведь я женюсь на Руфи, а не на ее семье!»

Казалось, Руфь никогда еще не была такой прекрасной, такой одухотворенной и в то же время такой здоровой и свежей. Ее щеки слегка зарумянились, и Мартин не мог отвести взгляда от ее глаз — синих глаз, в которых он впервые увидел отблеск бессмертия. Правда, за последнее время он забыл о бессмертии, увлеченный чтением научной литературы, но теперь в глазах Руфи он прочел безмолвный аргумент, который был убедительнее всех словесных аргументов. Мартин прочел в них любовь. Та же любовь сияла и в его глазах, а любовь бесспорна. Таково было его глубочайшее пламенное убеждение.

Те полчаса, которые он провел с Руфью перед обедом, сделали его опять счастливым и довольным жизнью. Но во время обеда Мартин вдруг почувствовал необычайное

утомление,— оно явилось как естественная реакция после дня напряженной работы. Он сознавал, что у него усталые глаза и что он очень раздражен и несдержан. Ему вспомнилось, как за этим самым столом, где теперь ему не раз бывало смешно и скучно, он сидел некогда впервые в обществе людей, которых считал неизмеримо выше себя. Самый воздух этого дома тогда казался ему пропитанным утонченной культурой. Должно быть, он представлял тогда очень забавное и трогательное зрелище. Полудикарь, обливающийся потом от страха и смущения, сбитый с толку сложностью обеденного ритуала, угнетаемый величественным лакеем, мучительно старающийся оказаться на высоте того положения, в которое его поставил случай, пока, наконец, он не пришел к отчаянному решению: быть самим собой, не пытаться проявить глубину знаний и изысканность манер, которых у него не было.

Мартин бросил на Руфь мимолетный взгляд,— таким взглядом путешественник при слухе о грозящей судной опасности проверяет, на месте ли спасательный круг. Да! Только это и выдержало испытание времени: любовь и Руфь. Все остальное развеялось, как мираж, едва он начал читать книги. Но Руфь и любовь не были миражем. Для них он нашел биологическое оправдание. Любовь была сильнейшим проявлением жизни. Природа предписывала ему любить и готовила его для этого, как и всякого нормального человека. Десятки тысяч, сотни тысяч — нет! — миллионы веков она билась над совершенствованием человеческой породы для этой цели, и он, несомненно, явился венцом ее достижений. Она вдохнула в Мартина любовь, в мириады раз увеличила ее силу, наделив его даром фантазии, и послала его в мир, чтобы он изведal волнение и трепет и радость свершения. Его рука нашла под столом руку Руфи и пожала ее. Ответом было такое же жаркое пожатие. Они быстро переглянулись, и ее глаза блеснули любовно и ласково. Глаза Мартина тоже блеснули, и он даже не подозревал, что блеск в глазах Руфи был, в сущности говоря, лишь отражением того огня, который горел в его взоре.

Наискосок от него, по правую руку мистера Морза, сидел судья Блоунт, член верховного суда штата. Мартин уже не раз встречался с ним и, по правде говоря, не чув-

ствовал к нему особенного расположения. Судья беседовал с отцом Руфи о рабочих союзах, о политическом положении и о социализме. Мистер Морз, стараясь втянуть Мартина в разговор, назвал его сторонником социалистического учения. Судья Блоунт посмотрел на него с отеческим состраданием. Мартин усмехнулся про себя.

— Это у вас пройдет, молодой человек,— сказал судья ласково,— детские болезни лучше всего излечиваются временем! (Говоря так, судья повернулся к мистеру Морзу.) Я никогда не спорю в таких случаях: это только возбуждает в пациенте упрямство.

— Совершенно справедливо,— важно ответил мистер Морз,— но иногда все же полезно бывает предупредить пациента о возможных последствиях болезни.

Мартин засмеялся, хотя не без некоторого усилия. День был таким долгим, работа в течение всего дня была такой напряженной, что реакция давала себя знать.

— Несомненно, вы превосходные доктора,— сказал он,— но если вы хоть немножко интересуетесь мнением пациента, позвольте ему сказать вам, что вы ошиблись в диагнозе. На самом деле это вы оба страдаете той болезнью, которую приписываете мне. Я же совершенно невосприимчив к ней. Социалистическая философия, которая вас так волнует, меня никак не затронула.

— Ловко, ловко,— пробормотал судья,— прекрасный прием в споре — обращать обвинение против обвинителя.

— А я говорю на основании ваших слов! — сказал Мартин. Глаза его сверкнули, но он еще сдерживался. — Видите ли, господин судья, я слышал ваши предвыборные речи. Благодаря особой мыслительной передержке, — это мое любимое выражение, хотя оно не всем понятно, — вы убедили себя в том, что вы сторонник принципов конкуренции и выживания сильнейшего, но в то же время вы принимаете все меры к тому, чтобы обессилить сильного.

— Молодой человек!

— Не забудьте, что я слышал ваши речи! — перебил Мартин. — Ваша позиция в вопросе о регламентации торговли между штатами, об урегулировании деятельности компании «Стандарт Ойл» и железнодорожного треста, о планомерной эксплуатации лесов и так далее и тому

подобное — сводится к требованию ограничительных мер, то есть по существу совпадает с позицией социалистов.

— Но разве, по-вашему, не следует обуздывать все эти непомерные проявления власти?

— Не о том речь. Я хочу только доказать вам, что вы ошиблись в диагнозе и что я нисколько не заражен бактерией социализма. Я хочу доказать вам, что вы сами, именно вы, заражены этой вредоносной бактерией! Что касается меня, то я исконный враг социализма, так же как и вашей ублюдочной демократии, которая, в сущности говоря, есть псевдосоциализм, только прячущийся под сложной игрой словами и названиями. Я реакционер, настолько убежденный реакционер, что вам, живущим под колпаком фальшивых общественных отношений, никогда не понять моих взглядов, ибо вы слишком близоруки, чтобы разглядеть что-нибудь сквозь этот колпак. Вы делаете вид, что вы верите в победу сильнейшего, а я действительно в это верю. Вот в чем разница. Когда я был чуть моложе — всего несколько месяцев тому назад, — я думал так же, как и вы. Понимаете, в свое время ваши идеи произвели на меня известное впечатление. Но торгаши и лавочники — трусливые правители; их стремления не идут дальше наживы, и мне оказалась больше по душе аристократия. В этой комнате я единственный индивидуалист. Я ничего не жду от государства. Только сильная личность, всадник на коне может спасти государство от неизбежного разложения. Ницше был прав. Я не буду терять время и объяснять вам, кто такой Ницше, но он был прав! Мир принадлежит сильным, которые так же благородны, как и могучи, и которые не барахтаются всю жизнь в болоте купли и продажи. Мир принадлежит истинным аристократам, белокурый зверям, тем, кто не идет ни на какие компромиссы и всегда говорит только «да». И они поглотят вас — вас, социалистов, боящихся социализма и воображающих себя индивидуалистами. Ваша рабья мораль золотой середины не спасет вас! Ну, конечно, все это для вас китайская грамота, и я не буду больше надоедать вам. Но помните одно! В Окленде не наберется и полдюжины настоящих индивидуалистов, но один из них — ваш покорный слуга, Мартин Иден.

Сказав так, Мартин обратился к Руфи, как бы давая понять, что он считает спор законченным.

— Я сегодня устал,— сказал он,— мне хочется любви, а не разговоров.

Он оставил без ответа замечание мистера Морза, который сказал:

— Вы меня не убедили. Все социалисты — иезуиты. Это их отличительный признак.

— Ничего! Мы еще сделаем из вас доброго республиканца,— сказал судья Блоунт.

— Всадник на коне явится раньше, чем это случится,— добродушно возразил Мартин и опять повернулся к Руфи.

Но мистер Морз был недоволен. Ему не нравилась лень и презрение к нормальным, разумным видам деятельности, проявляемые его будущим зятем, образ мыслей которого был ему чужд, а натура — непонятна. И мистер Морз решил направить беседу на учение Герберта Спенсера. Мистер Блоунт поддержал этот разговор, и Мартин, наостривший уши, как только было произнесено имя философа, услышал, что судья с самодовольной важностью критикует идеи Спенсера. Мистер Морз временами поглядывал на Мартина, словно желая сказать: «Слышите, дитя мое?»

— Болтливая сорока,— проворчал Мартин и продолжал говорить с Руфью и Артуром.

Но дневная усталость и вчерашние споры с «настоящими людьми» взяли свое; к тому же он еще не излил вполне раздражения, которое было вызвано в нем статьей, прочитанною в трамвае.

— В чем дело? — встревоженно спросила Руфь, заметив, с каким усилием Мартин пытается сдержать себя.

— «Нет бога, кроме Непознаваемого, и Герберт Спенсер пророк его», — вдруг произнес судья.

Мартин тотчас же повернулся к нему.

— Дешевая острота,— заметил он спокойно,— впервые я услышал ее в Сити-Холл-парке из уст одного рабочего, которому следовало, пожалуй, быть умнее. С тех пор я часто слышал эти слова, и всякий раз меня тошнило от их пошлости. Как вам не стыдно! Имя великого и благо-

родного человека среди ваших словонизлияний — словно капля росы в стоячей луже. Вы внушаете мне отвращение!

Казалось, внезапно раздался удар грома. Судья Блоунт побагровел, и за столом воцарилось злоеущее молчание. Мистер Морэ втайне радовался. Он видел, что его дочь шокирована. Он добился своего: вызвал вспышку природной грубости у этого ненавистного ему человека.

Руфь с мольбой сжала под столом руку Мартина, но в нем уже закипела кровь. Самомнение и тупость людей, занимающих высокое положение, возмутили его. Член верховного суда! Подумать, что только два-три года назад он готов был преклоняться перед такими людьми, видя в них существа чуть ли не божественной породы.

Судья Блоунт пришел в себя и даже попытался продолжать разговор, обращаясь к Мартину с нарочитой вежливостью, но тот сразу понял, что это делается исключительно ради присутствующих дам. Это окончательно взбесило Мартина. Неужели в мире вовсе нет честности?

— Не вам спорить со мною о Спенсере! — крикнул он. — Вы так же мало знаете Спенсера, как и его соотечественники. Я знаю, это не ваша вина! В этом виновато всеобщее современное невежество. С образчиком такого невежества я имел случай познакомиться только что, когда ехал сюда! Я читал статью Салиби о Герберте Спенсере. Вам бы следовало это прочесть. Книга доступна для всех. Вы можете найти ее в любом магазине и в любой библиотеке. Когда вы прочтете то, что написал Салиби про этого великого человека, даже вам, я уверен, станет неловко. Это такой рекорд пошлости, перед которым ваша пошлость бледнеет. Академический философ, недостойный дышать одним воздухом со Спенсером, называет его «философом недоучек». Я уверен, что вы не прочли и десяти страниц из сочинений Спенсера, но были критики и поумнее вас, которые читали не больше, однако имели наглость во всеуслышание указывать последователям Спенсера на ложность его идей! Понимаете? Идей человека, великий гений которого охватил все стороны научного познания; он был отцом психологии; он произвел целый переворот в области педагогики, так что деревенские ребята где-нибудь во Франции теперь учатся читать, писать и считать по методам, предложенным Спенсером.

Жалкие людишки, оскорбляющие его память, добывают себе в то же время кусок хлеба практическим применением его идей. Ведь если у них есть хоть какие-нибудь мысли, то этим они обязаны ему! Ведь если бы его не было, они не имели бы и тех ничтожных знаний, которые они затвердили, как попугай. А какой-нибудь господин вроде оксфордского ректора Фэрбэнкса, который занимает место повыше вашего, судья Блоунт, смеет говорить, что потомство назовет Спенсера скорее поэтом и мечтателем, нежели мыслителем. Тявкающие шавки, вот это кто! Один изрек, что «Основные начала» не лишены литературных красот». Другие кричат, что он — труженик ума, но не оригинальный мыслитель. Тявкающие шавки! Свора тявкающих шавок!

Мартин умолк среди гробовой тишины. Все в семье Руфи уважали судью Блоунта как человека почтенного и заслуженного, и выступление Мартина повергло всех в ужас. Конец обеда прошел в самом погребальном настроении. Судья и мистер Морз вполголоса беседовали между собой; у других разговор вовсе не клеился.

Когда Мартин и Руфь после обеда остались вдвоем, произошла бурная сцена.

— Вы невозможный человек, — говорила Руфь, вся в слезах.

Но его гнев еще не утих, и он грозно бормотал:

— Скоты! Ах, скоты!..

Когда Руфь сказала, что Мартин оскорбил судью, он возразил:

— Чем же я его, по-вашему, оскорбил? Тем, что сказал правду?

— Мне все равно, правда это или нет, — продолжала Руфь, — есть известные границы приличий, и вам никто не давал права оскорблять людей!

— А кто дал судье Блоунту право оскорблять истину? — воскликнул Мартин. — Оскорбить истину гораздо хуже, чем оскорбить какого-то жалкого человечешку. Но он сделал еще хуже! Он очернил имя величайшего и благороднейшего мыслителя, которого уже нет в живых. Ах, скоты! Ах, скоты!

Ярость Мартина испугала Руфь. Она впервые видела его в таком неистовстве и не могла понять причины этого

безрассудного, с ее точки зрения, гнева. И в то же время ее попрежнему неотразимо влекло к нему, так что она не удержалась и в самый неожиданный момент обхватила руками его шею. Она была оскорблена и возмущена всем, что случилось, и тем не менее ее голова лежала на его груди, и, прижимаясь к нему, она слушала, как он бормотал:

— Скоты, ах, скоты!

И не подняла головы, даже когда он сказал:

— Я больше не буду портить вам званных обедов, дорогая. Ваши друзья не любят меня, и я не хочу им навязываться. Они так же противны мне, как я им. Фу! Они просто отвратительны! Подумать только, что я когда-то смотрел снизу вверх на людей, которые занимают важные посты, живут в роскошных домах, имеют университетский диплом и банковский счет! Я по своей наивности воображал, что они в самом деле достойны уважения.

Глава тридцать восьмая

— Пойдемте в социалистический клуб! — сказал Бриссенден, едва оправившись после кровохарканья, которое у него было полчаса назад — второе за последние три дня. В его дрожащих руках был неизменный стакан виски.

— А что мне там делать? — спросил Мартин.

— Посторонним разрешается брать слово, как и прочим, на пять минут, — сказал больной, — вот вы и выступите. Скажите им, почему вы против социализма. Скажите им, что вы думаете о них и об их этике, этике гетто. Бросьте им в лицо Ницше, и пусть заварится каша. Им полезны такие споры, да и вам тоже! Мне бы очень хотелось, чтобы вы стали социалистом, прежде чем я умру. Только это может спасти вас в час разочарования в жизни, который, несомненно, наступит.

— Не понимаю, как вы, именно вы, можете быть социалистом, — заметил Мартин, — ведь вы ненавидите толпу. И правда, какое дело вам, эстету, до ее интересов и

стремлений? — Мартин с укоризной указал Бриссендену на виски: — Вас, повидимому, социализм не спасает.

— Я очень болен,— отвечал Бриссенден.— Вы — другое дело. Вы человек здоровый, у вас еще вся жизнь впереди и вам надо иметь какую-нибудь цель в жизни. Вы удивляетесь, почему я социалист? Я вам скажу. Потому что социализм неизбежен; потому что современный строй сгнил и не может продержаться долго; потому что время вашего всадника на коне прошло. Рабы не пойдут за ним. Рабов слишком много, и они стащат его на землю, едва он успеет занести ногу в стремя. Все равно вы от них не уйдете и принуждены будете проглотить их рабскую мораль. Конечно, это не очень сладко. Но тут уже ничего не поделаешь. Вы с вашими ницшеанскими идеями просто троглодит, Мартин. Что прошло — прошло, и тот, кто говорит, что история повторяется,— лжет. Вы правы, я не люблю толпу, но как же быть? Всадника на коне вам не дожидаться, а я предпочту что угодно, только не власть трусливых буржуазных свиней. Идемте. Если я просижу здесь еще немножко, я напьюсь вдребезги! А вы знаете, что говорит доктор? Впрочем, к черту доктора! Мне ужасно хочется оставить его в дураках.

Был воскресный вечер, и небольшой зал оклендского социалистического клуба был битком набит главным образом рабочими. Оратор, умный еврей, понравился Мартину, хоть своими речами сразу вызвал в нем чувство протеста. Узкие плечи и впалая грудь оратора изобличали истинного сына гетто, и, глядя на него, Мартин ясно представил себе вечную войну жалких и слабых рабов против горсточки сильных мира сего, которые правили ими искони и всегда будут править. Для Мартина в этом тщедушном человеке заключался символ. Это было воплощение всей массы хилых и неприспособленных людей, гибнущих по неизбежному биологическому закону на тернистых путях жизни. Они были обречены. Несмотря на их хитроумную философию и муравьиную склонность к коллективизму, природа отвергла их ради могучих и сильных людей. Природа отбирала лучшие свои создания, и люди подражали ей, разводя сортовые овощи и породистых лошадей. Конечно, творец мира мог придумать лучший метод, но людям этого мира уже приходится

считаться с принятым в нем порядком вещей. Разумеется, перед гибелью они могут извиваться и корчиться, как это делают социалисты, могут собираться и толковать о том, как уменьшить тяготы земного существования и перехитрить вселенную.

Так думал Мартин, и эти свои соображения он высказал, когда Бриссенден, наконец, убедил его выступить и задать жару присутствующим. Он взошел на трибуну и, как полагалось, обратился к председателю. Он заговорил сначала очень тихо, слегка запинаясь, стараясь привести в порядок все те мысли, которые нахлынули на него во время речи еврея. Каждому оратору на таких митингах предоставлялось пять минут. Но когда истекли эти положенные пять минут, Мартин только еще успел войти во вкус своей речи, нападение его на социалистические доктрины только что развернулось, а так как он возбудил в слушателях большой интерес, то они единогласно потребовали у председателя продления срока. Они увидели в этом неизвестном молодом человеке достойного противника и напряженно следили за каждым его словом. Мартин говорил с необычайным увлечением, не прибегая к околичностям, и, нападая на рабскую мораль, прямо указывал, что под рабами он понимает именно своих слушателей. Он цитировал Спенсера и Мальтуса и прославлял биологический закон мирового развития.

— Итак,— резюмировал он свою речь,— не может существовать государство, состоящее только из рабов! Основной закон эволюции действует и здесь! В борьбе за существование, как я уже показал, выживает сильный и потомство сильного, а слабый и его потомство осуждены на гибель. И в результате этого процесса сила сильных увеличивается с каждым поколением. Вот что такое эволюция! Но вы, рабы,— сознавать себя рабом неприятно, согласен,— вы, рабы, мечтаете об обществе, не подчиняющемся великому закону эволюции. Вы хотите, чтобы хилые и неприспособленные не погибали. Вы хотите, чтобы слабые ели так же, как и сильные, и столько, сколько им хочется. Вы хотите, чтобы слабые наравне с сильными вступали в брак и производили потомство. Каков же будет результат всего этого? Сила и жизнеспособность человечества не будет возрастать с каждым

поколением. Напротив. Она будет уменьшаться. Вот Немезида вашей «рабской философии». Ваше общество,— организованное по принципу общества рабов, для рабов, именем рабов,— начнет постепенно слабеть и разрушаться, пока, наконец, совсем не погибнет. Помните, я исхожу из биологических законов, а не сентиментальной морали. Государство рабов существовать не может.

— Ну, а Соединенные Штаты? — крикнул кто-то.

— Соединенные Штаты? — возразил Мартин.— Тринадцать колоний изгнали своих правителей и образовали так называемую республику. Рабы стали сами себе господами. Господ, правящих с помощью меча, больше не было. Но рабы не могли оставаться без господ, и вот возник новый вид правителей — не смелые, благородные и сильные люди, а жалкие пауки, торгаши и ростовщики! И они поработили вас снова, но не открыто, по праву сильного, а незаметно, разными махинациями, хитростью, обманом и ложью. Они подкупили ваших судей, извратили ваши законы и держат ваших сыновей и дочерей под гнетом, перед которым побледнели все ужасы узаконенного рабства. Два миллиона ваших детей трудятся сейчас под игом промышленной олигархии Соединенных Штатов. Десять миллионов рабов живут, не имея ни крова, ни хлеба. Нет, государство рабов не может существовать, ибо это противоречит биологическому закону эволюции. Как только организуется общество рабов, немедленно наступает упадок и вырождение. Вы отрицаете законы эволюции? Хорошо! Где же тот новый, другой закон, на который вы рассчитываете опереться? Формулируйте его. Или это уже сделано? Ну, тогда скажите мне его.

Мартин сел на свое место под оглушительный шум всей аудитории. Человек двадцать повскакало со своих мест, требуя слова. Один за другим, с жаром и воодушевлением, усиленно жестикулируя и вызывая аплодисменты, они отражали атаку Мартина. Это было настоящее побоище, ожесточенная схватка идей. Многие из ораторов сбивались и на общие темы, но большинство непосредственно возражало Мартину. Они кидали ему новые для него мысли; открывали перед ним не новые биологические законы, но новые возможности применения старых законов. Они слишком были увлечены, чтобы помнить о

вежливости, и председателю несколько раз пришлось останавливать их.

Случилось, что на собрании присутствовал молодой репортер из начинающих, истомившийся в погоне за сенсацией. Он не обладал ни умом, ни опытом. Он обладал только бойкой развязностью газетчика. Он был слишком невежествен, чтобы следить за смыслом спора. Но в нем жила приятная уверенность, что он стоит гораздо выше всех этих болтливых маниаков из рабочего класса. К тому же он весьма уважал сильных мира сего, занимающих высокие посты и определяющих политику наций и газет. У него был даже свой идеал: он мечтал стать первоклассным репортером, таким, который умеет из ничего создавать очень многое.

Он так и не понял, о чем в сущности шел разговор. Да ему и не нужно было знать этого. Он руководствовался отдельными словами, вроде «революция». Как палеонтолог по одной найденной кости восстанавливает в своем представлении целый скелет, так и этот репортер мог воспроизвести целую речь по одному только запомнившемуся слову «революция». Этим он и занялся в тот же вечер, и занялся весьма успешно, а так как выступление Мартина вызвало больше всего шума, то репортер решил вложить эту речь ему в уста, изобразив его анархистом, а его реакционный индивидуализм превратив в самый крайний красный социализм. Молодой репортер был не лишен литературного дара и очень живописно изобразил свирепых длинноволосых людей, неврастеников и дегенератов, потрясающих кулаками и издающих злобные возгласы под нестройный гул разъяренной толпы.

Глава тридцать девятая

На следующий день, за утренним кофе, Мартин, по обыкновению, читал газету. В первый раз в жизни увидел он свое имя, напечатанное крупным шрифтом на первой странице. С изумлением он узнал, что является одним из виднейших лидеров оклендских социалистов. Он пробежал глазами пламенную речь, сочиненную за него молодым

репортером, и сначала был возмущен этим бесстыдным измышлением, но в конце концов со смехом отшвырнула газету.

— Или это писал пьяный, или за этим скрывается какой-то преступный умысел, — сказал он Бриссендену, который пришел к нему после обеда и устало опустился на единственный стул. Сам Мартин, по обыкновению, сидел на кровати.

— А вам не все ли равно? — сказал Бриссенден. — Неужели вы придаете значение мнению буржуазных свиней, которые читают газеты?

Мартин на минуту задумался.

— Конечно, мне нет до них никакого дела. Я только боюсь, чтобы это не осложнило моих отношений с семьею Руфи. Ее отец уверен, что я социалист, а эта писанина послужит подтверждением. Мне наплевать, что он думает, но все-таки... А впрочем, какая разница? Я хочу прочесть вам то, что я сегодня написал. Все тот же «Запоздалый», конечно. Уже около половины готово.

Мартин только что начал читать, как вдруг Мария отворила дверь и впустила прилично одетого молодого человека, который быстро огляделся по сторонам, задержал свой взгляд на керосинке и кухонном ящике и, наконец, обратил его на Мартина.

— Садитесь! — сказал Бриссенден.

Мартин подвинулся, чтобы дать гостю место, и вопросительно посмотрел на него.

— Я слышал вашу вчерашнюю речь, мистер Иден, — начал молодой человек после непродолжительного молчания. — Я бы хотел проинтервьюировать вас.

Бриссенден разразился хохотом.

— Собрат-социалист? — спросил репортер, кидая быстрый взгляд на Бриссендена и словно мысленно прикидывая, какой эффект будет иметь описание этого живого мертвеца.

— И он написал этот отчет, — задумчиво произнес Мартин, — такой мальчишка?

— Почему вы не вздуете его? — спросил Бриссенден. — Я бы дал сейчас тысячу долларов за то, чтобы на пять минут вернуть себе здоровые легкие.

Юный журналист был несколько ошеломлен этим разговором, который велся через его голову. Но он только что удостоился похвалы редактора за блестящий отчет о социалистическом митинге и получил задание проинтервьюировать Мартина Идена, лидера организованных врагов существующего порядка.

— Вы не возражаете, если мы вас сфотографируем, мистер Иден? — спросил он. — Я захватил с собой фотографа, и он говорит, что нужно поторопиться. А то солнце сядет. Мы можем побеседовать с вами после.

— Фотограф? — протянул Бриссенден. — Ну, что же вы, Мартин? Вздуйте его!

— Старее я, видно, — отвечал Мартин. — Вот знаю, что его нужно вздуть, но как-то энергии не хватает. Да и ради чего?

— Ради его бедной матери, — возразил Бриссенден.

— Пожалуй, это веское соображение, — согласился Мартин, — но оно не вызывает у меня прилива энергии. Ведь для того, чтобы вздуть кого-нибудь, необходима затрата энергии. Да и стоит ли?

— Вот именно, не стоит, — веселым тоном подхватил репортер, но при этом опасливо оглянулся на дверь.

— Конечно, в том, что он написал, не было ни слова правды, — продолжал Мартин, обращаясь к Бриссендену.

— Видите ли, это было как бы описание в общих чертах... — рискнул объяснить юноша. — Но для вас это, между прочим, великолепная реклама... Согласитесь сами.

— Учтите, Мартин, это для вас реклама! — торжественно провозгласил Бриссенден.

— Да, да!.. И я должен с этим согласиться.

— Разрешите узнать, мистер Иден, где вы родились? — спросил репортер, изображая на своем лице напряженное внимание.

— Заметьте, он ничего не записывает, — ввернул Бриссенден, — он все запоминает.

— Для меня этого вполне достаточно, — юноша всячески старался скрыть свою тревогу. — Опытный репортер обходится без всяких записей.

— Это сразу видно... по вашему вчерашнему отчету.

Но Бриссенден не принадлежал к школе квиетистов, а потому вскричал вдруг, сразу переменив тон:

— Мартин! Если вы не избыёте его, то я избыю! Умру, но избыю!

— Отшлепать, пожалуй, будет достаточно? — спросил Мартин.

Бриссенден подумал, затем кивнул головой.

В следующий миг репортер уже лежал лицом вниз на коленях у Мартина.

— Только не кусаться,— предупредил Мартин,— не то я должен буду разбить вашу симпатичную мордочку. А это будет жаль.

Его правая рука стала мерно подниматься и опускаться. Юноша визжал, вырывался, ругался, но кусаться не смел. Бриссенден спокойно наблюдал эту сцену. Только один раз он не выдержал, схватил пустую бутылку и воскликнул:

— Дайте мне тоже разок ударить!

— К сожалению, я больше не в состоянии,— сказал, наконец, Мартин.— Рука совсем онемела.

Он схватил репортера за шиворот, встряхнул и посадил на кровать.

— Я заявлю в полицию. Вас арестуют!— кричал тот. Слезы негодования текли по его горящим щекам.— Вы ответите за это. Берегитесь!

— Вот тебе и раз,— сказал Мартин,— он так и не понимает, что пошел по скользкой дорожке. Ведь нечестно, неприлично, недостойно мужчины лгать про своего ближнего так, как он это сделал, а он все не понимает.

— Ну что ж, вот он пришел к вам, чтобы вы ему это объяснили,— вставил Бриссенден.

— Да, он пришел ко мне, оклеветав и осралив меня предварительно. Теперь мой лавочник наверняка откажет мне в кредите. Но хуже всего, что бедный мальчик никогда уже не сойдет с этого пути, пока из него не вырабатывается первоклассный журналист и первоклассный негодяй.

— Еще есть время,— возразил Бриссенден.— Может быть, именно вам суждено обратить его на путь истинный. Ах, почему вы мне не дали ударить его хоть разок. Мне хотелось бы принять участие в этом добром деле.

— Вас обоих посадят в тюрьму! — всхлипывала заблудшая душа. — С-с-скогты!

— У него слишком смазливая рожица, — произнес Мартин, покачав головой, — боюсь, что я зря натрудил себе руку. Этого молодого человека не исправишь. Он, несомненно, станет первоклассным журналистом. У него совершенно нет совести! Одно это поможет ему выдвигаться.

Но тут молодой человек стремительно вылетел из комнаты, со страхом шмыгнув мимо Бриссендена, который продолжал размахивать бутылкой.

На следующий день Мартин узнал о себе еще много нового и интересного. «Да, мы враги общества, — оказывается, сказал он в беседе с представителем прессы, — но мы не анархисты! Мы — социалисты!» Когда репортер заметил ему, что между двумя этими школами нет особенной разницы, Мартин пожал плечами в знак молчаливого согласия. Выяснилось, что лицо у него резко асимметричное и носит все признаки вырождения. Особенно характерны узловатые руки и кровожадно сверкающие глаза.

Мартин прочел также, что почти каждый вечер он выступает на рабочих митингах в Сити-Холл-парке и из всех анархистов и агитаторов, отравляющих там умы народа, пользуется наибольшим успехом, так как произносит наиболее революционные речи. Репортер подробно живописал его каморку, не забыв упомянуть о керосинке, об единственном стуле и изобразил также в ярких красках его приятеля — бродягу с лицом мертвеца, весь вид которого наводил на мысль, что его только что выпустили из тюрьмы после двадцатилетнего заключения.

Молодой репортер проявил большую расторопность. Он разнюхал всю семейную историю Мартина Идена и добыл фотографический снимок лавки мистера Хиггинботама и самого мистера Бернарда Хиггинботама, стоящего у ее дверей. Упомянутый джентльмен был описан как почтенный и здравомыслящий коммерсант, который не только не разделяет социалистических взглядов своего шурина, но и вообще не желает иметь с этим шурином ничего общего. По его словам, Мартин Иден был просто лентяй, бездельник, который не хотел работать, хотя ему

не раз делали выгодные предложения, и, без сомнения, должен был рано или поздно угодить в тюрьму. Был проинтервьюирован и Герман фон Шмидт. Он назвал Мартина «уродом в семье» и тоже отказался от всякой родственной связи с ним. «Он хотел было сесть мне на шею,— сказал, между прочим, Герман фон Шмидт,— но этот номер не прошел. Я отучил его шляться сюда. От такого бездельника нельзя ожидать ничего путного!»

На этот раз Мартин серьезно рассердился. Бриссенден смотрел на все это, как на забавную шутку, но он не мог успокоить Мартина. Мартин знал, что объяснение с Руфью будет нелегким делом. Что же до ее отца, то он, наверно, постарается воспользоваться всей этой нелепой выдумкой, чтобы расстроить их помолвку. Эти мрачные предположения не замедлили подтвердиться. На другой же день почтальон принес письмо от Руфи. Мартин, предчувствуя катастрофу, тут же вскрыл конверт и начал читать, даже не затворив дверь за почтальоном.

Читая, Мартин машинально шарил рукою в кармане, ища табак и курительную бумагу, которые прежде всегда носил при себе. Он не сознавал, что карман его давно уже пуст, не отдавал себе даже отчета в том, чего он там ищет.

Письмо было написано в спокойном тоне. Никаких следов гнева в нем не было, но все оно от первой до последней строчки дышало обидой и разочарованием. Он не оправдал ее надежд, писала Руфь. Она думала, что он покончил со своими ужасными замашками, что ради любви к ней он в самом деле готов зажить скромной и благопристойной жизнью. А теперь папа и мама решительно потребовали, чтобы помолвка была расторгнута. И она не могла не признать их доводов основательными. Ничего хорошего из их отношений не может выйти. Это с самого начала было ошибкой. В письме был только один упрек, и он показался Мартину особенно горьким. «Если бы вы захотели поступить на службу, постарались найти себе какое-то место в жизни! — писала Руфь. — Но это было невозможно. Вы слишком привыкли к разгульной и беспорядочной жизни. Я понимаю, что вы не виноваты. Вы действовали согласно своей природе и своему воспитанию. Я и не виню вас, Мартин, помните

это. Папа и мама оказались правы: мы не подходим друг к другу, и надо радоваться, что это обнаружилось не слишком поздно... Не пытайтесь увидеться со мной,— заканчивала она,— это свидание было бы тяжело и для нас обоих и для моей мамы. Я и так чувствую, что причинила ей немало огорчений и не скоро удастся мне загладить это!»

Мартин дочитал письмо до конца, внимательно перечел еще раз. Затем он сел и стал писать ответ. Он изложил все то, что говорил на социалистическом митинге, обвиняя газету в самой бессовестной клевете. В конце письма объяснения и оправдания переходили в страстную речь влюбленного, молящего о любви. «Ответьте мне непременно,— писал он,— напишите только одно — любите вы меня или нет? Это самое главное».

Но прошел день, другой, ответа не было. «Запоздалый» лежал раскрытым все на той же странице, а грудa возвращенных рукописей под столом продолжала расти. Впервые за всю свою жизнь испытал Мартин муки бессонницы. Три раза приходил он к Морзам, но все три раза лакей не пускал его дальше двери. Бриссенден лежал больной, и Мартин, навещая его, не решался посвящать его в свои горести.

А горестей у Мартина было немало. Последствия репортерской проделки превзошли все его ожидания. Португалец бакалейщик отказал ему в кредите, а зеленщик, любивший похвалиться своим чисто американским происхождением, объявил Мартина изменником родины и в припадке патриотизма даже уничтожил его счет, запретив ему являться для уплаты долга. Все соседи были настроены против Мартина, и негодование их с каждым днем возрастало. Никто не желал поддерживать отношения с предателем-социалистом. Бедную Марию терзали страхи и сомнения, но она оставалась верна Мартину. Соседские ребятишки, у которых уже изгладилось впечатление от роскошной коляски, некогда привезшей гостей к Мартину, теперь кричали ему издали «Лодырь!» и «Бродяга!». Только детвора Марии держалась твердо, защищала его, не раз вступала в битвы из-за него, и Мария, видя синяки и разбитые носы своих детишек, приходила в еще большее отчаяние.

Встретив однажды на улице Гертруду, Мартин узнал от нее то, в чем и раньше не сомневался;— что Бернард Хиггинботам вне себя от возмущения, считает, что Мартин опозорил всю семью, и запретил ему бывать у них в доме.

— Уехал бы ты куда-нибудь, Мартин,— просила Гертруда.— Уезжай и постарайся устроиться на какое-нибудь приличное место. А там, когда все уляжется, можешь и вернуться.

Мартин покачал головой и не стал вдаваться в объяснения. Да и как мог он объяснить? Между ним и его родными зияла бездна. Он уже не мог перескочить через нее! Смешно объяснять Гертруде свое отношение к социализму — отношение ницшеанца! Не было таких слов в языке, которыми он мог бы растолковать этим людям свои взгляды и свои поступки. Все их рассуждения сводились к одному: найди себе место. Это было всегда первое и последнее слово. Этим исчерпывался весь их идейный кругозор. Найди себе место! Поступи на службу! Бедные, тупые рабы, думал Мартин, слушая Гертруду. Не удивительно, что сильные завладели миром! Рабы не могли вырваться из круга своих рабских представлений. «Служба» была для них золотым фетишем, который они обожествляли, перед которым смиренно повергались ниц.

Гертруда предложила ему денег, но Мартин отрицательно покачал головою, хотя знал, что через несколько дней ему опять придется закладывать костюм.

— Бернарду ты теперь лучше на глаза не попадайся,— наставляла его Гертруда.— Пройдет месяц-другой, он успокоится, и тогда можешь даже попроситься к нему возчиком, если захочешь. А если я тебе понадобится, присылай за мной в любое время, и я к тебе приду. Слышишь?

Гертруда расплакалась и пошла своей дорогой, а Мартин, глядя на ее тяжелую, усталую походку, почувствовал, как сердце у него ёжилось от невыносимой тоски. И когда он глядел вслед сестре, здание ницшеанства вдруг дрогнуло и зашаталось. Хорошо было рассуждать о какой-то абстрактной категории рабов, но не так-то легко было прилагать теории к своим близким. А между

тем, если нужен пример слабого, угнетаемого сильным, то лучше Гертруды не найти. Мартин даже угрюмо усмехнулся этому парадоксу. Хорош же он ницшеанец, если начинает колебаться в своих взглядах, как только в нем дрогнет сердце; да в конце концов разве в данную минуту не та же рабская мораль сказывается в нем, разве его жалость к сестре не рабское чувство? Настоящий сильный человек должен быть выше жалости и сострадания. Эти чувства родились в подземельях, где обитали рабы, и были лишь жалким уделом слабых и несчастных.

Глава сороковая

Работа над «Запоздалым» не двигалась. Все разосланные рукописи давно нашли себе под столом место упокоения. Только одна рукопись еще продолжала странствовать. То была «Эфемерида» Бриссендена. Велосипед и черный костюм Мартина снова отправились в заклад, а за пишущую машинку, по обыкновению, был просрочен платеж. Но все это уже нисколько не тревожило Мартина. Он должен был найти себе новую опору в жизни, и пока эта опора не была найдена, жизнь как будто перестала существовать.

Прошло несколько недель, и вот однажды случилось то, чего он давно ожидал. Он встретил Руфь на улице. Правда, она шла не одна, а со своим братом Норманом; правда, они оба сделали вид, что не узнали Мартина, а когда он хотел подойти, Норман попытался не подпустить его.

— Если вы осмелитесь приставать к моей сестре,— сказал он,— я позову полисмена; она не желает с вами разговаривать, и ваша навязчивость оскорбительна.

— Лучше не затевайте спора,— мрачно ответил Мартин,— не то вам в самом деле придется звать полисмена, и тогда ваше имя попадет в газеты. Посторонитесь и не мешайте. Мне нужно поговорить с Руфью.

— Я хочу слышать это из ваших уст,— сказал он ей.

Она побледнела и задрожала, но остановилась и взглянула на него вопросительно.

— Ответьте мне на вопрос, который я задал вам в письме,— настаивал он.

Норман сделал было нетерпеливое движение, но Мартин взглядом смирил его.

Руфь покачала головой.

— Вы действовали по доброй воле?— снова спросил он.

— Да,— проговорила она тихо, но твердо,— действовала по доброй воле. Вы так опозорили меня, что мне стыдно встречаться со знакомыми. Все теперь толкуют обо мне. Вот все, что я могу вам сказать. Вы сделали меня несчастной, и я больше не хочу вас видеть.

— Знакомые! Сплетни! Газетное вранье! Такие вещи не могут оказаться сильнее любви! Значит, вы просто меня никогда не любили!

Бледное лицо Руфи внезапно вспыхнуло.

— После всего того, что произошло? — произнесла она.— Мартин, вы сами не знаете, что говорите! За кого вы меня принимаете?

— Вы видите, она не хочет с вами разговаривать! — воскликнул Норман, взяв сестру под руку, чтобы увести ее.

Мартин поглядел им вслед и машинально полез в карман за папиросной бумагой и табаком, которых там не было.

До Северного Окленда путь был не близок; но, только придя к себе в комнату, Мартин понял, что прошел этот путь. Опомнившись, он увидел, что сидит на своей кровати, и огляделся растеряннo, как проснувшийся луна-тик. Рукопись «Запоздалого», лежавшая на столе, бросилась ему в глаза; он придвинул стул и взялся за перо. Его натуре свойственно было стремление к завершeнности. А тут перед ним была неоконченная работа. В свое время он отложил ее, чтобы заняться другим делом. Теперь это другое дело было кончено, и надо было опять вернуться к «Запоздалому». Что будет он делать потом — Мартин не знал. Он знал только одно: какой-то этап в его жизни пришел к концу и нужно было закруглить фразу, прежде чем поставить точку. Будущее не интересовало его. Вероятно, он скоро узнает, что ждет его в этом будущем. Но это было не так уж важно. Все было неважно.

Пять дней Мартин работал над «Запоздалым», никуда не ходил, никого не видел и почти ничего не ел. На шестой день утром почтальон принес ему письмо от редактора «Парфенона». Вскрыв конверт, он сразу увидел, что «Эфемериды» приняты.

«Мы дали поэму для прочтения мистеру Картрайту Брюсу,— писал редактор,— и он так благоприятно отзывался о ней, что мы сочтем за удовольствие напечатать ее в нашем журнале. Если мы откладываем печатание поэмы до августовского номера, то только потому, что июльский уже набран. Передайте мистеру Бриссендену нашу глубочайшую признательность и наше восхищение. Не откажите прислать его портрет и биографические данные. Если предлагаемый нами гонорар покажется недостаточным, благоволи телеграфировать, какие условия вы сочли бы приемлемыми».

Так как предложенный гонорар составлял триста пятьдесят долларов, то Мартин решил, что телеграфировать не стоит. Оставалось лишь добиться согласия Бриссендена. В конце концов Мартин оказался прав. Нашелся редактор, который понимал кое-что в истинной поэзии. И гонорар был блестящий, даже для «поэмы века». Кроме того, Мартин знал, что Бриссенден считал Картрайта Брюса единственным из всех критиков, заслуживающим уважения.

Мартин вышел из дому, сел в трамвай и, глядя на мелькавшие мимо дома и перекрестки, с грустью думал о том, что его уже не волнует ни успех друга, ни одержанная победа. Лучший критик в Соединенных Штатах оценил поэму по достоинству, и, следовательно, Мартин не ошибался, утверждая, что настоящее произведение искусства может пробить себе дорогу в печать. Но Мартин уже утратил свой прежний энтузиазм и отлично сознавал, что простое желание повидать Бриссендена сильнее в нем, чем стремление сообщить ему радостную новость. Только теперь Мартину пришло в голову, что за все пять дней, проведенных в работе над «Запоздалым», он ни разу не вспомнил о Бриссендене и не имел от него никаких известий. Мартин вдруг понял, что находится в состоянии какого-то духовного оцепенения, и ему стало стыдно перед другом. Но и стыд он ощущал как-то вяло.

Никакие эмоции не волновали его, кроме творческих, которые он испытывал над рукописью «Запоздалого». Все остальное было ему безразлично. Он находился словно в каком-то трансе. Жизнь, кипевшая на улицах, по которым проходил трамвай, казалась ему далекой и призрачной, и он не очень бы удивился, если бы церковная колокольня вдруг рассыпалась у него на глазах.

Войдя в гостиницу, он торопливо поднялся в номер Бриссендена и через минуту так же торопливо спустился вниз. Комната была пуста. Все вещи из нее были вынесены.

— Разве мистер Бриссенден уехал? — спросил Мартин у портье. — Он не оставил своего адреса?

Тот как-то странно посмотрел на него.

— Да разве вы ничего не слышали? — спросил он в свою очередь.

Мартин отрицательно покачал головой.

— Все газеты писали об этом. Его нашли мертвым в постели. Самоубийство! Выстрелил себе в голову!

— Его уже похоронили?

Мартину показалось, что чей-то чужой, незнакомый голос задал этот вопрос.

— Нет. После следствия тело было отправлено на Восток. Адвокаты, приглашенные его родными, уладили все это дело.

— А почему они так спешили? — проговорил Мартин.

— Как спешили? Да ведь это произошло пять дней тому назад!

— Пять дней тому назад?

— Да, пять дней.

— А! — сказал только Мартин и вышел из гостиницы.

По дороге он зашел на телеграф и известил издателя «Парфенона», что он может печатать поэму. Телеграмму он послал наложенным платежом, потому что в кармане у него оставалось всего пять центов на обратный проезд.

Вернувшись к себе, Мартин опять принялся за работу. Шли дни и ночи, а он все сидел за столом и писал. Он ходил только в ломбард, равнодушно ел, если было из чего сварить похлебку или кашу, и так же равнодушно обходился без еды, когда варить было нечего.

Хотя вся повесть была заранее обдумана им во всех подробностях, он вдруг решил по-иному построить экспозицию, что удлинило ее еще на двадцать тысяч слов. Не было никакой необходимости так тщательно отделять эту повесть, но иначе он работать уже не мог. Он писал словно в оцепенении, перестав воспринимать окружающий мир, он обращался к творческим навыкам своей прошлой жизни, подобно тому как привидение бродит среди знакомых мест. Ему вспомнились чьи-то слова о том, что привидение — это дух человека, который умер, но сам не сознает этого. И на какое-то мгновение Мартин задумался: уж не происходит ли с ним нечто подобное?

Наконец, пришел день, когда «Запоздалый» был окончен. Агент прокатной конторы пришел за пишущей машинкой и, сидя на кровати Мартина, дожидаясь, когда он допишет последнюю страницу. «Конец» — выстукал на машинке Мартин, и для него это был в самом деле конец. С чувством некоторого облегчения он смотрел, как агент взял машинку и унес ее. После этого он упал на кровать. Он совершенно ослабел от голода. Он не ел уже тридцать шесть часов и даже ни разу не вспомнил о пище. Он лежал на спине, закрыв глаза, и какой-то туман постепенно заволакивал его сознание. В полусне он бормотал стихотворение неведомого автора, которое часто читал ему Бриссенден. Мария, стоя за дверью, с тревогой прислушивалась к его монотонному бормотанию. Слова стихотворения не имели для нее никакого смысла, но ее пугало, что Мартин говорит сам с собой.

Лира, прочь!
Я песню спел!
Тихо песни отзвучали,
Словно призраки печали,
Утонули в светлой дали!
Лира, прочь!
Я песню спел!
Я когда-то пел под кленом,
Пел в лесу темнозеленом,
Я был счастлив, юн и смел.
А теперь я петь бессилен,
Слезы горло мне сдавили,
Молча я бреду к могиле!
Лира, прочь!
Я песню спел!..

Мария не могла больше выдержать; она бросилась к печке, налила полную миску супа, щедро зачерпнув со дна кастрюли крошеного мяса и овощей и побежала к Мартину. Приподнявшись на локте, он начал есть, уверяя ее, что вовсе не бредит и что он совершенно здоров.

Когда Мария ушла, Мартин сел на кровать и долго сидел так, сгорбившись и бессмысленно глядя в одну точку. Вдруг он осознал, что перед ним лежит номер журнала, присланный с утренней почтой! Это «Парфенон», подумал он, августовский «Парфенон», и в нем должна быть напечатана «Эфемерида». Ах, если бы Бриссенден был жив!

Он стал перелистывать страницы журнала и вдруг остолбенел: «Эфемерида» была украшена пышным заголовком и виньетками на полях в стиле Бердсли; с одной стороны заголовка находился портрет Бриссендена, а с другой — сэра Джона Вэлью, британского посла. В предисловии от редакции говорилось, что сэр Джон Вэлью недавно сказал, будто в Америке нет поэтов, и, печатая «Эфемериду», «Парфенон» как бы отвечает ему: «Натека, получите, сэр Джон Вэлью!» О Картрайте Брюсе упоминалось, как о величайшем американском критике, и приводились его слова: «Эфемерида» — величайшее произведение американской поэзии». Заканчивалось предисловие так:

«Мы еще не можем оценить все красоты «Эфемериды»; быть может, нам никогда не удастся вполне оценить ее. Но, читая и перечитывая поэму, мы изумлялись необычайному словесному богатству мистера Бриссендена и не раз спрашивали себя, как и откуда мог мистер Бриссенден почерпнуть такой запас слов и так искусно скомпоновать их».

За этим следовала самая поэма.

«Хорошо, что ты умер, бедный Брис!» — подумал Мартин, уронив журнал на пол.

Все это было пошло и мерзко до тошноты, но настоящего омерзения Мартин не почувствовал. Ему бы хотелось рассердиться, но на это не хватало энергии. Он словно отупел. Кровь застыла в его жилах и не хотела больше бурлить от возмущения. В конце концов что тут

особенного? Все это вполне в духе буржуазного общества, которое так глубоко ненавидел Бриссенден.

— Бедный Брис! — пробормотал Мартин. — Он никогда бы не простил мне этого!

С усилием поднявшись, Мартин выдвинул ящик, где прежде лежала у него бумага для машинки. Порывшись в нем, он извлек одиннадцать стихотворений, написанных его другом. Он медленно разорвал их одно за другим и бросил в корзинку. Покончив с этим, он опять сел на кровать и невидящим взглядом уставился в пространство.

Сколько времени просидел он так, он сам не знал; наконец, из туманного пространства возникла перед ним длинная яркая белая полоса. Это было очень странно. Но, взглядевшись, Мартин увидел, что это линия прибоя у одного из коралловых рифов Тихого океана. Мгновение спустя он разглядел в белой пене челнок, маленький, утлый челнок. Молодой бронзовокожий бог, опоясанный пурпурной тканью, сидел на корме, погружая в волны сверкающее весло. Мартин узнал его. Это был Моти, младший сын вождя Тами, — стало быть, это происходило у берегов Таити, и за коралловым рифом была чудесная страна Папара, где возле самого устья реки стояла тростниковая хижина вождя.

Наступал вечер, и Моти возвращался с рыбной ловли. Он ждал большой волны, которая перенесла бы его через риф. Мартин увидел и самого себя сидящим в челноке, как он сидел не раз, ожидая сигнала Моти, чтобы бешено заработать веслами, как только встанет над ними бирюзовая громада волны. В следующий миг он уже не был зрителем; он на самом деле сидел в челноке и с ожесточением греб под дикие возгласы Моти. Они пронеслись вперед, среди грохота и шипения, обдаваемые брызгами, и вдруг очутились в тихой, неподвижной лагуне. Моти, смеясь, вытирал глаза, залитые соленой водой, а челнок скользил к коралловому берегу, где среди стройных кокосовых пальм видна была хижина Тами, вся золотая в лучах заходящего солнца.

Но видение вдруг затуманилось, и перед глазами Мартина возник опять беспорядок его тесной каморки. Напрасно силился он снова увидеть Таити. Он знал, что

теперь в пальмовой роще раздаются песни и девушки пляшут при лунном свете. Но он ничего не мог увидеть, кроме стола, заваленного бумагами, и тусклого, давно не мытого окна. Он со стоном закрыл глаза и погрузился в сонное забытие.

Глава сорок первая

Всю ночь он проспал тяжелым сном, а утром его разбудил стук почтальона. Усталый и ко всему безучастный Мартин вскрывал полученные письма. В одном из них, со штампом известного «пиратского» журнала на конверте, оказался чек на двадцать два доллара. Этих денег он добивался почти полтора года. Но теперь он отнесся к получению их совершенно равнодушно. Он уже неспособен был замирать от восторга при виде издательских чеков. Прежде эти чеки казались ему залогом будущих великих успехов, а теперь перед ним лежали просто двадцать два доллара, на которые можно было купить чего-нибудь поесть. Вот и всё.

С этой же почтой пришел еще чек — от одного нью-йоркского журнала за юмористические стишки, принятые уже давно, этот чек был на десять долларов. Мартину пришла в голову одна идея, которую он тут же хладнокровно обдумал. Он не знал, что будет делать дальше, и не испытывал желания что-нибудь делать. А между тем надо было жить, надо было платить долги. Не выгоднее ли всего истратить эти десять долларов на марки и вновь отправить в путешествие всю валявшуюся под столом грудой рукописей? Может быть, одну или две где-нибудь примут. А это даст ему возможность просуществовать. Мартин так и сделал. Получив по чекам в оклендском банке, он купил марок. Но мысль вернуться в свою каморку и приняться за стряпню показалась ему невыносимой. В первый раз он решил пренебречь долгами. Он отлично знал, что дома можно сытно пообедать за пятнадцать — двадцать центов. Но вместо этого отправился в кафе «Форум» и заказал обед, обошедшийся в два доллара. Он дал двадцать пять центов на чай и пятьдесят истратил на египетские папиросы,

Он не курил с тех пор, как Руфь это запретила. Но теперь у него не было никаких причин отказывать себе в удовольствии, а курить очень хотелось. И стоит ли беречь деньги? Конечно, за пять центов он мог купить табак и бумаги на сорок самокруток, но какой в этом смысл? Деньги не имели для него уже никакого значения, кроме того, что на них сейчас, сегодня, можно было что-то купить! Он остался без руля и без компаса, и торопиться ему было некуда. Плывая по течению, он меньше ощущал жизнь, а ощущение жизни причиняло боль.

Дни проходили за днями, похожие один на другой; спал он теперь по восьми часов в ночь. Хотя в ожидании новых чеков он кормился в японских ресторанчиках, где можно поесть за десять центов,— он даже пополнил. Щеки его округлились, потому что он уже не изнурял себя недосыпанием и напряженной работой. Он ничего не писал, его книги мирно отдыхали на полке. Он часто уходил за город на холмы, целые часы проводил в парке. У него не было ни друзей, ни знакомых, да и не хотелось их заводить. К чему? Он безотчетно ожидал какого-нибудь толчка извне, который вновь привел бы в движение его остановившуюся жизнь. А пока существование оставалось томительным, однообразным, пустым и лишенным всякого смысла.

Однажды он вздумал съездить в Сан-Франциско, познакомиться с «настоящими людьми». Но у самых дверей он вдруг круто повернул и торопливо пошел назад по людным улицам гетто. Мысль, что он сейчас услышит философские споры, так испугала его, что он почти бежал, боясь, как бы не повстречался ему кто-нибудь из «настоящих людей» и не признал его.

Иногда он просматривал журналы и газеты, чтобы осведомиться, что пишут об «Эфемериде». Поэма надедала шуму. Но какого шуму! Все прочли, и все спорили о том, поэзия это или нет. Местные газеты были полны ученых статей, иронических рецензий, взволнованных читательских писем — все по поводу этой поэмы. Эллен Делла Дельмар (под звуки труб и бой барабанов провозглашенная величайшей поэтессой Соединенных Штатов) не пожелала освободить для Бриссендена место

рядом с собой на Пегасе и писала многословные письма к читающей публике, доказывая, что он вовсе не поэт.

«Парфенон» в очередном номере самодовольно пожинал плоды поднятого им шума, издевался над сэром Джоном Вэлью и бессовестно использовал смерть Бриссендена в целях рекламы. Одна газета, имевшая будто бы больше полумиллиона подписчиков, напечатала поэму Элен Деллы Дельмар, где высмеивался Бриссенден. Не успокоившись на этом, поэтесса написала еще и пародию на «Эфемериду».

Мартин не раз радовался, что друг его не дожил до всего этого. Он так ненавидел толпу, а теперь этой толпе было брошено на поругание самое для него святое и сокровенное. Сотворенная им красота ежедневно подвергалась вивисекции. Каждый ничтожный шелкопер радовался случаю покрасоваться перед публикой в лучах величия Бриссендена. Одна газета писала: «Мы получили письмо от одного джентльмена, который сообщает, что сочинил в точности такую же поэму, только лучше, уже несколько лет тому назад». Другая газета совершенно серьезно замечала, упрекая Элен Деллу Дельмар за ее пародию: «Мисс Дельмар, написав эту пародию, очевидно, забыла о том, что один великий поэт всегда должен уважать другого, быть может еще более великого. Но несомненно, что даже если мисс Дельмар несколько ревниво относится к успеху «Эфемериды», она, как и все, находится под впечатлением этого произведения, и, быть может, настанет день, когда она сама попробует написать нечто подобное».

Проповедники избрали «Эфемериду» темой для своих проповедей, и один из них, пытавшийся защищать ее, был обвинен в ереси. Великая поэма послужила к увеселению почтеннейшей публики. Поставщики комических стишков и карикатуристы наперебой старались рассмешить читателей, фельетонисты тоже упражняли свое остроумие, рассказывая, как некий Чарли Френшэм по секрету сказал Арчи Дженнингсу, что от пяти строк из «Эфемериды» человек способен прибить калеку, а от десяти — броситься в реку вниз головой.

Мартин не смеялся, но и не скрежетал зубами от ярости. Ему было лишь невыносимо грустно. После того как

рухнул весь его мир, увенчанный любовью, крушение веры в печать и в публику уже не составляло для него катастрофы. Бриссенден был вполне прав в своей оценке журналов, и Мартин зря потратил столько времени, чтобы убедиться в его правоте. Журналы не только подтвердили опасения Бриссендена, они их превзошли. Ну что ж, это конец,— мрачно утешал себя Мартин. Он хотел взлететь в заоблачную высь, а свалился в зловонное болото.

И опять перед ним возникли прекрасные, светлые видения далекого Таити! Вот равнинные Паумоту, вот гористые Маркизские острова. Ему часто казалось, что он стоит на палубе торговой шхуны или на маленьком, хрупком катере, плывущем мимо рифов Папезты или вдоль жемчужных отмелей Нукухивы к бухте Тайохаэ, где, он знал, Тамари заколет кабана в честь его прибытия, а дочери Тамари окружают его со смехом и песнями и украсят цветочными гирляндами. Тихий океан настойчиво звал его, и Мартин знал, что рано или поздно он откликнется на этот зов. А пока он продолжал плыть по течению, отдыхая после своего долгого утомительного путешествия по великому царству знания.

Получив от «Парфенона» чек на триста пятьдесят долларов, Мартин передал его под расписку душеприказчику Бриссендена, и в свою очередь дал ему расписку в том, что остался должен Бриссендену сто долларов.

Однако время японских рестораничков уже кончалось для Мартина. Как раз в тот миг, когда он прекратил борьбу, колесо фортуны повернулось. Но оно повернулось слишком поздно. Без всякого волнения он вскрыл конверт «Миллениума», из которого выпал чек на триста долларов. Это был гонорар за «Приключение». Все долги Мартина, включая и ссуду под заклад со всеми процентами, не достигали и ста долларов. Уплатив их и переслав сто долларов душеприказчику Бриссендена, Мартин оказался обладателем огромной для него суммы в сто долларов. Он заказал себе хороший костюм и начал обедать в лучших кафе города. Жить он продолжал все в той же маленькой комнатке у Марии, но его новый костюм произвел на всех соседей столь сильное впечат-

ление, что мальчишки, сидя на крышах и заборах, уже не решались называть его бродягой и лодырем.

«Вики-Вики», его гавайский рассказ, был куплен «Ежемесячником Уоррена» за двести пятьдесят долларов. «Северное обозрение» напечатало «Колыбель красоты», а «Журнал Макинтоша» принял «Гадалку» — стихотворение, написанное им в честь Мэриен. Редакторы и рецензенты вернулись после летнего отдыха, и рукописи оборачивались необыкновенно быстро. Мартин никак не мог понять, почему все то, что так упорно отвергалось в продолжение двух лет, теперь принималось почти огульно. Ни одна из его вещей еще не успела увидеть света. Он попрежнему никому не был известен за пределами Окленда, а те немногие жители Окленда, которые о нем слыхали, считали его ярым социалистом из «красных». Ничем нельзя было объяснить такую внезапную перемену. Это была просто прихоть судьбы.

После того как несколько журналов подряд отвергли «Позор солнца», Мартин, памятуя совет своего покойного друга, решил предложить его какому-нибудь книгоиздательству. После нескольких неудач рукопись была, наконец, принята к изданию одной из крупнейших фирм — «Синглтри, Дарнлей и К^о». В ответ на просьбу Мартина об авансе издатель написал ему, что это у них не принято, что подобного рода книги обычно не окупаются и вряд ли удастся продать более тысячи экземпляров. Мартин вычислил, что если книга будет продаваться по цене один доллар, то, считая из пятнадцати процентов, он получит сто пятьдесят долларов. После этого он решил, что если бы он еще стал когда-нибудь писать, то писал бы только беллетристику. «Приключение» было в четыре раза короче «Позора солнца», а принесло ему вдвое больше. В конце концов вычитанные им когда-то из газет сведения о писательских гонорарах оказались верными. Первоклассные журналы действительно платили по принятии рукописи, и платили очень хорошо. «Миллениум» заплатил ему даже не по два, а по четыре цента за слово. А кроме того, настоящая литература все-таки находила себе сбыт — ведь купили же его произведения. При этой мысли Мартин печально усмехнулся.

Он написал «Синглтри, Дарнлею и К^о», что согласен продать им «Позор солнца» в полную собственность за сто долларов, но издательство не пожелало рискнуть. Впрочем, Мартин не нуждался в деньгах, так как за последнее время были приняты к печати и оплачены еще пять или шесть его рассказов. Мартин даже открыл в банке текущий счет в несколько сот долларов. «Запоздалый» после недолгого путешествия обрел пристанище в издательстве Мередит-Лоуэл. Вспомнив о своем обещании возвратить Гертруде пять долларов сторичею, Мартин написал в издательство письмо с просьбой выслать аванс в размере пятисот долларов. К его удивлению, чек на эту сумму был немедленно выслан. Мартин разменял его на золото и позвонил Гертруде, что хотел бы повидать ее.

Гертруда пришла запыхавшись, так как очень торопилась. Предчувствуя недоброе, она положила в сумочку весь свой скудный наличный капитал; она была настолько уверена, что с Мартином стряслась беда, что сразу же расплакалась у него на груди и стала совать ему в руку принесенные деньги.

— Я бы сам пришел к тебе,— сказал Мартин,— но я не хотел ругаться с мистером Хиггинботамом! А без этого, наверное, не обошлось бы!

— Ничего, он скоро успокоится,— уверяла его сестра, стараясь угадать, что именно случилось с Мартином.— Но только ты поскорей поступай на службу. Бернард любит, чтобы люди занимались честным трудом. Эта статья в газете его совсем взбесила. Я никогда не видела его в таком остервенении.

— Я не хочу поступать на службу,— с улыбкой сказал ей Мартин,— можешь ему это передать от моего имени. Мне никакая служба не нужна. Вот тебе доказательство.

И он высыпал ей на колени сто сверкающих и звенящих золотых пятидолларовых монет.

— Помнишь, ты мне дала пять долларов, когда у меня не было на трамвай? Вот тебе эти пять долларов и еще девяносто девять братьев, разного возраста, но одинакового достоинства.

Если Гертруда шла к Мартину в тревоге, то теперь ею овладел панический ужас. Этот ужас не оставлял места сомнениям. Она не подозревала, она была уверена. В страхе она смотрела на Мартина, дрожа всем телом, словно эти золотые кружочки жгли ее адским огнем.

— Это все твое! — сказал Мартин со смехом.

Гертруда разразилась громкими рыданиями.

— Бедный мой мальчик! Бедный мой мальчик! — запричитала она.

На мгновение Мартин опешил. Но тут же он понял причину волнения сестры и показал ей письмо книгоиздательства. Гертруда с трудом прочла его, вытерла глаза и, наконец, неуверенно спросила:

— Значит, ты получил эти деньги честным путем?

— Еще бы! Я даже не выиграл их, а заработал.

Ее взгляд понемногу прояснился, и она внимательно перечла письмо. Мартин не без труда объяснил ей, за что он получил такую большую сумму денег. Еще трудней было объяснить, что деньги эти принадлежат ей, что он в них не нуждается.

— Я положу их в банк на твое имя, — решила Гертруда.

— Нет! Если ты не возьмешь их, я отдам их Марии. Она сумеет их использовать. Я требую, чтобы ты наняла служанку и отдохнула как следует.

— Пойду расскажу Бернарду, — сказала Гертруда, вставая.

Мартин слегка нахмурился, но тотчас же рассмеялся.

— Расскажи, Расскажи, — сказал он. — Может быть, теперь он меня пригласит обедать.

— Конечно, пригласит! То есть я просто уверена в этом! — с жаром воскликнула сестра, бросаясь ему на шею.

Глава сорок вторая

Прошло некоторое время, и Мартин затосковал. Он был здоров и силен, а делать ему было решительно нечего. После того как он перестал писать и забросил книги, после смерти Бриссендена и разрыва с Руфью, в

жизни его образовалась зияющая пустота. Напрасно пытался он заполнить эту пустоту ресторанами и египетскими папиросами. Правда, его неодолимо влекли к себе южные моря, но ему все казалось, что здесь, в Соединенных Штатах, игра еще не закончена. Скоро будут напечатаны две его книги, может быть и другие найдут себе издателей. А это означало — деньги; стоило подождать, чтобы отправиться в южные моря с полным мешком золота. Он знал на Маркизских островах одну прелестную долину, которую можно было купить за тысячу чилийских долларов. Долина тянулась от подковообразного залива до высоких гор, вершинами уткнувшихся в облака. Там цвели тропические цветы, в диких зарослях водились куропатки и кабаны, а на горах паслись стада диких коз, преследуемые стаями диких собак. Это был уголок дикой природы. Ни одна человеческая душа не жила там. И все — долину вместе с заливом — можно было купить за тысячу чилийских долларов.

Залив, помнилось ему, был хорошо защищен от ветров и глубоководен, в нем могли стоять большие океанские суда, и Тихоокеанский маршрутный справочник рекомендовал его как лучшую гавань в той части океана. Мартин купит шхуну, быстроходное суденышко типа яхты, и будет заниматься ловлей жемчуга и торговать копррой. В долине будет его база. Там он построит себе тростниковую хижину, вроде той, в которой жил вождь Тами, и наймет к себе на службу черных туземцев. Он будет принимать у себя факторов из Тайохаэ, капитанов торговых судов, контрабандистов и благородных морских бродяг. Он будет жить открыто и по-королевски принимать гостей. И, быть может, там он забудет читанные когда-то книги и мир, который оказался сплошной иллюзией.

Но для этого нужно было сидеть в Калифорнии и ждать, пока мешок наполнится золотом. Деньги уже начали стекаться к нему. Если хотя бы одна книга пойдет, то он легко продаст все свои рукописи. Можно составить сборники из мелких рассказов и стихов, чтобы скорей стали доступными и долина, и залив, и шхуна. Писать он уже больше никогда не будет. Это он решил твердо и бесповоротно. Но пока книги печатаются, надо что-

нибудь придумать. Нельзя жить в таком оцепенении и равнодушии ко всему миру.

Как-то раз он узнал, что в воскресенье должно состояться в Шелл-Моунд-парке гулянье каменщиков, и решил отправиться туда. В прежние годы он часто бывал на подобных гуляньях, отлично знал, что они собой представляют, и теперь, войдя в парк, почувствовал, как давно забытые ощущения проснулись в нем. В конце концов он был своим среди рабочего люда. Он родился и вырос в этой среде и был рад после недолгого отчуждения снова в нее вернуться.

— Да ведь это Март! — услышал он вдруг, и чья-то рука дружески легла ему на плечо. — Где тебя носило, старина? В плаванье ты был, что ли? Ну, садись, разопьем бутылочку!

Тут оказалась вся его старая компания, только кое-где мелькали новые лица да кой-кого из прежних не хватало. К каменщикам они не имели никакого отношения, но, как и встарь, не пропускали ни одного воскресного гулянья, где можно было потанцевать, погалдеть и помериться силами. Мартин выпил с ними и сразу ожил. Дурак он был, что отстал от них! Он твердо верил в эту минуту, что был бы гораздо счастливее, если б не уходил из своей среды, не гнался бы за книжными знаниями и обществом людей, которые считали себя выше него. Однако пиво было не так вкусно, как в былые годы! Вкус был совсем не тот. Видно, Бриссенден отучил его от простого пива; может быть, книги отучили его от дружбы с веселыми товарищами его юности? Решив доказать самому себе, что это не так, он отправился танцевать в павильон. Тут он наткнулся на жильца своей сестры, Джимми, в обществе какой-то высокой блондинки, которая не замедлила оказать предпочтение Мартину.

— А с ним всегда так! — сказал Джим в ответ на поддразнивания приятелей, когда Мартин и блондинка завертелись в вальсе. — Я даже и не сержусь. Уж очень рад опять его повидать! Ну и ловко же он танцует, черт его побери! Тут никакая девчонка не устоит!

Но Мартин честно возвратил блондинку Джимми, и все трое продолжали хохотать и веселиться вместе с полдюжиной друзей. Все были рады возвращению Мартина.

Еще ни одна его книга не вышла в свет, и, стало быть, он еще не имел в их глазах никакой ложной ценности. Они любили его ради него самого. Он чувствовал себя, как принц, вернувшийся из изгнания, и его одинокое сердце отогревалось среди этого искреннего и непосредственного веселья. Он разошелся вовсю. В карманах у него звенели доллары, и он тратил их щедрой рукой — совсем как в прежние времена, вернувшись из плавания.

Вдруг среди танцующих Мартин заметил Лиззи Конолли: она кружилась в объятьях какого-то рабочего парня. Несколько позже, бродя по павильону, он увидел ее за столиком, где пили прохладительные напитки, и подошел. Лиззи Конолли очень удивилась и обрадовалась встрече. После первых приветствий они пошли в парк, где можно было говорить, не стараясь перекричать музыку. С первой же минуты стало ясно, что она вся в его власти, и Мартин понял это. Об этом можно было судить и по влажному блеску ее глаз, и по горделивой покорности движений, и по тому, как жадно ловила она каждое его слово. Это уже не была та молоденькая девочка, которую он когда-то повстречал в театре. Лиззи Конолли стала женщиной, и Мартин сразу отметил, как расцвела ее живая, задорная красота; живость была все та же, но задор она, видимо, научилась умерять.

— Красавица, настоящая красавица, — прошептал Мартин с невольным восхищением. И он знал, что стоит ему только позвать — и она пойдет с ним хоть на край света.

В этот самый миг он получил вдруг такой удар по голове, что едва устоял на месте. Удар был нанесен кулаком, и человек, нанесший его, целил, должно быть, в челюсть, но в спешке и ярости промахнулся. Мартин повернулся в то мгновение, когда нападавший уже занес кулак для второго удара. Он ловко уклонился, удар не попал в цель, и Мартин контрударом сшиб противника с ног. Но тот сейчас же вскочил. Мартин увидел перед собой перекошенное от бешенства лицо и удивился — чем он мог так рассердить этого человека. Однако удивление не помешало ему снова отразить атаку и сильным ударом свалить нападавшего на землю. Джим и другие уже бежали к месту драки.

Мартин весь дрожал. Вернулись былые счастливые дни: танцы, веселье, драки! Не теряя из виду своего неожиданного противника, он кинул быстрый взгляд на Лиззи Конолли. Обычно девушки визжали, когда происходили подобные схватки, но она не завизжала. Она смотрела, затаив дыхание, наклонившись вперед всем телом, прижав руку к груди, щеки ее горели и в глазах светилось восхищение.

Человек, напавший на Мартина, между тем вскочил на ноги и старался вырваться из рук Джима и его приятелей.

— Она дожидалась меня! — кричал он гневно. — Она дожидалась меня, а этот нахал увел ее! Пустите! Я покажу ему, где раки зимуют!

— Да ты спятил! — говорил Джимми, удерживая юношу. — Ведь это же Март Иден! Ты лучше с ним не связывайся. Он тебе так всыплет, что от тебя мокрое место останется.

— А зачем он увел ее? — кричал тот.

— Он побил Летучего Голландца, а ты помнишь, что это был за парень! И он побил его на пятом раунде! Ты и минуты не выстоишь против него. Понял?

Это сообщение, повидимому, немного утихомирило парня; он смерил Мартина внимательным взглядом и произнес, все еще хорохорясь, но уже без прежней запальчивости:

— Что-то не верится.

— Вот и Летучему Голландцу не верилось, — возразил Джимми. — Пойдем! Брось это дело! Что, других девчонок здесь нет, что ли?

Тот, наконец, послушался, и вся компания двинулась по направлению к павильону.

— Кто это? — спросил Мартин у Лиззи. — И чего он разбушевался?

Пыл драки уже остывал в нем, не в пример прежним дням, и он с грустью убеждался, что привычка к самоанализу лишила его первобытной непосредственности чувств и мыслей.

Лиззи тряхнула головой.

— Да так, один парень, — сказала она, — я с ним гуляла последнее время.

Помолчав немного, она прибавила:

— Просто мне скучно было... но я никогда не забывала...— Она понизила голос и устремила взгляд в пространство.— Я бы на него и не взглянула при вас!..

Мартин смотрел на нее и понимал, что ему сейчас только стоит протянуть руку; но, слушая ее простые слова, он задумался над вопросом, нужно ли придавать такое большое значение изысканной книжной речи, и... забыл ей ответить.

— Вы здорово отделали его,— сказала она со смехом.

— Он парень крепкий,— великодушно возразил Мартин.— Если бы его не увели, мне бы, пожалуй, пришлось с ним повозиться.

— Кто была та молодая дама, с которой я вас встретила? —спросила вдруг Лиззи.

— Так, одна знакомая,— ответил он.

— Давно это было,— задумчиво произнесла девушка,— как будто тысячу лет тому назад!

Мартин ничего не ответил и переменил тему разговора. Они пошли в ресторан, Мартин заказал вина и дорогих закусок, потом он танцевал с ней, только с ней, до тех пор, пока она, наконец, не устала. Мартин был прекрасный танцор, и девушка кружилась с ним, не чуя под собой ног от блаженства; она склонила голову к нему на плечо, и ей хотелось, чтобы так продолжалось вечно. Потом они пошли снова в парк, где, по старому добросму обычаю, она села на траву, а Мартин лег и положил голову ей на колени. Он скоро задремал, а она нежно поглаживала его волосы, всей душой отдаваясь охватившему ее чувству.

Мартин вдруг открыл глаза и прочел в ее взгляде нежное признание. Она было смутилась, но тотчас оправилась и посмотрела на него решительно и смело.

— Я ждала все эти годы,— сказала она чуть слышно.

И Мартин почувствовал, что это правда, удивительная, чудесная правда. Великое искушение овладело им; в его власти было сделать эту девушку счастливой. Если самому ему не суждено счастье, почему не дать счастье другому человеку? Он мог бы жениться на ней и увезти ее с собою на Маркизские острова. Ему очень хотелось

поддаться искушению, но какой-то внутренний голос приказывал не делать этого. Наперекор самому себе, он остался верен своей любви. Дни вольностей и легкомыслия миновали. Вернуть их было невозможно. Он изменился и только сейчас понял, насколько он изменился.

— Я не гожусь в мужья, Лиззи,— сказал он улыбаясь.

Ее рука на мгновение остановилась, но потом снова стала нежно перебирать его волосы. Мартин заметил, что ее лицо вдруг приняло суровое, решительное выражение, которое, впрочем, быстро исчезло, и опять щеки ее нежно зарумянились, а глаза смотрели мягко и ласково.

— Я не хотела сказать...— начала она и запнулась.— Во всяком случае мне это все равно. Да, да, мне все равно,— повторила она.— Я горжусь вашей дружбой. Я на все готова для вас. Такая уж я, верно, уродилась.

Мартин сел. Он взял ее руку и тепло пожал ее, но в его пожатии не было страсти,—от этого тепла на Лиззи повеяло холодом.

— Не будем говорить об этом,— сказала она.

— Вы хорошая, благородная девушка,— произнес Мартин,— это я должен гордиться вашей дружбой. Я и горжусь, да, да! Вы для меня точно луч света в темном и мрачном мире, и я буду с вами так же честен, как и вы были со мной.

— Мне все равно, честны вы со мной или нет. Вы можете делать со мной все, что хотите. Вы можете швырнуть меня в грязь и растоптать, если хотите. Но это можете только вы,— сказала она, гордо вскинув голову,— недаром я с детских лет привыкла сама собой распоряжаться!

— Вот потому-то я и должен быть честен с вами,— ласково сказал он.— Вы такая славная и благородная, что и я должен поступить с вами благородно. Я не могу жениться и не могу... ну да, и я не могу любить просто так, хотя прежде это со мной бывало. Я очень жалею, что повстречал вас сегодня. Но теперь ничего не поделаешь. Не думал я, что это все так получится. Я ведь к вам очень хорошо отношусь, Лиззи, вы даже не представляете, как хорошо. Больше того, я восхищаюсь и

преклоняюсь перед вами. Вы замечательная, поистине замечательная девушка! Но что пользы говорить вам об этом? Мне бы хотелось сделать только одно. Ваша жизнь была тяжела. Позвольте мне облегчить ее! — Радостный блеск вспыхнул в ее глазах и тотчас же угас. — Я скоро получу много денег! Очень много!

И в этот миг он забыл и о долине, и о заливе, и о тростниковой хижине, и о белой яхте. В конце концов к чему все это? Ведь он отлично может отправиться в плавание на любом судне и куда ему вздумается.

— Мне бы хотелось отдать эти деньги вам. Вы можете поступить на курсы, изучить какую-нибудь профессию. Можете стать стенографисткой. Я помогу вам в этом. А может быть, у вас еще живы родители? Я бы мог, например, купить им бакалейную лавку. Скажите только, чего вы хотите, и я все для вас сделаю.

Лиззи сидела неподвижно, глядя перед собой сухими глазами, и ничего не отвечала. Какой-то ком в горле мешал ей дышать, и Мартин вдруг так ясно почувствовал это, что у него самого болезненно сдавило горло. Не надо было заводить этот разговор. То, что он предлагал ей, было так ничтожно в сравнении с тем, что она готова была отдать ему. Он предлагал ей то, что у него было лишним, без чего он мог обойтись, — а она отдавала ему всю себя, не боясь ни позора, ни греха, ни вечных мук.

— Не будем говорить об этом, — сказала она и кашлянула, словно стараясь освободиться от этого мешавшего ей комка в горле. — Пора идти! Я устала!

Гулянье кончилось, и почти вся публика уже разошлась. Но когда Мартин и Лиззи вышли из-за деревьев, то они увидели поджидавшую их кучку людей. Мартин сразу понял, в чем дело. Готовилась потасовка. Это были их телохранители. Все вместе они пошли к воротам парка, а в некотором отдалении двигалась туда же другая компания — это незадачливый поклонник Лиззи, готовясь отомстить за обиду, уже успел собрать своих сторонников. Несколько полисменов, предвидя столкновение, проводили обе компании до поезда, идущего в Сан-Франциско. Мартин предупредил Джимми, что выйдет на остановке Шестнадцатой улицы и сядет в оклендский

трамвай. Лиззи относилась безучастно ко всему происходящему.

Поезд остановился у Шестнадцатой улицы. Кондуктор трамвая, дожидавшегося на остановке, нетерпеливо бил в гонг.

— Ну, бери ее и давай ходу! — крикнул Джимми. — Живо! Катись! А мы их тут задержим.

Враждебная партия была в первую минуту смущена этим маневром, но, тотчас выскочив из вагона, пустилась вдогонку убежавшим.

Сидевшие уже в трамвае пассажиры не обратили особого внимания на молодого человека и девушку, которые быстро подбежали к трамваю и заняли два свободных места в углу. Никто не подозревал, что эта парочка имела какое-то отношение к Джимми, который, вскочив на ступеньку, закричал вагоновожатому:

— Давай, давай, приятель, жарь всюю!

В следующий момент Джимми уже отбивался кулаками от первого преследователя, пытавшегося вскочить в трамвай. Кулаки заработали вдоль всего трамвая: товарищи Джимми заняли длинную ступеньку открытого вагона и геройски отбивали атаку. Трамвай тронулся под громкие удары гонга, и друзья Джимми соскочили со ступеньки. Поле сражения осталось далеко позади, а пассажирам даже в голову не приходило, что сидевшие в уголке элегантный молодой человек и хорошенькая работница были причиной происшедшего скандала.

Битва взволновала Мартина, в нем проснулся былой воинственный задор. Но вскоре им снова овладела привычная тоска. Он был стар, на целые века старше этих беззаботных сподвижников его юности. Слишком большой путь он прошел, и о возвращении назад нельзя было и думать. Его уже не привлекал тот образ жизни, который он некогда вел. Прежние друзья стали ему чужими. Их жизнь была ему противна, как вкус дешевого пива, от которого он отвык. Он слишком далеко ушел. Тысячи прочитанных книг, как стена, разделяли их. Он сам обрек себя на изгнание. Его увлекло путешествие по безграничным просторам разума, откуда уже не было возврата к тому, что осталось позади. Однако человеком он не перестал быть, и его попрежнему тянуло к человеческому

обществу. Но он пока еще не обрел новой родины. Ни друзья, ни родные, ни новые знакомые из буржуазного круга, ни даже эта девушка, которую он высоко ценил и уважал, не могли понять его. Он думал об этом с грустью и с горечью.

— Помирись с ним, — посоветовал Мартин на прощанье Лиззи, проводив ее до рабочего квартала, где она жила, между Шестой и Маркет-стрит.

Он имел в виду того молодого парня, чье место он сегодня невольно занял.

— Не могу... теперь, — отвечала она.

— Пустяки! — весело вскричал он. — Вам стоит только свистнуть, и он прибежит.

— Не в этом дело, — просто сказала она.

И Мартин прекрасно понял, что хотела она сказать.

Лиззи вдруг потянулась к нему. В этом движении не было ничего властного и вызывающего. Оно было робко и смиренно. Мартин был тронут до глубины души. Природная доброта заговорила в нем. Он обнял ее и крепко поцеловал, и не было в мире поцелуя чище и целомудреннее, чем тот, которым ответили ее губы.

— Боже мой, — всхлипнула она. — Я с радостью умерла бы за вас!.. Умерла бы за вас!

Она вдруг вырвалась от него и исчезла в воротах. Слезы выступили у него на глазах.

— Мартин Иден, — пробормотал он, — ты не зверь и ты никудашный ницшеанец. Ты бы должен жениться на ней и дать ей то счастье, к которому она так рвется. Но ты не можешь. И это стыд и позор! «Старик бродяга жалуется горько», — пробормотал он, вспоминая Гэнли: — «Вся наша жизнь — ошибка и позор!» Да, наша жизнь — ошибка и позор!

Глава сорок третья

«Позор солнца» вышел в октябре. Когда Мартин вскрывал почтовую бандероль с шестью авторскими экземплярами, присланными ему издателем, на душе у него было тяжело и грустно. Он думал о том, какой огром-

ной радостью явилось бы это для него несколько месяцев назад и как не похоже на эту радость холодное равнодушие, которое он испытывал сейчас. Его книга, его первая книга, лежала перед ним на столе, а сердце его билось ровно и он не чувствовал ничего, кроме тоски. Теперь это уже не имело значения. В лучшем случае это означало, что он получит деньги, но зачем ему теперь деньги?..

Взяв один экземпляр, он вышел на кухню и преподнес его Марии.

— Эту книгу сочинил я, — объяснил он, видя ее изумление. — Я написал ее вот в этой каморке и думаю, что ваш суп сыграл тут немаловажную роль. Возьмите ее и сохраните. Будете смотреть на нее и вспоминать меня.

У Мартина и в мыслях не было хвастаться перед Марией. Ему просто хотелось доставить ей удовольствие, оправдать ее долголетнюю веру в него. Мария положила книгу в гостиной рядом с семейной библией. Эта книга, написанная ее жильцом, была для нее священной реликвией, фетишем дружбы. Теперь Мария примирилась даже с тем, что Мартин прежде был простым рабочим в прачечной. Хотя она не могла понять в книге ни одной строчки, она была твердо убеждена, что каждая строчка в ней замечательна. Эта простая, неискушенная, привыкшая к тяжелому труду женщина обладала одной драгоценной способностью — верить.

Так же равнодушно, как и к авторским экземплярам, относился Мартин к отзывам, которые ему каждую неделю присылали из бюро вырезок. Книга наделала шуму, это было очевидно. Ну что ж, значит, его мешок с золотом наполнится быстрее. Можно будет устроить Лиззи, исполнить все обещания и поселиться, наконец, в тростниковом дворце.

Издательство «Синглтри, Дарнлей и К^о» из осторожности напечатало всего тысячу пятьсот экземпляров, но первые же рецензии побудили его выпустить второе издание — в три тысячи; а вскоре последовало и третье, уже в пять тысяч. Одна лондонская фирма начала переговоры об английском издании, а из Франции, Германии и Скандинавских стран приходили запросы об условиях пере-

вода. Нападение на школу Метерлинка оказалось как нельзя более своевременным. Началась ожесточенная полемика. Салиби и Геккель поддерживали и защищали «Позор солнца», впервые оказавшись единомышленниками. Крукс и Уоллес выступили против, а сэр Оливер Лодж пытался найти компромисс в пользу собственной космической философии. Сторонники Метерлинка сплотились под знаменем мистицизма. Честертон заставил смеяться весь мир серией статей, якобы беспристрастно трактовавших модную тему, а Бернард Шоу обрушил на все это лавину своего остроумия, которая едва не погребла под собой и споривших и самый предмет спора. Нечего и говорить, что, кроме этих великих светил, на сцену выступили и менее крупные звезды,— словом, шум принял грандиозные размеры.

«Это совершенно небывалое событие,— писала Мартину фирма «Синглтри, Дарнлей и К^о»,— критико-философская книга расходится, как роман. Трудно было удачнее выбрать тему, а к тому же успеху способствует необычайно благоприятное стечение внешних обстоятельств. Можете быть уверены, что мы стараемся как можно лучше использовать момент. В Соединенных Штатах и Канаде разошлось сорок тысяч экземпляров вашей книги, и в настоящее время уже печатается новое издание, с тиражом в двадцать тысяч. Мы едва успеваем удовлетворить спрос. Но, с другой стороны, мы не мало способствовали увеличению этого спроса. Мы уже истратили на рекламу более пяти тысяч долларов. Книга эта побьет все рекорды.

При сем имеем честь препроводить проект договора на вашу следующую книгу. Заметьте, что мы увеличили ваш гонорар до двадцати процентов,— это высшая ставка, возможная для такой солидной фирмы, как наша. Если вы находите условия подходящими, благоволиτε проставить на бланке договора заглавие книги. Мы не выдвигаем никаких условий относительно ее содержания. Любая книга, на любую тему. Если у вас есть уже что-либо готовое, тем лучше. Не следует медлить. «Куй железо, пока горячо».

Тотчас же по получении подписанного вами договора вам будет выслан аванс в размере пяти тысяч долларов. Как видите, мы верим в вас и не боимся риска. Может быть, мы договорились бы с вами относительно исключительного права издания всех ваших сочинений на известный срок — ну, скажем, на десять лет. Впрочем, к этому вопросу мы еще вернемся».

Отложив письмо, Мартин занялся арифметикой и, помножив пятнадцать центов на шестьдесят тысяч, получил результат — девять тысяч долларов. Он подписал договор, проставив заглавие новой книги — «Дым радости», и отправил его издателю вместе с двадцатью небольшими рассказами, написанными еще до того, как он нашел рецепт написания газетных фельетонов. И со всей быстротой, на которую только способна американская почта, явился чек на пять тысяч долларов.

— Я бы хотел, чтобы вы сегодня пошли со мною в город, Мария, часа в два, — сказал Мартин, получив чек, — или лучше так: встретимся с вами ровно в два часа на углу Четырнадцатой улицы и Бродвея.

Мария явилась в назначенное время; она была очень заинтересована, но ее догадки дальше новых башмаков не шли. Поэтому она испытала даже некоторое разочарование, когда Мартин, миновав обувной магазин, привел ее в какую-то контору.

То, что случилось потом, навсегда осталось у нее в памяти, как чудесный сон. Элегантные джентльмены, ласково улыбаясь ей, беседовали с Мартином и друг с другом. Стучала машинка. Была подписана какая-то важная на вид бумага. Тут же был и домохозяин Марии, и он тоже поставил свою подпись.

Когда они вышли на улицу, домохозяин сказал ей:

— Ну, Мария, в этом месяце вам уж не придется платить мне семь с половиной долларов.

Мария онемела от удивления.

— Да и в следующие месяцы тоже, — продолжал он.

Мария стала благодарить его, как за милость. И только вернувшись домой и потолковав с соседями, в первую очередь с лавочником португальцем, она поняла, что этот маленький домик, в котором она прожила столько лет, платя за наем, отныне стал ее собственностью.

— Почему вы теперь ничего не покупаете у меня? — дружелюбно окликнул португалец Мартина, когда тот, сойдя с трамвая, шел домой.

Мартин объяснил ему, что он уже не стряпает сам, и тогда лавочник пригласил его распить с ним бутылку вина. Он угостил его самым лучшим вином, какое только нашлось в лавке.

— Мария, — объявил Мартин в тот же вечер, — я уезжаю от вас. Да вы и сами скоро отсюда уедете. Можете теперь сдать кому-нибудь дом и получать за него помесечную плату. У вас, кажется, есть брат в Сан-Леандро или Хэйуордсе, который занимается молочным хозяйством? Так вот, верните клиентам белье нестираным — понимаете? нестираным! — и поезжайте в Сан-Леандро или в Хэйуордс, — одним словом, к вашему брату... Скажите ему, что мне надо поговорить с ним. Я буду жить в Окленде, в «Метрополе». Может быть, у него есть на примете подходящая молочная ферма.

И вот Мария сделалась домовладелицей и хозяйкой фермы; у нее было два работника, исполнявшие тяжелую работу, а ее текущий счет в банке все возрастал, несмотря на то, что все ее дети были теперь обуты и ходили в школу. Редко кому удастся встретить в жизни сказочного принца. Но Мария, отупевшая от тяжелой работы и никогда не мечтавшая ни о каких принцах, встретила такого принца в лице бывшего рабочего из прачечной.

Между тем кругом начали интересоваться, кто же такой этот Мартин Иден? Он отказался дать издателям биографические сведения о себе, но от газет было не так-то легко отделаться. Он был уроженцем Окленда, и репортеры разыскивали достаточно людей, знавших Мартина Идена с детства. Таким образом, в газетах появились подробные описания, кем он был и кем он не был, чем он занимался и чем не занимался. Все это было иллюстрировано рисунками и фотографиями — нашелся предприимчивый фотограф, у которого Мартин когда-то снимался, и теперь он довольно бойко вел торговлю его карточками. Сначала Мартин боролся со всей этой шумихой, так как в нем еще сильна была неприязнь к журналам и к буржуазному обществу. Но в конце концов он примирился,

потому что это было менее хлопотливо. Ему неловко было отказывать в интервью специально приехавшим издалека корреспондентам. Кроме того, с тех пор как он перестал писать и забросил книги, дни стали тянуться невыносимо медленно и надо было чем-нибудь заполнить время. Поэтому он разрешил себе эту маленькую прихоть: беседовал с журналистами, излагал свои литературные и философские взгляды и даже принимал приглашения в богатые буржуазные дома. Он обрел вдруг необычайное спокойствие. Ничто не трогало его. Он простил всем и все — простил даже молодому репортеру, некогда изобразившему его в виде опасного социалиста, и дал ему интервью на целую страницу с приложением фотографического снимка.

Время от времени Мартин виделся с Лиззи, и ясно было, что она жалеет о его возвеличении. Пропасть между ними теперь стала еще больше. Может быть, в надежде перебросить мост через эту пропасть, Лиззи согласилась на его уговоры, стала посещать вечернюю школу и курсы стенографии и сшила платье у лучшей портнихи, содравшей огромные деньги. Ее быстрые успехи заставили, наконец, Мартина призадуматься над тем, правильно ли он поступает. Он знал, что все, что делала Лиззи, она делала ради него. Ей хотелось подняться в его глазах, приобрести те качества, которые, как ей казалось, он особенно ценит. А он между тем не давал ей никакой надежды, виделся с ней редко и обращался всегда только как брат с сестрой.

«Запоздалый» был выпущен издательством Мередит-Лоуэл, когда Мартин находился в зените славы, а так как это была беллетристика, то повесть имела еще больший успех, чем «Позор солнца». По спросу на книжном рынке обе книги Мартина все время занимали первое место — факт почти небывалый. И любители занимательного чтения и серьезные читатели, поклонники «Позора солнца», зачитывались повестью, восхищались ее силою и необычайным мастерством автора. Мартин Иден только что с успехом атаковал мистицизм теоретически; а теперь он и на практике доказал, что такое настоящая литература. В нем, таким образом, счастливо сочетался гений критический с гением художественным.

Деньги так и текли к нему, слава его росла непомерно, но все это скорее забавляло его, нежели радовало. Один ничтожный факт привел его в полное недоумение, и факт этот, наверное, немало удивил бы весь мир. Впрочем, мир удивился бы не самому факту, а скорее тому, что он привел Мартина в недоумение... Судья Блоунт пригласил Мартина к себе обедать! Это событие, само по себе ничтожное, должно было вскоре приобрести для Мартина огромное значение. Ведь он оскорбил судью Блоунта, разговаривал с ним непозволительным образом, а теперь судья Блоунт, встретившись с ним на улице, пригласил его обедать. Мартин вспомнил, как часто встречался он с судьей в доме Морзов и судья никогда и не думал приглашать его обедать. «Почему же он тогда не приглашал меня?» — спрашивал себя Мартин. Ведь он ничуть не изменился. Он все тот же Мартин Иден. В чем же дело? Только в том, что его произведения теперь напечатаны? Но ведь написал он их еще тогда. С тех пор он ничего не написал. Все лучшее из созданного им было создано именно тогда, когда судья Блоунт, присоединяясь к общему мнению, высмеивал его взгляды и его увлечение Спенсером. Итак, судья Блоунт пригласил его не ради настоящих его заслуг, а ради того, что было в сущности только их отражением.

Мартин с улыбкой принял приглашение, сам изумляясь своей сговорчивости. За обедом, где присутствовало шесть или семь важных особ с женами и дочерьми, Мартин сразу же почувствовал себя центром внимания. Судья Блоунт, горячо поддерживаемый судьей Хэнуэллом, просил у Мартина разрешения записать его в члены своего клуба «Стикс», доступ в который был открыт только людям не просто богатым, но чем-либо выдающимся.

Мартин еще больше удивился, но предложение отклонил.

Он попрежнему был занят распределением своих рукописей. Издатели положительно осаждали его письмами. Все единогласно решили, что он превосходный стилист и что под красотой формы у него скрывается богатое содержание. «Северное обозрение», напечатав «Колыбель красоты», обратилось к нему с просьбой прислать еще несколько подобных же статей, и Мартин собирался уже

исполнить эту просьбу, переворошив свой запас, как вдруг «Журнал Бэртона», войдя в азарт, предложил напечатать пять его статей с оплатой по пятьсот долларов за каждую.

Мартин написал, что согласен, но не по пятьсот, а по тысяче. Он очень хорошо помнил, что все эти рукописи были в свое время отвергнуты теми самыми журналами, которые теперь спорили из-за них. Он помнил их равнодушные, стандартные отказы. Они немало помучили его, и теперь ему хотелось помучить их. «Журнал Бэртона» уплатил ему назначенную цену за пять статей, а оставшиеся четыре были подхвачены на тех же условиях «Ежемесячником Макинтоша». «Северное обозрение» было слишком бедно и не могло тягаться с ними. Так увидели свет: «Жрецы чудесного», «Мечтатели», «Мерило нашего «я», «Философия иллюзий», «Бог и зверь», «Искусство и биология», «Критики и пробирки», «Звездная пыль», «Сила ростовщичества». Все эти вещи вызвали шум, долго не стихавший.

Издатели просили Мартина самого назначать условия, что он охотно делал. Но печатал он только то, что было уже раньше написано. От всякой новой работы он категорически отказывался. Мысль снова взяться за перо казалась ему невыносимой. Он слишком хорошо помнил, как толпа растерзала Бриссендена, и он продолжал презирать и ненавидеть толпу, хотя она ему и рукоплескала. Свою популярность Мартин считал оскорблением памяти Бриссендена. Он морщился, но не отступал, твердо решив наполнить свой мешок золотом.

Неоднократно приходилось Мартину получать от издателей письма такого содержания:

«Около года тому назад мы имели несчастье отказаться от цикла ваших лирических стихотворений. Они и тогда произвели на нас огромное впечатление, но некоторые обстоятельства помешали нам в то время их использовать. Если стихи эти еще не напечатаны и вы будете настолько добры, что согласитесь прислать их нам, то мы немедленно напечатаем весь цикл, уплатив вам гонорар, который вы сами сообразоволи назначить. Мы согласны были бы издать их и отдельной книгой на выгоднейших для вас условиях».

Мартин вспомнил про свою стихотворную трагедию и послал ее вместо стихов. Перечитав это произведение перед отправкой, он сам был поражен его слабостью и напыщенностью. Однако он все-таки послал трагедию, а журнал напечатал, в чем потом немало раскаивался. Публика была возмущена и отказывалась верить, что прославленный Мартин Иден написал такую чушь. Стали кричать, что это грубая подделка или же Мартин Иден, подражая Дюма-отцу, поручает другим писать за себя. Но когда Мартин разъяснил, что произведение это было, что называется, грехом его литературной юности и появилось в печати только потому, что к нему уж очень приставали, поднялся общий хохот, и журналу пришлось переменить редактора. Трагедия так и не вышла отдельным изданием, но Мартин Иден, без всякого сострадания к издателю, оставил у себя полученный аванс.

«Еженедельник Колмэна» прислал Мартину длиннейшую телеграмму, стоившую по меньшей мере триста долларов, предлагая написать двадцать очерков, по тысяче долларов за каждый. Для этого Мартин должен был за счет издательства совершить путешествие по Соединенным Штатам и выбрать темы, которые покажутся ему интересными. В телеграмме было перечислено несколько примерных тем, чтобы показать наглядно, насколько широки и разнообразны замыслы издательства. Единственное условие, которое ставилось Мартину,—писать на материале Соединенных Штатов.

Мартин в телеграмме, посланной наложенным платежом, выразил свое глубокое сожаление, что не может воспользоваться этим лестным предложением.

Повесть «Вики-Вики», напечатанная в «Ежемесячнике Уоррена», имела необычайный успех. Выпущенная вскоре отдельным роскошным изданием, она разошлась чуть ли не в несколько дней. Все критики единогласно признали, что это произведение может стать в ряд с такими классическими шедеврами, как «Дух в бутылке» и «Шагреновая кожа».

Однако сборник «Дым радости» был встречен с некоторым недоумением и даже холодком. Буржуазное общество было шокировано слишком смелой моралью и полным пренебрежением к предрассудкам. Но когда в Па-

риже был выпущен французский перевод книги, имевший небывалый успех, то Англия и Америка тоже набросились на сборник, и Мартин потребовал с издательства «Синглтри, Дарнлей и К^о» за третью книгу двадцать пять, а за четвертую — тридцать процентов. В эти две книги вошли все рассказы Мартина, напечатанные в различных журналах. «Колокольный звон» и все «страшные» рассказы составили первый том. Во второй том вошли: «Приключение», «Котел», «Вино жизни», «Водоворот», «Веселая улица» и еще несколько рассказов. Кроме того, вышел сборник всех его статей, а также том стихотворений, куда вошли «Песни моря» и «Сонеты о любви», — последние были предварительно напечатаны в «Спутнике женщин», заплатившем Мартину неслыханный гонорар.

Мартин вздохнул с облегчением, когда последняя рукопись была, наконец, пристроена. И тростниковый дворец и белая шхуна были теперь совсем близко. В конце концов он все-таки опроверг мнение Бриссендена, что ни одно истинно художественное произведение не попадает в журналы. Его собственный пример блестяще доказал, что Бриссенден ошибался. И все-таки втайне Мартин чувствовал, что друг его был прав. Ведь главной причиной всех его успехов был «Позор солнца», все остальное пошло в ход чисто случайно. Ведь эти самые вещи много лет подряд отвергались всеми журналами. Но появление «Позора солнца» вызвало сильнейший шум и оживленную полемику, что и создало ему имя. Не появившись «Позор солнца», не возникла бы полемика, а успех книги был, в сущности говоря, лишь чудом. Это признавали даже Синглтри, Дарнлей и К^о. Они не решились на первый раз выпустить больше тысячи пятисот экземпляров; опытные издатели, они сами были изумлены успехом книги. Им этот успех действительно казался чудом. Они и впоследствии не могли отделаться от этого ощущения, и в каждом их письме чувствовалось благоговейное удивление перед таинственной, ничем не объяснимой удачей. Они и не пытались объяснить ее себе. Объяснения тут быть не могло. Уж так случилось, вот и все. Случилось вопреки всем вероятностям и расчетам.

Думая обо всем этом, Мартин не слишком высоко ценил свою популярность. Книжки его читала буржуазия, и это она набивала его мешок золотом, а зная буржуазию, Мартин не понимал, что может ее привлекать в его произведениях. Для тех сотен тысяч, которые прославляли его и нарасхват покупали его книги, их красота и их смысл не имели решительно никакой ценности. Он был просто баловнем судьбы, выскочкой, который вторгся на Парнас, воспользовавшись тем, что боги зазевались. Эти сотни тысяч читают его и восхищаются им с тем же скотским непониманием, с каким они накинулись на «Эфемериду» Бриссендена и растерзали ее в клочки,— подлая стая волков, которые перед одним виляют хвостом, а другому вонзают клыки в горло. Все дело случая! Мартин попрежнему был твердо уверен, что «Эфемерида» неизмеримо выше всего им созданного. Она была выше всего того, что он мог создать,— это была поэма, делающая эпоху. Так многого ли стоило преклонение толпы, той самой толпы, которая еще так недавно втоптала в грязь «Эфемериду»? Мартин вздохнул с облегчением и удовлетворением. Последняя рукопись продана, и скоро можно будет покончить со всем этим.

Глава сорок четвертая

Мистер Морз повстречался с Мартином в вестибюле гостиницы «Метрополь». Случайно ли он пришел туда, или он втайне надеялся встретить Мартина Идена,— Мартин склонялся в пользу второго предположения,— но, как бы то ни было, мистер Морз пригласил его обедать — мистер Морз, отец Руфи, который отказал ему от дома и расстроил его помолвку!

Мартин не рассердился. Он даже не почувствовал себя задетым. Он терпеливо выслушал мистера Морза, думая о том, что не сладко, должно быть, идти на такое унижение. Он не отклонил приглашения, но ограничился тем, что поблагодарил довольно неопределенно и справился о здоровье всей семьи, в первую очередь миссис Морз и Руфи. Мартин произнес это имя спокойно, без

запинки и втайне изумился, что кровь не бросилась ему в голову, а сердце не забилося быстрее.

Приглашения к обеду сыпались со всех сторон. Искали случая познакомиться с Мартином только для того, чтобы пригласить его к обеду. И Мартин продолжал недоумевать по поводу этого ничтожного обстоятельства, которое постепенно приобретало для него огромное значение. Даже Бернард Хиггинботам вдруг пригласил его. Это озадачило его еще больше. Он думал о том, что в то время, когда он едва не умирал с голоду, никто не приглашал его обедать. А тогда ему так пригодилось бы такое приглашение, ведь он с каждым днем худел, бледнел, терял последние силы от голода! Тут был какой-то глупейший парадокс. Когда он неделями сидел без обеда, никому в голову не приходило приглашать его, а теперь, когда у него хватило бы денег на сто тысяч обедов и к тому же он вовсе утратил аппетит,—его звали обедать направо и налево. Почему? Это было несправедливо, не заслужено им. Он был все тот же. Все его произведения были написаны давным-давно, в те голодные дни, когда мистер и миссис Морз называли его лентяем и бездельником и через Руфь предлагали ему поступить клерком в контору. А ведь они и тогда знали о его работе. Руфь показывала им каждую рукопись, которую он давал ей читать. И они сами читали эти рукописи. А теперь благодаря тем же самым произведениям его имя попало в газеты, и благодаря тому, что его имя попало в газеты, он стал для них желанным гостем.

Одно было совершенно очевидно: Морзам не было никакого дела ни до самого Мартина Идена, ни до его творчества. И если они искали его общества, то не ради него самого и не ради его произведений, а ради славы, которая теперь окружила ореолом его имя,—а может быть, и ради тех ста тысяч долларов, которые лежали у него на текущем счету в банке. Что ж, это была обычная оценка человека в буржуазном обществе, и странно было бы ожидать от этих людей другого. Но Мартин был горд. Ему не нужно было такой оценки. Он хотел, чтобы ценили его самого или его творчество, что было в сущности одно и то же. Так именно ценила его Лиззи. Даже его произведения не имели для нее особой цены; все дело было в

нем самом. Так же относился к нему и Джимми и вся его старая компания. Они не раз доказывали ему свою бескорыстную преданность в былые дни,— доказали ее и теперь, на воскресном гулянье в Шелл-Моунд-парке. На все его писания им было наплевать. Они любили его, Марта Идена, славного малого и своего парня, и за него были готовы пойти в огонь и в воду.

Иное дело—Руфь. Она полюбила его ради него самого, это было вне всякого сомнения. Но как ни дорог был он ей, буржуазные предрассудки оказались для нее дороже. Она не сочувствовала его творчеству главным образом потому, что оно не приносило ему дохода. С этой точки зрения она оценила его «Сонеты о любви». И она тоже требовала, чтобы он поступил на службу. Правда, на ее языке это называлось «занять положение», но ведь сущность от этого не меняется, а слово «служба» было для Мартина более привычным. Мартин читал ей все свои вещи: читал поэмы, рассказы, статьи, «Вики-Вики», «Позор солнца»,— все. А она с неизменным упорством советовала ему поступить на службу, найти себе работу. Всемогущий боже! Как будто он не работал, как вол, лишая себя сна, перенапрягая силы только для того, чтобы стать, наконец, достойным ее!

Так ничтожное обстоятельство превращалось в большое и значительное. Мартин чувствовал себя здоровым и бодрым, ел во-время, спал вволю, но ничтожное обстоятельство не давало ему покоя. *Давным-давно!* Эта мысль сверлила его мозг. Сидя напротив Бернарда Хиггинботамы за одним из воскресных обедов, Мартин едва удерживался, чтобы не закричать:

«Ведь все это было написано давным-давно! Вот ты теперь угощаешь меня, а когда-то ты предоставлял мне умирать с голоду, отказывал мне от дома, зная меня не хотел только за то, что я не шел служить. А все мои вещи уже тогда были написаны. Теперь, когда я говорю, ты почтительно молчишь, не спускаешь с меня благоговейного взора, ловишь каждое мое слово. Я говорю тебе, что твоя партия состоит из взяточников и проходимцев, а ты, вместо того чтобы возмутиться, сочувственно киваешь головой и чуть ли не поддакиваешь мне. А почему? Потому что я знаменит! Потому что у меня много

денег! А вовсе не потому, что я — Мартин Иден, славный малый и не совсем дурак! Если бы я сказал, что луна сделана из зеленого сыра, ты бы немедленно согласился с этим, во всяком случае не стал бы мне противоречить, потому что у меня есть целые груды золота. А ведь работа, за которую я их получил, была сделана давным-давно, в те самые дни, когда ты не ставил меня ни в грош и плевал на меня».

Но Мартин не крикнул этого. Тоска грызла его, но с губ не сходила терпеливая улыбка. Видя, что он молчит, Хиггинботам заговорил. Он — Бернард Хиггинботам — добился всего сам и гордится этим. Никто не помогал ему, и он никому ничем не обязан. Он добропорядочный гражданин, содержит большую семью. А эта лавка, «Розничная торговля Хиггинботама» — венец его усилий и добродетелей. Он любил «Розничную торговлю Хиггинботама», как иной муж любит свою жену. Он разоткровенничался с Мартином, стал рассказывать, чего ему стоило оборудовать лавку и поставить дело на рельсы. А кроме того, у него есть планы, широкие планы. Население в квартале увеличивается. Лавка не может обслуживать всех. Будь у него побольше помещение, он мог бы ввести некоторые новшества и увеличить доход. И он это сделает, но прежде всего ему необходимо купить соседний участок и построить еще один двухэтажный дом. Верхний этаж он будет сдавать, а нижний присоединит к лавке. Даже глаза у него заблестели, когда он заговорил о своей новой вывеске, которая протянется через оба фасада.

Мартин почти не слушал. Припев «давным-давно» продолжал звенеть у него в ушах. Этот припев положительно сводил его с ума, необходимо было от него отделаться.

— Сколько, ты сказал, это должно стоить? — спросил он вдруг.

Зять прервал свои разглагольствования о коммерческих перспективах квартала и выпучил на него глаза. Он вовсе и не говорил о том, сколько это будет стоить, но если Мартину интересно, он может сказать. У него все высчитано.

— По теперешним ценам,— сказал он,— это обошлось бы тысячи в четыре.

— Включая вывеску?

— Вывески я не считал. Был бы дом, а вывеска будет!

— А земля?

— Еще тысячи три.

Облизывая пересохшие губы и нервно шевеля пальцами, смотрел Бернард Хиггинботам, как Мартин писал чек. Написав, Мартин передал его Хиггинботаму. Чек был на семь тысяч долларов.

— Я... я могу предложить тебе не более шести процентов,— пробормотал Хиггинботам хриплым от волнения голосом.

Мартин хотел рассмеяться, но вместо этого спросил:

— А сколько это будет?

— А вот сейчас подсчитаем. Шесть процентов... шестью семь — четыреста двадцать.

— Значит, в месяц придется тридцать пять долларов?

Хиггинботам кивнул утвердительно.

— Ну-с, если ты не возражаешь, то мы сделаем так.— Мартин при этих словах взглянул на Гертруду.— Можешь оставить себе основную сумму безвозвратно, но с условием тратить тридцать пять долларов в месяц на кухарку и прачку. Одним словом, семь тысяч твои, если ты гарантируешь мне, что Гертруда не будет больше делать всю грязную работу в доме. Согласен?

Мистер Хиггинботам с шумом перевел дух. Требование, чтобы его жена не занималась черным трудом, показалось ему оскорбительным. Великолепный подарок был только средством позолотить пилюлю, и горькую пилюлю! Чтобы жена не работала! Это его взбесило.

— Как хочешь,— сказал Мартин.— Тогда эти тридцать пять долларов в месяц буду платить я, но...

Он потянулся за чеком, но Бернард Хиггинботам поспешно накрыл его рукой и воскликнул:

— Я согласен! Согласен!

Садясь в трамвай, Мартин почувствовал усталость и отвращение. Он оглянулся на крикливую вывеску, «Свинья,— пробормотал он,— какая свинья!»

Когда в «Журнале Макинтоша» появилась «Гадалка», украшенная рисунками первоклассных художников, то Герман Шмидт вдруг забыл, что он назвал некогда это стихотворение непристойным. Он рассказывал всем и каждому, что стихотворение было написано в честь его жены, и постарался, чтобы слух этот не миновал ушей газетного репортера. Репортер не замедлил явиться в сопровождении фотографа и зарисовщика. В результате на одной из страниц воскресного приложения появился значительно приукрашенный портрет Мэриен со множеством интимных подробностей из жизни Мартина Идена и его семьи и с полным текстом «Гадалки», перепечатанным с особого разрешения журнала. Это произвело фурор во всей округе, и все окрестные домохозяйки гордились знакомством с сестрой великого писателя, а те, которые до сих пор не удостоились такого знакомства, торопились восполнить этот пробел. Герман Шмидт потирал руки и даже заказал новый станок для мастерской.

— Это лучше всякой рекламы,— говорил он,— и денег не стоит.

— Надо бы пригласить его обедать,— предложила Мэриен.

И Мартин пришел к обеду и старался быть любезным с жирным мясоторговцем-оптовиком и с его еще более жирной супругой,— это были важные люди и могли оказаться очень полезными молодому человеку, пробивающему себе дорогу, каким был, например, Герман Шмидт. Конечно, они бы никогда не удостоили последнего визитом, если бы не обещанное присутствие за обедом знаменитого писателя. На ту же приманку попался и главный управляющий агентством Тихоокеанской велосипедной компании. Герман Шмидт заискивал перед ним, так как надеялся получить от него представительство в Окленде. Одним словом, Герман готов был занести родство с Мартином Иденом в свой жизненный актив, но в глубине души он решительно не понимал, как все это случилось. Очень часто в тишине ночи он вставал и, стараясь не разбудить жену, читал сочинения Мартина, и всякий раз у него создавалось определенное убеждение, что только дураки могут платить за них деньги.

Мартин отлично понимал ситуацию: откинувшись на спинку стула и рассматривая Германа Шмидта, он мысленно награждал его здоровыми подзатыльниками — ах, самодовольная немецкая рожа! Но кое-что Мартину в нем нравилось. Как он ни был беден и как ни хотел поскорее разбогатеть, он все же нанимал служанку, чтобы облегчить Мэриен домашнюю работу. Переговорив после обеда с управляющим велосипедной компании, Мартин отозвал Германа в сторону и предложил финансировать оборудование лучшего в Окленде магазина по продаже велосипедов и принадлежностей к ним. Он до того расщедрился, что велел Герману присмотреть заодно гараж и автомобильную мастерскую, так как Герман, несомненно, отлично справится и с двумя предприятиями.

Обняв Мартина со слезами на глазах, Мэриен на прощанье шепнула ему о том, как она его любит и как всегда любила. Правда, при последних словах она слегка запнулась, слезы и поцелуи стали обильнее, и Мартин понял, что она просит прощения за то, что когда-то сомневалась в нем и убеждала поступить на службу.

— Ну, у него деньги долго не удержатся, — сказал вечером жене Герман Шмидт. — Он так и вскипел, когда я заговорил о процентах! Знаешь, что он мне сказал? Ему и капитала не нужно, не то что процентов. И если я еще раз заговорю об этом, он расшибет мою немецкую башку. Так и сказал: «немецкую башку». Но он все-таки молодец, хотя и не деловой человек. А главное — он здорово выручил меня!

Приглашения к обеду так и сыпались, и чем больше их было, тем больше недоумевал Мартин. Он был почетным гостем на банкете одного старейшего клуба, сидел окруженный людьми, о которых слышал и читал почти всю свою жизнь. Эти люди говорили ему, что, прочтя в «Трансконтинентальном ежемесячнике» «Колокольный звон», а в «Шершне» «Пери и жемчуг», они сразу поняли, что появился великий писатель. «Боже мой, — думал Мартин, — а я тогда голодал и ходил оборванцем! Почему они меня в то время ни разу не пригласили обедать? Тогда это пришлось бы как раз кстати. Ведь все это вещи, написанные давным-давно. Если вы теперь кормите меня обедами за то, что я сделал давным-давно, то почему вы не

кормили меня тогда, когда я действительно в этом нуждался? Ведь ни в «Колокольном звоне», ни в «Пери и жемчуге» я не изменил ни одного слова. Нет, вы меня угощаете вовсе не за мою работу, а потому, что меня угощают все, и потому, что угощать меня теперь считается за честь. Вы меня угощаете потому, что вы животные, стадные животные! Потому, что вы повинуетесь слепому и тупому стадному чувству, а это чувство сейчас подсказывает одно: надо угостить обедом Мартина Идена. Но никому из вас нет дела до самого Мартина Идена и до его работы», — печально говорил он себе и вставал, чтобы остроумно и эффектно ответить на остроумный и эффектный тост.

И так было везде. Где бы он ни был: в фешенебельных клубах, в светских гостиных и на литературных вечерах, — всюду ему говорили, что, когда вышли из печати «Колокольный звон» и «Пери и жемчуг», всем сразу стало ясно, что появился великий писатель. И всегда в глубине души Мартина копошился все тот же неотвязный вопрос: «Почему же вы меня тогда не кормили обедами? Ведь все эти вещи написаны давным-давно. «Колокольный звон» и «Пери и жемчуг» не изменились ни на йоту. Они тогда были так же хороши и так же мастерски написаны, как и теперь. Но вы угощаете меня не за эти и не за другие мои произведения. Вы меня угощаете потому, что это теперь в моде; потому что все стадо помешалось на одном: угощать Мартина Идена».

И часто в такие минуты среди блестящего общества перед ним вдруг вырастал гуляка-парень в двубортной куртке и надвинутом стетсоне. Так случилось однажды в Окленде, на литературном утреннике в дамском клубе. Выходя на эстраду, Мартин вдруг увидел вдали, в глубине зала, гуляку-парня в знакомой куртке и шляпе. Пятьсот разодетых дам сразу оглянулись, чтобы посмотреть, на что устремил свой пристальный взгляд Мартин Иден. Но они ничего не увидели в пустом проходе. А Мартин все смотрел и думал, догадается ли парень снять шляпу, которая словно приросла к его голове. Призрак направился к эстраде и взошел на нее. Мартин чуть не расплакался от тоски, глядя на эту тень своей юности, думая о том, чем он мог стать и чем стал. Призрак

прошел по эстраде, подошел вплотную к Мартину и исчез, словно растворился в нем. Все пятьсот дам зааплодировали своими изящными, затянутыми в перчатки ручками. Они хотели подбодрить знаменитого гостя, вдруг проявившего такую застенчивость. Мартин усилием воли отогнал от себя призрак, улыбнулся и начал говорить.

Директор школы, почтенный добродушный человек, встретив однажды Мартина на улице, напомнил ему, какие сцены происходили в его канцелярии, когда Мартина выгнали из школы за буйство и драки.

— Я читал ваш «Колокольный звон»,— сказал он,— еще когда он первый раз был напечатан. Прекрасно! Это не хуже Эдгара По! Я и тогда, прочтя, сказал: прекрасно!

«Да? А вы в ту пору два раза встретились со мною на улице и даже не узнали меня,— чуть-чуть не сказал Мартин.— Оба раза я, голодный, бежал закладывать свой единственный костюм! Вы меня не узнавали! А все мои вещи были уже тогда написаны. Почему же вы теперь узнали меня?»

— Я как раз на днях говорил жене, что было бы очень хорошо, если бы вы пришли к нам обедать,— продолжал директор,— и она очень просила меня пригласить вас. Да, очень, очень просила.

— Обедать? — неожиданно резко выкрикнул Мартин.

— Да... да... обедать,— забормотал тот растерянно,— запросто, знаете... со старым учителем... Ах вы плут этакий! — Он робко похлопал Мартина по плечу, стараясь придать этому вид шутливой фамильярности.

Мартин сделал несколько шагов, остановился и поглядел вслед старику.

— Черт знает что! — пробормотал он.— Я, кажется, здорово напугал его!

Глава сорок пятая

Однажды к Мартину пришел Крейз — тот самый Крейз, из числа «настоящих людей». Мартин искренно обрадовался ему и выслушал проект необычайного по фантастичности предприятия, которое могло заинтересовать его как писателя, но отнюдь не как финансиста. По-

среди изложения проекта Крейз вдруг заговорил о «Позоре солнца» и сказал, что это бред сумасшедшего.

— Впрочем, я пришел сюда не философствовать,— прервал он сам себя.— Все, что я хочу знать, это — вложите вы тысячу долларов в мое предприятие или нет?

— Нет, для этого я недостаточно сумасшедший,— сказал Мартин,— но я сделаю другое. Вы дали мне возможность провести интереснейший вечер в моей жизни. Вы дали мне то, чего нельзя купить ни за какие деньги. Теперь деньги для меня ничего не значат. Я с удовольствием дам вам тысячу долларов просто так, в благодарность за тот незабываемый вечер. Вам нужны деньги, а у меня их слишком много. Вы хотите их получить? Не нужно никаких ухищрений. Получайте!

Крейз не проявил ни малейшего удивления. Он взял чек и сунул в карман.

— На таких условиях я готов вам устраивать подобные вечера каждую неделю.

— Слишком поздно,— покачал головой Мартин,— это был для меня первый и последний такой вечер. Я словно очутился в другом мире. Для вас там не было ничего особенного, я знаю. Но для меня все было особенное. Это уже не повторится. Я покончил с философией. Я больше не желаю о ней слышать.

— Первый раз в жизни я нажил деньги на философии,— заметил Крейз, направляясь к двери,— и то акции сразу упали.

Однажды на улице мимо Мартина проехала в коляске миссис Морз и с улыбкой кивнула ему. Он тоже улыбнулся и снял шляпу. Случай этот не произвел на него никакого впечатления. Еще месяц тому назад ему стало бы неприятно, а может быть, смешно, и он старался бы представить, как чувствовала себя при этом миссис Морз. Но теперь эта встреча прошла мимо его сознания. Он сейчас же забыл о ней, как забыл бы, например, о том, что проходил мимо здания центрального банка или ратуши. А между тем в его мозгу шла непрерывная, сверхнапряженная работа. Все та же неотступная мысль сверлила его: «давным-давно». С этой мыслью Мартин просыпался по утрам, эта мысль преследовала его во сне. Все,

что он видел, слышал, чувствовал, тотчас же связывалось в его сознании с этим «давным-давно». Логически рассуждая, Мартин пришел к беспощадному выводу, что теперь он никто, ничто. Март Иден-гуляка и Март Иден-моряк были реальными лицами, они существовали на самом деле. Но Мартин Иден — великий писатель никогда не существовал. Мартин Иден — великий писатель был измышлением толпы, и толпа воплотила его в телесной оболочке Марта Идена, гуляки и моряка. Но он-то знал, что это все обман. Он совсем не был тем легендарным героем, перед которым преклонялась толпа, изощряясь в служении его желудку. Ему-то было, разумеется, виднее.

Мартин читал о себе в журналах, рассматривал свои портреты, которые постоянно печатались в них, и не узнавал себя. Это он вырос в рабочем предместье, жил, любил и радовался жизни. Это он хорошо относился к людям и с легким сердцем встречал превратности судьбы. Это он странствовал по чужим краям, стоял на вахте в любую погоду и предводительствовал шайкой таких же, как он, сорванцов. Это он был ошеломлен и подавлен бесконечными рядами книг, когда впервые пришел в библиотеку, а потом прочел эти книги и научился понимать их. Это он до глубокой ночи не гасил лампы, клал гвозди в постель, чтобы не спать, и сам писал книги. Но тот ненасытный обжора, которого люди наперерыв спешили теперь накормить, — был не он.

Некоторые вещи все же забавляли его. Все журналы оспаривали честь открытия Мартина Идена. «Ежемесячник Уоррена» уверял своих подписчиков, что, постоянно ища новых талантов, он первый набрел на Мартина Идена. «Белая мышь» приписывала эту заслугу себе; то же делали «Северное обозрение» и «Журнал Макинтоша», пока, наконец, не выступил «Глобус» и не указал с торжеством на изувеченные «Песни моря», которые впервые были напечатаны на его страницах. Журнал «Юность и зрелость», ухитрившись отделаться от кредиторов, снова начал выходить, тоже предъявил свои права на Мартина Идена. Впрочем, кроме фермерских ребятишек, никто этого журнала не читал. «Трансконтинентальный ежемесячник», «Шершень» наперебой

требовали признания за ними первенства. Скромный голос «Синглтри, Дарнлея и К^о» вовсе не был слышен за шумом. У издательства не было своего журнала, в котором оно могло бы громко заявить о своих правах.

Все газеты подсчитывали гонорары Мартина. Каким-то образом щедрые условия, предложенные ему некоторыми журналами, сделались достоянием гласности; оклендские проповедники взывали к его милосердию, а разные мелкие вымогатели осаждали его устными и письменными просьбами. Но хуже всего были женщины. Фотографии Мартина Идена расходились по всей стране, а репортеры старались поярче расписать его «бронзовое лицо», «могучие плечи», «ясный, спокойный взгляд», «впалые щеки аскета». Эти «щеки аскета» особенно рассмешили Мартина, когда он припомнил бурные годы своей юности. Очень часто, бывая в обществе женщин, он ловил их красноречивые, оценивающие, одобряющие взгляды. Мартин смеялся, вспоминая предостережения Бриссендена. Нет, женщины не заставят его страдать. С этим покончено.

Однажды, когда Мартин провожал Лиззи в вечернюю школу, Лиззи перехватила взгляд, брошенный на него проходившей мимо красивой, хорошо одетой дамой. Этот взгляд был чуть-чуть более пристальным, чуть-чуть дольше на нем задержался, чем положено, и Лиззи затрепетала от гнева, так как сразу поняла, что значит этот взгляд. Мартин, узнав причину ее гнева, сказал ей, что он давно привык уже к таким взглядам и они его не трогают.

— Этого быть не может! — вскричала она, сверкнув глазами. — Значит, вы больны!

— Я здоров, как никогда. Даже прибавился в весе на пять фунтов.

— Я не говорю, что вы телом больны; я говорю про вашу душу. У вас внутри что-то неладно! Я и то вижу! А что я такое!

Мартин задумчиво шел рядом.

— Я бы очень хотела, чтобы это у вас поскорее прошло! — воскликнула она вдруг. — Не может этого быть, чтобы такого мужчину, как вы, не трогало, когда женщины

на него так смотрят. Это неестественно. Вы ведь не маленький мальчик. Честное слово, я была бы рада, если бы явилась, наконец, женщина, которая расшевелила бы вас.

Проводив Лиззи, Мартин вернулся в «Метрополь».

Он сидел в кресле и смотрел прямо перед собой, не двигаясь и ни о чем не думая. Только время от времени на пустом экране его памяти вдруг возникали какие-то видения далекого прошлого. Он созерцал эти видения без участия мысли, как бывает во сне. Но он не спал. Вдруг он встрепенулся и посмотрел на часы. Было ровно восемь. Делать ему было нечего, а ложиться спать было рано. И опять мысли его смешались, и видения опять поплыли перед ним, сменяя друг друга. Ничего примечательного в этих видениях не было. Постоянно повторялся один образ: густая листва, пронизанная солнечными лучами.

Стук в дверь заставил его очнуться. Он не спал, и стук тотчас вызвал в его мозгу представление о телеграмме, письме, слуге, принесшем белье из прачечной. Ему вспомнился Джо, и, спрашивая себя, где сейчас может быть Джо, Мартин крикнул:

— Войдите!

Продолжая думать о Джо, он даже не оглянулся на дверь. Она тихо отворилась, но Мартин уже забыл о стуке и попрежнему смотрел в пространство невидящим взглядом. Вдруг сзади явственно послышалось короткое, подавленное женское рыдание. Мартин мгновенно вскочил.

— Руфь! — воскликнул он с удивлением и почти с испугом.

Лицо ее было бледно и печально. Она стояла на пороге, одной рукой держалась за дверь, а другую прижимала к груди. Вдруг она с мольбой протянула обе руки к нему и шагнула вперед. Усаживая ее в кресло, Мартин заметил, как холодны ее пальцы. Себе он подвинул другое кресло и присел на ручку. От смятения он не мог говорить. Весь его роман с Руфью был давно уже похоронен в его сердце. Он испытывал такое же чувство, как если бы вдруг на месте отеля «Метрополь» оказалась прачечная «Горячих Ключей» с кучей белья, скопившегося за не-

делю. Несколько раз он хотел заговорить, но никак не мог решиться.

— Никто не знает, что я здесь,— сказала Руфь тихо, с молящей улыбкой.

— Что вы сказали? — спросил он.

Его удивил звук собственного голоса.

Руфь повторила свои слова.

— О! — сказал он; это было все, что он нашелся сказать.

— Я видела, как вы вошли в гостиницу; я подождала немного и вошла тоже.

— О! — повторил он.

Никогда еще язык его не был таким скованным. Положительно, все мысли сразу выскочили у него из головы. Он чувствовал, что молчание начинает становиться неловким, но даже под угрозой смерти он не придумал бы, с чего начать разговор. Уж лучше бы в самом деле он очутился в прачечной «Горячих Ключей», — он бы молча засучил рукава и принялся за работу.

— Значит, немного подождали и вошли,— наконец, проговорил он.

Руфь кивнула головой с некоторым лукавством и развязала на груди шарф.

— Я сначала видела вас на улице с той девушкой...

— Да,— сказал он просто,— я провожал ее в вечернюю школу.

— Разве вы не рады меня видеть? — спросила она после новой паузы.

— Рад, рад,— отвечал он поспешно,— но благодарно ли, что вы пришли сюда одна?

— Я проскользнула незаметно. Никто не знает, что я здесь. Мне очень хотелось вас видеть. Я пришла сказать вам, что я понимаю, как я была глупа. Я пришла, потому что я не могла больше, потому что мое сердце приказывало мне прийти... потому что я хотела прийти!

Руфь встала и подошла к Мартину. Она положила ему руку на плечо и мгновение стояла так, глубоко и часто дыша, потом быстрым движением склонилась к нему. Добрый и отзывчивый по природе, Мартин понял, что оттолкнуть ее невозможно, что, не ответив на ее порыв, он

оскорбит ее так глубоко, как только может мужчина оскорбить женщину. Он обнял ее, но в его объятиях не было ни теплоты, ни ласки. Он просто обхватил ее руками, и все. Она торопливо прижалась к нему, и ладони ее легли ему на шею, но от их прикосновения горячая волна не прошла по его телу, как бывало прежде, и ему было лишь неловко и стыдно.

— Почему вы так дрожите? — спросил он. — Вам холодно? Не затопить ли камин?

Мартин сделал движение, как бы желая освободиться, но она еще крепче прильнула к нему.

— Это нервное, — отвечала она, стуча зубами, — я сейчас овладею собой. Мне уже лучше.

Ее дрожь мало-помалу унялась. Он продолжал держать ее в объятиях, но больше не удивлялся. Он уже знал, для чего она пришла.

— Мама хотела, чтобы я вышла за Чарли Хэпгуда, — объявила она.

— Чарли Хэпгуд? Это тот молодой человек, который всегда говорит пошлости? — пробормотал Мартин. Помолчав, он прибавил: — А теперь ваша мама хочет, чтобы вы вышли за меня.

Он сказал это без вопросительной интонации. Он сказал это совершенно уверенно, и перед его глазами заплясали многозначные цифры полученных им гоноров.

— Мама не будет теперь противиться, — сказала Руфь.

— Она считает меня подходящим мужем для вас?

Руфь наклонила голову.

— А ведь я не стал лучше с тех пор, как она расторгла нашу помолвку, — задумчиво проговорил он. — Я не переменялся. Я все тот же Мартин Иден. Я даже стал хуже, я теперь опять курю. Вы чувствуете, как от меня пахнет дымом?

Вместо ответа она кокетливо приложила ладонь к его губам, ожидая привычного поцелуя. Но губы Мартина не шевелились. Он подождал, пока Руфь опустила руку, и потом продолжал:

— Я не переменялся. Я не поступил на службу. Я и не ищу службы. И даже не намерен ее искать. И я по-

прежнему утверждаю, что Герберт Спенсер — великий и благородный человек, а судья Блоунт — пошлый осел. Я вчера обедал у него, так что имел случай убедиться.

— А почему вы не приняли папиного приглашения? — укоризненно спросила Руфь.

— Откуда вы знаете? Кто подослал его? Ваша мать?

Руфь молчала.

— Ну, конечно, она! Я так и думал. Да и вы теперь, наверно, пришли по ее настоянию.

— Никто не знает, что я здесь, — горячо возразила Руфь. — Неужели вы думаете, что моя мать позволила бы мне такую вещь?

— Ну, что она позволила бы вам выйти за меня замуж, в этом я не сомневаюсь.

Руфь жалобно вскрикнула:

— О Мартин, не будьте жестоким! Вы даже ни разу не поцеловали меня. Вы точно камень. А подумайте, на что я решилась! — Она оглянулась со страхом, но в то же время и с любопытством. — Подумайте, куда я пришла!

«Я с радостью умерла бы за вас! Умерла бы за вас!» — вспомнились ему слова Лиззи.

— Отчего же вы раньше на это не решились? — спросил он сурово. — Когда я жил в каморке. Когда я голодал. Ведь тогда я был тем же самым Мартином Иденом — и как человек и как писатель. Этот вопрос я задавал себе за последнее время очень часто, и не только по отношению к вам, но и по отношению ко всем. Вы видите, я не переменялся, хотя мое внезапное возвышение заставляет подчас меня самого сомневаться в этом. Но я тот же! У меня та же голова, плечи, те же десять пальцев на руках и на ногах. Никакими новыми талантами или добродетелями я не могу похвалиться. Мой мозг остался таким же, как был. У меня даже не появилось никаких новых литературных или философских взглядов. Ценность моей личности не увеличилась с тех пор, как я жил безвестным и одиноким. Так почему же теперь я вдруг стал всюду желанным гостем? Несомненно, что нужен людям не я сам по себе, — потому что я тот же Мартин Иден, которого они прежде знать не хотели. Значит, они ценят

во мне нечто другое, что вовсе не относится к моим личным качествам, что не имеет со мной ничего общего. Сказать вам, что во мне ценится? То, что я получил всеобщее признание. Но ведь это признание вне меня. Оно существует в чужих умах. Кроме того, меня уважают за деньги, которые у меня теперь есть. Но и деньги эти тоже вне меня. Они лежат в банках, в карманах всяких Джонов, Томов и Джеков. Так что же, вам я тоже стал нужен из-за этого, из-за славы и денег?

— Вы надрываете мне сердце,— простонала Руфь.— Вы знаете, что я люблю вас, что я пришла сюда только потому, что люблю вас!

— Я боюсь, что вы меня не совсем поняли,— мягко заметил Мартин.— Скажите мне вот что: почему вы любите меня теперь сильнее, чем в те дни, когда у вас хватило решимости от меня отказаться?

— Простите и забудьте! — пылко вскричала она.— Я все время любила вас! Слышите — все время! Вот почему я здесь, в ваших объятиях.

— Я теперь стал очень недоверчив, все взвешиваю на весах. Вот и вашу любовь я хочу взвесить и узнать, что это такое.

Руфь вдруг освободилась из его объятий, выпрямилась и внимательно посмотрела на него. Она словно хотела что-то сказать, но промолчала.

— Хотите знать, что я об этом думаю? — продолжал он.— Когда я уже стал тем, что я есть теперь, никто не хотел знать меня, кроме людей моего класса. Когда книги мои были уже написаны, никто из читавших рукописи не сказал мне ни одного слова одобрения. Наоборот, меня бранили за то, что я вообще пишу, считая, что я занимаюсь чем-то постыдным и предосудительным. Все мне говорили только одно: «Иди работать».

Руфь сделала протестующее движение.

— Да, да,— продолжал он,— только вы говорили не о работе, а о «карьере». Слово «работа», так же как и то, что я писал, не нравилось вам. Оно, правда, грубовато! Но, уверяю вас, еще грубее было, с моей точки зрения, то, что все вокруг убеждали меня идти работать, словно хотели направить на путь истинный какого-то закоренелого преступника. И что же? Появление моих книг в печати и

признание публики вызвали перемену в ваших чувствах. Тогда вы отказались выйти замуж за Мартина Идена, хотя все его произведения уже были написаны. Ваша любовь к нему была недостаточно сильна, чтобы вы решились стать его женой! А теперь ваша любовь оказалась достаточно сильна, и, очевидно, объяснения этому удивительному факту надо искать именно в пришедшей ко мне славе. О моих доходах в данном случае я не говорю, вы, может быть, не думали о них, хотя для ваших родителей, вероятно, это главное. Все это не слишком для меня лестно! Но хуже всего, что это заставляет меня усомниться в любви, в священной любви! Неужели любовь должна питаться славой и признанием толпы? Очевидно, да! Я так много думал об этом, что у меня, наконец, голова закружилась.

— Бедная голова! — Руфь нежно провела рукой по его волосам. — Пусть она больше не кружится. Начнем сначала, Мартин! Я знаю, что проявила слабость, уступив настояниям мамы. Я не должна была уступать. Но ведь вы так часто говорили о снисхождении к человеческим слабостям. Будьте же ко мне снисходительны. Я совершила ошибку. Простите меня!

— О, я прощаю! — воскликнул он нетерпеливо. — Легко простить, когда нечего прощать! Ваш поступок не нуждается в прощении. Каждый поступает, как ему кажется лучше. Ведь не стану же я просить у вас прощения за то, что не захотел поступать на службу.

— Я ведь желала вам добра, — возразила она с живостью. — Я не могла не желать вам добра, раз я любила вас!

— Верно, но вы чуть не погубили меня, желая мне добра. Да, да! Чуть не погубили мое творчество, мое будущее! Я по натуре реалист, а буржуазная культура не выносит реализма. Буржуазия труслива. Она боится жизни. И вы хотели и меня заставить бояться жизни. Вы стремились запереть меня в тесную клетку, навязать мне неверный, ограниченный, пошлый взгляд на жизнь. — Она хотела возразить, но он остановил ее жестом. — Пошлость — пусть вполне искренняя, но все же пошлость есть основа буржуазной культуры, буржуазной утончен-

ной цивилизации. А вы хотели вытравить из меня живую душу, сделать меня одним из ваших, внушить мне ваши классовые идеалы, классовую мораль, классовые предрассудки.

Он печально покачал головой.

— Вы и теперь меня не понимаете. Вы придаете моим словам совсем не тот смысл, который я в них вкладываю. Для вас все, что я говорю, — чистая фантазия. А для меня это реальность жизни. В лучшем случае вас забавляет и изумляет, что вот неотесанный малый, вылезший из грязи, из низов, осмеливается критиковать ваш класс и называть его пошлым.

Руфь устало прислонилась головой к его плечу, и ее опять охватила нервная дрожь. Он выждал минуту, не заговорит ли она, и затем продолжал:

— А теперь вы хотите возродить нашу любовь! Вы хотите, чтобы мы стали мужем и женой. Вы хотите меня! А ведь могло случиться так — постарайтесь понять меня, — могло случиться, что мои книги не увидели бы свет и не заслужили бы признания, и тем не менее я был бы тем, что я есть! Но вы бы никогда не пришли ко мне! Только эти книги... чтоб их черт...

— Не бранитесь, — прервала она его.

Мартин язвительно рассмеялся.

— Вот, вот! — сказал он. — В тот миг, когда на карту поставлено все счастье вашей жизни, вы боитесь услышать грубое слово. Вы попрежнему боитесь жизни.

Руфь вздрогнула при этих словах, как бы обесценивавших всю сущность ее поступка; но все же ей показалось, что Мартин несправедлив к ней, и она почувствовала обиду.

Некоторое время они сидели молча: она — мучительно соображая, что ей делать; а он — раздумывая о своей исчезнувшей любви. Он теперь ясно понял, что никогда не любил Руфь на самом деле. Он любил некую идеальную Руфь, небесное существо, созданное его воображением, светлый и лучезарный образ, вдохновлявший его поэзию. Настоящую Руфь, буржуазную девушку с буржуазной психологией и ограниченным буржуазным кругозором, он не любил никогда.

Внезапно она заговорила:

— Я признаю, что многое из того, что вы говорите, верно. Я действительно боялась жизни. Я не достаточно сильно любила вас. Но теперь я научилась сильнее любить. Я люблю вас за то, что вы есть, за то, чем вы были, за то, что вас сделало таким, какой вы есть. Я люблю вас за все то, чем вы отличаетесь от людей моего класса. Пусть ваши взгляды иногда непонятны мне. Я научусь их понимать. Я сделаю все, чтобы научиться их понимать! Ваше курение, ваша брань — все это часть вашего существа, и я люблю вас и за это. Я многому научусь. За последние десять минут я уже многому научилась. Разве когда-нибудь раньше я бы решилась прийти сюда к вам? О Мартин!..

Руфь заплакала, спрятав лицо у него на груди. Он ласково обнял ее, первый раз за весь вечер. Она почувствовала это и подняла на него просиявшие глаза.

— Слишком поздно, — сказал он. Он вспомнил слова Лиззи. — Я болен, Руфь... нет, не телом. Душа у меня больна, мозг. Все для меня потеряло ценность. Я ничего не хочу. Если бы вы пришли полгода тому назад, все могло быть по-другому. Но теперь уже поздно, слишком поздно!

— Нет, не поздно! — вскричала она. — Я докажу вам это. Я вам докажу, что моя любовь теперь сильна, что она мне дороже всего, что мне до сих пор было дорого в жизни! Я готова отречься от всего, что так ценится буржуазией. Я больше не боюсь жизни. Я покину отца и мать, отдам свое имя на поношение. Я готова остаться с вами здесь, сейчас же, и пусть это будет свободный союз любви, если вы хотите, я сумею найти в этом гордость и радость. Если я раньше предала любовь, сейчас я готова ради любви предать то, что тогда толкнуло меня на измену.

Руфь стояла перед Мартином со сверкающими глазами.

— Я жду! — прошептала она. — Я жду, Мартин, чтобы вы сказали «да». Взгляните на меня.

«Как это прекрасно, — думал он, глядя на нее, — она искупила все свои прежние ошибки, она сделалась настоящей женщиной, сорвала с себя, наконец, железные цепи

буржуазных условностей. Все это прекрасно, великолепно, благородно... Но что же такое со мной?»

Ее поступок не взволновал, не потряс его. Он только умом отдавал ему должное. Вместо пожара — холодное одобрение. Сердце его оставалось нетронутым, и желание не загорелось в крови. Ему снова вспомнились слова Лиззи.

— Я болен, очень болен, — сказал Мартин, безнадежно махнув рукой. — Я даже не подозревал до сих пор, что так сильно болен. Что-то во мне иссякло. Я никогда не боялся жизни, но никогда не мог себе представить, что потеряю вкус к ней. А теперь я оказался пресыщен жизнью. Во мне не осталось никаких желаний. Я даже вас не хочу! Видите, как я болен!

Он откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза; и подобно тому, как плачущий ребенок сразу забывает все свои горести, глядя на солнце сквозь радужную завесу слез, так забыл Мартин и болезнь, и присутствие Руфи, и все на свете, созерцая внезапно возникшее видение — густую листву, пронизанную солнечными лучами. Она была слишком зелена и слепила глаза, эта листва. Ему было больно смотреть на нее, но он, сам не зная почему, смотрел.

Скрип дверной ручки заставил его опомниться. Руфь стояла у двери.

— Как мне выйти отсюда? — жалобно спросила она. — Я боюсь.

— О, простите меня, — вскричал он, вскакивая. — Я сам не знаю, что со мною! Я забыл, что вы здесь.

Он провел рукою по лбу.

— Вы видите, я совсем нездоров. Я вас провожу домой. Мы можем пройти черным ходом. Никто нас не заметит. Только опустите вуаль.

Руфь крепко держалась за его руку, пока они шли по узким коридорам и полутемным лестницам.

— Ну, теперь я в безопасности, — сказала она, выйдя на улицу, и хотела высвободить руку.

— Я провожу вас до дому, — сказал он.

— Нет, нет, — возразила она, — не нужно!

Она снова сделала попытку высвободить руку. На мгновение это возбудило его любопытство. Казалось, она

боится чего-то именно теперь, когда всякая опасность для нее миновала. Ей словно хотелось поскорее отделаться от него, и Мартин приписывал это просто нервной реакции. Поэтому он удержал ее руку и повернул по направлению к ее дому. Когда они подходили к углу, Мартин вдруг увидел человека в длинном пальто, который поспешно нырнул в подъезд. Проходя мимо, Мартин заглянул туда и, несмотря на поднятый воротник незнакомца, узнал брата Руфи — Нормана.

По дороге Мартин и Руфь почти не разговаривали. Она была грустна, а он безучастен ко всему. Он только сказал ей, что уезжает на острова Тихого океана, а она попросила у него прощения за свой неожиданный приход. Вот и все. Они расстались у дверей ее дома, как будто ничего не произошло. Пожали друг другу руки, пожелали спокойной ночи, причем он церемонно приподнял шляпу. Дверь захлопнулась. Мартин закурил папиросу и пошел обратно в гостиницу. Проходя мимо того подъезда, в котором прятался Норман, Мартин остановился и с минуту постоял в раздумье.

— Она солгала,— сказал он вслух.— Она хотела уверить меня, что поступила решительно и смело, а между тем ее брат все время ожидал ее, чтобы отвести обратно домой.— Он расхохотался.— Ах, эти буржуа! Когда я был беден, я не смел даже приблизиться к его сестре. А когда у меня завелся текущий счет в банке, он сам приводит ее ко мне!

Мартин хотел продолжать свой путь, как вдруг какой-то бродяга, поровнявшись с ним, тронул его за локоть.

— Одолжите четвертак, сударь! За ночлег заплатить,— сказал он.

Голос заставил Мартина мгновенно оглянуться. В следующий миг он уже крепко пожимал руку Джо.

— Помнишь, я тебе сказал, что мы встретимся,— говорил Джо.— Я предчувствовал это. Вот мы и встретились!

— Ты смотришь молодцом! — сказал Мартин с восхищением.— Даже как будто пополнил.

— Так оно и есть,— подтвердил Джо, сияя.— С тех пор как я стал бродягой, я понял, что значить жить!

Тридцать фунтов прибавил и чувствую себя великолепно! Ведь в прежние времена я до того доработался, что от меня остались кожа да кости. Видно, бродячая жизнь по мне!

— Однако ты просишь на ночлег,— поддразнил его Мартин,— а ночь не очень теплая!

— Гм! Прошу на ночлег! — Джо вытащил из кармана горсть мелочи. — Мне бы этого хватило,— признался он,— да у тебя был очень уж располагающий вид. Вот я тебя и взял на прицел.

Мартин расхохотался.

— Да тут у тебя еще и на выпивку хватит,— заметил он.

Джо важно спрятал деньги в карман.

— Не по моей части! — объявил он. — Я теперь не пью. Нет охоты. Я только раз был пьян после того, как мы с тобой расстались, да и то потому, что сдуру хлебнул на пустой желудок. Когда я зверски работал, я и пил зверски. Теперь, когда я живу по-человечески, я и пью по-человечески! Иногда перехвачу стаканчик — и баста!

Мартин условился встретиться с ним на другой день и пошел в гостиницу. В вестибюле он взглянул на расписание пароходов. Через пять дней на Таити отправлялась «Марипоза».

— Закажите мне по телефону каюту,— сказал он портю, — но не наверху, а внизу, с левого борта. Запомните. Вы лучше запишите: с левого борта.

Придя к себе в комнату, он лег в постель и заснул мгновенно, как ребенок. Все события вечера не оставили в нем никакого следа. Его мозг уже не воспринимал впечатлений. Даже порыв радости, вызванный встречей с Джо, оказался мимолетным. Он продолжался один миг, а в следующий миг Мартин уже сожалел, что встретил своего бывшего товарища, так как ему не хотелось даже разговаривать. То, что через пять дней он уплывет в свой милый океан, тоже не радовало его. Он с наслаждением сомкнул глаза и спокойно спал восемь часов. Он не метался, не видел снов. Он теперь отдыхал в ночном забытии и, просыпаясь, неизменно испытывал сожаление. Жизнь томила и терзала его, а время было для него настоящей пыткой.

— Так вот какое дело, Джо,— начал Мартин разговор на следующий день,— есть тут один француз на Двадцать восьмой улице. Он сколотил деньжонок и собирается возвращаться во Францию. У него прекрасная маленькая, отлично оборудованная паровая прачечная. Для тебя это просто находка, если только ты хочешь вернуться к оседлому образу жизни. Вот тебе деньги; купи себе приличный костюм и ступай вот по этому адресу. Это комиссионер, которому я поручил подыскать для тебя что-нибудь подходящее. Он с тобой пойдет и тебе все покажет. Если прачечная тебе понравится и ты найдешь, что она стоит того, что за нее просят,— двенадцать тысяч,— скажи мне, и она твоя. А теперь проваливай! Я занят. Мы с тобой после потолкуем.

— Вот что, Март,— медленно проговорил Джо, сдерживая закипающий в нем гнев,— я пришел сюда для того, чтобы с тобой повидаться. Понял? А вовсе не затем, чтобы получать от тебя в подарок прачечную! Я к тебе как к другу, по старой памяти, а ты мне прачечную суешь! Я тебе на это вот что скажу. Возьми свою прачечную и катись вместе с ней к дьяволу!

Он встал и хотел выйти, но Мартин схватил его за плечи и повернул лицом к себе.

— Вот что, Джо,— сказал он,— если ты мне будешь откалывать такие штуки, я тебя так вздую по старой памяти, что ты своих не узнаешь! Понял? Ну! Хочешь?

Джо рванулся и хотел оттолкнуть Мартина, но руки, схватившие его, были слишком сильны. Вцепившись друг в друга, они закружились по комнате, сломали по дороге стул, обрушившись на него всей тяжестью, и свалились, наконец, на пол. Джо лежал на спине, а Мартин сидел на нем, упираясь ему в грудь коленом. Он едва отдышался, когда Мартин отпустил его.

— Ну вот, теперь можно разговаривать,— сказал Мартин.— Как видишь, со мной лучше не связываться. Я хочу в первую голову покончить с прачечной. А потом уж придешь, и мы поговорим о чем-нибудь другом, по

старой памяти. Я же тебе сказал, сейчас я занят. Посмотри сам.

Как раз в этот миг лакей принес утреннюю почту, целую кипу писем и журналов.

— Разве можно и читать все это и разговаривать? Пойди выясни дело с прачечной и возвращайся сюда.

— Ладно,— неохотно согласился Джо.— Я думал, что ты просто от меня откупиться хочешь, но теперь вижу, что ошибся. Только в боксе тебе меня не побить, Март. Ставлю что угодно.

— Хорошо, мы потом наденем перчатки и попробуем,— со смехом сказал Мартин.

— Непременно! Как только я куплю прачечную.— Джо протянул кулак.— Видал? Я тебя уложу в два счета.

Когда он, наконец, ушел, Мартин вздохнул с облегчением. Он становился нелюдим. Ему с каждым днем было все труднее и труднее общаться с людьми. Присутствие их было для него тягостно, а необходимость поддерживать разговор раздражала его. Люди действовали ему на нервы, и, не успев встретиться с человеком, он уже искал предлога от него отделаться.

После ухода Джо Мартин не сразу принялся за почту. Около получаса сидел он в кресле, ничего не делая, и в голове у него лишь изредка проносились какие-то обрывки мыслей, короткие проблески погруженного в сон ума.

Наконец, он встал и начал разбирать почту. Около дюжины писем заключали в себе просьбы о присылке автографа,— он узнавал такие письма с первого взгляда; далее шли стандартные просьбы о вспомоществовании, письма разных чудачков и прожектеров, начиная от изобретателя, построившего модель вечного двигателя, и математика, доказывавшего, что земная поверхность есть внутренняя часть полого шара, и кончая человеком, просившим финансовой поддержки на предмет приобретения полуострова Калифорния в Мексике, где он хотел устроить коммунистическую колонию. Были письма от женщин, желавших с ним познакомиться; одно из писем заставило его улыбнуться: писавшая, желая доказать свою добропо-

рядочность и благочестие, приложила к письму квитанцию об уплате за постоянное место в церкви.

Издатели и редакторы заваливали его письмами: журналы выпрашивали у него статьи, книгоиздательства молили о новых книгах,— все жаждали его рукописей, бедных рукописей, для рассылки которых он некогда закладывал все свои пожитки. Были тут неожиданные чеки — плата за английские издания, авансы от заграничных издательств. Его английский агент сообщал ему, что в Германии приобретено право перевода на три его книги; его произведения переводились и в Швеции, но Швеция не участвовала в Бернской конвенции, и за эти переводы ничего нельзя было получить. Был запрос и из России, тоже чисто формальный, так как и эта страна не участвовала в Бернской конвенции.

Мартин вскрыл кучу пакетов, доставленных из бюро газетных вырезок, и прочел то, что говорилось о нем и о его славе, возраставшей с непомерной быстротой. Великолепным жестом он выбросил толпе сразу все свои сочинения. Очевидно, этим и объяснялась такая внезапная слава. Он взял толпу натиском, как было с Киплингом, когда тот лежал при смерти и толпа, повинаясь стадному чувству, вдруг начала запоем читать его книги. Тут Мартин вспомнил, что эта же толпа полгода спустя, не поняв ничего из прочитанного, втоптала в грязь того же самого Киплинга. Эта мысль заставила его усмехнуться. Как знать! Может быть, и его ждет через полгода такая же участь. Но он перехитрит толпу. Он будет тогда далеко, в южных морях, будет строить свою тростниковую хижину, торговать жемчугом и копррой, перелетать на волне через подводные рифы, ловить акул, охотиться на диких коз в долине, что лежит рядом с долиной Тайхохаэ.

И в эту минуту вся безнадежность его положения ясно представилась ему. Он вдруг понял, что находится в Долине Теней, теней смерти. Жизнь его прошла; она угасала, меркла и склонялась к закату. Он подумал о том, как много он теперь спит и как хочется ему все время спать. А недавно еще он ненавидел сон. Сон похищал у него драгоценнейшие часы жизни. Спать четыре часа из двадцати четырех значило на четыре часа меньше жить. Как он тогда тяготился сном! И как он теперь тяготится

жизнью! Жизнь была уныла, и вкус от нее оставался горький. Вот где таилась его гибель. Жизнь, не стремящаяся к жизни, ищет путей к смерти. Старый инстинкт самосохранения пробудился в нем. Да, ему надо поторопиться с отъездом. Он оглядел комнату и пришел в ужас от мысли, что нужно укладывать вещи. А впрочем, это не к спеху. Пока можно заняться покупками.

Надев шляпу, он вышел и все утро провел в оружейном магазине, выбирая ружья, патроны и рыболовную снасть. Что касается товаров для торговли, то он решил выписать их уже по приезде на Таити, так как мода на товары часто меняется. Их можно будет выписать также из Австралии. Эта мысль его очень обрадовала. Сознание, что нужно что-то делать и предпринимать, было для него теперь нестерпимо. Возвращаясь в гостиницу, он с наслаждением думал о своем покойном кресле, готовом принять его, и чуть не завыл от злости, увидев, что в этом кресле расположился Джо.

Джо был в восторге от прачечной. Обо всем было договорено, и с завтрашнего дня он становился ее полноправным владельцем. Мартин лег на кровать и с полузакрытыми глазами слушал рассказы Джо. Мысли Мартина витали далеко, почти за пределами сознания. Время от времени он делал над собой усилие, чтобы хоть что-нибудь ответить Джо. А ведь он любил Джо. Но Джо был слишком полон жизни, и соприкосновение с ним было теперь для Мартина болезненно. На его усталую душу это ложилось чересчур большим грузом. Когда Джо вдруг сказал, что когда-нибудь они еще наденут перчатки и побоксируют, Мартин чуть не закричал от боли.

— Помни, Джо! Ты должен завести в своей прачечной те самые порядки, о которых ты говорил в «Горячих Ключах», — сказал он. — Никаких сверхурочных. Никакой работы по ночам. Приличная плата. И ни в коем случае не нанимай детей! Ни под каким видом!

Джо кивнул головой и вынул записную книжку.

— Я сегодня перед завтраком набросал правила. Вот, слушай.

Он стал читать, а Мартин одобрительно мычал, все время думая об одном: когда, наконец, Джо уберется.

Было уже довольно поздно, когда Мартин проснулся. Постепенно его сознание вернулось к фактам действительной жизни. Комната была пуста. Очевидно, Джо ушел незаметно, увидав, что Мартин уснул. «Очень деликатно с его стороны»,— подумал Мартин. Потом он закрыл глаза и снова заснул.

В следующие дни Джо был очень занят устройством своих дел и не слишком надоедал ему. Только накануне отъезда в газетах появилось сообщение, что Мартин Иден отплывает на «Марипозе». Повинуясь все тому же инстинкту самосохранения, он отправился к доктору и попросил себя освидетельствовать. Все было у него в полном порядке. Легкие и сердце были прямо великолепны. С медицинской точки зрения все органы были совершенно здоровы и функционировали вполне нормально.

— У вас нет никакой болезни, мистер Иден,— сказал врач,— положительно никакой. Ваш организм изумителен. Я вам просто завидую. У вас великолепное здоровье. Какая грудная клетка! При вашем могучем желудке— это залог несокрушимого здоровья и силы. Такой человеческий экземпляр попадается один на тысячу, даже на десять тысяч. Вы можете прожить до ста лет, если не какой-нибудь несчастный случай.

И Мартин убедился, что диагноз Лиззи был правилен. Физически он совершенно здоров. Но внутри у него что-то неладно, и только в южных морях он мог надеяться обрести исцеление. Хуже всего было то, что теперь, перед самым отъездом, у Мартина вдруг пропала всякая охота ехать. Тихий океан казался ему ничуть не лучше буржуазной цивилизации. Никакого подъема при мысли об отъезде он не испытывал,— напротив, его лишь угнетало это новое предстоящее утомление, и он предпочел бы уже находиться на судне и ни о чем более не хлопотать и не думать.

Последний день был для него поистине мучением. Прочтя в газетах об его отъезде, Бернард Хиггинботам и Гертруда со всем семейством, а также Герман Шмидт и Мэриен пришли с ним проститься. Потом пришлось закончить некоторые дела, уплатить по счетам, удовлетворить назойливых репортеров. С Лиззи Конолли он коротко простился у дверей вечерней школы. Вернувшись

в гостиницу, он застал там Джо, который весь день возился в прачечной и только к вечеру освободился и забежал к нему проститься. Это переполнило чашу, но Мартин все же заставил себя полчаса слушать болтовню приятеля, нервно стискивая ручки кресла.

— Имей в виду, Джо,— сказал он, между прочим,— что тебя ничто не привязывает к этой прачечной. В любой момент можешь продать ее и развеять деньги по ветру. Как только тебе все это надоест и захочется опять бродяжничать — собирайся и уходи. Старайся жить так, как тебе нравится!

Джо покачал головой:

— Нет уж, больше я не стану колесить по большим дорогам. Бродягой быть хорошо во всех отношениях, за исключением одного — это я насчет девушек. Не могу без них! Что хочешь, то и делай. А бродить, сам понимаешь, надо одному. Иногда проходишь мимо дома, где играет музыка; заглянешь в окошко — барышни танцуют, хорошенькие, в белых платьях, улыбаются! Ах, чтоб тебе! Прямо жизнь не мила становится. Я ведь люблю пикники, танцы, прогулки под луной и все прочее. То ли дело прачечная, приличный костюм, горсточка долларов в кармане на всякий случай! Я тут повстречал вчера одну девушку. Вот, кажется, так бы сейчас и женился, честное слово. Целый день, как вспомню, на душе веселей становится. Глаза такие ласковые, а голос — просто музыка. Ах, Март, ну какого черта ты не женишься? С такими-то деньгами — да ты можешь жениться на первой красавице!

Мартин усмехнулся и в глубине души удивился, почему вообще человеку приходит желание жениться? Это казалось ему странным и непонятным.

Стоя на палубе «Марипозы» перед самым отплытием, Мартин заметил в толпе провожающих Лиззи Конолли. «Возьми ее с собою», — шепнул ему внутренний голос. «Ведь так легко быть великодушным, а она была бы безмерно счастлива». На секунду он почувствовал искушение, но тотчас оно сменилось паническим ужасом. Усталая душа громко протестовала. Он отошел от борта парохода и прошептал: «Нет, мой милый, ты слишком тяжело болен».

Мартин заперся в своей каюте и сидел там, пока пароход не вышел в открытое море. За обедом в кают-компании ему отвели почетное место, по правую руку от капитана; и он тут же убедился, что все пассажиры «Марипозы» смотрят на него, как полагается смотреть на путешествующую знаменитость. Но никогда еще ни одна знаменитость так не разочаровывала окружающую публику. Большую часть времени великий человек лежал на палубе с полузакрытыми глазами, а вечером первый уходил спать.

Дня через два пассажиры оправились от морской болезни и с утра до вечера толпились в салонах и на палубе. Чем больше времени Мартин проводил в их обществе, тем больше они раздражали его. Впрочем, он понимал, что это несправедливо. В конце концов это были милые и добродушные люди, он заставлял себя признать это и все-таки мысленно прибавлял: как и вся буржуазия с ее душевной ограниченностью и интеллектуальным убожеством. Мартину становилось скучно от разговоров с этими людьми,— до того глупыми и пустыми они ему казались. А шумное веселье молодежи действовало ему на нервы. Молодые люди никогда не сидели спокойно: они носились по палубе, играли в серсо, восхищались дельфинами, приветствовали восторженными кликами стаи летучих рыб.

Мартин много спал. После утреннего завтрака он устраивался в шезлонге с журналом, которого никак не мог дочитать до конца. Печатные строчки утомляли его. Он удивлялся, как это люди могут находить, о чем писать, и, удивляясь, мирно засыпал в своем кресле. Гонг, звавший ко второму завтраку, будил его, и он сердился, что нужно просыпаться.

Однажды, пытаясь стряхнуть с себя это сонное оцепенение, Мартин пошел в кубрик к матросам. Но и матросы, казалось, изменились с тех времен, когда он сам спал на матросской койке. Он не мог найти в себе ничего общего с этими тупыми, скучными, скотоподобными людьми. Он был в полном отчаянии. Там, наверху, Мартин Иден сам по себе никому не был нужен, а вернуться к людям своего класса, которых он знал и которых некогда любил, он тоже уже не мог. Они были не нужны

ему. Они раздражали его так же, как и безмозглые пассажиры первого класса!

Жизнь была для него мучительна, как яркий свет для человека с больными глазами. Жизнь сверкала перед ним и переливалась всеми цветами радуги, и ему было больно. Нестерпимо больно.

В первый раз за всю свою жизнь Мартин Иден путешествовал в первом классе. Прежде во время плаваний на таких судах он или стоял на вахте, или обливался потом в глубине кочегарки. В те дни он нередко высовывал голову из люка и смотрел на толпу разодетых пассажиров, которые гуляли по палубе, смеялись, разговаривали, бездельничали; натянутый над палубой тент защищал их от солнца и ветра, а малейшее их желание мгновенно исполнялось расторопными стюардами. Ему, вылезшему из душной угольной ямы, все это представлялось каким-то раем. А вот теперь он сам в качестве почетного пассажира сидит за столом по правую руку от капитана, все смотрят на него с благоговением, а между тем он тоскует о кубрике и кочегарке, как о потерянном рае. Нового рая он не нашел, а старый был безвозвратно утрачен.

В поисках чего-нибудь, что бы хоть немного заинтересовало его, Мартин решил попытать счастья в среде пароходных служащих. Он заговорил с помощником механика, интеллигентным человеком, который сразу накинулся на него с социалистической пропагандой и набил ему все карманы памфлетами и листовками. Мартин лениво слушал его рассуждения о рабской морали и вспоминал ницшеанскую философию, которую когда-то сам исповедовал. В конце концов какой во всем этом толк? Он вспомнил одно из безумнейших положений безумца Ницше, которым тот подвергал сомнению все, даже самое истину. Что ж, может быть, Ницше и прав! Может быть, истины и нет нигде, даже в самой истине. Может быть, самое понятие истины нелепо. Но его мозг быстро утомился, и он рад был снова улечься в кресло и подремать.

Как ни тягостно было его существование на пароходе, впереди ожидали еще большие тяготы. Что будет, когда пароход придет на Таити? Сколько хлопот, сколько усилий воли! Надо будет позаботиться о товарах, найти

шхуну, идущую на Маркизские острова, проделать тысячу разных необходимых и утомительных вещей. И каждый раз, заставив себя задуматься обо всем этом, он начинал ясно понимать угрожавшую ему опасность. Да, он уже находился в Долине Теней, и самое ужасное было, что он не чувствовал страха. Если бы он хоть немного боялся, он мог бы вернуться к жизни, но он не боялся, и потому все глубже погружался во мрак. Ничто в жизни уже не радовало его, даже то, что он так любил когда-то. Вот навстречу «Марипозе» подул давно знакомый северо-восточный пассат, но этот ветер, некогда пьянивший его, как вино, теперь только раздражал. Он велел передвинуть свое кресло, чтобы избежать непрошенных ласк этого доброго товарища былых дней и ночей.

Но особенно несчастным почувствовал себя Мартин в тот день, когда «Марипоза» вступила в тропики. Сон покинул его. Он слишком много спал и теперь поневоле должен был бодрствовать, глядеть на жизнь и жмуриться от ее невыносимого блеска. Он беспокойно метался по палубе. Воздух был влажен и горяч, и частые внезапные ливни не освежали. Мартину было больно жить. Иногда в изнеможении он падал в свое кресло, но, отдохнув немного, вставал и снова начинал бродить взад и вперед. Он заставил себя дочитать, наконец, журнал и взял в библиотеке несколько томиков стихов. Но он не мог сосредоточиться на чтении и предпочел продолжать свои прогулки.

Вечером Мартин спустился к себе в каюту последним, но, несмотря на поздний час, не мог уснуть. Единственное средство отдохнуть от жизни перестало действовать. Это было уж слишком! Он зажег свет и взял книгу. То был томик стихотворений Суинберна. Мартин некоторое время перелистывал страницы и вдруг заметил, что читает с интересом. Он дочитал стихотворение, начал читать дальше, но опять вернулся к прочитанному. Уронив, наконец, книгу к себе на грудь, он задумался. Да! Это оно! Это то самое! Как странно, что он ни разу не подумал об этом раньше. Это был ключ ко всему; он все время бессознательно шел к этому, а теперь Суинберн указал ему лучший выход. Ему был нужен покой, и покой ожидал его. Мартин взглянул на иллюминатор. Да, он

был достаточно широк. В первый раз за много-много дней сердце его радостно забилося. Наконец-то он нашел средство от своего недуга! Он поднял книжку и медленно прочел вслух:

Устав от вечных упований,
Устав от радостных пиров,
Не зная страхов и желаний,
Благословляем мы богов
За то, что сердце в человеке
Не вечно будет трепетать,
За то, что все вольются реки
Когда-нибудь в морскую гладь.

Мартин снова поглядел на иллюминатор. Суинберн указал ему выход. Жизнь была томительна,— вернее, она стала невыносимо томительна и скучна.

За то, что сердце в человеке
Не вечно будет трепетать!..

Да, за это стоит поблагодарить богов. Это их единственное благодеяние в мире! Когда жизнь стала мучительной и невыносимой, как просто избавиться от нее, забывшись в вечном сне!

Чего он ждет? Пора.

Высунув голову из иллюминатора, Мартин посмотрел вниз на молочно-белую пену. «Марипоза» сидела очень глубоко, и, повиснув на руках, он может ногами коснуться воды. Всплеска не будет. Никто не услышит. Водяные брызги смочили ему лицо. Он почувствовал на губах соленый привкус, и это ему понравилось. Он даже подумал, не написать ли свою лебединую песню! Но тут же высмеял себя за это. Да и времени не было. Ему так хотелось покончить поскорее.

Погасив свет в каюте для большей безопасности, Мартин пролез в иллюминатор ногами вперед. Плечи его застряли было, и ему пришлось протискиваться, плотно прижав одну руку к телу. Внезапный толчок парохода помог ему, он выскользнул и повис на руках. В тот миг, когда его ноги коснулись воды, он разжал руки. Белая теплая вода подхватила его. «Марипоза» прошла мимо него, как огромная черная стена, кое-где прорезанная освещенными дисками иллюминаторов. Пароход шел быстро. И едва он успел подумать об этом, как очутился

уже далеко за кормой и спокойно поплыл по вспененной поверхности океана.

Бонита, привлеченная белизной его тела, кольнула его, и Мартин рассмеялся. Боль напомнила ему, зачем он в воде. В своих стараниях выбраться он совсем было забыл о главной цели. Огни «Марипозы» уже терялись вдали, а он все плыл и плыл, словно хотел доплыть до ближайшего берега, который был за сотни миль отсюда.

Это был бессознательный инстинкт жизни. Мартин перестал плыть, но, как только волны сомкнулись над ним, он снова заработал руками. «Воля к жизни», — подумал он и, подумав, презрительно усмехнулся. Да, у него есть воля, и воля достаточно твердая, чтобы последним усилием пресечь свое бытие.

Он принял вертикальное положение. Он взглянул на тихие звезды и в то же время выдохнул из легких весь воздух. Быстрым, могучим движением ног и рук он наполовину высунулся из воды, чтобы сильнее и быстрее погрузиться. Он должен был опуститься на дно моря, как белая статуя. Погрузившись, он начал вдыхать воду, как больной вдыхает наркотическое средство, чтобы скорей забыться. Но когда вода хлынула ему в горло и стала душить его, он непроизвольно, инстинктивным усилием вынырнул на поверхность и снова увидел над собой яркие звезды.

«Воля к жизни», — снова подумал он с презрением, тщетно стараясь не вдыхать свежий ночной воздух наболевшими легкими. Хорошо, он попробует по-другому! Он глубоко вздохнул несколько раз. Набрав как можно больше воздуха, он нырнул, нырнул головою вниз, со всею силою, на какую только был способен. Он плыл ко дну, погружаясь все глубже и глубже. Открытыми глазами он видел голубоватый фосфорический свет. Бониты, как привидения, проносились мимо. Он надеялся, что они не тронут его, потому что это могло разрядить напряжение его воли. Они не тронули, и он мысленно поблагодарил жизнь за эту последнюю милость.

Все глубже и глубже погружался он, чувствуя, как немеют его руки и ноги. Он принимал, что находится на большой глубине. Давление на барабанные перепонки

становилось нестерпимым, и голова, казалось, разрывалась на части. Невероятным усилием воли он заставил себя погрузиться еще глубже, пока, наконец, весь воздух не вырвался вдруг из его легких. Пузырьки воздуха скользнули у него по щекам и по глазам и быстро помчались вверх. Тогда начались муки удушья. Но своим угасающим сознанием он понял, что эти муки еще не смерть. Смерть не причиняет боли. Это была еще жизнь, последнее содрогание, последние муки жизни. Это был последний удар, который наносила ему жизнь.

Его руки и ноги начали двигаться, судорожно и слабо. Поздно! Он перехитрил волю к жизни! Он был уже слишком глубоко. Ему уже не выплыть на поверхность. Казалось, он спокойно и мерно плывет по безбрежному морю видений. Радужное сияние окутало его, и он словно растворился в нем. А это что? Словно маяк! Но он горел в его мозгу — яркий, белый свет. Он сверкал все ярче и ярче. Страшный гул прокатился где-то, и Мартину показалось, что он летит стремглав с крутой гигантской лестницы вниз, в темную бездну. Это он ясно понял! Он летит в темную бездну, — и в тот самый миг, когда он понял это, сознание навсегда покинуло его.

СТАТЬИ

«ФОМА ГОРДЕЕВ»

«Фома Гордеев» — большая книга; в ней не только простор России, но и широта жизни. В нашем мире рынков и бирж, в наш век спекуляций и сделок из каждой страны доносятся страстные голоса, требующие жизнь к ответу. В «Фоме Гордееве» свой голос подымает русский, ибо Горький — подлинно русский в своем восприятии и понимании жизни. Свойственные русским самонаблюдение и углубленный самоанализ свойственны и ему. И, как у всех русских собратьев Горького, его творчество насыщено горячим, страстным протестом. И это не случайно. Горький пишет потому, что у него есть что сказать миру, и он хочет, чтобы слово его было услышано. Из его стиснутого могучего кулака выходят не изящные литературные безделушки, приятные, усладительные и лживые, а живая правда, — да, тяжеловесная, грубая и отталкивающая, но правда.

Он поднял голос в защиту отверженных и презираемых, он обличает мир торгашества и наживы, протестует против социальной несправедливости, против жестокого насилия над бедными и слабыми, против злодеяний богатых и сильных, совершаемых ими в бешеной погоне за влиянием и властью. Весьма сомнительно, чтобы средний буржуа, самодовольный и преуспевающий, мог понять Фому Гордеева. Мятежные чувства, владеющие им, не волнуют их кровь. Им не понять, почему этот человек,

обладающий таким здоровьем и миллионами, не мог жить так, как живут люди его класса,— деля свое время между конторой и биржей, заключая темные сделки, разоряя конкурентов и радуясь неудачам своих собратьев. Казалось бы, чего легче жить вот так, в полном благополучии, окруженным почетом и уважением, и умереть в положенный час. Зачем наживать и грабить,— как всегда грубо перебьет Фома,— когда все равно умрешь и обратишься в прах, сколько ни грабь? Но буржуа не поймет его. Не понял его и Маякин, сокрушаясь о своем своенравном крестнике.

«Что вы все хвалитесь? — говорит ему в упор Фома.— Чем тебе хвалиться? Сын-то твой где? Дочь-то твоя — что такое? Эх, ты... устроитель жизни! Ну, умен ты, все знаешь; скажи — зачем живешь? Не умрешь, что ли? Что ты сделал за жизнь? Чем тебя помянут?..»

Маякин молчит, не находит ответа, но слова эти не волнуют и не убеждают его.

Унаследовав яростный, бычий нрав отца и кроткое упрямство и беспокойный дух матери, Фома, гордый и мятежный, презирает эгоистическую, корыстолюбивую среду, в которой он родился. Игнат, его отец, Маякин, его крестный, и вся орда преуспевающих торгашей, которые поют гимны силе и прославляют свободу жестокой конкуренции, не могут переубедить его. «Зачем? — спрашивает он.— Это кошмар — не жизнь! К чему она? Что все это значит? А что там, внутри? И зачем оно, то, что там, внутри?»

«Жалеть людей надо... это ты хорошо делаешь! — говорит Игнат юному Фоме.— Только — нужно с разумом жалеть... Сначала посмотри на человека, узнай, какой в нем толк, какая от него может быть польза? И ежели видишь — сильный, способный к делу человек, — пожалей, помоги ему. А ежели который слабый, к делу не склонен — плюнь на него, пройди мимо. Так и знай — который человек много жалуется на все, да охает, да стонет — грош ему цена, не стоит он жалости, и никакой пользы ты ему не принесешь, ежели и поможешь...»

Таков принцип откровенного и воинствующего торгашества, провозглашенный между двумя рюмками водки. Но вот говорит Маякин, вкрадчиво и без издевки:

«А кто есть нищий? Нищий есть человек, вынужденный судьбой напоминать нам о Христе, он брат Христов, он колокол господень и звонит в жизни для того, чтоб будить совесть нашу, тревожить сытость плоти человеческой... Он стоит под окном и поет: «Христа ра-ади!» — и тем пением напоминает нам о Христе, о святом его завете помогать ближнему... Но люди так жизнь свою устроили, что по Христову учению совсем им невозможно поступать, и стал для нас Иисус Христос совсем лишний. Не единожды, а, может, сто тысяч раз отдавали мы его на распятие, но все не можем изгнать его из жизни, зане братия его нищая поет на улицах имя его и напоминает нам о нем... И вот ныне придумали мы: запереть нищих в дома такие особые и чтоб не ходили они по улицам, не будили бы нашей совести».

Но Фома не приемлет ни то, ни другое. Его не обольстишь и не обманешь. Душа его просит света. Ему необходим свет. И, горя негодованием, он скитается в поисках смысла жизни. «Мысль его вдруг и без усилия обняла собой всех этих маленьких людей, работающих тяжелую работу. Было странно — зачем они живут? Какое удовольствие для них жить на земле? Все только работают свою грязную, трудную работу, едят скверно, одеты плохо, пьянствуют... Иному лет шестьдесят, а он все еще ломается наряду с молодыми парнями... И все они представлялись Фоме большой кучей червей, которые копошатся на земле только для того, чтоб поесть».

Фома настойчиво вопрошает жизнь. Он не может начать жить, не зная смысла жизни, и тщетно ищет он этот смысл. «Я этак жить не могу... Я хочу жить свободно... чтобы самому все знать», — возражает он, когда Маякин уговаривает его вернуться и снова вести дело. Почему люди должны работать на него? Быть рабами ему и деньгам его?

«Работа — еще не все для человека... — говорит он. — Это неверно, что в трудах — оправдание... Которые люди не работают совсем ничего всю жизнь, а живут они лучше трудящихся... это как?.. А я какое оправдание имею? И все люди, которые командуют, чем они оправдаются? Для чего жили? А я так полагаю, что непременно всем надо твердо знать — для чего живешь?.. Неужто затем человек

рождается, чтобы поработать, денег зашибить, дом выстроить, детей народить и — умереть? Нет, жизнь что-нибудь означает собой... Человек родился, пожил и помер — зачем? Нужно сообразить — зачем живешь? Толку нет в жизни нашей... Потом не ровно все — это сразу видно! Одни богаты — на тысячу человек денег у себя имеют... и живут без дела... другие — всю жизнь гнут спину на работе, а нет у них ни гроша...»

Но Фома может быть только разрушителем. Он не создатель. Безотчетно мятущийся пытливый дух его матери и проклятье торгашеского мира тяготуют на нем, доводят его до дебоширства и сумасшествия. Он пьет не потому, что ему приятен вкус вина. Продажные женщины, у которых он ищет удовлетворения низменных склонностей, не привлекают его. Все это грязь и мерзость, но сюда его ведут его искания, и он идет по этому пути. Он знает, что все вокруг — скверна, но не может ни исправить зло, ни объяснить его. Он может лишь обличать и крушить. «Чем вы оправдаетесь? Для чего живете? — вопрошает он синклит торгашей, преуспевающих в жизни. — Вы не жизнь строили — вы помойную яму сделали! Грязищу и духоту развели вы делами своими. Есть у вас совесть? Помните вы бога? Пятак — ваш бог! А совесть вы прогнали...»

Словно вопль Исайи: «Идите, богатые и знатные, плачьте и рыдайте о скорби, иже постигнет вас», звучат слова Фомы: «Кровопийцы! Чужой силой живете... чужими руками работаете! Сколько народу кровью плакало от великих дел ваших? И в аду вам, сволочам, места нет по заслугам вашим... Не в огне, а в грязи кипящей варить вас будут. Веками не избудете мучений...»

Потрясенный всей этой мерзостью, бессильный понять ее, Фома ищет ответа и не находит его — ни у Софьи Медынской в ее нарядной гостиной, ни у гулящей девки, в темных глубинах ее сердца. Не может помочь ему и Любовь, которая читает книги, противоречащие одна другой, ни странники на забитых людьями пароходах, ни куплетисты и проститутки в притонах и кабаках. И так, недоумевая, раздумывая, терзаясь, теряясь в догадках, вертясь в бешеном водовороте жизни, кружась в пляске смерти, вслепую гоняясь за чем-то безыменным, смутным,

в поисках магической формулы, сути вещей, сокровенного смысла — искры света в крошечной тьме, — словом, разумного оправдания жизни, Фома Гордеев идет к безумию и смерти.

Эта книга не из приятных, но это блестящий анализ жизни, не жизни вообще, но жизни современного нам общества; эта книга не радостная, но и в жизни современного общества мало радости. Закрываешь книгу с чувством щемящей тоски, с отвращением к жизни, полной «лжи и разврата». Но это целительная книга. Общественные язвы показаны в ней с таким бесстрашием, намаленные красоты сдираются с порока с такой беспощадностью, что цель ее не вызывает сомнений — она утверждает добро. Эта книга — действенное средство, чтобы пробудить дремлющую совесть людей и вовлечь их в борьбу за человечество.

Но в этой книге, могут заметить, ни одна история не рассказана до конца, ничто не получает завершения. Ведь когда Саша бросилась с плота и плыла к Фоме — это могло явиться началом каких-то событий. Однако ничего существенного не случилось. Саша оставила Фому и уехала с сыном богатого водочного заводчика. Все лучшее, что было в Софье Медынской, оживало, когда она смотрела на Фому взглядом женщины и матери. Она могла бы стать в его жизни благодетельной силой, могла бы озарить ее светом, пробудить в ней сознание, достоинство, оградить его от опасностей. Но она покинула его, и больше он ее не видел. Ни одна история не рассказана до конца, ничто не получает завершения.

Но разве история Фомы Гордеева не рассказана? Разве его жизнь не завершилась, как повседневно завершаются жизни вокруг нас? Это жизненная правда и мастерство Горького — мастерство реалиста. Но его реализм более действенен, чем реализм Толстого или Тургенева. Его реализм живет и дышит в таком страстном порыве, какого они редко достигают. Мантия с их плеч упала на его молодые плечи, и он обещает носить ее с истинным величием.

И все же Фома Гордеев так бессилён, жизнь его так страшна и безнадежна, что мы преисполнились бы глубокой скорбью за Горького, если бы не знали, что он

вырвался из Долины Мрака. Мы знаем, что надежда живет в нем, иначе он не томился бы теперь в тюрьме за то, что мужественно защищал эту надежду. Он знает жизнь и знает, как и для чего следует жить. И вот еще что важно: Фома Гордеев — это не просто воплощение отвлеченной идеи. Ибо так же, как жил и вопрошал жизнь он, так — в поту, в крови и муках — жил и сам Горький.

О СЕБЕ

Я родился в Сан-Франциско в 1876 году. В пятнадцать лет я был уже взрослым, и если мне удавалось сберечь несколько центов, я тратил их не на леденцы, а на пиво,— я считал, что мужчине подобает покупать именно пиво. Теперь, когда я стал вдвое старше, мне так хочется обрести свое отрочество, ибо у меня его не было, и я уже смотрю на вещи отнюдь не столь серьезно, как раньше. И почему знать, вдруг я еще обрету это отрочество! Едва ли не раньше всего в жизни я понял, что такое ответственность. Я совсем не помню, как меня учили грамоте,— читать и писать я умел с пятилетнего возраста,— но знаю, что впервые я пошел в школу в Аламеде, а затем мы переехали на ранчо, и там, с восьми лет, я прилежно работал.

Второй моей школой, где я, сколько мог, старался вкушать науки, было одно беспутное заведение в Сан-Матео. На каждый класс там давалась одна отдельная парта, но очень часто парты нам были совсем не нужны, так как учитель приходил пьяным. Кто-нибудь из мальчиков постарше нередко колотил его, а он, чтобы не остаться в долгу, лупил младших — можете представить себе, что это была за школа. Никто из моих родных и знакомых не питал никакого интереса к литературе,— пожалуй, ближе всех к ней стоял мой прадед: этот валлиец был окружным писарем, в глухих лесах он с энтузиазмом проповедовал евангелие, за что получил прозвище «патер Джонс».

С ранних лет меня поражало невежество людей. На девятом году я с упоением прочитал «Альгамбру» Вашингтона Ирвинга и никак не мог примириться с тем, что никто на ранчо об этой книге ничего не знает. Со временем я пришел к выводу, что такое невежество царит лишь у нас в деревне, в городе же все должно быть по-иному. И вот однажды к нам на ранчо приехал человек из города. Башмаки у него были начищены до блеска, пальто суконное: самый удобный случай, решил я, обменяться мыслями с просвещенным мужем. У меня была выстроена из кирпича от старой развалившейся дымовой трубы своя собственная Альгамбра — башни, террасы, все размечено и обозначено мелом. Я провел городского гостя к своей крепости и стал расспрашивать его об «Альгамбре». Увы, он оказался столь же темным, как и жители ранчо, и мне пришлось утешиться мыслью, что на свете есть всего два умных человека — Вашингтон Ирвинг и я.

Кроме «Альгамбры», я читал в ту пору главным образом десятицентовые романы (я брал их у батраков) да газеты, — в газетах служанки находили захватывающие приключения бедных, но добродетельных продавщиц. От такого чтения мой ум по необходимости должен был получить весьма своеобразное направление, но, чувствуя себя всегда одиноким, я читал все, что только попадало мне в руки. Огромное впечатление произвела на меня повесть Уйда «Сигна», я с жадностью перечитывал ее в течение двух лет. Развязку этой повести я узнал уже взрослым человеком: заключительные главы в моей книге были утеряны, и я вместе с героем повести уносился тогда в мечтах, не подозревая, как и он, что впереди его подстерегает грозная Немезида. Мне поручили в то время караулить пчел; сидя под деревом с восхода солнца до вечера и поджидая, когда пчелы начнут роиться, я вволю и читал и грезил.

Ливерморская долина — плоское, скучное место; не возбуждали во мне любопытства и холмы, окружающие долину. Мои грезы нарушало одно-единственное событие — роенье пчел. Я бил тогда тревогу, а все обитатели ранчо выбегали с горшками, кастрюлями и ведрами, наполненными водой. Мне помнится, что первая строка в повести «Сигна» звучала так: «Это был всего-навсего

маленький мальчик»; однако этот маленький мальчик мечтал о том, что он сделается великим музыкантом, что к его ногам будет повергнута вся Европа. Маленьким мальчиком был и я... Почему бы и мне не сделаться тем же, чем мечтал стать «Сигна»?

Жизнь на калифорнийском ранчо казалась мне тоскливой до крайности; не было дня, чтобы я не мечтал уйти за черту горизонта и увидеть мир. Уже тогда я слышал шепоты, зовущие в дорогу: я стремился к прекрасному, хотя в окружающей меня обстановке не было ничего красивого. Холмы и долины были мне как бельмо на глазу, меня тошнило от них — я полюбил их только тогда, когда расстался с ними.

Мне шел одиннадцатый год, когда я покинул ранчо и переехал в Окленд. Много времени провел я в оклендской публичной библиотеке, жадно читая все, что попадало под руку, — от долгого сиденья за книгами у меня даже появились признаки пляски святого Витта. По мере того как мир раскрывал передо мной свои тайны, я расставался с иллюзиями. Средства на жизнь я зарабатывал продажей газет на улицах; с той поры и до шестнадцати лет я переменил великое множество занятий — работа у меня чередовалась с учением, учение с работой.

В те годы меня палила жажда приключений, и я ушел из дому. Я не бежал, я просто ушел, — выплыл в залив и присоединился к устричным пиратам. Дни устричных пиратов миновали, и если бы меня вздумали судить за пиратство, я сел бы за решетку на пятьсот лет. Позднее я плавал матросом на шхуне и ловил лососей. Почти наверняка, но очередным моим занятием была служба в рыбацьем патруле: я должен был задерживать всякого нарушителя законов рыбной ловли. Немало таких нарушителей — китайцев, греков и итальянцев — занималось тогда противозаконной ловлей, и не один дозорный из охраны поплатился жизнью за попытку призвать их к порядку. При исполнении служебных обязанностей у меня было одно-единственное оружие — стальная вилка, но я бесстрашно, как настоящий мужчина, влезал на борт мародерской лодки и арестовывал ее хозяина.

Затем я нанялся матросом на корабль и уплыл к берегам Японии,— это была экспедиция за котиками. Позже мы побывали еще в Беринговом море. После семимесячной охоты на котиков я, возвратясь в Калифорнию, брался за разную работу: сгребал уголь, был портовым грузчиком, работал на джутовой фабрике; работать там приходилось с шести часов утра до семи вечера. Я рассчитывал на следующий год снова уплыть на охоту за котиками, но прозевал присоединиться к своим старым товарищам по кораблю. Они уплыли на «Мери Томас»,— судно это погибло со всей командой.

В те дни, когда я урывками занимался в школе, я писал обычные школьные сочинения и получал за них обычные отметки; пытался я писать и работая на джутовой фабрике. Работа там занимала тринадцать часов в сутки, но так как я был молод и любил повеселиться, то мне нужен был часок и на себя,— времени на писательство оставалось мало. Сан-Францисская газета «Колл» назначила премию за очерк. Мать уговаривала меня рискнуть, я так и сделал и написал очерк под названием «Тайфун у берегов Японии». Очень усталый и сонный, зная, что завтра в половине пятого надо быть уже на ногах, я в полночь принялся за очерк и писал не отрываясь, пока не написал две тысячи слов — предельный размер очерка,— но тему свою я развил лишь наполовину. На следующую ночь я, такой же усталый и сонный, опять сел за работу и написал еще две тысячи слов, в третью ночь я лишь сокращал и вычеркивал, добиваясь того, чтобы мое сочинение соответствовало условиям конкурса. Первая премия была присуждена мне; вторую и третью получили студенты Стенфордского и Берклийского университета.

Успех на конкурсе газеты «Колл» заставил меня подумать о том, чтобы всерьез взяться за перо. Но я был еще слишком неугомонен, меня все куда-то тянуло, и литературные занятия я откладывал на будущее,— одну статью, сочиненную тогда для «Колл», газета незамедлительно отвергла.

Я обошел все Соединенные Штаты от Калифорнии до Бостона, возвратившись к Тихоокеанскому побережью через Канаду, где мне пришлось отбыть тюремное заклю-

чение за бродяжничество. Опыт, приобретенный во время странствий, сделал меня социалистом. Я уже давно осознал, что труд благороден; еще не читая ни Карлейля ни Киплинга, я начертил собственное евангелие труда, перед которым меркло их евангелие. Труд — это все. Труд — это и оправдание и спасение. Вам не понять того чувства гордости, какое испытывал я после тяжелого дня работы, когда дело спорилось у меня в руках. Я был самым преданным из всех наемных рабов, каких когда-либо эксплуатировали капиталисты. Словом, мой жизнерадостный индивидуализм был в плену у ортодоксальной буржуазной морали. С Запада, где люди в цене и где работа сама ищет человека, я перебрался в перенаселенные рабочие центры Восточных штатов, где люди что пыль под колесами, где все высуня язык мечутся в поисках работы. Это заставило меня взглянуть на жизнь с другой, совершенно новой точки зрения. Я увидел рабочих на человеческой свалке, на дне социальной пропасти. Я дал себе клятву никогда больше не браться за тяжелый физический труд и работать лишь тогда, когда это абсолютно необходимо. С тех пор я всегда бежал от тяжелого физического труда.

Мне шел девятнадцатый год, когда я вернулся в Окленд и поступил в среднюю школу. Там издавали обычный школьный журнал. Его выпускали раз в неделю — нет, пожалуй, раз в месяц — и я помещал в нем рассказы: почти ничего не выдумывая, я описывал свои морские плавания и свои странствия. В школе я пробыл год и, чтобы заработать на жизнь, одновременно служил привратником. Все это требовало такого напряжения сил, что школу пришлось бросить. К тому времени мои социалистические убеждения привлекли ко мне довольно широкое внимание, я был прозван «мальчиком-социалистом» — честь, которая послужила причиной моего ареста за уличные выступления. Оставив школу, я в три месяца самостоятельно прошел трехгодичный школьный курс и поступил в Калифорнийский университет. Прервать учение и лишиться университетского образования я и думать не хотел, — хлеб я добывал работой в прачечной и литературным трудом. Единственный раз я работал из любви

к работе, но задача, которую я себе ставил, была чересчур трудна, и через полгода я расстался с университетом.

Попрежнему я утюжил сорочки и прочие вещи в прачечной и каждую свободную минуту писал. Я старался управиться с тем и другим, но нередко засыпал с пером в руке. Я уволился из прачечной и целиком отдался литературным занятиям, вновь почувствовав и прелесть жизни и прелесть мечты. Просидев три месяца над рукописями, я решил, что писателя из меня не выйдет, и отправился в Клондайк искать золото. Не прошло и года, как я заболел там цынгой и вынужден был возвращаться на родину: тысячу девятьсот миль я проплыл по морю в лодке и успел за это время занести на бумагу лишь кое-какие путевые впечатления. В Клондайке я нашел себя. Там все молчат. Все думают. Там обретаешь правильный взгляд на жизнь. Обрел его и я.

Пока я ездил в Клондайк, умер мой отец, и все заботы о семье легли на меня. В Калифорнии наступили плохие времена, я оказался без заработка. Я бродил в поисках работы и писал рассказ «Вниз по реке». Рассказ этот был отвергнут. Пока решалась судьба рассказа, я успел сочинить новый, в двадцать тысяч слов,—его собиралась печатать в нескольких номерах одна газета, но тоже забраковала. Несмотря на отказы, я все писал и писал новые вещи. Я в глаза не видал ни одного живого редактора. Я не встречал человека, у которого была бы хоть единая напечатанная строчка. Наконец, калифорнийский журнал принял один мой рассказ и заплатил за него пять долларов. Вскоре после этого «Черный кот» предложил мне сорок долларов за рассказ. Так мои дела пошли полным ходом, и в будущем мне, видимо, не придется сгребать уголь, чтобы прокормиться, хотя прежде я умел держать лопату в руках и могу взять ее снова.

Моя первая книга появилась в 1900 году. Я мог бы прекрасно обеспечить себя газетной работой, но у меня было достаточно здравого смысла, чтобы не поддаваться искушению и не стать рабом этой машины, губящей человека: я считаю, что молодых литераторов на первых порах, когда они еще не сложились, газета именно губит. Лишь после того, как я хорошенько зарекомендовал себя в качестве сотрудника журналов, я начал писать для га-

зет. Я верю в необходимость систематической работы и никогда не жду вдохновения. По характеру я не только беспечный и безалаберный человек, но и меланхолик. Но я сумел побороть в себе и то и другое. На мне сильно сказалась дисциплина, которую я познал в бытность мою матросом. Старой матросской привычкой объясняется, вероятно, и то, что сплю я всегда в определенное время и сплю мало. Пять с половиной часов сна — вот норма, которой я обычно придерживаюсь. Еще не было случая, чтобы я почему-либо не лег спать, если время сна уже наступило.

Я большой любитель спорта, с наслаждением занимаюсь боксом, фехтованием, плаванием, верховой ездой, управляю яхтой и даже запускаю бумажных змеев. Хотя я родился в городе, жить мне гораздо больше нравится в предместьи. Но лучше всего жить в деревне — только там и соприкасаешься с природой. Из писателей наибольшее влияние с ранних пор оказали на меня Карл Маркс в частности и Спенсер вообще. В дни моего бесплодного отрочества, если бы представился случай, я занялся бы музыкой. Теперь, когда я вступил, можно сказать, в дни своей подлинной молодости, окажись у меня один или два миллиона долларов, я посвятил бы себя писанию стихов и памфлетов. Лучшими своими произведениями я считаю «Лигу стариков» и кой-какие страницы из «Писем Кэмптон-Уэсс». «Лига стариков» некоторым не нравится. Они предпочитают более яркие и жизнерадостные вещи. Когда дни моей юности останутся позади, я, может быть, и соглашусь с ними.

КАК Я СТАЛ СОЦИАЛИСТОМ

Я ничуть не отступаю от истины, если скажу, что я стал социалистом примерно таким же путем, каким тевтонские язычники стали христианами,— социализм в меня вколотили. Во времена моего обращения я не только не стремился к социализму, но даже противился ему. Я был очень молод и наивен, в достаточной мере невежествен и от всего сердца слагал гимны сильной личности, хотя никогда и не слышал о так называемом «индивидуализме».

Я слагал гимны силе потому, что я сам был силен. Иными словами, у меня было отличное здоровье и крепкие мускулы. И не удивительно — ведь раннее детство я провел на ранчо в Калифорнии, мальчиком продавал газеты на улицах западного города с прекрасным климатом, а в юности дышал озоном бухты Сан-Франциско и Тихого океана. Я любил жизнь на открытом воздухе, под открытым небом я работал, причем брался за самую тяжелую работу. Не обученный никакому ремеслу, переходя от одной случайной работы к другой, я бодро взирал на мир и считал, что все в нем чудесно, все до конца. Повторяю, я был полон оптимизма, ибо у меня было здоровье и сила; я не ведал ни болезней, ни слабости, ни один хозяин не отверг бы меня, сочтя непригодным; во всякое время я мог найти себе дело: сгребать уголь, плавать на корабле матросом, приняться за любой физический труд.

И вот потому-то, в радостном упоении молодостью, умея постоять за себя и в труде и в драке, я был неудержимым индивидуалистом. И это естественно: ведь я был победителем. А посему — справедливо или несправедливо — жизнь я называл игрой, игрой, достойной мужчины. Для меня быть человеком — значило быть мужчиной, мужчиной с большой буквы. Идти навстречу приключениям, как мужчина, сражаться, как мужчина, работать, как мужчина (хотя бы за плату подростка), — вот что увлекало меня, вот что владело всем моим сердцем. И, вглядываясь в туманные дали беспредельного будущего, я собирался продолжать все ту же, как я именовав ее, мужскую игру, — странствовать по жизни во всеоружии неистощимого здоровья и неслабеющих мускулов, застрахованный от всяких бед. Да, будущее рисовалось мне беспредельным. Я представлял себе, что так и стану без конца рыскать по свету и, подобно «белокурой бестии» Ницше, одерживать победы, упиваясь своей силой, своим превосходством.

Что касается неудачников, больных, хилых, старых, калек, то, признаться, я мало думал о них; я лишь смутно ощущал, что, не случись с ними беды, каждый из них при желании был бы не хуже меня и работал бы с таким же успехом. Несчастный случай? Но это уж судьба, а слово судьба я тоже писал с большой буквы: от судьбы не уйдешь. Под Ватерлоо судьба надсмеялась над Наполеоном, однако это не умаляло моего желания стать новым Наполеоном. Я и мысли не допускал, что с моей драгоценной особой может стрястись какая-то беда: подумать об этом, помимо прочего, не позволял мне оптимизм желудка, способного переварить ржавое железо, не позволяло цветущее здоровье, которое только закалялось и крепло от невзгод.

Надеюсь, я достаточно ясно дал понять, как я гордился тем, что принадлежу к числу особо избранных и щедро одаренных натур. Благородство труда — вот что пленяло меня больше всего на свете. Еще не читая ни Карлейля, ни Киплинга, я начертил собственное евангелие труда, перед которым меркло их евангелие. Труд — это все. Труд — это и оправдание и спасение. Вам не понять того чувства гордости, какое испытывал я после

тяжелого дня работы, когда дело спорилось у меня в руках. Теперь, оглядываясь назад, я и сам не понимаю этого чувства. Я был наиболее преданным из всех наемных рабов, каких когда-либо эксплуатировали капиталисты. Ленился или уваливать от работы на человека, который мне платит, я считал грехом — грехом, во-первых, по отношению к себе и, во-вторых, по отношению к хозяину. Это было, как мне казалось, почти столь же тяжким преступлением, как измена, и столь же позорным.

Короче говоря, мой жизнерадостный индивидуализм был в плену у ортодоксальной буржуазной морали. Я читал буржуазные газеты, слушал буржуазных проповедников и восторженно аплодировал трескучим фразам буржуазных политических деятелей. Не сомневаюсь, что, если бы обстоятельства не направили мою жизнь по другому руслу, я попал бы в ряды профессиональных штрейкбрехеров и какой-нибудь особо активный член профсоюза раскрыл бы мне череп дубинкой и переломал руки, навсегда оставив беспомощным калекой.

Как раз в то время я возвратился из семимесячного плавания матросом, мне только что минуло восемнадцать лет и я принял решение пойти бродяжить. С Запада, где люди в цене и где работа сама ищет человека, я то на крыше вагона, то на тормозах добрался до перенаселенных рабочих центров Востока, где люди — что пыль под колесами, где все высуня язык мечутся в поисках работы. Это новое странствие в духе «белокурой бестии» заставило меня взглянуть на жизнь с другой, совершенно новой точки зрения. Я уже не был пролетарием, я, по излюбленному выражению социологов, опустился «на дно», и я был потрясен, узнав те пути, которыми люди сюда попадают.

Я встретил здесь самых разнообразных людей, многие из них были в прошлом такими же молодцами, как я, такими же «белокурой бестиями», — этих матросов, солдат, рабочих смял, искалечил, лишил человеческого облика тяжелый труд и вечно подстерегающее несчастье, а хозяева бросили их, как старых кляч, на произвол судьбы. Вместе с ними я обивал чужие пороги, дрожал от стужи в товарных вагонах и городских парках. И я слушал их рассказы: свою жизнь они начинали не хуже меня.

желудки и мускулы у них были когда-то такие же крепкие, а то и покрепче, чем у меня, однако они заканчивали свои дни здесь, перед моими глазами, на человеческой свалке, на дне социальной пропасти.

Я слушал их рассказы, и мозг мой начал работать. Мне стали очень близки судьбы уличных женщин и бездомных мужчин. Я увидел социальную пропасть так ясно, словно это был какой-то конкретный, осязаемый предмет; глубоко внизу я видел всех этих людей, а чуть выше видел себя, из последних сил цепляющегося за ее скользкие стены. Не скрою, меня охватил страх. Что будет, когда мои силы сдадут? Когда я уже не смогу работать плечо к плечу с теми сильными людьми, которые сейчас еще только ждут своего рождения? И тогда я дал великую клятву. Она звучала примерно так: *«Все дни своей жизни я выполнял тяжелую физическую работу, и каждый день этой работы толкал меня все ближе к пропасти. Я выберусь из пропасти, но выберусь не силой своих мускулов. Я не стану больше работать физически: да поразит меня господь, если я когда-либо вновь возьмусь за тяжелый труд, буду работать руками больше, чем это абсолютно необходимо»*. С тех пор я всегда бежал от тяжелого физического труда.

Однажды, пройдя около десяти тысяч миль по Соединенным Штатам и Канаде, я попал к Ниагарскому водопаду и здесь был арестован констеблем, который хотел на этом заработать. Мне не дали и рта раскрыть в свое оправдание, тут же приговорили к тридцати дням заключения за отсутствие постоянного местожительства и видимых средств к существованию, надели на меня наручники, сковали общей цепью с группой таких же горемык, как и я, отвезли в Буффало, где поместили в исправительную тюрьму округа Эри, начисто сбрили мне волосы и пробивающиеся усы, одели в полосатую одежду арестанта, сдали студенту-медику, который на таких, как я, учился прививать оспу, поставили в шеренгу и принудили работать под надзором часовых, вооруженных винчестерами,— и все это лишь за то, что я отправился на поиски приключений в духе «белокурой бестии». О дальнейших подробностях лучше не рассказывать, но я могу заявить одно: мой американский патриотизм с тех пор изрядно

повыветрился или, пожалуй, и совсем улетучился, во всяком случае после всех этих испытаний я стал куда больше думать и заботиться о мужчинах, женщинах и детях, чем о каких-то условных границах на географической карте.

Но вернемся к моему обращению. Теперь, я полагаю, всякому видно, что мой неудержимый индивидуализм был весьма успешно выбит из меня и что столь же успешно в меня вколотили нечто другое. Но точно так же, как я не знал, что был индивидуалистом, так теперь неведомо для себя я стал социалистом, весьма далеким, конечно, от социализма научного. Я родился заново, но, не будучи заново крещен, продолжал странствовать по свету, стараясь понять, что же в конце концов я такое. Но вот я возвратился в Калифорнию и засел за книги. Не помню, какую книгу я раскрыл первой, да это, пожалуй, и неважно. Я уже был тем, чем был, и книги лишь объяснили мне, что это такое, а именно, что я социалист. С тех пор я прочел немало книг, но ни один экономический или логический довод, ни одно самое убедительное свидетельство неизбежности социализма не оказало на меня того глубокого воздействия, какое я испытал в тот день, когда впервые увидел вокруг себя стены социальной пропасти и почувствовал, что начинаю скользить вниз, вниз — на самое ее дно.

ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «БОРЬБА КЛАССОВ»

Когда я был безусым мальчишкой, все смотрели на меня, как на чудовище: шутка ли сказать — ведь я был социалист! Репортеры местных газет приходили меня исповедовать, а потом печатали мои интервью, более похожие на историю болезни некоей странной, ненормальной личности. В ту пору (лет девять-десять назад) я ратовал за муниципализацию коммунальных предприятий в моем родном городе и меня называли «красным поджигателем», «террористом», «анархистом», а мои товарищи, отличные ребята, которые прекрасно ко мне относились, приходили в ужас при одной мысли, что их сестер могут увидеть со мной на улице; здесь их дружба кончалась.

Однако времена меняются. Наступил день, когда я в моем родном городе, из уст мэра, члена демократической партии, услышал: «Муниципализация коммунальных предприятий—это исконная американская политика». Стой поры акции мои стали повышаться. Медицинские обследования кончились, и мои товарищи, замечательные ребята, больше не приходили в ужас, увидев где-нибудь на улице рядом со своими сестрами и мою физиономию. О моих политических и социальных взглядах теперь отзывались, как о юношеской блажи. Почтенные отцы семейства похлопывали меня по плечу и говорили, что когда-нибудь, со временем, из меня еще выйдет добропорядочный гражданин, человек просвещенных взглядов. Мне также говорили, что убеждения мои всецело объясняются

карманной чахоткой: как только появится у меня немножко денег, все это как рукой снимет,— и тогда мы окончательно поладим.

А потом наступил день, когда мой социализм стали даже уважать: да, юношеская блажь, но блажь романтическая и по-своему благородная. Романтизм в глазах буржуа пользовался уважением, потому что был не опасен. В качестве «красного», с бомбой в каждом кармане, я представлял известную опасность; но в качестве юнца, вооруженного всего-навсего кое-какими философскими идеями немецкого происхождения, я был просто славным малым, приятным собеседником.

Во всех этих превращениях одно казалось мне неоспоримым: менялся не я, менялось окружающее меня общество. Ибо что касается моих социалистических взглядов, то они с годами приобретали все большую твердость и ясность. Менялось, повторяю, общество, и менялось, как я стал с огорчением замечать, в том направлении, что оно уже не гнушалось попользоваться кое-чем из моего арсенала. Когда я отстаивал муниципализацию коммунальных предприятий, меня называли «красным», но когда с этим лозунгом выступил городской мэр, утверждавший, что это исконная американская политика, ему аплодировали. Он украл его у меня, и слушатели аплодировали ему за воровство. А потом те же самые обыватели даже брались поучать меня насчет того, что такое муниципализация и каковы ее преимущества.

Однако то, что происходило со мной, происходило со всем американским социалистическим движением. Социализм в глазах американского буржуа постепенно превратился в безобидную блажь, и вскоре обе наши старые партии стали потихоньку грабить его для своих целей. Социализм, таким образом, попал в положение смиренного рабочего, честного труженика, которого безнаказанно грабят — и потому уважают.

Только то, что несет в себе опасность, вызывает отвращение и ненависть. Все, что не опасно, заслуживает всяческого уважения. Именно так обстояло дело с социализмом в Соединенных Штатах. В течение нескольких лет социализм уважали. Буржуа видел в нем некую прекрасную несбыточную мечту — так сказать, Утопию,— но мечту,

и только. В то время — и оно уже на исходе — социализм терпели, потому что видели в нем нечто несбыточное — безопасное. Кое-какие громы из его арсенала расхватывали и пустили по рукам, а рабочих успешно «кормили завтраками». Никакой опасности ниоткуда не предвиделось. Добрая старая земля продолжала вертеться так, как ей положено: акционерам выплачивали дивиденды, из рабочих выколачивали все большие и большие прибыли. Казалось, что выплачивание дивидендов и выколачивание прибылей так вот и будет продолжаться во веки веков. Это были богоугодные занятия, их благословил сам господь бог. Так говорили газеты, проповедники и директора колледжей, а, по мнению буржуа, их устами глаголет истина.

Но тут нагрянули президентские выборы 1904 года. Громом среди ясного неба явилась для всех большая победа социалистов: за их список было подано 435 000 голосов — в четыре раза больше, чем на прошлых выборах, — небывалая цифра! Со времен Гражданской войны третья партия лишь однажды собрала столько голосов. Социализм вдруг заявил о себе как о живой, растущей революционной силе. Он опять становится опасен; боюсь, как бы теперь нас с ним и вовсе не перестали уважать. По крайней мере в этом духе высказывается сейчас капиталистическая пресса; вот несколько выдержек из газетных статей, появившихся уже после выборов:

«Демократическая партия — эта опора конституции — умерла. Зато у нас есть социал-демократическая партия, партия континентальной Европы, проповедующая недовольство и классовую ненависть, нападающая на закон, собственность и права личности, призывающая к экспроприации и грабежу» (*«Чикаго Кроникл»*).

«Достаточно сказать, что 40 000 голосов было подано у нас за то, чтобы такая личность, как Юджин У. Деббс, стал президентом Соединенных Штатов. Нечего сказать, хорошая реклама для Чикаго!» (*«Чикаго Интер-Оушн»*).

«Нельзя закрывать глаза на быстрый рост у нас социализма, хотя, казалось бы, уж в Америке меньше всего для этого оснований» (*«Бруклин Дэйли Игл»*).

«События прошедшего вторника налагают огромную ответственность на республиканскую партию... Она знает, как нам необходимы реформы, решительные, коренные реформы, и располагает всеми полномочиями, чтобы их провести. Если она этого не сделает, то да поможет бог нашей цивилизации!.. Надо ударить по трестам,— а то как бы нашей правящей партии не пришлось отвечать перед всем миром, если наш строй рухнет и уступит место социалистической республике. Надо также раз навсегда покончить с произвольным урезыванием заработной платы— это тоже лишний козырь для прихода социалистов к власти» («*Чикаго Нью Уорлд*»).

«Пожалуй, самая примечательная черта прошедших выборов заключается в победе социалистов— в резком повышении числа голосов, поданных за их список... Еще до выборов мы указывали, что всякие поблажки и послабления в отношении социалистов могут дорого нам обойтись... С ним (социализмом) надо бороться во всех областях, беря под обстрел любое его начинание» («*Сан-Франциско Аргонавт*»).

Да, социализм опасен, и я меньше всего хочу отрицать это. Он намерен стереть с лица земли, вырвать с корнем все капиталистические учреждения современного общества. Социализм—это революция, революция такого размаха и такой глубины, каких еще не знала история. Изумленному миру он являет новое зрелище— *организованного международного революционного движения*. Для буржуазного сознания классовая борьба представляется чем-то чудовищным и ненавистным, но ведь социализм это и есть классовая борьба, всеобъемлющая классовая борьба между неимущими рабочими и имущими хозяевами рабочих во всем мире. Первое положение социализма состоит в том, что эта борьба носит классовый характер. Рабочий класс, по законам общественного развития (иначе говоря, по самой своей природе), должен встать против капиталистического господства и свергнуть класс капиталистов. Вот какую угрозу несет социализм! И, заявляя об этом и присягая ему в верности, я охотно

принимаю все вытекающие отсюда последствия — очевидно, меня теперь перестанут уважать.

Однако для рядового буржуа социализм так и остается только неясной, бесформенной угрозой. Когда рядовой представитель класса капиталистов берется рассуждать о социализме, он лишь расписывается в собственном невежестве. Он не знает ни литературы, ни философии социализма, ни его политики. Он только преважно качает головой и потрясает ржавым копьём давно устаревших и истрепанных мыслей. Он лепечет фразы, вроде: «Люди неравны и не могут быть равны от рождения»; «Все это — несбыточная утопия»; «Умеренность должна вознаграждаться»; «Человек должен сперва духовно переродиться»; «Колонии на кооперативных началах всегда терпели крах»; и, наконец: «А что, если мы всех уравнием? Пройдет десять лет, и люди опять будут делиться на бедных и богатых».

Поистине пора капиталистам узнать кое-что о социализме, который, как они уже чувствуют, представляет для них угрозу. И автор этого сборника надеется, что поможет хотя бы некоторым из них немного просветиться. Капиталисту не мешает раз навсегда усвоить, что социалистическое учение основано отнюдь не на равенстве, а, напротив, на неравенстве людей. Он должен понять, что для того, чтобы идеи социализма претворились в жизнь, человеку вовсе не нужно духовно переродиться. Он должен узнать, что социализм видит вещи такими, как они есть, а не такими, какими они должны быть, и что те, к кому социализм обращается, это самые простые люди, обыкновенная, теплая человеческая глина, существа слабые и грешные, жалкие и ничтожные, половинчатые и ни с чем несообразные, но с божественной искрой, с печатью возвышенного, озаренные там и сям проблесками бескорыстия и самопожертвования, с горячим стремлением к добру, самоотречению и подвигу — и с совестью, величественной и суровой совестью, временами превращающейся в грозного судию, который повелительно требует правды, только правды, ничего, кроме правды.

*Окленд, Калифорния,
12 января 1905.*

ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ МЕНЯ ЖИЗНЬ

Я родился в рабочей среде. Рано познал я восторженность, власть мечты, стремление к идеалам; и добиться желанной цели — было надеждой моего детства. Меня окружали грубость, темнота, невежество. И смотрел я больше не вокруг, а вверх. Место мое в обществе было на самом дне. Жизнь здесь не давала ничего, кроме убожества и уродства тела и духа, ибо тело и дух здесь в равной мере были обречены на голод и муки.

Надо мной высилось громадное здание общества, и мне казалось, что выход для меня — это подняться вверх. Прodelать этот путь я решил еще в детстве. Там, наверху, мужчины носили черные сюртуки и накрахмаленные рубашки, а женщины одевались в красивые платья. Там же была вкусная еда, и еды было вдоволь. Это для тела. Но там же были и духовные блага. Я верил, что там, наверху, можно встретить бескорыстие, мысль ясную и благородную, ум бесстрашный и пытливый. Я знал это потому, что читал развлекательные романы, где все герои, исключая злодеев и интриганов, красиво мыслят и чувствуют, возвышенно декламируют и состязаются друг с другом в благородстве и доблести. Короче говоря, я скорее усомнился бы в том, что солнце завтра вновь взойдет на небе, чем в том, что в светлом мире надо мной сосредоточено все чистое, прекрасное, благородное, — все то, что оправдывает и украшает жизнь и вознаграждает человека за труд и лишения.

Но не так-то легко пробиться снизу вверх, в особенности если ты обременен иллюзиями и не лишен идеалов. Я жил на ранчо в Калифорнии, и обстоятельства понуждали меня упорно искать лесенку, по которой я мог бы вскарабкаться наверх. Я рано начал допытываться, сколько дохода приносит денежный вклад, и терзал свои детские мозги, стараясь постичь благодеяния и преимущества этого замечательного человеческого изобретения — сложных процентов. Затем я установил, каковы действующие ставки заработной платы рабочих всех возрастов и каков их прожиточный минимум. На основе собранных сведений я пришел к выводу, что если я немедленно начну действовать и буду работать и копить деньги, то к пятидесяти годам смогу бросить работу и вкушать те блага и радости, которые станут мне доступны на более высокой ступени общественной лестницы. Само собой разумеется, что я твердо решил не жениться и совершенно упустил из виду болезни — этот страшный бич трудового люда.

Но жизнь, бившая во мне ключом, требовала большего, чем жалкое существование мелкого скопидома. К тому же десяти лет от роду я стал продавцом газет, и мои планы на будущее стали быстро меняться. Вокруг меня было все то же убожество и уродство, а высоко надо мной — все тот же далекий и манящий рай; но взбираться к нему я решил по другой лестнице — по лестнице бизнеса. К чему копить деньги и вкладывать их в государственные облигации, когда, купив две газеты за пять центов, я мог, почти не сходя с места, продать их за десять и таким образом удвоить свой капитал? Я окончательно избрал лестницу бизнеса и уже видел себя лысым и преуспевающим королем торгашей.

Обманчивые мечты! В шестнадцать лет я в самом деле получил титул «короля». Но этот титул был присвоен мне бандой головорезов и воров, которые называли меня «королем устричных пиратов». К этому времени я уже поднялся на первую ступень лестницы бизнеса. Я стал капиталистом. Я был владельцем судна и полного снаряжения, необходимого устричному пирату. Я начал эксплуатировать своих ближних. У меня была команда в составе одного человека. В качестве капитана и владельца судна я забирая себе две трети добычи и отдавал команде одну

треть, хотя команда трудилась так же тяжело, как и я, и так же рисковала жизнью и свободой.

Эта первая ступень оказалась пределом, которого я достиг на лестнице бизнеса. Однажды ночью я совершил налет на китайские рыбацьи лодки. Веревки и сети стоили денег, это были доллары и центы. Я совершил грабеж — согласен; но мой поступок полностью отвечал духу капитализма. Капиталист присваивает собственность своих ближних, искусственно сбивая цену, злоупотребляя доверием или покупая сенаторов и членов верховного суда. Я же пользовался более грубыми приемами — в этом была вся разница, — я пускал в ход револьвер.

Но в ту ночь моя команда оказалась в числе тех ротозеев, по адресу которых порою так негодует капиталист, ибо они весьма чувствительно увеличивают непроизводительные расходы и сокращают прибыль. Моя команда была повинна и в том и в другом. Из-за ее небрежности загорелся и пришел в полную негодность парус с грот-мачты. О прибыли нечего было и думать, китайские же рыбаки получили чистый доход в виде тех сетей и веревок, которые нам не удалось украсть. Я оказался банкротом, неспособным уплатить шестьдесят пять долларов за новый парус. Я поставил свое судно на якорь и, захватив в бухте пиратскую лодку, отправился в набег вверх по реке Сакраменто. Пока я совершал это плавание, другая шайка пиратов, орудовавшая в бухте, разграбила мое судно. Пираты утащили с него все, вплоть до якорей. Некоторое время спустя я нашел его остов и продал за двадцать долларов. Итак, я скатился с той первой ступени, на которую было взобрался, и уже никогда больше не вступал на лестницу бизнеса.

С тех пор меня безжалостно эксплуатировали другие капиталисты. У меня были крепкие мускулы, и капиталисты выжимали из них деньги, а я — весьма скудное пропитание. Я был матросом, грузчиком, бродягой; работал на консервном заводе, на фабриках, в прачечных; косил траву, выколачивал ковры, мыл окна. И никогда не пользовался плодами своих трудов! Я смотрел, как дочка владельца консервного завода катается в своей коляске, и думал о том, что и мои мускулы — в какой-то степени — помогают этой коляске плавно катиться на резиновых

шинах. Я смотрел на сына фабриканта, идущего в колледж, и думал о том, что и мои мускулы — в какой-то степени — дают ему возможность пить вино и веселиться с друзьями.

Но меня это не возмущало. Я считал, что таковы правила игры. Они — это сила. Отлично, я тоже не из слабых. Я пробьюсь в их ряды и буду сам выжимать деньги из чужих мускулов. Я не боялся работы. Я люблю тяжелый труд. Я напрогу все силы, буду работать еще упорней и в конце концов стану столпом общества.

Как раз в это время — на ловца и зверь бежит — я повстречал работодателя, который придерживался тех же взглядов. Я хотел работать, а он, в еще большей степени, хотел, чтобы я работал. Я думал, что осваиваю новую профессию, — в действительности же я просто работал за двоих. Я думал, что мой хозяин готовит из меня электротехника. А дело сводилось к тому, что он зарабатывал на мне пятьдесят долларов ежемесячно. Два рабочих, которых я заменил, получали ежемесячно по сорок долларов каждый. Я выполнял их работу за тридцать долларов в месяц.

Мой хозяин заездил меня чуть не до смерти. Можно любить устрицы, но, если их есть сверх меры, почувствуешь к ним отвращение. Так вышло и со мной. Работая сверх сил, я возненавидел работу, я видеть ее не мог. И я бежал от работы. Я стал бродягой, ходил по дворам и просил подаяния, колесил по Соединенным Штатам, обливаясь кровавым потом в трущобах и тюрьмах.

Я родился в рабочей среде и вот теперь, в восемнадцать лет, стоял ниже того уровня, с которого начал. Я очутился в подвальном этаже общества, в преисподних глубинах нищеты, о чем не очень приятно, да и не стоит говорить. Я очутился на дне, в бездне, в выгребной яме человечества, в душном склепе, на свалке нашей цивилизации. Это такой закоулок в здании общества, который предпочитают не замечать. Недостаток места заставляет меня умолчать о нем, и я скажу лишь, что то, что я там увидел, повергло меня в ужас.

Потрясенный, я стал размышлять. И наша сложная цивилизация предстала предо мной в своей обнаженной простоте. Вся жизнь сводилась к вопросу о пище и крове. Для того чтобы добыть кров и пищу, каждый что-нибудь

продавал. Купец продавал обувь, политик — свою совесть, представитель народа — не без исключения, разумеется, — народное доверие; и почти все торговали своей честью. Женщины — и падшие и связанные священными узами брака — готовы были торговать своим телом. Все было товаром, и все люди — продавцами и покупателями. Рабочий мог предложить для продажи только один товар — свои мускулы. На его честь на рынке не было спроса. Он мог продавать и продавал только силу своих мускулов.

Но этот товар отличался одним весьма существенным свойством. Обувь, доверие и честь можно было обновить. Запас их был неиссякаем. Мускулы же нельзя было обновить. По мере того как торговец обувью распродал свой товар, он пополнял запасы его. Но рабочий не имел возможности восстановить запас своей мускульной силы. Чем больше он продавал, тем меньше у него оставалось. Только этот товар и был у него, и с каждым днем запас его уменьшался. И наступал день, — если только рабочий доживал до него, — когда он продавал остатки своего товара и закрывал лавочку. Он становился банкротом, и ему ничего не оставалось, как спуститься в подвальный этаж общества и умереть с голода.

Затем я узнал, что человеческий мозг тоже является товаром. И что этот товар также имеет свои особенности. Торговец мозгом в пятьдесят — шестьдесят лет находится в расцвете сил, и в это время изделия его ума ценятся дороже, чем когда-либо. А рабочий уже к сорока пяти — пятидесяти годам истощает свой запас сил.

Я находился в подвальном этаже общества и считал это место не подходящим для жилья. Водопровод и канализация были в антисанитарном состоянии, дышать было нечем. Если уж мне нельзя было жить в бельэтаже, то стоило попытаться попасть хотя бы на чердак. Правда, рацион там тоже был скудный, но зато воздух чистый. Я решил не продавать больше мускульную силу, а торговать изделиями своего ума.

Тогда началась бешеная погоня за знаниями. Я вернулся в Калифорнию и погрузился в чтение книг. Готовясь к тому, чтобы стать торговцем мозгом, я невольно углубился в область социологии. И тут, в книгах определенного толка, я нашел научное обоснование тех про-

стых социологических идей, до которых додумался самостоятельно. Другие и более сильные умы еще до моего появления на свет установили все то, о чем и я думал, и еще многое такое, что мне и не снилось. Я понял, что я социалист.

Социалисты — это революционеры, стремящиеся разрушить современное общество, чтобы на его развалинах построить общество будущего. Я тоже был социалистом и революционером. Я вошел в группу революционных рабочих и интеллигентов и впервые приобщился к умственной жизни. Среди них было немало ярко талантливых, выдающихся людей. Здесь я встретил сильных и бодрых духом, с мозолистыми руками, представителей рабочего класса, лишенных сана священников, чье понимание христианства оказалось слишком широким для почитателей маммоны; профессоров, не ужившихся с университетским начальством, насаждающим пресмыкательство и раболепие перед правящими классами, — профессоров, которых выкинули вон, потому что они обладали знанием и старались употребить его на благо человечества.

У революционеров я встретил возвышенную веру в человека, горячую преданность идеалам, радость бескорыстия, самоотречения и мученичества — все то, что окрыляет душу и устремляет ее к новым подвигам. Жизнь здесь была чистой, благородной, живой. Жизнь здесь восстановила себя в правах и стала изумительна и великолепна, и я был рад, что живу. Я общался с людьми горячего сердца, которые человека, его душу и тело, ставили выше долларов и центов и которых плач голодного ребенка волнует больше, чем трескотня и шумиха по поводу торговой экспансии и мирового владычества. Я видел вокруг себя лишь благородные порывы и героические устремления, и мои дни были солнечным сиянием, а ночи — сиянием звезд, и в искрах росы и в пламени передо мной сверкал священный Грааль, символ страждущего, угнетенного человечества, обретающего спасение и избавление от мук.

А я, жалкий глупец, я думал, что это всего лишь предвкушение тех радостей, которые я обрету в верхних этажах общества. Я утратил немало иллюзий с тех пор, когда на ранчо в Калифорнии читал развлекательные романы. Но мне предстояло еще много разочарований.

В качестве торговца мозгом я имел успех. Общество раскрыло передо мной свои парадные двери. Я сразу очутился в гостиной и очень скоро утратил свои последние иллюзии. Я сидел за обеденным столом вместе с хозяевами этого общества, с их женами и дочерьми. Одеты женщины были красиво — все это так; но, к моему простодушному изумлению, я обнаружил, что они из того же теста, что и все женщины, которых я знал в подвальном этаже. Оказалось, что, несмотря на различие в одежде, «знатная леди и Джуди О'Греди во всем остальном равны».

Но меня поразило не столько это обстоятельство, сколько их низменный материализм. Верно, эти красиво одетые и красивые женщины были не прочь поболтать о милых их сердцу маленьких идеалах и столь же милых и мелких добродетелях, но их детская болтовня не могла скрыть основного стержня их жизни — голого расчета. А в какой покров сентиментальности обряжали они свой эгоизм! Они занимались всякого рода мелкой благотворительностью, причем охотно ставили вас об этом в известность, а между тем та пища, которую они ели, и те платья, которые носили, были куплены на дивиденды, запятнанные кровью детского труда, кровью потогонного труда и кровью тех, кто был вынужден торговать своим телом. Когда я говорил об этом и в простоте души ожидал, что эти сестры Джуди О'Греди немедленно сбросят с себя залитые кровью шелка и драгоценные камни, они обижались и со злобой возражали мне, что нищета в подвальном этаже общества явилась следствием мотовства, пьянства и врожденной порочности. Когда же я замечал, что не понимаю, каким образом мотовство, пристрастие к спиртным напиткам и врожденная порочность полуголодного шестилетнего ребенка заставляют его ежедневно работать по двенадцати часов на бумагопрядильной фабрике Юга, то мои собеседницы обрушивались на мою личную жизнь и называли меня «агитатором», — видимо, считая, что на такой веский довод возразить нечего.

Не лучше чувствовал я себя и в кругу своих хозяев. Я ожидал встретить людей нравственно чистых, благородных и жизнедеятельных, с чистыми, благородными, жизнеутверждающими идеалами. Я вращался среди людей, занимавших высокое положение, — проповедников, полити-

ческих деятелей, бизнесменов, ученых и журналистов. Я ел с ними, пил с ними, ездил с ними и изучал их. Верно, я встречал немало людей нравственно чистых и благородных, но, за редким исключением, люди эти не были жизнедеятельны. Я глубоко убежден, что мог бы все эти исключения сосчитать по пальцам. Если в ком чувствовалась жизнь, то это была жизнь гниения; если кто был деятелен, то деяния его были гнусны; остальные были просто непогребенные мертвецы — незапятнанные и величавые, как хорошо сохранившиеся мумии, но безжизненные. Это особенно относится к профессорам, с которыми я познакомился, — к тем людям, что придерживаются порочного академического принципа: «Будь бесстрастен в поисках бесстрастного знания».

Я знал людей, которые на словах ратовали за мир, а на деле раздавали сыщикам оружие, чтобы те убивали бастующих рабочих; людей, которые с пеной у рта кричали о варварстве бокса, а сами были повинны в фальсификации продуктов, от которых детей ежегодно умирает больше, чем их было на совести у кровавого Ирода.

Я беседовал с промышленными магнатами в отелях, клубах и особняках, в купе спальных вагонов и в каютах пароходов, и я поражаюсь скудости их запросов. В то же время я видел, как уродливо развит их ум, поглощенный интересами бизнеса. Я понял также, что во всем, что касалось бизнеса, их нравственность равнялась нулю.

Вот утонченный джентльмен с аристократическим лицом, он называется директором фирмы, — на деле же он кукла, послушное орудие фирмы в ограблении вдов и сирот. А этот видный покровитель искусств, коллекционер редкостных изданий, радеющий о литературе, — им, как хочет, вертит скуластый, звероподобный шантажист — босс муниципальной машины. А этот редактор, публикующий рекламные объявления о патентованных лекарствах и не осмеливающийся сказать правду о них в своей газете из-за боязни потерять заказ на рекламу, обозвал меня подлым демагогом, когда я заявил, что его познания в области политической экономии устарели, а в области биологии — они ровесники Плинию.

Вот этот сенатор — орудие и раб, маленькая марионетка грубого и невежественного босса; в таком же

положении находится этот губернатор и этот член верховного суда; и все трое они пользуются бесплатным проездом по железной дороге.

Этот коммерсант, благочестиво рассуждающий о бескорыстии и всеблагом провидении, только что бессовестно обманул своих компаньонов. Вот видный благотворитель, щедрой рукой поддерживающий миссионеров, — он принуждает своих работниц трудиться по десяти часов в день, платя им гроши, и таким образом толкает их на проституцию.

Вот филантроп, на чьи пожертвования основаны новые кафедры в университете, — он лжесвидетельствует на суде, чтобы выгадать побольше долларов и центов. А этот железнодорожный магнат нарушил слово джентльмена и христианина, тайно обещав сделать скидку одному из двух промышленных магнатов, сцепившихся в смертельной схватке.

Итак, повсюду грабеж и обман, обман и грабеж. Люди жизнедеятельные — но грязные и подлые; или чистые и благородные — но мертвые среди живых. И тут же огромная масса — беспомощная и пассивная, но нравственно чистая. Она грешила не расчетливо и не произвольно, а в силу своей пассивности и невежества, мирясь с господствующей безнравственностью и извлекая из нее выгоды. Если бы она была сознательна и активна, она не была бы невежественна и отказалась бы от участия в прибыли, добываемой грабежом и обманом.

Я почувствовал отвращение к жизни в бельэтаже, где расположены парадные комнаты. Ум мой скучал, сердце томилось. И я вспомнил своих друзей — интеллигентов, мечтателей, лишенных сана священников, выброшенных на улицу профессоров, честных, сознательных рабочих. Я вспомнил дни и ночи, пронизанные сиянием солнца и звезд, когда жизнь казалась возвышающим душу чудом, духовным раем, исполненным героизма и высокой романтики. И я увидел перед собой, в вечном сиянии и пламени, священный Грааль.

И я вернулся к рабочему классу, в среде которого родился и к которому принадлежал. Я не хочу больше взбираться наверх. Пышные хоромы над моей головой не прельщают меня. Фундамент общественного здания — вот

что меня привлекает. Тут я хочу работать, налегать на рычаг, рука об руку, плечо к плечу с интеллигентами, мечтателями и сознательными рабочими, и, зорко приглядываясь к тому, что творится в верхних этажах, расшатывать возвышающееся над фундаментом здание. Придет день, когда у нас будет достаточно рабочих рук и рычагов для нашего дела и мы свалим это здание вместе со всей его гнилью, непогребенными мертвецами, чудовищным своекорыстием и грязным торгашеством. А потом мы очистим подвалы и построим новое жилище для человечества, в котором не будет палат для избранных, где все комнаты будут просторными и светлыми и где можно будет дышать чистым и животворным воздухом.

Таким я вижу будущее. Я смотрю вперед и верю—придет время, когда нечто более достойное и возвышенное, чем мысль о желудке, будет направлять развитие человека, когда более высокий стимул, чем потребность набить брюхо,— а именно это является стимулом сегодняшнего дня,— будет побуждать человека к действию. Я сохраняю веру в благородство и величие человека. Я верю, что чистота и бескорыстие духа победят господствующую ныне всепоглощающую алчность. И наконец — я верю в рабочий класс. Как сказал один француз: «Лестница времени постоянно сотрясается от деревянных башмаков, поднимающихся вверх, и начищенных сапогов, спускающихся вниз».

ГНИЛЬ ЗАВЕЛАСЬ В ШТАТЕ АЙДАХО

Мойер, Петтибон и Хэйвуд — жертвы заговора

В штате Айдахо засадили в тюрьму трех рабочих — Мойера, Хэйвуда и Петтибона¹. Их обвиняют в убийстве губернатора Стюненберга. Помимо того, на совести у этих людей десятки, если не сотни, кошмарных злодеяний. Убийцы — не только руководители рабочего движения, но и анархисты. Виновность их установлена, не сегодня-завтра — казнь. К сожалению, их ожидает повешение — слишком легкая смерть для таких негодяев: их следовало

¹ Политический процесс Чарльза Мойера, Вильяма Хэйвуда и Джорджа Петтибона, арестованных в штате Колорадо и похищенных из тюрьмы полицейскими агентами штата Айдахо, был инсценировкой, состряпанной губернаторами обоих штатов по договоренности с местными горными компаниями. Процесс привлек к себе внимание социалистов и передовых деятелей всего мира. Горький откликнулся на него телеграммой: «Привет вам, братья социалисты! Мужайтесь! День справедливости и освобождения угнетенных всего мира близок. Навсегда братски ваш». Статья Джека Лондона появилась 4 ноября 1906 года в газете «Чикагский социалист», в те дни, когда верховный суд США после длительных проволочек и оттяжек приступил, наконец, к рассмотрению дела. Обвиняемые, просидевшие около года в тюрьме в ожидании казни, были оправданы за отсутствием улик. Интересна судьба Вильяма Хэйвуда. Избранный генеральным секретарем организации Индустриальные рабочие мира, он был в 1917 году арестован и осужден на двадцать лет заточения в крепости. В 1921 году ему удалось нелегально уехать в Москву. Умер в 1928 году.

бы четвертовать. Но хорошо уже и то, что их наверняка повесят, — это все-таки утешение.

Вот вкратце, что знает об этом деле и что думает о нем рядовой американец — фермер, адвокат, учитель, священник, бизнесмен. Он думает так на основании того, что ему сообщают газеты. Если бы газеты освещали это дело иначе, он, возможно, думал бы иначе. Цель настоящей статьи огласить те факты, о которых умалчивает девяносто процентов американских газет.

Начнем с того, что в день совершения убийства ни Мойера, ни Хэйвуда, ни Петтибона в штате Айдахо даже и не было. Далее: то обстоятельство, что местные власти заключили этих рабочих лидеров в тюрьму, надо расценивать как злостное нарушение закона со стороны самих блюстителей закона, начиная с главы штата и кончая самым мелким чиновником, причем эти незаконные действия совершены ими в сговоре с ассоциацией шахтовладельцев и железнодорожными компаниями.

Итак, перед нами явный и ничем не прикрытый заговор. Участники его, будучи сами заговорщиками и нарушителями закона, требуют наказания тех, кого они обычно называют заговорщиками и нарушителями закона. Это по меньшей мере недобросовестно, скажете вы. Не только недобросовестно, но и подло, скажу я. Ложь и подлость никогда еще не приводили к правде. А между тем шахтовладельцы начинают свой крестовый поход в защиту правды — с неправды.

Плохое начало: оно заставляет нас поближе заняться этими господами — посмотреть, что за люди наши шахтовладельцы и каковы их прошлые дела, вникнуть в их побудительные мотивы; а заодно не мешает рассмотреть обвинительный материал, на основании которого были осуждены Мойер, Хэйвуд и Петтибон.

Этим материалом послужили показания некоего Гарри Орчарда. Надо прямо сказать: они не внушают доверия. Да и как в самом деле верить свидетелю, который заявляет, что по чьему-то наущению и за соответствующую мзду он совершил убийство? А именно к этому сводится признание Гарри Орчарда.

Лидеры Западной федерации горняков не впервые предстают перед судом по обвинению в убийстве, и не

впервые против них даются сомнительные показания. Колорадо славится такими показаниями, самый воздух там способствует их урожайности. Особенно не повезло Мойеру: его затаскали по тюрьмам, и каждый раз ему вменяли в вину какое-нибудь убийство. Не меньше чем полдесятка свидетелей клялись на библии, что по наущению Мойера они совершили убийство. А история учит нас, что, когда подручный сознается в преступлении, на виселицу отправляют хозяина.

Случай с Мойером опровергает уроки истории. Несмотря на обилие опорочивающих показаний, он еще ни разу не был осужден. Последнее обстоятельство говорит не в пользу колорадских показаний, они, оказывается, с гнильцой. А явная порочность всех предыдущих показаний заставляет нас усомниться и в нынешних показаниях Гарри Орчарда, в свежести и чистоте этого колорадского фрукта. Трудно поверить, чтобы в местности, где выращивают заведомо гнилые фрукты, выросло что-нибудь порядочное, благоухающее свежестью и чистотой.

Когда свидетель является в суд для дачи показаний, не мешает поинтересоваться, что это за человек, какие дела он совершил в жизни и не привели ли его сюда корыстные побуждения. Вот ассоциация шахтовладельцев Колорадо и Айдахо! Она явилась в суд, чтобы свидетельствовать против Мойера, Хэйвуда и Петтибона. Что же за люди эти шахтовладельцы? И каковы их прошлые дела?

О том, что шахтовладельцы попирают закон и право, знает каждый ребенок. Ни для кого также не тайна, что они ограбили тысячи американцев, лишив их избирательных прав. Что беззаконие они возвели в закон, давно уже стало неопровержимой истиной. Но все это имеет лишь общее касательство к данному предмету.

Перейдем к частностям. Начиная с 1903 года, с тех пор как в Колорадо вспыхнула ожесточенная классовая война, шахтовладельцы преследуют рабочих, членов Западной Федерации горняков, обвиняя их во всевозможных преступлениях. Это породило целую серию процессов, причем во всех случаях суд прекращал дело за отсутствием состава преступления. Свидетельские показания на процессах давались платными шпиками и сыщиками компа-

ний. Но хотя все они большие мастера по части фабрикации улик, на суде дело оборачивалось не в их пользу. А это плохая рекомендация для того сорта показаний, которые родит в изобилии тучный чернозем Колорадо.

Но это еще не все. Пусть сыщики и шпики, выступая свидетелями в суде, не имели успеха, зато они блестяще проявили свои таланты на уголовном поприще. Многие из них были осуждены и теперь отбывают наказание за самые разнообразные преступления, начиная с мелкой кражи и кончая убийством.

А можно ли считать шахтовладельцев добропорядочными гражданами? Уважают ли они закон? Выполняют ли его предписания? «Плевать нам на конституцию!» — вот программа, с которой они выступали в 1903 году. Генерал Шерман Белл, их приспешник, заявляет: «Неприкосновенность личности? Многого захотели! Как бы я не прописал этим личностям «со святыми упокой»! А Гудинг, нынешний губернатор Айдахо, недавно сказал во всеуслышание: «Плевать мне на народ!»

Естественно усомниться в гражданской добропорядочности людей, которые постоянно и последовательно плюют на права личности, на конституцию и народ. Несколько лет назад в Чикаго группа людей была приговорена к повешению за «подстрекательские речи», куда более невинные. Но то были рабочие. В ассоциацию же шахтовладельцев Колорадо и Айдахо входят только директора компаний, иначе говоря — капиталисты. Их не повесят. Напротив, они пользуются неограниченной свободой и правом посылать на виселицу тех, кто им почему-либо не симпатичен.

Почему Мойер, Хэйвуд и Петтибон не симпатичны шахтовладельцам? Оттого что, по мнению последних, эти люди пытаются залезть к ним в карман. Мойер, Хэйвуд и Петтибон — руководители организованных рабочих. Они возглавляют борьбу за более высокую зарплату и сокращение рабочего дня. Но это влечет за собой удорожание производства. Чем выше издержки производства, тем меньше прибыль. С другой стороны, если бы хозяевам удалось разгромить Западную федерацию горняков, ничто не помешало бы им увеличить рабочий день, снизить зарплату и выиграть на этом миллионы долларов. Лишить

шахтовладельцев этих миллионов — и значит на их языке залезть к ним в карман.

У шахтовладельцев бездонные карманы. Иуда предал Христа за тридцать сребреников. С тех пор человеческая природа нисколько не изменилась; вполне возможно, что Мойер, Хэйвуд и Петтибон будут повешены из-за нескольких миллионов долларов. Это отнюдь не означает, что Мойер, Хэйвуд и Петтибон лично неприятны шахтовладельцам (Иуда не питал неприязни к Христу), — просто они не хотят упускать свои прибыли. Иуда тоже не хотел упустить свои тридцать сребреников.

Что все это говорится не для красного слова, явствует из того, что шахтовладельцы давно уже совершенно недвусмысленно заявляют, что они намерены разнести Западную федерацию горняков. В этом, и только в этом, и состоят их побудительные мотивы, ясно и четко выраженные. Над этими мотивами стоит задуматься каждому сознательному патриоту и гражданину.

Короче говоря, положение в Айдахо сводится к следующему: в результате длительной и упорной схватки между капиталистами и рабочими капиталисты заключили в тюрьму руководителей рабочего движения и теперь добиваются их казни. Это не первая попытка капиталистов убрать неугодных им людей, но до сих пор ни одна из сфабрикованных ими «улик» и ни одно «свидетельское показание» не имели успеха, — при ближайшем рассмотрении они оказывались гнилою трухой. Наемные шпики и агенты капиталистов сами попадали в тюрьму за совершенные ими преступления, и все их попытки оговорить кого-либо из рабочих руководителей не имели до сих пор успеха.

Капиталисты не только на словах, но и на деле покушаются на основные законы страны. Им выгодно уничтожить рабочие организации. У капиталистов нет ни стыда, ни совести, они ни перед чем не останавливаются для достижения своих целей. В своих помыслах и делах они такие же преступники, как те ищейки, которые им служат. Так что же нам сказать о положении в Айдахо? Скажем так: *в штате Айдахо завелась гниль!*

РЕВОЛЮЦИЯ

Удел ничтожных душ — жить тем, что в вечность
канет!

Вперед взглянуть не смея, они, подобно глине,
Хранят следы шагов стареющего века,
Как мертвую окаменелость.

Я получил письмо из далекой Аризоны. Оно начинается словами «Дорогой товарищ». Оно кончается «Да здравствует революция!» Отвечая своему корреспонденту, я тоже начинаю письмо словами «Дорогой товарищ» и кончаю «Да здравствует революция!» Четыреста тысяч американцев, около миллиона американцев и американок, начинают в наши дни свои письма словами «Дорогой товарищ» и кончают «Да здравствует революция!» Три миллиона немцев, миллион французов, восемьсот тысяч жителей Австрии, триста тысяч бельгийцев, двести пятьдесят тысяч итальянцев, сто тысяч англичан и столько же швейцарцев, пятьдесят пять тысяч датчан, пятьдесят тысяч шведов, сорок тысяч голландцев и тридцать тысяч испанцев начинают в наши дни свои письма словами «Дорогой товарищ» и кончают «Да здравствует революция!» Все они — товарищи, революционеры.

По сравнению с такими многочисленными силами, мечью покажутся нам несметные полчища Наполеона и Ксеркса. И эти силы служат революции, а не реакции. Кликните клич, и перед вами как один человек встанет семимиллионная армия, которая в нынешних условиях

борется за овладение всеми сокровищами мира и за полное низвержение существующего строя.

О такой революции еще не слыхала история. Между нею и американской или французской революцией нет ничего общего. Ее величие ни с чем не сравнимо. Другие революции меркнут перед ней, как астероиды в сиянии солнца. Она единственная в своем роде — это первая мировая революция в мире, где постоянно происходят революции. Мало того — это первая попытка человечества создать организованное движение, которое должно охватить весь земной шар, всю нашу планету без остатка.

Эта революция во многих отношениях не имеет себе равных. Это не внезапная гроза народного возмущения, которая отбушует к концу дня. Она родилась задолго до нас с вами. У нее своя история и традиции, а ее поминальный список, пожалуй, убогистее христианских святцев. О ней уже написаны целые библиотеки — такой сокровищницы мудрости и знаний не создавала ни одна из предшествовавших революций.

Бойцы этой армии называют друг друга «товарищами» — товарищами в борьбе за социализм. И это не пустое, бессодержательное слово, которое роняют равнодушные уста. Оно сплывает в одну семью всех тех, кто шагает плечом к плечу под алыми знаменами восстания. Красное знамя, кстати, — символ братства, а не призыв к братоубийственной войне, как представляет себе перепуганный буржуа. Революционеров соединяет живая, горячая дружба. Это чувство сметает пограничные заставы, уничтожает расовые предрассудки; жизнь показала, что оно сильнее, чем пресловутое Четвертое июля, сильнее, чем хвастливый американизм наших предков. Французские и немецкие социалисты забывают об Эльзасе и Лотарингии и, когда в воздухе пахнет войной, выносят резолюции, в которых заявляют, что как рабочие, как товарищи они не видят причин для взаимных разногласий. Лишь недавно, когда Япония и Россия столкнулись в смертельной схватке, японские революционеры обратились к своим русским товарищам со следующим письмом:

«Дорогие товарищи! Ваше правительство и наше недавно вступили в войну за свои империалистические ин-

тересы, но для нас, социалистов, не существует ни пограничных рубежей, ни расы, ни родины, ни нации. Мы — товарищи, братья и сестры, у нас нет оснований воевать друг с другом. Ваш враг — не японский народ, а наш милитаризм и квазипатриотизм. Патриотизм и милитаризм — наши общие враги».

В январе 1905 года по всей Америке социалисты собирали массовые митинги для выражения сочувствия освободительной борьбе своих русских товарищей, а также для сбора денег — ибо это мускулы всякой войны. Собранные средства были по телеграфу переведены русским революционерам.

И призыв к сбору денег, и горячий отклик на него, и самый текст призыва представляют разительный, наглядный пример международной солидарности. «Каковы бы ни были прямые результаты русской революции,— говорится в воззвании,— социалистической пропаганде в этой стране она дала такой мощный толчок, какого не знает история современных классовых войн. Героическая борьба в России ведется почти исключительно силами рабочих под идейным руководством социалистов, а это лишний раз доказывает, что классово сознательный пролетариат стал авангардом всего освободительного движения современности».

Перед нами семь миллионов товарищей, участников международного революционного движения, охватившего весь мир. Перед нами титаническая мощь восставшего человечества. С ней приходится считаться. Это великая сила. И это вместе с тем великая мечта, которую не вмещает ум человеческий. Революционеры — люди горячего сердца. Им дороги права личности, дороги интересы человечества — и нисколько не дороги заветы мертвецов. Они отказывают мертвецам в повиновении. Их пренебрежение к господствующим предрассудкам и условностям приводит в бешенство буржуа. Грошовые идейки и ханжескую мораль буржуа они уничтожают смехом. Они намерены упразднить буржуазное общество с его ханжеской моралью и грошовыми идейками, а в особенности теми, что выстроились под такими рубриками, как «Капиталистическая частная собственность», «Выживание наи-

более приспособленных» и «Патриотизм» — даже патриотизм!

Семимиллионная армия революционеров — такая грозная сила, что правителям и правящим классам есть над чем задуматься. Клич этой армии: «Пощады не будет! Мы требуем всего, чем вы владеете... Меньшим вы не отдаетесь. В наши руки всю власть и попечение о судьбах человечества! Вот наши руки! Это сильные руки! Настанет день, и мы отнимем у вас вашу правительственную машину, ваши хоромы и раззолоченную роскошь, и вам придется так же гнуть спину, чтобы заработать кусок хлеба, как гнет ее крестьянин в поле или щуплый, голодный клерк в ваших городах. Вот наши руки! Это сильные руки!»

Да, правителям и правящим классам есть над чем задуматься! Это — революция. Семь миллионов — не выдуманные цифры, это живая сила армии рабочих. Ее боевая мощь в открытом поле — семь миллионов штыков. В цивилизованных странах — это семь миллионов избирателей. Вчера их было меньше. Завтра силы их возрастут. И это воины. Они хотят мира, но не боятся войны. Их цель — уничтожить капиталистическое общество и завладеть всем миром, на меньшее они не согласны. Если это позволяют законы страны, они действуют мирными средствами, опуская в урну избирательные бюллетени. Если же законы страны этого не позволяют и если против них применяется насилие, они и сами прибегают к насилию. На ярость они отвечают яростью. Они сильны и не ведают страха. В России, например, нет всеобщего избирательного права. Русское правительство казнит революционеров. Русские революционеры убивают правительственных чиновников, на узаконенное убийство они отвечают террористическими актами.

Но тут революция вступает в новую знаменательную фазу — и об этом нашим правителям тоже следует задуматься. Обратимся к живому примеру. Я — революционер, что отнюдь не мешает мне быть нормальным, здравомыслящим человеком. И я говорю и думаю о русских террористах, как о своих товарищах. Так думают наши товарищи в Америке и семь миллионов товарищей во всем мире. Грош цена была бы международному революцион-

ному движению, если бы мы не поддерживали наших товарищей во всем мире! Свидетельство его силы именно в том, что все мы поддерживаем русских террористов. Они не толстовцы, равно как и мы. Мы — революционеры.

Наши товарищи в России создали так называемую «Боевую организацию». Боевая организация судила, признала виновным и приговорила к смертной казни министра внутренних дел Сипягина. 2 апреля 1902 года пуля настигла его в Марининском дворце. Спустя два года Боевая организация приговорила к смерти другого министра внутренних дел — фон Плеве, и также привела приговор в исполнение. Вслед за тем был составлен акт, в котором, перечислив все пункты обвинения, Боевая организация заявляла, что несет всю ответственность за убийство фон Плеве. Этот документ — и тут я подхожу к главному — был разослан социалистам всего мира и опубликован ими в журналах и газетах. Главное же не в том, что социалисты проявили отвагу и решимость, — главное в том, что опубликовать это заявление было для них самым простым и естественным делом, ибо для всех социалистов мира это был официальный документ международного революционного движения.

Все это — большие дни революции, согласен, но это факты. И мы напоминаем о них правителям и правящим классам без запальчивости, без желания кого-то устроить, но чтобы они уразумели суть и природу мировой революции. Сегодня революция требует того, чтобы с нею считались, она завоевала это право. Она утвердилась во всех уголках цивилизованного мира. Стоит только стране приобщиться к цивилизации, как она становится плацдармом революции. В Японии социализм появился вместе с машинами. На Филиппинах он высадился вслед за американскими солдатами. Не успели пушки отгреметь на Кубе и в Пуэрто-Рико, как там заработали социалистические комитеты. Но еще важнее то, что, уж если революция вторглась в страну, она никогда не уйдет оттуда. Напротив, день ото дня силы ее растут. В скромной неизвестности начала она свою деятельность с полвека назад. В 1867 году за социалистов во всем мире голосовали 30 000 человек. В 1871—100 000. Только в 1884 году число их перевалило за полмиллиона. В 1889 году оно

достигло миллиона. С этого момента пополнения прибывают быстрее. В 1892 году за социалистов во всем мире был подан 1 798 391 голос; в 1893—2 585 898; в 1895—3 033 718; в 1898—4 515 391; в 1902—5 253 054; в 1903—6 285 374 и, наконец, ныне, в лето от рождества Христова 1905-е, число избирателей, голосовавших за социалистов, превысило семь миллионов.

Дыхание революции коснулось и Соединенных Штатов. В 1888 году за социалистов здесь было подано только 2 068 голосов, в 1902—127 713, в 1904—435 040. Что же раздуло искру в яркое пламя? Не кризис. Первые четыре года XX века считались благополучными, а между тем именно за это время свыше 300 000 человек влилось в ряды революционеров. Бросив вызов всему буржуазному обществу, они стали под кроваво-красное знамя восстания. Среди жителей Калифорнии, где живет автор этой статьи, каждый двадцатый — открыто зарегистрированный член социалистической партии.

И вот что особенно важно понять. Это не стихийный, слепой бунт обездоленных, отчаявшихся масс, обезумевших под бичом надсмотрщика. Социалистическая пропаганда обращается к разуму, она исходит из экономической необходимости, она в ладу с прогрессивным развитием человечества. Восстание отчаявшихся масс еще впереди. Революционер — не голодный, изнемогающий раб, копошащийся на дне социальной бездны, нет! Обычно это энергичный, крепкий рабочий, который знает, какая страшная участь ждет его и его детей и не хочет с ней мириться. Отчаявшиеся еще не в силах сами о себе позаботиться, но о них есть кому позаботиться. И близок час, когда армия революционеров получит в их лице новые, мощные пополнения.

И вот что еще необходимо понять. Несмотря на то, что представители средних классов и свободных профессий примыкают к движению, — это прежде всего движение рабочего класса. Рабочий класс поднялся на борьбу во всем мире. Идет борьба. Рабочие всего мира — как класс — борются с капиталистами всего мира — как классом. Так называемый «великий средний класс» все больше становится аномалией в этой социальной борьбе. Это гибнущие слои (что бы там ни говорили изворотливые статистики),

и их историческая миссия — служить буфером между классом рабочих и классом капиталистов — приходит к концу. Все, что им остается, — это оплакивать свою судьбу, сходя с исторической сцены; и они оплакивают ее головами наших популистов и демократов джефферсоновского толка. Борьба началась. Революция налицо. По всему миру восстают рабочие.

Естественно возникает вопрос: почему это так? Не прихоть же своевольного разума породила революцию? Прихоть не родит единодушия. Необходимы глубокие причины для того, чтобы семь миллионов нашли общий язык, для того чтобы они отвергли богов буржуазии, изверились даже в таком благородном чувстве, как патриотизм. Велик список преступлений, в которых революционеры обвиняют капитализм, но мы рассмотрим здесь лишь одно обвинение, на которое капитал никогда не мог и не сможет дать ответа.

Капитализм правил миром, и правил из рук вон плохо. Но правление его было не только бездарным. Оно было позорным, подлым, пагубным. Капитализму были даны такие преимущества, каких не знал ни один класс в истории человечества. Он свергнул власть старой феодальной аристократии и основал современное общество. Подчинив себе материю и создав новый жизненный уклад, он заложил фундамент для некоей чудесной эры в жизни человечества, когда ни одному живому существу в мире не придется больше голодать и каждому ребенку будет обеспечено образование и свободное развитие его умственных и духовных сил. Поскольку человек подчинил себе материю и создал новый жизненный уклад, все это становилось достижимым. Это была поистине великая возможность; но капитализм пренебрег этим даром богов. Ему помешали воспользоваться им слепота и жадность. Он предпочитал пробавляться грошовыми идейками и ханжескими сентенциями, он так и не раскрыл заплывших глаз, не умерил своей плотоядной алчности, — и банкротство, которое он потерпел, было так же грандиозно, как та счастливая возможность, которую он в свое время упустил.

Но для буржуа все это — книга за семью печатями. Он как был слепым, так слепым остается и поныне. Ну

что ж, сформулируем обвинение яснее, в выражениях резких и точных, не допускающих превратных толкований. Обратимся прежде всего к пещерному человеку. Это было примитивное существо. Череп у него был приплюснут, как у орангутанга, да и разума было не многим больше. Он жил во враждебной среде, смерть подстерегала его на каждом шагу. Это был дикарь, не знавший еще употребления орудий и искусных ремесел. Его способность добывать себе пищу равнялась, скажем, единице. Он даже не возделывал землю. Однако эта природная способность, которую мы приравнивали к единице, позволяла ему отстаивать свое существование в борьбе с кровожадными хищниками и добывать себе пищу и кров. Иначе и быть не может, — в противном случае он не размножился бы и не распространился по всей земле и не оставил бы потомства, которое через много поколений породило и нас с вами.

Пещерный человек, чьи природные способности равнялись единице, не знал голода, во всяком случае не голодал систематически. Он жил здоровой жизнью, дышал чистым воздухом, всласть бездельничал, всласть отдыхал и находил время упражнять свою фантазию и выдумывать себе богов. Другими словами, ему не приходилось повседневно и повсечасно надрываться на работе, урывая время даже от сна, чтобы хоть как-нибудь прокормиться. Его детям (это относится и к первобытным дикарям) было даровано детство, беспечная пора игр и свободного развития.

А как живет современный человек? Возьмите вы Соединенные Штаты, богатую страну, пользующуюся всеми благами цивилизации. В Соединенных Штатах десять миллионов живут в нищете. Нищетой мы называем такие условия жизни, когда недостаток пищи и отсутствие нормального жилья подрывают силы человека и снижают его работоспособность. В Соединенных Штатах десять миллионов влачат полуголодное существование. В Соединенных Штатах десять миллионов истощенных, ослабевших людей. А это означает, что десять миллионов повседневно чахнут, гибнут физически и нравственно от недостатка пищи. Нет такого уголка в этой обширной, цивилизованной, богатой стране, где мужчины, женщины и дети не терпели бы жестоких лишений. В больших горо-

дах, где они загнаны в трущобы, в гетто, изолирующие их от остального населения, сотни, тысячи, миллионы людей ведут поистине скотское существование. Ни один пещерный человек не голодал так безнадежно, как голодают они, не валялся в такой грязи, не гнил заживо, снедаемый ужасными недугами, не изнурял себя непосильной работой много, много часов в сутки.

В Чикаго женщины работают по шестьдесят часов в неделю. Шестьдесят часов в неделю они пришивают пуговицы к готовому платью. Швейники итальянцы в мастерских дамских нарядов получают тридцать центов в неделю, но заняты круглый год. Средняя недельная плата рабочих, заделывающих мужские брюки,— 1 доллар 31 цент, но они заняты в среднем около 28 недель в году. Средний годовой заработок первой категории равен 47 долларам, второй — 37 долларам. В семьях, где люди вынуждены довольствоваться таким заработком, дети не знают детства, и все от мала до велика обречены на голодное, скотское существование.

В противоположность своему пращуру, жителю пещер, современному человеку мало одного желания работать, чтобы добыть себе пропитание и кров. Он должен сперва *найти* себе работу, и его поиски зачастую безуспешны. Тогда положение его становится бедственным. Такие бедствия ежедневно регистрируются нашими газетами. Приведем здесь несколько примеров этой нескончаемой летописи человеческих катастроф.

В Нью-Йорке жила одна женщина, звали ее Мери Мид. У нее было три девочки: четырехлетняя Алиса, двухлетняя Джоана и годовалая Мери. Мужу этой женщины долго не удавалось найти работу. Семья голодала. Когда же, наконец, они лишились и угла и очутились на улице, Мери Мид задушила годовалую Мери, задушила четырехлетнюю Алису, пыталась задушить двухлетнюю Джоану и отравилась сама. Муж ее сообщил полиции: «Жена моя помешалась от постоянных лишений. Мы жили в доме номер сто шестьдесят на Стюбен-стрит, но на прошлой неделе нас выгнали на улицу. Я уже давно без работы и не мог прокормить семью. Дети ослабели от голода и постоянно хворали. У жены, глядя на них, разрывалось сердце».

«Министерство общественного призрения завалено письмами безработных; десятки тысяч людей нуждаются в помощи, которой оно не в силах им оказать» («*Нью-Йорк Коммершэл*» от 11 января 1905 г.).

Доведенный до отчаяния безуспешными поисками работы, современный человек дает в газету следующее объявление:

«К сведению врачей и бактериологов. Молодой человек с образованием, безработный, готов передать свое тело в полное и бесконтрольное распоряжение любому врачу или бактериологу для научных экспериментов. Предложения адресовать: «Почтовый ящик № 3466» («*Экземинер*»).

«В прошлую среду некий Фрэнк Мэллин обратился в главное полицейское управление с просьбой засадить его в тюрьму как бродягу. Он заявил, что давно скитается в поисках работы и по закону должен считаться злостным бродягой. Во всяком случае он так изголодался, что его надо покормить. Судья Грэйм приговорил Мэллина к трехмесячному заключению» («*Сан-Франциско Экземинер*»).

В Сан-Франциско, в гостинице Сото-хауз, дом № 32 по Четвертой улице, было найдено тело некоего У. Г. Роббинса, отравившегося газом. В помещении обнаружен дневник, откуда мы приводим следующие выдержки:

«3 марта. Никаких видов на работу. Что делать?

7 марта. Ни проблеска надежды.

8 марта. Десяток сухарей на 5 центов — все мое дневное пропитание.

9 марта. Отдал последние 25 центов за номер.

10 марта. Помогите мне, боже! В кармане 5 центов, и никаких надежд. Что ждет меня? Голодная смерть или...?

Только что истратил последние пять центов. А что дальше? Воровать, просить милостыню или умереть? Я прожил пятьдесят лет и никогда не воровал, не просил милостыню, не знал, что значит подыхать с голоду. А сейчас я на краю гибели, единственный выход — смерть.

11 марта. Весь день какая-то слабость, к вечеру сильный жар. Последний раз ел вчера в полдень. Голова разрывается на части. Прощайте все!»

А каково приходится детям в нашей богатой, цивилизованной стране? В Нью-Йорке 50 000 детей каждое утро отправляются в школу голодными. В этом же городе был случай, о котором 12 января текущего года узнала вся страна: доктор З. И. Дэниел, врач больницы для женщин и детей, обнаружил среди своих пациентов полуторагодовалого ребенка, который работал по найму в маленькой мастерской у живодера-хозяина за пятьдесят центов в неделю.

В Соединенных Штатах на одних только текстильных фабриках жестоко эксплуатируется труд 80 000 детей. На Юге они работают двенадцать часов в сутки и никогда не видят дневного света. Те, кто занят в ночной смене, отсыпаются днем, когда солнце изливает на землю свое жизнедающее тепло, а занятые в дневной смене еще до рассвета становятся к машинам и только после захода солнца возвращаются «домой», в свою мрачную конуру. В редких случаях заработок таких ребят превышает десять центов, самые маленькие получают пять-шесть центов в день. У малышей, работающих в ночной смене, глаза слипаются от усталости, и чтобы они не заснули, им брызжут в лицо водой. Есть шестилетние труженики, у которых годичный стаж ночной работы. Многие так истощены, что по утрам их не добудишься; на этот случай у фабрикантов есть погонщики — их дело объезжать верхом всю округу и, где угрозой, где уговорами, выгонять на работу маленьких страдальцев. Десять процентов этих детей больны туберкулезом, и все они без исключения маленькие инвалиды, калеки телом и душой.

Вот что Элберт Хаббард рассказывает о малолетних рабочих на текстильных фабриках Юга:

«Я хотел поднять одного из этих крошек, чтобы определить его вес. Но вся его тщедушная фигурка — тридцать пять фунтов костей и кожи — забилась в моих руках в таком паническом страхе, что я невольно выпустил его, и мальчик бросился завязывать оборвавшуюся нитку. Тогда я дотронулся до его плеча и показал ему серебряную монетку. Он тупо уставился на нее; я увидел морщи-

нистое, иссохшее личико чуть ли не шестидесятилетнего старца, перекошенное страдальческой гримасой. Он не протянул руки за монетой, — он явно не знал, что это такое. На этой фабрике работает десятка полтора таких детей. Мой спутник, врач, уверял меня, что эти дети проживут самое большее два года. Когда они умрут, на их место станут другие, охотники всегда найдутся. Обычно их уносит первое же воспаление легких. Истощенный организм восприимчив к любой болезни, он не оказывает ей никакого сопротивления. Лекарства на них не действуют; обесиленная, поверженная, поруганная природа сдается без борьбы: ребенок впадает в забытие и вскоре умирает».

Так живет современный человек, так живут его дети в Соединенных Штатах, самой богатой стране мира, пользующейся всеми благами цивилизации. Не надо забывать, что приведенные здесь примеры взяты наугад и что их можно множить до бесконечности. Нельзя также забывать, что то же самое верно и для любой другой цивилизованной страны. Но ведь пещерный человек не знал таких страданий. Что же случилось в мире? Может быть, увеличились опасности, угрожавшие нашим предкам? Или же способность пещерного человека добывать себе пропитание и кров утрачена им в наши дни? Может быть, теперь она равна не единице, а половине или одной четверти?

Нет, те опасности, которые подстерегали пещерного человека, отошли в область преданий. Для современных людей они больше не существуют. Все кровожадные хищники, угрожавшие человеку на заре его жизни, укрощены им или уничтожены. Многие виды вымерли. Лишь кое-где, в отдаленных уголках мира, сохранились представители этих страшных врагов человека. Но они ему давно уже не страшны. Современный человек отправляется в эти отдаленные страны ради отдыха и развлечения — поохотиться на крупного зверя. Иной раз он даже сетует, что настоящая дичь выводится в мире и скоро окончательно исчезнет с лица земли.

Нисколько не уменьшилась и способность человека добывать себе пищу и кров. Напротив, она возросла тысячекратно. Человек подчинил себе материю. Он проник в ее тайны и открыл законы, управляющие ею. Были созданы

сказочные орудия и изобретены искусные ремесла, неизмеримо повысившие способности человека и облегчившие ему борьбу за пищу и кров; появилось земледелие, горный промысел, фабричное производство, все виды транспорта и связи.

Между пещерным человеком и теми искусными мастерами, которыми славился XVIII век, лежит огромная пропасть. Но с появлением машин производительность труда рабочего еще во много раз увеличилась. Было время, когда, чтобы погрузить сто тонн руды на железнодорожную платформу, требовалось двести часов. Теперь же благодаря машинам на это требуется лишь два часа. Бюро труда Соединенных Штатов издало следующую таблицу, показывающую, насколько за сравнительно короткий период возросла производительность труда современного человека.

| | <i>Часы механизированного труда</i> | <i>Часы ручного труда</i> |
|---|-------------------------------------|---------------------------|
| Ячмень — 100 бушелей . . . | 9 | 211 |
| Кукуруза — 50 „ (обмолотить зерно и заготовить корма из стеблей, обверток и початков) . . | 34 | 228 |
| Овес — 160 бушелей . . . | 28 | 265 |
| Пшеница — 50 „ . . . | 7 | 160 |
| Погрузка 100 тонн железной руды на вагонетки . . . | 2 | 200 |
| Выгрузка угля (переброска 200 тонн угля с барж в угольные ямы на расстояние в 400 фут.) | 20 | 240 |
| Изготовить вилы (50 штук с двенадцатидюймовыми зубьями) | 12 | 200 |
| Изготовить полевой плуг с дубовым дышлом и ручками | 3 | 118 |

По данным того же Бюро труда, при новых, усовершенствованных методах сельского хозяйства стоимость рабочей силы для производства 20 бушелей пшеницы равна 66 центам — $3\frac{1}{2}$ цента за каждый бушель. Такова средняя стоимость рабочей силы на образцовой ферме пло-

щадью в 10 000 акров в Калифорнии. По данным Керрола Райта, 4 $\frac{1}{2}$ миллиона сельскохозяйственных рабочих с помощью машин дают такую продукцию, какая раньше потребовала бы работы 40 миллионов рабочих. Австрийский ученый профессор Герцог считает, что с помощью современных машин 5 миллионов рабочих, трудясь полтора часа в день, могут снабдить 20 миллионов человек всем необходимым, включая также и некоторые предметы роскоши.

Но раз человек сумел подчинить себе материю, раз его способность добывать себе пищу и кров по сравнению с его пращуром, пещерным человеком, возросла тысячекратно, почему же миллионы современных людей так несчастны? Вот вопрос, с которым революционер обращается к правящему классу, к классу капиталистов. Но у капиталистов нет ответа на этот вопрос, и они никогда не смогут на него ответить.

Если способность современного человека добывать себе пищу и кров по сравнению с временами пещерного человека возросла тысячекратно, почему же десять миллионов американцев так плохо защищены от стужи и непогоды, почему они постоянно голодны? И если детей дикаря никто не принуждает работать, почему в Соединенных Штатах на одних только текстильных фабриках 30 000 детей вынуждены изнушать себя непосильным трудом? Если детям дикаря никто не мешает играть и развиваться, почему в Соединенных Штатах насчитывается 1 752 187 малолетних тружеников?

Этот пункт обвинения нельзя опровергнуть. Капитализм плохо хозяйничал в прошлом, он плохо хозяйничает и сейчас. В Нью-Йорке каждое утро 50 000 ребят голодными уходят в школу, а между тем в том же Нью-Йорке 1 320 миллионеров. Человечество, однако, бедствует не оттого, что капиталисты создали себе огромные богатства; человечество бедствует оттого, что *огромнейшие богатства так и не были созданы*. Эти богатства не были созданы потому, что методы капиталистической системы неразумны и расточительны. Класс капиталистов, который в своей алчности и слепоте хватается все без разбора, лишь бы набить себе утробу, не только упустил данные ему возможности, он сделал все, чтобы их погубить. Его хозяйствен-

ные методы чудовищно расточительны. Не мешает еще и еще раз подчеркнуть это.

Признав, что современный человек живет хуже пещерного, хотя его способность добывать себе пищу и кров возросла тысячекратно, мы с неизбежностью приходим к выводу, что наши хозяйственные методы чудовищно расточительны.

При тех естественных ресурсах, которыми так богат наш мир, с теми машинами, которые уже изобретены человеком, при новых, разумных методах производства и распределения и столь же разумной экономии и бережливости, рабочие, трудясь не больше двух-трех часов в день, могли бы накормить и одеть каждого, каждому обеспечить кров, каждому дать образование и даже некоторую толику роскоши и комфорта. Люди не знали бы больше нужды и лишений, их дети не чахли бы от непосильной работы, мужчины, женщины и дети не жили бы по-скотски и не умирали бы, подобно бессловесному скоту. Человек подчинил бы себе не только природу, он перестал бы быть рабом машины. Освобожденные от забот о хлебе насущном, люди стремились бы к высоким и благородным целям. Их поступками не управлял бы голодный желудок. Их деятельность была бы естественной и увлекательной, как состязания школьников на первенство или веселые, затейливые игры детей; как труд ученого, бьющегося над открытием нового закона природы, или изобретателя, применяющего его на деле; как творчество художника или скульптора, оживляющего холст или глину; как искусство поэта или государственного деятеля, поставленное на службу людям. Человечество ждал бы небывалый расцвет — духовный, интеллектуальный, эстетический. Жизнь человека разыграла бы невиданно мощным прибоем.

Вот какие возможности были упущены классом капиталистов. Если бы он был не так жаден и слеп, если бы он правил, как разумный, рачительный хозяин, — человечество, быть может, узнало бы счастливую жизнь. Но класс капиталистов обанкротился. Цивилизацию он превратил в бойню. И классу капиталистов нечего сказать в свое оправдание. Он знал, что делает. Его ученые и мудрецы не раз указывали ему на те возможности, которые он

оставляет в небрежении. Эти полезные уроки запечатлены в их книгах — ныне это исчерпывающий обвинительный материал, накопленный веками. Но капитал не слушал своих мудрецов. Алчность заслоняла от него весь мир. Бесстыдно всходил он на трибуну и заявлял (как теперь заявляет в наших законодательных собраниях), что труд младенцев и детей необходим, чтобы обеспечить ему его прибыли. Он убаюкивал свою совесть грошовыми идейками и ханжеской моралью, предоставляя человечеству все глубже погружаться в трясины бедствий и отчаяния. Короче говоря, класс капиталистов отверг все представлявшиеся ему возможности.

Возможности эти попрежнему налицо. Капитализм был подвергнут испытанию и позорно провалился. Остается рабочему классу испытать свои силы. «Но ведь рабочий класс не способен управлять!» — протестуют капиталисты. «Не вам судить об этом,— возражает им рабочий класс.— Если вы провалились, это не значит, что то же самое будет с нами. Во всяком случае мы попытаемся. Семь миллионов заявляют вам это. Что вы можете на это возразить?»

В самом деле, что могут возразить на это капиталисты? Допустим, что рабочий класс не способен управлять. Допустим, что его требования и обвинения воздвигнуты на песке. Но семь миллионов революционеров не так легко сбросить со счетов. Их существование — неоспоримый факт. Их вера в свои силы, их сознание своей правоты — неоспоримый факт. Их неудержимый рост — неоспоримый факт. Их намерение разрушить современное общество до основания — неоспоримый факт, точно так же как их решение завладеть всем миром с его богатствами, его техникой и взять в свои руки всю власть. Кроме того, неоспоримый факт, что рабочий класс многочисленнее класса капиталистов.

Наша революция — это революция рабочего класса. Может ли класс капиталистов в своей ничтожной малости противостоять мощному прибою такой революции? Что может он ему противопоставить? Какие в его распоряжении силы? Ассоциации предпринимателей, законы против забастовок, судебные взыскания, ведущие к ограблению профсоюзов, громкие вопли и тайные интриги против

закрытых мастерских¹, ожесточенное и бессовестное сопротивление требованиям восьмичасового рабочего дня, ярые кампании против любого законопроекта об охране детского труда, лихоимство и взяточничество в каждом муниципальном совете, кулуарные махинации и подкуп во всех законодательных органах страны, штыки, пулеметы, полицейские дубинки, штрейкбрехерские организации и банды вооруженных сыщиков — вот те преграды, которые капитал возводит на пути растущего приюба революции, в тщетной надежде, что эти, с позволения сказать, твердыни заставят ее обратиться вспять.

Класс капиталистов так же не видит сегодня нарастающей угрозы революции, как не видел вчера счастливой возможности, ниспосланной ему богами. Он не чувствует всей шаткости своих позиций, он недооценивает мощь и превосходство атакующих его сил. Он попрежнему благодушествует, пережевывая свои ханжеские сентенции и грошовые идейки, и не упускает случая поживиться на чужой счет.

Ни один низвергнутый класс, так же как ни один властитель, не мог оценить по достоинству сил революции, которая впоследствии его свалила. То же самое происходит и с классом капиталистов. Вместо того чтобы ослабить произвол и тиранию и этим отсрочить свою гибель, вместо того чтобы пойти на уступки хотя бы в самых болезненных вопросах, капиталисты озлобляют рабочих, толкая их в объятия революции. Каждая разгромленная забастовка, каждый судебный иск, покушающийся на средства профсоюзов, каждая наглая вылазка против принципа закрытых мастерских гонят все новых и новых рабочих — сотнями и тысячами — в лагерь революции. Покажите рабочему все бессилие его профсоюза, и он обратится в революционера. Сломите забастовку средствами судебного террора, опишите по гражданскому иску его страховую кассу — и рабочий заслушается песен революции; а тогда уже ничем не заманишь его обратно, в политические партии капиталистов.

¹ Закрытые мастерские в США — предприятия, куда принимаются на работу преимущественно организованные рабочие, члены профессиональных союзов.

Мерами пресечения нельзя пресечь революцию, а это все, чем способен ответить на нее правящий класс. Правда, водятся у него и кое-какие идейки, которые верно служили ему встарь, но они давно выдохлись и потеряли силу. Свободы от Четвертого июля по образцу «Декларации независимости» и французских энциклопедистов сегодня едва ли кого-нибудь удовлетворяют. Да и что они могут сказать рабочему, который познакомился с полицейской дубинкой, или же видел, как суд заграбастал кассу его профсоюза, или же сам очутился на улице, вытесненный с фабрики новой машиной? Хваленая конституция Соединенных Штатов тоже сильно слиняла в глазах рабочего, за которым полицейские охотятся, как за зверем, рабочего, которого, вопреки всем статьям конституции, выслали из Колорадо. Пусть газеты твердят ему, что облавы и высылки — справедливые и законные мероприятия, вытекающие из конституции, рабочему от этого не легче. «К чертям такую конституцию!» — скажет он, и вот перед вами еще один революционер, распропагандированный самими капиталистами.

Короче говоря, в своем ослеплении капиталисты ничего не делают, чтобы отсрочить свою гибель, — напротив, сами же ее ускоряют. У капиталистов нет за душой ничего чистого, благородного, живого. То, что предлагает людям революционер, исполнено благородства и чистоты, овеяно дыханием жизни. Он предлагает им верное служение, бескорыстие и мученичество — все то, что волнует воображение народа горячим, почти религиозным стремлением к добру.

Революционер с каждым говорит на его языке. В его распоряжении факты и цифры, научные обобщения и экономические выкладки. Рабочему, который думает только о себе, революционер доказывает с трезвостью математика, что новый строй изменит его жизнь к лучшему. Если же это человек совсем другого склада, если он привержен добру, если в нем неугасимы дух и разум, — революционер дает ему то, чем живы дух и разум, чего нельзя перевести на доллары и центы, что доллары и центы не в силах пригнуть к земле. Революционер бичует зло и неправду, он — заступник правды. И что важнее всего —

из уст его льется извечная песнь свободы, заветная песнь всех стран, всех поколений, всех народов!

Мало кто из капиталистов видит приближение революции: глупцам не разглядеть ее по своему невежеству, другим глаза застилает страх. Это все та же старая истина об обреченных правящих классах, слепо идущих навстречу гибели. Распираемые властью и богатством, опьяненные своим величием, разомлев от праздности и роскоши, эти трутни вьются над медовыми сотами, пока работницы-пчелы не налетят со всех сторон, чтобы избавить мир от разьевшихся лодырей.

Президент Рузвельт смутно угадывает приближение революции, но, из страха перед ней, предпочитает играть в прятки. Он говорит: «Прежде всего надлежит помнить, что в сфере политики классовая вражда — еще большее зло, она несравненно пагубнее и разрушительнее для благоденствия нации, чем все оттенки расовой и религиозной вражды».

Классовая вражда в сфере политики — величайшее зло, по мнению президента Рузвельта. Но классовая вражда в политике — это заветный лозунг революционеров. Классовая борьба в сфере экономических отношений не должна затихать, говорят они, но необходимо перенести ее также и в сферу политики. «В этой борьбе, — говорит их лидер, Юджин Дебс, — нет добрых капиталистов и злых рабочих. Но каждый капиталист — ваш враг, а каждый рабочий — друг».

Это и есть классовая вражда в сфере политики в полном смысле этого слова. Это — революция. В 1888 году Соединенные Штаты насчитывали 2000 таких революционеров, в 1900 — 127 000, в 1904 — 435 000. То «зло», на которое сетует президент Рузвельт, ширится и растет в Соединенных Штатах. Еще бы! Ведь это ширится и растет революция.

Бывает и так, что то тут, то там какой-нибудь зоркий наблюдатель вдруг спохватится и завопит. Но его предостерегающий голос — это голос в пустыне. Ректор Гарвардского университета Элиот недавно испустил такой вопль в пустыне. «Я вынужден прийти к заключению, — констатировал он, — что никогда еще социалистическая опасность не представляла для Соединенных Штатов

такой угрозы, ибо никогда еще она не выступала так организованно. Вся беда в том, что в наших профсоюзах укрепились социалисты». Капиталисты же, вместо того чтобы внять этому предостережению, лишь с большим азартом сколачивают свои штрейкбрехерские организации и готовятся в поход против принципа закрытых мастерских, этого возлюбленного детища профсоюзов. Но если поход их и увенчается победой — это означает, что капиталисты только сократят отпущенные им историей сроки. Это все та же старая истина, она подтверждается вновь и вновь. Захмелевшие трутни жадным роем выются над медовыми сотами.

Но забавнее всего поведение американской прессы; не знаешь только — смеяться или плакать. Прежде всего вас поражает полное отсутствие чувства собственного достоинства у этих двуногих. Нелепые утверждения в устах невежды вызывают дружный хохот богов, людям же впору плакать. Особенно усердствуют американские журналисты (по крайней мере большинство). Такие доморощенные истины, как: «Знай свое место», или: «Люди не равны и не свободны от рождения», изрекаются ими с глубоко-мысленным видом, словно это новейшие откровения человеческого разума. Их жалкие рассуждения о революции простительны разве только школьнику. Прихлебалы капиталистов, они обрабатывают общественное мнение в угоду своим хозяевам. Их тоже манит медовый запах, и они ошалело выются над сотами.

Разумеется, это относится не ко всей нашей журналистской братии, а лишь к огромному ее большинству. Сказать так обо всех — значило бы возвести клевету на человеческий род. Да это было бы и неверно, потому что там и сям можно еще встретить газетчика с совершенно нормальным зрением, но только, не желая расставаться с жирными гонорарами, он предпочитает хранить свои знания про себя. Во всем, что касается социологии и научного обоснования революции, наш рядовой журналист по меньшей мере на поколение отстал от века. Интеллектуальный байбак, он верит только тому, в чем все уже давно уверились, и не без гордости подчеркивает, что он — консерватор. Оптимист поневоле, он принимает за должное то, что есть. Революционер давно от этого отка-

зался. Он принимает за должное не то, что есть, а то, что должно быть,— а это, как правило, совсем не то, что есть.

Но вдруг на газетчика находит прозрение: словно спросонья протирает он глаза, видит перед собой революцию и в припадке наивного возмущения раздражается тирадой, вроде той, какую мы недавно прочитали в «Чикаго Кроникл»: «Американские социалисты — это самые настоящие революционеры. И они знают, что они революционеры. Не мешало бы и всем нам понять это!» Сделав такое умопомрачительное открытие и прокричав о нем на весь мир, автор еще долго распространяется о том, что мы — не к ночи будь сказано — революционеры. Но позвольте, разве все эти годы мы не кричали миру, что мы революционеры? И попробуйте помешать этому!

Давно прошло время для таких умонастроений, как: «Революция — это ужас! Сэр, с этим навсегда покончено», или как не менее знакомая нам точка зрения: «Социализм — это рабство! Сэр, человечество никогда не пойдет на это!» Прошло время для дискуссий, теорий и смутных мечтаний! Вопрос больше не подлежит обсуждению! Революция — неоспоримый факт. Революция — налицо. Семь миллионов революционеров, не давая себе ни отдыха, ни срока, организованно несут в массы учение о революции, пламенную проповедь братства людей. И это не только холодные экономические выкладки, это и новая религия, проповедуемая с жаром апостола Павла и Христа. Класс капиталистов осужден! Его власть не привела ни к чему хорошему, надо отнять у него власть! Семь миллионов рабочих заявляют, что они объединят вокруг себя весь рабочий люд и свергнут капитализм. Революция налицо! Попробуйте остановить ее!

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Пятый том настоящего издания сочинений Джека Лондона содержит романы «Железная пята», «Мартин Иден» и избранные статьи.

Роман «Железная пята» впервые вышел отдельным изданием в феврале 1908 года (Нью-Йорк).

Роман «Мартин Иден» печатался в журнале «Пасифик мансли» с сентября 1908 года по сентябрь 1909 года и в сентябре 1909 года вышел отдельным изданием (Нью-Йорк).

Статья «*Фома Гордеев*» взята из сборника «Революция» (Нью-Йорк, 1910); впервые опубликована в периодическом издании «Импреншенс» в ноябре 1901 года (Сан-Франциско).

«О себе» — из лондонского издания сборника «Храм гордыни».

«Как я стал социалистом» — из сборника «Борьба классов» (Нью-Йорк, 1905); впервые опубликована в периодическом издании «Комрид» в марте 1903 года.

«Предисловие к сборнику «Борьба классов» — из одноименного сборника; написана в январе 1905 года.

«Что значит для меня жизнь» — из сборника «Революция»; впервые опубликована в журнале «Космополитен мэгэзин» в марте 1906 года.

«Гниль завелась в штате Айдахо» — впервые опубликована в газете «Чикаго дэйли сошналист» 4 ноября 1906 года.

«Революция» — из одноименного сборника; впервые опубликована в журнале «Контемпорери ревью» в январе 1908 года.

СОДЕРЖАНИЕ

ЖЕЛЕЗНАЯ ПЯТА

(Роман)

Перевод Р. Гальпериной

| | |
|--|-----|
| Предисловие | 9 |
| Глава первая. Мой орел | 13 |
| Глава вторая. Мне и епископу Морхаузу брошен вызов | 28 |
| Глава третья. Рука Джексона | 43 |
| Глава четвертая. Рабы машины | 53 |
| Глава пятая. Клуб филоматов | 61 |
| Глава шестая. Тени будущего | 81 |
| Глава седьмая. Видение епископа | 88 |
| Глава восьмая. Разрушители машин | 94 |
| Глава девятая. Математическая непреложность мечты | 109 |
| Глава десятая. Водоворот | 125 |
| Глава одиннадцатая. На переломе | 134 |
| Глава двенадцатая. Епископ | 142 |
| Глава тринадцатая. Всеобщая стачка | 152 |
| Глава четырнадцатая. Начало конца | 161 |
| Глава пятнадцатая. Последние дни | 169 |
| Глава шестнадцатая. Конец | 175 |
| Глава семнадцатая. Ливрейные лакеи | 184 |
| Глава восемнадцатая. В горах Сономы | 190 |
| Глава девятнадцатая. Искусство перевоплощения | 201 |
| Глава двадцатая. Исчезновение олигарха | 209 |

| | |
|--|-----|
| Глава двадцать первая. Ревущий зверь из бездны | 216 |
| Глава двадцать вторая. Чикагское восстание | 222 |
| Глава двадцать третья. Обитатели бездны | 234 |
| Глава двадцать четвертая. Кошмар | 247 |
| Глава двадцать пятая. Террористы | 252 |

МАРТИН ИДЕН

(Роман)

Перевод под редакцией Е. Калашниковой

| | |
|------------------------------------|-----|
| Глава первая | 257 |
| Глава вторая | 268 |
| Глава третья | 279 |
| Глава четвертая | 286 |
| Глава пятая | 291 |
| Глава шестая | 297 |
| Глава седьмая | 305 |
| Глава восьмая | 314 |
| Глава девятая | 323 |
| Глава десятая | 332 |
| Глава одиннадцатая | 338 |
| Глава двенадцатая | 346 |
| Глава тринадцатая | 351 |
| Глава четырнадцатая | 362 |
| Глава пятнадцатая | 374 |
| Глава шестнадцатая | 381 |
| Глава семнадцатая | 390 |
| Глава восемнадцатая | 396 |
| Глава девятнадцатая | 401 |
| Глава двадцатая | 407 |
| Глава двадцать первая | 414 |
| Глава двадцать вторая | 420 |
| Глава двадцать третья | 428 |
| Глава двадцать четвертая | 434 |
| Глава двадцать пятая | 443 |
| Глава двадцать шестая | 452 |
| Глава двадцать седьмая | 463 |
| Глава двадцать восьмая | 476 |
| Глава двадцать девятая | 482 |
| Глава тридцатая | 494 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| Глава тридцать первая | 503 |
| Глава тридцать вторая | 512 |
| Глава тридцать третья | 518 |
| Глава тридцать четвертая | 524 |
| Глава тридцать пятая | 531 |
| Глава тридцать шестая | 535 |
| Глава тридцать седьмая | 543 |
| Глава тридцать восьмая | 552 |
| Глава тридцать девятая | 556 |
| Глава сороковая | 564 |
| Глава сорок первая | 571 |
| Глава сорок вторая | 577 |
| Глава сорок третья | 586 |
| Глава сорок четвертая | 596 |
| Глава сорок пятая | 604 |
| Глава сорок шестая | 619 |

СТАТЬИ

| | |
|--|-----|
| «Фома Гордеев». <i>Перевод М. Урнова</i> | 633 |
| О себе. <i>Перевод Н. Банникова</i> | 639 |
| Как я стал социалистом. <i>Перевод Н. Банникова</i> . . | 646 |
| Предисловие к сборнику «Борьба классов». <i>Перевод</i> <i>Р. Гальпериной</i> | 651 |
| Что значит для меня жизнь. <i>Перевод М. Урнова</i> . | 656 |
| Гниль завелась в штате Айдахо. <i>Перевод Р. Галь-</i> <i>периной</i> | 666 |
| Революция. <i>Перевод Р. Гальпериной</i> | 671 |
| Библиографическая справка | 692 |

Редактор Н. Бапников
Оформление художника А. Васина
Художественный редактор А. Ермаков
Технич. редактор В. Гриненко
Корректоры В. Туманская
и Н. Манушина

*

Сдано в набор 2/III 1955 г.
Подписано к печати 5/VIII 1955 г. А02964.
Бумага $84 \times 108^{1/32}$ —43,5 печ. л.=35,67 усл.
печ. л. 34,96 уч.-изд. л. Тираж 390 000.
Заказ № 205. Цена 11 руб.

Гослитиздат
Москва, Ново-Басманная, 19

*

Министерство культуры СССР
Главное управление полиграфической
промышленности
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

ГОСТИНИЦА
1955

ДЖЕК
ЛОНДОН

5